

ANNALES CONTEMPORAINES

СОВРЕМЕННЫЯ ЗАПИСКИ

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ И ЛИТЕРАТУРНЫЙ
ЖУРНАЛЪ

при ближайшемъ участіи:

Н. Д. Авксентьева, И. И. Бунакова, М. В. Вишняка,
В. В. Руднева

LXV

1937
ПАРИЖЪ

Imprimerie «Union», 13, rue Méchain, Paris

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. В. Сиринъ. — ДАРЪ.	5
2. М. Алдановъ. — НАЧАЛО КОНЦА.	71
3. М. Иванчиковъ. — ДОРОГА (Повѣсть).	130
4. СТИХОТВОРЕНІЯ: И. Голенищева-Кутузова, В. Иванова, Л. Кельберина, Г. Кузнецовой, К. Набокова, Г. Раевского, Э. Чернищевой, З. Шаховской, А. Штейгера.	164
5. Н. Ге. — НЕИЗДАННЫЯ ПИСЬМА Л. Н. ТОЛСТОГО.	175
6. Кн. О. Трубецкая. — ИЗЪ ПЕРЕЖИТОГО.	206
7. М. Ростовцевъ. — ДУРА ЕВРОПОСЪ И НАЧАЛО ХРИСТИАНСКАГО ИСКУССТВА.	245
8. Т. Г. Масарикъ. — ИДЕАЛЫ ГУМАНИЗМА.	264
9. Н. Авксентьевъ. — МАСАРИКЪ — ФИЛОСОФЪ ДЕМОКРАТИИ.	282
10. Е. Юрьевскій. — ПУТЬ ШВЕДСКАГО СОЦІАЛИЗМА.	288
11. В. Вейдле. — ТРИ РОССИИ.	304
12. О. Фельтгеймъ. — ПО СОВѢТСКИМЪ ТЮРЬМАМЪ.	323
13. К. Крофта. — Т. Г. МАСАРИКЪ И НАЦИОНАЛЬНЫИ ВОПРОСЪ.	347
14. М. Вишнякъ. — ОТЪ УЧРЕДИТЕЛЬНОГО СОБРАНІЯ КЪ ВЕРХОВНОМУ СОВѢТУ.	355

КУЛЬТУРА И ЖИЗНЬ.

15. П. Милоковъ. — ВЕЛИЧІЕ И ПАДЕНІЕ М. Н. ПОКРОВСКАГО.	368
16. Д. Одынецъ. — НОВЫЕ ОЧЕРКИ ПО ИСТОРИИ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ.	387
17. Е. Кускова. — О СТАРОЙ ВЪРЬ (А. Н. Потресовъ).	393

18. И. Херасковъ. — ЗА НАРОДНУЮ ВОЛЮ.	400
19. Г. Адамовичъ. — НЕКРАСОВЪ.	413
20. Ю. Сазонова. — СОВѢТСКІЙ ТЕАТРЪ.	417
21. М. Алдановъ. — ПАМЯТИ В. А. МЯКОТИНА.	427

22. КРИТИКА И БИБЛИОГРАФІЯ.

М. Цетлинъ. — Ант. Ладинскій: Стихи о Европѣ.	429
М. Цетлинъ. — Галина Кузнецова: Оливковый Садъ.	430
Н. Б—ва. — «Кругъ». Альманахъ. Кн. 2-ая.	431
Ант. Ладинскій. — Лидія Арсеньева (Чассингъ): Концертъ.	433
П. Бицилли. — Le Dit de la campagne d'Igor.	434
П. Бицилли. — Dimitri S. von Mohrenshildt: Russia in the intellectual Life of Eighteenth Century France.	435
П. Бицилли. — Проф. Г. Я. Трошинъ: Пушкинъ и психологія творчества.	437
Н. Кульманъ. — Лоллія Львовъ: Сто лѣтъ смерти Пушкина.	438
Н. Кульманъ. — Россія и Пушкинъ. Сборн. статей.	439
Н. Кульманъ. — Пушкинскіе дни въ Шанхаѣ.	440
Л. Зуровъ. — И. Д. Фридрихъ: Фольклоръ русскихъ крестьянъ Яуллагальскаго уѣзда.	440
Ю. Терапиано. — Д. Мережковский: «Павель и Августинъ».	441
В. Вейдле. — А. Долинъ: Миръ и Идеаль. Философское основаніе науки о нравственности.	443
Г. Федотовъ. — Николай Бердяевъ: Духъ и Реальность. Основы Богочеловѣческой Духовности.	444
Г. Федотовъ. — «Путь», органъ русск. религіозн. мысли.	446
М. А. — В. Nikolajevsky: M. A. Bakunin in der «Dresdner-Zeitung».	448
М. Вишнякъ. — Сборникъ статей: М. М. Винаверъ.	540
В. Рудневъ. — Б. Никитинъ: Роковые годы.	555
Ч. Д. — Сергій Третьяковъ: Страна перекрестокъ.	458
Т. Ч. — Б. Солоневичъ: Молодежь и ГПУ.	460
Т. Чернавика. — Duranti: «I write as I please». A. L. Strong: «I change worlds».	462
В. Рудневъ. — Н. А. Базили: Россія подъ совѣтской властью.	465
Списокъ новыхъ книгъ, поступившихъ для отзыва въ редакцію «Современныхъ Записокъ».	469

Д а р ь *)

Поднимаясь бывало по Желтой рѣкѣ и ея притокамъ, роскошнымъ сентябрьскимъ утромъ, въ прибрежныхъ лощинахъ, въ заросляхъ лилій, я съ нимъ ловилъ кавалера Эльвеза, — черное чудо, съ хвостами въ видѣ копытъ. Передъ сномъ, въ ненастные вечера, онъ читалъ Горация, Монтэня, Пушкина, — три книги, взятыхъ съ собой. Какъ то зимой, переходя по льду черезъ рѣку, я издали примѣтилъ расположенную поперекъ нея шеренгу темныхъ предметовъ, большіе рога двадцати дикихъ яковъ, застигнутыхъ при переправѣ внезапно образовавшимся льдомъ; сквозь его толстый хрусталь было ясно видно оцѣпленіе тѣлъ въ пływущей позѣ; поднявшіяся надо льдомъ прекрасныя головы казались бы живыми, если бы уже птицы не выклевали имъ глазъ; и почему-то я вспомнилъ о тиранѣ Шеусинѣ, который вскрывалъ изъ любопытства беременныхъ, а однажды, увидавъ какъ въ холодное утро носильщики переходятъ вбродъ ручей, приказалъ отрѣзать имъ голени, чтобы посмотреть, въ какомъ состояніи находится мозгъ въ костяхъ.

Въ Чангѣ, во время пожара (горѣлъ лѣсъ, заготовленный для постройки католической миссіи), я видѣлъ, какъ пожилой китаецъ на безопасномъ отъ огня разстояніи, дѣловито, прилежно, безъ усталы, обливалъ водой отблескъ пламени на стѣнахъ своего жилища; убѣдившись въ невозможности доказать ему, что домъ его не горитъ, мы предоставили его этому бесплодному занятію.

Нерѣдко приходилось итти напроломъ, не слушая ки-

*) См. «Совр. Зап.» кн. 63 и 64-ая.

тайскихъ застрашиваній и запрещеній: умѣние мѣтко стрѣлять — лучший паспортъ. Въ Татцень-лу по кривымъ и узкимъ улицамъ бродили бритоголовые ламы, распространяя слухъ, что ловлю дѣтей, дабы изъ глазъ ихъ варить зелье для утробы моего кодака. Тамъ, на склонахъ снѣговыхъ горъ, залитыхъ пышной розовой пѣной громадныхъ рододендроновъ (ихъ вѣтки служили намъ по ночамъ для костра), я въ маѣ разыскалъ темно-сизую, въ оранжевыхъ пятнахъ, ларву императорскаго апполона и его куколку, шелковинкой прицѣпленную къ исподу камня. Въ тотъ же день, помнится, былъ убитъ бѣлый тибетскій медвѣдь и открыта новая змѣя, питающаяся мышами, причемъ та мышь, которую я извлекъ изъ ея брюха, тоже оказалась неописаннымъ видомъ. Отъ рододендроновъ и отъ увѣшанныхъ узорнымъ лишаемъ сосенъ тянуло дурманомъ смолы. Невдалекѣ отъ меня какіе-то знахари съ опасливымъ и хитрымъ видомъ конкурентовъ собирали для своихъ корыстныхъ нуждъ китайскій ремень, корень котораго необыкновенно напоминаетъ гусеницу, вплоть до ея ножекъ и дыхалець, — а я, между тѣмъ, переворачивая камень, любовался гусеницей неизвѣстной ночницы, являющейся уже не въ идеѣ, а съ полной конкретностью копіей этого корня, такъ что было несомнѣнно ясно, кто кому подражаетъ — и зачѣмъ.

Всѣ врутъ въ Тибетъ: дьявольски трудно было добиться точныхъ названій мѣстъ и указанія правильныхъ дорогъ; невольно и я ихъ обманывалъ: не умѣя отличить свѣтло-волосаго европейца отъ сѣдого, они меня, молодого человѣка съ выгорѣвшими отъ солнца волосами, принимали за глубокаго старика. Всюду на гранитныхъ глыбахъ можно было прочесть «мистическую формулу», — шаманскій наборъ словъ, который иные поэтическіе путники «красиво» толкуютъ, какъ: о, жемчужина въ лотосѣ, о! Ко мнѣ высылались изъ Лхассы какіе-то чиновники, заклинавшіе меня о чемъ-то, грозившіе чѣмъ-то, — я на нихъ мало обращалъ вниманія; впрочемъ, помню одного дурака, особенно на-

дождливого, въ желтомъ шелку, подъ краснымъ зонтикомъ; онъ сидѣлъ верхомъ на мулѣ, природная унылость котораго усугублялась присутствіемъ крупныхъ ледяныхъ сосулекъ подъ глазами, образовавшихся изъ замерзшихъ слезъ.

Я видѣлъ съ большой высоты темную болотную котловину, всю дрожащую отъ игры безчисленныхъ родниковъ, что напоминало ночной небосклонъ съ разсыпанными по нему звѣздами, — да такъ и называлась она: Звѣздная Стель. Перевалы поднимались за облака, переходы были тяжелые. Мы раны вьочныхъ животныхъ смазывали смѣсью іодоформа и вазелина. Случалось, проночевавъ въ совершенно пустынномъ мѣстѣ, вдругъ утромъ видимъ: широкимъ кольцомъ вокругъ насъ выросли за ночь, какъ черные грибы, юрты разбойниковъ, — очень скоро, однако, исчезающія.

Изслѣдовавъ тибетскія нагорья, я пошелъ на Лобъ-Норъ, чтобы уже оттуда возвратиться въ Россію. Тарымъ, одолѣваемый пустыней, изнемогая, изъ самыхъ послѣднихъ водъ образуетъ обширное тростниковое болото, нынѣшній Кара-Кошукъ-Куль, Лобъ-Норъ Пржевальскаго, — и Лобъ-Норъ ханскихъ временъ, — что бы ни говорилъ Ритгофенъ. Оно окаймлено солончаками, но вода солена только у самыхъ береговъ, — да и не росъ бы камышъ вокругъ соленаго озера. Какъ-то, весной, я въ пять дней объѣхалъ его. Тамъ, въ трехсаженныхъ тростникахъ, мнѣ удалось открыть замѣчательную полуводяную бабочку съ первобытной системой жилокъ. Кочковатый солончакъ былъ усѣянъ раковинами моллюсковъ. Вечерами, при полномъ безмолвіи, доносились стройные мелодичные звуки лебяжьяго полета; желтизна камыша особенно отчетливо выдѣляла матовую бѣлизну птицъ. Въ сихъ мѣстахъ въ 1862-омъ году полгода прожили человекъ шестьдесятъ старовѣровъ съ женами и дѣтьми, послѣ чего ушли въ Турфанъ, а куда дѣвались затѣмъ — неизвѣстно.

Далѣе — пустыня Лобъ: каменистая равнина, ярусы

глинистыхъ обрывовъ, стеклянисто-соленыя лужи; бѣлое пятнышко въ сѣромъ воздухѣ: одинокая пьерида Роборовскаго, уносимая вѣтромъ. Въ этой пустынѣ сохранились слѣды древней дороги, по которой за шесть вѣковъ до меня проходилъ Марко Поло: указатели ея, сложенные изъ камней. Какъ въ тибетскомъ ущельѣ я слышала интересный гулъ вродѣ барабаннаго боя, пугавшій нашихъ первыхъ пилигримовъ, такъ и въ пустынѣ, во время песчаныхъ бурь, я видѣла и слышала то же, что Марко Поло: «шопоть духовъ, отзывающихся въ сторону» и среди страннаго мерцанія воздуха безъ конца проходящія навстрѣчу вихри, караваны и войска призраковъ, тысячи призрачныхъ лицъ, какъ-то безплотно прущихъ на тебя, насквозь тебя, и вдругъ разсѣивающихся. Въ двадцатыхъ годахъ 13-го вѣка, когда великій землепроходецъ умиралъ, его друзья, собравшись у его ложа, умоляли его отказаться отъ того, что казалось имъ невѣроятнымъ въ его книгѣ — сбавить ея чудеса путемъ разумныхъ выпусковъ; онъ же отвѣтствовалъ, что не повѣдалъ и половины видѣннаго на самомъ дѣлѣ.

Все это волшеббно держалось, полное красокъ и воздуха, съ живымъ движеніемъ вблизи и убѣдительною далью; затѣмъ, какъ дымъ отъ дуновенія, оно поддалось куда-то и расплылось, — и опять Федоръ Константиновичъ увидѣлъ мертвые и невозможные тюльпаны обоевъ, рыхлый холмикъ окурковъ въ пепельницѣ, отраженіе лампы въ черномъ оконномъ стеклѣ. Онъ распахнулъ окно. Исписанные листы на столѣ вздрогнули, одинъ завернулся, другой плавно скользнулъ на полъ. Въ комнатѣ сразу стало сыро и холодно. Внизу, по пустой, темной улицѣ, медленно проѣхала автомобиль, — и странно, почему-то какъ разъ эта медленность напомнила Федору Константиновичу множество мелкихъ неприятныхъ вещей, — только-что минувшій день, пропущенный урокъ, — и когда онъ представилъ себѣ, что утромъ придется звонить обманутому старику, у него сразу стѣснилось сердце какимъ-

то отвратительнымъ уныніемъ. Но лишь снова онъ окно затворилъ, и, уже ощущая пустоту между согнутыми пальцами, повернулся къ терпѣливо ожидавшей лампѣ, къ разсыпаннымъ черновикамъ, къ еще теплomu перу, незамѣтно скользнувшему въ руку (объяснивъ пустоту и ее восполнивъ), онъ сразу попалъ опять въ тотъ міръ, который былъ столь же ему свойствененъ, какъ снѣгъ — бѣляку, какъ вода — Офеліи.

Онъ помнилъ съ живостью невѣроятной, словно сохранилъ тотъ солнечный день въ бархатномъ футлярѣ, послѣднее возвращеніе отца, въ іюль 1912 года. Елизавета Павловна уже давно поѣхала встрѣчать мужа за десять верстъ на станцію: она всегда встрѣчала его одна, и всегда случалось такъ, что никто толкомъ не зналъ, съ какой стороны они вернутся, справа ли или слѣва отъ дома, такъ какъ дорогъ было двѣ, одна — подлиннѣе и поглаже, — по шоссе и черезъ село, другая — покороче и поухабистѣй — черезъ Песчанку. Федоръ на всякій случай надѣлъ галифе и приказалъ осѣдлатъ лошадь, — но все равно не могъ рѣшиться выѣхать отцу навстрѣчу, боясь его пропустить. Онъ тщетно старался справиться съ раздувшимся, преувеличеннымъ временемъ. Рѣдкая бабочка, надняхъ пойманная среди гонобобля торфяного болота, еще не высохла на расправилкѣ: онъ все трогалъ кончикомъ булавки ея брюшко, — увы, оно было еще мягкое, значить, нельзя было снять бумажныхъ полосъ, сплошь закрывающихъ крылья, которыя ему такъ хотѣлось показать отцу въ полной ихъ красотѣ. Онъ слонялся по усадьбѣ въ какомъ-то тяжеломъ болѣзненномъ волненіи, завидуя тому, какъ другіе переживаютъ эти крупныя, пустыя минуты. Съ рѣчки доносились отчаянно-страстные вопли купавшихся деревенскихъ ребятъ, и этотъ гомонъ, всегда игравшій въ глубинѣ лѣтняго дня, теперь звучалъ вродѣ дальнихъ овацій. Таня восторженно и мощно качалась на качеляхъ въ саду, стоя на доскѣ; по летящей бѣлой юбкѣ такъ мчалась фіолетовая тѣнь листвы, что ря-

было въ глазахъ, блузка сзади то отставала, то прилипла къ спинѣ, обозначая впадину между сведенныхъ лопатокъ, одинъ фоксъ-терьеръ лаялъ снизу на нее, другой гонялся за трясогузкой, радостно скрипѣли канаты, и казалося, что Таня взмываетъ такъ, чтобы увидѣть за деревьями дорогу. Француженка подъ муаровымъ зонтикомъ, съ давно неслыханной любезностью дѣлилась своими опасеніями (поѣздъ опоздаетъ часа на два, а то и совсѣмъ не придетъ) съ Браунингомъ, котораго ненавидѣла, а тотъ билъ себя стѣкомъ по крагѣ — онъ не былъ полиглотомъ. Ивонна Ивановна выходила то на одну, то на другую веранду съ тѣмъ недовольнымъ выраженіемъ на маленькомъ лицѣ, которое у нея всегда появлялось при радостныхъ событіяхъ. Около службъ было особое оживленіе: качали воду, кололи дрова, огородникъ несъ въ двухъ продолговатыхъ, запачканныхъ краснымъ, корзинахъ землянику. Жаксыбай, пожилой киргизъ, коренастый, толстолицый, со сложными морщинами у глазъ, спасшій въ 92-омъ году Константину Кирилловичу жизнь (застрѣлил навалившуюся на него медвѣдицу) и жившій теперь на покоѣ, больной грыжей, въ лѣшинскомъ домѣ, надѣлъ свой синій бешметъ съ карманами въ видѣ полумѣсяцевъ, лакированные сапоги, красную въ блесткахъ тюбетейку, подпоясался шелковымъ кушакомъ съ кисточками, усѣлся у кухоннаго крыльца и долго уже такъ сидѣлъ на угрѣвѣ, съ горящей на груди серебряной цѣпочкой часовъ, въ тихомъ и праздничномъ ожиданіи.

Вдругъ, тяжело взбѣгая по закругленной тропѣ, ведущей внизъ, къ рѣчкѣ, изъ тѣневой глубины появился съ дикимъ блескомъ въ глазахъ, съ уже кричавшимъ, но еще беззвучнымъ ртомъ, старый, въ сѣдыхъ подусникахъ, слуга Казиміръ: прибѣжалъ съ вѣстью, что изъ-за ближайшей излучины, съ моста, послышался топотъ (быстрая деревянная дробь колыхъ, сразу осѣкавшаяся), — залогъ того, что сейчасъ промчится коляска мягкой дорогой вдоль парка. Федоръ бросился къ ней. — между стволами,

по мху и черникѣ — а уже тамъ, за крайней тропинкой, неслись, скользя надъ уровнемъ низенькихъ елокъ, со стремительностью нѣкоего видѣнія, голова кучера и его васьковья рукава. Онъ кинулся назадъ, — и въ саду содрагались покинутыя качели, а у подѣзда уже стояла порожняя коляска со смятымъ пледомъ, поднималась по ступенямъ мать, волоча за собой дымчатый шарфъ, — и Таня висѣла на шеѣ у отца, который, свободной рукой вынувъ часы, смотрѣлъ на нихъ, ибо всегда любилъ знать, за сколько минутъ доѣхалъ отъ станціи до дому.

Въ слѣдующемъ году, занятый научными трудами, онъ никуда не ѣздивъ, а уже весною 1914 года началъ готовить новую экспедицію въ Тибетъ, вмѣстѣ съ орнитологомъ Петровымъ и англійскимъ ботаникомъ Россомъ. Внезапно война съ нѣмцами оборвала все это.

Войну онъ воспринялъ, какъ досадную помѣху, становившуюся со временемъ все досаднѣе. Родня была почему-то увѣрена, что Константинъ Кирилловичъ тотчасъ отправится добровольцемъ, во главѣ дружины: его почитали чудачкомъ, но чудачкомъ мужественнымъ. На самомъ же дѣлѣ, Константинъ Кирилловичъ, который вступилъ въ свой шестой десятокъ все съ тѣмъ же запасомъ здоровья, легкости, свѣжести, неразмѣнныхъ силъ — и, пожалуй, еще охотнѣе, чѣмъ прежде, готовъ былъ одолѣвать горы, тангутовъ, непогоду и тысячу другихъ опасностей, не снившихся домосѣдамъ, — теперь не только засѣлъ дома, но старался не замѣчать войны, а если и говорилъ о ней, то лишь со злобнымъ презрѣніемъ. «Мой отецъ, — писалъ Федоръ Константиновичъ, вспоминая то время, — не только многому меня научилъ, но еще поставилъ самую мою мысль по правиламъ своей школы, какъ ставится голосъ или рука. Такимъ образомъ, къ жестокости войны я былъ довольно равнодушенъ; я допускалъ даже, что можно находить извѣстную прелесть въ мѣткости выстрѣла, въ опасности развѣдки, въ тонкости маневра; но этими маленькими удовольствіями (къ тому же лучше представленны-

ми въ другихъ специальныхъ отрасляхъ спорта, какъ то: охота на тигра, игра въ крестики, профессиональный боксъ) ничуть не искупался оттѣнокъ мрачнаго идиотизма, присущій всякой войнѣ.

Между тѣмъ, несмотря на «непатріотическую позицію Кости», какъ выражалась тетя Ксенія (прочно и умѣло, черезъ «большія связи», укрывшая мужа-офицера въ тыловую тѣнь), суетность войны проникала въ домъ. Елизавету Павловну втянули въ лазаретную работу, причемъ это освѣщалось такъ, что она, дескать, своей энергіей возмѣщаетъ праздность мужа, «больше занятаго азіатскими козявками, чѣмъ славой русскаго оружія», какъ и было указано между прочимъ въ одной бодрой газетѣ. Завертѣлись грамофонныя пластинки съ романсомъ «Чайка», переодѣтымъ въ защитную форму (...Вотъ прапорщикъ юный со взводомъ пѣхоты...); появились въ домѣ какія-то сестрички съ кудряшками изъ-подъ косынки, ловко стучавшія папироской о портсигаръ, прежде чѣмъ закурить; бѣжалъ на фронтъ сынъ швейцара, ровесникъ Федора, и Константина Кирилловича просили содѣйствовать его возвращенію; Таня хаживала въ материнскій лазаретъ учить русской грамотѣ мирнаго восточнаго бородача, которому рѣзали ногу все выше и выше, обгоняя гангрену; Ивонна Ивановна вязала напульсники; по праздникамъ артистъ Феона развлекалъ солдатъ фарсовыми пѣсенками; на любительскихъ спектакляхъ играли «Вова приспособился»; въ журналахъ печатались стишки, посвященные войнѣ:

Теперь ты бичь судьбы надъ родиною милой,
Но свѣтлой радостью заблещетъ русскій взоръ,
Когда постигнетъ онъ германскаго Аттилы
Безстрастнымъ временемъ отмѣченный позоръ!

Весной 1915-го года, вмѣсто того, чтобы собраться въ Лѣшино, что всегда казалось столь же естественнымъ и неизблемымъ, какъ чередованіе мѣсяцевъ въ календарѣ,

поѣхали на лѣто въ крымское имѣніе — на берегу моря, между Ялтой и Алушкой. На покатыхъ полянкахъ райски-зеленаго сада Федоръ, страдальчески скалясь (тряслись отъ счастья руки), ловилъ южныхъ бабочекъ; но не тамъ, среди миртовъ, мушмулы и магнолій, а гораздо выше, въ горахъ, между скаль Ай-Петри и на волнистой Яйлѣ, водились настоящія крымскія рѣдкости: не разъ за то лѣто съ нимъ поднимался боровыми тропками отецъ, чтобы съ улыбкой снисхожденія къ европейскому пустяку показывать ему сатира, недавно описаннаго Кузнецовымъ, перелетавшаго съ камня на камень у самаго того мѣста, гдѣ какой-то скверный смѣльчакъ на крутой скалѣ вырѣзалъ свое имя. Одиѣ эти прогулки и развлекали Константина Кирилловича. Онъ не то, чтобы былъ мраченъ или раздражителенъ (эти ограниченные эпитеты не вязались съ его духовной осанкой), а попросту выражаясь, онъ не находилъ себѣ мѣста, — и Елизавета Павловна, да и дѣти, отлично понимали, чего именно хотѣлось ему. Вдругъ въ августѣ, онъ ненадолго уѣхалъ, никто не зналъ, куда, кромѣ самыхъ близкихъ: поѣздку свою онъ такъ конспирировалъ, что ему могъ бы позавидовать любой путешествующій террористъ; было смѣшно и страшно представить себѣ, какъ всплеснуло бы ручками русское общественное мнѣніе, если бы узналось, что въ разгаръ войны Годуновъ-Чердынцевъ ѣздилъ въ Женеву, на свиданіе съ толстымъ, лысымъ, необыкновенно jovialнымъ нѣмецкимъ профессоромъ (туда же прибылъ и третій заговорщикъ, старикъ англичанинъ, въ легонькихъ очкахъ и просторномъ сѣромъ костюмѣ), что сошлись они тамъ въ маленькомъ номерѣ скромнаго отеля для ученаго совѣщанія и, столковавшись, о чемъ надобно было (рѣчь шла о многотомномъ трудѣ, упорно продолжавшемъ издаваться въ Штуттгартѣ, при давнемъ участіи иностранныхъ специалистовъ по отдѣльнымъ группамъ бабочекъ), мирно разъѣхались — каждый во-свояси. Но эта поѣздка его не развеселила, напротивъ — постоянная мечта, тяготѣв-

шая надъ нимъ, еще усилила свое тайное давленіе. Осенью вернулись въ Петербургъ; онъ усиленно работалъ надъ пятымъ томомъ «Чешуекрылыхъ Россійской Имперіи», мало выходилъ, игралъ въ шахматы — болѣе сердясь на промахи противника, чѣмъ на свои, — съ недавно овдовѣвшимъ ботаникомъ Бергомъ; просматривалъ, усмѣхался, газеты; бралъ Таню къ себѣ на колѣни, вдругъ задумывался, и его рука на ея кругломъ плечѣ задумывалась тоже. Какъ-то въ ноябрѣ ему подали за столомъ телеграмму, онъ распечаталъ ее, прочелъ про себя, перечелъ, судя по вторичному пробѣгу глазъ, отложила, отпилъ портвейна изъ ковшика и невозмутимо продолжалъ разговоръ съ бѣднымъ родственникомъ, старичкомъ съ веснушками по всему черепу, приходившимъ обѣдать дважды въ мѣсяцъ и неизмѣнно приносившимъ Танѣ тянушки. Когда гости ушли, онъ опустился въ кресло, снялъ очки, провелъ ладонью сверху внизъ по лицу и сообщилъ ровнымъ голосомъ, что дядя Олегъ опасно раненъ осколкомъ гранаты въ животъ (работая подъ огнемъ на перевязочномъ пунктѣ), — и сразу въ душѣ Федора выдѣлился, краями разрывая душу, одинъ изъ тѣхъ безчисленныхъ нарочито-глупыхъ діалоговъ, которые братья еще такъ недавно вели за столомъ:

Дядя Олегъ (заигрывающимъ тономъ)

А скажи-ка, Костя, не приходилось тебѣ видѣть въ урочищѣ Ви птичку Зо-вась?

Отецъ (сухо)

Не приходилось.

Дядя Олегъ (воодушевляясь)

А не видывалъ ли ты, Костя, какъ муха Попова кусаетъ лошадь Поповскаго?

Отецъ (еще суше)

Не видывалъ.

Дядя Олегъ (въ полномъ экстазѣ)

А не случилось тебѣ, напримѣръ, наблюдать диагональное передвиженіе зѣнитическихъ стаякъ?

Отецъ (въ упоръ глядя на него)

Случалось.

Въ ту же ночь онъ поѣхалъ за нимъ въ Галицію, обыкновенно скоро и удобно привезъ, добылъ лучшихъ изъ лучшихъ врачей, Гершензона, Ежова, Миллеръ-Мельническаго, самъ присутствовалъ на двухъ длительныхъ операціяхъ... Къ Рождеству братъ былъ здоровъ. И затѣмъ что-то вдругъ измѣнилось въ настроеніи Константина Кирилловича: ожили и подобрѣли глаза, послышалось вновь музыкальное мурлыканіе, которое онъ на ходу издавалъ, будучи чѣмъ-нибудь особенно доволенъ, куда-то онъ ѣздилъ, прибывали и отбывали какіе-то ящики, а въ домѣ, вокругъ таинственной веселости хозяина чувствовалось нарастаніе смутнаго, выжидательнаго недоумѣнія, — и однажды Федоръ, случайно проходя по золотистой, заливной весеннимъ солнцемъ, залѣ, вдругъ замѣтилъ, какъ содрогнулась, но не сразу поддалась латуневая ручка бѣлой двери, ведущей въ отцовскій кабинетъ, словно кто-то ее снутри вяло теребилъ, не отворяя; но вотъ она тихо раскрылась, вышла мать съ разсѣяннo кроткой улыбкой на заплаканномъ лицѣ, странно махнула рукой, проходя мимо Федора... Онъ постучался къ отцу и вошелъ въ кабинетъ. «Что тебѣ?» — спросилъ Константинъ Кирилловичъ, не оглядываясь, продолжая писать. «Возьми меня съ собой», — сказалъ Федоръ.

То, что Константинъ Кирилловичъ, въ тревожнѣйшее время, когда крошились границы Россіи и разсѣдалась ея внутренняя плоть, вдругъ собрался покинуть семью года на два ради далекой научной экспедиціи, большинству показалось дикой прихотью, чудовищной беззаботностью. Поговаривали даже о томъ, что правительство «не допу-

ститъ закупокъ», что не будетъ у безумца ни спутниковъ, ни вьючнаго скота. Но уже въ Туркестанѣ запашокъ эпохи почти не чувствовался: волостными управителями устраиваемый т о й, на который являлись гости съ подарками въ пользу войны (немного позже вспыхнуло возстаніе среди киргизовъ и казаковъ въ связи съ призывомъ на военныя работы), былъ едва ли не единственнымъ ея напоминаніемъ. Передъ самымъ отбытіемъ, въ іюнь 1916-го года, Годуновъ-Чердынцевъ пріѣхалъ въ Лѣшино проститься съ семьей. До крайней минуты Федору мечталось, что отецъ все-таки возьметъ его съ собой, — нѣкогда говорилъ, что такъ сдѣлаетъ, какъ только сыну исполнится пятнадцать. «Въ другое время взялъ бы», — сказалъ онъ теперь, — точно забывъ, что для него-то время было всегда другимъ.

Само по себѣ это послѣднее прощаніе ничѣмъ не отличалось отъ предыдущихъ. Послѣ стройной, выработанной семейнымъ обычаемъ, череды объятій, родители, надѣвъ одинаковые желтые очки съ замшевыми шорами, усѣлись въ красный открытый автомобиль; кругомъ стояли слуги; старикъ сторожъ, опираясь на дубинку, держался поодаль, у расщепленнаго молніей тополя; маленькій толстый шоферъ съ рыжимъ затылкомъ и топазомъ на пухлой бѣлой рукѣ, весь круглый, въ вельветиновой ливреѣ и оранжевыхъ крагахъ, страшно напрягаясь, дернулъ, дернулъ и завелъ машину (отецъ и мать, сидя, задрожали), быстро сѣлъ за руль, переставилъ въ немъ рычажокъ, натянулъ перчатки съ раструбами, оглянулся. Константинъ Кирилловичъ ему задумчиво кивнулъ, автомобиль тронулся, захлебнулся лаемъ фоксъ, дико извиваясь у Тани на рукахъ, переворачиваясь на спину, перегибая голову черезъ ея плечо; красный кузовъ исчезъ за поворотомъ, и уже изъ-за елокъ донесся на восходящемъ взвоѣ рѣзкій переборъ скоростей и затѣмъ облегченно удалявшійся рокотъ; все стихло, но черезъ четверть минуты, изъ села за рѣкой, опять послышался побѣдоносный, громъ мотора, постепенно

смогавшій — навсегда. Ивонна Ивановна, обливаясь слезами, пошла за молокомъ для кота. Таня, притворно напѣвая, вернулась въ прохладный, звонко-пустой домъ. Тѣнь Жаксыбая, умершаго прошлой осенью, скользнула прочь съ завалинки, обратно въ свой тихій, нарядный, розами и баранами богатый, рай.

Федоръ пошелъ черезъ паркъ, отворилъ запѣвшую калитку, пересѣкъ дорогу, гдѣ виднѣлись только что выдавленные слѣды толстыхъ шинъ. Плавно поднялась съ земли и описала широкой кругъ знакомая черно-бѣлая красавица, тоже участвуя въ проводахъ. Онъ завернулъ въ лѣсъ и тѣнистой дорогой, гдѣ въ поперечныхъ лучахъ висѣли на трепетѣ золотыя мухи, дошелъ до любимой лужайки, — кочковатой, цвѣтущей, влажно сверкающей на жаркомъ солнцѣ. Божественный смыслъ этой лужайки выразался въ ея бабочкахъ. Всякій нашелъ бы тутъ что-нибудь. Дачникъ бы отдохнулъ на пенекѣ. Прищурился бы живописецъ. Но нѣсколько глубже проникала въ ея истину знаніемъ умноженная любовь: отверстыя зѣнцы.

Свѣжія, отъ свѣжести кажущіяся смѣющимися, почти апельсиновые селены съ изумительной тихостью плыли на вытянутыхъ крыльяхъ, рѣдко-рѣдко вспыхивая, какъ плавникомъ — золотая рыбка. Уже нѣсколько потрепанный, безъ одной шпоры, но еще мощный махаонъ, хлопая доспѣхами, опустился на ромашку, снялся, словно пятась, а цвѣтокъ, покинутый имъ, выпрямился и закачался. Лѣниво летали боярышницы, иная закапанная кукольной кровкой (пятна коей на бѣлыхъ стѣнахъ городовъ предсказывали нашимъ предкамъ гибель Трои, морь, трусь) Подпрыгивающимъ валкимъ аллюромъ первые шоколадные гиперанты уже порхали надъ травой; изъ нея вылетали, тотчасъ падая вновь, блѣдныя моли. На скабіозѣ, въ компаніи съ мошкой, помѣстилась красно-синяя, съ синими сяжками, цыганка, похожая на ряженого жука. Торопливо покинувъ лужайку и сѣвъ на листь ольхи, капустная самка страннымъ задраціемъ брюшка и плоскимъ поло-

женіемъ крыльевъ (чѣмъ-то напоминавшимъ приложенныя уши) дала знать своему потертому преслѣдователю, что она уже оплодотворена. Два мѣдныхъ съ лиловинкой мотылька (ихъ-то самки еще не вылупились) встрѣтились на молниеносномъ лету, взвились, вертятся другъ вокругъ друга, бѣшено дерясь, поднимаясь все выше и выше, — и вдругъ стрѣльнули врозь, обратно къ цвѣтамъ. Лазоревый адонисъ мимолетомъ присталъ къ пчелкѣ. Смуглая фрея мелькнула среди селенъ. Маленькій бражникъ съ тѣломъ шмеля и стеклянистыми, невидимыми отъ быстроты бѣнія, крыльцами, съ воздуха попыталъ длиннымъ хоботкомъ цвѣтокъ, кинулся къ другому, къ третьему. Всю эту обаятельную жизнь, по сегодняшнему сочетанію которой можно было безошибочно опредѣлить и возрастъ лѣта (съ точностью чуть ли не до одного дня), и географическое положеніе мѣстности, и растительный составъ лужайки, все это живое, истинное, безконечно милое, Федоръ воспринялъ какъ бы мгновенно, однимъ привычнымъ, глубокимъ взглядомъ. Вдругъ онъ приложилъ кулакъ къ березовому стволу и, къ нему наклонясь, разрыдался.

Хотя отецъ фольклора не долюбивалъ, онъ бывало приводилъ одну замѣчательную киргизскую сказку. Единственный сынъ великаго хана, заблудившись во время охоты (чѣмъ начинаются лучшія сказки и кончаются лучшія жизни), запримѣтилъ между деревьями какое-то сверканіе. Приблизившись, онъ увидѣлъ, что это собираетъ хворостъ дѣвушка въ платъ изъ рыбьей чешуи; однако не могъ рѣшить, что именно сверкало такъ, лицо ея или одежда. Пойдя съ ней къ ея старухѣ матери, царевичъ предложилъ дать въ калымъ кусокъ золота съ конскую голову. «Нѣтъ, — сказала невѣста, — а вотъ возьми этотъ мѣшочекъ — онъ, видишь, едва больше наперстка, — да и наполни его». Царевичъ, разсмѣявшись («И одна, — говорить, — не войдетъ»), бросилъ туда монету, бросилъ другую, третью, а тамъ и всѣ бывшія при немъ. Весьма

озадаченный, пошелъ онъ къ своему отцу. Всѣ сокровища собравъ, все въ мѣшочекъ побросавъ, ханъ опустошилъ казну, ухо приложилъ ко дну, накидалъ еще вдвойнѣ, — только звякаетъ на днѣ. Призвали старуху: «Это, — говоритъ, — человѣческій глазъ, хотящій вмѣстить все на свѣтѣ», — взяла щепотку земли да и разомъ мѣшочекъ наполнила.

Послѣднее достовѣрное свѣдѣніе о моемъ отцѣ (не считая его собственныхъ писемъ) я отыскалъ въ замѣткахъ французскаго миссіонера (и ученаго ботаника) Баро, случайно встрѣтившаго его въ горахъ Тибета (лѣтомъ 1917 года) около деревни Чэту. «Я съ удивленіемъ увидѣлъ, — пишетъ Баро («Exploration catholique», за 1923 годъ) — пасущуюся среди горнаго луга бѣлую лошадь подъ сѣдломъ, а затѣмъ появился, спускаясь со скалъ, человѣкъ въ европейскомъ платьѣ, привѣтствовавшій меня по-французски и оказавшійся знаменитымъ русскимъ путешественникомъ Годуновымъ. Я не видалъ европейца уже свыше восьми лѣтъ. Мы провели нѣсколько прелестныхъ минутъ, на муравѣ, въ тѣни скалы, обсуждая номенклатурную тонкость въ связи съ научнымъ названіемъ крохотнаго голубого ириса, росшаго по сосѣдству. Послѣ чего, дружески простившись, мы разошлись, онъ — къ своимъ спутникамъ, звавшимъ его изъ ущелья, я — къ отцу Мартэну, умиравшему въ дальней харчевнѣ».

За этимъ начинается туманъ. Судя по послѣднему письму отца, какъ всегда краткому, но по-новому тревожному, чудомъ доставленному намъ въ началѣ 1918 года, онъ, вскорѣ послѣ того, какъ встрѣтилъ его Баро, собрался въ обратный путь. Прослышавъ о революціи, онъ въ немъ просилъ насъ переѣхать въ Финляндію, гдѣ у тетки была дача, и писалъ, что, по его расчету, онъ «максимально спѣша», къ лѣту будетъ дома. Мы прождали его два лѣта, до зимы 19-го года. Жили то въ Финляндіи, то въ Петербургѣ. Домъ нашъ давно былъ разграбленъ, но отцовскій музей, душа дома, словно сохранивъ неуз-

вимость, присущую святынямъ, уцѣлѣль (перейдя затѣмъ въ вѣдѣніе Академіи Наукъ), и этой радостью совершенно искупалась гибель знакомыхъ съ дѣтства стульевъ и столовъ. Мы жили въ Петербургѣ въ двухъ комнатахъ на квартирѣ у бабушки, которую почему-то дважды водили на допросъ. Она простудилась и умерла. Черезъ нѣсколько дней послѣ ея кончины, въ одинъ изъ тѣхъ страшныхъ, зимнихъ вечеровъ, голодныхъ и безнадежныхъ, которые принимали такое зловѣще-близкое участіе въ гражданской смутѣ, ко мнѣ прибѣжалъ неизвѣстный юноша въ пенсѣ, невзрачный и малообщительный, прося меня немедленно зайти къ его дядѣ, географу Березовскому. Онъ не зналъ или не хотѣлъ сказать — по какому дѣлу, но у меня вдругъ все какъ-то обвалилось внутри, и я уже жилъ машинально. Теперь, спустя нѣсколько лѣтъ, я этого Мишу иногда встрѣчаю въ Берлинѣ, въ русскомъ книжномъ магазинѣ, гдѣ онъ служитъ, — и всякій разъ, какъ вижу его, хотя мало съ нимъ разговариваю, я чувствую проходящую по всему станковому столбу горячую дрожь, и всѣмъ существомъ переживаю вновь нашъ съ нимъ короткій путь. Матери моей не было, когда зашелъ этотъ Миша (имя его я тоже запомнилъ навѣки), но мы ее встрѣтили, спускаясь по лѣстницѣ; не зная моего спутника, она съ волненіемъ спросила, куда я иду. Я отвѣтилъ, что — за машинкой для стрижки волосъ, о добываніи которой случайно на-дняхъ была рѣчь. Она потомъ маѣ часто спилась, эта несуществующая машинка, принимая самыя неожиданныя образы, — горы, пристани, гроба, шарманки, — но всегда я зналъ, чутѣемъ сновидѣнія, что это она. «Постой!», — крикнула мать, но мы уже были внизу. По улицѣ мы шли скоро и молча, онъ чуть впереди меня. Я смотрѣлъ на маски домовъ, на горбы сугробовъ, я старался перехитрить судьбу, представляя себѣ (и этимъ напередъ уничтожая его возможность) еще неосмысленное, черное, свѣжее горе, которое понесу обратно домой. Мы вошли въ комнату, забывшись мнѣ почему-то

совершенно желтою, и тамъ старикъ съ острой бородкой, въ старомъ френчѣ и длинныхъ сапогахъ, безъ обиняковъ объявилъ мнѣ, что, по свѣдѣніямъ, еще непровѣреннымъ, моего отца нѣтъ больше въ живыхъ. Мать ждала меня внизу, на улицѣ.

Въ теченіе полугода (до того, какъ дядя Олегъ почти насильно насъ перевелъ за границу) мы пытались узнать, какъ и гдѣ онъ погибъ, — да и погибъ ли. Кромѣ того, что это случилось въ Сибири (Сибирь велика!), на обратномъ пути изъ Средней Азіи, мы не узнали ничего. Неужели скрывали отъ насъ мѣсто и обстоятельства его загадочной гибели — и до сихъ поръ продолжаютъ скрывать? (Биографія въ совѣтской энциклопедіи кончается просто словами: «Скончался въ 1919 году»). Или дѣйствительно противорѣчивость смутныхъ вѣстей не допускала определенности въ отвѣтахъ? Уже въ Берлинѣ изъ разныхъ источниковъ и отъ разныхъ лицъ мы кое-что узнали дополнительно, но дополненія эти оказались лишь наслоеніями неизвѣстности, а не просвѣтами въ ней. Двѣ шаткихъ версіи, обѣ свойства скорѣй дедуктивнаго (къ тому же неговорившія главнаго: какъ именно погибъ онъ, — если погибъ), безпрестанно путались между собой, взаимно другъ друга опровергая. По одной, вѣсть о его смерти доставилъ какой-то киргизъ въ Семипалатинскъ, по другой — какой-то казакъ въ Акъ-Булатъ. Какъ онъ шель? Ъхаль ли изъ Семирѣчья на Омскъ (ковыльной степью, съ жожакомъ на чубарой юргѣ), или изъ Памира на Оренбургъ, черезъ Тургайскую область (степью песчаной, съ жожакомъ на верблюдѣ, онъ самъ на конѣ, ноги въ березовыхъ стремянахъ, — все дальше на Сѣверъ, отъ колодца до колодца, избѣгая ауловъ и полотна)? Какъ проходилъ онъ сквозь бурю крестьянской войны, какъ уклонялся отъ красныхъ, — не могу разобрать ничего, — да и какая шапка-невидимка могла придтись ему въ пору — ему, который и такую носилъ бы набекрень? Скрывался ли онъ въ рыбацкихъ хатахъ (какъ полагаетъ Крюгеръ)

на станціи «Аральское Море», у степенныхъ уральцевъ-старовѣровъ? А если погибъ, — какъ погибъ? «Въ чемъ твое званіе?» — спросилъ Пугачевъ астронома Ловица. «Въ исчисленіи звѣздъ». Вотъ и повѣсилъ его, чтобы былъ поближе къ звѣздамъ. Какъ, какъ онъ погибъ? Отъ болѣзни, отъ холода, отъ жажды, отъ руки человѣка? И, если — отъ руки, неужто и по сей день рука эта жива, беретъ хлѣбъ, поднимаетъ стаканъ, гонитъ муху, шевелится, указываетъ, манитъ, лежитъ неподвижно, пожимаетъ другія руки? Долго ли отстрѣливался онъ, припасъ ли для себя послѣднюю пулю, взять ли былъ живымъ? Привели ли его въ штабной салонъ-вагонъ какого-нибудь карательнаго отряда (вижу страшный паровозъ, отопляемый сушиной рыбой), принявъ его за блага шпіона (да и то сказать: съ Лавромъ Корниловымъ однажды въ молодости онъ объѣздилъ Степь Отчаянія, а впоследствии встрѣчался съ нимъ въ Китаѣ)? Разстрѣляли ли его въ дамской комнатѣ какой-нибудь глухой станціи (разбитое зеркало, изодранный плющъ) или увели въ огородъ темной ночью и ждали, пока проглянетъ луна? Какъ ждалъ онъ съ ними во мракѣ? Съ усмѣшкой пренебреженія. И если бѣлесая ночница маячила въ темнотѣ лопуховъ, онъ и въ эту минуту, я знаю, прослѣдилъ за ней тѣмъ же поощрительнымъ взглядомъ, какимъ, бывало, послѣ вечерняго чая, куря трубку въ лѣшинскомъ саду, привѣтствовалъ розовыхъ посѣтительницъ сириси.

А иногда мнѣ сдается, что все это вздорный слухъ, являя легенда, что создана она изъ тѣхъ же сомнительныхъ крупницъ приблизительнаго знанія, которымъ пользуюсь я, когда путается моя мечта въ областяхъ, извѣстныхъ мнѣ лишь по наслышкѣ да изъ книгъ, такъ что первый же бывалый человѣкъ, выдавшій на самомъ дѣлѣ упомянутыя мѣста въ тѣ годы, откажется признать ихъ, высмѣетъ экзотичность моей мысли, холмы моей печали, обрывы воображенія, и найдетъ въ догадкахъ моихъ столько же топографическихъ ошибокъ, сколько анахронизмовъ. Тѣмъ

лучше. Разъ слухъ о гибели отца — вымыселъ, не слѣдуетъ ли допустить, что самый его путь изъ Азіи лишь придѣланъ въ видѣ хвоста къ вымыслу (вродѣ того змѣя, который молодой Гриневъ мастерилъ изъ географической карты), и что можетъ быть, по причинамъ еще неизвѣстнымъ, мой отецъ, если и пустился въ обратный путь (а не разбился въ пропасти, не завязъ въ плѣну у буддійскихъ монаховъ), избралъ совершенно другую дорогу. Мнѣ приходилось даже слышать предположенія (звучащія, какъ запоздалый совѣтъ), что вѣдь могъ онъ пойти на западъ въ Ладакъ, чтобы спуститься въ Индію, или почему было ему не отправиться въ Китай, а оттуда на любомъ кораблѣ — въ любой портъ на свѣтѣ?

Такъ ли, иначе ли, но всѣ матеріалы, касающіеся жизни его, у меня теперь собраны. Изъ тьмы черновиковъ, длинныхъ выписокъ, неразборчивыхъ набросковъ на разнородныхъ листкахъ, карандашныхъ замѣтокъ, разбредшихся по полямъ какихъ-то другихъ моихъ писаній, изъ полувычеркнутыхъ фразъ, недоконченныхъ словъ и непредусмотрительно сокращенныхъ, уже теперь забытыхъ, названій, въ полномъ своемъ видѣ прячущихся отъ меня среди бумагъ, — изъ хрупкой статистики невозобновимыхъ свѣдѣній, мѣстами уже разрушенныхъ слишкомъ скорымъ движеніемъ мысли, въ свою очередь расплывшейся въ пустотѣ, — изъ всего этого мнѣ теперь нужно сдѣлать стройную, ясную книгу. Временами я чувствую, что гдѣ-то она уже написана мной, что вотъ она скрывается тутъ, въ чернильныхъ дебряхъ, что ее только нужно высвободить по частямъ изъ мрака, и части сложатся сами... — но что мнѣ въ томъ проку, — когда этотъ трудъ освобожденія кажется мнѣ теперь такимъ тяжелымъ и сложнымъ, — такъ страшно, что загрязню его краснымъ словцомъ, замаю переноской, — что уже сомнѣваюсь, будетъ ли книга написана на самомъ дѣлѣ. Ты хорошо сама знаешь, съ какимъ набожнымъ чувствомъ, съ какимъ волненіемъ я готовился къ ней. Ты сама мнѣ писала о требованіяхъ,

которыя слѣдуетъ къ такому труду предъявить. Но теперь мнѣ думается, что я бы исполнилъ ихъ дурно. Не брани меня за слабость и трусость. Какъ-нибудь я тебѣ прочту случайные, разрозненные, неформившіеся обрывки записаннаго мной: какъ оно непохоже на мою статную мечту! Всѣ эти мѣсяцы, пока я собиралъ, записывалъ, вспоминалъ, думалъ, я былъ блаженно счастливъ: я былъ увѣренъ, что создается что-то неслыханно прекрасное, что замѣтки мои — лишь маленькое подспорье ему, вѣшки, вѣшалки, а что главное развивается и творится само по себѣ, но теперь я вижу, точно проснувшись на полу, что ничего, кромѣ этихъ жалкихъ замѣтокъ, и нѣтъ. Какъ же мнѣ быть? Знаешь, когда я читаю его или Грума книги, слушаю ихъ упойтельный ритмъ, изучаю расположе- ніе словъ, незамѣнимыхъ ничѣмъ и неперемѣстимыхъ никакъ, мнѣ кажется кощунственнымъ взять да и разбавить все это собой. Хочешь, я тебѣ признаюсь: вѣдь я-то самъ лишь искатель словесныхъ приключеній, — и прости меня, если я отказываюсь травить мою мечту тамъ, гдѣ на свою охоту ходилъ отецъ. Видишь ли, я понялъ невозможность дать произрасти образамъ его странствій, не заразивъ ихъ вторичной поэзіей, все больше удаляющейся отъ той, которую заложилъ въ нихъ живой опытъ воспріимчивыхъ, знающихъ и цѣломудренныхъ натуралистовъ.

«Что жъ, понимаю и сочувствую, — отвѣчала мать. — Мнѣ грустно, что это у тебя не получается, но конечно не надо себя форсировать. А съ другой стороны я убѣждена, что ты немножко преувеличиваешь. Я убѣждена, что, не думай ты такъ много о слогѣ, о трудностяхъ, о томъ, что поцѣлуй первый шагъ къ охлажденью, и т. д., у тебя навѣрно бы вышло очень хорошо, очень правдиво, очень интересно. Только въ томъ случаѣ, если ты представляешь себѣ, что онъ читаетъ твою книгу, и ему непріятно, и тебѣ совѣстно, только тогда, брось, брось, конечно. Но я знаю, что этого не можетъ быть, знаю, что онъ сказалъ

бы тебѣ: молодецъ. Мало того, я убѣждена, что эту книгу ты все-таки когда-нибудь напишешь».

Внѣшнимъ толчкомъ къ прекращенію работы послужилъ для Федора Константиновича переѣздъ на другую квартиру. Къ чести его хозяйки слѣдуетъ сказать, что она долго, два года, терпѣла его. Но когда ей представилась возможность получить съ апрѣля жилищу идеальную, — пожилую барышню, встающую въ половинѣ восьмого, сидящую въ конторѣ до шести, ужинающую у своей сестры и ложащуюся спать въ десять, — фрау Стобой попросила Федора Константиновича подыскать себѣ въ теченіе мѣсяца другой кровъ. Онъ же все откладывалъ эти поиски, не только по лѣни и оптимистической склонности придавать дарованному отрѣзку времени округлую форму безконечности, но еще потому, что ему было нестерпимо противно вторгаться въ чужіе міры для высматриванія себѣ мѣста. Чернышевская, впрочемъ, обѣщала ему свое содѣйствіе. Мартъ былъ уже на исходѣ, когда, однажды вечеромъ, она ему сказала:

«У меня, кажется, для васъ что-то имѣется. Вы развѣ видѣли у меня Тамару Григорьевну, такую армянскую даму. Она до сихъ поръ снимала комнату у однихъ русскихъ, и оказывается теперь ищетъ, кому ее передать».

«Значитъ, было плохо, если ищетъ», — безопасно замѣтилъ Федоръ Константиновичъ.

«Нѣтъ, она просто вернулась къ мужу. Впрочемъ, если вамъ заранѣе не нравится, я хлопотать не стану, — я всегдѣмъ не люблю хлопотать».

«Не обижайтесь, — сказалъ Федоръ Константиновичъ, — очень нравится, клянусь».

«Понятно, не исключается, что уже слано, но я все-таки совѣтовала бы вамъ съ ней созвониться».

«О, непременно», — сказалъ Федоръ Константиновичъ.

«Такъ какъ я знаю васъ, — продолжала Александра Яковлевна, уже перелистывая черную записную книжку, — и такъ какъ знаю, что вы сами никогда не позвоните...»

«Завтра же», — сказала Федоръ Константиновичъ.

«...такъ какъ вы этого никогда не сдѣлаете... Уландъ сорокъ восемь тридцать одинъ... то сдѣлаю это я. Сейчас соединю васъ, и вы у нея все спросите».

«Постойте, постойте, — заволновался Федоръ Константиновичъ, — я абсолютно не знаю, что нужно спрашивать».

«Не беспокойтесь, она сама вамъ все скажетъ», — и Александра Яковлевна, быстрымъ шопотомъ повторивъ номеръ, потянулась къ столику съ аппаратомъ.

Какъ только она приложила трубку къ уху, тѣло ея на диванѣ приняло привычную телефонную позу, изъ сидячаго положенія она перебралась въ полулужачее, оправила, не глядя, юбку, голубые глаза задвигались туда и сюда въ ожиданіи соединенія. «Хорошо бы», — начала она, но тутъ барышня откликнулась, и Александра Яковлевна сказала номеръ съ какимъ-то абстрактнымъ увѣщаніемъ въ тонѣ и особымъ ритмомъ въ произношеніи цифръ — точно 48 было тезисомъ, а 31 антитезисомъ, — прибавивъ въ видѣ синтеза: яволь. «Хорошо бы, — обратилась она къ Федору Константиновичу, — если бъ она пошла туда съ вами. Я увѣрена, что вы никогда въ жизни...» Вдругъ, съ улыбкой опустивъ глаза, поведя полненькимъ плечомъ, слегка скрестивъ вытянутыя ноги: «Тамара Григорьевна?» — спросила она новымъ голосомъ, мягкимъ и приглашающимъ. Тихо засмѣялась, слушая, и уцепнула складку на юбкѣ. «Да, это я, вы правы. Мнѣ казалось, что вы какъ всегда меня не узнаете. Хорошо, — скажемъ: часто». Усаживая тонъ свой еще уютнѣе: «Ну, что у васъ слышно?» Слушала, что слышно, мигая; какъ бы въ скобкахъ подтолкнула коробку съ зеленымъ мармеладомъ по направленію къ Федору Константиновичу; затѣмъ носки ея маленькихъ ногъ въ потертыхъ бархатныхъ башмачкахъ ча, какъ микроскопическій лай, отвѣтила со вздохомъ: Да мнѣ уже объ этомъ говорили, но я думала, что у него есть постоянная практика». Продолжала слушать. Въ тишинѣ

раздавалась бесконечно малая дробь потусторонняго голоса. «Ну, это глупости, — сказала Александра Яковлевна, — ахъ, это глупости». «Значить, вотъ у васъ какія дѣла, — протянула она черезъ минуту, — и потомъ, на быстрый вопросъ, прозвучавшій для Федора Константиновича такъ себѣ, ничего новаго. Александръ Яковлевичъ здоровъ, занимается своимъ дѣломъ, сейчасъ въ концертѣ, а я такъ, ничего особеннаго не дѣлаю. У меня сейчасъ сидить... Ну, конечно, развлекаетъ его, но вы не можете себѣ представить, какъ я иногда мечтаю куда-нибудь съ нимъ поѣхать хотя бы на мѣсяцъ. Что вы? Нѣтъ, не знаю куда. Вообще иногда очень на душѣ тяжело, а такъ ничего новаго». Медленно осмотрѣла свою ладонь, да такъ и осталась съ приподнятой рукой. «Тамара Григорьевна, у меня сейчасъ сидитъ Годуновъ-Чердынцевъ. Между прочимъ, онъ ищетъ комнату. У вашихъ этихъ еще свободно? А, это чудно. Погодите, передаю трубку».

«Здравствуйте, — сказала Федоръ Константиновичъ, кланяясь телефону, — мнѣ Александра Яковлевна...»

Звучный, такъ что даже зашекотало въ среднемъ ухѣ, необыкновенно проворный и отчетливый голосъ сразу завладѣлъ разговоромъ. «Комната еще не сдана, — быстро стала рассказывать мало извѣстная Тамара Григорьевна, — и они какъ разъ очень хотѣли бы русскаго жильца. Я вамъ сейчасъ скажу, кто они. Фамилья — Щеголевъ, это вамъ ничего не говорить, но онъ былъ въ Россіи прокуроромъ, очень, очень культурный, симпатичный человекъ... И, значить, жена его, тоже милѣйшая, и дочь отъ перваго брака. Теперь такъ: живутъ они на Агамемнонъштрассе 15, чудный районъ, квартира малюсенькая, но хохъ-модернъ, центральное отопленіе, ванна, — однимъ словомъ, все-все-все. Комната, въ которой вы будете жить, — прелесть, но (съ оттяжкой) выходитъ во дворъ, это конечно маленькій минусъ. Я вамъ скажу, сколько я за нее платила, я платила за нее тридцать пять марокъ въ мѣсяцъ. Чудный каучъ, тишина. Ну вотъ. Что вамъ еще

сказать? Я у нихъ столовалась и должна признаться, что отлично, отлично, но о цѣнѣ вы сами столкуетесь, я была на діэтѣ. Теперь мы сдѣлаемъ такъ. Я у нихъ завтра все равно буду утромъ, такъ въ полъ одиннадцатаго, я очень точна, и вы туда, значить, приходите».

«Одну минуточку, — сказалъ Федоръ Константиновичъ (для котораго встать въ десять было то же, что другому встать въ пять), — одну минуточку. Я завтра, кажется.. Можетъ быть, лучше будетъ, если я вамъ...»

Онъ хотѣлъ сказать: «Позвоню», — но Александра Яковлевна, сидѣвшая близко, сдѣлала такіе глаза, что онъ, переглотнувъ, тотчасъ поправился: «Да, въ общемъ, могу, — сказалъ онъ безъ оживленія, — благодарю васъ, я приду».

«Ну вотъ... (повѣствовательно) значить, Агамемнонъ-штрассе 15, третій этажъ, есть лифтъ. Такъ мы и сдѣлаемъ. До завтра, буду очень рада».

«До свиданія», — сказалъ Федоръ Константиновичъ.

«Стойте, — крикнула Александра Яковлевна, — пожалуйста, не разъединяйте».

На другое утро, когда, съ ватой въ мозгу, раздраженный и какой-то половинчатый (словно другая половина по случаю ранняго часа еще не открылась), онъ явился по указанному адресу, выяснилось, что Тамара Григорьевна не только не пришла, но звонила, что придти не можетъ. Его принялъ самъ Щеголевъ (никого больше не было дома), оказавшійся громоздкимъ, пухлымъ, очеркомъ напоминавшимъ карпа, человѣкомъ лѣтъ пятидесяти, съ однимъ изъ тѣхъ открытыхъ русскихъ лицъ, открытость которыхъ уже почти непристойна. Это было довольно полное лицо овального покроа, съ маленькой черной бородкой подъ самой губой. У него была замѣчательная и тоже чѣмъ-то непристойная прическа: жидкіе, черные волосы, ровно приглаженные и раздѣленные проборомъ несовсѣмъ посрединѣ головы, но и не сбоку. Крупныя уши, простые мужскіе глаза, толстый, желтоватый носъ и влаж-

ная улыбка дополняли общее пріятное впечатлѣніе. «Годуновъ-Чердынцевъ, — повторилъ онъ, — какъ же, какъ же, извѣстѣйшая фамилья. Я знаваль... позвольте — это не батюшка ли вашъ, Олегъ Кирилловичъ? Ага, дядя. Гдѣ же онъ обрѣтается теперь? Въ Филадельфіи? Ну, это не близко. Смотрите, куда забрасываетъ нашего брата! Удивительно. А вы съ нимъ въ контактѣ? Такъ, такъ. Ну-съ, давайте, не откладывая долговъ въ ящикъ, покажу вамъ апартаментъ».

Изъ передней направо былъ короткій проходъ, сразу сворачивавшій подъ прямымъ угломъ направо-же и въ видѣ зачаточнаго коридора упиравшійся въ полуоткрытую дверь кухни. По его лѣвой стѣнѣ видѣлись двѣ двери, первую изъ которыхъ Щеголевъ, энергично сопнувъ, отпахнулъ. Оглянулась и замерла передъ нами маленькая, продолговатая комната, съ крашеными вохрой стѣнами, столomъ у окна, кушеткой вдоль одной стѣны и шкапомъ у другой. Федору Константиновичу она показалась отталкивающей, враждебной, совершенно не съ жизни ему (какъ бываетъ «не съ руки»), расположенной на нѣсколько роковыхъ градусовъ вкось (какъ пунктиромъ отмѣчается смѣщеніе геометрической фигуры при вращеніи) по отношенію къ тому воображаемому прямоугольнику, въ предѣлахъ котораго онъ могъ бы спать, читать, думать; но если бъ даже и можно было чудомъ выправить жизнь согласно углу этой не такъ стоявшей коробки, все равно обстановка ея, окраска, видъ на асфальтовый дворъ, все — было невыносимо, и онъ сразу же рѣшилъ, что ея не найметъ ни за что.

«Ну-съ вотъ, — бодро сказала Щеголевъ, — а тутъ рядомъ ванная. Тутъ немножко не убрано. Теперь, если рѣшите...» Онъ сильно столкнулся съ Федоромъ Константиновичемъ, повернувшись въ узкомъ проходѣ, и, виновато охнувъ, схватилъ его за плечо. Вернулись въ прихожую. «Тутъ комната дочки, тутъ — наша, — сказала онъ, указывая на двѣ двери, слѣва и справа. А вотъ столовая,

— и, отворивъ дверь въ глубинѣ, онъ на нѣсколько секундъ, словно снимая съ выдержкой, подержалъ ее въ открытомъ положеніи. Федоръ Константиновичъ миновалъ взглядомъ столъ, вазу съ орѣхами, буфетъ... У дальняго окна, гдѣ стояли бамбуковый столикъ и высокое кресло, вольно и воздушно лежало поперекъ его подлокотниковъ голубоватое газовое платье, очень короткое, какъ носили тогда на балахъ, а на столикѣ блестяль серебряный цвѣтокъ рядомъ съ ножницами.

«Вотъ и все, — сказалъ Щеголевъ, осторожно затворивъ дверь, — видите, — уютно, по-семейному, все у насъ небольшое, но все есть. Ежели пожелаете получать отъ насъ харчи, милости просимъ, поговоримъ объ этомъ съ моей супружницей, она, между нами, готовитъ неплохо. За комнату будемъ у васъ по знакомству брать столько же, сколько у мадамъ Абрамовой, притѣснять не будемъ, будете жить, какъ Христосъ за пазухой», — и Щеголевъ сочно разсмѣялся.

«Да, мнѣ комната, кажется, подходит, — сказалъ Федоръ Константиновичъ, стараясь на него не глядѣть. — И я собственно хотѣлъ бы уже въ среду въѣхать».

«Сдѣлайте одолженіе», — сказалъ Щеголевъ.

Случалось ли тебѣ, читатель, испытывать тонкую грусть разставанія съ нелюбимой обителью? Не разрывается сердце, какъ при прощаніи съ предметами, милыми намъ. Увлажненный взоръ не блуждаетъ округъ, удерживая слезу, точно желалъ бы въ ней унести дрожащій отсветъ покидаемаго мѣста; но въ лучшемъ уголку души мы чувствуемъ жалость къ вещамъ, которыхъ собой не ожидали, едва замѣчали, и вотъ покидаемъ навѣки. Этотъ мертвый уже инвентарь не воскреснетъ потомъ въ памяти: не пойдетъ вслѣдъ за нами постель, неся самое себя; отраженіе въ зеркальномъ шкапу не возстанетъ изъ своего гроба; одинъ только видъ въ окнѣ ненадолго пребудетъ, какъ вдѣланная въ крестъ выцвѣтшая фотографія аккуратно подстриженнаго, не мигающаго, господина въ

крахмальномъ воротничкѣ. Я бы тебѣ сказала прощай, но ты бы даже не услышала моего прощанія. Все-таки — прощай. Ровно два года я прожилъ здѣсь, обо многомъ здѣсь думалъ, тѣнь моего каравана шла по этимъ обоямъ, лиліи росли на коврѣ изъ папироснаго пепла, — но теперь путешествіе кончилось. Потоки книгъ возвратились въ океанъ бібліотеки. Не знаю, перечту ли когда наброски и выписки уже сунутые подъ бѣлье въ чемоданъ, но знаю, что никогда, никогда сюда не загляну болѣ.

Федоръ Константиновичъ заперъ, сидя на немъ, чемоданъ, обошелъ комнату, на послѣдокъ осмотрѣлъ ея ящики, но ничего не нашель: мертвецы не воруютъ. По оконному стеклу ползла вверхъ муха, нетерпѣливо срывалась, полупадала, полудетѣла внизъ, словно что-то тряся, и опять принималась ползти. Домъ насупротивъ, который онъ въ позапрошломъ апрѣлѣ засталъ въ лѣсахъ, теперь очевидно опять требовалъ ремонта: у панели лежали заготовленные доски. Онъ вынесъ вещи, пошелъ проститься съ хозяйкой, въ первый и послѣдній разъ пожалъ ея руку, оказавшуюся сухой, сильной, холодной, отдалъ ей ключи и вышелъ. Разстояніе отъ стараго до новаго жилья было примѣрно такое, какъ, гдѣ-нибудь въ Россіи, отъ Пушкинской — до улицы Гоголя.

ГЛАВА 3.

Каждое утро, въ началѣ девятого, одинъ и тотъ же звукъ за тонкой стѣной, въ аршинѣ отъ его виска, выводилъ его изъ дремоты. Это былъ чистый, круглодонный звонъ стакана, ставимаго обратно на стеклянную полочку; послѣ чего, хозяйская дочка откашливалась. Потомъ былъ прерывистый трескъ вращающагося валика, потомъ — спускъ воды, захлебывающейся, стонущей и вдругъ пропадавшей, потомъ — загадочный внутренній вой ваннаго крана, превращавшійся наконецъ въ шорохъ душа.

Звякала задвижка, мимо двери удалялись шаги. Къ нимъ навстрѣчу шли другіе, темно-тяжелые, съ пришепомъ: это Маріанна Николаевна спѣшила на кухню варить дочкѣ кофе. Было слышно, какъ сначала газъ не бралъ спички, шумно лопаясь; укрошенный, вспыхиваль и ровно шипѣль. Первые шаги возвращались, уже на каблукахъ; на кухнѣ начинался скорый, сердито взволнованный разговоръ. Какъ иные говорятъ съ южнымъ или московскимъ акцентомъ, такъ мать и дочь неизмѣнно говорили между собой съ произношеніемъ ссоры. Голоса были схожи, оба смуглые и гладкіе, но одинъ былъ грубѣе и какъ бы тѣснѣе, другой — вольнѣе и чище. Въ рокотѣ материнскаго была просьба, даже виноватая просьба; въ укорачивающихся отвѣтахъ дочери звенѣла злость. Подъ эту невнятную утреннюю бурю Федоръ Константиновичъ опять мирно засыпаль.

Въ рѣдѣющей мѣстами дремотѣ онъ различаль звуки уборки; стѣна вдругъ рушилась на него: это половая щетка поѣхала и хлопнулась у его двери. Разъ въ недѣлю толстая, тяжело переводившая духъ, пахнувшая кислымъ потомъ швейцариха приходила съ пылесосомъ, и тогда начинался адъ, міръ рвался на части, адскій скрежетъ проникаль въ самую душу, разрушая ее, и гналь Федора Константиновича изъ постели, изъ комнаты, изъ дома. Обычно же, около десяти Маріанна Николаевна въ свою очередь занимала ванную, а послѣ нея, уже харкая на ходу, туда слѣдовалъ Иванъ Борисовичъ. Воду онъ спускаль до пяти разъ; ванной не пользовался, удовлетворяясь лепестомъ маленькаго умывальника. Къ половинѣ одиннадцатаго все въ домѣ стихало: Маріанна Николаевна уходила за хозяйственными покупками, Щеголевъ — по своимъ темнымъ дѣламъ. Федоръ Константиновичъ погружался въ блаженную бездну, въ которой теплые остатки дремоты мѣшались съ чувствомъ счастья, вчерашняго и предстоящаго.

Довольно часто теперь онъ день начиналь стихотворе-

ніемъ. Лежа навзничь, съ первой, утоляюще-вкусной, крупной и длительной папиросой между запекшихся губъ, онъ снова, послѣ перерыва почти въ десять лѣтъ, сочинялъ того особаго рода стихи, которые въ ближайшій же вечеръ дарятся, чтобы отразиться въ волнѣ, вынесшей ихъ. Онъ сравнивалъ строй этихъ со строемъ тѣхъ. Слова тѣхъ были забыты. Только кое-гдѣ среди стертыхъ буквъ еще сохранились риѣмы, богатенькія вперемѣшку съ нищими: поцѣлуя-тоскуя, липъ-скрипъ, аллея-алѣя (листья или закатъ?). Въ то шестнадцатое лѣто его жизни онъ впервые взялся за писаніе стиховъ серьезно; до того, кромѣ энтимологическихъ частушекъ, ничего и не было. Но какая-то атмосфера сочинительства была ему давно знакома и привычна: въ домѣ пописывали всѣ — писала Таня, въ альбомчикъ съ ключикомъ; писала мать, трогательно неприятельныя стихотворенія въ прозѣ о красотѣ родныхъ мѣсть; отецъ и дядя Олегъ складывали стишки на случай — и случаи эти были нерѣдки; тетя Ксенія, та, писала стихи только по-французски, темпераментные и «звучные», совершенно игнорируя при этомъ тонкости силлабическаго стиха; ея изліянія были очень популярны въ петербургскомъ свѣтѣ, особенно поэма «La femme et la panthère», а также переводъ изъ Апухтина

Le gros grec d'Odessa, le juif de Varsovie,
Le jeune lieutenant, le général âgé,
Tous ils cherchaient en elle un peu de folle vie,
Et sur son sein rêvait leur amour passager.

Наконецъ былъ и одинъ «настоящій» поэтъ, двоюродный братъ матери, князь Волховской, издавшій толстый, дорогой, на бархатистой бумагѣ, дивнымъ шрифтомъ набранный, весь въ итальянскихъ виноградныхъ виньеткахъ, томъ томныхъ стихотвореній «Зори и Звѣзды», съ фотографическимъ портретомъ автора въ началѣ и чудовищнымъ спискомъ опечатокъ въ концѣ. Стихи были разбиты на отдѣлы: Ноктюрны, Осенніе Мотивы, Струны Любви.

Надъ большинствомъ былъ гербъ эпитафия, а подъ каждымъ — точная дата и мѣсто написанія: «Сорренто», «Ай-Тодоръ» или «Въ поѣздѣ». Я ничего не помню изъ этихъ пьесокъ, кромѣ часто повторяющагося слова «экстазь», которое уже тогда для меня звучало какъ старая посуда: «эксъ-тазь».

Мой отецъ мало интересовался стихами, дѣлая исключеніе только для Пушкина: онъ зналъ его, какъ иные знаютъ церковную службу, и, гуляя, любилъ декламировать. Мнѣ иногда думается, что эхо «Пророка» еще до сихъ поръ дрожитъ въ какомъ-нибудь гулко-переимчивомъ азіатскомъ ущельѣ. Еще онъ цитировалъ, помнится, несравненную «Бабочку» Фета и тютчевскія «Тѣни сизыя»; но то, что такъ нравилось нашей роднѣ, жиденькая, удобозапоминаемая лирика конца прошлаго вѣка, жадно ждущая переложенія на музыку, какъ избавленія отъ блѣдной немочи словъ, проходило совершенно мимо него. Поэзію же новѣйшую онъ считалъ вздоромъ, — и я при немъ не очень распространялся о моихъ увлеченіяхъ въ этой области. Когда онъ однажды перелисталъ, съ готовой уже усмѣшкой, книжки поэтовъ, разсыпанныя у меня на столѣ, и какъ разъ попалъ на самое скверное у самаго лучшаго изъ нихъ (тамъ, гдѣ появляется невозможный, невыносимый «джентльменъ» и рѣмуется «коверъ» и «сѣръ»), мнѣ стало до того досадно, что я ему быстро подсунулъ «Громокипящій Кубокъ», чтобы ужъ лучше на немъ онъ отвелъ душу. Вообще же мнѣ казалось, что если бы онъ на время забылъ то, что я, по глупости, называлъ «классицизмомъ» и безъ предубѣжденія вникъ бы въ то, что я такъ любилъ, онъ понялъ бы новое очерованіе, появившееся въ чертахъ русской поэзіи, очарованіе, чуемое мною даже въ самыхъ нелѣпыхъ ея проявленіяхъ. Но когда я подсчитываю, что теперь для меня уцѣлѣло изъ этой новой поэзіи, то вижу, что уцѣлѣло очень мало, а именно только то, что естественно продолжаетъ Пушкина, между тѣмъ, какъ пестрая шелуха, дрянная фальшь, маски без-

дарности и ходули таланта — все то, что когда-то моя любовь прощала или освѣщала по-своему, а что отцу моему казалось истиннымъ лицомъ новизны, — «мордой модернизма», какъ онъ выражался, — теперь такъ устарѣло, такъ забыто, какъ даже не забыты стихи Карамзина; и когда мнѣ попадается на чужой полкѣ иной сборникъ стиховъ, когда-то жившій у меня какъ братъ, то я чувствую въ нихъ лишь то, что тогда, вчужѣ, чувствовалъ мой отецъ. Его ошибка заключалась не въ томъ, что онъ свально охаялъ всю «поэзію модернъ», а въ то, что онъ въ ней не захотѣлъ высмотрѣть длинный животворный лучъ любимого своего поэта.

Я съ ней познакомился въ іюнѣ 1916 года. Ей было года двадцать три. Ея мужъ, приходившійся намъ дальнимъ родственникомъ, былъ на фронтѣ. Она жила на дачкѣ въ предѣлахъ нашего имѣнія и часто пріѣзжала къ намъ. Изъ-за нея я едва не забылъ бабочекъ и новсе проглядѣлъ русскую революцію. Зимой 1917 года она уѣхала въ Новороссійскъ, — и только въ Берлинѣ я случайно узналъ о ея страшной смерти. Была она худенькая, съ высоко причесанными каштановыми волосами, веселымъ взглядомъ большихъ черныхъ глазъ, ямочками на блѣдныхъ щекахъ и нѣжнымъ ртомъ, который она подкрашивала изъ флакона съ румяной, душистой жидкостью, прикладывая стеклянную пробку къ губамъ. Во всей ея повадкѣ было что-то милое до слезъ, неопредѣлимое тогда, но что теперь мнѣ видится какъ какая-то патетическая безпечность. Она была не умна, мало образованна, банальна, т. е. полной твоей противоположностью... нѣтъ, нѣтъ, я вовсе не хочу сказать, что я ее любилъ больше тебя, или что тѣ свиданія были счастливѣе нашихъ вечернихъ встрѣчъ съ тобой... но всѣ ея недостатки таяли въ такомъ наплывѣ прелести, нѣжности, граціи, такое обаяніе исходило отъ ея самага скорога, безотвѣтственного слова, что я готовъ былъ смотрѣть на нее и слушать ее вѣчно, — а что теперь было бы, если бы она во-

скресла, — не знаю, не надо спрашивать глупостей. По вечерамъ я провожалъ ее домой. Эти прогулки мнѣ когда-нибудь пригодятся. Въ ея спальнѣ былъ маленькій портретъ царской семьи, и пахло по-тургеневски геліотропомъ. Я возвращался за полночь, благо гувернеръ уѣхалъ въ Англію, — и никогда я не забуду того чувства легкости, гордости, восторга и дикаго ночного голода (особенно хотѣлось простокваши съ чернымъ хлѣбомъ), когда я шелъ по нашей преданно и даже льстиво шелестѣвшей аллеѣ къ темному дому (только у матери — свѣтъ) и слышалъ лай сторожевыхъ псовъ. Тогда-то и началась моя стихотворная болѣзнь.

Бывало, сижу за завтракомъ, ничего не вижу, губы движутся, — и сосѣду, попросившему сахарницу, передаю свой стаканъ или салфетное кольцо. Несмотря на неопытное желаніе какъ можно скорѣе перевести на стихи шумъ любви, наполнявшій меня (вспоминаю, какъ дядя Олегъ такъ прямо и говорилъ, что, ежели онъ издалъ бы сборникъ, то непременно назвалъ бы его «Сердечные Шумы»), я уже тогда соорудилъ себѣ — грубую и бѣдную — мастерскую словъ. При подборѣ прилагательныхъ, я уже зналъ, что такія, какъ «таинственный» или «задумчивый» просто и удобно заполняютъ зіяющее, жаждущее мѣсто, пространство отъ цезуры до конечнаго слова; что, опять-таки, подъ это конечное слово можно взять дополнительное прилагательное, короткое, двусложное, такъ чтобы получилось, скажемъ, «таинственный и нѣжный», — звуковая формула, являющаяся, кстати сказать, настоящимъ бѣдствіемъ въ разсужденіи русской (да и французской) поэзіи; я зналъ, что сподручныхъ прилагательныхъ амфибрахического образца (т. е. тѣхъ, которыя зрительно можно себѣ представить въ видѣ дивана съ тремя подушками, — со впадиной въ средней) — пропасть, — и сколько я загубилъ такихъ «печальныхъ», «любимыхъ», «мятежныхъ»; что хорейскихъ тоже вдалась, а дактилическихъ — куда меньше, и какъ то они всѣ стоятъ въ профиль; что на-

конецъ анапестовъ и ямбовъ — маловато, и все скучноватые да негибкія, вродѣ «неземной» или «нѣмой». Я зналъ далѣе, что въ четырехстопный стихъ приходятъ съ собственнымъ оркестромъ длиннѣйшія, пріятнѣйшія «очаровательные» и «неизъяснимые», а что комбинація «таинственный и неземной» придаетъ четырехстопной строкѣ нѣкую муаровость: такъ посмотришь — амфибрахій, а этакъ — ямбъ. Нѣсколько позже монументальное изслѣдованіе Андрея Бѣлаго о ритмахъ загнилотизировало меня своей системой нагляднаго отмѣчанія и подсчитыванія полуудареній, такъ что всѣ свои старые четырехстопные стихи я немедленно просмотрѣлъ съ этой новой точки зрѣнія, страшно былъ огорченъ преобладаніемъ прямой линіи, съ пробѣлами и одиночными точками, при отсутствіи какихъ-либо трапецій и прямоугольниковъ; и съ той поры, въ продолженіе почти года, — сквернаго, грѣшнаго года, — я старался писать такъ, чтобы получалась какъ можно болѣе сложная и богатая схема:

Задумчиво и безнадежно
распространяетъ ароматъ
и неосуществимо нѣжно
ужь полуувядаетъ садъ, —

и такъ далѣе, въ томъ же духѣ: языкъ спотыкался, но честь была спасена. При изображеніи ритмической структуры этого чудовища получалось нѣчто вродѣ той шаткой башни изъ кофейницъ, корзинокъ, подносовъ, вазъ, которую балансируетъ на палкѣ клоунъ, пока не наступитъ на барьеръ, и тогда все медленно наклоняется надъ истошно вопящей ложей, а при паденіи оказывается безопасно нанизаннымъ на привязь.

Вслѣдствіе, вѣроятно, слабой моторности моей молодой роликовой лирики, глаголы и прочія части рѣчи менѣе занимали меня. Не то — вопросы размѣра и ритма. Борясь съ природной склонностью къ ямбу, я волочился за трехдольникомъ; а затѣмъ уклоненія отъ метра увлек-

ли меня. То было время, когда авторъ «Хочу быть дерзкимъ» пустилъ въ обиходъ тотъ искусственный четырехстопный ямбъ, съ наростомъ лишняго слога посрединѣ строки (или иначе говоря двухстопное восьмистишие съ женскими окончаніями кромѣ четвертой и послѣдней строки, поданное въ видѣ четверостишья), которымъ, кажется, такъ никогда и не написалось ни одно истинно поэтическое стихотвореніе. Я давалъ этому пляшущему горбуну нести закатъ или лодку и удивлялся, что тотъ гаснетъ, та не плыветъ. Легче обстояло дѣло съ мечтательной запинкой блоковского ритма, однако, какъ только я начиналъ пользоваться имъ, незамѣтно вкрадывался въ мой стихъ голубой пажъ, иннокъ или царевна, какъ по ночамъ къ антиквару Штольцу приходила за своей треуголкой тѣнь Бонапарта.

Риѣмы по мѣрѣ моей охоты за ними сложились у меня въ практическую систему нѣсколько картотечнаго порядка. Онѣ были распредѣлены по семейкамъ, получались гнѣзда риѣмъ, пейзажи риѣмъ. «Летучій» сразу собиралъ тучи надъ кручами жгучей пустыни и неминучей судьбы. «Небосклонъ» направлялъ музу къ балкону и указывалъ ей на клень. «Цвѣты» подзывали мечты, на ты, среди темноты. Свѣчи, плечи, встрѣчи и рѣчи создавали общую атмосферу старосвѣтскаго бала, Вѣнскаго конгресса и губернаторскихъ именинъ. «Глаза» синѣли въ обществѣ бирюзы, грозы и стрекозъ — и лучше было ихъ не трогать. «Деревья» скучно стояли въ парѣ съ «кочевья», — какъ въ наборной игрѣ «городовъ» Швеція была представлена только двумя городами (а Франція, та, — двѣнадцатью!). «Вѣтеръ» былъ одинокъ — только вдали бѣгаль непривлекательный сеттеръ, да пользовалась его предложнымъ падежомъ крымская гора, а родительный — приглашалъ геометра. Были и рѣдкіе экземпляры — съ пустыми мѣстами, оставляемыми для другихъ представителей серіи, вродѣ «аметистовый», къ которому я несразу подыскалъ «перелистывай» и совершенно непримѣни-

мага неистоваго пристава. Словомъ, это была прекрасно размѣченная коллекція, всегда у меня бывшая подъ рукой.

Не сомнѣваюсь, что даже тогда, въ пору той уродливой и вредоносной школы (которой врядъ ли бы я прельстился вообще, будь я поэтотъ чистой воды, такъ и не поддававшимся никогда соблазну гармонической прозы), я все-таки зналъ вдохновеніе. Волненіе, которое меня охватывало, быстро окидывало ледянымъ плащомъ, сжимало мнѣ суставы и дергало за пальцы, лунатическое блужданіе мысли, неизвѣстно какъ находившей среди тысячи дверей дверь въ шумный по ночному садъ, вздуваніе и сокращеніе души, то достигавшей размѣровъ звѣзднаго неба, то уменьшавшейся до капельки ртути, какое-то раскрываніе какихъ-то внутреннихъ объятій, классическій трепеть, бормотаніе, слезы, — все это было настоящее. Но въ эту минуту, въ торопливой, неумѣлой попыткѣ волненіе разрѣшить, я хватался за первыя попавшіяся заѣзженные слова, за готовое ихъ сцѣпленіе, такъ что какъ только я приступалъ къ тому, что мнилось мнѣ творчествомъ, къ тому, что должно было быть выраженіемъ, живой связью между моимъ божественнымъ волненіемъ и моимъ человѣческимъ міромъ, все гасло на гибельномъ словесномъ сквознякѣ, а я продолжалъ вращать эпитеты, налаживать рѣому, не замѣчая разрыва, униженія, измѣны, — какъ человѣкъ, рассказывающій свой сонъ (какъ всякій сонъ, безконечно свободный и сложный, но сворачивающійся какъ кровь, по пробужденіи), незамѣтно для себя и для слушателей округляетъ, подчищаетъ, одѣваетъ его по модѣ ходячаго бытія, и если начинается такъ: «Мнѣ снилось, что я сижу у себя въ комнатѣ», чудовищно опошляетъ приемы сновидѣнія, подразумѣвая, что она была обставлена совершенно такъ, какъ его комната наяву.

Прощаніе навѣки: въ зимній день съ крупнымъ снѣгомъ, валившимъ съ утра, всячески — и отвѣсно, и косо,

и даже вверхъ. Ея большіе ботики и маленькая муфта. Она увозила съ собой рѣшительно все — и между прочимъ тотъ паркъ, гдѣ лѣтомъ встрѣчались. Оставалась только его рюмованная, опись, да портфель подмышкой, потрепанный портфель восьмиклассника, непошедшаго въ школу. Странное стѣсненіе, желаніе сказать важное, молчаніе, разсѣянные, незначительныя слова. Любовь, скажемъ просто, повторяетъ передъ послѣдней разлукой музыкальную тему робости, предшествовавшую первому признанію. Клѣтчатое прикосновеніе ея соленыхъ губъ сквозь вуаль. На вокзалѣ была мерзкая, животная суета: это было время, когда щедрой рукой сѣялись сѣмена цвѣтка счастья, солнца, свободы. Онъ теперь подростъ. Россія заселена подсолнухами. Это самый большой, самый мордастый и самый глупый цвѣтокъ.

Стихи: о разлукѣ, о смерти, о прошломъ. Невозможно опредѣлить (но, кажется, это случилось уже за границей) точный срокъ перемѣны въ отношеніи къ стихотворчеству, — когда опротивѣла мастерская, классификація словъ, коллекція рюмъ. Но какъ было мучительно трудно все это сломать, разсыпать, забыть! Ложные навыки держались крѣпко, сжившіяся слова не хотѣли расцѣпиться. Сами по себѣ они не были ни плохи, ни хороши, но ихъ соединеніе по группамъ, круговая порука рюмъ, раздобрѣвшіе ритмы, — все это дѣлало ихъ страшными, гнусными, мертвыми. Считать себя бездарностью врядъ ли было бы лучше, чѣмъ вѣрить въ свою гениальность: Федоръ Константиновичъ сомнѣвался въ первомъ и допускалъ второе, а главное силился не поддаваться бѣсовскому увынію бѣлаго листа. Разъ были вещи, которыя ему хотѣлось высказать такъ же естественно и безудержно, какъ легкія хотять расширяться, значить должны были найтись годныя для дыханія слова. Часто повторяемая поэтами жалобы на то, что, ахъ, словъ нѣтъ, слова блѣдный тлѣнь, слова никакъ не могутъ выразить нашихъ какихъ-то тамъ чувствъ (и тутъ же кстати развѣзжается шести-

стопнымъ хореемъ), ему казались столь же бессмысленными, какъ степенное убѣжденіе старѣйшаго въ горной деревушкѣ жителя, что вонъ на ту гору никогда никто не взбирался и не взберется; въ одно прекрасное, холодное утро появляется длинный, легкій англичанинъ — и жизнерадостно вскарабкивается на вершину.

Первое чувство освобожденія шевельнулось въ немъ при работѣ надъ книжкой «Стихи», изданной вотъ уже больше двухъ лѣтъ тому назадъ. Она осталась въ сознаниіи пріятнымъ упражненіемъ. Кое-что правда изъ этихъ пятидесяти восьмистишій было вспоминать совѣстно, — напримѣръ, о велосипедѣ или дантистѣ, — но зато было и кое-что живое и вѣрное: хорошо получился закатившійся и найденный мячъ, причемъ въ послѣдней строфѣ нарушеніе рифмы (словно строка перелилась черезъ край) до сихъ поръ пѣло у него въ слухѣ, все такъ же выразительно и вдохновенно. Книгу онъ издалъ за свой счетъ (продалъ случайно оставшійся отъ прежняго богатства плоскій золотой портсигаръ, съ нацарапанной датой далекой лѣтней ночи, — о какъ скрипѣла ея мокрая отъ росы калитка!) въ количествѣ пятисотъ экземпляровъ, изъ коихъ четыреста двадцать девять лежали до сихъ поръ, непечатые и пыльные, ровнымъ плоскогоріемъ съ однимъ уступомъ на складѣ у распространителя. Девятнадцать онъ раздарилъ, одинъ оставилъ себѣ. Иногда задумывался надъ вопросомъ, кто, собственно говоря, эти пятьдесятъ одинъ человекъ, купившіе его книжечку? Онъ представлялъ себѣ нѣкоторое помѣщеніе, полное этихъ людей (вродѣ собранія акціонеровъ, — «читателей Годунова-Чердынцева»), и всѣ они были похожи другъ на друга, съ вдумчивыми глазами и бѣлой книжечкой въ ласковыхъ рукахъ. Достоверно узналъ онъ про судьбу только одного экземпляра: его купила два года тому назадъ Зина Мерць.

Онъ лежалъ и курилъ, и потихоньку сочинялъ, наслаждаясь утробнымъ тепломъ постели, тишиной въ кварти-

рѣ, лѣнливѣмъ теченіемъ времени: Маріанна Николаевна еще не скоро вернется, а обѣдъ — не раньше четверти второго. За эти три мѣсяца комната совершенно обносилась, и ея движеніе въ пространствѣ теперь вполнѣ совпадало съ движеніемъ его жизни. Звонъ молотка, шипѣніе насоса, трескъ провѣряемаго мотора, нѣмецкіе взрывы нѣмецкихъ голосовъ, — все то будничное сочетаніе звуковъ, которое всегда по утрамъ исходило слѣва отъ двора, гдѣ были гаражи и автомобильныя мастерскія, давно стало привычнымъ и безвреднымъ, — едва замѣтнымъ узоромъ по тишинѣ, а не ея нарушеніемъ. Небольшой столъ у окна можно было тронуть носкомъ ноги, если вытянуть ее изъ-подъ солдатскаго одѣяла, а выкинутой вбокъ рукой можно было коснуться шкала у лѣвой стѣны (который, кстати сказать, иногда вдругъ, безъ всякой причины, раскрывался съ толковымъ видомъ простака-актера, вышедшаго не въ свое время на сцену). На столѣ стояла лѣшинская фотографія, пузырьрекъ съ чернилами, лампа подъ молочнымъ стекломъ, блюдечко со слѣдами варенья; лежали «Красная Новь», «Современныя Записки» и сборничекъ стиховъ Кончеева «Сообщеніе», только-что вышедшій. На коврикѣ у кушетки-постели валялась вчерашняя газета и зарубежное изданіе «Мертвыхъ Душъ». Всего этого онъ сейчасъ не видѣлъ, но все это было тутъ: небольшое общество предметовъ, пріученное къ тому, чтобы становиться невидимымъ и въ этомъ находившее свое назначеніе, которое выполнить только и могло оно при наличіи опредѣленнаго состава. Онъ былъ исполненъ блаженнѣйшаго чувства: это былъ пульсирующій туманъ, вдругъ начинавшій говорить человѣческимъ голосомъ. Лучше этихъ мгновеній ничего не могло быть на свѣтѣ. Люби лишь то, что рѣдкостно и мнимо, что крадется окраинами сна, что злитъ глупцовъ, что смердами казнимо; какъ родинѣ, будь вымыслу вѣрна. Нашъ часъ насталь. Собаки и калѣки одни не спятъ. Ночь лѣтняя легка. Автомобиль, проѣхавшій, навѣки по-

слѣдняго увезъ ростовщика. Близъ фонаря, съ отгѣнкомъ маскарада, листъ жилками зелеными сквозить. У тѣхъ воротъ — кривая тѣнь Багдада, а та звѣзда надъ Пулково-вомъ висить. О, поклянись, что — —

Изъ передней грянулъ звонъ телефона. По молчаливому соглашенію Федоръ Константиновичъ его обслуживать въ отсутствіе хозяевъ. А что, если я теперь не встану? Звонъ длился, длился, съ небольшими перерывами для перевода дыханія. Онъ не желалъ умереть; оставалось его убить. Не выдержавъ, съ проклятіемъ, Федоръ Константиновичъ какъ духъ пронесся въ переднюю. Русскій голосъ раздраженно спросилъ, кто говорить. Федоръ Константиновичъ мгновенно его узналъ: это былъ невѣдомый абонентъ — по прихоти случая, соотечественникъ — уже вчера попавшій не туда, куда хотѣлъ, и нынче опять, по сходству номера, нарвавшійся на это же неправильное соединеніе. «Уйдите, ради Христа», сказалъ Федоръ Константиновичъ и съ брезгливой поспѣшностью повѣсилъ трубку. На минуту зашелъ въ вайную, выпилъ на кухнѣ чашку холоднаго кофе и ринулся обратно въ постель. Какъ звать тебя? Ты полу-Мнемозина, полумерцанье въ имени твоёмъ, — и странно мнѣ по сумраку Берлина съ полувидѣніемъ странствовать вдвоемъ. Но вотъ скамья подъ липой освѣщенной... Ты оживаешь въ судорогахъ слезъ: я вижу взоръ сей жизнью изумленный и блѣдное сіяніе волосъ. Есть у меня сравненье на примѣтъ, для губъ твоихъ, когда цѣлуешь ты: нагорный снѣгъ, мерцающій въ Тибетѣ, горячій ключъ и въ инеѣ цвѣты. Ночныя наши, бѣдныя владѣнія, — заборъ, фонарь, асфальтовую гладь — поставимъ на туза воображенія, чтобъ цѣлый міръ у ночи отыграть! Не облака — а горные отроги; костеръ въ лѣсу, — не лампа у окна... О поклонись, что до конца дороги ты будешь только вымыслу вѣрна...

Въ полдень послышался клюнувшій ключъ, и характерно трахнулъ замокъ: это съ рынка домой Марианна пришла Николавна; шагъ ея тяжкій подъ тошный шу-

мокъ макинтоша отнесъ мимо двери на кухню лудовую сѣтку съ продуктами. Муза Россійскія прозы, простись навсегда съ капустнымъ гекзаметромъ автора «Москвы». Стало какъ-то неуютно. Отъ утренней емкости времени не осталось ничего. Постель обратилась въ пародію постели. Въ звукахъ готовившагося на кухнѣ объѣда былъ непріятный упрекъ, а перспектива умыванія и бритья казалась столь же близкой и невозможной, какъ перспектива у мастеровъ ранняго средневѣковья. Но и съ этимъ тоже придется тебѣ когда-нибудь проститься.

Четверть перваго, двадцать минутъ перваго, половина... Онъ разрѣшилъ себѣ одну послѣднюю папиросу среди цѣпкаго, хоть и опостылаго постельнаго тепла. Анахронизмъ подушки становился все явственнѣе. Недокуривъ, онъ всталъ и сразу перешелъ изъ міра многихъ занимательныхъ измѣреній въ міръ тѣсный и требовательный, съ другимъ давленіемъ, отъ котораго мгновенно утомилось тѣло и заболѣла голова; въ міръ холодной воды: горячая нынче не шла.

Стихотворное похмелье, уныніе, грустный звѣрь... Вчера забылъ сполоснуть бритвенный снарядикъ, между зубцами — каменная пѣна, ножикъ заржавѣлъ, а другого нѣтъ. Изъ зеркала смотрѣлъ блѣдный автопортретъ съ серьезными глазами всѣхъ автопортретовъ. Сбоку, на подбородкѣ, въ нѣжно-раздражительномъ мѣстѣ, среди за ночь выросшихъ волосковъ (сколько еще метровъ я въ жизни сбрую?) появился желтоголовый чиреекъ, который мгновенно сдѣлался средоточіемъ всего Федора Константиновича, сборнымъ пунктомъ, куда стянулись всѣ непріятныя чувства, жившія въ различныхъ частяхъ его существа. Выжалъ, — хотя зналъ, что потомъ распухнетъ втрое. Какъ это все ужасно. Сквозь холодную мыльную ивну пробивался красный глазокъ: *L'œil regardait Cain*. Между тѣмъ, жилетъ не бралъ волоса, и ощущение щетины при повѣркѣ пальцемъ отзывало адовой безнадежностью. Въ сосѣдствѣ кадыка появились кровавыя ро-

синки, а волоски были все тутъ какъ тутъ. Степь Отчаянія. Кромѣ всего было темновато, а если зажечь свѣтъ, то ничѣмъ не помогала иммортелевая желтизна дневного электричества. Кое-какъ добрившись, онъ брезгливо полѣзъ въ ванну, застоналъ подъ ледянымъ напоромъ душа, а потомъ ошибся полотенцемъ и съ тоской подумалъ, что весь день будетъ пахнуть Марианной Николаевной. Лицо горѣло отвратительно шероховато, съ однимъ специально раскаленнымъ уголькомъ сбоку на подбородкѣ. Вдругъ сильно дернулась ручка двери (это вернулся Щеголевъ). Федоръ Константиновичъ подождалъ, пока удалились шаги, и проскочилъ къ себѣ.

Вскорѣ онъ уже былъ въ столовой. Марианна Николаевна разливала супъ. Онъ поцѣловалъ ея шершавую руку. Ея дочь, только-что пришедшая со службы, явилась къ столу медленными шажками, изможденная и какъ бы затуманенная конторой; съла съ изящной вялостью — папираса въ длинныхъ пальцахъ, на рѣсницахъ пудра, бирюзовый шелковый джамперъ, отчесанные съ висковъ свѣтлые стриженные волосы, хмурость, молчаніе, пепель. Щеголевъ хлопнулъ водочки, засунулъ салфетку за воротникъ и началъ хлебать, привѣтливо и опасноливо поглядывая на падчерицу. Она медленно размѣшала въ борщѣ бѣлый восклицательный знакъ сметаны, но затѣмъ, пожавъ плечомъ, отставила тарелку. Марианна Николаевна, угрюмо слѣдившая за ней, бросила на столъ салфетку и вышла изъ столовой.

«Поѣшь, Анда», сказалъ Борисъ Ивановичъ, вытягивая мокрая губы. Ничего не отвѣтивъ, словно его не было, — только вздрогнули ноздри узкаго носа, — она повернулась на стулѣ, легко и естественно изогнула длинный станъ, достала съ буфета сзади пепельницу, поставила у тарелки, сбросила пепель. Марианна Николаевна съ мрачно-обиженнымъ выраженіемъ на полномъ, кустарно накрашенномъ лицѣ вернулась съ кухни. Дочь положила

лѣвый локоть на столъ и, слегка на него опираясь, медленно принялась за супъ.

«Ну что, Федоръ Константиновичъ», началъ Щеголевъ, утоливъ первый голодь, «дѣло, кажется, подходит къ развязкѣ! Полный разрывъ съ Англійей, Хинчука по шапкѣ... Это, знаете, уже пахнетъ чѣмъ-то серьезнымъ. Помните, я еще такъ недавно говорилъ, что выстрѣлъ Коверды — первый сигналъ! Война! Нужно быть очень и очень наивнымъ, чтобы отрицать ея неизбѣжность. Посудите сами, на востокъ Японія не можетъ потерпѣть — —»

И Щеголевъ пошелъ разсуждать о политикѣ. Какъ многимъ бесплатнымъ болтунамъ, ему казалось, что вычитанныя имъ изъ газетъ сообщенія болтуновъ платныхъ складываются у него въ стройную схему, слѣдую которой логическій и трезвый умъ (его умъ, въ данномъ случаѣ) безъ труда можетъ объяснить и предвидѣть множество мировыхъ событій. Названія странъ и имена ихъ главныхъ представителей обращались у него вродѣ какъ въ ярлыки на болѣе или менѣе полныхъ, но по существу одинаковыхъ сосудахъ, содержаніе которыхъ онъ переливалъ такъ и этакъ. Франція того-то боялась и потому никогда бы не допустила. Англія того-то добивалась. Этотъ политическій дѣятель жаждалъ сближенія, а тотъ думалъ увеличить свой престижъ. Кто-то замышлялъ и кто-то къ чему-то стремился. Словомъ — міръ, создаваемый имъ, получался какимъ-то собраніемъ ограниченныхъ, безъумныхъ, безликихъ, отвлеченныхъ драчуновъ, и чѣмъ больше онъ находилъ въ ихъ взаимныхъ дѣйствіяхъ ума, хитрости, предусмотрительности, тѣмъ становился этотъ міръ глупѣе, пошлѣе и проще. Совсѣмъ страшно бывало, когда онъ попадалъ на другого такого же любителя политическихъ прогнозовъ. Былъ, напримѣръ, полковникъ Касаткинъ, приходившій иногда къ обѣду, и тогда сшибалась щеголевская Англія не съ другой щеголевской страной, а съ Англіей касаткинской, такой же несуществующей, такъ

что въ какомъ-то смыслѣ войны международныя превращались въ межусобныя, хотя воюющія стороны находились въ разныхъ планахъ, никакъ не могущихъ соприкоснуться. Сейчасъ, слушая его, Федоръ Константиновичъ поражался семейному сходству именуемыхъ Щеголевымъ странъ съ различными частями тѣла самого Щеголева: такъ, «Франція» соотвѣтствовала его предохраняюще приподнятымъ бровямъ; какіе-то «лимитрофы» — волосамъ въ ноздряхъ, какой-то «польскій коридоръ» шелъ по его пищеводу; въ «Данцигѣ» былъ шелкъ зубовъ. А сидѣлъ Щеголевъ на Россіи.

Онъ проговорилъ весь обѣдъ (гуляшъ, кисель) и,ковыряя сломанной спичкой въ зубахъ, пошелъ соснуть. Маріанна Николаевна, передъ тѣмъ, какъ сдѣлать то же, занялась мойкой посуды. Дочь, такъ и не проронивъ ни слова, отправилась опять на службу.

Только Федоръ Константиновичъ успѣлъ убрать постельное бѣлье съ кушетки, какъ къ нему явился ученикъ, толстый, блѣдный юноша въ роговыхъ очкахъ, съ вѣчнымъ перомъ въ грудномъ карманѣ. Учасъ въ берлинской гимназіи, бѣдняга настолько пропитался мѣстнымъ бытомъ, что и въ англійской рѣчи дѣлалъ тѣ же невытравимыя ошибки, которыя сдѣлалъ бы кегельноголовый нѣмецъ. Не было, напримѣръ, такой силы, которая могла бы заставить его перестать употреблять несовершенный видъ прошедшаго времени вмѣсто совершеннаго, что придавало всякому его вчерашнему случайному дѣйствию какое-то идиотское постоянство. Столь же упорно онъ англійскимъ «стоже» орудовалъ, какъ нѣмецкимъ «итакъ», и, одолѣвая тернистое окончаніе въ словѣ, означавшемъ «одежды», неизмѣнно добавлялъ лишній свистящій слогъ, какъ если бъ человѣкъ поскользнулся послѣ взятія препятствія. Вмѣстѣ съ тѣмъ, онъ изъяснялся довольно свободно и только потому обратился къ помощи репетитора, что хотѣлъ на выпускномъ экзаменѣ получить высшій баллъ. Онъ былъ самодоволенъ, разсудителенъ,

тунъ и по-нѣмецки невѣжествененъ, т. е. относился ко всему, чего не зналъ, скептически. Твердо считая, что смѣшная сторона вещей давнымъ-давно разработана тамъ, гдѣ ей и полагается быть — на послѣдней страницѣ берлинскаго иллюстрированнаго еженедѣльника, — онъ никогда не смѣялся — развѣ только снисходительно хмыкалъ. Единственное, что еще мало-мальски могло его развеселить, это разсказъ о какой-нибудь остроумной денежной операци. Вся философія жизни сократилась у него до простѣйшаго положенія: бѣдный несчастливъ, богатый счастливъ. Это узаконенное счастье игриво складывалось, подъ аккомпаниментъ первоклассной танцевальной музыки, изъ различныхъ предметовъ технической роскоши. На урокъ онъ норовилъ придти всегда на нѣсколько минутъ раньше и старался уйти на столько же позже.

Слѣша на слѣдующую пытку, Федоръ Константиновичъ вышелъ съ нимъ вмѣстѣ, и тотъ, сопровождая его до угла, попытался даромъ добрать еще нѣсколько англійскихъ выраженій, но Федоръ Константиновичъ, сухо веселясь, перешелъ на русскую рѣчь. Они разстались на перекресткѣ. Это былъ вѣтранный и растрепанный перекрестокъ, несовсѣмъ доросшій до ранга площади, хотя тутъ была и кирка, и скверъ, и угловая аптека, и уборная среди туй, и даже треугольный островокъ съ кіоскомъ, у котораго лакомились молокомъ трамвайные кондуктора. Множество улицъ, расходившихся во всѣ стороны, выскакивавшихъ изъ-за угловъ и огибавшихъ упомянутыя мѣста молитвы и прохлажденія, превращало перекрестокъ въ одну изъ тѣхъ схематическихъ картинокъ, на которыхъ, въ назиданіе начинающимъ автомобилистамъ, изображены всѣ городскія стихіи, всѣ возможности ихъ столкновенія. Справа виднѣлись ворота трамвайнаго парка, съ тремя прекрасными березами, нѣжно выдѣлявшимися на его цементномъ фонѣ, и если, скажемъ, иной разсѣянный вагоновожатый не застопорилъ бы около кіоска за три

метра до законной остановки (причемъ непременно какая-нибудь женщина съ пакетами суетливо пыталась сойти, и ее всѣ удерживали), чтобы остріемъ желѣзнаго шеста переставить стрѣлку (увы, такая разсѣянность не встрѣчалась почти никогда), вагонъ торжественно свернулъ бы подъ стеклянный сводъ, гдѣ ночеваль и чинился. Кирка, громоздившаяся слѣва, была низко опоясана плющомъ; надъ каймой газона вокругъ нея темнѣло нѣсколько кустовъ рододендрона въ лиловыхъ цвѣтахъ, а по ночамъ тамъ можно было видѣть какого-нибудь таинственнаго человѣка съ таинственнымъ фонарикомъ, ищущаго на дернѣ земляныхъ червей — для своихъ птицъ? для уженія рыбы? Противъ кирки, черезъ улицу, зеленѣла подъ сіяніемъ струи, вальсировавшей на мѣстѣ съ призракомъ радуги въ росистыхъ объятыхъ, продолговатая лужайка сквера, съ молодыми деревьями по бокамъ (среди нихъ серебристая ель) и аллеей покоемъ, въ наиболѣе тѣнистомъ углу которой была песочная яма для дѣтей, а мы этотъ жирный песокъ трогаемъ только тогда, когда хоронимъ знакомыхъ. За скверомъ было запущенное футбольное поле, вдоль котораго Федоръ Константиновичъ и пошелъ къ Курфюрстендамму. Зеленъ липъ, чернота асфальта, толстыя шины, прислоненныя къ рѣшеткѣ палисадничка около магазина автомобильныхъ штукъ, рекламная молодуха съ сіяющей улыбкой показывающая кубикъ маргарина, синяя вывѣска трактира, сѣрые фасады домовъ, старѣющихъ по мѣрѣ приближенія къ проспекту, — все это въ сотый разъ мелькнуло мимо него. Какъ всегда, за нѣсколько шаговъ до Курфюрстендамма, онъ увидѣлъ, какъ впереди, поперекъ пролета, пронесся нужный автобусъ: остановка была сразу за угломъ, но Федоръ Константиновичъ не успѣлъ добѣжать и пришлось ждать слѣдующаго. Надъ порталомъ кинематографа было вырѣзано изъ картона черное чудовище на вывороченныхъ ступняхъ съ пятномъ усовъ на бѣлой физиономіи подъ котелкомъ и гнутой тростью въ отставленной

рукъ. Въ плетеныхъ креслахъ на террасѣ сосѣдняго кафе, одинаково развалиясь и одинаково сложивъ передъ собой пальцы крыши, сидѣла компанія дѣловыхъ мужчинъ, очень между собою схожихъ въ смыслѣ морды и галстуковъ, но вѣроятно различной платежеспособности; а между тѣмъ небольшой автомобиль, съ сильно поврежденнымъ крыломъ, разбитыми стеклами и окровавленнымъ платкомъ на подножкѣ, стоялъ у панели, и на него еще глазѣло человекъ пять зѣвакъ. Все было нестро отъ солнца; на зеленой скамейкѣ, спиной къ улицѣ, грѣлся щуплый, съ крашеной бородкой, старикъ въ пикейныхъ гетрахъ, а противъ него черезъ тротуаръ, пожилая, румяная нищая съ отрѣзанными до таза ногами, приставленная, какъ бюстъ, къ низу стѣны, торговала парадоксальными шнурками. Между домами виднѣлось незастроенное мѣсто, и тамъ что-то скромно и таинственно цвѣло, а заднія, сплошныя, аспидно-черныя стѣны какихъ-то другихъ отвернувшихся домовъ въ глубинѣ были въ странныхъ, привлекательныхъ и какъ будто ни отъ чего независѣвшихъ бѣлесыхъ разводахъ, напоминавшихъ не то каналы на Марсѣ, не то что-то очень далекое и полузабытое, вродѣ случайнаго выраженія изъ когда-то слышанной сказки или старья декораціи для какихъ-то невѣдомыхъ драмъ.

Съ изогнутой лѣстницы подошедшаго автобуса спустилась пара очаровательныхъ шелковыхъ ногъ: мы знаемъ, что это въ конецъ затаскано усиліемъ тысячи пишущихъ мужчинъ, но все-таки онѣ сошли, эти ноги — и обманули: личико было гнусное. Федоръ Константиновичъ взобрался, кондукторъ, замѣшкавъ на имперіалѣ, сверху бахнулъ ладонью по желѣзу борта, тѣмъ давая знать шоферу, что можно трогаться дальше. По этому борту, по рекламѣ зубной пасты на немъ, зашуршали концы мягкихъ вѣтвей кленовъ, — и было бы пріятно смотрѣть съ высоты на скользящую, перспективной облагороженную улицу, если бы не всегдашняя, холоднень-

кая мысль: вотъ онъ, особенный, рѣдкій, еще не описанный и неназванный вариантъ человѣка, занимается Богъ знаетъ чѣмъ, мчится съ урока на урокъ, тратитъ юность на скучное и пустое дѣло, на скверное преподаваніе чужихъ языковъ, — когда у него свой, изъ котораго онъ можетъ сдѣлать все, что угодно — и мошку, и мамонта, и тысячу разныхъ тучъ. Вотъ бы и преподавалъ то таинственнѣйшее и изысканнѣйшее, что онъ, одинъ изъ десяти тысячъ, ста тысячъ, быть можетъ даже милліона людей, могъ преподавать: напримѣръ — многопланность мышленія: смотришь на человѣка и видишь его такъ хрустально ясно, словно самъ только-что выдулъ его, а вмѣстѣ съ тѣмъ нисколько ясности не мѣшая, замѣчаешь побочную мелочь — какъ похожа тѣнь телефонной трубки на огромнаго, слегка подмятаго муравья и (все это одновременно) загибается третья мысль — воспоминаніе о какомъ-нибудь солнечномъ вечерѣ на русскомъ полустанкѣ, т. е. о чемъ-то неимѣющемъ никакого разумнаго отношенія къ разговору, который ведешь, обѣгая снаружи каждое свое слово, а внутри — каждое слово себе-сѣдника. Или: пронзительную жалость — къ жестянкѣ на пустырѣ, къ затоптанной въ грязь папиросной картинкѣ изъ серіи «національные костюмы», къ случайному бѣдному слову, которое повторяетъ добрый, слабый, любящій человѣкъ, получившій зря нагоняй, — ко всему со-ру жизни, который путемъ мгновенной алхимической перегонки, королевскаго опыта, становится чѣмъ-то драгоценнымъ и вѣчнымъ. Или еще: постоянное чувство, что наши здѣшніе дни только карманная деньги, гроши, звякающіе въ темнотѣ, а что гдѣ-то есть капиталъ, съ коего надо умѣть при жизни получать проценты въ видѣ сновъ, слезъ счастья, далекихъ горъ. Всему этому и многому еще другому (начиная съ очень рѣдкаго и мучительнаго, такъ называемаго «чувства звѣзднаго неба» — упомянутаго, кажется, только въ одномъ научномъ трудѣ, паркеровскомъ «Путешествія Духа», — и кончая

профессиональными тонкостями въ области художественной литературы) онъ могъ учить, и хорошо учить, желающихъ, но желающихъ не было — и не могло быть, а жаль, бралъ бы за часъ марокъ сто, какъ берутъ иные профессора музыки. И вмѣстѣ съ тѣмъ онъ находилъ забавнымъ себя же опровергать: все это пустяки, тѣни пустяковъ, заносчивыя мечтанія. Я просто бѣдный молодой россиянинъ, распродающій излишекъ барскаго воспитанія, а въ свободное время пописывающій стихи, вотъ и все мое маленькое безсмертіе. Но даже этому переливу многогранной мысли, игрѣ мысли съ самой собою, некого было учить.

Онъ ѣхалъ — и вотъ доѣхалъ — къ одинокой во всѣхъ смыслахъ молодой женщинѣ, очень красивой, несмотря на веснушки, всегда въ черномъ платьѣ, съ открытой шеей, и съ губами, какъ сургучная печать на письмѣ, въ которомъ ничего не написано. Она все смотрѣла на Федора Константиновича съ задумчивымъ любопытствомъ, не только не интересуясь замѣчательнымъ романомъ Стивенсона, который онъ съ нею уже три мѣсяца читалъ (а до того, такимъ же темпомъ, читали Киплинга), но не понимая толкомъ ни одного предложенія и записывая слова, какъ записываешь адресъ человѣка, къ которому знаешь, что никогда не пойдешь. Даже теперь — или точнѣе говоря именно теперь, и съ большимъ волненіемъ, чѣмъ раньше, Федоръ Константиновичъ, влюбленный въ другую, ни съ кѣмъ несравнимую по очарованію и уму, подумывалъ о томъ, что было бы, если бъ онъ положилъ ладонь на вотъ эту, слегка дрожащую, маленькую, съ острыми ногтями, руку, лежащую такъ пригласительно близко, — и оттого, что онъ зналъ, что тогда было бы, сердце вдругъ начинало колотиться, и сразу высыхали губы; однако, тутъ же его невольно отрезвляла какая-нибудь ея интонація, смѣшокъ, вѣяніе тѣхъ опредѣленныхъ духовъ, которыми почему-то душились какъ разъ тѣ женщины, которымъ онъ нравился, хотя ему былъ

какъ разъ невыносимъ этотъ мутный, сладковато-бурый запахъ. Это была ничтожная, лукавая, съ вялой душой, женщина; но и нынче, когда кончился урокъ, и онъ вышелъ на улицу, его охватила смутная досада: онъ вообразилъ гораздо лучше, чѣмъ давеча при ней, какъ должно быть податливо и весело на все нашло бы отвѣтъ ея небольшое, сжатое тѣло, и съ болѣзненной живостью онъ увидѣлъ въ воображаемомъ зеркалѣ свою руку на ея спинѣ и ея закинутую назадъ, гладкую, рыжеватую голову, а потомъ зеркало многозначительно опустѣло, и онъ почувствовалъ то, что пошлѣ всего на свѣтѣ: уколъ упущеннаго случая.

Нѣтъ, это было не такъ, — онъ ничего не упустилъ. Единственная прелесть этихъ несбыточныхъ объятій была въ ихъ легкой воображаемости. За послѣдніе десять лѣтъ одинокой и сдержанной молодости, живя на скалѣ, гдѣ всегда было немножко снѣга, и откуда было далеко спускаться въ пивоваренный городокъ подъ горой, онъ привыкъ къ мысли, что между обманомъ походной любви и сладостью ея соблазна — пустота, провалъ жизни, отсутствіе всякихъ реальныхъ дѣйствій съ его стороны, такъ что иной разъ, когда онъ заглядывался на прохожую, онъ купно переживалъ и потрясающую возможность счастья, и отвращеніе къ его неизбѣжному несовершенству, — вкладывая въ это одно мгновеніе образъ романа, но на среднюю часть сокращая его триптихъ. Онъ зналъ поэтому, что и въ данномъ случаѣ чтеніе Стивенсона никогда не прервется дантовой паузой, зналъ, что случись такой перерывъ, онъ не испыталъ бы ничего, кромѣ убійственнаго холода, что требованія воображенія неисполнимы, и что тупости взгляда, прощаемой прелестью, влажнымъ глазамъ, неизбѣжно соответствуетъ недостатокъ до тѣхъ поръ скрытый, — тупое выраженіе груди, которое простить невозможно. А иногда онъ завидовалъ простому любовному быту другихъ мужчинъ

и тому, какъ они, должно быть, посвистываютъ, разуваясь.

Перейдя Виттенбергскую площадь, гдѣ, какъ въ цвѣтномъ кинематографѣ, дрожали на вѣтру розы вокругъ античной лѣстницы, ведущей на подземную станцію, онъ направился въ русскую книжную лавку; между уроками былъ просвѣтъ пустого времени. Какъ бывало всегда, когда онъ попадалъ на эту улицу (начинавшуюся подъ покровительствомъ огромнаго универсальнаго магазина, торгующаго всѣми формами мѣстнаго безвкусія, а кончавшуюся, послѣ нѣсколькихъ перекрестковъ, въ бюргерской тиши, съ тополевою тѣнью на асфальтѣ, разрисованномъ дѣтскими мѣлками), онъ встрѣтилъ пожилого, болязненно озлобленнаго петербургскаго литератора, носящаго лѣтомъ пальто, чтобы скрыть убожество костюма, страшно тощаго, съ карими глазами на выкатѣ, брезгливыми морщинами у обезьяньяго рта и однимъ длиннымъ загнутымъ волосомъ, растущимъ изъ крупной черной поры на широкомъ носу — подробность, больше привлекавшая вниманіе Федора Константиновича, чѣмъ разговоръ этого умнаго каверзника, немедленно при встрѣчѣ приступавшему къ чему-то вродѣ притчи, къ отвлеченному и длинному анекдоту изъ прошлаго, оказывавшемуся лишь предисловіемъ къ забавной сплетнѣ объ общемъ знакомомъ. Едва Федоръ Константиновичъ развязался съ нимъ, какъ завидѣлъ двухъ другихъ литераторовъ, добродушно-мрачнаго москвича, осанкой и обликомъ нѣсколько напоминавшаго Наполеона островнаго періода, и сатирическаго поэта изъ «Газеты», тщедушнаго, беззлобно остроумнаго человѣка, съ тихимъ хриплымъ голоскомъ. Эти двое, какъ и предыдущій, неизмѣнно попадались въ данномъ районѣ, которымъ пользовались для неторопливыхъ прогулокъ, богатыхъ встрѣчами, такъ что получалось, какъ если бы тутъ, на этой нѣмецкой улицѣ, блуждалъ призракъ русскаго бульвара, или даже наоборотъ: улица въ Россіи, нѣсколько прохлаждающихся жителей и блѣд-

няя тѣни безчисленныхъ инородцевъ, мелькавшія промежъ нихъ, какъ привычное и едва замѣтное наважденіе. Поговорили о только что встрѣченномъ писателѣ, и Федоръ Константиновичъ поплылъ дальше. Черезъ нѣсколько шаговъ онъ замѣтилъ Кончеева, читавшаго на тихомъ ходу подвалъ парижской «Газеты» съ удивительной, ангельской улыбкой на кругломъ лицѣ. Изъ русскаго гастрономическаго магазина вышелъ инженеръ Кернъ, опасливо суя пакетикъ въ портфель, прижатый къ груди, а на поперечной улицѣ (какъ стеченіе людей во снѣ или въ послѣдней главѣ «Дыма») мелькнула Маріанна Николаевна Шеголева съ какой-то другой дамой, усатой и очень полной, которая кажется была Абрамовой. Немедленно затѣмъ пересѣкъ улицу Александръ Яковлевичъ, — нѣтъ, ошибка, — даже не очень похожій на него господинъ.

Федоръ Константиновичъ добрался до книжной лавки. Въ витринѣ виднѣлось, среди зигзаговъ, зубцовъ и цифръ совѣтскихъ обложекъ (это было время, когда въ модѣ тамъ были заглавія «Любовь Третья», «Шестое чувство», «Семнадцатый пунктъ»), нѣсколько эмигрантскихъ новинокъ: новый, дородный, романъ генерала Качурина «Красная Княжна», кончеевское «Сообщеніе», бѣлыя, чистыя книги двухъ маститыхъ беллетристовъ, «Чтець-Декламаторъ», изданный въ Ригѣ, крохотная, въ ладонь, книжка стиховъ молодой поэтессы, руководство «Что долженъ знать шофферъ» и послѣдній трудъ доктора Утина «Основы счастливаго брака». Было и нѣсколько старыхъ петербургскихъ гравюръ, — одна на зеркальный выворотъ, съ перестановкой роstralной колонны по отношенію къ сосѣднимъ зданіямъ.

Въ лавкѣ хозяина не оказалось: онъ ушелъ къ зубному врачу, и его замѣняла довольно случайная барышня, читавшая въ углу въ неудобной позѣ «Туннель» Келлермана по-русски. Федоръ Константиновичъ подошелъ къ столику, гдѣ были разложены эмигрантскія періодическія изданія. Онъ развернулъ литературный номеръ парижской

«Газеты» и съ холодкомъ внезапнаго волненія увидѣлъ большой фельетонъ Христофора Мортуса, посвященный «Сообщенію». «А вдругъ бранить?» — съ безумной надеждой успѣлъ подумать, онъ, уже, впрочемъ, слыша въ ушахъ, вмѣсто мелодіи хулы, мчащійся гулъ оглушительныхъ похвалъ. Онъ жадно началъ читать.

«Не помню кто — кажется, Розановъ, говорить гдѣ-то», — начиналъ, крадучись, Мортусъ; и, приведя сперва, эту недостоверную цитату, потомъ какую-то мысль, къ-мъ-то высказанную въ парижскомъ кафе послѣ чьей-то лекціи, начиналъ суживать эти искусственные круги вокругъ «Сообщенія» Кончеева, причѣмъ до конца такъ и не касался центра, а только изрѣдка направлялъ къ нему месмерическій жестъ съ внутренняго круга — и опять кружился. Получалось нѣчто вродѣ тѣхъ черныхъ спиралей на картонныхъ кругахъ, которыя, въ безумномъ стремленіи обратиться въ мишень, безконечно вращаются въ витринахъ берлинскихъ мороженниковъ.

Это былъ ядовито-пренебрежительный «разносъ», безъ единаго замѣчанія по существу, безъ единаго примѣра, — и не столько слова, сколько вся манера критика претворяла въ жалкій и сомнительный призракъ книгу, которую на самомъ дѣлѣ Мортусъ не могъ не прочесть съ наслажденіемъ, а потому выдержекъ избѣгалъ, чтобы не напортить себя несоотвѣтствіемъ между тѣмъ, что онъ писалъ, и тѣмъ, о чемъ онъ писалъ; весь фельетонъ казался сеансомъ съ вызовомъ духа, который заранѣе объявляется, если не шарлатанствомъ, то обманомъ чувствъ. «Эти стихи, — кончалъ Мортусъ, — возбуждаютъ у читателя какое-то неопредѣленное и непреодолимое отталкиваніе. Друзьямъ таланта Кончеева они, вѣроятно, покажутся прелестными. Не будемъ спорить, — можетъ быть, это дѣйствительно такъ. Но въ наше трудное, по новому отвѣтственное время, когда въ самомъ воздухѣ разлита тонкая моральная тревога, ощущеніе которой является непогрѣшимымъ признакомъ «подлинности» со-

временнаго поэта, отвлеченно-пѣвучія пьески о полусонныхъ видѣнїяхъ не могутъ никого обольстить. И право же отъ нихъ переходишь съ какимъ-то отраднымъ облегченіемъ къ любому человѣческому документу, къ тому, что «вычитываешь» у иного совѣтскаго писателя, пускай и не даровитаго, къ безхитростной и горестной исповѣди, къ частному письму, продиктованному отчаяніемъ и волненіемъ».

Сначала Федоръ Константиновичъ почувствовалъ острое, почти физическое удовольствіе отъ этой статьи, но тотчасъ оно разсѣялось, смѣнившись страннымъ ощущеніемъ, словно онъ принималъ участіе въ хитромъ и дурномъ дѣлѣ. Онъ вспомнилъ давешнюю улыбку Кончеева — надъ этими строками, конечно, — и подумалъ, что эта улыбка могла бы отнестись и къ нему, Годунову-Чердынцеву, заключившему съ критикомъ завистливый союзъ. Тутъ же онъ вспомнилъ, что самъ Кончеевъ въ своихъ критическихъ обзорахъ не разъ, — свысока и въ сущности столь же недобросовѣстно, — задѣвалъ Мортуса (который, кстати сказать, былъ въ частной жизни женщиной среднихъ лѣтъ, матерью семейства, въ молодости печатавшей въ «Аполлонѣ» отличные стихи, а теперь скромно жившей въ двухъ шагахъ отъ могилы Башкирцевой и страдавшей неизлѣчимой болѣзнью глазъ, что придавало каждой строкѣ Мортуса какую-то трагическую пѣнность). И когда Федоръ Константиновичъ почувствовалъ безконечно лестную враждебность этой статьи, ему стало досадно, что о немъ такъ никто не пишетъ.

Онъ еще просмотрѣлъ еженедѣльный иллюстрированный журнальчикъ, выходившій въ Варшавѣ, и нашелъ рецензію на тотъ же предметъ, но совсѣмъ другого пошиба. Это была критика-буффъ. Тамошній Валентинъ Линевъ, изъ номера въ номеръ безформенно, забубенно и не вполне грамотно изливавшій свои литературныя впечатлѣнія, былъ славенъ тѣмъ, что не только не могъ разобраться въ отчетной книгѣ, но повидимому никогда не дочитывалъ

ее до конца. Бойко творя изъ-подъ автора, увлекаясь собственнымъ пересказомъ, выхватывая отдѣльныя фразы въ подтвержденіе неправильныхъ заключеній, плохо понимая начальныя страницы, а въ слѣдующихъ энергично пускаясь по ложному слѣду, онъ добирался до предпослѣдней главы въ блаженномъ состояніи пассажира, еще не знающаго (а въ его случаѣ такъ и не узнающаго), что сѣлъ не въ тотъ поѣздъ. Неизмѣнно бывало, что, долиставъ вслѣбую длинный романъ или коротенькую повѣсть (размѣръ не игралъ роли), онъ навязывалъ книгѣ собственное окончаніе, — обыкновенно какъ разъ противоположное замыслу автора. Другими словами, если бы, скажемъ, Гоголь приходился ему современникомъ, и Линева о немъ писалъ, то онъ прочно остался бы при невинномъ убѣжденіи, что Хлестаковъ — ревизоръ въ самомъ дѣлѣ. Когда же, какъ сейчасъ, онъ писалъ о стихахъ, то простодушно употреблялъ пріемъ такъ называемыхъ м е ж ц и т а т н ы хъ м о с т и к о в ъ. Его разборъ кончеевской книги сводился къ тому, что онъ за автора отвѣчалъ на какую-то подразумеваемую альбомную анкету (Вашъ любимый цвѣтокъ? Любимый герой? Какую добродѣтель вы больше всего цѣните?): «Поэтъ, — писалъ о Кончеевѣ Линева, — любить (слѣдовала цѣпочка цитатъ, искаженныхъ насиліемъ ихъ сочетанія и винительныхъ падежей). Его пугаетъ (опять обрубки стиховъ). Онъ находитъ утѣшеніе въ — (та же игра); но съ другой стороны — (три четверти стиха, обращенныхъ посредствомъ кавычекъ въ плоское утвержденіе); иногда же ему кажется, что» — и тутъ Линева, ненарокомъ выковырнулъ что-то болѣе или менѣе цѣлое:

Виноградъ созрѣвалъ, изваянья въ аллеяхъ синѣли.

Небеса опирались на снѣжныя плечи отчизны...

— и это было такъ, словно голосъ скрипки вдругъ заглушилъ болтовню патріархальнаго кретина.

На другомъ столѣ, рядомъ, были разложены совѣтскія изданія, и можно было нагнуться надъ омутомъ москов-

скихъ газетъ, надъ адомъ скуки, и даже попытаться разобрать сокращенія, мучительную тѣсноту нарицательныхъ инициаловъ, черезъ всю Россію возимыхъ на убой, — ихъ страшная связь напоминала языкъ товарныхъ вагоновъ (буханіе буферовъ, лягъ, горбатый смазчикъ съ фонаремъ, пронзительная грусть глухихъ станцій, дрожь русскихъ рельсовъ, поѣзда безконечно дальняго слѣдованія). Между «Звѣздой» и «Краснымъ Огонькомъ» (дрожащимъ въ желѣзнодорожномъ дыму) лежалъ номеръ шахматнаго журнальчика «8×8»; Федоръ Константиновичъ перелисталъ его, радуясь человѣческому языку задачныхъ діаграммъ, и замѣтилъ статейку съ портретомъ жидкобородаго старика, исподлобья глядящаго черезъ очки, — статейка была озаглавлена «Чернышевскій и шахматы». Онъ подумалъ, что это можетъ позабавить Александра Яковлевича, и, отчасти по этой причинѣ, отчасти потому, что вообще любилъ задачи, журнальчикъ взялъ; барышня, оторвавшись отъ Келлермана, «не сумѣла сказать», сколько онъ стоитъ, но, зная, что Федоръ Константиновичъ и такъ долженъ въ лавкѣ, равнодушно отпустила его. Онъ ушелъ съ пріятнымъ чувствомъ, что дома будетъ развлеченіе. Не только отѣнно разбираясь въ задачахъ, но будучи въ высшей мѣрѣ одаренъ способностью къ ихъ составленію, онъ въ этомъ находилъ и отдыхъ отъ литературнаго труда, и таинственные уроки. Какъ литератору, эти упражненія не проходили ему даромъ.

Шахматный композиторъ не долженъ непременно хорошо играть. Федоръ Константиновичъ игралъ весьма посредственно и неохотно. Его утомляла и бѣсила дисгармонія между невыносливостью его шахматной мысли въ процессъ борьбы и тѣмъ восклицательнымъ блескомъ, къ которому она порывалась. Для него составленіе задачи отличалось отъ игры приблизительно такъ, какъ вывѣренный сонетъ отличается отъ полемики публицистовъ. Начиналось съ того, что, вдали отъ доски (какъ въ дру-

гой области — вдали отъ бумаги) и при горизонтальномъ положеніи тѣла на диванѣ (т. е. когда тѣло становится далекой синей линіей, горизонтомъ себя самого), вдругъ, отъ внутренняго толчка, неотличимаго отъ вдохновенія поэтическаго, ему являлся диковинный способъ осуществленія той или иной изощренной задачной идеи (скажемъ, союза двухъ темъ, индійской и бристольской — или идеи вовсе новой). Нѣкоторое время онъ съ закрытыми глазами наслаждался отвлеченной чистотой лишь въ провидѣніи воплощеннаго замысла; потомъ стремительно раскрывалъ сафьяновую доску и ящикъ съ полновѣсными фигурами, разставлялъ ихъ начерно, съ разбѣга, и сразу выяснялось, что идея, осуществленная такъ чисто въ мозгу, тутъ, на доскѣ, требуетъ — для своего очищенія отъ толстой рѣзной скорлупы — неимовернаго труда, предѣльнаго напряженія мысли, безконечныхъ испытаній и заботъ, а главное — той послѣдовательной находчивости, изъ которой, въ шахматномъ смыслѣ, складывается истина. Соображая варианты, такъ и этакъ исключая громоздкости построенія, кляксы и бѣльма подспорныхъ пѣшекъ, борясь съ побочными рѣшеніями, онъ добивался крайней точности выраженія, крайней экономіи гармоническихъ силъ. Если бы онъ не былъ увѣренъ (какъ бывалъ увѣренъ и при литературномъ творствѣ), что воплощеніе замысла уже существуетъ въ нѣкомъ другомъ мірѣ, изъ котораго онъ его переводилъ въ этотъ, то сложная и длительная работа на доскѣ была бы невыносимой обузой для разума, допускающаго, наряду съ возможностью воплощенія, возможность его невозможности. Мало-по-малу фигуры и кѣтки начинали оживать и обмѣниваться впечатлѣніями. Грубая мощь фрезъ превращалась въ изысканную силу, сдерживаемую и направляемую системой сверкающихъ рычаговъ; умнѣли пѣшки; кони выступали испанскимъ шагомъ. Все было осмыслено, и вмѣстѣ съ тѣмъ все было скрыто. Всякій творецъ — заговорщикъ; и всѣ фигуры на доскѣ, разы-

грявая въ лицахъ его мысль, стояли тутъ конспиратора-ми и колдунами. Только въ послѣдній мигъ ослѣпитель-но вскрывалась ихъ тайна.

Еще два-три очистительныхъ штриха, еще одна про-вѣрка, — и задача была готова. Ея ключъ, первый ходъ бѣлыхъ, былъ замаскированъ своей мнимой нелѣпостью, — но именно разстояніемъ между ней и ослѣпительнымъ разрядомъ смысла измѣрялось одно изъ главныхъ худо-жественныхъ достоинствъ задачи, а въ томъ, какъ одна фигура, точно смазанная масломъ, гладко заходила за другую, скользнувъ черезъ все поле и забравшись къ ней подмышку, была почти тѣлесная пріятность, щекочущее ощущеніе ладности. На доскѣ звѣздно сіяло восхити-тельное произведеніе искусства: планетаріумъ мысли. Все тутъ веселило шахматный глазъ: остроуміе угрозъ и за-щиты, грація ихъ взаимнаго движенія, чистота матовъ (столько-то пуль на столько-то сердець); каждая фигу-ра казалась нарочно сработанной для своего квадрата; но можетъ быть очаровательнѣе всего была тонкая ткань обмана, обиліе подметныхъ ходовъ (въ опроверженіи ко-торыхъ была еще своя побочная красота), ложныхъ пу-тей, тщательно уготовленныхъ для читателя.

Третій урокъ въ эту пятницу былъ у Васильева. Редак-торъ берлинской «Газеты», наладивъ связь съ малочитае-мымъ англійскимъ журналомъ, помѣщалъ въ немъ еже-недѣльную статью о положеніи въ совѣтской Россіи. Нѣ-сколько зная языкъ, онъ писалъ статью начерно, остав-ляя пробѣлы, вкрапывая русскія фразы и требуя отъ Фе-дора Константиновича дословнаго перевода своихъ пере-довичныхъ словецъ: была молодцу не въ укоръ, чудеса въ рѣшетѣ, какъ дошла ты до жизни такой, се левъ, а не собака, пришла бѣда — растворяй ворота, и волки сыты, и овцы цѣлы, бѣда, коль пироги начнетъ печи сапожникъ, всякъ сверчокъ знай свой шестокъ, голь на выдумки хит-ра, милые бранятся — только тѣшатся, мы и сами съ уса-ми, свой своему поневолѣ братъ, паны дерутся — у хлоп-

цевъ чубы болятъ, дѣло не волкъ — въ лѣсъ не убѣжить, снявши голову, по волосамъ не плачутъ, нужна реформа, а не реформы. И очень часто попадалось выраженіе: «произвело впечатлѣніе разорвавшейся бомбы». Задача Федора Константиновича состояла въ томъ, чтобы по Васильевскому черновику диктовать Васильеву статью въ исправленномъ видѣ прямо въ машинку, — Георгію Ивановичу это казалось чрезвычайно практичнымъ, на самомъ же дѣлѣ диктовка чудовищно растягивалась изъ-за мучительныхъ паузъ. Но странно, — вѣроятно методъ примѣненія басенной морали сгущенно передавалъ оттѣнокъ «inogalités», присущій всѣмъ сознательнымъ проявленіямъ совѣтской власти: перечитывая готовую статью, казавшуюся при диктовкѣ вздоромъ, Федоръ Константиновичъ улавливалъ, сквозь неуклюжій переводъ и газетные эффекты автора, ходъ стройной и сильной мысли, неуклонно пробирающейся къ цѣли — и спокойно дающей въ углу мать.

Провожая его затѣмъ до двери, Георгій Ивановичъ вдругъ страшно сдвинулъ усаыя брови и быстро проговорилъ:

«Что, читали, какъ обложили Кончеева, воображаю, какъ на него подѣйствовало, какой ударъ, какая неудача».

«Ему наплевать, я знаю это», — отвѣтилъ Федоръ Константиновичъ, — и на лицѣ у Васильева изобразилось мгновенное разочарованіе.

«Ну, это онъ такъ, хорохорится», — находчиво возразилъ онъ, снова повеселѣвъ. — «На самомъ дѣлѣ вѣрное убить».

«Не думаю», — сказалъ Федоръ Константиновичъ.

«Во всякомъ случаѣ, я искренне огорченъ за него», — закончилъ Васильевъ съ такимъ видомъ, точно вовсе не желалъ разстаться со своимъ огорченіемъ.

Нѣсколько утомленный, но радуясь тому, что трудовой день оконченъ, Федоръ Константиновичъ сѣлъ въ трамвай и раскрылъ журнальчикъ (опять мелькнуло скло-

ненное лицо Н. Г. Чернышевскаго — о которомъ онъ только и зналъ, что это былъ «шприцъ съ сѣрной кислотой», — какъ гдѣ-то говорить, кажется, Розановъ, — и авторъ «Что дѣлать?», путавшагося впрочемъ съ «Кто виноватъ?»). Онъ углубился въ разсмотрѣніе задачъ и вскорѣ убѣдился, что, не будь среди нихъ двухъ геніальныхъ этюдовъ стараго русскаго мастера да нѣсколькихъ интересныхъ перепечатокъ изъ иностранныхъ изданій, журнальчика не стоило бы покупать. Добросовѣстныхъ, ученическія упражненія молодыхъ совѣтскихъ композиторовъ были не столько «задачи», сколько «заданія»: въ нихъ громоздко трактовалась та или иная механическая тема (какое-нибудь «связываніе» и «развязываніе»), безъ всякой поэзіи; это были шахматныя лубки, не болѣе, и подталкивающія другъ друга фигуры дѣлали свое неуклюжее дѣло съ пролетарской серьезностью, мирясь съ побочными рѣшеніями въ вялыхъ вариантахъ и нагроможденіемъ милицейскихъ пѣшекъ.

Прозѣвавъ остановку, онъ все же успѣлъ выскочить у сквера, сразу повернувъ на каблукахъ, какъ обыкновенно дѣлаетъ человекъ, рѣзко покинувшій трамвай, и пошелъ мимо церкви по Агамемнонштрассе. Дѣло было подвечеръ, небо было безоблачно, неподвижное и тихое сіяніе солнца придавало какую-то мирную, лирическую праздничность всякому предмету. Велосипедъ, прислоненный къ желто-освѣщенной стѣнѣ, стоялъ слегка изогнуто, какъ пристыжная, но еще совершеннѣе его самого была его прозрачная тѣнь на стѣнѣ. Пожилой толстоватый господинъ, вихляя задомъ, спѣшилъ на теннисъ, въ городскихъ штанахъ, въ сорочкѣ-пупсикѣ, съ тремя сѣрыми мячами въ сѣткѣ, и рядомъ съ нимъ быстро шла на резиновыхъ подошвахъ нѣмецкая дѣвушка спортивнаго покроя, съ оранжевымъ лицомъ и золотыми волосами. За ярко раскрашенными насосами, на бензинопоѣ пѣло радио, а надъ крышей его павильона выдѣлялись на голубизнѣ неба желтыя буквы стойкомъ — названіе авто-

мобильной фирмы, — причѣмъ на второй буквѣ, на «А» (а жаль, что не на первой, на «Д», — получилась бы заставка) сидѣлъ живой дроздъ, черный, съ желтымъ — изъ экономіи — клювомъ, и пѣлъ громче, чѣмъ радіо. Домъ, гдѣ жилъ Федоръ Константиновичъ, былъ угловой и выпиралъ, какъ огромный, красный корабль, неся на носу стеклянно-сложное башенное сооруженіе, словно скучный, солидный архитекторъ внезапно сошелъ съ ума и произвелъ вылазку въ небо. На всѣхъ балкончикахъ, которыми домъ былъ многоярусно опоясанъ, что-то зеленѣло и цвѣло, и только щеголевскій былъ неопрятно пустъ, съ сиротливымъ горнкомъ на борту и какимъ-то провѣт-риваемымъ висѣльникомъ въ молсвяхъ мѣхахъ.

Еще въ самомъ началѣ своего пребыванія на этой квартирѣ, Федоръ Константиновичъ, полагавшій, что ему нуженъ по вечерамъ полный покой, выговорилъ себѣ право получать ужинъ въ комнату. На столѣ, среди книгъ, его ждѣли теперь два сѣрыхъ бутерброда съ глянцеви-той мозаикой колбасы, чашка остывшаго, отяжелѣвшаго чая и тарелка розоваго киселя (утрешняго). Жуя и прихлебывая, онъ снова раскрылъ «8×8» (снова глянулъ на него исподлобья бодучій Н. Г. Ч.) и тихо сталъ наслаждаться этюдомъ, въ которомъ немногочисленныя фигуры бѣлыхъ какъ бы висѣли надъ пропастью, а все-таки добивались своего. Отыскалась затѣмъ очаровательная четырехходовка американскаго мастера, красота которой заключалась не только въ остроумно запрятанной матовой комбинаціи, а еще въ томъ, что при соблазнительной, но ошибочной атакѣ бѣлыхъ, черные, путемъ втягиванія и загиранія собственныхъ фигуръ, какъ разъ успѣвали устроить себѣ герметическій патъ. Зато въ одномъ изъ совѣтскихъ произведеній (П. Митрофановъ, Тверь) нашелся прелестный примѣръ того, какъ можно дать маху: у черныхъ было девять пѣшекъ, — девятую повидимому добавили въ послѣднюю минуту, чтобы задѣлать непредвидѣнную брешь, какъ если бы писатель торопли-

во замѣнилъ въ корректурѣ «ему обязательно расскажутъ» болѣе грамотнымъ «ему несомнѣнно расскажутъ», не замѣтивъ, что сразу за этимъ слѣдуетъ: «...о ея сомнительной репутациіи».

Вдругъ ему стало обидно — отчего это въ Россіи все сдѣлалось такимъ плоховымъ, корявымъ, сѣрымъ, какъ она могла такъ оболваниться и притупиться? Или въ старомъ стремленіи къ «свѣту» таился роковой порокъ, который по мѣрѣ естественнаго движенія къ цѣли становился все виднѣе, пока не обнаружилось, что этотъ «свѣтъ» горитъ въ окнѣ тюремнаго надзирателя, только и всего? Когда началась эта странная зависимость между обостреніемъ жажды и замутнѣніемъ источника? Въ сороковыхъ годахъ? Въ шестидесятыхъ? И «что дѣлать» теперь? Не слѣдуетъ ли разъ навсегда отказаться отъ всякой тоски по родинѣ, отъ всякой родины, кромѣ той, которая со мной, во мнѣ, пристала какъ серебро морского песка къ кожѣ подошвъ, живетъ въ глазахъ, въ крови, придаетъ глубину и даль заднему плану каждой жизненной надежды? Когда-нибудь, оторвавшись отъ писанія, я посмотрю въ окно и увижу русскую осень.

Какіе-то знакомые, уѣхавшіе на лѣто въ Данію, недавно оставили Борису Ивановичу радиоаппаратъ. Было слышно, какъ онъ возится съ нимъ, удавляя пискуновъ, скрипуновъ, переставляя призрачную мебель. Тоже — развлеченіе.

Въ комнатѣ, между тѣмъ, потемнѣло; надъ почернѣвшими очерками домовъ за дворомъ, гдѣ зажглись уже окна, небо было ультрамариноваго тона, и въ черныхъ проволокахъ между черныхъ трубъ сіяла звѣзда, — которую, какъ всякую звѣзду, можно было видѣть по-настоящему лишь переключивъ зрѣніе, такъ что все остальное сдвигалось вонъ изъ фокуса. Онъ подперъ кулакомъ щеку и сидѣлъ такъ у стола, глядя въ окно. Вдали какіе-то большіе часы, мѣстоположеніе которыхъ онъ все обѣщаль себѣ опредѣлить, но всегда забывалъ это сдѣлать,

тѣмъ болѣе, что за слоемъ дневныхъ звуковъ ихъ не бывало слышно, медленно пробили девять. Пора было итти на свиданіе съ Зиной.

Они обычно встрѣчались по ту сторону желѣзнодорожной ложбины, на тихой улицѣ по близости Груневальда, гдѣ массивы домовъ (темныя крестословицы, въ которыхъ не все еще рѣшилъ желтый свѣтъ) прерывались пустырями, огородами, угольными складами («темы и ноты темнотѣ» — строка Кончеева), гдѣ былъ, между прочимъ, замѣчателный заборъ, составленный повидимому изъ когда-то разобранныго въ другомъ мѣстѣ (можетъ быть, въ другомъ городѣ), ограждавшаго до того стоянку бродячаго цирка, но доски были теперь расположены въ безсмысленномъ порядкѣ, точно ихъ сколачивалъ слѣпой, такъ что нѣкогда намалеванныя на нихъ цирковые звѣри, перетасовавшись во время перевозки, распались на свои составныя части, — тутъ нога зебры, тамъ спина тигра, а чей-то крупъ сосѣдствуетъ съ чужой перевернутой лапой: общаніе жизни грядущаго вѣка было по отношенію къ забору сдержано, но разъятіе земныхъ образовъ на немъ уничтожало земную цѣнность безсмертія; ночью, впрочемъ, мало что можно было различить, а преувеличенныя тѣни листьевъ (вблизи былъ фонарь) ложились на доски забора вполне осмысленно, по порядку, — это служило нѣкоторымъ возмѣщеніемъ, тѣмъ болѣе, что ихъ-то никакъ нельзя было перенести въ другое мѣсто, заодно съ досками, разбивъ и спутавъ узоръ: ихъ можно было перенести на немъ только цѣликомъ, вмѣстѣ со всею ночью.

Ожиданіе ея прихода. Она всегда опаздывала — и всегда приходила другой дорогой, чѣмъ онъ. Вотъ и получалось, что даже Берлинъ можетъ быть таинственнымъ. Подъ липовымъ цвѣтеніемъ мигаетъ фонарь. Темно, душисто, тихо. Тѣнь прохожаго по тумбѣ пробѣгаетъ, какъ соболь пробѣгаетъ черезъ пенъ. За пустыремъ какъ персикъ небо таетъ: вода въ огняхъ, Венеція сквозить, —

а улица кончается въ Китаѣ, а та звѣзда надъ Волгою виситъ. О, поклянись, что вѣришь въ небылицу, что будешь только вымыслу вѣрна, что не запрешь души своей въ темницу, не скажешь, руку протянувъ: стѣна.

Изъ темноты, для глазъ всегда неожиданно, она какъ тѣнь внезапно появлялась, отъ родственной стихіи отдѣляясь. Сначала освѣщались только ноги, такъ ставимыя тѣсно, что казалось, она идетъ по тонкому канату. Она была въ короткомъ лѣтнемъ платьѣ ночного цвѣта — цвѣта фонарей, тѣней, стволонъ, лоснящейся панели: блѣднѣе рукъ ея, темнѣе лица. Посвящено Георгію Чулкову. Федоръ Константиновичъ цѣловаль ея въ мягкія губы, и затѣмъ она на мгновеніе опускала голову къ нему на ключицу и, быстро высвободившись, шла рядомъ съ нимъ, сперва съ такой грустью на лицѣ, словно за двадцать часовъ ихъ разлуки произошло какое-то небывалое несчастье, но мало-по-малу она приходила въ себя, и вотъ улыбалась — такъ, какъ днемъ не улыбалась никогда. Что его больше всего восхищало въ ней? Ея совершенная понятливость, абсолютность слуха по отношенію ко всему, что онъ самъ любилъ. Въ разговорахъ съ ней можно было обходиться безъ всякихъ мостиковъ, и не успѣвалъ онъ замѣтить какую-нибудь забавную черту ночи, какъ уже она указывала ея. И не только Зина была остроумно и изящно создана ему по мѣркѣ очень постаравшейся судьбой, но оба они, образуя одну тѣнь, были созданы по мѣркѣ чего-то несомнѣнно понятнаго, но дивнаго и благожелательнаго, безсмѣнно окружавшаго ихъ.

Когда онъ поселился у Шеголевыхъ и увидѣлъ ее въ первый разъ, у него было ощущеніе, что онъ уже многое знаетъ о ней, что и имя ея ему давно знакомо, и кое-какія очертанія ея жизни, но до разговора съ ней онъ не могъ себѣ уяснить, откуда и какъ это знаетъ. Сначала онъ видалъ ее только за обѣдомъ и осторожно наблюдалъ за ней, изучая каждое ея движеніе. Она едва говорила съ нимъ, хотя по нѣкоторымъ признакамъ — не столько по

зрачкамъ, сколько по отливу глазъ, какъ бы направленному въ его сторону, — онъ зналъ, что она замѣчаетъ каждый его взглядъ, двигаясь такъ, словно была все время ограничена легчайшими покровами того самаго впечатлѣнія, которос на него производила; и оттого, что ему казалось вовсе невозможнымъ какое-либо свое участіе въ ея душѣ и жизни, онъ испытывалъ страданіе, когда выглядывалъ въ ней что-нибудь особенно прелестное, и отрадное облегченіе, когда въ ней мелькалъ какой-нибудь недостатокъ красоты. Ея блѣдные волосы, свѣтло и незамѣтно переходившіе въ солнечный воздухъ вокругъ головы, голубая жилка на вискѣ, другая — на длинной и нѣжной шеѣ, тонкая кисть, острый локоть, узость боковъ, слабость плечъ и своеобразный наклонъ стройнаго стана, какъ если бъ полъ, по которому она, разогнавшись какъ на конькахъ, устремлялась, спускался всегда чуть полого къ пристани стула или стола, гдѣ былъ ей нужный предметъ, — все это воспринималось имъ съ мучительной отчетливостью, и потомъ, въ теченіе дня, безконечное число разъ повторялось въ его памяти, отзываясь все лѣнивѣе, блѣднѣе и отрывистѣе, теряя жизнь и доходя, изъ-за машинальныхъ повтореній распадающагсся образа до какой-то изломанно тающей схемы, въ которой уже почти ничего не было отъ первоначальной жизни; но какъ только онъ ее видѣлъ вновь, вся эта подсознательная работа по уничтоженію ея образа, власти котораго онъ все больше боялся, шла на смарку, и опять вспыхивала красота, — ея близость, страшная доступность взгляду, возстановленная связь всѣхъ подробностей. Если въ тѣ дни ему пришлось бы отвѣчать передъ какимъ-нибудь сверхчужденнымъ судомъ (помните, какъ Гете говаривалъ, показывая тростью на звѣздное небо: «Вотъ моя совесть!»), то врядъ ли бы онъ рѣшился сказать, что любитъ ее, — ибо давно догадывался, что никому и ничему всецѣло отдать душу неспособенъ: оборотный капиталъ ему былъ слишкомъ нуженъ для своихъ частныхъ дѣлъ; но

зато, глядя на нее, онъ сразу добирался (чтобы черезъ минуту скатиться опять) до такихъ высотъ нѣжности, страсти и жалости, до которыхъ рѣдкая любовь доходитъ. И среди ночи, особенно послѣ долгой работы мысли, наполовину выйдя изъ сна какъ бы не съ той стороны, гдѣ разсудокъ, а съ чернаго хода бреда, онъ съ безумнымъ, тягучимъ упоеніемъ чувствовалъ ея присутствіе въ комнатѣ на поспѣшно и неряшливо приготовленной бутылочкой походной койкѣ, въ двухъ шагахъ отъ него, но пока онъ лелеялъ свое волненіе, наслаждался искушеніемъ, краткостью разстоянія, райской возможностью, въ которой, впрочемъ, ничего плотского не было, (а была какая-то блаженная замѣна плотского, выраженная въ терминахъ полусна), его заманивало обратно забытье, въ которое онъ безнадежно отступалъ, думая, что все еще держать добычу. По-настоящему же она никогда ему не снилась, довольствуясь присылкой какихъ-то своихъ представительницъ и наперсницъ, которыя бывали вовсе на нее непохожи, а возбуждали въ немъ ощущеніе, оставлявшее его въ дуракахъ, чему былъ свидѣтелемъ синеватый разсвѣтъ.

А потомъ, совсѣмъ проснувшись, уже при звукахъ утра, онъ сразу попадалъ въ самую гущу счастья, засасывающую сердце, и было весело жить, и теплилось въ туманѣ восхитительное событіе, которое вотъ-вотъ должно было случиться. Но какъ только онъ воображалъ Зину, онъ видѣлъ лишь блѣдный набросокъ, который голосъ ея за стѣной не въ силахъ былъ зажечь жизнью. А черезъ часъ-другой онъ встрѣчался съ ней за столомъ, и все восстанавливалось, и онъ снова понималъ, что, не будь ея, не было бы этого утренняго тумана счастья.

Какъ-то, спустя дней десять послѣ знакомства, она вдругъ вечеромъ постучалась къ нему и надменно-рѣшительнымъ шагомъ, съ почти презрительнымъ выраженіемъ на лицѣ, вошла, держа въ рукѣ небольшую, спрятанную въ розовой оберткѣ, книгу. «У меня къ вамъ прось-

ба, — сказала она быстро и сухо. — Сдѣлайте мнѣ тутъ надпись»; Федоръ Константиновичъ книгу взялъ — и узналъ въ ней пріятно потрепанный, пріятно размягченный двухлѣтнимъ пользованіемъ (это было ему совершенно вновь) сборничекъ своихъ стиховъ. Онъ очень медленно сталъ откупоривать пузырекъ съ чернилами, — хотя въ инныя минуты, когда хотѣлось писать, пробка выскакивала, какъ изъ бутылки шампанскаго; Зина же, посмотрѣвъ на его теребившіе пробку пальцы, послѣшно добавила: «Только фамилью, — пожалуйста, только фамилью». Онъ расписался, хотѣлъ было поставить дату, но почему-то подумалъ, что въ этомъ она можетъ усмотрѣть вульгарную многозначительность. «Ну вотъ, спасибо», — сказала она и, дунувъ на страницу, вышла.

В. Сиринь.

(Продолженіе этой главы въ слѣдующей книжкѣ).

Начало конца

IX *).

Револьверъ былъ очень хорошій: пятизарядный, съ сѣтчатой, очень темнаго цвѣта, рукояткой, съ предохранителемъ, съ мушкой въ видѣ полумѣсяца. Браунингъ стоилъ бы слишкомъ дорого, да и не со ста шаговъ стрѣлять. Названія у револьвера, къ сожалѣнію, не было, — звучныя, пріятно-двойныя, названія оружейныхъ фирмъ радуютъ слухъ: Форс-Лепажъ, Веблей-Скоттъ, Холлэндъ эндъ Холлэндъ. Объ этомъ револьверѣ приказчикъ уклончиво сказалъ: «Ти па Смитъ-и-Вессонъ, бельгійской работы, отличнаго качества, вы будете очень довольны, мосье». Альвера былъ въ самомъ дѣлѣ доволенъ. Бельгійскій револьверъ кармана не оттопыривалъ. По пути изъ Парижа въ Лувесьеннъ никто на карманъ никакого вниманія не обращалъ.

Лѣсъ подъ вечеръ былъ пустъ. «Въ самомъ дѣлѣ, воздухъ чудесный. Это они отлично придумали: жить подъ Парижемъ въ деревнѣ, въ своихъ виллахъ... Если я стану богатъ, можетъ быть, сдѣлаю то же самое»... Онъ съ любопытствомъ смотрѣлъ на все вокругъ себя: за всю жизнь былъ въ лѣсу не болѣе трехъ или четырехъ разъ: въ свое время на школьныхъ экскурсіяхъ. Деревьевъ онъ не зналъ и не различалъ. «Кажется, это дубъ. А можетъ быть, кленъ или орѣхъ? Слѣдовало бы — когда-нибудь позднѣе — пополнить свое образованіе въ этой области и вообще пройти систематической курсъ естествознанія.

*) См. «Совр. Записки» № 62 и 63.

Вотъ тогда и сдѣлаю это, когда куплю тутъ виллу... Онъ подумалъ, что было бы, какъ они говорятъ, «цинично» купить виллу въ той самой деревнѣ, гдѣ онъ соби-рался совершить убійство. «Собственно «цинично» также и учиться въ этой деревнѣ стрѣльбѣ. Но если они это считаютъ циничнымъ, то тѣмъ больше основанийъ именно такъ и поступать».

Альвера оглянулся: никого. За четверть часа ходьбы по лѣсу онъ ни одной живой души не встрѣтилъ. Все же свернулъ въ чащу, прошелъ еще шаговъ сто, — никого! — и сталъ выбирать дерево. Не было, впрочемъ, причины предпочесть одно дерево другому. Выбралъ дубъ потолка (окончательно остановился на томъ, что все это дубы) и тутъ только вспомнилъ, что нѣтъ мишени. «Во что же стрѣлять? Ахъ, какая досада!» Онъ сталъ рыть-ся въ карманахъ, надо бы найти что-либо цвѣтное, яркое, но, кромѣ бумажника и *carte d'identité*, — не стрѣлять же въ нее, — не оказалось ничего.

Во внутреннемъ карманѣ пальто была книга: «Преступленіе и Наказаніе». Книга эта тоже была взята нарочно, на зло и мѣ. Вырывать листокъ не хотѣлось: онъ любилъ книги. Желтоватая обложка едва ли могла послужить хорошей мишенью, бѣлое будетъ выдѣляться лучше. Книга раскрылась на страницѣ съ заложенымъ угломъ: «*Raskolnikov se laissa tomber sur la chaise mais ne quitta pas des yeux le visage d'Ilya Petrovitch qui semblait fort désagréablement surpris. Tous deux pendant une minute s'entre-regardèrent et attendirent. On apporta de l'eau. — C'est moi... commença Raskolnikov. — Buvez une gorgée. Raskolnikov repoussa d'une main le verre et doucement, avec des pauses et des reprises, mais distinctement il prononça: — C'est moi qui ai assassiné à coups de hache la vieille prêteuse sur gages, et sa sœur Elisabeth et qui les ai volées...*»

На поляхъ у этихъ строкъ было написано: «*Un fameux cretin, celui-là!*» Это мѣсто книги всегда его веселило.

«Да, совершенный кретин!» — подумалъ онъ, разумѣя и русскаго автора, и кающагося студента. Подумалъ также, что надпись на поляхъ можетъ быть уликой, и вырвалъ страницу. Конецъ тома, съ оглавленіемъ, съ объявленіями о другихъ книгахъ, былъ неразрѣзанъ. Альвера разсѣянно разодралъ пальцемъ верхъ, съ неудовольствіемъ взглянулъ на образовавшіяся зазубрины и старательно все выровнялъ, оторвавъ треугольнички. Подошелъ къ дубу, попытался прикрѣпить листокъ къ стволу приблизительно на уровнѣ головы, нацѣпилъ было на отступавшій край коры, — вѣтерокъ тотчасъ сорвалъ бумажку. Выругавшись, Альвера достала узенькій костяной пятифранковый ножикъ и, съ трудомъ, морщась, — всегда боялся сломать ноготь, — поднялъ единственное лезвие. Затѣмъ приложилъ листокъ къ стволу и сильнымъ ударомъ всадилъ ножъ черезъ бумагу въ дерево. Листокъ повисъ, только края немного загибались отъ вѣтерка. Въ этомъ сильномъ ударѣ ножа было нѣчто пріятное, рѣшительное, густавъ-эмаровское. Онъ подумалъ, что въ немъ еще сидитъ мальчишка, и усмѣхнулся. На листкѣ слѣдовало сдѣлать черный кружокъ. Альвера полѣзъ въ боковой карманъ за самопишущимъ перомъ и съ досадой замѣтилъ, что оно—тоже дешевенькое и дрянное — свалилось со стерженькомъ съ борта вглубь кармана. Опять въ крышкѣ будутъ чернила, пальцы измажутся, скверно... Дѣйствительно, весь конецъ ручки, надъ крошечнымъ, поддѣльнаго золота, перомъ былъ въ чернилахъ. Старательно взявъ ручку повыше, онъ постарался начертить кружокъ, — бумага не приставала къ корѣ, чернила на поднятомъ перѣ не выступали. Встряхнулъ, — послѣдняя капля чернилъ сорвалась, резервуаръ былъ пустъ, — раздраженно снялъ листокъ, потеръ его серединой о конецъ пера, затѣмъ снова вонзилъ перочинный ножъ. Но на этотъ разъ рѣшительный ударъ не удался, лезвие захлопнулось, чуть царапнувъ руку. Онъ испуганно выровнилъ ножикъ, — нѣтъ, крови нѣтъ. Кое-какъ, уже

безъ удара, Альвера прикрѣпилъ къ дереву листокъ съ размазавшимся въ срединѣ чернильнымъ пятномъ. Затѣмъ старательно, какъ указывалъ приказчикъ, зарядилъ револьверъ; патроны онъ везъ отдѣльно: зачѣмъ рисковать въ вагонѣ несчастнымъ случаемъ?

Нѣсколько разъ онъ передвинулъ вверхъ и внизъ предохранитель. Не помнилъ твердо, въ какомъ случаѣ предохранитель дѣйствуетъ: если кнопка наверху или если она внизу? «Кажется, если наверху. Но надо провѣрить»... Разрядилъ, попробовалъ и опять зарядилъ: теперь механизмъ револьвера былъ ясенъ. Альвера старательно отмѣрилъ пять шаговъ — въ этомъ тоже было нѣчто пріятное: не густавъ-эмаровское, а дуэльное. Оглянулся въ послѣдній разъ, — попрежнему, никого, — отставилъ назадъ лѣвую ногу, чуть согнувъ колѣно, — говорятъ, задача бываетъ сильна — вытянулъ руку съ револьверомъ, прищурилъ глазъ, прицѣлился — мушка, чернильное пятно, все такъ — и выстрѣлилъ. Звукъ выстрѣла оказался гораздо слабѣе, чѣмъ онъ ожидалъ, а отдачи почти никакой, даже не замѣтилъ. Опять оглянулся, сунулъ въ карманъ револьверъ и подошелъ къ дереву. Къ его разочарованію, дыры не было не только на чернильномъ пятнѣ, но и въ листкѣ. Снова отмѣрилъ разстояніе, сдѣлалъ шаги поменьше, — а все-таки пять шаговъ, — и съ неприятнымъ чувствомъ замѣтилъ, что, не переведя предохранителя, опустилъ въ карманъ заряженный револьверъ: это свидѣтельствоvalo о недостаткѣ хладнокровія. «Надо взять себя въ руки», — сказалъ онъ вслухъ и подумалъ, что очень трудно понять сущность того волевого усилія, которое обычно такъ называется. «Ну, вотъ я взялъ себя въ руки, я теперь не таковъ, какимъ былъ только что: я себѣ сказалъ, что ничто не страшно: въ любую минуту я могу покончить съ собой, полминуты мученія, и все кончено, значить, бояться нечего. Объ этой жизни, что ли, жалѣть, или о нѣхъ?» Онъ снова сталъ стрѣлять, теперь дѣйствительно спокойнѣе и лучше. Всего вы-

пустилъ десять пуль (въ коробочкѣ было двадцать пять патроновъ), изъ нихъ три попали въ листокъ: двѣ съ краю, третья почти у чернильнаго пятна. Результатъ его удовлетворилъ. Главное пока пріучить себя къ стрѣльбѣ и къ обращенію съ оружіемъ.

Выполнивъ то, что было назначено на сегодня, онъ съ облегченіемъ положилъ револьверъ въ карманъ пиджака, сунулъ книгу въ карманъ пальто и наткнулся на скожканную бумажку. «Ахъ, какая досада!» Этотъ испорченный имъ листъ изъ переписанной рукописи заказчика онъ, по ошибкѣ, сложилъ было дома съ другими, а въ поѣздѣ, замѣтивъ ошибку, сунулъ во внутренней карманъ пальто. «Досадно, что не вспомнилъ: мишень была бы гораздо лучше, и не требовалось вырывать страницу изъ книги»... Альвера вернулся на большую дорогу и пошелъ по направленію къ вокзалу. «Да, все дѣло лишь въ томъ, чтобы придать убійству совершенно привычную форму. Надо выработать привычку къ стрѣльбѣ, но этого, разумѣется, недостаточно... Хорошо было бы для опыта застрѣлить собаку. Ощущеніе должно быть въ сущности почти такое же, — и главное отличие относится на счетъ страха гильотины. Убить человѣка очень просто: при нѣкоторой привычкѣ, убивать можно такъ, какъ мясникъ убиваетъ вола, безъ дешевенькихъ разсужденій, безъ Наполеона, безъ чьихъ-то открытій. У средневѣковыхъ головоуѣзцовъ была такая привычка, и они отлично обходились безъ всякой философіи. У какого-нибудь дюссельдорфскаго вампира привычка, вѣроятно, подъ конецъ выработалась, но тамъ былъ сексуальный мотивъ, а это гадко и непонятно: такіе люди — личная непріятность богословамъ со стороны природы».

Лѣсъ кончился, появились, стали учащаться дома. Встрѣтившаяся женщина посмотрѣла на Альвера, оглянулась и ускорила шаги. Онъ шелъ, съ любопытствомъ читая названія виллъ, надписи, афиши. Два льва въ кружочкѣ стояли на заднихъ лапахъ надъ перекрещенными

ключами, съ надписью: «La Vigie mobile. Propriété gardée», — подумалъ, выгодное ли это дѣло, и какъ это общество осуществляетъ надзоръ, — еще не попались бы тогда его люди? Черная стрѣлка указывала дорогу въ мэрию и церковь. «Церковь какъ разъ позади его виллы». Въ прямоугольникѣ, съ вписанными въ него и желтымъ и черными треугольниками, — «какъ глупо и некрасиво!» — двѣ дѣвочки шли, взявшись за руки, — «довольно противныя дѣвчонки, никакой бѣды не будетъ, если ихъ раздавятъ». Вдали какъ разъ показался автомобиль. Альвера медленно шель ему навстрѣчу и свернулъ только шагахъ въ пяти; сидѣвшій за рулемъ человекъ прокричалъ что-то нелюбезное. «Какъ странно, что мы обычно чувствуемъ себя въ безопасности: одно невѣрное движеніе у этого кретина, мгновеніе невниманія, лишняя рюмка коньяку за его завтракомъ, — и меня нѣтъ. Значитъ, каждый парижанинъ зависитъ отъ милліона такихъ случайностей, въ Парижѣ шофферовъ тысячи. Значитъ, вѣроятность гибели для каждаго не на много меньше, чѣмъ у меня... Значитъ»... Ему надоѣли эти вѣчныя, нудныя размышленія. «Хочешь убить, — убей, но не морочь голову», — сказала онъ самъ себѣ. Затѣмъ его разсмѣшила надпись на заборѣ: «Défense de déposer et faire des Ordures sous peine d'Amende». Особенно смѣшно было, что слово «Ordures» напечатано съ прописной буквы. Онъ разсѣянно посмотрѣлъ на часы: до поѣзда оставалось восемнадцать минутъ, — его часы на четыре минуты отставали. Рано.

Отъ перекрестка шла тропинка къ той виллѣ. Онъ хотѣлъ было подойти къ ней и раздумалъ: въ смыслѣ тренировки это почти ничего не дастъ, и есть нѣкоторый рискъ: вдругъ встрѣтишь этого кретина. «Онъ удивленно взглянетъ и скажетъ: «Какъ? Вы еще не уѣхали?» Тогда надо будетъ сказать, что я забылъ, на какой страницѣ кончилъ переписку, и не знаю, какую ставить на продолженіи. Это произведетъ на него благопріятное впечат-

лѣніе. Можетъ быть, онъ даже растрогается и заплатитъ мнѣ за пробѣлы. «За бѣлыя строки, я, молодой человѣкъ, никогда изъ принципа не плачу: что не стоитъ труда, не должно и оплачиваться». — «За бумагу онъ, вѣроятно, тоже изъ принципа не платитъ, и за мой проѣздъ и потраченное время не заплатилъ, точно я обязанъ привозить ему работу въ Лувесеннъ. — «Вы могли послать ее мнѣ по почтѣ, молодой человѣкъ», — сказалъ онъ голосомъ заказчика («на рѣдкость противный голосъ»), хоть заказчикъ этихъ словъ не говорилъ: о потраченномъ времени рѣчи не было. «Я не могъ сказать ему, что прѣхалъ на развѣдку, такъ какъ собираюсь его убить», — почти весело подумалъ онъ. «Въ случаѣ, если поймутъ, я скажу, что убилъ его за неоплаченныя бѣлыя строчки: это будетъ доказательствомъ «моральнаго идиотизма», на судѣ очень хорошо быть моральнымъ идиотомъ...» Потомъ онъ лѣниво подумалъ о Жаклинѣ: очень милая дѣвочка.

Вдали просвистѣлъ паровозъ, Альвера ахнулъ: «опоздалъ! теперъ ждать полчаса!» — взглянулъ на часы, — нѣтъ, до его поѣзда было еще минутъ двѣнадцать, «это вѣроятно, встрѣчный поѣздъ»...

Остановился передъ большой бѣлой афишей съ зеленой каймой, съ изображеніемъ зеленаго юноши, и зеленой дѣвушки необыкновенно бодрого вида. Какое-то гимнастическое общество приглашало молодыхъ людей записываться: «Pour une jeunesse saine, forte, joyeuse le sport c'est la joie et la santé»... «Но если они веселы и здоровы, то зачѣмъ же имъ еще веселье и здоровье? Какіе кретины! «...La fédération sportive et gymnique du travail vous accueillera dans un de ses clubs»... Что такое «gymnique»? я не зналъ, что есть такое слово... Собственно они и меня приглашаютъ, это я jeunesse saine, forte, joyeuse!.. Онъ опять засмѣялся, прочелъ всю афишу до конца, прочелъ и объ условіяхъ приема, и о членскихъ взносахъ. Кандидатамъ въ возрастъ до 18 лѣтъ предлага-

лась скидка. — «Жаль, я не подхожу: мнѣ двадцать первый»... Подумаль, что тамъ скидки тоже по возрасту не будутъ. Ему было вполнѣ точно извѣстно, кто по закону считается малолѣтнимъ, кто несовершеннолѣтнимъ. «Въ двадцать — отправить на гильотину очень просто...»

Онъ радостно представилъ себѣ, какъ остолбенѣть Вермандуа, прочитавъ въ газетѣ объ убійствѣ: «Его секретарь! Господи, его секретарь — и такое дѣло!» «Особенно онъ будетъ въ ужасѣ отъ того, что надо будетъ давать показанія, сначала слѣдователю, потомъ на судѣ: какая скука, какая потеря времени! А журналисты! Вѣдь они явятся за интервью, набросятся какъ коршуны, имъ за это платятъ франкъ за строчку: одно хорошее, приличное убійство, и можно жить припѣваючи двѣ недѣли! Впрочемъ, интервью, даже по такому дѣлу, это тоже реклама, а плохой рекламы нѣтъ... Потомъ ему придетъ въ голову, что вѣдь я съ такой же легкостью могъ бы убить его самого, онъ затрясется, вспотѣетъ и похолодѣетъ отъ ужаса. И я въ самомъ дѣлѣ могъ бы убить этого пошлаго маніака. Но тогда на меня сразу пали бы подозрѣнія: я единственный бѣдный человѣкъ, бывающій въ его домѣ... Вермандуа коммунистъ или что-то въ этомъ родѣ, но бѣдныхъ знакомыхъ онъ терпѣть не можетъ. Притомъ убійцу великаго писателя полиція разыскивала бы получше. Зато если убить его, то можно надѣяться на мѣсто въ исторіи литературы. Кажется, такого случая не было? Да и ему собственно только это и могло бы обеспечить славу: его нынѣшнее безсмертіе будетъ продолжаться ровно годъ, до пріема въ Академію его преемника; и сейчасъ уже никто его не читаетъ: онъ уже, слава Богу, тридцать лѣтъ «сher maigre». Но когда онъ немного успокоится, то проявитъ великодушіе и даже подыщетъ мнѣ защитника, средняго, не очень дорогого. Впрочемъ, по его приглашенію пойдетъ бесплатно и самый дорогой, имъ тоже нужна реклама... Быть можетъ,

онъ даже разъ навѣститъ меня въ тюрьмѣ и принссетъ четверть фунта ветчины... Нѣтъ, въ тюрьму онъ не поидеть, скучно. Но на судъ явится непременно и произнесетъ слезливое слово,— что-нибудь о современной молодежи, о потерѣ идеаловъ. Каждая газета напечатаетъ строкъ по двадцати, этимъ тоже пренебрегать нельзя: будетъ «le grand écrivain», «le célèbre écrivain», «l'illustre écrivain». Присяжные растроганно его выслушаютъ, затѣмъ вынесутъ вердиктъ безъ смягчающихъ обстоятельствъ, прежде всего потому, что кража, я могъ, значить, обокрасть и ихъ, и еще потому, что я «sale étranger», «un de ces étrangers indésirables qui viennent chez nous et qui...»

До поѣзда оставалось семь минутъ: все-таки рано! Альвера остановился передъ другой афишей, старой, полуистлѣвшей. Мѣстный отдѣлъ коммунистической партіи приглашалъ всѣхъ явиться на митингъ: «Pour (дальше было стерто) ...liberté! Pour... blique des Soviets en France!» Альвера прочелъ афишу съ отвращеніемъ: онъ терпѣть не могъ коммунистовъ.

Показался невысокій, желтосѣрый вокзалъ. Черезъ площадь послѣшно проходили люди. «Въ толпѣ никто замѣтить не можетъ... Хоть нечего замѣчать, да пока и ни къ чему... Смотрите сколько вамъ угодно»... Билета никто не спросилъ: контроля у входа не было. «Хороши порядки!» Сталъ соображать, можетъ ли, при такихъ условіяхъ, недобросовѣстный пассажиръ обмануть желѣзнодорожное вѣдомство. «Въ Парижѣ при выходѣ спросить билетъ, но вѣдь я могъ бы выйти изъ поѣзда на послѣдней станціи передъ Парижемъ и купить тамъ, такъ обошлось бы значительно дешевле. Неужели они объ этомъ не подумали? Этакіе кретины!»

Онъ прошелся по перрону, все съ тѣмъ же напряженнымъ любопытствомъ читая надписи. «Электрической рельсъ на пути заряженъ»... «Да, вѣдь дорога электрическая. Если стать ногой на эту штуку, а другой на тотъ

рельсъ, то конецъ. Легкій? Тотъ же электрическій стуль... На долю ни въ чемъ невинныхъ людей очень часто выпадаетъ худшая насильственная смерть, чѣмъ на долю такъ называемыхъ преступниковъ»... Онъ задумался, что хуже: электрическій стуль или гильотина? «Въ Сингъ-сингѣ, говорятъ, это длится нѣсколько минутъ. Но когда падаетъ, напрымѣрь, аэропланъ, летчики тоже горятъ минуты двѣтри. А отъ какого-нибудь рака языка люди въ мученіяхъ умираютъ годами»... Ему вспомнилось что-то непріятное: «да, да, *la k ratite interstitielle, l'h patite diffuse, les convulsions  pileptiformes, le retr cissement mitral*»... Ну и отлично, но зато законъ Пророка... Если будетъ погоня, можно будетъ вскочить на этотъ рельсъ. И тогда любезно протянуть имъ руку, пусть однимъ мерзавцемъ будетъ на свѣтѣ меньше».

Нервно зѣвая, онъ прошелъ до конца перрона, повернулъ назадъ, остановился передъ огромнымъ градусникомъ, наверху котораго красный и бѣлый человѣчки съ необыкновенно веселымъ видомъ несли какую-то бутылку. «Сень-Рафаэль Кэнкина». Кажется, никогда не пилъ или, по крайней мѣрѣ не помню вкуса... Вообще мало пилъ: «*Jeunesse saine, joyeuse*»... какое было третье слово?» Но третьяго слова онъ, къ своему беспокойству, вспомнить не могъ. Вдали пропѣлъ пѣтухъ. Альвера чрезвычайно удивился. Ему казалось, что пѣтухи поютъ только на разсвѣтѣ. Лишь теперь онъ замѣтилъ, что все это селенье, Лувесеннъ, утонуло въ зелени. По обѣ стороны сквозного вокзала видны были высокія деревья, ряды цвѣтовъ, цвѣты. «Да, красивое мѣсто... Послѣ дѣла можно было бы, пожалуй, тутъ купить виллу и поселиться... Можно было бы даже купить эту самую виллу, она, вѣрно, будетъ продаваться съ аукціона: было бы забавно, и окончательно разсѣяло бы подозрѣнія: какой же убійца купить домъ, гдѣ «его будетъ посѣщать кровавый призракъ?» Надо будетъ подать эту мысль адвокату. А Вермандуа, если онъ навѣститъ меня въ тюрьмѣ, я скажу, что

убилъ на зло Достоевскому. Онъ будетъ въ восторгѣ и вставить въ свой романъ обо мнѣ, — какой блестящій парадоксъ: романы великаго славянскаго моралиста только способствуютъ развѣтлю преступности среди этихъ несчастныхъ дѣтей!» — Проходившій по перрону пассажиръ съ любопытствомъ посмотрѣлъ на невысокаго, худого, безобразнаго юношу, на лицѣ у котораго повисло напряженное выраженіе страданія и ужаса, точно съ нимъ только что случилось большое несчастье. — «Онъ такъ можетъ и назвать романъ: «Преступленіе въ Лувесеннѣ»... Хотя нѣтъ, для него это слишкомъ бульварное заглавіе, романъ будетъ психологическій, съ блестящими парадоксами и съ авансомъ въ тридцать тысячъ франковъ. Вотъ бы ему сказать: «Défense de faire des ordures»... Онъ засмѣялся. Вдали показался небольшой, странно-медленно шедшій зеленый поѣздъ. Альвера удивился, что нѣтъ ни дыма, ни локомотива, опять вспомнилъ, что дорога электрическая — «вѣдь только что объ этомъ думалъ», — тяжело вздохнулъ и занялъ мѣсто въ вагонѣ второго класса. «Такъ они это называютъ въ насмѣшку надъ нами, на самомъ дѣлѣ это четвертый классъ. Они нарочно сдѣлали здѣсь все какъ можно болѣе неудобнымъ и неприятнымъ: нужно вѣдь наказать человѣка за то, что у него нѣтъ денегъ на болѣе дорогой билетъ»...

X.

Когда поѣздъ пришелъ въ Парижъ, было уже почти совсѣмъ темно. Альвера разсѣянно направился къ выходу. На этотъ разъ билетъ спросили. «Нѣтъ, вѣроятно, обмануть этихъ бандитовъ трудно. Вся ихъ жизнь построена на рутинѣ, — если-бъ и рутина была негодной, они не могли бы существовать». На улицахъ горѣли фонари. Послѣднія лавки закрывались. Онъ ускорилъ шаги: дома никакой вѣды нѣтъ, кромѣ масла и оставшихся со

вчерашняго дня трехъ — нѣтъ, двухъ — яиць. Въ его кварталѣ съѣстные припасы стоили нѣсколько дешевле, но ѣхать было далеко, надо все купить тотчасъ. Сосчиталъ мысленно свои деньги: когда выходилъ изъ дому, было пятьдесятъ пять франковъ, восемьдесятъ четыре получено за работу, на билетъ въ два конца истрчено восемь, и куплены билетики въ автобусъ: шесть. Итого, должно быть сто двадцать пять. Опустивъ руку въ карманъ, — опять упало самопишущее перо, — не нашелъ сразу стофранковой ассигнаціи и похолодѣлъ отъ ужаса. «Ахъ, нѣтъ, вотъ она! слава Богу!» Мелочь тоже оказалась въ цѣлости, счетъ былъ вѣренъ. «Послѣзавтра получу у Вермандуа двѣсти. Хватить»...

Свернувъ въ боковую улицу, онъ остановился у лавки мясника. У дверей висѣла огромная окровавленная туша. Можно было купить за три франка бифштекъ и дома зажарить. Но видъ крови показался ему необыкновенно противнымъ. Изъ двери вышелъ съ палкой, напоминающей вилу, мясникъ, почти столь же окровавленный какъ туша, и у него на глазахъ закрылъ лавку съ видомъ нѣсколько демонстративнымъ, точно зналъ, что этотъ покупатель спроситъ именно одинъ бифштекъ: обойдусь и безъ твоихъ трехъ франковъ. Альвера купилъ въ сосѣдней лавкѣ ветчины. «На три франка, нарѣзанной. И колбасы, на два франка, безъ чесноку». Продащица нарѣзала колбасу какъ будто съ демонстративнымъ нетерпѣніемъ, — можетъ быть, тоже для того, чтобы показать пренебреженіе. Онъ слѣдилъ за движеніемъ огромнаго ножа и думалъ, что у палача, вѣроятно, движенія столь же ровны, ловки, привычны. «А эта ветчинная гильотина напоминаетъ ту, настоящую»... Купилъ еще сыру и два яблока, съ пріятнымъ сознаніемъ, что не отпустить дерзкую продащицу, пока всего не получитъ: теперь и хъ законъ дѣйствовалъ за него и противъ продащицы. Расплачиваясь, тоже съ пріятнымъ чувствомъ подумалъ, что не вышелъ изъ бюджета ни на грошъ.

У лавки находилась стоянка автобуса, того самого, который былъ ему нуженъ. Въ автобусъ оказалось свободнымъ его излюбленное мѣсто: у окна, на скамейкѣ отдѣленія для двухъ пассажировъ. Это было еще пріятнѣе. Онъ положилъ на колѣни кульки, уперся въ стѣну и устало откинулся на спинку. Сосѣдка сзади, шляпу которой онъ задѣлъ, что-то пробормотала. Рядомъ съ нимъ сѣла какая-то дама, онъ не обратилъ на нее вниманія, не почувствовалъ прикосновенія ея тѣла, и только, когда она встала у моста, замѣтилъ, что она была молода и недурна собой, — самъ удивился своей нечувствительности. «Однако, Жаклинъ...» Автобусъ прошелъ мимо зданія суда. Альвера лѣнливо-пріятно представилъ себѣ, какъ его будутъ судить: «въ какой залѣ? куда выходятъ окна? не эти-ли?» Представилъ себѣ судей, прокурора. Присяжные удалятся въ совѣщательную комнату, онъ останется съ жандармомъ, который будетъ съ состраданіемъ отводить глаза, какъ полагается человѣку изъ народа у гуманныхъ писателей. «Dieu à ses pauvres»... Бѣдные называются Е го бѣдными, это, очевидно, насмѣшка! вотъ бы Е му сдѣлать ихъ богатыми»... Автобусъ свернулъ на бульваръ Араго. «Гильотину ставятъ тутъ между этими двумя деревьями... «Du courage, Alvera, l'heure de l'expiation est venue»... Надо будетъ выдавить улыбку, — выйдетъ натянутой, но, если очень постараться, можно улыбнуться вполне прилично. — «Я давно готовъ... Ну, а если не готовъ, тогда что: мы отложимъ?» Отъ взволнованныхъ объятій защитника можно отказаться. Папиросу, рюмку рома принять и сказать: «Merci, Monsieur, bien aimable»... Потомъ видъ машины и полагающійся «судорожный, нервный шокъ»... Нѣтъ, не страшно. Во всякомъ случаѣ, можно себя приучить, думая объ этомъ постоянно. Въ смерти тоже, какъ это ни глупо, привычка играетъ нѣкоторую роль. Застрѣлиться, повѣситься особенно трудно потому, что револьверъ, веревка намъ непривычны. Отравиться же навѣрное легче: глотать порошки дѣло обыкно-

вешное... Собственно, убійство можетъ разсматриваться, какъ наиболѣе рѣдкая форма самоубійства»...

Онъ сошелъ на своемъ углу, поглощенный этой заинтересовавшей его мыслью. Поднялся на седьмой этажъ: снималъ комнату для прислуги, безъ права пользоваться подъемной машиной, — «тоже въ наказаніе за то, что нѣтъ денегъ». Комната была безъ проточной воды, но недурная, прилично обставленная; мебель приобрѣталась имъ постепенно на толкучемъ рынкѣ. Письменный столъ подъ красное дерево былъ и совсѣмъ хорошъ. Все находилось въ образцовомъ порядкѣ. На столѣ были очень аккуратно разставлены чернильница, лампа, лодочка для перьевъ и карандашей. Каждая книга имѣла точно определенное мѣсто на полкахъ, — у него, по тщательности номерами, составленному каталогу, было двѣсти семьдесятъ двѣ книги. Томикъ Достоевскаго значился подъ номеромъ 196. Альвера поставилъ книгу на мѣсто, еще разъ пожалѣвъ о вырванной страницѣ, и разсѣянно спряталъ прострѣленную бумажку въ средней ящикъ письменнаго стола; въ этомъ ящикѣ лежало все важное: тетрадь, лицейскій дипломъ, рекомендаціи, оплаченные счета и тѣ бумаги отца, которыя сыграли столь большую роль въ его жизни. Затѣмъ онъ снялъ воротничекъ, повѣсилъ галстукъ на ленту, протянутую изнутри на доскѣ шкафа, надѣлъ мягкія туфли и съ досадой замѣтилъ, что правый носокъ продрался на большомъ пальцѣ. Альвера разложилъ на бѣломъ некрашеномъ столикѣ съѣстные припасы, сходилъ въ корридоръ за водой, заварилъ на спиртовкѣ чай, зажегъ вторую лампу на письменномъ столѣ и увидѣлъ на столѣ счетъ электрическаго общества: забылъ, совершенно забылъ вчера послать деньги по счету! Квитанція доставлялась въ первый разъ, прервать токъ никакъ не могли, все же это очень его взволновало. Онъ платилъ по счетамъ немедленно: и прачкѣ, и булочнику, и газетчицѣ. Записалъ въ карманной тетради: непременно, первымъ

дѣломъ, завтра съ утра послать. «Денегъ все-таки хватить».

Онъ зарабатывалъ секретарскимъ трудомъ и перепиской не менѣе восьмисотъ франковъ въ мѣсяцъ, а случилось, и всю тысячу. Острой нужды почти никогда не испытывалъ. Зимой появились было даже небольшія сбереженія, но ушли на бѣлье, на костюмъ, на обувь: для исполненія секретарскихъ обязанностей при Вермандуа надо было одѣваться прилично. «Этотъ прохвостъ одѣвается у лучшаго портного. Одинъ красный халатъ стоитъ, вѣрно, больше, чѣмъ я зарабатываю въ мѣсяцъ... Къ Новому Году можно было бы олять скопить тысячу... Самъ удивился: какой же Новый Годъ, какая тысяча, если черезъ два мѣсяца — ну, черезъ три — состоится дѣло! На голодъ и нищету защитнику будетъ ссылаться трудно, такъ что тѣмъ болѣе *ces étrangers qui viennent chez nous*... Иностранцемъ Альвера собственно могъ считаться лишь по паспорту: отецъ, бѣжавшій изъ Южной Америки послѣ какого-то переворота, привезъ его во Францію, когда ему не было трехъ лѣтъ. Онъ говорилъ только по-французски, ничего испанскаго не зналъ и не любилъ, своего длиннаго имени немного стыдился: Рамонъ - Грегорио - Гонзало, — это Гонзало, казавшееся ему и глупымъ, и смѣшнымъ, особенно его раздражало. Въ лицѣ онъ былъ Рэймонъ Альвера съ удареніемъ на послѣднемъ слогѣ, — «но тамъ, конечно, выльветъ и Гонзало».

Въ шкапу, прибрѣтенномъ за пятьдесятъ франковъ и стоившемъ по меньшей мѣрѣ двѣсти (воспоминаніе объ этой покупкѣ было особенно пріятно), справа отъ заканчивавшихъ отдѣлъ бѣлья, аккуратно, столбикомъ, сложенныхъ полотенецъ, стояла банка съ вишневымъ вареньемъ. Въ этомъ вареньи было, — онъ чувствовалъ, — нѣчто одновременно и постыдное, и особенно уютное. Альвера поужиналъ съ аппетитомъ, выпилъ стаканъ чаю, поставилъ на письменный столъ другой, чуть не на треть

наполненный вареньемъ, убралъ остатки провизіи, воспользуясь посуду. Затѣмъ досталъ изъ ящика толстую тетрадь въ красивомъ коленкоровомъ переплетѣ. Въ ней была большой трудъ: «Энергетическое міропониманіе». Онъ задумалъ работу еще въ лицей, когда узналъ, что энергія можетъ быть представлена, какъ произведение множителей напряженности и количества, и что физическіе процессы идутъ съ убываніемъ множителя напряженности. Мысль эта его заняла еще тогда, и онъ часто къ ней возвращался. Позднѣ ему пришло въ голову, что можно создать социально-философскую систему, въ основѣ которой лежала бы математическая формула: онъ представлялъ себѣ большую красиво изданную книгу, гдѣ изъ такой формулы исходило бы все. Купилъ тетрадь и на первой страницѣ, неровной, справа чуть загибавшейся кверху строкой, написалъ: $\lambda = c + t \frac{d\lambda}{dt}$. Теперь онъ уже не вполне твердо помнилъ, что въ физикѣ означаютъ всѣ эти буквы. Основой же его системы было то, что социальныя и психологическія процессы должны идти съ возрастаніемъ множителя напряженности. Для математической части труда было оставлено двадцать бѣлыхъ страницъ, — это можно будетъ заполнить позднѣ, послѣ лучшаго ознакомленія съ физикой и математикой. Съ 21-ой страницы шла чистая социологія, — ея пока было тридцать семь страницъ. На двухсотой страницѣ, съ закладкой, начинались стихи, переписанные въ тетрадь набѣло, — концы строкъ все немного забѣгали вверхъ. Альвера окунулъ перо въ чернильницу и почувствовалъ, что сегодня работа не пойдетъ. Лѣнливо нарисовалъ на поляхъ непристойный рисунокъ, тотчасъ объ этомъ пожалѣвъ, — зачѣмъ пачкать рукопись? — и съ досадой спряталъ тетрадь въ ящикъ.

Въ комнатѣ было холодно, много холоднѣе, чѣмъ на улицѣ. — «Ужъ не ознобъ ли?» — Его манило теплое одѣяло постели. Однако совѣстно было ложиться со-

в с ъ м ъ въ десятомъ часу вечера. Компромиссъ могъ бы заключаться въ томъ, чтобы лечь временно, накрывшись пальто; правда, если такъ проспять часа два, то ужъ потомъ не заснешь до утра. Онъ все же пошелъ на компромиссъ, взявъ съ полки первую попавшуюся книгу, — вышелъ № 64 — и легъ, устроившись на постели такъ, чтобы не попасть въ провалъ тюфяка. Проваль въ прочемъ тоже былъ, какъ все здѣсь, свой и уютный. Снизу доносилась музыка. Это въ квартирѣ шестого этажа играла на пианино дочь хозяйки. «Если въ десять игра не прекратится, я пожалуюсь: она не имѣетъ права»... Онъ прислушался и не узналъ, что играютъ. «Но что-то очень знакомое и банальное. Теперь надо было бы совершенно передѣлать музыку, такъ больше нельзя. Публика ничего не понимаетъ: если пианистъ бьетъ по клавишамъ какъ боксеръ и изо всей силы нажимаетъ на педаль, ей нравится мощь его игры; а если онъ играетъ пианиссимо, ей нравится задушевность»...

Пианистка перестала играть. Онъ читалъ, почти не думая надъ тѣмъ, что читаетъ: зналъ, что, когда понадобится, подумаетъ и составитъ свое мнѣніе. Теперь удовольствіе было автоматическое, почти такое, какъ отъ прогулки или отдыха. Потомъ мысли его отвлеклись, опять къ философской работѣ. «Быть можетъ, я злоупотребляю идеей привычки, множителемъ количества?» Ему пришла въ голову новая мысль, слѣдовало бы тотчасъ ее записать, — но садиться опять за столъ не хотѣлось. Бздрагивая отъ холода и волненія, — «кажется, въ самомъ дѣлѣ лихорадка: не можетъ быть, чтобы лѣтомъ въ комнатѣ было такъ холодно», — онъ перелисталъ страницы. «*Le cœur débordant de passion, la tête forte d'un enthousiasme raisonné*» (Альвера засмѣялся), «*les yeux perdus dans la contemplation des splendeurs qu'elle entrevoit, l'humanité se dirige, irrésistible, vers la Terre promise où chacun pourra vivre dans la paix de son cœur et de sa conscience, aimant et aimé, sans contrainte et sans*

haine, sans envie, sans entrave, dans le rayonnement bien-faisant des passions satisfaites, dans l'affinement vigoureux des facultés décuplées dans l'épanouissement fécond des originalités et des caprices» (онъ засмѣялся опять), «dans la suave caresse des rêves et des aspirations vers le sublime et l'idéal, les sens apaisés par des fêtes de la chair réhabilitée, le cerveau élargi par la science fortifiée, l'oreille bercée par l'harmonique vibration des choses, le cœur gonflé de l'amour d'autrui...»

Ему стало очень весело. Нѣтъ, право, анархисты еще глупѣе коммунистовъ. Этотъ отлично понимаетъ, что убивать и воровать можно, но убивать и воровать онъ явно боится и потому придумываетъ всевозможныя увертки: «отдѣльные акты воровства и убійства развращаютъ и унижаютъ человѣка»? Ну, а меня не развращаетъ и не унижаетъ то, что я долженъ, какъ милости, искать работы у всевозможныхъ негодяевъ, что я долженъ лебезить передъ людьми, которыхъ я презираю и ненавижу? Да, этотъ господинъ такъ же, какъ они всѣ, дѣлаетъ карьеру на красивыхъ фразахъ: у социалистовъ всѣ вакансіи были заняты, поэтому онъ объявилъ себя анархистомъ, вотъ тоже очень красивое слово. Погоди, погоди, я тебѣ покажу l'harmonique vibration des choses», — съ внезапной злобой подумалъ онъ. — «Точно люди живутъ для идеала, или для чего-нибудь, или почему-нибудь! Живутъ потому, что живутъ, умерли, ну и мертвы».

Свѣтъ лампочки чуть утомлялъ глаза; они у него всегда были красные, немного опухшіе: «хроническій конъюнктивитъ, съ этимъ не шутятъ», — сказалъ студентъ-медикъ, бывший товарищъ по лицу. Альвера высунулъ руку изъ-подъ пальто и повернулъ выключатель. Въ комнату проникъ блѣдный свѣтъ фонаря. Стало еще уютнѣе. «Такъ, быть можетъ, крыса дорожитъ норой и находитъ ее уютной... Да, пока я не преступилъ ихъ законовъ, сюда никто не ворвется, никто меня не потревожитъ, завтра

я пойду въ кофейню пить горячее кофе съ круассанами, мнѣ обезпеченъ завтракъ, обѣдъ, — развѣ только Вермандуа выгонитъ? Нѣтъ, не рѣшится, — здѣсь все мое, что-жъ, видимостъ ли это или настоящая человѣческая независимость? Анархисты орали на митингѣ, что во Франціи тоже рабство, трехлѣтній фашизмъ, и въ этомъ я былъ согласенъ съ ними, но у входа на улицѣ стоялъ отрядъ полиціи, чтобы охранять ихъ, если-бъ на нихъ напали коммунисты или правые. Видимостъ? И не глупость ли, не чудовищная ли глупость то, что я затѣялъ?» — Онъ точно повторялъ безпристрастно доводы противной стороны. — «Что-жъ, я могу передумать, еще есть время». — Мысль объ отсрочкѣ была ему пріятна. Въ эту минуту онъ былъ увѣренъ, что передумаетъ. «Да, уютная крысиная нора... Эта складчатая занавѣска на стеклѣ днемъ особенно уютна. Она похожа на спектръ поглощенія». Сравненіе съ запомнившимся рисункомъ въ учебникѣ доставило ему удовольствіе. «Во всякомъ случаѣ эта ночь моя, пусть всего пять или шесть часовъ. Человѣческая жизнь состоитъ изъ кусковъ, изъ маленькихъ, совсѣмъ маленькихъ кусочковъ, и каждый кусочекъ надо принимать и расцѣпывать отдѣльно: «за этотъ кусочекъ благодарю», хоть благодарить некого; и быть можетъ, цѣннѣйшіе куски жизни будутъ именно въ тюрьмѣ, мои пять-шесть часовъ въ камерѣ передъ эшафотомъ. Общій же счетъ у всѣхъ одинаковый: чистый ноль... Онъ вспомнилъ, что по дорогѣ изъ Лувесьенна было еще что-то пріятное, но другое, — теперь и свои, и чужія мысли онъ расцѣпывалъ не по ихъ существу, а по тому удовлетворенію или раздраженію, которое онъ у него вызывали. «Что же это было? Ахъ, да»... Пріятны въ дорогѣ были мысли объ изумленіи, ужасѣ, растерянности Вермандуа, когда онъ прочтетъ въ газетѣ объ арестѣ Лувесьеннскаго убійцы. Альвера засмѣялся отъ радости — и черезъ минуту заснулъ. Въ далекой древней странѣ пастушокъ посорился съ солнцемъ, и солнце рѣшило ему отомстить; и

авело законъ, — пріятный законъ, пріятный для него и для потомства пастушка: *jeunesse saine, forte et joyeuse*.. Да, вотъ третье слово, слава Богу! Въ этомъ законѣ было нѣчто пророческое, онъ такъ и назывался законъ Пророфета, а впрочемъ это скорѣе каламбуръ, и онъ пригодится для романа старому прохвосту въ бархатномъ халатѣ, и надо будетъ сказать ему: «*Défense de déposer et faire des ordures*»... Потомъ былъ кошмаръ, — горничная, проснувшаяся въ сосѣдней комнатѣ, выругалась и сердито подумала, что надо будетъ пожаловаться консьержкѣ на этого молодого урода, который по ночамъ кричитъ, какъ идиотъ, и будить людей, встающихъ въ шесть часовъ утра.

XI.

«Ужъ не сталъ ли на старости лѣтъ сантименталенъ?» — подумалъ съ досадой Вислиценусъ. Онъ не могъ справиться съ волненіемъ. Да, это была та самая улица, и въ ней не измѣнилось почти ничего. Только съ правой стороны, прямо противъ дома, гдѣ жилъ Ильичъ, теперь тянулось длинное красное зданіе. Прежде тутъ былъ садъ какого-то церковнаго или монастырскаго учрежденія, — они никогда въ точности не знали, какого именно, да и не интересовались. Кромѣ появленія оскорбительно-новаго зданія, на крошечной улицѣ все было то же. Такъ же тянулась по лѣвую сторону однообразная громада высокихъ узкихъ домовъ. Сердце у него забилося — «только этого не хватало!..» Въ домѣ за четверть вѣка не измѣнилось рѣшительно ничего: тѣ же балкончики на каждомъ этажѣ, тѣ же непонятные хоботочки вокругъ средняго балкона, та же стеклянная дверь въ глубинѣ темноватаго входа, — по вечерамъ они долго у нея стояли, повторяя, кто совсѣмъ робко, кто рѣшительнѣе: «*Cordon, s'il vous plaît*»... Ильичъ смертельно боялся исторій съ консьерж-

ками; съ другой квартиры пришлось съѣхать именно изъ за этихъ «Cordon, s'il vous plaît». То же низенькое окно погребца, — отсюда онъ, когда начиналась весна, съ радостнымъ оживленіемъ выводилъ свой велосипедъ. И вдругъ Вислиценусъ какъ живого увидѣлъ Ленина, у этого самаго окна, безъ пиджака, съ засученными рукавами, по провинціальному, — на этой улицѣ тогда можно было, — можно, вѣрно, и теперь. «Ахъ, это вы, зд-г-австуйте, зд-г-австуйте. Отчего вы не ѣздите на велосипедѣ? Хотите, купимъ вамъ въ г-азс-г-очку, полезно и для г-аботы, и для здо-г-овья, и такая г-адость»... «Мнѣ тогда стало смѣшно, что онъ «радость» произноситъ почти такъ, какъ «гадость», и я подумалъ, что вѣрно онъ сталъ картавить въ обществѣ евреевъ и отъ нихъ же, родившихся въ Симбирскѣ, научился говорить: «пара дней» и «пара франковъ», и я тогда устыдился, что подумалъ это... А вотъ этихъ: «Piqués. Ventouses. Massages médicaux» тогда, кажется, не было. Да, не было».

Изъ отвореннаго окна третьяго этажа кто-то съ удивленіемъ смотрѣлъ на страннаго долговязаго человѣка, который, разставивъ ноги, въ позѣ, напоминавшей Эйфелеву башню, неподвижно стоялъ противъ двери дома. «Да, конечно, глупо, и въ самомъ этомъ паломничествѣ есть нѣчто глупое и странное»... Онъ хотѣлъ было подняться во второй этажъ, позвонить и подъ какимъ-либо предлогомъ заглянуть въ чужую квартиру; кто теперь тамъ живетъ, не имѣя, конечно, понятія о своемъ предшественникѣ? что стоитъ въ «кабинетѣ» въ правомъ углу, вмѣсто низкаго, широкаго, покрытаго чехломъ дивана, съ шахматной доской на валикѣ. «...Глупое, странное и тревожно-сентиментальное»... Вислиценусъ отошелъ отъ двери и направился къ Avenue d'Orléans.

Уже зажигались огни. Откуда-то издали доносилась музыка. Вся ихъ жизнь когда-то проходила въ этомъ кварталѣ, между домомъ Ленина и типографіей, — въ городѣ (такъ и говорили: «въ городѣ») ѣздили рѣдко. Онъ воз-

становлялась въ памяти все, умилялся, читая знакомыя названія улицъ, и самъ недоумѣвалъ, что умиляется: не могли же измѣниться улицы. «Здѣсь покупалъ табакъ, — на готовые папиросы денегъ не хватало, и въ процессъ набиванія папиросъ было нѣчто успокоительное («значить, и тогда пошаливали нервы», — съ облегченіемъ подумалъ онъ: если пошаливали и тогда, то не такъ страшно нынѣшнее). «Тутъ въ шесть часовъ покупалъ Temps. Вотъ онъ, все по старому. Здѣсь бралъ въ долгъ колбасу»... Въ немъ вдругъ поднялась злоба при воспоминаніи о томъ, какъ однажды, когда долгъ дошелъ до тридцати франковъ, хозяинъ запретилъ дальше отпускать товаръ въ кредитъ, и продавщица сконфуженно положила назадъ уже завернутый въ бумагу кусокъ колбасы съ начинкой и съ желе, «вотъ съ этимъ самымъ желе...» «Да, ничего отраднago не было, по крайней мѣрѣ, въ голодѣ, въ погонѣ за грошевымъ заработкомъ, даромъ расчувствовался»... Измѣнились цѣны, — онъ припоминалъ, сколько за все платилъ, — было по стариковски пріятно и то, что все помнить, и то, что все стоило такъ дешево. «Но если появилась старческа́я размягченность, то надо закрывать лавочку!» Съ жарѣвни издали потянуло чѣмъ-то ароматнымъ, онъ не видѣлъ и не помнилъ, что это, но запахъ этотъ вдругъ съ необычайной силой напомнилъ ему молодость, прежній Парижъ.

Ничего не измѣнилось и въ домѣ типографіи. У того же стараго магазина на улицѣ были выставлены, разложены пестрыя вещи, клеенка, щетки, платки, куски обоевъ, убогая роскошь для прельщенія бѣдняковъ. Вислиценусть ахнулъ: за кассой сидѣлъ тотъ же владѣлецъ, въ черной ермолкѣ, теперь глубокой старикъ. «Да, очень живучій народъ и очень устойчивый бытъ»... Но дѣлать тутъ, какъ и передъ домомъ Ленина, было рѣшительно нечего, и незачѣмъ было приходить: жизнь та же, но теперь чужая и чуждая еще гораздо больше, чѣмъ когда-то. Звуки музыки все усиливались, онъ увидѣлъ карусе-

ли, начинался народный праздник. «Почему-то здѣсь и тогда постоянно устраивались праздники. Жизнелюбивый народъ»... Видь чужого веселья былъ ему неприятенъ.

Тягостное свиданіе было назначено въ четверть восьмого, въ ихъ кофейнѣ: Вислиценусъ адреса другой кофейни въ Парижѣ не помнилъ. Въ восемь онъ долженъ былъ обѣдать съ прѣхавшимъ въ Парижѣ Кангаровымъ-Московскимъ. При встрѣчѣ съ нимъ посоль, какъ всегда, сладко улыбнулся еще шаговъ за десять, свидѣтельствуя свою необыкновенную радость, крѣпко пожалъ ему руку и пригласилъ въ лучший ресторанъ на обѣдъ, — «со всѣми онерами, Коминтернъ Ивановичъ», — сказалъ онъ и, въ объясненіе неожиданнаго приглашенія, добавилъ: «Хочетъ съ вами встрѣтиться Зигфридъ Майеръ, нѣмецкій эмигрантъ, знаете? все ко мнѣ пристаеъ. Вотъ и приходите, чѣмъ назначать ему отдѣльное свиданіе... Если, разумѣется, у васъ не слишкомъ важные секреты?» — сказалъ онъ съ улыбкой, въ полувопросительной формѣ. Вислиценусъ ничего не отвѣтилъ. У Кангарова пожелтели глаза. — «Заодно увидите Надежду Ивановну. Она тоже о васъ спрашивала». — «Развѣ она здѣсь?» — вспыхнувъ, поспѣшно спросилъ Вислиценусъ, за минуту до того собиравшійся отказаться отъ приглашенія. — «Да, я взялъ ее съ собой, мнѣ нужна переводчица: тонкости французскаго языка отъ меня ускользають, а она у меня дока по части языковъ», — небрежно сказалъ посоль. — «Что-жъ, я, пожалуй, приду, спасибо, мнѣ въ самомъ дѣлѣ надо повидать этого Майера», — такъ же небрежно отвѣтилъ Вислиценусъ, — «а какъ она вообще живетъ?» — «Кто?» — «Надежда Ивановна». — «Наденька? Ничего, процвѣтаеъ. Въ Парижѣ какъ рыба въ водѣ. Такъ, пожалуйста, ровно въ восемь. Залишите адресъ». — «Слушаю-съ». Обоимъ было неловко. «Экій дуракъ, покраснѣлъ!» — проклиная себя, подумалъ Вислиценусъ и тотчасъ простился съ посломъ. — «Конечно, онъ замѣтилъ, не могъ не замѣтить»...

Въ кофейнѣ онъ послѣшно опустился на диванъ: вдругъ почувствовалъ себя совсѣмъ плохо. «Да, конечно, порокъ сердца, что-жъ отъ себя скрывать и бояться слова? «Неврозъ», «порокъ», не все ли равно? важно то, что нехорошо дѣло»... Лакей принесъ стаканъ молока. Юноша съ сосѣдняго столика со снисходительнымъ пренебреженіемъ взглянулъ на лившаго молоко рантѣе. Сзади пріятно-отчетливо, какъ тогда, шелкали биллиардные шары. На тѣхъ же мѣстахъ попрежнему играли въ шахматы любители 14-го округа. Около досокъ лучшихъ игроковъ, обмѣниваясь вполголоса замѣчаніями, такъ же толпились зрители... «Не хотите ли слона вле-г-едъ? Вы, почтеннѣйшій, иг-г-аете, какъ какой-нибудь па-г-шивый вле-г-едовецъ! Я вамъ не слона, а фе-г-зя могу дать». — «Не хвались, идучи на рать». — «Это вы г-ать? Хо-г-оша г-ать! Г-г-иг-г-ий, это онъ г-ать! Вамъ, уважаемый, въ ду-г-ачки иг-г-ать, а не въ шахматы!» Волненіе Вислиценуса переходило въ галлюцинацію, — «это отъ того, что я что-то такое видѣлъ на сценѣ, въ старыхъ трагедіяхъ или читалъ, будто такія галлюцинаціи бываютъ. И мнѣ теперь должно показаться, что Ильичъ займетъ вонъ-то центральное мѣсто за столомъ, за его столомъ»... И тотчасъ въ самомъ дѣлѣ Ленинъ занялъ это мѣсто, и вокругъ него, какъ тогда, отвѣчая почтительнымъ смѣхомъ на незатѣйливыя шутки, размѣстились полугодовалые, смѣшные, никому ненужные люди, однако чуть не перевернувшие весь міръ. Теперь почти всѣ они были въ могилѣ или въ тюрьмѣ. Самые извѣстные недавно были казнены. «Вѣрно, и они передъ смертью вспоминали эту кофейню, народные праздники на этой улицѣ, квартиру изъ двухъ комнатъ, нашу типографію»... — «C'était une erreur! Il ne fallait pas sacrifier le pion!» — «Vous n'y entendez rien, mon vieux». — «C'était une erreur, vous dis-je. La combinaison était fausse!» — слышался сердитый голосъ сзади. — «Да, да, la combinaison était fausse»...

«Ошибка комбинаціи заключалась въ томъ, что теорія наша, какъ ни какъ, строилась на вѣрѣ въ человѣка, на вѣрѣ въ его достоинство, въ возможность и необходимость его моральнаго усовершенствованія, — практика же всецѣло исходила изъ предпосылки, что человѣкъ глупъ, что человѣкъ подлый и что надо его, — о временно, разумѣется, временно! — для успѣха, ради идеи, сдѣлать еще болѣе глупымъ и подлымъ. Предпосылку эту выработалъ Ленинъ, но онъ скрывалъ ее отъ насъ до поры, до времени, пока не оказалось возможнымъ тихо, понемногу, начать примѣненіе выводовъ. Мы послѣдовали за нимъ, какъ всегда за нимъ слѣдовали, — онъ сумѣлъ воспитать въ насъ солдатскіе инстинкты и, какъ всѣ полководцы Божьей милостью, несложными способами добился нашей любви, страха и преданности.

Опытъ произведенъ. Оказалось, что человѣческая душа не выдерживаетъ того предѣльнаго гнета, которому мы ее подвергли, — подъ столь безграничнымъ давленіемъ люди превращаются въ слизь. Мы разлагали ихъ во имя социалистическаго идеала, они разложились просто, безъ «во имя». Сами того не замѣчая, тоже понемногу, мы создали небывалое въ мірѣ общество. Къ исконному, первозданному человѣческому хамству мы, первые изъ правителей, своего корректива не дали, убравъ всѣ другіе, старые, испробованные. Случилось однако то, чего не предвидѣли и наши практики. Язва, которую они втирали въ души управляемыхъ, скоро переползла на правящихъ. Оказалось, что сила, всегда торжествовавшая въ исторіи, для собственнаго существованія, для того, чтобы не перестать быть силой, нуждается въ какомъ-то сопротивленіи окружающей среды. Съ уничтоженіемъ сопротивляемости подчиненныхъ, превратились въ слизь и мы сами. Мы вогнали въ нихъ моральный сифилисъ, — они заразили имъ и насъ, и всѣ мы теперь развращенные, уничтоженные, искалѣченные люди, потерявшіе уваженіе и къ другимъ, и къ самимъ себѣ.

Свою философско-политическую теорію онъ, создатель мизантропическаго социализма, строилъ на вѣковой ненависти бѣдняковъ къ богатымъ. Никто до Ленина не оцѣнивалъ съ такой проникательностью значеніе этой силы, давшей намъ побѣду и власть. Эта ненависть у насъ получила удовлетвореніе, какого никогда нигдѣ до того въ исторіи не получала. Но радости отъ нея не хватило и для старшаго поколѣнія. Младшее, богачей не знавшее, ея понять не можетъ. Нельзя жить ненавистью къ тому, чего больше нѣтъ. Они богачей видятъ только въ кинематографѣ, и испытываютъ при этомъ не ненависть, а зависть. На западѣ демократія губила и губитъ социализмъ, такъ какъ стала его суррогатомъ: она по столовой ложкѣ даетъ народу то, что социализмъ обѣщаетъ, не давая. По своей глупости, эти ручные социалисты отстаиваютъ демократію, не замѣчая, что она ихъ медленно съѣдаетъ и събѣетъ. Но, въ отличіе отъ насъ, они имѣютъ возможность, впрочемъ безъ всякаго макіавелизма, осторожно, не очень запальчиво, съ выгодой для себя помахать красной тряпкой. У насъ ея больше нѣтъ. Красной тряпкой стали мы сами, хоть быкъ научился до поры до времени скрывать свои чувства. За нищету, за голодъ, за рабство, за униженія, за искалѣченную душу, за собственную трусость, за собственную угодливость, они намъ теперь платятъ лютой, звѣриной злобой и, смутно чувствуя ихъ глухую, невидимую, непроявляющуюся ненависть, мы въ нашихъ методахъ ничего измѣнить не можемъ. Кругъ этотъ заколдовали мы сами. Мы создали Брынскіе лѣса, а въ Брынскихъ лѣсахъ ничто не возможно, кромѣ атаманства. Вся наша исторія въ послѣдніе годы свелась къ схваткѣ кандидатовъ въ атаманы, почти безъ примѣси идеи или съ примѣсью совершенно произвольной, зависѣвшей только отъ обстоятельствъ. Вотъ изъ-за чего пролиты, льются, будутъ литься потоки крови, — этого не предвидѣлъ и Ленинъ. Жизнь оказалась еще мизантропичнѣе, чѣмъ онъ, и вела насъ, куда придется, неизвѣ-

стно куда, неизвѣстно зачѣмъ,—компаса нѣтъ, никакой Полярной звѣзды не видно. Атаманомъ оказался, какъ почти всегда бываетъ въ берлогѣ, наиболѣе смѣлый, твердый изъ кандидатовъ. Но и для него не могло пройти безслѣдно подобное двадцатилѣтіе. Умный, хитрый, рѣшительный атаманъ такъ долго выдумывалъ преступления и подбрасывалъ народу преступниковъ, пока самъ почти во все не повѣрилъ. Теперь настало царство полицейской мифологіи, и она лишь увеличиваетъ въ странѣ глухую ненависть ко всѣмъ намъ: народъ никакъ не можетъ понять, чѣмъ одни изъ насъ хуже другихъ, если этого не понимаемъ мы сами. А кто будетъ правъ въ историческомъ счетѣ, неизвѣстно: можетъ быть, Троцкій, можетъ быть, Гитлеръ...

Не слѣдуя нашей теоріи, порою почти о ней и не вспоминая, мы, въ своемъ ослѣпленіи, приписывали ей внутреннюю силу. Оказалось, что никакой силы въ ней нѣтъ, что побѣду намъ дали только наши методы, и что точно такихъ же или еще лучшихъ результатовъ можно добиться при какой угодно другой теоріи, даже самой низменной и нелѣпой. Мы не приняли во вниманіе иррациональной стороны ненависти. За предѣлами нашего прессы, вдали отъ него, нашлись люди, понявшіе, что сила наша лишь въ практикѣ, что кромѣ нея у насъ нѣтъ ничего, — они быстро усвоили данный нами міру урокъ вседозволенности, беззащитности, безнаказанности, они создали прессы, выкрашенный въ другой цвѣтъ, но столь же легко, успѣшно, безошибочно превращающій людей въ грязную слизь. Ошибаясь въ примѣненіи закона большихъ чиселъ, мы думали, что во всякомъ человѣческомъ обществѣ намъ удастся поднять миллионъ бѣдныхъ противъ десяти тысячъ богатыхъ. Оказалось, что такъ же легко поднять миллионъ противъ миллиона, по другому признаку, выкинувъ иную приманку, бросивъ иной кличъ. Въ формулѣ «грабь награбленное» оказалось психологически вѣрнымъ только «грабь». Мы убѣждали нѣмца-рабочаго считать се-

бя солью земли, такъ какъ онъ рабочій. Теперь онъ сошелъ съ ума отъ радости оттого, что онъ нѣмецъ.

Два человѣческихъ стада выстроились одно противъ другого. Вождей еще удерживаетъ ужасъ передъ рискованнѣйшими рѣшеніями: какъ промѣнять обезпеченные генеральскіе эполеты на игру, гдѣ въ четъ и нечетъ будутъ разыгрываться эполеты фельдмаршала или веревка палача! Ихъ колебанія — колебанія передъ ставкой *va banque* азартнаго игрока, всю жизнь занимавшагося крупной игрой. И участь человѣчества теперь зависитъ лишь отъ того, сумѣютъ ли — и когда сумѣютъ — очень смѣлые люди преодолѣть въ себѣ этотъ послѣдній трепеть.

Что-жъ, пусть преодолеваютъ! Мы воевать не можемъ, — долго воевать не могутъ, вѣроятно, и они. Можетъ быть, дѣло наше провалится. Но такъ оно провалится навѣрное. Надо довести дѣло до конца и довести его до конца скоро. Затяжка на годы еще мыслима, затяжка на десятилѣтія повлечетъ за собой моральную гибель человѣчества. Какъ ни ужасенъ нашъ опытъ, его надо распространить на весь міръ. Ничто не доказываетъ, что моральный сифилисъ наследствененъ. Выздоровѣвшее поколѣніе еще можетъ стать такимъ, о какомъ когда-то мечтали въ этой кофейнѣ лучшіе и глупѣйшіе изъ насъ...

ХІІ.

Надежда Ивановна въ самомъ дѣлѣ обрадовалась, когда Кангаровъ-Московскій*) неожиданно (онъ готовилъ ей этотъ сюрпризъ) сообщилъ, что беретъ ее съ собой въ Парижъ. — «Ты у меня, дѣтка, будешь переводчицей, благодарю папу и маму, что научили тебя иностраннымъ языкамъ», — сказалъ озабоченно-радостно посолъ. Теперь онъ уже безъ стѣсненія, открыто, говорилъ ей ты, при-

*) Какъ помнить читатель, Кангаровъ — дипломатическій представитель СССР въ одномъ изъ второстепенныхъ государствъ Европы.

чемъ служащіе посольства дѣлали невинныя лица: что-жь, это совершенно естественно. Эдуардъ Степановичъ особенно ясно показывалъ всѣмъ своимъ видомъ: «Отчего же нѣтъ? это совершенно въ порядкѣ вещей, и я тутъ рѣшительно ничего не вижу; да если-бъ и видѣлъ, то я — дипломатъ»... Надежда Ивановна знала, что ея поѣздка съ Кангаровымъ дастъ поводъ къ злословію и къ шуткамъ, но думала, что это ей совершенно безразлично. У нея вообще были холодныя отношенія съ товарищами. «Говорятъ, ну и пусть говорятъ все что имъ угодно». Быть двѣ-три недѣли въ постоянномъ обществѣ Кангарова ей не очень улыбалось, но когда же будетъ другой случай увидѣть Парижъ? Всѣ утверждали, что это лучший городъ въ мірѣ — послѣ красной Москвы. Впрочемъ разсуждать ей не приходилось: приказъ начальства.

У Кангарова передъ отъѣздомъ вышла ссора съ женой. Елена Васильевна приняла мученическій тонъ, — изъ послѣдняго дѣйствія «Маріи Стюартъ»: «Графъ Лейстеръ, вы сдержали слово: — Вы обѣщали руку мнѣ подать, — Чтобъ вывести меня изъ заточенья, — И... подаете». Еленѣ Васильевнѣ изъ-за революціи не удалось сыграть роль Маріи Стюартъ, но, по тому, какъ она хотѣла сыграть эту роль, краткая, заключительная сцена съ графомъ Лейстеромъ передъ эшафотомъ выходила потрясающей, — особенно должна была потрясти зрителей выраженная многоточіемъ пауза: «И... подаете»: послѣ брошеннаго вполголоса, но съ необычайной силой «подаете», она, съ высоко поднятой головой, быстро отходила въ глубину сцены, а уничтоженный графъ Лейстеръ стоялъ, закрывъ лицо руками; затѣмъ публика сидѣла нѣсколько минутъ въ оцѣпенѣніи, и раздражалась бурей рукоплесканій, причемъ въ театрѣ долго, очень долго стоялъ ревъ и стонъ восторга: «За-поль-ская!..» «Бр-ра-во!» «За-поль-ская!..» Особенно трогали Елену Васильевну нѣсколько минутъ оцѣпенѣнія передъ бурей рукоплесканій. Хотя такой сцены нигдѣ не было и не могло быть съ сотворенія міра, но

объ этихъ нѣсколькихъ минутахъ она читала въ біографіяхъ всѣхъ великихъ артистокъ и твердо рассчитывала то же увидѣть въ собственной юбилейной біографіи, съ портретами, съ надписью на обложкѣ: «Е. В. Запольская». Имя «Елена Васильевна» ей впрочемъ не нравилось: было бы лучше называться Ариадной или, по крайней мѣрѣ, Ириной.

Мученическій тонъ жены, хорошо Кангарову извѣстный, обычно приводилъ его въ бѣшенство. Онъ попробовалъ огрызнуться, сказалъ, что ѣдетъ въ Парижъ по дѣламъ служебной необходимости, а ее оставляетъ, слава Богу, въ достаточно хорошемъ мѣстѣ: «никогда такъ, голубушка, не жила». Это вышло неудачно, и тонъ Елены Васильевны сталъ еще надменнѣе — тонъ дѣйствія третьяго: «Какія рѣчи слышать я должна! — Когда моя вѣнчанная глава — Вамъ не священна, такъ мои страданья — Должны бы, сэръ, для васъ священны быть»... У Елены Васильевны, какъ недавно выяснилось, давленіе крови было 19, и волновать ее не годилось. Разстались они весьма холодно. Наденька была совершенно невиновата въ ихъ ссорѣ, но отъѣздъ произошелъ въ настроеніи непріятномъ. — «Температура десять градусовъ ниже абсолютнаго нуля», — радостно заявилъ «Базаровъ», — «амбассадерша поѣхала покупать сѣрную кислоту». — «Не понимаю, что вы хотите сказать», — холодно отвѣтилъ Эдуардъ Степановичъ.

Въ дорогѣ Кангаровъ достаточно надобѣлъ Надѣ отеческимъ отношеніемъ, «дѣткой», анекдотами, шутками. Анекдоты и шутки у него всегда были одни и тѣ же, и рассказывалъ онъ ихъ не менѣе, какъ два раза подрядъ, а въ случаѣ большого успѣха главную фразу анекдота повторялъ съ хохотомъ въ третій разъ, — обычно хохоталъ еще и передъ тѣмъ, какъ приступить къ разсказу: «я вспомнилъ одинъ очень смѣшной анекдотъ»... Тѣмъ не менѣе путешествовали они пріятно, вмѣстѣ гуляли на станціяхъ по перрону, вмѣстѣ обѣдали въ вагонъ-ресторантъ. Кангаровъ зналъ толкъ въ ѣдѣ, хоть выросъ въ бѣдной семьѣ. На-

дежда Ивановна невольно ему завидовала: съ такимъ аппетитомъ и удовольствіемъ онъ ѣлъ, критикуя каждое блюдо. — «Я, дѣтка, обѣдывалъ въ лучшихъ ресторанахъ міра», — рассказывалъ посоль, — «но прямо тебѣ скажу: какія-нибудь кильки, рубленая селедка, малосольные огурцы стоятъ самыхъ тончайшихъ яствъ. И повѣрь, первый признакъ гастронома: цѣнить не только разныя деликатесы, но и простыя блюда: этимъ настоящій гастрономъ отличается отъ сноба. Со всѣмъ тѣмъ въ Парижѣ мы съ тобой побѣгаемъ по знаменитымъ ресторанамъ, готовятъ у нихъ изумительно». «Въ знаменитыхъ ресторанахъ я не бывала, но, по моему, у насъ въ Москвѣ ѣдятъ гораздо лучше, чѣмъ у нихъ», — сказала Надя. Кангаровъ на нее похосился.

Разговаривали они обо всемъ, кромѣ политики. Посоль съ большимъ увлеченіемъ говорилъ о любви, сладко поглядывая на Надежду Ивановну (что всегда ее веселило), о своихъ встрѣчахъ, о своихъ вкусахъ. Къ удивленію Нади, оказалось, что онъ очень любитъ сельское хозяйство, огородное дѣло, цвѣтоводство; у него даже оказались особыя познанія по тюльпанамъ; онъ произносилъ ученые названія, которыхъ Надя никогда не слыхала: «*Tulipa pubescens*», «*Rex rubrogum*», и рассказывалъ о тюльпанахъ разныя исторіи, вродѣ того, что названіе ихъ происходитъ отъ сходства съ турецкимъ тюрбаномъ, что изъ за «*Semper augustus*» въ Голландіи произошелъ какой-то историческій крахъ, и что на языкѣ цвѣтовъ тюльпанъ означаетъ гордость (при этомъ многозначительно взглянулъ на Надю). Въ увлеченіи онъ даже нарисовалъ пышный тюльпанъ на оборотной сторонѣ меню, — вышло совсѣмъ недурно. «Странно!» — подумала Надежда Ивановна, — «мнѣ казалось, что, кромѣ карьеры и женщинъ, его ничто не интересуеетъ. Это въ немъ очень привлекательная черта... Право, нѣтъ плохихъ людей». Разболтавшись, Кангаровъ сознался, что мечтаетъ о своемъ «клочкѣ земли»: имѣть гдѣ-нибудь (онъ не говорилъ, гдѣ именно) свою

дачку (чуть не сказалъ: виллу), сажать деревья, цвѣты, завести собакъ. — «У васъ положительно буржуазные идеалы», — смѣясь, сказала Надежда Ивановна. — «Почему же буржуазные? Соціализмъ обобществляетъ только орудія производства, а я радъ былъ бы и вообще отойти отъ политики». — «Кто же тебѣ мѣшаетъ?» — подумала Надя, и, чтобы не поддакивать однообразно во всемъ, поспорила: — «Скоро соскучились бы на дачкѣ, съ яблонями и съ собаками». — «Я? Никогда! Ты меня не знаешь», — воскликнулъ посоль въполнѣ искренно и чуть было не добавилъ: «Съ Еленой Васильевной дѣйствительно повѣсилъ бы отъ тоски, а вотъ съ тобой нѣтъ!..» Онъ вздохнулъ.

Въ Парижѣ они остановились въ очень хорошей гостинницѣ. Кангаровъ взялъ для себя номеръ изъ двухъ комнатъ съ ванной, а для Надежды Ивановны небольшую, но хорошую комнату въ другомъ этажѣ, — чтобы не злословили. «Ну-съ, дѣтка», — сказалъ онъ, — «теперь раздѣлимся, и давай себя приводить въ порядокъ... Выкупаемся послѣ дороги, позвонимъ кому надо, а обѣдать будемъ вмѣстѣ. До обѣда ты, если хочешь, побѣгай по Парижу Ивановичу, славный городокъ, хоть августъ и не подходящее время для его осмотра». Ему очень хотѣлось показать Надеждѣ Ивановнѣ Парижъ, но нельзя было требовать, чтобы дѣтка ждала, пока онъ освободится. — «Смотри только, не попади у меня подъ автобусъ. Это я тебѣ строго запрещаю». Надежда Ивановна сдѣлала испуганное лицо и тотчасъ исчезла въ восторгѣ отъ того, что освободилась: «Уфъ, отдохну!..»

Въ самомъ лучшемъ настроеніи духа Кангаровъ послалъ за газетами, уже раздѣвшись принялъ ихъ черезъ дверь и съ наслажденіемъ опустился въ ванну: очень любилъ читать въ водѣ. Времени было еще много: звонить по телефону надлежало не раньше, какъ черезъ часъ. Онъ развернулъ газетный листъ — и помертвѣлъ: въ Москвѣ преданы суду лица, еще недавно занимавшія самые высо-

кіе посты въ государствѣ, а теперь обвинявшіяся въ самыхъ ужасныхъ преступленіяхъ. Сообщение это было настолько важно и сенсационно, что даже иностранныя газеты передавали его, съ большими заголовками, на первой страницѣ. Изъ телеграммъ слѣдовало, что обвиняемые во всемъ сознались и покаялись. Однако, на этомъ Кангаровъ даже не остановился: такъ безсмысленны были обвинения. «Господи, что же это онъ дѣлаетъ?» — прошепталъ посоль и схватился рукой за сердце, хоть у него сердечной болѣзни не было, — «вѣдь ближайшіе соратники Ильича!» Всѣхъ этихъ, очевидно обреченныхъ на казнь, людей онъ очень хорошо зналъ, работалъ съ ними, обѣдалъ, шутилъ, обмѣнивался мыслями въ теченіе многихъ лѣтъ. Съ необычайной быстротой онъ перебралъ всѣ свои прежнія отношенія съ ними, за послѣднее время, и за всѣ времена. «Нѣтъ, кажется, ничего такого нѣтъ», — подумалъ онъ едва передохнувъ. Но теперь никакъ нельзя было сказать, что собственно такое и что не такое. Карьера Кангарова по службѣ и въ партіи шла въ разное время въ разныхъ комбинаціяхъ; были среди нихъ и комбинаціи, которыя теперь, очевидно, никакъ нельзя было считать похвальными. Въ его умѣ пронеслись ужасныя мысли: «Вытащить «Безстыдники, опомнитесь!», снять съ должности, вызвать въ Москву! теперь кого снимаютъ, того сажаютъ въ тюрьму, — въ тюрьму это еще въ лучшемъ случаѣ! Если ужъ тѣхъ онъ не пощадилъ! Отказаться, подать въ отставку, стать невозвращенцемъ?..» На мгновеніе онъ было даже подумалъ о томъ, какъ къ нему отнеслась бы эмиграція. «Собственно, лично противъ меня они ничего имѣть не могутъ»... Подумалъ и о денежныхъ дѣлахъ, — на какія же тогда средства жить! Дикость этихъ мыслей поразила его. Онъ долго, смертельно блѣдный, сидѣлъ въ ваннѣ. «Что же теперь дѣлать?» Дѣлать было нечего. По характеру московскихъ событій, они никакого отклика съ его стороны не требовали. «Партія. Остается партія!» — поду-

маль онъ и попытался настроиться на солдатскій тонъ, какъ въ 1918 году: партія всегда права, партія требуетъ, все для партіи... Но самъ почувствовалъ, что настроеніе стараго капрала и прежде удавалось плохо, а ужъ теперь совсѣмъ не удастся.

Кангаровъ вдругъ вспомнилъ о Надеждѣ Ивановнѣ. Ему тотчасъ стало ясно, что все остальное, партія, карьера, пріемы у королей, чисто-спортивное удовольствіе отъ удачныхъ дипломатическихъ ходовъ, все — второй планъ. Настоящее было только одно: Надя. «Да, влюбленъ, совершенно влюбленъ, все для нея брошу и жить безъ нея не могу. Ничего мнѣ другого не надо, лишь бы только быть тамъ, гдѣ она»... По сравненію съ этимъ, отпадали и карьерныя соображенія, и страхъ передъ тѣмъ, что могло его ждать. «Вызовутъ, поѣду, если она поѣдетъ! Но вѣдь тамъ живо разлучать»... Онъ съ полной искренностью подумалъ, что въ самомъ дѣлѣ для него высшимъ счастьемъ было бы поселиться съ Надеей на небольшомъ участкѣ земли, построить виллу, сажать цвѣты. «Къ чему эта мишура, министры, рѣчи, аудіенціи? Если я и стремился ко всему этому прежде, то имѣлъ этого достаточно, дальше идти некуда, какая еще можетъ быть карьера и зачѣмъ она мнѣ?»

Несмотря на горячую ванну, зубы у него стучали. Онъ опять все мысленно перебралъ, обстоятельныѣе, точныѣе: «нѣтъ, такого ничего нѣтъ, даже если начать съ «Опомнитесь, безстыдники!» Могутъ погубить только если онъ захочетъ погубить. Но вѣдь въ этомъ нѣтъ ничего новаго! И они въ опалѣ тоже не со вчерашняго дня, меня однако не трогали»... Весьма важенъ былъ вопросъ, какъ московскія событія отразятся на положеніи народнаго комиссара. О немъ тоже можно было разсуждать разнo: съ одной стороны, по одной комбинаціи партійныхъ, служебныхъ и, главное, личныхъ отношеній, у народнаго комиссара все какъ будто было въ полномъ порядкѣ; но съ другой стороны, по другой комбинаціи, этого ни-

какъ нельзя было сказать. Кангаровъ подумалъ и о прочихъ своихъ товарищахъ по вѣдомству. Положеніе нѣкоторыхъ изъ нихъ было хуже его собственнаго. Это немного его успокоило.

Онъ вышелъ изъ ванны и, завернувшись въ простыню, сталъ говорить по телефону. Говорилъ онъ необыкновенно бодрымъ голосомъ, какъ ни въ чемъ не бывало, и отвѣчали ему тоже какъ ни въ чемъ не бывало и тоже необыкновенно бодрымъ голосомъ. Никакой рѣчи о московскихъ событіяхъ не было, — Кангаровъ лишь вскользь задалъ вопросъ о здоровьи народнаго комиссара и тутъ же подумалъ, что благоразумнѣе было бы теперь такого вопроса не задавать. Народный комиссаръ, какъ оказалось, былъ вполне здоровъ. Разговоръ этотъ успокоилъ Кангарова. «Нѣтъ, при чемъ же тутъ я?» — рѣшилъ онъ и сталъ одѣваться. Изъ другой телефонной бесѣды выяснилось, что дѣла очень много и что ему, вѣроятно, придется съѣздить въ Амстердамъ. Это тоже его утѣшило: очевидно, никто и не думаетъ, что въ его положеніи произошла перемѣна. Когда пришла Надежда Ивановна, Кангаровъ былъ уже спокоенъ. Увидѣвъ ее, онъ опять почувствовалъ, что все остальное не такъ важно: лишь бы она находилась тутъ и вотъ такъ говорила: «Чудный городъ, ч-чудный, но наша Москва, право, лучше!» Онъ одобрительно кивалъ головой.

Затѣмъ начались работа, дѣловые завтраки, приемы. Никакихъ тревожныхъ событій не было; грозу, очевидно, пронесло. Въ своемъ кругу они даже вскользь, очень осторожно, обсуждали событія, — «кто бы могъ ждать отъ людей такого паденія?» А еще черезъ нѣсколько дней Кангарову пришлось выѣхать въ Амстердамъ. Взять съ собой туда Надежду Ивановну онъ никакъ не могъ и, уѣзжая, поручилъ ее Тамарину. «Съ нимъ, по крайней мѣрѣ, можно быть спокойнымъ: не будетъ никакой хамской выходки», — подумалъ Кангаровъ и шутиливо добавилъ: «Вы, ваше превосходительство, Командармъ

Ивановичъ, держите ее строго, въ случаѣ чего въ уголь ставьте». Надя сдѣлала дѣтское лицо. «Я его живо отошлю», — подумала она.

Отшивать командарма однако оказалось совершенно ненужнымъ. Къ большой радости Надежды Ивановны, онъ тотчасъ ей сказалъ, что по утрамъ работаетъ, а съ семи часовъ вечера «весь къ ея услугамъ». Надя цѣлыми днями бѣгала одна по Парижу, осматривала по путеводителю разные кварталы города, достопримѣчательности, музеи. На каждомъ шагу останавливалась передъ витринами магазиновъ, вздыхала, составляла всякій разъ новые бюджетные планы и нерѣшительно входила въ магазинъ. Но чѣмъ больше вещей она пріобрѣтала, тѣмъ яснѣе становилась необходимость покупать еще. «Бездонная бочка, тутъ и сотни тысячъ уйдуть незамѣтно, бѣда», — сокрушенно думала Надежда Ивановна. Сотенъ тысячъ у нея не было.

Все въ Парижѣ нравилось ей чрезвычайно: улицы, зданія, музеи, и особенно Galeries Lafayette. Она съ чувствомъ обиды видѣла, что московское съ этимъ нельзя сравнивать, и радовалась, когда вдругъ находила что-либо такое, что въ Москвѣ было лучше. Такъ, парижская подземная дорога не была облицована мраморомъ, и это было очень пріятно; но было бы еще много пріятнѣе, если-бы въ Парижѣ вообще не оказалось подземной дороги. «А что у нихъ она въ десять разъ длиннѣе, то вѣдь социалистическое строительство началось всего такъ недавно», думала она и, встрѣчаясь съ Тамаринымъ, неизмѣнно, съ задоромъ (хоть онъ нисколько не спорилъ), говорила: «да, да, очень много интереснаго, но у насъ гораздо лучше, г-гараздо!» — «Многое, конечно», — послѣшно соглашался Тамаринъ. — «Не многое, а рѣшительно все».

Въ Россіи все было гораздо лучше потому, что тамъ была своя жизнь: хоть гадко, но весело. Въ Москвѣ въ Надежду Ивановну влюблялись четыре раза серьезно и

семь разъ такъ. Молодые люди приставали къ ней съ безкорыстнымъ нахальствомъ мухи: знаетъ, что тотчасъ сгонять, если сядетъ на носъ, и все-таки лѣзетъ. Сама Надя была тоже влюблена два раза, — не то, чтобы ужъ очень, но влюблена. «Если-бъ хотѣла выйти замужъ, то въ два счета: Сашкѣ Павловскому достаточно было бы мигнуть, — онъ сошелъ бы съ ума отъ радости». Здѣсь никто, кромѣ старичковъ («положительно, это трагедія!»), не сходилъ съ ума отъ любви къ Надеждѣ Ивановнѣ. Солслуживцы, точно на зло, оказались люди непріятные или ужъ очень безобразные, какъ Эдуардъ Степановичъ. Надежда Ивановна, вслѣдъ за другими женщинами, нерѣшительно говорила, что для мужчины красота никакого значенія не имѣетъ; въ дѣйствительности, ей нравились только красивые мужчины, но она это тщательно скрывала, какъ черту постыдную и ненормальную. Все же Эдуардъ Степановичъ явно злоупотреблялъ мужскимъ правомъ быть некрасивымъ. Съ «европейцами» же Надежда Ивановна не познакомилась, и тайныя надежды ея не сбылись: европейцы у ея ногъ не толпились. «Нѣтъ, они тутъ прозябаютъ, задыхаются въ своемъ богатствѣ, а у насъ строится новая жизнь»... Она горько сожалѣла, что добивалась и добилась продолжительной командировки за границу: дни текли нерадостно, ей казалось, что она дурнѣетъ, одну ночь она проплакала безъ всякой видимой причины: жизнь уходитъ, безъ людей вездѣ тоска. Она и отъ самой себя скрывала, что ей очень скучно въ этомъ прославленномъ Парижѣ.

Тамаринъ заходилъ за Надеждой Ивановной въ семь часовъ. Они вмѣстѣ обѣдали, затѣмъ отправлялись въ театръ, въ кинематографъ или въ кофейню. Разговоры командарма были скучноваты, но уютно-скучноваты; можно было вдобавокъ не очень слушать: если она отвѣчала невпопадъ, онъ, въ отличіе отъ Кангарова, требовавшего къ своимъ рѣчамъ напряженнаго вниманія, не оби-

жался, — даже тогда, когда она въ срединѣ его разсказа внезапно вставляла соображенія о томъ, настоящій ли котикъ у дамы за сосѣднимъ столомъ. Между тѣмъ и въ кофейню, и въ театръ удобнѣе было ходить въ обществѣ мужчины, притомъ столь осанистаго, воспитаннаго стараго человѣка. Наденька думала, что ихъ всѣ принимаютъ за отца и дочь. Это ее забавляло; она невольно и обращаться стала съ Тамиринымъ почти такъ, какъ съ отцомъ. Вотъ только платила она всегда за себя сама. Это правило Надежда Ивановна установила съ перваго же ихъ посѣщенія кофейни, — Тамиринъ тогда даже вспыхнулъ: «Что вы, какъ вамъ не совѣстно?» Но Надя настояла на своемъ: такъ было удобнѣе, да и денегъ, она догадывалась, у командарма было не очень много. Со втораго дня они сговорились «разъ навсегда»: вездѣ платилъ Тамиринъ, а Надежда Ивановна затѣмъ ему отдавала свою часть, причемъ, принимая деньги, онъ всегда конфузился и старался произвести расчетъ такъ, чтобы на ея долю выходило меньше. — «Нѣтъ, еще по крайней мѣрѣ франкъ, вы начая не считаете, Константинъ Александровичъ». — «Какой пустякъ! Неужели вамъ не стыдно?» — «Нисколько не стыдно».

Вначалѣ Тамиринъ, по восемнадцатилѣтней привычкѣ, разговаривалъ съ Надеждой Ивановной сдержанно и осторожно, какъ со всѣми. Потомъ сталъ нѣсколько откровеннѣе, особенно, когда узналъ, что Надя — дочь профессора, что у нихъ было небольшое имѣніе и что ея отецъ былъ дворянинъ (она какъ-то вскользь шуточно объ этомъ упомянула). Все это рѣшительно ни въ чемъ никакой гарантіи не давало. Но общее впечатлѣніе Тамирина отъ Наденьки было таково, что понемногу онъ сталъ смѣлѣе: прежде упоминалъ о начальствѣ не иначе какъ съ достойно-серьезнымъ видомъ, потомъ — съ легкой улыбкой, которую можно было понимать разное, а еще позднѣе заговорилъ почти откровенно: ясно почувствовалъ, что эта не донесеть. Сталъ рассказывать ей и о

прошломъ, о своей прежней жизни, о своихъ родителяхъ. Надя слушала безъ особаго интереса, но не безъ любопытства: приблизительно такъ, какъ могла бы читать «Домострой» или лѣтопись Нестора.

Когда Кангаровъ вернулся, Надежда Ивановна съ превеличеннымъ жаромъ ему сообщила, что командармъ о ней заботился прямо какъ родной: «Удивительно милый старикъ, удивительно!» Въ знакъ признательности, Кангаровъ пригласилъ Тамирина на свой обѣдъ. «Да, онъ очень достойный человѣкъ и прекрасный безпартійный спецъ»...

XIII.

Тамиринъ тоже былъ доволенъ Надеждой Ивановной. До ея пріѣзда ему случалось проводить по нѣсколько дней подрядъ, не разговаривая ни съ кѣмъ, кромѣ лакеевъ и лавочниковъ. Это, впрочемъ, его почти не тяготило. Много лѣтъ онъ не чувствовалъ себя такъ хорошо, какъ теперь въ Парижѣ: ежедневно благословлялъ Бога за то, что досталась командировка, и съ ужасомъ думалъ, что, быть можетъ, скоро придется вернуться въ Москву. При всей своей честности и служебной добросовѣстности, онъ, самъ почти того не замѣчая, немного затягивалъ работу, для которой былъ командированъ.

Вставалъ онъ въ шесть часовъ утра и часа полтора работалъ дома натошакъ, — чай готовить по его системѣ было тутъ невозможно, да во Франціи надо пить кофе. Обычно онъ завтракалъ въ кофейнѣ, отчасти изъ экономіи — въ гостиницѣ дороже, — отчасти потому, что утрення прогулка по Парижу доставляла ему большое удовольствіе. Въ восьмомъ часу выходилъ изъ дому и направлялся въ боковую улицу, къ писчебумажной лавкѣ. Газеты можно было купить и ближе, но писчебумажная лавка казалась ему болѣе надежной: кромѣ французской газеты, онъ покупалъ русскую, эмигрантскую, и это удоб-

нѣе было дѣлать внутри лавки, чѣмъ въ кіоскъ на улицѣ. Кладъ газеты въ карманъ такъ, что видна была только французская, и отпраплялся въ кофейню, всегда одну и ту же. Тамъ его уже знали въ лицо. Гарсонъ, особенно привѣтливый въ этой кофейнѣ, послѣ радостно-пѣвучаго «*Bonjour, Monsieur*», не спрашивая заказа, приносилъ ему кофе и корзинку съ круассанами, и самъ уже зналъ, сколько надо налить кофе, сколько молока. При этомъ обычно говорилъ «*Fait beau aujourd'hui, hein?*» или что-нибудь такое. Никто здѣсь не зналъ ни его имени, ни національности, ни положенія, и Тамаринъ понималъ, что, если онъ скоропостижно умретъ въ кофейнѣ, то и привѣтливая хозяйка, и привѣтливый гарсонъ нисколько не огорчатся, — развѣ только пожалѣютъ, что стало однимъ кліентомъ меньше. Но въ самыхъ формахъ этихъ, въ радостныхъ улыбкахъ, въ «*Fait beau aujourd'hui*» была человѣческая привѣтливость, отъ которой онъ совершенно отвыкъ въ Москвѣ. Люди здѣсь были равнодушны, но не отравляли другъ другу жизни, не доносили, не служили секретными сотрудниками полиціи.

Въ кофейнѣ онъ оставался съ полчаса и всегда удивлялъ гарсона тѣмъ, какъ, читая, развертывалъ, газету: на столѣ видна была только небольшая часть газетнаго листа, а ужъ заглавія никто прочесть не могъ бы. Неприятностей съ нимъ никогда не было, знакомыхъ онъ въ кофейнѣ ни разу не встрѣчалъ, шпионовъ тутъ ждать не приходилось, но такъ поступать было благоразумнѣе. Русскую газету онъ читалъ съ удовольствіемъ, — это стало привычкой, отъ которой, онъ зналъ, въ Москвѣ будетъ отучиться нелегко. Буква ять и твердый знакъ вначалѣ его поразили: онъ и умилялся — пахнуло старой жизнью — и разсердился: «Какая оторванность у этихъ людей!..» Собственно, изъ того, что въ газетѣ писалось о Россіи, три четверти было правдой; командармъ Тамаринъ отъ себя могъ бы еще немало прибавить такого, чего люди, писавшіе въ эмигрантскихъ газетахъ, не знали и знать не

могли. И все-таки чтеніе его раздражало: «Нѣтъ, эти люди многого не понимаютъ, то, да не то, чего-то эдакого имъ не хватаетъ», — говорилъ онъ себѣ, хоть едва ли могъ бы объяснить, чего именно не хватало этимъ людямъ. «Эдакая оторванность, — эмигрантщина, да. Все же читать интереснѣе, чѣмъ то, что пишутъ у насъ»... Но онъ самъ не вполнѣ былъ увѣренъ, гдѣ для него собственно «у насъ», и, бодрясь, только говорилъ мысленно: «Да, односторонни, узки... Нельзя же все эдакъ-то»...

Напившись кофе, Тamarinъ оставлялъ деньги на столѣ (въ первые дни его изумляло, что это можно дѣлать спокойно: никто денегъ не стащить), гулялъ по улицамъ лѣваго берега или по Люксембургскому саду, затѣмъ, когда было совершенно необходимо, отправлялся по служебнымъ дѣламъ, — большую часть своей работы дѣлалъ дома. Въ двѣнадцатомъ часу обычно возвращался въ гостиницу; онъ жилъ все въ той же гостиницѣ, въ которую попалъ въ день прїѣзда въ Парижъ. Его комнату убирали рано; вернувшись, онъ тотчасъ вновь садился за пишущую машину. Завтракалъ очень легко въ своемъ номерѣ, — кусокъ ветчины, сухарь, — незачѣмъ поливать. Въ пять часовъ, закончивъ трудовой день, снова гулялъ, съ удовольствіемъ чувствуя нарастаніе аппетита. Обѣдалъ плотно то въ одномъ, то въ другомъ ресторанѣ изъ не очень дорогихъ и всегда выпивалъ полбутылки хорошаго бордосскаго вина: эту роскошь (да еще покупку книгъ по военнымъ вопросамъ) Тamarinъ себѣ разрѣшалъ: «Въ Москвѣ такого вина не найдешь, а за кислятину платитъ разъ въ десять дороже». Нерѣдко отправлялся въ кинематографъ или въ какой-либо легкой, немудреный театръ, — «безъ претензій, мило и весело, какъ умѣютъ французы».

Чаще впрочемъ онъ сидѣлъ по вечерамъ дома. Съ полчаса рѣшалъ крестословицы, — тоже изъ эмигрантскихъ изданій: французскія рѣшать было очень трудно, хоть онъ недурно зналъ французскій языкъ. Иногда раскладывалъ

пасьянсъ, — обычно загадывалъ, долго ли продлится командировка. Въ винтъ играть было не съ кѣмъ; это составляло немалое лишеніе. Чаще, вмѣсто пасьянса, Тамаринъ читалъ книги, и не только Клаузевица. Рѣшилъ перечитать въ Парижѣ классиковъ, купилъ украдкой — въ эмигрантскомъ магазинѣ — шеститомное эмигрантское изданіе Пушкина. — «Что-жъ, Пушкина гдѣ угодно можно купить... Экъ однако скверно издали!» — подумалъ онъ, тоже съ нѣкоторой радостью, какъ Надежда Ивановна. Многое очень ему понравилось, особенно «Дубровскій» и «Повѣсти Бѣлкина»; но и то, чѣмъ онъ въ душѣ не слишкомъ восторгался, Тамаринъ читалъ съ удовлетвореніемъ, вспоминая, какъ впервые это прочелъ полвѣка тому назадъ, — «да можетъ съ тѣхъ поръ и не читалъ. Въ этомъ-то главная прелесть классиковъ... Не говоря, конечно, объ ихъ достоинствахъ»... Случалось, за книгой онъ думалъ о другомъ, о своихъ дѣлахъ. Если-бы твердо знать, что командировка затянется надолго, можно было бы снять комнату съ кухней и ванной, купить радиоаппаратъ и новую пишущую машину. Прожить бы такъ въ Парижѣ остатокъ дней, спокойно, занимаясь полезнымъ для русской арміи трудомъ, не дѣлая низостей, не подписывая гнусныхъ телеграммъ, никому почти не угождая (чуть-чуть угождать впрочемъ иногда приходилось и здѣсь). Только передъ самой смертью, такъ недѣли за двѣ, когда уже нечего опасаться, вернуться бы домой, чтобы умереть въ Петербургѣ, гдѣ родился. И какъ разъ тогда, когда онъ объ этомъ думалъ, Тамаринъ, съ сильнымъ, ему самому непонятнымъ, волненіемъ прочелъ у Пушкина: «Онъ сказалъ мнѣ: «будь покоенъ, — Скоро, скоро удостоенъ — Будешь царствія небесъ, — Скоро странствію земному — Твоему придетъ конецъ. — Ужъ готовить ангель смерти — Для тебя святой вѣнецъ»...

Просьба Кангарова «взять подъ свое покровительство» молоденькую секретаршу вначалѣ была не слишкомъ при-

ятна Тамирину: онъ свылся со своей парижской жизнью, ничего въ ней мѣнять не хотѣлось. Но дѣвочка оказалась очень милой и скоро внушила ему ласковыя, почти нѣжныя чувства, смѣшанныя съ жалостью: «они вѣдь всѣ настоящей жизни и не видѣли, отъ рожденія обижены Богомъ. А умненькая и способная».

Въ день своего обѣда Кангаровъ, который долженъ былъ до того побывать «у французовъ», просилъ Тамарина заѣхать за Надей и привезти ее въ ресторанъ: «Ей, бѣдняжкѣ, одной боязно. Пожалуйста, ваше превосходительство, возьмите автомобиль за мой счетъ». — «Съ удовольствіемъ привезу Надежду Ивановну», — отвѣтитъ, покраснѣвъ, Тамаринъ.

Заѣхавъ онъ за Надеждой Ивановной во фракъ, что было ужъ слишкомъ парадно для обѣда въ ресторанъ. Послѣ того, какъ бюджетъ Тамарина въ Парижѣ опредѣлился окончательно, онъ подсчиталъ, что можетъ истратить на гардеробъ до трехъ тысячъ франковъ; заказалъ себѣ хорошій костюмъ, демисезонное пальто, которое, по своей демисезонности, могло во Франціи годиться на всѣ времена года, и фракъ. На визитку и смокингъ денегъ не хватало. Сознаніе того, что онъ теперь хорошо, или, по крайней мѣрѣ, прилично, одѣтъ, доставило Тамарину немалое удовлетвореніе. До войны онъ въ Россіи изъ штатскаго платья носилъ только охотничій костюмъ; но имѣлъ пиджаки и фракъ для поѣздокъ за границу и съ улыбкой вспоминалъ, какъ по привычкѣ по дорогѣ на вокзалъ прикладывалъ руку къ отсутствующему козырьку. Послѣ революціи онъ приобрѣлъ привычку къ штатскому платью, но своего фрака ни разу въ Москвѣ не надѣвалъ, да едва ли и могъ бы надѣтъ; называлъ его допотопнымъ — и думалъ, что это слово тутъ почти вѣрно даже въ буквальномъ смыслѣ. Передъ отъѣздомъ онъ колебался, взять ли фракъ съ собой, попробовалъ надѣтъ и только вздохнулъ: борты не сходились, застегнуть было бы невозможно. Ему вспомнилась и поразила безсмыслен-

постыю словъ пфсенка: «мой старый фракъ, не покидай меня». Старый фракъ былъ въ Москвѣ проданъ. Новый, сшитый въ Парижѣ, — «второй въ жизни и послѣдній» — онъ впервые надѣлъ для кангаровскаго обѣда. Опасаясь, какъ бы чего не напутать, послѣ двадцати пяти лѣтъ, онъ за два дня до того нарочно пошелъ въ оперу и присмотрѣлся, какъ у людей, затѣмъ купилъ все новое: рубашку, запонки, галстухъ. Оказалось, что галстухи теперь носили другіе, какіе-то сложные, какихъ въ его время не было: несмотря на снисходительныя объясненія приказчика, онъ и завязалъ этотъ новаго типа галстухъ лишь съ большимъ трудомъ. Когда туалетъ былъ законченъ, Тamarinъ передъ зеркаломъ пошатывавшася шкафа, съ нѣкоторымъ чувствомъ жалости къ самому себѣ, улыбнулся своему удовлетворенію: «точно юноша», — такъ онъ почти полвѣка тому назадъ любовался собой, впервые надѣвъ великолѣпный гвардейскій мундиръ.

Въ новенькомъ фракѣ онъ былъ, хоть по старчески, чрезвычайно представительнъ и осанистъ. «Господи, какъ вы ослѣпительны, Константинъ Александровичъ!» — сказала Надежда Ивановна. — «Ужасно вамъ идетъ, уж-жа-асно! Прямо восторгъ!» Онъ смущенно улыбался. «Я что? А вотъ вы, да!» Наденька тоже была хорошо одѣта или, по крайней мѣрѣ, такъ ему показалось. Онъ не зналъ, сколько безпокойства и волненія у нея изъ-за этого было: ей-то и справиться было не у кого. Кангаровъ только сказалъ: — «Ты у меня, дѣтка, приодѣнься, ну тамъ всякіе фигли-мигли, что полагается, помни, что это первый ресторанъ въ Парижѣ, т. е. въ мірѣ. И Вермандуа будетъ», — небрежно добавилъ полпредъ, — «знаешь, знаменитый писатель: чуть что не такъ, онъ сейчасъ же замѣтитъ, высмѣетъ, да еще въ романѣ тебя изобразитъ». Надежда Ивановна сдѣлала наивно-испуганное лицо. Ея бесѣды съ Кангаровымъ въ послѣднее время сводились главнымъ образомъ къ несложной мимикѣ. Она сама ду-

мала, что эта мимика стала въ концѣ концовъ просто глупой. «Но зато очень удобно».

По непривычкѣ къ передвиженію въ автомобиляхъ, не рассчитавъ разстояній и времени, они подѣхали къ ресторану за полчаса до обѣда. Человѣкъ въ ливреѣ бросился имъ навстрѣчу. Надежда Ивановна вышла, волнуясь. Тамаринъ взглянулъ на часы и предложилъ зайти въ кофейню рядомъ, а то ждать долго въ кабинетѣ будетъ неловко. Надя тотчасъ согласилась; отсрочка была ей пріятна: она очень робѣла.

Въ кофейнѣ они, какъ всегда, бесѣдовали мило и нехитро. Командармъ рассказывалъ о своей работѣ (она въ этотъ день шла особенно удачно) и привелъ цитату изъ Клаузевица. Надежда Ивановна, не слушая, поддакивала, изрѣдка вставляя: «Неуж-жели? К-какъ интересно!», и неудачу широко раскрывала глаза. Ея вниманіе занималъ одинъ красивый человѣкъ, сидѣвшій рядомъ съ ними. На видъ ему было лѣтъ двадцать восемь или тридцать, но Надеждѣ Ивановнѣ почему-то казалось, что онъ старше. «Французъ? Нѣтъ, не французъ. Скорѣе англичанинъ...» Ей не приходило въ голову, что это можетъ быть русскій. Онъ тоже на нее посмотрѣлъ и, встрѣтившись съ ней взглядомъ, углубился въ вечернюю газету; однако еще раза два отъ газеты отрываясь и бросая бѣглый взглядъ въ ея сторону. Минутъ черезъ десять онъ взглянулъ на часы, явно нехотя всталъ, положилъ деньги на подставку бокала. Въ проходѣ между столиками онъ нечаянно задѣлъ локтемъ Тамарина и сказалъ по русски: «Виноватъ, извините, пожалуйста». Командармъ отъ неожиданности вздрогнулъ, Надя тоже почему-то испугалась. Молодой человѣкъ у двери снова на нее оглянулся. «Кажется, мы ничего э д а к о г о не говорили?» — съ улыбкой, не безъ смущенія, спросилъ Тамаринъ. — «Конечно, нѣтъ. Вы думаете, это бѣлогвардеецъ?» — «Ужъ во всякомъ случаѣ, не совѣтскій», — смѣясь, сказалъ командармъ, — «и одѣтъ не такъ, и что-то у нихъ есть такое-эдакое»... — «Терпѣть ихъ не

могу», — заявила Надежда Ивановна. — «Да, у нихъ у всѣхъ сказывается, знаете, оторванность... Оторванность»... — послѣдшилъ замѣтить Тамаринъ, — «я, впрочемъ, никого изъ нихъ не знаю».

XIV.

Хозяинъ карусели зазывалъ публику. Дѣти, волнуясь, размѣшались на лошадкахъ, свиньяхъ, барашкахъ съ высунутыми языками. Матери и няньки давали послѣднія наставленія: не высовываться, держаться за шести. Мальчикъ съ рѣшительнымъ видомъ сѣлъ въ лодочку воздушнаго шара. Крошечная дѣвочка, сестра, съ ужасомъ на него смотрѣла. Заиграла, неизвѣстно откуда шедшая, музыка, карусель завертѣлась. Дѣти, проносясь мимо Вислиценуса, хмуро-рѣшительно держали поводья и рули. Два ѣздока рядомъ скакали на барашкахъ: одинъ взлеталъ, когда опускался другой. Карусель, дойдя до отпущенной ей предѣльной скорости, — вездѣ стоялъ крикъ и визгъ — стала замедлять ходъ. Музыка замолчала. Карусель остановилась. Визгъ прекратился. Дѣти, кто съ гордостью, кто съ огорченіемъ на лицѣ, сходили съ барашковъ, свиней, автомобилей. Передъ Вислиценусомъ были облѣзшіе черные звѣри.

XV.

Обѣдъ Кангарова устроился случайно. Людямъ, которые могли обѣдомъ интересоваться, онъ говорилъ, что долженъ оказать любезность одному международному финансисту: «съ волками жить, по волчьи выть» (эту фразу ему приходилось повторять въ послѣднее время весьма часто). Финансистъ-волкъ велъ переговоры объ очень большой сдѣлкѣ; Кангаровъ къ нимъ прямого отношенія

не имѣлъ, но его изъ другого вѣдомства просили помочь; именно для этого дѣла онъ и прїѣхалъ въ Парижъ. За границей большія дѣла начинались, обсуждались и рѣшались въ дорогихъ ресторанахъ. Финансистъ кормилъ Кангарова въ Парижѣ и въ Амстердамѣ, теперь надо было отвѣтить обѣдомъ въ его честь. Въ домѣ финансиста посольъ познакомился съ Вермандуа и тотчасъ его пригласилъ, взявъ внезапною натиска. Нельзя было не позвать знаменитаго адвоката Серизье, который принялъ на себя трудъ юридическаго оформленія дѣла. Заодно была приглашена одна очень знатная графская чета. Хуже были остальные гости. Надежду Ивановну Кангаровъ позовалъ потому, что хотѣлъ побаловать дѣтку, — «и все-таки неловко, чтобы та дура была единственной дамой», — пояснилъ онъ самъ себѣ, разумѣя графиню. Тамарина слѣдовало отблагодарить за вниманіе къ Наденькѣ; командармъ, человѣкъ осанистый, хорошо говорившій по французски, вдобавокъ бывшій царскій генераль, явно не могъ ничего испортить. Что до доктора Зигфрида Майера, то онъ чуть не самъ назвался на обѣдъ, также используя прїемъ внезапной атаки. Съ этимъ человѣкомъ, прежде въ Германіи вліятельнымъ и важнымъ, Кангаровъ въ свое время поддерживалъ самыя добрыя отношенія, часто съ нимъ встрѣчался на разныхъ конференціяхъ, бывалъ у него въ домѣ. Теперь Зигфридъ Майеръ оказался въ эмиграціи и, повидимому, нуждался. Отказать ему въ просьбѣ Кангаровъ не считалъ достойнымъ, — «нельзя быть свиньей», — докторъ Майеръ къ тому же ссылался и на дѣло: ему чрезвычайно нужно было познакомиться съ Вислиценусомъ, о прїѣздѣ котораго въ Парижъ ему стало извѣстно.

Услышавъ имя Вислиценуса, Кангаровъ насторожился. Отношенія у нихъ были корректно-холодныя. Они и разговаривали другъ съ другомъ мало, да и то больше обмѣнивались непрїятностями, впрочемъ, въ формѣ дружескихъ совѣтовъ, и по самымъ лучшимъ партійнымъ побужде-

пьянъ, -- вродѣ какъ Гоголь, по самымъ любвеобильнымъ побужденіямъ совѣтовала Вельгорской не танцовать, ибо она кривобока. При встрѣчѣ съ Вислиценусомъ Кангаровъ начиналъ сладко улыбаться, еще только издали его увидѣвъ, но глаза у посла тотчасъ желтѣли. Звать на обѣдъ челоуѣка изъ «Люкса» ему очень не хотѣлось. Однако и уклониться тоже было неудобно: «если у нихъ есть дѣло, еще скажутъ, что я его сорвалъ!..» О положеніи Вислиценуса въ Москвѣ ходили разные слухи: одни говорили, что онъ въ большой милости; другіе увѣряли, что его карьера кончена. И то, и другое было возможно. «Во всякомъ случаѣ довольно, этотъ обѣдъ растеть какъ лавина», — подумалъ Кангаровъ. Скрѣпя сердце, пригласилъ Вислиценуса и рѣшилъ больше не звать никого: незачѣмъ тратить даромъ народныя деньги. Онъ дѣлалъ видъ, будто устраиваетъ обѣдъ лишь по крайней необходимости. Въ дѣйствительности, Кангаровъ былъ по природѣ очень гостепріименъ. Кромѣ того, послѣ недавнихъ, еще не вполне отпавшихъ, волненій, ему хотѣлось разсѣяться, — «забыться», какъ онъ говорилъ Надеждѣ Ивановнѣ, не указывая впрочемъ причины волненія, — «эхъ, все тринь-трава»... Приготовленія къ обѣду его въ самомъ дѣлѣ разсѣяли. Нѣкоторая разнородность общества его не смущала: давно убѣдился въ томъ, что съ этими графинями церемониться незачѣмъ, и любилъ даже повторять вычитанныя имъ въ газетѣ слова лорда Китченера: «У меня въ жизни были два страшныхъ врага: африканскіе комары и свѣтскія дамы».

Когда управляющій рестораномъ показалъ ему проектъ меню, Кангаровъ съ удовлетвореніемъ сказалъ: «*Ça va, ça va*» и лишь велѣлъ отмінить коктейли, а вмѣсто нихъ подать пятидесятилѣтній хересъ Манзанілла, изъ особаго запаса, ошеломляющій и по цѣнѣ, и по дѣйствию. «По крайней мѣрѣ, будетъ весело». Онъ звалъ по опыту, что на самыхъ серьезныхъ дѣловыхъ и политическихъ обѣдахъ ходъ и успѣхъ переговоровъ -- не въ главномъ, ра-

зумѣтся, а въ существенныхъ подробностяхъ, — часто зависитъ отъ того, создадутъ ли обстановка и особенно вино хорошее, благожелательное настроеніе. На этомъ обѣдѣ, впрочемъ, дѣловой бесѣды не предвидѣлось: съ финансистомъ уже почти все было обсуждено и рѣшено; слѣдовало лишь закрѣпить добрыя отношенія.

Кангаровъ пріѣхалъ въ ресторанъ минутъ за десять до назначеннаго времени, на случай, если бѣ кто-либо изъ приглашенныхъ явился рано. Въ сопровожденіи управляющаго и мэтръ-д'отеля, онъ прошелъ въ заказанный кабинетъ, окинулъ столъ хозяйскимъ взглядомъ и остался очень доволенъ. Все было отлично. На маленькомъ столикѣ стояли въ ведрѣ со льдомъ шампанское и рейнвейнъ. Икра была не черная, а сѣрая, съ крупнымъ зерномъ, та самая, которую онъ особенно любилъ. Бутылка хереса была такъ запылена, точно ее послѣ пятидесяти лѣтъ только что выкопали изъ земли. Управляющій и мэтръ-д'отель принимали послѣднія распоряженія, почтительно добавляя: «*Oui, Votre Excellence*», «*Oui, Monsieur l'Ambassadeur*»... Дверь отворилась и въ кабинетъ вошла Надежда Ивановна, въ сопровожденіи командарма Тамарина. Она показалась Кангарову ослѣпительно красивой; онъ такъ и замеръ отъ счастья. «Положительно влюбленъ, влюбленъ, какъ мальчишка», — подумалъ онъ съ волненіемъ и ласково-небрежно произнесъ: «Хороша, очень хороша, ай да мы! Шикъ, блескъ, иммеръ эlegantъ... Честь имѣю кланяться, Командармъ Ивановичъ, спасибо вамъ. Ну-съ, что скажете объ испанскихъ дѣлишкахъ? Какъ-то нашъ Фердинандъ изворачивается?» — Тамаринъ началъ было излагать свои соображенія, но въ кабинетъ какъ разъ вошли Серизье и финансистъ. — «Вы намъ, Командармъ Ивановичъ, изложите все это за обѣдомъ, только, пожалуйста, по французски, говорить по русски строго воспрещается», — поспѣшно сказалъ, отходя отъ него, посоль.

Онъ познакомилъ гостей и, представляя Тамарина, до-

бавиль: «одинъ изъ лучшихъ нашихъ генераловъ», — въ разговорѣ по французски можно было употребить и слово «генераль». Финансистъ съ любопытствомъ взглянулъ на командарма. — «Мы какъ разъ говорили объ испанскихъ дѣлахъ». — «Я думаю, что послѣ взятія повстанцами Бадахоса»... — началъ снова Тамаринъ и запнулся: «кто же ихъ знаетъ, что это за люди?» — «Чрезвычайно интересно будетъ узнать мнѣніе большого совѣтскаго спеціалиста», — сказала поощрительно знаменитый адвокатъ. Лицо финансиста ничего не выражало, но мысли его можно было безъ риска перевести такъ: «Да, взяли Бадахось, возьмутъ и все остальное, и перевѣшаютъ вашего брата, и слава Богу. Ну, а впредь до того, можно и дѣла дѣлать, и обѣдать, особенно если здѣсь». Надежда Ивановна старалась, скрывая волненіе, еще разъ заглянуть въ большое стѣнное зеркало, но такъ, чтобы никто не замѣтилъ этого постыднаго дѣйствія. — «Ахъ, подлець этакій, просто устану какой-то!» — со злобой подумалъ Кангаровъ: на порогѣ показался человѣкъ изъ «Люкса», въ нагломъ, рыжеватомъ, потертомъ пиджачкѣ, съ наглымъ, мягкимъ, цвѣтнымъ воротничкомъ. — «Этакій неучъ, свинья и хамъ!» — произнесъ мысленно посоль, крѣпко, по то-варински, пожимая руку Вислиценусу.

XVI.

Въ это время Луи-Этьеннъ Вермандуа еще только выходилъ изъ своей квартиры. Работа его шла въ тотъ день довольно необычно. Романъ изъ древне-греческой жизни неожиданно получилъ новое направленіе. Одно изъ дѣйствующихъ лицъ встрѣтилось съ Лисандромъ въ другой, гораздо болѣе выигрышной и правдоподобной обстановкѣ; это вышло какъ-то само собой, но для объясненія дѣйствующее лицо должно было совершить поступокъ, котораго оно первоначально не совершало; поступокъ

этотъ, по размышленіи, оказался вполне естественнымъ и чрезвычайно подходящимъ для дѣйствующаго лица; характеръ его становился гораздо болѣе жизненнымъ, дѣйствіе романа болѣе напряженнымъ, и весь романъ явно очень выигрывалъ. Въ совокупности, это могло называться вдохновеніемъ, и Вермандуа испыталъ нѣсколько минутъ истиннаго счастья. «Но какъ мнѣ это раньше не приходило въ голову? Впрочемъ, я тутъ собственно ни при чемъ: видно, и въ самомъ дѣлѣ герои художественныхъ произведеній живутъ самостоятельной жизнью, и то, что въ связи съ этимъ рассказываютъ о Флоберѣ, о Стендалѣ, о Толстомъ, не просто выдумка, пущенная въ обращеніе ихъ почтительными біографами, глубокомысленными критиками или, быть можетъ, ими самими».

Лисандромъ въ романѣ уже съ мѣсяцъ назывался Анаксимандръ; въ бѣловой рукописи не только вездѣ было вставлено новое имя, но первоначальное — старательно вымарано: почему-то Вермандуа было совѣстно, что Анаксимандръ сталъ Лисандромъ, — совѣстно передъ молодымъ секретаремъ, переписывавшимъ его романъ. «Какъ ему объяснить, что Лисандръ просто плохъ, тогда какъ Анаксимандръ былъ ужасенъ и невозможенъ?» Впрочемъ, то вообще, что онъ писалъ романы, независимо отъ ихъ достоинствъ и недостатковъ, вызвало у Вермандуа чувство смущенія и неловкости передъ всѣми: онъ самъ не зналъ, передъ кѣмъ больше, — передъ пишущими или передъ не-пишущими людьми, — и думалъ, что, напримеръ, у музыкантовъ или у живописцевъ такихъ чувствъ нѣтъ и не должно быть.

Послѣ намѣченныхъ перемѣнъ мысли Лисандра стали еще болѣе мрачными, чѣмъ были раньше, и, къ сожалѣнію, выходило такъ, будто Лисандръ былъ очень хорошо освѣдомленъ о событіяхъ, происходившихъ въ Европѣ въ двадцатомъ столѣтіи, особенно послѣ войны. Вермандуа быстро сталъ записывать въ тетрадь перемѣны и новыя мысли, — теперь передѣлать надо было очень мно-

гое, а забыть такъ легко. Въ увлеченіи работой онъ не смотрѣлъ на часы и, когда ее кончилъ, оказалось, что до обѣда остается не болѣе двадцати минутъ. Проклиная себя, онъ сталъ поспѣшно одѣваться: «очень нужно было идти къ этому господину».

О Вермандуа недавно прошелъ въ Парижѣ слухъ, будто онъ намѣренъ вступить въ комунистическую партію. Дѣйствительно, въ минуты, когда свѣтъ, издатели и то, что онъ уже называлъ, какъ другіе, «буржуазной литературой», становились ему особенно противны, Вермандуа говорилъ, что не сегодня-завтра окончательно примкнетъ къ коммунистамъ. Тонъ его былъ такой, точно онъ кому-то грозилъ. Впрочемъ, онъ отлично зналъ, что и друзья, и враги въ литературномъ мірѣ отнесутся къ этому вполне равнодушно: «Avez-vous entendu la dernière de Vermandois?.. Elle est bonne, n'est-ce pas?..» Что до политическихъ дѣятелей, то они (это тоже зналъ), при всей своей почтительности къ нему, никогда его въ серьезъ не принимали. Часто просили о предисловіяхъ къ сборникамъ ихъ рѣчей или статей, но и то лишь потому, что une préface de Vermandois все еще довольно высоко расцѣнивалась издателями: пятьсотъ лишнихъ экземпляровъ. Обычно онъ и не отказывалъ въ предисловіяхъ, причемъ хвалилъ внушавшіе ему отвращеніе сборники такъ неумѣренно, что не знавшіе его лично люди съ недоумѣніемъ пожимали плечами, а другіе политическіе дѣятели скоро къ нему обращались также съ просьбами о предисловіяхъ.

Въ партію онъ однако не вступилъ. Были многочисленные «за» и «противъ». — «Отдѣльный человѣкъ теперь совершенно безсильнъ», — говорилъ иногда въ обществѣ Вермандуа. — «въ мірѣ сейчасъ идетъ лишь одна борьба, и въ ней надо выбрать себѣ мѣсто на той или на другой сторонѣ. Оттѣнки не имѣютъ никакого значенія. У насъ на выборахъ всегда выступаетъ десять или пятнадцать

по разному называющихся партій, причемъ главная правая партія носитьъ названіе лѣвыхъ республиканцевъ, — все это пустыя слова. Такъ, лучшая улица Парижа называется полями, но никто вѣдь не думаетъ, что на ней сѣютъ пшеницу или пасутъ коровъ. Въ дѣйствительности, во Франціи всегда борются лишь двѣ партіи, представляющія реакцію и прогрессъ» (онъ невольно морщился, произнося эти слова). «И точно такъ же въ той великой борьбѣ, которая теперь идетъ въ мірѣ, вступившемъ въ періодъ соціальной революціи и соціальныхъ катастрофъ, совершенно бессмысленно обольщаться словами и отфѣнками: хочешь служить дѣлу, — записывайся въ партію»...

Это было гласное «за». Но имѣло извѣстное значеніе и негласное «противъ». Дѣло было даже не въ происшедшемъ въ Россіи террорѣ, который, вѣроятно, — кто ихъ разберетъ? — оправдывался необходимостью и на разстояніи въ тысячи километровъ не внушалъ Вермандуа особеннаго ужаса: казнь неизвѣстныхъ ему людей не могла волновать его больше, чѣмъ землетрясеніе на Мартиникѣ или холерная эпидемія въ Китаѣ. Гораздо хуже было то, что у коммунистовъ существовало твердое ученіе, не только обязательное для низовъ, — съ этимъ можно было бы примириться, — но вполне серьезно признававшееся гениальнымъ и на верхахъ партіи. Вермандуа съ напряженіемъ прочелъ нѣсколько книгъ объ этомъ ученіи, освѣжилъ въ памяти еще нѣсколько другихъ, и со вздохомъ призналъ, что это — философія для кухарокъ. — «Что-жь, и кухаркамъ нужна какая-нибудь философія, и, быть можетъ, смыслъ политической жизни заключается въ томъ, чтобы изъ нѣсколькихъ плоскихъ системъ избрать наименѣе плоскую или наиболѣе заразительную? Но я не кухарка, да и нѣтъ гарантіи, что наименѣе плоская система именно эта. Для общаго же быстрого поглупѣнія, для того, чтобы всѣ стали лакеями и кухарками, нѣтъшняя нѣмецкая философія еще лучше: нѣмцы мастера непревзойденные»... Кромѣ того, онъ чувствовалъ, что, въ

случаѣ вступленія въ партію, ему придется по меньшей мѣрѣ три раза въ годъ выступать на митингахъ, — нельзя вѣдь будетъ постоянно ограничиваться привѣтственнымъ письмомъ, — придется посылать разныя телеграммы, хоронить знатныхъ покойниковъ. «Право, лучше подождать»... Вермандуа объявилъ кому слѣдовало, что пока не чувствуетъ себя вполне созрѣвшимъ для столь важнаго дѣйствія. Сказалъ онъ это съ видомъ взволнованнымъ, проникновеннымъ и нѣсколько загадочнымъ, — именно такъ, какъ требовалось, — и слова его произвели сильнѣйшее впечатлѣніе.

Запонка вошла въ тугой воротничекъ свободно, легко завязались тесемки на туфляхъ (надѣвать туфли ему въ послѣднее время становилось все труднѣе), и ровно въ восемь Вермандуа вышелъ на улицу. Собственно можно было бы даже отправиться по подземной дорогѣ: опоздать минутъ на пятнадцать или на двадцать — не бѣда. Но ѣхать къ ресторану надо было съ пересадкой, ѣзда подъ землей, длинные корридоры съ лѣстницами очень его утомляли, — ничего не подѣлаешь, нужно потратиться на автомобиль. Вермандуа купилъ вечернюю газету и, садясь, пробѣжалъ ее: «все то же!» Франція предлагала другимъ державамъ обсудить вопросъ о невмѣшательствѣ и о локализациі испанскаго конфликта. Это предложеніе, какъ сообщала газета, «оживленно обсуждалось въ политическихъ кругахъ всѣхъ столицъ Европы»... — «Нѣтъ, все-таки лучше, когда страной правятъ жулики. Есть особая порода благороднѣйшихъ людей, изъ-за которыхъ погибаютъ государства и происходятъ величайшія историческія катастрофы».

Разносчикъ, получая деньги, окинулъ мрачнымъ взглядомъ смокингъ Вермандуа. «Non, vous avez beau dire, c'est un fameux type, ce Hitler!» — сказалъ молодой человекъ рядомъ съ нимъ. «Да, въ самомъ дѣлѣ, по своему они правы. Если мы съ Лисандромъ ничего, кромѣ эле-

гантнаго пессимизма, имъ предложить не можемъ, а декларация правъ челоуѣка пошла главнымъ образомъ на благо всевозможнымъ Стависскимъ, то они правы, что любятъ силу, грубость, наглость и плюютъ на все остальное... «Народъ радостно бросился въ рабство», «*ruit in servitium*», — вспомнилъ онъ слова Тацита, и съ досадой подумалъ, что память, вѣчно подсказывающая цитаты, отравляетъ ему жизнь: «Что-жъ дѣлать, все давно сказано. Но если-бъ память работала хуже, то у меня, какъ у людей невѣжественныхъ, была бы иллюзія «новаго слова». Точно есть новыя слова подъ солнцемъ!» — Онъ невольно взглянулъ на небо. Солнца уже не было. Догоравшій закатъ поразилъ его, точно онъ впервые это увидѣлъ. — «Какъ бѣденъ языкъ самыхъ великихъ мастеровъ! Въ молодости я былъ увѣренъ, что можно и нужно придумывать для описанія этого еще какіе-то новые, вѣрные, настоящіе сравненія, образы, эпитеты, и ломалъ себѣ голову надъ тѣмъ, какъ бы по новому описать закатъ, лѣсъ, море. Маніакъ! Всю жизнь прожилъ маніакомъ!..»

Ему пришли тѣ самыя мысли, которыя три тысячи лѣтъ одинаково приходятъ всѣмъ людямъ, умнымъ и глупымъ, ученымъ и невѣжественнымъ, при видѣ неба или кладбища. «Да, и это испанское возстаніе, и все о чемъ сообщается въ газетахъ, теперь для меня имѣетъ не больше значенія, чѣмъ обѣдъ у этого господина, которому, кромѣ икры и ананасовъ, необходимъ еще «блескъ сверкающаго слова Вермандуа» (таково было обычное клише о немъ у дружественныхъ репортеровъ). «Жить осталось, вѣроятно, еще года два или три, въ лучшемъ — или въ худшемъ — случаѣ пять-шесть лѣтъ. Новаго ждать давно нельзя ничего. И какъ это ни глупо, глупо до идиотизма, — весь остатокъ жизни, должно быть, сведется къ «сверканію» на обѣдахъ у темныхъ, невѣжественныхъ людей» (онъ тутъ же принялъ рѣшеніе говорить весь вечеръ только о погодѣ). «Въ сущности, — несмотря на испытанное сегодня наслажденіе, — можно было бы легко обой-

тись и безъ сверкающаго грека Лисандра, и безъ тридцать седьмой по счету сверкающей книги, благо старыхъ тридцати шести почти никто не читаетъ, — развѣ одинъ французъ изъ пяти тысячъ. Триста лѣтъ тому назадъ немногочисленные, рѣдко выходящія, книги читались людьми для спасенія души. Тридцать лѣтъ тому назадъ, когда я былъ однимъ изъ самыхъ модныхъ писателей Европы, мои книги читались для того, чтобы можно было шегольнуть въ обществѣ цитатой и вызвать восторженную улыбку дамъ: «такъ говорить Вермандуа». Теперь тѣ, «пяти-тысячные», пробѣгаютъ мои произведенія по привычкѣ, — надо же что-нибудь и почитать — или отъ скуки, когда нельзя ни пойти въ театръ, ни поиграть въ бриджъ. Моя слава, какъ родовитость захудалыхъ домовъ, *dogmit, non extinguitur*. Но обольщаться не приходится: нѣтъ такого провинціального журналиста, который не былъ бы увѣренъ, что гдѣ-то есть читатели, вырѣзывающіе его статьи и дѣлающіе изъ нихъ выписки, и хуже всего то, что провинціальный журналистъ правъ. Моимъ же «поклонникамъ», какъ и читателямъ-врагамъ, достаточно извѣстно, что я «уже все сказалъ и теперь перепѣваю старое» (это было клише о немъ у репортеровъ враждебныхъ, — впрочемъ довольно рѣдкихъ). «То, что я теперь пишу гораздо лучше, чѣмъ въ молодости, что я сталъ опытиѣе, ученѣе, умнѣе, что моя фраза стала чище, точнѣе, тверже, этого никто не видитъ, кромѣ нѣсколькихъ такихъ же маниаковъ, какъ я, читающихъ мои новыя произведенія съ ненавистью, съ тѣмъ, чтобы наконецъ-то сказать искренно: «*Il est fini, Vermandois!*» — неискренно они говорятъ это все равно. Ну, и Богъ съ ними! Передъ смертью я скажу, какъ лордъ Голландъ, котораго хотѣлъ завѣстить въ послѣднюю минуту его лютой врагъ, кажется, Сельвинъ: «Пусть придетъ, пусть придетъ: если я еще буду живъ, то мнѣ пріятно будетъ его увидѣть; а если я уже буду мертвъ, то ему пріятно будетъ меня увидѣть».

Онъ подумалъ, что эту цитату надо будетъ при слу-

чаѣ вспомнить въ обществѣ, — разумѣется, не сегодня. Собственно, у него лютаго врага въ критикѣ не было. Были критики недостаточно съ нимъ почтительные или менѣе почтительные, чѣмъ съ другими знаменитыми писателями, — онъ вздохнулъ: «Да, конечно, каждый изъ насъ хотѣлъ бы, чтобы съ нимъ было какъ въ Версалѣ, гдѣ въ присутствіи Людовика XIV не позволялось кланяться никому другому»... Были критики ласково-развязные, тѣ, что, излагая содержаніе книгъ Бергсона, Франса, его самого, писали объ авторахъ: «Нашъ философъ», «нашъ романистъ». Были критики, постоянно и безъ всякой видимой причины мѣнявшіе отношеніе къ нему съ привѣтливаго на грубое, больше отъ собственной нервности, — вродѣ какъ герои и героини Достоевскаго, въ минуты особеннаго волненія, вдругъ почему-то (это всегда очень его смѣшило) переходятъ на ты: «А, такъ ты лжешь! Я вижу, ты лгалъ!» — вскричала она». Были — особенно въ послѣднее время — критики внѣшне весьма любезные, но неизмѣнно вскользь упоминавшіе, что его книги, къ сожалѣнію, больше не имѣютъ вполне заслуженнаго ими успѣха. — «Надо было бы въ самомъ дѣлѣ основать что-либо вродѣ «обѣдовъ освистанныхъ авторовъ» Флобера, Тургенева, Додэ, это очень мило, когда освистанные авторы — Флоберъ, Тургеневъ и Додэ». Были, наконецъ, критики вполне разумные и добросовѣстные, — тѣ, что всегда чрезвычайно его хвалили. Сельвина же не было: «жаль, надо бы, чтобы былъ свой Сельвинъ, и каждому изъ насъ пріятно жаловаться на травлю... Особенно, когда травли нѣтъ»...

Соображенія эти заняли его, и онъ не сразу вернулся къ прежнему ходу мыслей: «Да, зачѣмъ же жить въ этой обстановкѣ, съ этими людьми? Гете говорилъ Эккерману, что періоды общественнаго регресса и моральнаго паденія особенно благопріятны для мысли и внутренней жизни. Заработокъ? Но можно уѣхать куда-нибудь въ глушь, гдѣ жизнь дешева, гдѣ есть озеро, лѣсъ, уѣхать, захва-

тивъ съ собой не шесть тысячъ книгъ (это тоже манія), а сотню, но настоящихъ, такъ называемыхъ вѣчныхъ. Тамъ поселиться до конца дней. Не съ тѣмъ, конечно, чтобы «вернуться къ народу и приобщать его къ культурѣ», какъ въ послѣднее время требуютъ снобы еще какого-то новаго, или, вѣришь, періодически вновь выплывающаго, образца, быть можетъ, просто собирающіеся выставить свою кандидатуру въ палату, — нѣтъ, уѣхать для того, чтобы въ послѣдніе годы жизни не видѣть ни снобовъ, ни неснобовъ, ни дураковъ, ни умныхъ, ни враговъ, ни поклонниковъ, и жить въ обществѣ тѣхъ ста людей, которымъ посчастливилось первыми, надолго, навсегда сказать съ достаточной силой правду о жизни и человѣкѣ. И можетъ быть, даже не писать, а просто жить для того же, для чего Раблэ хотѣлъ стать королемъ: «*affin de faire grand chère, pas ne travailler, point ne me soucier, et bien enrichir mes amis et tous gens de bien et de sçavoir*». Ну, безъ обогащенія друзей и *gens de bien* можно бы и обойтись»...

Однако, онъ чувствовалъ, что едва ли уѣдетъ въ глушь: не былъ увѣренъ, что тамъ, въ глуши, несмотря на лѣсъ, озеро и общенье съ великими, но умершими людьми, не соскучится по менѣе знатному обществу, и думалъ, что видно такъ, до конца, до тѣхъ страшныхъ дней, недѣль или мѣсяцевъ, — объ этомъ думать нельзя! — будетъ жить точно такъ, какъ живетъ уже лѣтъ двадцать. И ему снова показалось, что къ концу идетъ вся цивилизація. Будетъ, вѣроятно, новая, но дрянная, еще неизмѣримо болѣе скверная, чѣмъ нынѣшняя. Если же этой новой цивилизаціи не будетъ, то развѣ лишь потому, что наука обо всемъ позаботится и дастъ дикарямъ возможность уничтожить рѣшительно все, въ томъ числѣ и самихъ себя, ибо разрушительная сила науки неизмѣримо больше ея защитительной силы. Въ эту минуту онъ съ особенною ясностью почувствовалъ, что дикари близко, всѣмъ близко, дикари внѣшніе и внутренніе, что онъ окру-

женъ дикарями и что по улицамъ этого лучшаго, самаго цивилизованнаго въ мірѣ города сейчасъ, съ наступленіемъ ночи, уже бродятъ всякіе темные, таинственные, страшные люди и замышляютъ ужасныя преступленія. Расплачиваясь, онъ подумалъ, что у шоффера звѣрское лицо, и у подбѣжавшаго, по особенному, для униженія, одѣтаго человѣка тоже, и такое же у метръ-д'отеля, почтительно проводившаго его въ отдѣльный кабинетъ, знакомый ему лѣтъ сорокъ. Почти съ ужасомъ здороваясь со страннымъ человѣкомъ въ рыжемъ пиджакѣ, съ другими гостями, онъ, со сладко-сконфуженной улыбкой, рассыпаясь въ извиненія и мягко всѣхъ упрекалъ за то, что не сѣли за столъ безъ него. — «Что вы, cher Maître, мы всѣ только что сѣхались, вы нисколько не опоздали», — любезно сказалъ Кангаровъ, знакомя приглашенныхъ со знаменитымъ гостемъ, который зналъ только финансиста и графскую чету. — «Какъ не опоздалъ! Я очень прошу извинить меня, господа»...—«Akademische Viertelstunde», — вставилъ докторъ Зигфридъ Майеръ и самъ перевелъ свои слова на ужасный французскій языкъ. «Вотъ у дѣвочки лицо не звѣрское, а прелестное, и это самое лучшее въ мірѣ», — подумалъ Вермандуа, съ отвращеніемъ прислушиваясь къ акценту Майера (онъ сознавалъ, что это нехорошо, но терпѣть не могъ нѣмцевъ: и лѣвыхъ, и правыхъ, и всякихъ другихъ). — «Къ столу, дорогіе друзья, къ столу! Я рекомендую вамъ хересь», — весело сказалъ Кангаровъ-Московскій.

М. Алдановъ.

(Продолженіе слѣдуетъ).

Д о р о г а

Повѣсть.

Наша дружная и напористая халтура «Голубой Козодой» рухнула и расползлась послѣ Нового Года; виновата во всемъ была примадонна Настенька Быстрицкая: совсѣмъ не во время, въ самую яръ комедіантскаго сезона, ее вдругъ потянуло къ устойчивой жизни, и она безъ раздумья, съ мудрой поспѣшностью взяла да и вышла замужъ за русскаго простягу инженера изъ Братиславы, гдѣ сытно и бойко гастролировали мы двѣ недѣли. Кирюша Матюшенко, веселенькій и сумасшедшій, сказалъ: «Труба, крушеніе, гибель!» И точно: работать безъ Настеньки труппа не могла — выпадали лучшіе номера: пантомима «Измученная Россія» (опрятно драная, горестная Настенька на пьедесталѣ, у ногъ ея оскаленные курносы Коко и Сашка въ богатыркахъ — большевики); другая пантомима: «Стенька Разинъ» (Коко, по уши въ смоляной бородѣ, бросаетъ Настеньку въ картонныя волны) — и цыганскіе романсы, которые я подрокатывалъ ей на гитарѣ; изъ ударныхъ вещей оставался только одинъ мой «Вечерній Звонъ». Но этого было мало, — предпріятіе гибло; и понапрасну сутулый, мурластый, съ трагическими въ разлетѣ бровями Кирюша Матюшенко вѣще пугалъ Настеньку ничтожествомъ жизни безъ искусства съ ничтожествомъ инженеромъ, потомъ, намекая на что-то, — губы вобранны, глаза отдаленные, — говорилъ: «Вспомни, вспомни, Настенька»,—Настенька, бѣся всѣхъ насъ изнурительнымъ бабьимъ своимъ упорствомъ, отвѣтствовала: «Нѣтъ, нѣтъ...» — и притопывала глухой прелестной ногой въ

лакированномъ копытцѣ. У насъ сводило челюсти; Настенька вихлялась; Кирюша ворковалъ. Наконецъ, умаявшись, онъ уронилъ губы и сказалъ съ грустью почти истинной: «Стерва!», и Настенька тотчасъ же упруго вернула ему: «Отъ стервы и слышу», — и, вскинувъ голову, вышла вонъ. «Вер-р-рнешься!» — съ многократнымъ, все разверзающимся «р» взвылъ ей вслѣдъ Кирюша, ухнулъ, и, малиновѣя, распolzаясь актреей харей, сценически, всхлипывая, соплясь, зарыдалъ; и покуда одинъ Кирюша, сгорбленный, руки по кисть въ шевелюрѣ, рыдалъ, — другой, незримый, но такой же подлинный, какъ и первый, возникнувъ поодаль, прищурился на рыдающаго двойника и подумалъ: «Ничего подано». «Вернешься», повторилъ первый Кирюша ужъ полегче и всего съ однимъ «р»: онъ зналъ толкъ въ нарастаніяхъ и опаданіяхъ эмоцій.

Но Настенька такъ и не вернулась — уѣхала со своимъ пожилымъ, счастливымъ идиотомъ куда-то на зимній курортъ; безъ нея мы дали всего три представленія: передъ четвертымъ насъ описали за долги, — «Голубой Козодой» погибъ. На собраніи труппы порѣшили такъ: до подысканія новой примадонны расплыться. Потомъ были, конечно, недоразумѣнія: Коко остался долженъ Вовкѣ; тому же Вовкѣ вгорячахъ попробовалъ не заплатить и Кирюша, и Вовка Кирюшу порядкомъ помялъ въ уголку, даже два раза ударилъ по щекѣ. Кирюша плюнулъ ему въ лицо, и, придерживая рукой больную печень, ловко убѣжалъ въ отельную уборную и тамъ заперся; Вовка забушевалъ у дверей, бѣшено вращая ручку. Черезъ полчаса, однако, они сговорились на половинѣ суммы, — Кирюша вышелъ изъ уборной съ каменнымъ лицомъ, держа въ кулакѣ деньги; Вовка пряталъ за спину заготовленную расписку. Вымѣнявъ деньги на расписку, Кирюша сунулъ руки въ карманы и сказалъ сильнымъ голосомъ: «Если бы у меня былъ револьверъ, я бы васъ за-

стрѣлилъ, какъ бѣшеную собаку. Вы г...о». Вовка, соня, ушелъ. Больше никакихъ недоразумѣній не было.

Передъ разставаніемъ плясуны, балерина Липочка Радецкая, Кирюша и я — вся труппа, ужинали въ русскомъ ресторанѣ; и хотя денегъ у всѣхъ было въ обрѣзъ, и у каждаго нѣтъ, нѣтъ, да и взбухало сердце бездомной тревогой, всѣ мы въ тайной, стыдной и несбыточной надежнѣ, что кто-нибудь вдругъ не выдержитъ, молодецки эхъ-раскатится, двинетъ кулакомъ по столу, гаркнетъ: «Пей, друзья, я плачу, эхъ!» — пили и ѣли очень много, шумно и взапуски бодрились. Однако, никто молодецки не раскатился — заплатили каждый за свое. А по дорогѣ къ вокзалу — было черно, студено и нѣчто трагическое на пьяный взоръ было въ чистыхъ, вывѣтренныхъ и по ночному просторныхъ брагиславскихъ улицахъ — мы похмѣльно потучиѣли и ужъ втайнѣ ненавидѣли другъ друга; совсѣмъ была скомкана сцена на перронѣ — цѣловались невнимательно, спѣша, путаясь ледяными носами. Очень долго, глуша прощальную, кое-какъ сообща устроенную торжественность, не отходяль поѣздъ—бухаль гдѣ-то впереди возлѣ водокачки розовымъ паромъ, все не трогался, и я и Кирюша шурились, зябли на сквознякахъ въ отверстомъ окнѣ; внизу, поднявъ головы, скалились изъ поднятыхъ кошачьихъ воротниковъ плясуны и носатенькая Липочка. Потомъ, такъ и не дотерпѣвъ, до звонка, они ушли, оборачиваясь, все еще скалясь. Липочка совсѣмъ сомлѣла; верзила плясуны почти волокли ее ледащую, тонконогую, со слезной лисицей черезъ плечо, — они втроемъ оставались еще въ Брагиславѣ. Потомъ протявкали колоколь.

Погодя, вагонъ грубо рвануло впередъ, потомъ назадъ, потомъ опять впередъ; зачохались, какъ бокалы, буфера; тронуло, понесло, отнесло въ сторону электрической улей вокзала; что-то стукнуло, раза два ослѣпительно пальнуло въ лицо фонарями въ жестяныхъ гробиками шляпахъ, вагонъ ровно застучалъ, замотался, и ужъ ни-

чего больше не несло, не мелькало въ траурныхъ, глянцевитыхъ нѣдрахъ окна — потряхивался тамъ, куриль, бѣлѣлъ скудами безглазый грустный человекъ въ глупой, до слезъ глупой артистической шляпѣ — я; все, словомъ, было такъ, совершенно такъ, какъ и въ прошломъ году, когда съ тѣмъ же Кирюшей мы уѣзжали изъ Ужгорода — тамъ насъ подвелъ жуликъ антрепренеръ — и въ позапрошломъ году, еще въ Югославіи, гдѣ насъ никто не подвелъ, гдѣ мы просто переругались, перегрызлись между собой не то изъ-за паевъ, не то изъ-за политики, не то изъ-за Настеньки. Впрочемъ, Настеньки тогда не было, — была Мирра. Потомъ ее случайно спяна утопили какіе-то офицеры. На рѣчной прогулкѣ. Объ этомъ потомъ писали въ газетахъ.

...И вотъ, какъ и тогда, послѣ антрепренера и Мирры и еще всякихъ очень обычныхъ неожиданностей, мгновенно взрывающихся наше пухлое актерское благополучіе, мы съ Кирюшей всегда куда-то ѣхали, всегда въ третьемъ классѣ, всегда почему-то ночью, почему-то всегда вмѣстѣ съ отпускными солдатами, мордастыми, подкованными, горластыми, ко всему безчувственными, и меня всегда въ эти безсонно-пыточные ночи, почти тѣлесно ощутило, отъ плеча къ бедру черезъ сердце огромными деревянными ножницами шемила тоска. Поѣздъ потряхивался, гукать, билъ снизу въ подошвы могучими округлыми содроганіями; на станціяхъ, ужасныхъ своей дорожной неприютностью, толпились, лѣзли въ вагонъ новые ненавистные люди, по щекамъ и икрамъ хлестало мокрыми сквозняками, клацали двери — все это толпилось, дуло, клацало до тѣхъ поръ, пока недремный желѣзнодорожный человекъ, совершенно, какъ ни напрягайся, невообразимый безъ форменной фуражки, воздвѣвъ кверху свой магическій фонарь, не заливался сигнальнымъ посвистомъ. И тогда поѣздъ опять трогался, — въ окно заглядывали вокзальные фонари и отдергивались, успокаиваясь. Новички, уезжая на скамейкахъ, глазами похватывали,

пересчитывали свои вещи. Мягкое, тошноватое упокое-
 ние дурманило даже солдатъ. И опять гукалъ, потряхивалъ,
 летѣлъ поѣздъ; и все чаще, все невнятнѣе были оста-
 новки, все короче жаркія, шерстяныя безпамятства подъ
 полами висѣльно-вздернутаго на крюкъ подъ сѣткой
 пальто, все жестче и свѣтлѣе сквозняки, и къ утру я ужъ
 какъ-то совсѣмъ извнѣ, со скукой и кислой жалостью жа-
 лѣлъ себя, зыбкого, взъерошеннаго, вспухшаго въ ще-
 кахъ, съ мѣднымъ ртомъ. Кирюша, — тутъ, утромъ, осо-
 бенно омерзительно грузнѣло одутловатое его сороколѣ-
 тіе, — ѣлъ, рвалъ изъ зубовъ яблоко, и яблоко, все въ
 укусахъ, истекало зельтерской накипью, и Кирюша, здо-
 ровѣя, свѣжѣя, похрипывалъ: «У меня созрѣли кое-какія
 комбинаціи...» Я помалкивалъ, — ровной, свѣтло-желтой
 болью давило подъ вѣкомъ. Рѣшительно ничего не хо-
 тѣлось. Пожалуй, вотъ только яблочка бы.

Глазъ и високъ истязали цѣлый день, цѣлый день —
 безснѣжный, съ добротной пражской тусклостью, — Ки-
 рюша и я ходили по русскимъ учрежденіямъ и гдѣ напо-
 ристо, гдѣ съ поклонами, вскидывая на привычныя щеки
 разныя улыбки (собачья — въ обѣ; свѣтски-военная, съ
 ледкомъ — въ одну; благодарственная, съ излучинами —
 въ обѣ), умоляли, просили, требовали бесплатныхъ обѣ-
 довъ, мѣсто въ общежитіи и немного денегъ; были всю-
 ду: въ «Земгорѣ», у галлиполійцевъ, въ украинской «Гро-
 мадѣ» — и всюду, съ многолѣтней босомыжной сноров-
 кой къ кланченію, что-нибудь да выпрашивали. У галли-
 полійцевъ Кирюша офицерски ругалъ жидовъ и демо-
 кратовъ; я бодро иружинился на юнкерскихъ ногахъ, —
 и секретарь союза, полковникъ, отвалилъ намъ, эдакимъ
 молодчагамъ, цѣмыхъ десять обѣдовъ. Мы воински мот-
 нули головами — откланялись; а черезъ полчаса, смѣ-
 нивъ личины, эдакими кондовыми буками-земцами, вне-
 ревалку, ужъ похаживали отъ стола къ столу въ «Зем-
 горѣ». — просили мѣста въ общежитіи. И мѣста получи-

ли. Потомъ были въ украинской «Громадѣ», — тамъ Кириуша отдувался Тарасомъ Бульбой, я угрюмился подь Остапа. Хохлы дали ужины.

Такъ было въ прошломъ году тутъ же, въ Прагѣ, въ позапрошломъ — въ Бѣлградѣ; такъ было когда-то въ Константинополѣ, потомъ въ Софіи, и вся какъ будто бы и шустрая и пестрая жизнь моя была-то на самомъ дѣлѣ весьма убога и даже омерзительна суетнымъ своимъ однообразіемъ, потому что всѣ «Голубые Козодои», буде-то «Веселый Пьеро» или «Бродячій Комедіантъ», въ любой странѣ во всякое время совершенно одинаково бодро-впопыхахъ рождались и съ перваго же дня своего были уже предопредѣлены къ гибели — тоже всегда одинаковой: отъ Настенекъ, отъ антрепренеровъ, отъ междоусобій. Гибель бывала позорная, но легкая: иногда на прощаніе нестрашно, по-актерски хлестали кого-нибудь по мордѣ, драли другъ друга за волосы; иногда всѣ вмѣстѣ снимались, и артистически, вихря заглавныя буквы, расписывались на закулисной сторонѣ фотографіи. Потомъ разѣзжались кто куда. Потомъ были безангажементные привалы, во всемъ неясность; иные спивались. Потомъ какой-нибудь предприимчивый прожекторъ вздувалъ новый «Голубой Козодой» — и все начиналось сызнова. До новаго крушенья. Такъ волнообразно шла жизнь.

...И вотъ, ужъ который годъ и въ который разъ, я опять ѣлъ неизвѣстно чьи обѣды и ужины, опять лежалъ на ничьей койкѣ, и неизбѣжный сосѣдъ, матерными запятыми подхлестывая бойкое свое повѣствованіе, рассказывалъ мнѣ о бояхъ подъ Каховкой; — и рота шарахала огненными вѣрообразными залпами, на флангахъ, вытянувшей шеи, топырились, оглушительно содрогались на стальныхъ растопыркахъ пулеметы, и кувыркомъ, куда попало, валились на дальнихъ пригоркахъ, туды ихъ мать, матросы, краса и гордость, туды ихъ мать, революціи. Каховець, сидя верхомъ на койкѣ, дѣлалъ языкомъ пулеметное: «та-та-та», хватался за ручки пулемета, потомъ ладонью начисто

сметалъ матросскіе ряды; изъ окопчика выскакивалъ капитанъ Лукошко и съ винтовкой наперевѣсь бѣжалъ, шурхая по травѣ ногами, въ атаку. Я хмыкалъ, дивился молодецкимъ подвигамъ. И все это: и рота, и залпы, и капитанъ Лукошко, все это было какъ недопроявленная фотография съ досадной туманной неразберихой недовоплощенныхъ подробностей, и только порою, на мгновенье взбухалъ, приближался, до невѣроятія, до запаха пота, до сверканія вымученныхъ въ пыльныхъ глазницахъ глазницъ, образъ легендарнаго Лукошки: это когда я, тужась, закрывалъ глаза и изъ уваженія къ рассказчику бралъ изъ его рассказа чего-нибудь отвѣдать. При этомъ все попадался Лукошко. Потомъ, слава Богу, съ глазъ долой, — его убило.

И на душѣ у меня было вязко, — эдакое накатывало и прежде, съ дороги, на новомъ мѣстѣ и ненадолго: послѣ бани и чая съ лимономъ обычно сплывала, стаивала съ виска желтая невральгическая боль, уплотнялась тѣлесная зыбкость, и я опять туго ощущалъ себя въ себѣ художественно: худощавый блондинъ съ лицомъ безъ послѣдней опредѣленности, но съ вѣчной готовностью къ ней; опять, какъ и мой каховскій сосѣдъ, еще гудя отъ контузии, отплевываясь, похивая, вылѣзалъ изъ канавы, куда его пихнуло отдышкой далекаго, не гибельнаго взрыва, опять остервенясь, опять въ бойцовомъ задорѣ, плакатно («Подписывайтесь на военный заемъ!»), съ винтовкою на перевѣсь перъ на врага — хваталъ гдѣ можно безсрочныя ссуды, талоны на обѣдъ, искалъ ангажемента. Впрочемъ, такая плакатная готовность къ бою у меня опадала съ каждымъ годомъ: ужъ прошлой зимой въ этомъ самомъ обществѣ я едва не повѣсилъ — такъ вдругъ ужасно клиномъ сошлось все. Тогда меня спасъ Кирюша: онъ только что состряпалъ «Голубой Козодой»; наспѣхъ, ободрясь, я уѣхалъ съ трупной. Прошелъ годъ, и вотъ опять припрятанныя на черный день мысли заворошились во мнѣ, — раскинувшись на койкѣ, вполуха слушая каховца, испыты-

вая ужась и жалость къ себѣ, я думалъ самоубійственное. Кирюша бѣгалъ, вралъ, хлопоталъ одинъ; проку изъ хлопотъ было немного. Кирюша темнѣлъ; щеки его обвисли. Старичокъ завѣдующій грозился выселеніемъ.

...«Заславскій въ Оломоуцѣ тоже дымится», — соваль Кирюша въ синюю зазубренную прорѣху конверта заславскую цыдульку: «дѣло твое, Иванъ-царевичъ, дрянъ». И дѣла воистину были дрянныя: Заславскій дымился въ Оломоуцѣ, мы гибли тутъ. Послѣ первыхъ съ налету удачь начались провалы: безглазымъ бюстомъ каменѣль галлиполійскій полковникъ, разводили съ сожалительной плавностью руками земгорцы; выручалъ еще хохликъ изъ украинской «Громады»: онъ обожалъ актеровъ. Но громадянскія дѣла тоже были неважныя; хохликъ и самъ, внутренне весь переминаясь, готовился тикать. И вскорѣ «Громада» закрылась — хохликъ пропалъ. Кирюша написалъ Рыжкову въ Ужгородъ; Рыжковъ отвѣтилъ открыткой: «Живу на содержаніи у старухи. Адье». Кирюша болотно съ прозеленью потемнѣлъ. Выхода не было. «Вотъ она, жизнь актера!» — хорошо, съ сокомъ, съ полуулыбкой подъ правую щеку подалъ Кирюша, но потомъ сорвался, — прегнусно обнажился и полѣзь ругаться. Я молчалъ.

И чудно: жилось все голоднѣе, все невозможнѣе — исподволь, подготавливая себя къ послѣдней передъ вышибкой жестокости, ярился старичокъ завѣдующій; съ бабыми всхлипочками такъ и лѣзъ на ссору, нестрашную актерскую ссору съ выворачиваніемъ самаго стыднаго, самаго пахучаго, и съ поцѣлуями, и благостнымъ носовымъ мычаніемъ черезъ чась при примиреніи Кирюша; а я, ужъ и самъ страшась мертвеннаго своего равнодушія, душевной отдаленности, слушая брехни каховца, покуривалъ, разглядывалъ ногти, иногда обѣдалъ, иногда не обѣдалъ, — и воротъ кверху, ледяные кулаки въ карманахъ, бродилъ по городу; и плыли искоса черезъ плечо восковые, симпатично осклабленные бездѣльники въ тугихъ свитерахъ, съ лыжами и палками въ жантильныхъ пальчикахъ, множе-

ство вкусныхъ ружей въ стойкахъ, согбенный, въ звѣздной шубѣ, снѣжнобородый добрякъ Дѣдь-Морозъ, карминовые ноздри, бронзовые и лироподобные бюстики въ модныхъ дамскихъ шляпахъ, и прочее такое, никакъ мнѣ не нужное. Вечеромъ надъ городомъ пылало вавилонское зарево; въ сиреновомъ чаду, перспективно, вдаль мельчая, висѣли шафрановые пушистики огней. Пшикая надъ собой голубыми кляксами, потукивали, позванивали трамваи. На вѣтренномъ Вышеградскомъ мосту безбородые, не русскаго обличія святые, прижавъ къ себѣ каменные фоліанты, извѣденными до желѣзныхъ костей перстами благословляли черную въ электрическихъ ужахъ рѣку, городъ, весь этотъ ночной пылающій міръ, и я, дрожа, горбясь, наслаждаясь чернымъ музыкальнымъ ужасомъ, исподтишка мечталъ о добромъ сыльномъ тифѣ, который почти навѣрное можно схватить, постоявъ эдакъ у перилъ въ разстегнутомъ, плещущемся за спиной полами пальто, — и, постоявъ, шель обратно въ общежитіе ледяной, легкой, очень несчастный. Желанный тифъ меня, однако, не забиралъ; не получалось даже насморка. За растяпистый же трагическій видъ меня въ общежитіи прозвали малохольнымъ.

Я и самъ толкомъ не могъ разобраться, что творилось со мной; но творилось скверное: разливалась по мнѣ, во мнѣ нѣкая порча, нѣкая ко всему невнимательность, и, подвернись теперь даже самый солидный и неожиданный ангажементъ, съ фиксомъ и процентами, — и онъ не взбодрилъ, не ошпарилъ бы меня дѣятельнымъ жаромъ. Признаться, вначалѣ я почти гордился столь непонятнымъ своимъ недугомъ: вѣдь ни Кирюшу, ни Настеньку, ни Рыжкова никогда не томило такое — получалось, что не по носу; и Кирюша, неразборчиво завистливый человекъ, изумительнымъ низкимъ чутьемъ своимъ вскорѣ учуялъ это и затревожился ужасно. Началась игра: Кирюша якобы дружески, соболѣзнуя, попытался вскрыть, распотро-

шить меня, поглядѣть, въ чемъ оно дѣло; я поглубже во-
брался, косясь: Кирюшины повадки были мнѣ доподлин-
но извѣстны. И Кирюша остался въ дуракахъ, ничего не
вывѣдавъ; разговаривая со мной, онъ сталъ раздуваться
и прищемлять большіе пальцы въ подмышкахъ — равно-
душничалъ. Я же безъ промаха горбился, очень удачно,
съ душевной хрипотцой, покашливалъ, и тогда Кирюша,
позорно томясь любопытствомъ и слѣпой стяжательной
похотью, заюлилъ, залезбилъ, заползалъ, — и опять
безъ всякаго толку: измученный своими таинственными
терзаніями до ангелоподобія, скромненько, торжествуя, я
молчалъ. Кирюша полѣзъ ругаться. Но и ругни не вышло:
явственно ощущая ледяную прозрачность своихъ глазъ,
перебирая легкими ногами, я вышелъ вонъ.

На томъ дѣло и кончилось: Кирюша затаился и раз-
думывалъ; но мнѣ ужъ было не до Кирюши: форся и
тщеславясь, я и впрямь докривлялся до ужаснаго: порча
въѣлась глубоко, и теперь, какъ я ни ловчился, какъ ни
прикидывался лихачемъ забуддыгой, ее замѣтили всѣ: и
казакъ, что возлѣ дверей, и каховець, и студентъ изъ
Болгаріи; порчи же въ общежитіяхъ не прощаютъ — тра-
вятъ: за растерянность, за забывчивость, за ночное бор-
мотаніе, за нутрянную чуждость всегда, всѣмъ, во всемъ.
Кто-то пустилъ слушокъ, что я служилъ въ таганрогской
Че-ка; Кирюша съ излишней страстностью ка-те-го-риче-
ски утверждалъ, что ничего подобнаго. На меня стади
коситься, травить, задирать; недомолвки, смѣшочки, сло-
весныя оплеушины, которыми мимоходомъ подхлестыва-
ли меня, густѣли, учащались, и вотъ ужъ по нѣкому не-
писанному жестокому правилу всѣхъ общежитій — отъ
гладіаторскихъ до гимназическихъ — мнѣ надобно было
бы кое-что одернуть, кое-кому просто дать по уху — воз-
становить себя — и я, возвращаясь съ прогулки домой,
загодя сжималъ кулаки, устраивалъ въ себѣ бизоній ревъ,
— и ничего не получалось: предбранный ревъ этотъ рев-
ма ревѣлъ недолго и безъ толку: въ послѣднее и самое

нужное мгновение онъ переливался въ голубиное урлыканіе: только что на мосту, порѣшивъ каховца ударить, въ общежитіи, гадостно улыбаясь, я потчевалъ его папирской — задабривалъ. Каховецъ папиросу бралъ и, выкуривъ ее, съ лихвою отплачивалъ за угощеніе издѣвкой. Дни шли. Съ Кирюшей мы почти не разговаривали; когда меня разыгрывали, онъ хохоталъ горловымъ голосомъ — мстилъ.

По вечерамъ въ общежитіи рассказывали разныя исторіи — военныя и похабныя: военныя рассказывали каховецъ и казакъ; похабныя — Кирюша и студентъ изъ Болгаріи; остальные, дымя папирсками, подхохатывали. Такъ однажды, раздуваясь, хамѣя взоромъ для нѣкогого (полнаго онъ ужъ давно, безъ всякаго ущемленія, пересталъ добиваться) довѣря къ своимъ порочно и подозрительно пышнымъ въ неглавномъ росказнямъ, Кирюша цѣлый вечеръ плелъ о константинопольскихъ дняхъ, когда впервые былъ возженъ «Бродячій Комедіантъ»: когда въ изьянѣ между сложенными вороновыми крылами фрака не выпирало еще такъ плотски тяжко Кирюшино брюхо, и когда я, щенячьи рѣзвый и по щенячьему любопытный, находилъ все забавнымъ и ни чуть не отвратнымъ: и Кирюшины остроты, которыя онъ, непристойно фарфоровый отъ помады, лудры и электричества, погуливая между лампочками по эстрадѣ, пригоршнями, съ хладной удалюю безстыжаго съ измальства скомороха, расшвыривалъ по кабаретному зальцу, и мой «Вечерній Звонъ» (я, благостно пригорюнившись, съ благостной бородежкой въ пальцахъ, кошачьимъ мяукомъ истекаю подъ бутафорскимъ колоколомъ: «какъ много ду-умъ наводитъ онъ...»), и вообще все наше житьишко, нечистоплотное, легкое, порочное въ корнѣ своемъ. Кирюша плелъ еще что-то о бѣшенныхъ успѣхахъ, о шикарныхъ американкахъ, которыя будто бы возили его на яхтахъ, изысканно склоняя къ блуду — вралъ, какъ всегда. Но не въ Кирюшиныхъ брехняхъ было дѣло, — главное было

въ томъ, что отъ Константинополя въ суетѣ, въ разбѣздахъ накопилось десять лѣтъ, десять поражающихъ своей округлой увѣсистойю лѣтъ, и у меня тронуло бѣлизной виски, впали щеки, по краямъ рта пролегли невеселыя скобочки, отъ ресторанныхъ обѣдовъ вконецъ изматался желудокъ, и полупочтенная «труля-ля» профессія ужъ давно перестала быть легкимъ, отъ молодости, озорствомъ: попахивало отъ нея босячествомъ самымъ настоящимъ. И уйти, отпихнуться отъ этой жизни было трудно: просто некуда. Это было главное.

...Дочиста, до дна изолгавшись, Кирюша прибрзнулаъ разсказецъ анекдотомъ и, дуясь, какъ въ геликонъ, началъ сдирать съ себя штиблеты; раздираясь зѣвками, разошлись слушатели; угасили большую лампу — горѣла, тлѣла больничной печалью только красная надъ дверью; полыхала истощенная печурка: на широкомъ голенищѣ угольнаго ведра подергивались трепетныя зарницы; погода скоренько, торопясь, застучала будильникъ — насталъ важный и печальный часъ ночного упокоенія, съ сердечными побухиваніями загудѣла тишина. Иногда въ ухахъ накаливались и вскорѣ тусклѣли, гасли звенящія, золотистыя комариныя тетивы; и въ эти предобморочныя передъ сномъ мгновенія, порою что-то созрѣвало, согласно и мудро слагалось во мнѣ, и казалось: вотъ, вотъ въ послѣдней полнотѣ и согласности окатить меня прохладное, пѣвучее озареніе, и я, безвольный и счастливый, раскинувъ руки, растворюсь въ немъ. Но пѣвучее строеніе не завершалось, и нельзя было передохнуть, переглотнуть, шевельнуться, не погубивъ его: все туже и рѣже бухали въ ухахъ черныя мгновенія, и ужъ поковыривало внутри предчувствіе грядущей неудачи — и точно: все гибло послѣ чудеснаго, холодящаго зубы, во весь ротъ, захлебистаго вздоха.

Потомъ, совсѣмъ неожиданно, мы разстались съ Кирюшей; ему повезло, — устроился въ студенческую труп-

цу, которая съ «Ревизоромъ» и «Женитьбой» дѣлала свое не очень-то хорошее дѣло въ провинціи. Кирюшу взяли какъ городничаго и какъ Яичницу, и онъ, мгновенно похамѣвъ и поодутловѣвъ, въ сладчайшіе дребезги разругался со старичкомъ завѣдующимъ, невнимательно ужъ и впрямь отдаленный отъ меня и удачей, и новой своей ролью — онъ и съ завѣдующимъ бранился, и со мной разговаривалъ, какъ городничій: раздуваясь, придерживая ужъ не свое, но городничье брюхо — простился со мной и уѣхалъ. И даже этотъ внезапный Кирюшинъ отъѣздъ (Кирюша хотъ и хамъ, хотъ и брехъ, со своей житейской хваткой былъ миѣ все-таки нуженъ) никакъ не разбередилъ меня: мелькомъ, больше по профессиональной скверности, чѣмъ сердцемъ, позавидовавъ чужому ангажементу, я проводилъ пріятеля на вокзалъ и, понапрягшись, кое-какъ, лишь бы отдѣлаться, наладилъ даже нѣкую душевную прощальную пѣвучесть, и пѣвучесть эта благополучно не оскудѣвала до самаго конца: мы потряхивали одинъ другого за плечи, супились, отворачивались, чтобы поцѣломудреннѣе осушить горѣстно улыбатая съ увлажненіемъ очи, а потомъ мелко обметали другъ друга крестиками («Христось съ тобой, Христось съ тобой», — бурчалъ, пухъ, соплился Кирюша), трижды враскачку облобызались, и Кирюша, вконецъ размаянный, замоталъ вислощекой рожей, полѣзъ въ вагонъ — обрядъ прощанія удался вполнѣ. Но едва поѣздъ выволокло изъ-подъ стеклянныхъ никотиноваго цвѣта небесъ вокзала; едва въ ужасныхъ попыхахъ выскользнулъ послѣдній, самый шустрый вагонъ письмоноша и слѣва открылся убогій просторъ товарныхъ пакгаузовъ и угольныхъ холмовъ — я, еще полуглухой и невѣсомый отъ недавняго чугунаго гуда, стука, вихря, мельканія смазанныхъ движеніемъ вагонныхъ оконъ, которыя такъ и вымахивало изъ глазъ за голубымъ семафоромъ (тамъ же погибъ и Кирюша: выражая рожей бодрую скорбь, онъ кивался до послѣдняго), я, плавно и быстро, въ ладъ гаснущему перестуку

колесъ, со мстительной и дурной послѣ такого пышнаго прощанья злостью, топилъ и утопилъ въ себѣ всякую память о Кирюшѣ: ужь очень онъ мнѣ опротивѣлъ. Потомъ проплылъ, содрогнулся, утвердился, сталъ перронъ: отдуваясь, я вышелъ съ вокзала. Теперь я былъ одинъ, вполне безпомощенъ, несчастенъ и легкокъ гибельной, чуть непристойной легкостью неприверженнаго къ жизни неудачника, который втайнѣ только и ждалъ послѣдней капли, — послѣдняго ударчика, чтобы, ужь безъ потугъ, замереть, закончить въ послѣднемъ поражени, но въ то же время — о, изворотливость людская, — еще потаеннѣе и сокровеннѣе надѣясь на нѣкую иную, можетъ быть, небесную къ себѣ, раздавленному, распластанному, помощь. Другой, а особливо Кирюшиной, помощи мнѣ было теперь не нужно: будь Кирюша опять со мною, онъ только угнеталъ бы меня своей прожектерской хлопотливостью, хожденіемъ по «Земгорамъ», анекдотами, смѣшной личинѣ, шуточками, воспоминаніями, всѣмъ тѣмъ, отъ чего наемдни я содрогался, какъ содрогаюсь отъ хлещущихъ всплесковъ ножей, которые мастера одинъ о другой точить хирурги изъ колбасныхъ. Все это было мнѣ ужь издавна омерзительно. И угнетало еще одно: отъ многолѣтняго ли совмѣстнаго житія, отъ природной ли лицедѣйской вороватости, и Кирюша и я многое прижили, усвоили одинъ отъ другого: и улыбки, и маслянистыя междометія, и еще разныя другія штучки для украшенія у насъ были общія, взаимоуворованныя; и что всего хуже — мелочной и ужь не такой страшной покражей улыбокъ и междометій дѣло не кончалось: Кирюша, старый пройдоха и безстыдникъ, ничтоже сумняшеся, съ благородно вздутымъ лицомъ, могъ украсть и самое сокровенное, и не потому, что оно ему было очень нужно, а такъ: про запасъ, для издѣвки и, больше всего, изъ ѣдкой босяцкой ненависти къ имущему. — Вѣдь укралъ же онъ когда-то, укралъ и не поморщился, мою любовь къ дѣтямъ, и присвоилъ ее столь ловко и похоже, что у меня ужь ни-

когда больше такъ и не хватило безсовѣстности опять суюкаться и кривляться на полусогнутыхъ ногахъ передъ случайными настороженно насупленными ребятишками въ дѣтскихъ скверахъ, куда порою хаживалъ я для душевнаго увлажнения: и кривлялся, и суюкалъ подлець Кирюша не хуже меня. Дѣтей мнѣ пришлось оставить въ покоѣ; вскорѣ надоѣли они и Кирюшѣ. Но своего онъ добился: укралъ, попользовался — и опохабилъ. То же самое Кирюша могъ продѣлать и теперь; а напаялъ онъ даже на день, на два мое отчаяніе, мою отчужденность, все это мгновенно потеряло бы свою чистоплотность и значительность. Осталось бы одно голое несчастье.

...Домой я шель медленно, и нарочито, чтобы пропустить времени за спину, фуксомъ (и побольше, и понезамѣтнѣе), подолгу ставалъ передъ витринами, долго бокомъ къ вѣтру дрожалъ передъ рекламой излюбленнаго русскими за дешевизну кинематографа «Имперіаль» (тамъ показывалось что-то изъ римской жизни: патриіи, мечи, порталы, сандалии, колесницы, гладіаторы и христіанская мученица, выражая лицомъ предѣльную кротость, стояла передъ пожилымъ хмурымъ львомъ съ наморщенной переносицей) — и какъ ни норовилъ придти въ баракы попозже, къ тихому и благословенному часу долѣванія заброшенной печурки, когда ужъ никто больше не рассказывалъ анекдотовъ и военныхъ брехней, не говорилъ загадочно и горячо о погубителяхъ Россіи, жидомасонахъ, — спали самые говорливые, — пришелъ все-таки рано, и сразу же со смертной вялостью и скучнымъ страхомъ, обнаженнымъ чутьемъ затравленнаго, по тому, какъ волооко изъ-подъ бровей повелъ по мнѣ безработный казакъ; по тому, какъ ужъ слишкомъ живописно вскидывали надъ головами карты и потомъ всхлестывали ихъ въ фибровое брюхо чемодана, который смирно лежалъ между ними на койкѣ, каховець и болгарскій студентъ; по тому, какъ излишне залихватски, будто бы вполне хмѣльные азартомъ, но оберегая каждую букву,

переругивались они; по той особенной, общей, ужь слишком райской безмятежности, которая была разлита всюду — сразу же учуяль, что мнѣ сострапали какую-то пакость. И такъ и было: на кровати съ перекрученнымъ, поджатымъ подъ себя хоботкомъ меня дожидался рыжий кулекъ. «Крыса!» махомъ, точно ударило, застучало во мнѣ. Конечно, по благоразумному полагалось бы поступить такъ: усмѣхнуться и съ лицомъ британски тупоокимъ, взять двумя гадливыми пальцами кулекъ и выбросить, не разрывая; но поступить такъ по британски съ тупоокостью и пальцами у меня не хватило силы: испытывая омерзительную слабость, острое, неумное любопытство, жаръ грядущаго позора, я кулекъ надорвалъ — и игроки разомъ бросили карты, содрогаясь: внутри кулька, на боку, выкативъ лазоревые глаза, дразнясь пемзовой лодочкой языка, лежалъ дохлый усатый котенокъ, и черезъ бумагу леденѣла мерзкая увѣсистость его тѣльца. Сожители хохотали, какъ запорожцы; и я насилу, кое-какъ, поборовъ глухое единство враждебныхъ, давящихъ меня воль, не управляясь съ челюстью, прикрывая ее ладонью, бросился, наконецъ, съ котенкомъ вонъ, — весельчаки съ рыкомъ и стономъ валились на койки, лягали ногами. Розыгрышъ удался вполне.

И на этомъ вечеръ и закончился: когда я, продрогшій, съ дикими глазами, на лезвіѣ истерики, одинаково готовый — только тронъ — и вгрызться кому-нибудь въ глотку, и такъ же легко впасть въ кликушечье бабье изступленіе, вернулся со двора въ баракъ, сожители, всласть размазняные, устраивались на ночлегъ: студентъ принюхивался къ шерстянымъ носкамъ, соображая про стирку; казакъ, очень ладный и хитрый даже въ подштанникахъ, почитая курить въ постели непристойнымъ, наспѣхъ высасывалъ душонку окурка возлѣ печки; натягивалъ на голову вуалевый шлемъ каховець — фанатикъ англійскаго пробора; и было ясно, что нынче мучать меня больше не будутъ. И точно: никто даже не оглянулся на меня; при-

квохнулъ только каховецъ, да и то безъ намѣренія уязвить, но отъ сытости авторскаго честолюбія: шутку придумалъ онъ. И было ясно, что мучать меня больше не будутъ.

И вотъ, наконецъ, наконецъ-то, хрустнувъ выключа-
телемъ, въ глухую завернулъ свѣтъ дежурный, — заши-
пѣлъ у стола внезапно объятый тьмою писавшій проше-
ніе: въ немъ не во время разбушевалась сочинительская
похоть; затлѣлась мечтательная ночная лампочка; засту-
чалъ, не мѣшкая, будильникъ, который только что съ ме-
таллическимъ крякомъ зарядили къ утренней семичасовой
тревогѣ, — насталъ, наконецъ, мой любимый часъ важ-
ныхъ и неясныхъ размышленій о всякихъ, зачастую раз-
наго порядка и значенія вещахъ, которыя, тѣмъ не ме-
нѣе, если въ нихъ вглядѣться попристальнѣе, имѣли нѣ-
кую общую горестную касательную. Однако, было мнѣ
нынче не до высокихъ мыслей: вялый, стыдно благодар-
ный ужъ и за то, что никому въ голову не пришло за-
гнуть мнѣ салазки или такъ же безнаказанно сдѣлать что
нибудь и вовсе гадкое — плюнуть на подушку, напри-
мѣръ, — я обмиралъ, зыбился на кровати съ закинутыми
подъ голову руками, и послѣднее желаніе, мерцающее во
мнѣ туманнымъ маятникомъ — туда-сюда, мерцающее
все размашистѣе, все блѣднѣе, было: умереть, умереть,
у-м-е-р-е-т-ь...

Пробужденіе мое — всплываніе къ жизни — началось
дурнымъ предчувствіемъ, которое похватывало сердце
подобно тому, какъ похватываютъ рукою резиновую
грушу пульверизатора; и, когда грушу-сердце захва-
тило, сжало, совсѣмъ выжало, я дернулся грубо, быстро,
и едва поспѣвъ, оттолкнулся, вырвался, вынырнулъ изъ
ужаснаго темнаго забытья, и полузадушенный, съ плот-
ными ледяными клиньями въ предплечьяхъ и безъ рукъ,
задышалъ, какъ откачанный, ликующей утоленникъ: не
успѣвая пожирать обиліе изумительнаго воздуха. Ды-

шаль я, однако, и дольше, и вдохновениѣе, чѣмъ полагалось бы — лукавилъ, отводилъ время отъ самаго главнаго: отъ проклятаго, безпокойства, которое все жестче, все настойчивѣе требовало своего уясненія. Совѣмъ уйти, отбоариться отъ него было, конечно, нельзя — это я съ унылой злостью сознавалъ; но увильнуть на минуту, на двѣ было можно, — чрезвычайно озабоченный, я занялся затекшими руками, и погода онѣ упали вдоль тѣла, закишѣли мурашками, потеплѣли. Больше дѣлать было нечего; готовясь, я вздохнулъ, наморщилъ лобъ — и меня сразу же всего въ грудь, въ животъ, въ голову ударило трезвымъ ужасомъ осознаннаго позора, ненавистью, бѣшенствомъ, и потомъ перекатами: опять позоромъ, опять бѣшенствомъ, опять ненавистью. Чудовишно, до невыносимой знойности, распаяя подробности, съ нутрянымъ воплемъ упиваясь ими, я дергался подъ одѣяломъ, а потомъ перевалился на грудь, зажмурилъ глаза и по бульдожьей впился челюстями въ блѣдное, тепловатое, обметавное бритвенной сыпью на наивномъ и звѣрски аппетитномъ кадыкѣ горло каховца, и когда мои верхніе и нижніе зубы вплотную сошлись въ сухомъ сѣнномъ мѣсивѣ, и языкъ съ гадливостью ощутилъ солоноватую нечисть несвѣжей наволочки, и несложный, горячечный, на скорую руку сляпанный обманъ глупой подушечной рожей глянулъ на меня, я еще трепетиѣе, съ невыносимымъ вождельніемъ, выдернулъ у себя клокъ волосъ на вискѣ, и голову насквозь прожгло, пробрызнуло сухой искристой болью, залило глаза. Это помогло: «Гады!» ужъ легче завопилъ про себя я, втянулся подъ одѣяло до подушки, и рукавомъ рубахи началъ осушать горячія, взбухшія вѣки. По лицу круглой ледяшкой юлила манжетная пуговка — очень мѣшала, и я, подвернувъ рукавъ такъ, чтобы ледяшка не мѣшала, на мгновеніе уютненько глазами уткнулся въ теплый упокоительный локоть, удачно вздохнулъ, подобралъ ноги, весь затихъ, но тутъ, буравя мозги, заверещалъ мстительный — за вчерашнее съ кря-

комъ ковыряніе въ его спинѣ — будильникъ, и къ нему тупо подтопали, цапнули за глотку, онъ брызнулъ по пальцамъ душителя предсмертнымъ клекотомъ и затихъ. Въ одѣянное шерстянымъ рупоромъ ушельце глядѣлось скудное утро. Я думалъ тихо: умереть бы.

Разыгрывать и истязать по утрамъ въ общежитіи не полагалось за недосугомъ — всѣ спѣшили: одни по талоны въ «Земгоръ», другіе къ галлиполійцамъ, третьи въ Армію Спасенія — говорили, что тамошній генераль большой руссофилъ и будетъ принимать русскихъ, и въ первую очередь тѣхъ, кто со слухомъ или играетъ на духовыхъ инструментахъ; и вотъ поэтому — въ спѣшкѣ — меня не тронули, и я крѣпко и грустно проспалъ до десяти, грустно одѣлся, стоя выпилъ стаканъ чая въ прикуску, грустно выслушалъ старичка завѣдующаго («войдите въ мое положеніе!» — рыдающе говорилъ онъ), потомъ вышелъ наружу, раскатился по скользкой дорожкѣ, и, взлетевъ въ воздухъ очень несчастными въ драныхъ штиблетахъ ногами, шмякнулся на спину. Признакъ былъ скверный: падать на порогъ, выходя изъ дому, не слѣдуетъ: не къ добру.

А день былъ, какъ всѣ эти пражскіе, декабрьскіе дни: жесткій, мгlistый, съ шершавымъ небомъ, съ выскальзывающими изъ-подъ подошвъ каменными, маслянистаго отлива тротуарами; въ тихомъ ледяномъ пустырьѣ, что возлѣ пивовареннаго завода, густо воняло отрыжнымъ запахомъ браги; на шоссе скользили, падали тяжкія заводскія лошади, и кучера въ кожаныхъ картузахъ съ кожаными, спущенными съ картузовъ на уши забралацами, обматывали могучія лошадиныя ступни мѣшками, и добрые, сдержанно-сконфуженные битюги, упираясь на руки, кое-какъ съ мукой и цоканьемъ вскидывались съ невѣрной земли, и ужь безъ рукъ, но съ четырьмя ногами въ мѣшочныхъ башмакахъ, раскоряками, какъ новобранцы въ шпорахъ, обойдя замершую вмѣстѣ со своими чудовищными бочками повозку, опять влѣзали въ хомуты —

и влекли повозку дальше къ городу. По сторонамъ отъ дороги, вправо и влѣво, волчились горемычныя облака; исподволь угнетали душу убогіе ужасы предмѣстья; ныли телеграфные столбы, и качался, тужился противъ вѣтра, виляясь въ педаляхъ, упрямецъ велосипедистъ.

Городъ же настоящій, съ рослыми домами, вывѣсками, витринами, писуарами, начинался съ перекрестка, гдѣ честный малиновый здоровякъ полисмень въ шлемѣ дѣлалъ крахмальными по локоть руками путеводныя жесты. Послѣ перекрестка и полисмена были запахи: плотскій, копченый возлѣ колбасной, гдѣ я два раза покупалъ чайную колбасу и такъ бойко и ужасно хлесталъ ножомъ о ножъ хозяиня, и розовый запахъ на поворотѣ, — тамъ на деревянныхъ пестикахъ были выставлены на показъ пышные дамскіе скальпы и ядовито зеленѣлъ увѣличенный флаконъ одеколона. Дальше очень долго никакихъ запаховъ не было; были повороты: одинъ налѣво съ огненнымъ крылатымъ чортомъ верхомъ на резиновой шинѣ, другой — морской (пароходы, якоря, путешествующій господинъ въ великолѣпной тужуркѣ и бѣлыхъ штанахъ, улыбаясь, подьемлетъ мощный бинокль...); а послѣ третьяго, послѣдняго, глухого безъ витринъ поворота, сразу же, во всю, сытно и нечисто обдавало судомѣннымъ тепломъ изъ пропаренныхъ рѣшетокъ въ тротуарѣ: изъ подвала земгорской кухни; и все, что было до этой кухонной рѣшетки — полисмены, дома, парикмахерскія, Дѣдъ-Морозъ, путешествующій господинъ — все это хоть и было безусловно сущее, но все-таки и не совсѣмъ сущее, мимоходомъ, чужое, больше для того, чтобы поглядѣть; а ужъ окончательно и воистину свое начиналось вотъ только съ этой рѣшетки и запаха, который внутри, въ самомъ учрежденіи круто, устойчиво крѣпчалъ привычной борщевой руссопетской бѣженской убогостью. Вотъ это было несомнѣнное.

Густо отсмаркиваясь, поохивая отъ мороза, разбухая въ парномъ теплѣ, я спускался въ глубокое, чадное, все-

гда электрическое подземелье, и съ каждой ступенькой все глубже, все душнѣе ощущалъ, что ничто не измѣнится въ моей жизни ни теперь, ни еще черезъ десять лѣтъ, не измѣнится никогда: гдѣ-нибудь въ другомъ городѣ — чешскомъ, сербскомъ, французскомъ, все равно какомъ — я ужъ съ совсѣмъ бѣлыми мысиками возлѣ ушей, съ котлетными щеками, въ шляпѣ, которую намеренъ подарить мнѣ горестная русская вдова руссофильски при жизни на-строенаго сербскаго полковника или чешскаго мыловара («...который до послѣдняго издыханія... отзывчивое сердце котораго... сердце котораго всегда пламенѣло... миръ праху твоему, вѣрный другъ русскихъ, дорогой Душанъ Фердинандовичъ...»), не смущаясь тусклою лестью некрологическихъ словесъ, напишетъ мелкій газетный строкогонъ въ мѣстной газетенкѣ...), такъ вотъ, въ шляпѣ, еще таящей запахъ жорней волосъ прежняго владѣльца, осторожный и вѣжливый, какъ мазурикъ, изъ послѣднихъ силъ мерцающій свѣтской въ одну щеку улыбкой, опять пройду сѣни (налѣво — кіоскъ съ ворохами ущемленныхъ прищелками русскихъ газетъ; направо — на стѣнахъ — хлопья, трепыханіе и позывный шопотъ объявлений: «шью...», «переписываю на машинкѣ...», «свѣтлая комната», «гадаю по халдейской системѣ»), потомъ опять поднимусь на галерейку и увижу совершенно безсмертныхъ каховца, старика съ трубкой, выгнанныхъ за нерадѣніе студентовъ, шиваго мистика, философа-самоучку; нехотя, ужъ безъ мерцанія въ щекѣ, думая объ отдышкѣ, прозрю въ каждомъ изъ нихъ и самого себя, омерзительнаго, неудачливаго, съ хрупкой требовательностью на видимость уваженія къ себѣ и хотя бы на одинъ обѣдъ... — и, конечно, конечно, не ошибся, и едва поднялся на каменную галерейку, ужъ воочію, въ плотскомъ естествѣ и увидалъ ихъ: и философа, и студента, и каховца, и старичка съ трубкой, и еще разныхъ безъ всякой определенности въ лицахъ людишекъ. Приѣмъ ужъ начался: просители одинъ за другимъ одергивались передъ дверью,

посимпатичнѣе продирались въ комнату и охранительная дверь наглухо и безповоротно, цокнувъ зубомъ, оставляла ихъ въ таинственно-пыточномъ наединѣ съ прокуреннымъ чае-хлѣбомъ, который, похрипывая, дымясь, склебывая съ блюдечка морщинистую, янтарную водичку, съ холодной издѣвкой заставляетъ ихъ — такъ дурачки казалось мнѣ нынче — плясать что-то вродѣ той египетской камаринской, которую, отвернувъ ладони крылышками, задравъ подбородокъ, вскидывая почти до носа голыя колѣни, отхватывала бывало у насъ въ «Голубомъ Козодѣ» Настенька — и всѣ они пляшутъ безъ топая, совсѣмъ беззвучно, съ приложенными ко рту — «тсс..» — пальцами и ловкостью совершенно въ нихъ невысказанной и невообразимой во всякое другое время и особенно, когда они изъ этой самой плясовой комнатки съ непонятными, достойными лицами послѣ срама выходятъ. Изъ комнаты вышелъ мистикъ, сильно, до мути въ глазахъ, взболтанный и, видать, безъ талона — плясалъ, вѣрно, плохо — и въ комнату, прикидываясь увѣреннымъ, вскокнулъ старичекъ, теперь безъ трубки, и ужъ на порогѣ его поколебало поклономъ. Потомъ онъ, не оборачиваясь, рукою со спины потянулся къ двери, захлопнулся.

Много позже, уже въ скиту, по почину Пафнутія, нашу встрѣчу съ нимъ въ это утро я растушевывалъ, прихорошилъ, и она, неясно, въ отдаленіи, подплывъ, потерявъ контурность, и воистину могла сойти за указаніе свыше, за ту небесную помощь, на которую я такъ невнятно и скрытно послѣ Кирюшиннаго отъѣзда надѣялся. «Знаменіе, указаніе на подвигъ иноческій», — безъ устали хлопоталъ, устроая душевный миръ во мнѣ, Пафнутій. Но до полного благообразія, какъ Пафнутій ни бился, какъ я ни тужился, встрѣча такъ и не раздобѣла: изъяснъ въ ней былъ слишкомъ очевиденъ.

Было такъ: когда я земскимъ букой — коряво, бокомъ, — дождавшись своей очереди, вошелъ въ талонную комна-

ту, чиновникъ, подлинный чиновникъ, теперь ужъ никакъ не вообразимый въ фарсовой роли мучителя изъ «Вампуки», просто далекій и несчастный, вѣрно, человекъ, огненно вихря книжку талоновъ, пробурчалъ: «Поздно». — «Ужъ пожалуйста», — тугимъ голосомъ сельскаго жителя сказалъ я и покондовѣ разставилъ ноги въ смазныхъ сапогахъ или еще лучше, — лаптяхъ: такое потаенное землепашное отчаяніе, бывало, что и помогало иногда. Но чиновникъ ничего этого не примѣтилъ; мгновенно притушивъ пыланіе талоновъ синимъ корешкомъ папки, онъ взялся за голову, толчкомъ задумался, прихватилъ пальцами мелкій звѣнокъ, сунулъ его въ карманъ, а изъ кармана вынулъ платокъ, удачно высморкался, повернулъ большимъ черезъ платокъ пальцемъ въ ноздрѣ, и обезнадежилъ вконецъ: «Поздно!» — «Но...» — теперь ужъ безъ лаптей, голубинимъ голосомъ началъ я, — чиновникъ тутъ же, на моихъ глазахъ, обволокъся тихимъ упорствомъ. И было ясно: все кончено; оглушенный, я вышелъ, землепашно топырясь, переваливаясь, — это ужъ по привычкѣ и въ смятеніи. Но жестоковѣрный чиновникъ и на этотъ разъ походки моей не примѣтилъ — въ послѣднемъ чуткомъ отчаяніи я слѣдилъ за нимъ спиной — и тогда, ужъ въ коридорѣ, я вволю вскипѣлъ немощной злостью, потрясся, показалъ ему черезъ дверь сжатый до хруста кулакъ и, сглатывая слюну, рухнулъ на скамейку — втягивало въ голодный зеленый омутъ: я не обѣдалъ второй день.

Дальше: Пафнутаі говорить, что я спалъ; и было бы чудесно, если бы я и на самомъ дѣлѣ спалъ, потому что обращеніе грѣшниковъ и каналій лучше и трогательнѣе всего получается въ томъ случаѣ, когда ихъ физическое пробужденіе совпадаетъ съ духовнымъ: такихъ примѣровъ въ житіяхъ святыхъ сколько угодно. Однако, Пафнутаі или нарочито, для божественнаго закругленія происшествія, вралъ или и на самомъ дѣлѣ ошибался: я то совсѣмъ не спалъ и отлично видѣлъ, какъ онъ и важный

земгорець поднимались, воздымались по лѣстницѣ (у земгорца была шумная, лошадиная одышка, онъ былъ неправдоподобно огроменъ, въ широченномъ пальто, — онъ вздымался, и Пафнутій, всегда скорый, изъ уваженія къ собесѣднику тоже не шель, но воздымался въ клобукъ, рясъ, съ посохомъ) и тяжело воспаривъ на площадку (тутъ земгорець сгребъ обѣими руками свое чрево, поухаль, а Пафнутій изъ уваженія къ нему неясными тѣлодвиженіями пособолѣзноваль), пошли потомъ мимо меня: къ кабинету. Все это я видѣлъ отлично, но со скамейки не привсталъ — безстыже прикинулся ужъ совсѣмъ несчастнымъ и даже поотвалилъ малость нижнюю губу: какой, молъ, истомленный молодой человѣкъ и, видимо, изъ хорошаго семейства. Глаза, конечно, пришлось прикрыть. Получилось, по моему, неплохо и главное было достигнуто: Пафнутій и земгорець пріостановились; не мѣшая, я пустилъ легкое дѣтское лепетаніе, неплохо жевнулъ ртомъ, а земгорець сказалъ голосомъ грузнаго челоуѣка: «но шрифты, по моему, побиты», — закончилъ то, о чемъ съ воздыханіемъ и уханьемъ говорилъ еще на лѣстницѣ. «Пидкуплю», — бодро, штришкомъ заключилъ главу завершеннаго разговора Пафнутій. Потомъ оба они замолчали, стоя надо мной; я еще разъ жевнулъ ртомъ и влилъ въ лицо еще немного истомленія и симпатичности: дѣло оборачивалось нехудо, скупиться было нечего. И теперь во тьмѣ и тишинѣ я прислушивался къ тому бореію, которое происходило въ Пафнутіи, и не дрогнувъ, никакъ не нарушивъ виѣшней расхлебанности своей позы, — картина изъ «Передвижниковъ», что-нибудь вродѣ «Усталъ, бѣдняга» — гипнотически внушалъ ему внять, повѣрить мнѣ, бездумно увѣренный въ томъ, что помощъ онъ можетъ: тутъ во всю насторожилась, вскинулась природная моя чуткость къ болѣе сильному и давнее, еще въ дѣтствѣ возвращенное, довѣріе къ рясъ, бородѣ, семинарскому волапюку, надъ которымъ можно было порою и

поглумиться, но отмахнуться совсѣмъ было все-таки опасно.

...Пафнутій все еще молчалъ, можетъ быть, копался въ бородѣ — размышлялъ; и я, чтобы подлихнуть его ужъ поставленное на ребро рѣшеніе (оно мнѣ представлялось кубикомъ, который надлежало въ нужную сторону подлихнуть), пошевелился съ очаровательной угрюмостью проснушагося съ очаровательной, помятой мордой малыша—и кубикъ плюхнулся, какъ надо: Пафнутій, предлагая дружбу, хохотнулъ; сонно подшмыгнулся я, дружбу принимая, и всю эту пріятность размашистымъ, всхрапывающимъ хохотомъ окатилъ пышный земгорецъ. «Ну, вотъ вамъ и сотрудникъ», — сказалъ онъ. Кажется, я былъ спасень.

Вотъ такъ познакомился я съ архимандритомъ Пафнутіемъ: не только безъ всякаго мистическаго сна и пробужденія, но, попросту говоря, жульнически прилѣпился къ нему; однако, такимъ ужъ вполне сознательно неблаговиднымъ было только самое начало, хлястикъ встрѣчи: дальше я вылѣзалъ изъ кожи, чтобы почестіѣ войти въ ту жизнь, по которой доселѣ неясно томился, жизнь грудную, простую, настоящую: въ ней было мое спасеніе; и то, что я прошмыгнулъ въ эту жизнь все-таки нечестно, обнаружилось позже, постепенно, уже въ скитѣ. Природная, неуловимая моя душевная жуликоватость сыграла со мной скверную шутку. Но первый нашъ разговоръ съ Пафнутіемъ былъ медицински откровененъ, и я, подобно доврѣчивому и стыдливому пациенту, который, и самъ стыдяся своего вздутаго пуза, кривыхъ пальцевъ и сквернаго запаха изъ подмышекъ, подробно и путано объясняетъ іодоформному, всему въ бѣлизнѣ, врачу, гдѣ и какъ болить, и все больше путается, все больше стыдится, и то раздуваетъ, то преуменьшаетъ свои немощи и, наконецъ, умолкаетъ и потупливается долу, еще отчаяннѣе ощущая себя и пузатымъ, и криволапымъ, и пахучимъ, — безъ утайки рассказалъ Пафнутію всю свою не

очень-то сложную жизнь, и онъ, совсѣмъ по-докторски, вжавъ во внутрь къ зубамъ губы, бросилъ діагнозъ: «душевный разладъ» и полѣзъ къ себѣ за пазуху. — «за микстурой», — вздорно подумалъ я, и, торопясь, съ облегченіемъ прикрылъ свое душевное негдиже. Пафнүтій вынулъ часы; черная крышка ихъ предусмотрительно вильнула въ сторону и старикъ поднялъ брови, огогокнулъ, — изумился позднему времени, и про душеспасительную микстуру тутъ же прочно позабылъ: больше его занимала какая-то машина, при которой я долженъ былъ состоять какимъ-то корбакрутомъ — такъ пообщалъ онъ мнѣ за обѣдомъ. Я, хмурясь отъ преданности, кивнулъ головой — жаркощекій, сытый, благодарный, но неувѣренно и нехотя склонный къ обидѣ: конечно, и непонятная машина, и загадочное мое корбакрутство (что-то кинематографическое изъ римской жизни: полуобнаженные рабы христіане, кротко тужась, мотая головами, ходять, толкають крестовидную штуку, — жернова вращаются, — рыжій металлическій воинъ сжимаетъ бичъ), все это касалось моей новой трудовой жизни, и думать о ней, запикивая въ ротъ котлетную сальную сытость, было чудесно, но все же, все же, было сейчасъ это не самое главное: Пафнүтію какъ-то ну хоть утѣшающимъ супленьемъ надлежало бы обнадежить, умиротворить меня послѣ ужасающей по наготѣ исповѣди: вѣдь у меня и теперь еще за обѣдомъ сводило пальцы въ сапогахъ отъ стыда и за свою откровенность, и отъ Пафнүтіева равнодушія къ ней. И я насыщался, пылалъ, мучился; Пафнүтій же упорно говорилъ что-то о машинѣ. И тогда я, отчаявшись и добиться другого разговора и обидѣться, взялся за лобъ, скрѣпя, примѣряя одно къ другому неясныя реченія Пафнүтія и пышнаго земгорца — и уразумѣлъ: дѣло шло о типографской машинѣ для печатанія. Архимандритъ намѣревался что-то печатать. «Друкаты, друкаты слово Божіе», — говорилъ онъ на неопрятномъ, хохлацко-семинарскомъ языкѣ. Я хмурился, кивалъ головой.

И ни въ этотъ, ни на слѣдующій день Пафнутій такъ и не успокоилъ мою душу утѣшительно божественнымъ, и дѣла, которыми мы занимались, душеспасительными назвать никакъ было нельзя, — дѣла были совсѣмъ мірскія: смотрѣли знаменитую машину, — озабоченный Пафнутій, оберегая отъ масла бороду и рясу, лазилъ въ самыя машинныя нѣдра; смотрѣли шрифты, прицѣнивались къ бумагѣ; ходили къ разнымъ важнымъ людямъ, о которыхъ я зналъ только по наслышкѣ, и которые меня одного, безъ архимандрита, къ себѣ на порогъ не пустили бы, его же принимали запросто, и съ какими-то, умиляющими ихъ самихъ, мытарскимъ смиреніемъ и галантною подшаркивали къ нему подъ благословеніе, и Пафнутій, воздѣвъ бороденку, разилъ ихъ благословляющими крестами и нисколько, хотя бы для виду, не смущался ни поцѣлуевъ въ руку, ни своихъ сапожищъ, ни своего изумительнаго говора — благословлялъ, смиренно, но неотступно выпрашивалъ, что надо, съ достойной важностью слуги Господня окунался въ монашескомъ поклонѣ, опять благословлялъ, и ужъ мчался куда-нибудь въ другое, нужное и небезвыгодное мѣсто. На улицѣ за нимъ табункомъ ходили школьники, замирали ошеломленные, ослабленные взрослые; диковинный же человѣкъ въ черномъ колпакѣ и со шлейфомъ, подъявъ посохъ, останавливалъ заливчатый, до зарѣзу нужный ему трамвай, не признавалъ никакихъ правилъ при переходахъ улицъ, и когда огромный полицменъ задержалъ было его, чтобы составить протоколъ, — сказалъ въско: «Христось съ тобой!» и пошелъ своей дорогой; полицменъ открылъ ротъ. Другой разъ Пафнутія остановилъ верткій, sportivaго вида человѣчекъ въ чудовишно пестрой кепкѣ и съ фото-камерой на животѣ. Догадливый Пафнутій наспѣхъ обласкалъ, ублаготѣпилъ бороду, пастырски оперся на посохъ и закаменѣлъ; человѣчекъ, глядя себѣ въ гармошку аппарата, попятился малость назадъ, потомъ сталъ, раскорячился, стукнулъ рычажкомъ и ловко на отлетѣ содралъ съ головы

кепку — благодарилъ, и Пафнутій тоже вѣжливо ему поклонился. На слѣдующій день въ большой чешской газетѣ появилась фотографія: умерщвленный объективомъ Пафнутій въ юбилейно-синодальной пристойности каменья въ возлѣ афишной будки и, между прочимъ, виднѣлось и мое смазанное, спиритическое плечо. Подъ фотографіей двумя столбцами разсыпалась ужасно бойкая статейка, и тутъ впервые, съ нѣкоторой сыновней. — и откуда только такъ скоро появилась она — гордостью, я узналъ, что Пафнутій весьма знаменитъ святой жизнью и даже мученичествомъ: классическіе мучители поляки держали его въ тюрьмѣ за классическую ревность къ православію и русскости. Изъ Польши онъ удачливо бѣжалъ въ Чехію и теперь просвѣщаль карпатскихъ униатовъ. Бокъ-о-бокъ съ Пафнутіемъ полосатый ковбой, вздыбивъ мустанга, размахивалъ шляпой — и это чудное и безпардонное газетное сосѣдство, не успѣлъ я ахнуть, мгновенно, при помощи шустраго моего воображенія, породило глумливую комбинацію: Пафнутій, пригнувшись и колотя посохомъ мустанга, улелетываетъ во всю прыть отъ разозленныхъ позументныхъ полячишекъ; но я тотчасъ же скомкалъ дурачки веселенькую кощунственную белиберду и съ суровой рѣшимостью опять привелъ въ душѣ все въ порядокъ, разставилъ все по своимъ мѣстамъ: такъ оно было спокойнѣе. Я то хорошо зналъ цѣну игривому остромыслию.

И вышло послѣ всего этого само собой такъ, что я ужъ съ тихимъ сердцемъ позабылъ свою первую обиду на Пафнутія: такой человекъ, какъ онъ, имѣлъ право на нѣкую небрежность къ покаяннымъ истерикамъ; больше того, погодя, разсудивъ, я очень легко утвердилъ въ себѣ убѣжденіе, что Пафнутій поступилъ и мудро, ибо начини онъ, какъ я восхотѣлъ было вначалѣ, говорить что-нибудь очень медовое, съ благостными потряхиваніями за плечо, я не медля бы, тутъ же дорвавшись до удобнаго случая разсолодѣть, распустилъ бы легкія и обильныя сопли,

проходилъ бы въ эдакихъ взъерошенныхъ чувствахъ полдня, а потомъ, такъ же легко, съ дамской прслѣзлезной уютностью, и успокоился бы. Пафнута́й врачеваль жестко, пещерно: помню, на третій день, когда я развратнымъ, кликушечьимъ голосомъ пожаловался ему на травлю въ общежитіи (ночью рухнула моя ловко и незамѣтно разъятая въ скрѣпахъ кровать,—опять изощрялся каховець), и я ужъ готовъ былъ блаженно распуститься, во всю распоясаться, впасть въ изступленіе, онъ во гнѣвѣ, не совѣстясь барышни, которая подавала намъ рыбу (теперь мы обѣдали вмѣстѣ; платилъ онъ съ мужицкимъ береженіемъ, сокрушеніемъ, каждый разъ подолгу копясь въ кожаномъ, металлическое ухо, кошелькѣ), сокрытымъ въ немъ доселѣ теноровымъ, звонкимъ голосомъ хлестнулъ по мнѣ: «Подумаешь, принцъ индѣйскій. Святыхъ отцовъ пополамъ пилили, и то терпѣли. Фу ты, фу ты, ножки гнуты...» — и я похолодѣлъ, полегчалъ, пересталъ быть. Это было провальное затишье: звуки, гамъ, какъ высосало, — такое бываетъ, вѣрно, когда ударить по щекѣ; потомъ съ водопаднымъ шумомъ рухнули, ринулись, давя другъ друга, задыхаясь, мысли («хамъ!» — «нельзя же такъ», — «во второй разъ»), я, зацѣпивъ пальцемъ воротъ и повертѣвъ головой, хотѣлъ встать, взрыкнуть, ринуться вонъ; но не всталъ, не взрыкнулъ, не ринулся: шумный кавардакъ уязвленныхъ жестикулирующихъ мыслишекъ разомъ усмирила, утихомирила пожилая, безысходно благоразумная мысль: куда идти-то? Идти было некуда. Я заметался, заюлилъ, потыкался туда сюда, и замеръ: и на самомъ дѣлѣ идти было некуда; оставались двѣ лазейки: или понадежнѣе припрятать обиду и, чѣсоточно наслаждаясь, берeditъ ее, или съ мужественной кротостью, смиреніемъ и вѣрою, пока не поздно, переплавить ее въ цѣлебное поученіе. Наскоро покривлявшись, я выбралъ второе; потомъ ужъ умишкомъ осудить бунтъ было нетрудно: бунтъ-то, если честно разобратъся, былъ вздорный, гоноровый, и опять, опять Пафнута́й былъ правъ,

одернувъ меня, «принца индѣйскаго». Покончивъ съ рыбой, я сказалъ Пафнутію: «Дѣйствительно, я распустился...» На это Пафнутій съ готовностью, задушевно сказалъ: «Конэшно. Душевный разладъ!»

Возвращаясь въ общежитіе (въ обратномъ, ночномъ порядкѣ: повороты, парикмахерская, колбасная, мракъ пустыря), я торопливо гасилъ въ себѣ послѣдніе угольки обиды на Пафнутія, опять налаживалъ душевный уютъ, и тутъ же, не теряя времени, на ходу примѣнялъ броню мудрой стойкости, и кое-чего добился: разыграть въ этотъ вечеръ каховцу меня не удалось: ощущая плотно себя въ себѣ (грустный и твердый умница съ религиозной незыблемостью въ хмуроватыхъ глазахъ), я вмѣстѣ съ остальными посмѣялся надъ порнографической открыткой, которую подбросили мнѣ на тумбочку, посмѣялся и впору, и въ мѣру, какъ надо: открытыми раскатами, но безъ ржаваго, подхалимнаго повизга, безъ заискиванія, но съ явственнымъ уваженіемъ къ милымъ, хотя и не очень, видимо, религиозно углубленнымъ людямъ. Потомъ, храня еще про запасъ, на всякій случай, нѣмую, паутиной раскинутую по лицу улыбку — могу, молъ, и еще съ охотой пошутить, родные мои безобразники, — началъ раздѣваться. Но тутъ очень кстати заругались казакъ и каховець; заругались изъ-за политики: казакъ былъ самостійникомъ, каховець — монархистомъ. Ругались они продуманно, ѣдко, безъ воплей — кругъ сужался, взбухла драка: чистоплотно, скорбя глазами, съ сокрушеніемъ поцокивая языкомъ, я скрытно отъ самого себя (отъ незыблемаго религиозника) ужъ предвкушалъ чудесную, радужную радость, которая зальетъ меня, когда, наконецъ каховець казаку или казакъ каховцу, или оба въ единый отчаянный мигъ, двинуть другъ дружку по мордамъ. А дѣло къ тому и шло: матерная перепалка рѣдѣла, — начиналось главное: и каховець, и казакъ ужъ втягивали шею, горбились, бѣдѣли, исподлобья пучились; и ужъ поднимались лѣнивенько съ коекъ разниматели, втай-

нѣ мечтая только объ одномъ: чтобы съ разниманіемъ малость приподздать. Приподнялся и я, лицемѣрно встревоженный. «Довольно, довольно вамъ», — говорили мы одинаково разсудочными съ угрюминкой голосами, и не спѣша окружали матершинниковъ. Враги молчали, спѣша раздуть себѣ послѣднюю отчаянность; разниматели двусмысленной, выжидательной суровостью усугубляли предмордобойное затишье — драка была на мази. Но драки не вышло: чутко всѣмъ тѣломъ, какъ стеклянный, ожидая жесткую затрещину, я сталъ между противниками, съ ласковой, умоляющей строгостью взялъ каховца повыше ляжекъ и попятилъ его назадъ; онъ цопнулъ меня за руку, съ храпомъ надулся до синевы, издавъ страшное рычаніе — и попятился: я расчиталъ вѣрно: казакъ-то былъ плечистѣе его. Послѣ этого казакъ рубакой отчаюгой ринулся за нами — наконецъ, распахнулся; но его во время, съ охотой, многорукимъ спрутомъ оплели разниматели: драка все равно была сорвана. Казакъ съ натугой, съ сипомъ, по мужицки ругался и возилъ за собой троихъ; хитрая, мокрая морда его рдѣла, моталась изъ стороны въ сторону, онъ упивался своей яростью, безобразіемъ и отчаянностью. Разниматели солѣли, наваливались, звѣрски мяли его — тоже упивались. Подумавъ, каховецъ отпихнулъ меня, бросился впередъ: онъ тоже хотѣлъ, чтобы его держали по настоящему, — и его бодро, съ готовностью переняли по дорогѣ. Потомъ рычалъ, мотался, млѣлъ отъ наслажденія и онъ. Умаявшись, всѣ легли спать.

...Я былъ сытно, округло доволенъ и собой, и содѣяннымъ: выходило, что благочестивые поступки (а предотвращеніе брани — конечно, поступокъ благочестивый) очень питательная вещь, не въ примѣръ поступкамъ, рожденнымъ искусительнымъ и ѣдкимъ вождельніемъ къ сквернѣ, удовлетворивъ которую, человекъ, если онъ ужъ не окончательный кремень, похмѣльно отдувается и ощущаетъ во рту долгую кислятину — отместку за недав-

ною, непрочную сладость грѣха — такъ примѣрно размышлялъ я на другой день, и со скряжнымъ удовольствіемъ заранѣ увѣренный въ прибыли, перебиралъ событія вечера напередъ; при этомъ само собою въ сторонкѣ все болѣе утверждалось бытіе хмураго незыблемаго религіозника. Пріятность утреннихъ размышленій, подслащало и то чудесное обстоятельство, что вчера то, я вмѣшался въ драку почти (да, да, почти) безъ всякихъ корыстныхъ соображеній — просто толкнуло. Разсчитать и польза приплыли позже, въ награду за это самое начальное безкорыстіе, которое хотя и не было полнымъ (вскользь: спасалъ то, хоть и бездумно, я свое душевное благоустройство, а не чужія морды), но, безъ особенныхъ ухищреній и потугъ могло стать имъ на самомъ небольшомъ отдаленіи.

И точно: каждодневныхъ утреннихъ сорока пяти минутъ, которыя въ моемъ сознаніи ужъ давно переставали быть одной только нетлѣнной продолговатинкой вѣчнаго времени, но совершенно точно зачинались на нашемъ будильникѣ, когда онъ, сложивъ лапки на брюшкѣ, вѣщаль четверть девятаго, и ровно въ десять на круглой рожѣ земгорскихъ часовъ завершали свое бытіе; этихъ обычныхъ сорока пяти минутъ съ лихвою хватало на то, чтобы вытравить досадную бородавку; къ концу пути внутри у меня было ужъ совсѣмъ чисто и ладно, поворковывала душа. Отмаркиваясь, отдуваясь въ парномъ теплѣ, я похаживалъ внизу подъ галерейкой — тамъ ужъ дымили табачищемъ, перешептывались просители — думалъ неясно благостное и поглядывалъ на часы, подкидалъ Пафнутия. Погодя ко мнѣ подошелъ казакъ — ледяной, табачно зловонный, исподлобый, и ругалъ каховца матерно; я цокалъ языкомъ, сокрушался и осторожно млѣлъ: и оттого, что такъ почти зрительно очевидна была разница между нимъ, исподлобымъ и темнымъ, и мною, свѣтло благоустроеннымъ, и еще оттого, что казакъ словно бы оправдывался передо мною, тѣмъ самымъ,

хоть и нехотя, и даже съ потаеннымъ душевнымъ скрипомъ, признавая во мнѣ нѣкоего судью, челоуѣка, стало быть, лучшаго, чѣмъ онъ самъ. Я млѣлъ въ неясныхъ предѣлахъ дозволеннаго. Послѣ казака подходилъ и каховець; ругался браво, но, видать, и онъ былъ не прочь заpastись моимъ оправданіемъ, или на худой конецъ, сочувствіемъ. Я опять подцокивалъ языкомъ и едва сдерживалъ горделивое довольство, которое такъ и всплескивалось къ сердцу, наполняя, отягчая, его, и сдерживаться было все труднѣе: вѣдь подумать только, моего сочувствія добивались люди, которые еще напередъ подсовывали мнѣ дохлыхъ котятъ. И я вдругъ, мгновенно, просіявъ опаснымъ озорствомъ, подумалъ: «Прибыльное-таки занятіе, эти добрыя дѣла!» Потомъ, конечно, спохватился.

Потомъ на порогѣ показался Пафнутій; задравъ красный носъ, вытирая варежками потныя очки, онъ забѣгалъ раздѣтыми глазами — искалъ меня. Конечно, въ общестіи съ самаго же начала знали о моемъ знакомствѣ съ нимъ и подсмѣивались надъ этимъ немало, и особливо каховець — все рассказывалъ анекдоты о придурковатыхъ попахъ и попадаяхъ блудливыхъ и находчивыхъ; но анекдотомъ, да еще съ преждевременнымъ, дилетантскимъ (отъ предвкушенія занозистаго конца) порсканьемъ преподаннымъ, меня, изощреннѣйшаго блудослова, пронять было не такъ то легко: каховець трудился вобще. Вымотавъ изъ себя убогій клубчишко поповскихъ исторій, онъ захирѣлъ и приумолкъ. Кто воистину и по настоящему могъ бы меня теперь смутить — это Кирюша, тотъ могъ бы и не анекдотомъ, а... Но Кирюши, слава Богу, не было, и я безбоязненно на людяхъ подныривалъ къ Пафнутію подъ благословеніе; такъ же, какъ онъ, крестился въ борцовомъ шару передъ ѣдой; съ лицомъ смиреннаго, но преданнаго келейника бѣгалъ съ нимъ по улицѣ, — и сегодня, ужъ совсѣмъ охрабрѣвъ, аскетически плясая себѣ въ переносицу, эдакимъ на цыпочкахъ прошель вмѣстѣ съ нимъ черезъ площадку, гдѣ томидись

всѣ тѣ же — каховець, казакъ, философъ-самоучка, старецъ съ трубкой и прочіе, — шли мы къ пышному земгорцу: за деньгами на билеты. На площадкѣ приумолкли; у меня въ прелестной тишинѣ густо до краевъ налилось, взбухло, потомъ разверзлось по швамъ сердце. Это было непередаваемо.

Это былъ невѣроятно удачливый день; какъ нельзя лучше вышло все и въ кабинетѣ пышнаго земгорца: увидавъ насъ, онъ ухнулъ, огромно возсталъ изъ кресла и навалился черезъ столъ къ Пафнутію: онъ очень почиталъ старика. Пафнутій окрестилъ бородатую махину земгорца, — тотъ, успокоясь, рухнулъ въ кресло; съѣлъ и Пафнутій, и, мужицки прибѣдняясь, заговорилъ о дѣлѣ — нужно было какое-то поручительство за купленные въ разсрочку шрифты, и земгорець ухнулъ, и съ сапомъ и съ благочестивой безшабашностью тутъ же исполосовалъ бумажку своей подписью и резолюціей. Пафнутій сказалъ печально: «Спаси Христось», — и попросилъ еще деньжатъ на дорогу, и деньги безъ промедленія принесли; принесъ ихъ давешній мой талонный мучитель, и я, ютясь со сцѣпленными пальцами на животѣ, на диванчикѣ, опустилъ глаза и свелъ сапоги носокъ къ носку — смиренничалъ. На лицѣ мучителя съ обоихъ боковъ подыхала лучистая улыбка добряка служаки. «Ага», — мстительно выползло, квохотнуло во мнѣ мелко гадоподобное, но, получивъ щелчекъ по носу, дернулось, скрылось. «Дай Богъ, дай Богъ», — мычалъ, наваливался на Пафнутія земгорець: «дѣло хорошее... Молитесь о насъ, грѣшныхъ, какъ говорится... Ухъ, ммы, га, га...молитесь...». Пафнутій кланялся, пятился къ двери. Я подшаркивалъ за нимъ съ пристойностью. Наконецъ, — ффу — вышли. Пафнутій мотнулъ бородой: «Хорошій, добрый чоловикъ, хотъ и соціалистъ». И ринулся внизъ по лѣстницѣ, въя шлейфомъ. Вечеромъ мы уѣхали въ Старый Край.

Мих. Ивашиковъ.

(Окончаніе слѣдуетъ).

*
**

Отъ тебя какъ отъ берега медленно я отплываю,
Уходя въ золотые просторы пространствъ и времянь,
И твой образъ, твой голосъ навѣки, навѣки теряю,
Но звѣздою утраты одинокой мой путь озаренъ.

Такъ отъ смутнаго берега непримиренной отчизны
Отходилъ я когда-то въ еще непонятную даль,
Чтобы годы и годы скитальческой горестной жизни
Очищали потери и трижды святила печаль.

Такъ когда-нибудь въ часъ неповторимой разлуки
Я навѣки отчаю отъ милой земли голубой,
И, какъ крестъ, надо мною созвѣздій расширятся руки
И я все обрѣту въ отреченьи и буду навѣки съ тобой.

Илья Голенищевъ-Кутузовъ.

ПАЛИНОДИЯ.

И твой гиметскій медъ ужель меня пресытилъ?
Изъ роши миртовой кто твой кумиръ похитилъ?
Иль въ вѣщемъ ужасѣ я самъ его разбилъ?
Ужели я тебя, Эллада, разлюбилъ?
Но, духомъ обнишавъ, твоей не зналъ я ласки,
И жутки стали мнѣ души недвижной маски,
И тѣль надменныхъ свѣтъ, и думъ Эвклидовъ строй.
Когда жъ, подземныхъ флейтъ безумящей игрой
Въ урочный часъ оживъ, личины полой очи
Мятежною тоской неукротимой Ночи,

Какъ встарь, исполнились, — я слышалъ съ неба зовъ:
 «Покинь, служитель, храмъ украшенный бѣсовъ».
 И я бѣжалъ, и ѣмъ въ предгорьяхъ Фиванды
 Молчанья дикій медъ и жесткія акриды.

КОТЪ-ВОРОЖЕЙ.

Два суженныхъ зрачка, — два темныхъ обелиска,
 Разсѣкшихъ золото пылающаго диска, —
 Въ меня вперивъ, мой котъ, какъ на зарѣ Мемнонь,
 Изъ нѣдръ рокочущихъ изводитъ сладкій стонъ.
 И сонъ, что сѣмени въ немъ память сохранила,
 Мнѣ снится: отмели медлительнаго Нила
 И въ солнечномъ кострѣ слѣпыхъ отъ блеска дней
 Священная чреда идущихъ въ шагъ тѣней
 Съ повернутымъ ко мнѣ и станомъ, и оплечьемъ,
 И съ профилемъ звѣрей на тѣлѣ чловѣчьемъ:
 Обличья гадовъ, птицъ, шакаловъ, львицъ, коровъ,
 Какімя въ долъ глядитъ полдневный мракъ боговъ...

Очнись! Не Нилъ плескалъ, не сонный котъ мурлыкалъ:
 Размѣрно бормоча, ты чары самъ накликалъ.
 Ни пальмъ лѣнивыхъ нѣтъ, ни друга мирныхъ нѣтъ, —
 А печи жаркій глазъ, да за окошкомъ снѣгъ.

СЛОВО — ПЛОТЬ.

Родная рѣчь пѣвцу земля родная.
 Ея дубравой пѣснь его шумитъ;
 И нашептомъ дубравнымъ ворожить
 Небесныхъ вдохновеній мать земная.

Неизслѣдима глубь заповѣдная.
 Въ ночь, ошупью, свой корень лучъ стремитъ, —

И силой нѣдръ, въ лозѣ струясь, гудить
Словесныхъ гроздй сладость наливная.

Прославленная, свѣтится, звеня
Созвучьямъ въ ладъ, сходящимъ издалеча,
Стихія свѣтомъ умнаго огня.

И вѣщій гимнъ, ихъ свадебная встрѣча,
Какъ уголь, въ алмазъ замкнувшій солнце дня,
Творенья духоноснаго предтеча.

ПОЛДЕНЬ.

Въ озёра сходятъ небеса.
По бирюзѣ однообразной
Струятся розсыпью алмазной
Развязанные пояса.
И мглятся зыбкой мглой лѣса,
Какъ тлѣветъ пеплъ въ жароваѣ праздной.

Колдуетъ зной, котель кипить —
Двоится марево природы.
Въ гробу хрустальномъ дѣва спить,
Надъ нею латникъ держитъ щить:
Свѣтилу дня такъ снятся воды,
Водамъ полуденные своды, —
И дважды солнца ликъ слѣпить.

МИТРОПОЛИТЪ ФИЛИППЪ.

Въ домашней церковкѣ, похожей на застѣнокъ,
Гдѣ старина въ одинъ окрасила оттѣнокъ
Золотокаріе иконостасъ и сводъ,
Тѣснится, съ желтыми въ рукахъ свѣчьми, приходъ.

На черномъ, межъ кандиль, златится Духъ крылатый;
 А посреди стоитъ, лилово-полосатой
 Окутанъ мантией, старикъ; волною съ плечъ
 Струится серебро, и лалъ въ мерцаньи свѣчъ
 Переливается на митрѣ свѣтозарной.
 И грезится — въ дыму встаетъ изъ мглы алтарной,
 Владыкѣ сослужа безплотнымъ двойникомъ,
 Святого предка духъ, хранящій родъ и домъ;
 Сквозитъ, влача въ крови руно митрополичье,
 Филиппа древняго прозрачное обличье.

НОВОДѢВИЧИИ МОНАСТЫРЬ.

Юрію Верховскому.

Мечты ли власть иль тайный строй сердечный,
 Созвучье молчаливое пѣвцовъ,
 Иль нѣжный серпъ надъ бѣлизной зубцовъ
 И встрѣчный звонъ, и лучъ заката встрѣчный,

И рдѣющій уборъ многовѣчный
 Церквей и башенъ, или духъ отцовъ
 Двоихъ путеводили пришлецовъ
 На кладбище обители прирѣчной, —

Но вечеръ тотъ въ душѣ запечатлѣнъ.
 Плылъ, паруса развивъ, ковчегомъ новымъ
 Храмъ облачный надъ спящимъ Соловьевымъ;

А за скитомъ, въ оградѣ внѣшнихъ стѣнъ,
 Какъ вознесенный жертвенникъ, молила
 О миръ небо Скрыбина могила.

Вячеславъ Ивановъ.

1.

Еще мерцаютъ въ небѣ зданья,
 Еще прозрачна въ мѣрѣ ночь.
 Еще безслезныя страданья
 Помочь не могутъ... Какъ помочь

Тому, кто ночью всюду ходить,
 Когда не хочется ходить;
 Кто все во всемъ всегда находить,
 Чего не надо находить;

Кто въ пустотѣ — въ ревнивой мукѣ —
 Ждетъ, ждетъ: когда придетъ пора?
 Въ комъ хищно дремлютъ всѣ разлуки,
 Соблазны вѣчнаго добра...

Прозрачной ночью городскою
 Мостъ надъ рѣкой высокъ и нѣмъ.
 — Чего ты ждешь? Господь съ тобою,
 Я не смущу тебя ничѣмъ.

2.

Восемь дней, почти безъ перерыва,
 Дождь идетъ на трубы и кресты.
 Разлилась рѣка. И отъ разлива
 Стали сразу низкими мосты.

Изъ глуши фабричнаго предмѣстья,
 Отъ нѣмыхъ крестовъ и тощихъ трубъ,
 Выйду я, съ тоской своею вмѣстѣ,
 Вдоль рѣки, туда, гдѣ старый дубъ.

Радъ, какъ въ дѣтствѣ, желтой грязи слою,
 Всей землѣ, размякшей въ январѣ,

Нарисую сердце со стрѣлою
 Ножикомъ карманнымъ на корѣ —
 Пусть живетъ...

3.

ЕССЕ НОМО

Два ангела слѣпыхъ его влекутъ,
 Къ немислимому благу принуждая, —
 Ихъ — Логикой и Музыкой зовутъ.
 Онъ вынужденъ идти не разсуждая.

Вѣдь ихъ къ нему приставилъ съ дѣтства Богъ,
 Чтобъ, зная правду, лгать о ней онъ могъ.

Л. Кельберинъ.

Сердце спитъ на полудѣтскомъ ложѣ,
 Сердце спитъ и счастливо во снѣ;
 Но уже двоится, тише, строже,
 Чей-то образъ рядомъ на стѣнѣ.

О, проснись! Не вѣдаешь, не слышишь,
 Слишкомъ долгій вздръ въ тебя проникъ...
 Вотъ живешь, вотъ радуешься, дышешь,
 А въ тебѣ растеть, какъ мѣсяцъ, лихъ,

Неотступно ждетъ и тихо знаетъ —
 Были предвѣщанія судьбѣ —
 Скоро страннымъ свѣтомъ просіяетъ
 Нѣкогда безивѣтное въ тебѣ!

ЭНЦАНЫ.

Пустынно-пепельный, надменно-голый валь
 Въ полоскахъ тающаго снѣга
 Послѣдній склонъ зеленый освѣялъ
 Гдѣ раскрывались ихъ побѣги.

Онъ — рожденье грозной высоты,
Сухого солнца, страшной силы свѣта —
Сапфирами горящіе цвѣты
Альпійскаго заоблачнаго лѣта.

Галина Кузнецова.

РАЗСТАВАНЬЕ.

Всё отступаетъ въ сумракъ лѣтъ,
и ты, душа, уходишь съ ними,
стирается на камнѣ слѣдъ,
гдѣ было раньше имя, имя...

Въ твоихъ летящихъ волосахъ
и въ нѣжности твоей чудесной,
кому дано познать твой страхъ
предъ неизбежнымъ, неизвѣстнымъ?

И кто пойметъ твой трепеть рукъ,
о раненія крылья птицы,
гдѣ музыки безсмертный звукъ
надъ скрипкою еще томится

и умираетъ не родясь.

СВИДАНЬЕ.

Тамъ въ тишинѣ рождался звукъ
и нарасталъ изъ отдаленія,
ты въ зеркалѣ прошла, мой другъ,
прозрачной, неживою тѣнью

и, руки протянувъ ко мнѣ,
ты въ призрачной своей отчизнѣ,
изнемогала въ темномъ снѣ,
въ стеклянной задышалась жизни,

о, если-бъ вырваться могла
неотвратимою судьбою,
о, если-бы со мной была
ты настоящею, живую,

но съ плачемъ падала безъ силъ
туда, гдѣ я помочь неволю,
гдѣ голосъ мой не заглушилъ
твоей непоправимой боли.

Кирилль Набоковъ.

На отдаленномъ небосклонѣ
— О, только погляди туда! —
На синемъ, на державномъ фонѣ
Зеленоватая звѣзда.

Слезой крупной и печальной ...
Дрожить — и чудится: вотъ-вотъ
Она во мракъ первоначальный
Въ молчаньи полномъ потечеть.

Откуда эта безутѣшность
Тамъ, гдѣ, казалось-бы, — одна
Ненарушимая безгрѣшность
И царственная тишина?

Георгій Раевскій.

Подъ пришепетыванье крови,
 подъ темный говорокъ вина,
 въ полуулыбкѣ, полусловѣ
 затаиваю чудо сна,
 задерживаю легкость тѣла,

свое блаженство неумѣло
 теряя. Добрый рай теряя, —
 — иди, ступай, засовъ открытъ! —
 съ недоумѣньемъ принимаю
 подарокъ новой жизни — стыдъ.

Кто, овладѣвъ волшебнымъ грифомъ,
 какой поэтъ, какимъ перомъ
 смущаетъ насъ безсмертнымъ мѣломъ,
 а кровь бунтарскимъ шепоткомъ?

Эмилія Чегринцева.

Не громокъ голосъ? — ничего!
 Слова не звонки? — Ну такъ что-же!
 Больнѣе можетъ быть всего
 Что юность и любовь похожи.

«Люблю, люблю, любимый, другъ» —
 Слова вольнѣй и легче птицы,
 Стрѣлы летящей, всплеска рукъ.

Такъ вѣтеръ шевелить страницы,
 Такъ звѣзды падаютъ въ ночи,
 Такъ сердце...

Но молчи, молчи.

У КАЖДАГО СВОЯ СУДЬБА.

Цѣлуешь ночь земныя дали,
цѣлуешь вѣтеръ облака
и тишина идетъ, пока
лишь соловьи о ней мечтали.
Пусть слѣдъ исчезъ, но за тобой
шурша ползутъ ночныя тѣни,
за непокорною судьбой
покорнымъ и печальнымъ пѣнемъ.

Иди, лети на зовъ (но чей?).
Бороться все равно не сможешь
ни съ темнотою такихъ ночей
ни съ крыльями, что скоро сложишь.

Зинаида Шаховская.

Года и на тебѣ оставили свой слѣдъ,
Бороться противъ нихъ никто, увы, не властенъ...
Не бойся — не черты. Твои черты... О нѣтъ,
Твой обликъ до сихъ поръ попрежнему прекрасенъ:

Но ужъ одно, что ты сидишь со мною здѣсь
И больше никого тебѣ еще не надо,
И что за цѣлый день и, вотъ, за вечеръ весь
Ни разу на часы ты не бросаешь взгляда...

И понемногу мной овладѣваетъ страхъ
И въ памяти встаетъ старинное повѣрье:
Счастливымъ никогда не вспомнить о друзьяхъ,
Счастливымъ никогда не постучится въ двери...

Я ждалъ тебя пять лѣтъ, но радъ и десять лѣтъ
И всю бы жизнь прожить въ напрасной лихорадкѣ,
Лишь только бъ знать, что нѣтъ, на самомъ дѣлѣ нѣтъ,
Ни капли истины въ моей больной догадкѣ.

Отъ вѣка для любви шли убивать и красть,
Съ улыбкой на себя накладывали руки...
Но счастье близкихъ намъ мы не имѣемъ власть
Купить имъ у судьбы за собственныя муки.

А. Штейгеръ.

Неизданныя письма Л. Н. Толстого*)

Моя мать умерла 4-го ноября 1891 г. Смерть какъ бы подвела итоги ея жизни, тяжело ей доставшейся, несмотря на семейное счастье. Ее страшило возвратъ въ Россію въ 1871 году. Это она настояла на томъ, чтобы отецъ отклонилъ сдѣланное ему предложеніе занять кафедру въ Академіи Художествъ. Но она страдала, что я долженъ былъ, ради веденія хозяйства на хуторѣ, отказаться отъ всякой иной дѣятельности.

Смерть матери очень измѣнила условія нашей жизни. Пока она была жива, всѣ невзгоды казались временными и неважными. Теперь же отецъ и я, мы особенно почувствовали наше одиночество. Въ то же время меня все болѣе поглощала забота о хозяйствѣ, которое очень усложнилось съ введеніемъ культуры свеклы.

Левъ Николаевичъ пріѣхалъ насъ навѣстить. Я лежалъ безъ движенія въ кровати послѣ несчастнаго случая: мои ноги защемило въ конномъ приводѣ молотилки.

Левъ Николаевичъ очень интересовался жизнью крестьянъ. Онъ съ утра отправлялся въ сосѣднія деревни и вечеромъ рассказывалъ намъ свои впечатлѣнія. Его удивляло богатство Украины. Такъ, онъ былъ пораженъ, видя, какъ нищій, проходя по деревнѣ, отказался отъ ломтя хлѣба, который ему предлагала баба, стоя у порога своей избы. Дѣти, по словамъ сельскаго учителя, принимали Льва Николаевича за штундиста.

Онъ прожилъ у насъ съ недѣлю и вдругъ сорвался и уѣхалъ: его потянуло домой.

Въ свою очередь я поѣхалъ повидаться съ Толстыми. Въ Ясной все было по-старому. Только это не былъ больше семейный домъ, а нѣчто вродѣ проходнаго пункта, открытаго всякому. Софья Андреевна старалась сохранить старый порядокъ, но не могла ничего подѣлать.

Дѣти выросли; умножились поклонники Толстого, носившіе кличку «темныхъ» (старые друзья семьи назывались «свѣтлыми»). Было очевидно, что Толстой нуждается въ преданномъ

*) См. «Совр. Зап.» кн. 64-ая.

другъ, который не вооружалъ бы его противъ Софїи Андреевны. Я ухалъ очень опечаленный.

Но объявился голодъ въ Рязанской губерніи и это общественное бѣдствіе сразу повліяло благотворно на отношенія между Львомъ Николаевичемъ и Софьей Андреевной.

Внезапно я получилъ отъ Л. Н. открытку:

Открытка, 5 декабря 1891.

Купите намъ два вагона т: е: 1200 пудовъ гороху. Какъ мнѣ говорили — достоинство гороха, именно то чтобы онъ былъ вполне зрѣлый безъ мелкихъ и черныхъ зеренъ очень измѣняетъ цѣну. Если горохъ такой именно ровный безъ мелкихъ и черныхъ зеренъ и другихъ недостатковъ можно получить на ст. желѣзной дороги по 90,95 коп. то отвѣйте и купите. Отвѣчайте въ Москву — женѣ. Она и вышлетъ деньги и свидѣтельство Краснаго креста для бесплатнаго провоза до нашей станціи Клекошки Сызрано-Вяземской дороги. Если же намъ не удастся достать свидѣтельство Красн. Креста, то узнайте, что будетъ стоить провозъ и не будетъ ли задержки.

Л. Толстой.

Спустя нѣсколько дней пришло отъ Л. Н. слѣдующее письмо:

11 дек. 1891.

Ваши нѣсколько словъ о вашемъ отношеніи къ смерти матери тронули меня и были мнѣ поучительны. Всѣ мы недостаточно бережно обращаемся съ людьми, со всѣми людьми. Мнѣ уже столь близкому къ смерти это особенно непростительно. Слава Богу сейчасъ у меня съ женой самыя радостныя отношенія: мы сошлись съ ней на общемъ дѣлѣ. И хоть за это я люблю то дѣло к. занять, въ котор. много грѣха не только несмотря на именно вслѣдствіе его матеріальной пользы и кажущейся благотѣльности. Мы съ Таней и Машей теперь въ Ясной, ѣдемъ назадъ въ Данк. уѣздъ, были въ Москвѣ на недѣлю.

Люблю васъ очень. Цѣлуйте дорогого старика. Сочувствую его горю и думаю что понимаю его. Цѣлую жену и дѣтей.

Л. Толстой.

Пишите Чернова Скопинск. уѣзда Рязанской губ.

Затѣмъ одна за другой получились двѣ открытки и письмо:

Открытка 11 дек. 1891.

Свѣдѣнія о горохѣ и требованія денегъ за него обращайтесь

Рафаилу Александровичу Писареву. Тула Губернская управа. Если горохъ хорошій то по 95 коп. присылайте два вагона. Для отправки требуйте отъ Писарева свидѣтельство краснаго креста для бесплатнаго провоза.

Л. Толстой.

Открытка 12 дек. 1891.

Если можно приторгуйте мнѣ кукурузы сухой 6 вагоновъ.

Л. Т.

13 дек. 1891.

Какъ радостно мнѣ было получить ваши нѣсколько послѣднихъ строкъ.

Я заплакалъ читая ихъ. Не перестаю любить милый другъ. И всегда съ умиленіемъ думаю о васъ.

Мы были въ Москвѣ, вернулись опять сюда.

Порадуйтесь за меня: на этомъ дѣлѣ к. само по себѣ нехорошо, исполнено грѣха, я сошелся какъ никогда не сходилъ съ женой. Да, бережно надо обходиться съ людьми. У насъ Новоселовъ и Гастевъ живутъ. Очень много тутъ и худого и хорошаго. Но жить какъ я жилъ спокойно дома не могъ бы. Цѣлую васъ, милаго старика, жену и дѣтей.

Л. Толстой.

(Приписка моему отцу:).

Получилъ ваше письмо милый другъ старшій. Спасибо что пишете. Жаль что не дается вамъ начатая работа. Мнѣ тоже. Но объ этомъ не жалѣю. Любите же насъ по старому:

Дѣвочки цѣлуютъ.

Л. Т.

Работа моя по высылкѣ зерна продолжалась полтора года: весь 1892-ой и половину 1893-го года.

Когда я обратился къ крестьянамъ съ предложеніемъ продать мнѣ одинъ-два вагона зерна, мнѣ отвѣчали, что купцы будутъ ихъ бойкотировать, если они станутъ продавать мнѣ излишки. Не видя другого выхода, я обратился къ директору склада земледѣльческихъ орудій въ Нѣжинѣ и предложилъ ему скупать у крестьянъ зерно, вѣять его и отсылать. Когда продавцы увидали, что я продолжаю скупать рожь, они обратились ко мнѣ. Оставалось лишь брать зерно съ высокимъ удѣльнымъ вѣсомъ. Но вскорѣ я пересталъ покупать у купцовъ и перешелъ

къ помѣщикамъ и богатымъ казакамъ. У нихъ были болѣе крупныя запасы зерна и цѣны болѣе низкія.

2 января Москва.

Дорогой другъ Колечка.

Жена ошиблась какъ вы знаете, пославъ деньги по странному недоразумѣнію въ Кишиневъ. Она писала и телеграфировала и ошибка поправлена и вы деньги получите переводомъ по телеграфу какъ только они вернутся, что должно быть нынче или завтра. Пишу вамъ о томъ же; кромѣ того, что вамъ заказывала С. А. я прошу васъ купить мнѣ 6 вагоновъ ржи и 6 вагоновъ ячменя. 6 вагоновъ ржи по 1 руб. съ чѣмъ нибудь составить по 600 съ чѣмъ нибудь рублей около 4000 и 6 вагоновъ ячменя по 80 коп. составитъ около 3000. Деньги эти находятся у меня въ Тульскомъ банкѣ у Рафаила Александровича Писарева, которому я пишу съ этой же почтой, чтобы онъ высылалъ вамъ по вашему требованію. Если можете купить и льна не дороже 1 р. 15 к. за хорошую рожь и ячмень то сдѣлайте это пожалуйста. Я боюсь какъ бы васъ не обманули, въ особенности на мукѣ. Отъ этого я не совѣтовалъ Сонѣ выписывать мукою. Если мельникъ несомнѣнно честный тогда другое дѣло. Вотъ милый другъ чѣмъ мы занимаемся. Удивительно. Не думайте, чтобы я считалъ что дѣлаю что должно. Напротивъ постоянно думаю и чувствую что дѣлаю не совсѣмъ хорошо, иногда даже думаю что совсѣмъ нехорошо. Но лучшаго не могу дѣлать. Спасибо вашему старику; онъ утѣшительно говоритъ что хорошо одно то что нѣтъ бѣззвонія передъ внѣшнимъ противорѣчіемъ. Я знаю, что надо бы сдѣлать, да этого не осилю (пока) а сидѣть ничего не дѣлая, соблюдая свою внѣшнюю правоту не могу, вотъ и дѣлаю среднее дѣло исполненное грѣха и соблазновъ.

Такъ вотъ, если можете, сдѣлайте о чемъ просилъ и извѣстите. Я теперь въ Москвѣ недѣли на двѣ. Цѣлую васъ и отца и вашихъ жену и дѣтей.

Л. Т.

Извѣстите телеграммой что можете исполнить порученіе и тотчасъ же вышло свидѣтельство Кр. Кр.

12 янв. 1892.

Дорогой другъ Колечка. Вчера получили отъ васъ одно письмо, а нынче другое съ пятью дубликатами. Деньги должно

быть вы уже получили всѣ 16 т. на все заказанное сначала же-ноу количество ржи и гороха.

Теперь вопросъ въ томъ можете ли вы купить и выслать еще ржи 10 вагоновъ какъ я писалъ въ послѣднемъ письмѣ или ржи съ ячменемъ въ пропорціи 2 и 1. Если да и вы управитесь съ этимъ и можете скупить это и выслать то деньги у Писарева въ количествѣ 8 т. и ему написано чтобы онъ по вашему требованію высылалъ переводами черезъ Азовскій банкъ.

Страшную работу мы вамъ задаемъ. Меня мучаетъ мысль что вы черезъ силу работаете. Я знаю, что это дѣло не малое, когда его дѣлаешь самъ, какъ вы, и вотъ именно объ этомъ я и хочу просить васъ. Пожалуйста возьмите себѣ кого нибудь помощника или помощниковъ и платите имъ только чтобы дѣло шло скорѣе. Руководить меня въ этомъ не столько желаніе облегчить вашъ трудъ, я знаю что этотъ трудъ вамъ нравственно легко, сколько желаніе поскорѣе по зимнему пути получить хлѣбъ. Есть слухи что теперь въ Петерб. начали понимать опасность положенія и есть приказъ скупать весь хлѣбъ на мѣстахъ, такъ что мы можемъ остаться безъ хлѣба. А мы стали въ такое положеніе, что отъ насъ ждутъ что мы не только начатое доведемъ до конца т. е: прокормимъ до новины тѣ 4 т. человекъ к. кормятся но и прокормимъ ближайшихъ въ околосѣ. Мыслей соображеній обо всемъ этомъ тысячи и очень важныхъ, что некогда да и не выскажешь. Будемъ живы увидимся тогда поговоримъ. Я здѣсь тоскую и надѣюсь въ концѣ мѣсяца вернуться. Пишите все еще сюда. Цѣлую васъ и отца и всѣхъ вашихъ.

Очень любящій васъ

Л. Толстой.

Очень благодарю П. за его хлопоты. Пребываніе мое въ Москвѣ хоть на то пригодилося чтобы кончить свое писаніе. Кажется кончилось.

Предложеніе Льва Николаевича взять помощника меня смутило. Онъ не понималъ, что помощникъ мнѣ не помогаль бы, а только мѣшалъ исполнять мою работу. Зерно ссыпалось прямо въ вагонъ. Мнѣ часто приходилось присутствовать по ночамъ при погрузкѣ. Разъ я убѣдился, что грузчики высыпаютъ мои мѣшки въ вагонъ, номеръ котораго не соответствовалъ моему документу. Пришлось усилить надзоръ. И это было не единственный способъ обмана.

Однажды пріѣхалъ ко мнѣ въ хуторъ какой-то господинъ, который сталъ мнѣ объяснять, что деньги, которыя я получаю

отъ Толстого, — не его деньги, а общественныя, и поэтому требовалъ, чтобы я посылала рожь не туда, куда мнѣ было указано Толстымъ, а по другому направленію. Я ему отвѣтила, что мнѣ совершенно безразлично, кто далъ деньги. Я получаю ихъ отъ Толстого и дѣлаю съ ними, что онъ хочетъ. Возмущенному господину ничего не оставалось, какъ вскарабкаться на тѣлу и уѣхать.

Всего было отправлено 75 вагоновъ.

12 января.

Открытка. 5 февр. 1892.

Пожалуйста куйте и пришлите намъ Клекошки еще вагонъ гороха. Если можно поскорѣе.

Простите. Л. Толстой.

20 февр. 1892.

Спасибо дорогой другъ Количка, и за ваши письма и отчетъ и за всѣ ваши труды и отличную работу намъ на помощь. О горохѣ боюсь что затруднилъ васъ не выславъ денегъ. Я просилъ отмѣнить одинъ вагонъ если можно и рассчитывалъ на то, что о деньгахъ, если ужъ нельзя отмѣнить вы напишете прямо женѣ т. к. деньги идутъ изъ Москвы. Измучился я, голубчикъ отъ этой дѣятельности, не физически но нравственно. Если было сомнѣніе въ возможности дѣлать добро деньгами, то теперь его уже нѣтъ — нельзя, нельзя тоже и не дѣлать того, что я дѣлаю, т. е. мнѣ нельзя. Я не умѣю не дѣлать. Утѣшаюсь тѣмъ, что это я расплачиваюсь за грѣхи свои и своихъ братьевъ и отцовъ. Тяжестъ въ томъ, что не вѣришь въ добро матеріальной помощи и что главный трудъ есть не доброе отношеніе къ людямъ, а напротивъ — злое, недоброе по крайней мѣрѣ; удержишь ихъ въ ихъ требованіяхъ, попрошайничествѣ, уличаешь въ неправдѣ и вызываешь въ нихъ недобрый чувства; не только въ нихъ, но сплошь да рядомъ и въ себѣ. Очень люблю васъ и желать бы ближе чувствовать васъ и то чѣмъ и какъ вы живете; отъца ужъ нѣтъ. Цѣлую васъ.

Л. Т.

12 марта 1892.

Спасибо милый, дорогой другъ Количка, за всѣ ваши труды, а главное за вашу любовь къ намъ, ко мнѣ, въ кот. я никогда не сомнѣвался но проявленіе к. мнѣ всегда радостно слышать. Мы завтра 12 уѣжаемъ въ Москву на распутицу, такъ что если вздумаетъ прѣхать повидаться, чего очень хочется то такъ

разсчитывайте. Вы пишете, что сошлись съ братомъ. Не повѣрите, какъ мнѣ это радостно слышать. Очень радостно. Со мной тоже съ женой. Могу сказать, что лѣтъ за 10 не было такого сближенія. А вѣдь это важнѣе всего. И если любите любящихъ васъ (хотя они и любящіе, но не такъ какъ мы хотимъ) надо бы сказать если любите единомышленныхъ, единовѣрныхъ то что дѣлаете. А дорога именно любовь: къ разновѣрнымъ. Многому научилъ и научить этотъ голодъ. Цѣлую васъ.

2 апрѣля 1892.

Дорогой другъ Количка, ужъ и не знаю какъ отвѣчать вамъ. Вы работаете какъ волъ за нашимъ — правда столько же и нашимъ — но нами затѣяннымъ дѣломъ, а мы только наваливаемъ на васъ новыя и новыя дѣла и даже толкомъ не скажемъ чего мы хотимъ. Такое у меня ощущение виноватости передъ вами, милый другъ, такъ вы такъ и знайте и не слишкомъ строго меня судите. Мы теперь въ Москвѣ уже недѣли двѣ. На пасхѣ уѣзжаемъ. Я не совсѣмъ здоровъ и очень занятъ окончаніемъ моего писанія к. не идетъ, и кромѣ того суетой города и перепиской съ разными жертвователями.

Отецъ вашего жду каждый день. На душѣ у меня не скажу что дурно и это хорошо, но ново и потому не весело и трудно. Васъ люблю всей душой и желаю но не смѣю желать увидать, чтобъ вы не думали что «ново» значитъ какое нибудь отступленіе или сомнѣніе (да вы и не можете подумать этого) скажу что напротивъ «ново» для меня значитъ нѣсколько дальше и м. б. прямѣе все въ томъ же направленіи. Все это мое участіе въ этой заботѣ о голодающихъ это грѣхъ. Я свихнулся, поддался славѣ людской и теперъ каюсь, яснѣй вижу тотъ путь съ к. не надо сходить. Не содрѣшишь — не покаешься, а покаешься то на время тверже становишься. Уйти все-таки нельзя. Еще больше былъ бы грѣхъ. Надо кончать признаваясь въ грѣхѣ, что я и хочу дѣлать. Телеграфировалъ я вамъ съ вопросомъ о цѣнѣ проса, пшена и овса и писалъ вамъ о высылкѣ на остальные деньги гороха. Теперь спѣха нѣтъ, такъ какъ дорогъ нѣтъ ни у васъ я думаю, ни у насъ, навѣрное спѣха нѣтъ и потому что у насъ есть запасъ пока и потому на просторѣ распорядитесь съ остальными деньгами и свидѣтельствами чтобы намъ доставить не рожь — не хлѣбъ (у насъ его достаточно) а приварокъ — (его у насъ не хватаетъ), Подъ приваркомъ разумѣю горохъ, просо или пшено и овесъ (кисель) что вамъ подручнѣе и что сходнѣе то и купите и пришлите, имѣя въ виду и то, что и просо и овесъ лучше чѣмъ горохъ тѣмъ что они

могутъ быть въ случаѣ нужды употреблены и на сѣмена, въ к. будетъ нужда.

Ну вотъ пока ѣздую васъ и вашихъ и Р.

Л. Толстой.

Открытка 4 апр. 1892.

Сейчасъ получилъ ваше письмо отцу. Онъ въ Петерб. будетъ на дняхъ. Сейчасъ прѣхалъ Рѣпинъ. Говоритъ что онъ живъ здоровъ бодръ. Картина не допущена, онъ везетъ ее назадъ. Въ закрытомъ письмѣ пишу о покупкахъ и о душевномъ.

Л. Толстой.

19 апр. 1892.

Боюсь что я вамъ очень надоѣлъ, дорогой другъ Колючка, своими просьбами и порученіями объ употребленіи оставшихся у васъ денегъ. Я кажется раза три измѣнял ихъ назначеніе. Прозошло это отъ того, что я писалъ изъ Бѣгичевки, то изъ Москвы, то опять изъ Бѣгичевки, а мѣсто въ этомъ отношеніи измѣняетъ совсѣмъ взглядъ, да и само дѣло измѣняется. Во всякомъ случаѣ вы меня простите и слушайте что я теперь скажу и если можно исполните. Последнее что я вамъ писалъ было то чтобы вы употребили остальные деньги на покупку проса или овса или гороха, или того и другого и третьяго, что вамъ будетъ удобнѣе. Теперь же я прошу чтобы вы купили мнѣ не только на эти деньги (если онѣ еще не истрачены) но и еще на тѣ к. я прицлю вамъ 9 вагоновъ гороху. Въ этомъ намъ главная нужда. Но во 1-хъ нѣтъ въ этомъ ни малѣйшаго спѣха, а во 2-хъ я очень прошу васъ, милый другъ, не дѣлать этого самому, а поручить кому либо и заплатить за это комиссію. Отецъ вашъ говорилъ, что вы м. б. прѣдете къ намъ. Знаю, что этого не слѣдуетъ, но очень хотѣлось бы этого, какъ вы разсудите съ Богомъ, такъ и будетъ. ѣздую васъ и люблю крепко, также какъ и отца. Мы здѣсь пока одни съ Машей и намъ хорошо.

Л. Т.

13 мая 1892.

Дорогой другъ Количка,

Видно не судьба намъ еще повидаться, куда уѣзжаетъ отецъ? Что теперь дѣти. Какъ идетъ жизнь? Нѣтъ ли недовольства? У меня постоянное недовольство, но я знаю, что это не недовольство жизнью а собой. Дѣло наше все продолжается и

все яснѣ и яснѣ становится пальятивность его и необходимость основного леченія. Я кромѣ того кончаю все 8-ю главу. Кажется кончилъ. Если гороха нѣтъ не хлопочите. У меня есть корреспондентъ въ Кіевѣ, Штильманъ, онъ прекрасно исполняетъ порученія и я нынче ему телеграфировалъ о горохѣ. Такъ что если онъ возьмется и цѣна его подходящая то я ему поручу, а вы перешлите ему деньги, или передайте получивъ дубликаты. Тогда напишу. Рожь, говорятъ, одинъ вагонъ пришелъ, изъ Нѣжина, мы предполагаемъ, что намъ но дубликата еще нѣтъ. Съ нами живутъ и помогаютъ Алехины 3 брата — одинъ Митр. ушелъ съ Скороходовымъ путешествовать. — Новоселовъ, Леонтьевъ. Все люди хорошіе. Читали ли вы мою статью «Первая ступень» въ Вопр. Фил., я пришлю вамъ. Та же статья большая к. я назвалъ: «Царство Божіе внутри васъ есть» очень занимала меня. Казалось, что нужно б. ее написать и думается что она подѣйствуетъ на людей, но это всегда — какіе бы пункты не писалъ — думается. И освободиться хочется отъ этой работы и жалко разстаться съ ней. Всякая работа со стороны кажется легка и всегда пріятна, а когда дѣлаешь ее тяжела и радостна только если она настоящая въ прошедшемъ. Такова мнѣ думается будетъ ваша тихая работа, к. я боюсь иногда кажется вамъ тяжелой и не нужной. Меня всегда эта мысль мучаетъ за васъ. И не п. ч. бы я считалъ что такого эта работа, а напротивъ п. ч. она и особенно выдержка въ ней особенно драгоценны для того, кто ее дѣлаетъ, что я боюсь какъ бы вы не бросили ее или, что еще хуже, работали бы ее не цѣня ее. — На дняхъ явился къ намъ Шведъ 70 лѣтъ, жилъ 30 л. въ Америкѣ, б. въ Китаѣ, Японіи и Индіи и вездѣ работалъ среди народа и проповѣдывалъ работу для кормленія себя, безъ помощи скота, лошадей и воздержаніе отъ роскоши самое строгое вегетаріанство. — Много очень хорошаго онъ говоритъ — онъ Европейскій Сютаяевъ, Бондаревъ — невѣрующій — но ед-ва ли практич. человекъ, наводитъ на мысли. Прощайте голубчикъ. Маша со мною. Очень хорошо работаетъ. Цѣлую васъ и отца. Привѣтъ вашей женѣ и Р. Напишите же о себѣ.

Л. Т.

Открытка 8 авг. 1892.

Недавно пріѣхалъ изъ Рязанской губ. и теперь не поѣду нигде. Не отвѣчалъ вамъ долго за хлопотами и нездоровьемъ. Пріѣздъ вашъ разумѣется для всѣхъ насъ а главное для меня большая радость. Цѣлую васъ отца и вашихъ семейныхъ и Р.

Л. Т.

9 ноября 1892.

Получилъ ваше письмо изъ Москвы милый другъ. А то бы давно уже написалъ вамъ. Мы въ деревнѣ: Тая, Маша и я. И съ нами живетъ П. помогаетъ мнѣ въ моей работѣ. Работа все двигается но медленно. Жена досадуетъ что мы не ѣдемъ. А я не могу подняться и ѣхать на эту: умственно, суету всѣхъ этихъ Протовъ, Трегубовыхъ; психологій, богословій и т. п.: Въ мои годы хорошо жить въ тишинѣ, ожидать голоса Бога и прислушиваться къ нему, готовясь идти къ нему. Что мнѣ говорить вамъ про то, что вся энергія жизни должна быть направлена на то чтобы устранить то что мѣшаетъ Ему черезъ меня любить людей, что это есть то ученіе котор. берется м. б. внутри и внѣ себя, — вы это знаете также какъ и я. Но я себѣ это постоянно напоминаю и люблю когда кто напоминаетъ. Соловьевъ написалъ статью въ «Вопр. Фил.» о смыслѣ любви и говоритъ что половая любовь есть та любовь к. разрушаетъ эгоизмъ (вчера мы читали) это неправда. Это тотъ же эгоизмъ «à deux» какъ давно кто-то сказалъ. Стремится разрушить этотъ эгоизмъ только божеская любовь, любовь ко всѣмъ равная (какъ дождь на праведныхъ и непр.). И этой любви мы ищемъ и она только есть жизнь, есть трудъ, есть усиліе. Любви любящихъ, милыхъ дѣтей — это не жизнь, это изнѣженность, это Капуа въ к. теряешь силы. Въ этой любви не надо останавливаться. А вотъ ту гдѣ насъ не любятъ — враговъ. Отъ этого то и мучаетъ это насъ что мы чувствуемъ что можемъ что то сдѣлать и не сдѣлали. Я для себя и о себѣ говорю. Цѣлую васъ милый другъ. Напишу больше другой разъ. Лева бѣдняга въ Царскомъ поступилъ въ стрѣлковый баталіонъ.

Л. Т.

Москва 24 дек. 1892 г.

Случилось, что съ недѣлку пролежало ваше письмо безъ отвѣта дорогой другъ Колечка. Адресъ Хилкова: Тифлиской губ. Башкитегъ. А для посылокъ: Тифлисъ Грибоѣдовская ул. 10. Князю Георгію Дадьяни для передачи X. Не унывайте милый другъ не предпринимайте ничего, не портите своего положенія к. такъ хорошо. Терпите, претерпѣвый до конца спасенъ будетъ; запасайте масла въ свѣтильникъ чтобы быть готовымъ къ приходу жениха къ отвѣту на требованіе дѣла жизни к. можетъ быть предъявлено всякую минуту. Что это писалъ Р., съ вами ли онъ бесѣдовалъ? Мы въ Москвѣ. Я весь въ своей книгѣ въ писаніи ея — послѣдняя глава — заключеніе и ничего

не вижу ни о чемъ не думаю кромѣ какъ о ней. — И тоже стараюсь быть готовымъ. И какъ будто кажется что скоро требованія заявятся на к. надо умѣть и смѣть отвѣчать. Поша *) въ Бѣгичевкѣ. Леву выпускають по нездоровью. Цѣлюю васъ.

10 февр. 1893.

Надѣюсь что у васъ въ семьѣ теперь ужъ всѣ здоровы дорогой другъ. Я получилъ ваше письмо уже давно, а только теперь въ Бѣгичевкѣ удосужился написать. Въ Москвѣ народу столько видишь что выходитъ что никого не видишь и себя не видишь. Мы здѣсь теперь въ Бѣгичевкѣ съ Таней и Машей. Поша тутъ (это б. его статья) Поповъ, Семеновъ крестьянинъ. Положеніе очень тяжелое въ народѣ, но какъ чахоточный на к. страшно взглянуть со стороны самъ не видитъ своей изчахлости. Такъ и народъ. То же я испытывалъ въ Севастополѣ на войнѣ. Все говорило: ужасы, ужасы. А пріѣхали никакихъ ужасовъ нѣтъ, а живутъ люди, ходятъ, говорятъ, смѣются, ѣдятъ. Только и разницы что ихъ убиваютъ. То же и здѣсь. Только и разницы, что чаще мрутъ. А этого не видно. Видѣлъ въ Москвѣ вашего отца. Онъ очень увлеченъ своимъ искусствомъ. Я это такъ понимаю и радуюсь пока что самъ не въ такомъ же увлеченіи. Хотя всякую минуту можетъ случиться. Я все свою пишу книгу: заключеніе к. очень занимаетъ меня. Боюсь я что вы мало себя внушаете что вамъ хорошо. Мы всѣ къ этому склонны: составимъ себѣ воображаемую нестолько жизнь, но радость на эту жизнь и какъ только радости этой нѣтъ, такъ намъ скучно. Мы чувствуемъ себя неудовлетворенными. Вчера Поша получилъ письмо отъ Леонтьева. Онъ пишетъ что ему скучно, что онъ неудовлетворенъ духовно (онъ иначе выражается) что причина этого разъединеніе. Вотъ и выскочило шило изъ мѣшка. Какъ можетъ мое отношеніе къ людямъ дать или не дать мнѣ духовное удовлетвореніе. Мнѣ то стоящему по моимъ годамъ одной ногой въ гробу это такъ ясно видно. Il faudra mourir seul et il faut vivre seul т. е: съ Богомъ. Пока на него не обопрешься не выдержишь ни одна подпорка. А что если бываетъ неинтересно неувлекательно жить, какъ это теперь я вижу у многихъ и въ чемъ, въ недовольствѣ на это, я васъ подозреваю то надо знать и помнить что весна и лѣто бываетъ не постоянно, а естъ зима. И въ духовномъ движеніи естъ эта периодичность. Нужна зима и ночь для отдыха. И чѣмъ холоднѣе зима и темнѣе ночь тѣмъ ближе разсвѣтъ. Я узналъ о томъ что вы

*) Павелъ Бирюковъ.

не прїѣдете отъ Петрункевичъ дѣвицы. Узналъ тоже что вы съ дѣтми занимаетесь. Это хорошо. А Булыгинъ (я не видалъ его) отданъ подъ судъ за открытіе школы безъ разрѣшенія. Это будетъ полезное для судейскихъ. Онъ имъ много добраго и полезнаго скажетъ на судѣ. Цѣлую васъ крѣпко. Очень любящій васъ Л. Т. Дѣвочки кланяются.

Открытка 11 мая 1893.

Мы нынче уѣзжаемъ въ Бѣгичевку, на недѣлю, поэтому не отвѣчайте мнѣ въ Ясную; да и вообще не отвѣчайте мнѣ на послѣднія два письма. Пишите о себѣ объ отцѣ и о вашихъ.

Л. Т.

16 мая 1893.

Дорогой другъ Колечка. Не переставая думаю о васъ, и каюсь завидую. Знаю что претерпѣвый до конца спасень будетъ но иногда становится особенно тошно. Теперь такъ. Заключение свое кончилъ и послалъ и какъ человекъ уткнувшійся въ одну точку и не видѣвшій ничего кругомъ, оглянулся и возмутился и уныль. — Сколько ошибокъ сдѣлано мною и непоправимыхъ и вредныхъ для дѣтей соблазняющихъ ихъ. И какъ я былъ и про-должаю быть плохъ — слабъ. —

Дорожите, милый другъ, своимъ положеніемъ, цѣните его. Если вамъ кажется иногда что вы стоите то это отъ того что вы слишкомъ ровно течете туда куда надо. Какой слѣдъ оставить ваша жизнь когда гдѣ? не знаю. Но добрая жизнь оставить большой добрый слѣдъ и чѣмъ незамѣтнѣе онъ вамъ, тѣмъ вѣрнѣе то что онъ есть. А я такъ знаю что жизнь моя дурная, вижу вредный слѣдъ к. она оставляетъ и не переставая страдаю. Можетъ быть страданіе оставить слѣдъ. Дай Богъ, отъ этого я не плачусь на него. — Очень ужъ многого отъ меня требуется теперь послѣ всѣхъ сдѣланныхъ мною ошибокъ; требуется чтобы я жилъ постоянно противно своей совѣсти, подавая примѣръ дурной жизни, лжи и слышалъ бы и читалъ восхваленія себя за свою добрую жизнь. Единственное утѣшеніе, единственная радость жизни для меня теперь только въ томъ, чтобы знать что живя такъ какъ я живу я исполняю волю пославшаго меня. Но это говорить легко а дѣлать трудно. Въ этомъ мы всегда движемся хоть подбодряемы мотивами личныхъ радостей или одобренія людей, а когда этого нѣтъ то трудно жить только для исполненія воли Бога. Иногда въ рѣдкія минуты я это могу, большей частью же нѣтъ. Радостей никакихъ и сознаніе того, что служишь соблазномъ для людей — и не хватаетъ силъ жить

всякую минуту и только для Бога. А этого отъ меня требуетъ мое положеніе. Я долженъ жить юродивымъ, а не въ силахъ этого дѣлать. Такъ дорожите своимъ крестомъ и несите его. Не знаю поняли ли вы меня. Но мнѣ хотѣлось пожаловаться и именно вамъ. Не утѣшайте меня. Мнѣ только нужно б. высказаться. Передайте мою любовь отцу и Р. Цѣлую васъ. Привѣтъ вашей семьѣ. — Ждете ли вы гоненій. Ждите. Это нужно: Я опоздалъ.

Л. Толстой.

17 мая 1893.

Не дописалъ вамъ вчера во 1-ыхъ то, что вы мнѣ не пишете о томъ, о чемъ пишу. Я жду отъ васъ только того чтобы вы меня поняли, во 2-ыхъ то, что кажущаяся для меня тяжесть моего положенія въ томъ, что я вынужденъ жить безъ радостей личныя законныхъ, тѣхъ к. вы имѣете: труда, общенія съ животными, природой, общеніе не отравленное ихъ развращеніемъ, съ дѣтьми и безъ поощренія мнѣнія людскаго. Со мною случилось то что именно слава людская не только убила для меня привлекательность славы людской, но слава эта отравилась стала ядомъ, порокомъ: той славы людской извѣстности въ толпѣ я уже не могу желать п. ч. имѣю ее и знаю какъ она двойственна: если есть хвалители то есть ругатели, славы людской ту которую вы имѣете — доброе мнѣніе уважаемыхъ людей за свою добрую, хоть согласную съ убѣжденіями жизнь тоже не могу имѣть. И сверхъ всего этого эта же слава людская — какъ пишутъ за границей и установилось мнѣніе что я живу скромной, трудовой, бѣдной жизнью — эта же слава всякую секунду обличаетъ меня лгуномъ, подлецомъ живущимъ въ роскоши, наживающимъ деньги продажей своихъ книгъ. Я если думаю о славіи людской то въ роля вора к. боится всякую минуту что его уличатъ. Такъ что жить мнѣ приходится безъ стимула радостей законныхъ и не только безъ славы людской но съ постояннымъ сознаніемъ позора своей жизни, приходится жить тѣмъ чѣмъ я считаю, что можетъ и долженъ жить человекъ: только сознаніемъ исполненія воли пославшаго. И вотъ я вижу что я еще далеко не готовъ для этого и только, только учусь. И жизнь учитъ меня. И я долженъ радоваться и радуюсь. — А вамъ другое дѣло: у васъ должно быть другое дѣло какъ васъ учить жить. У васъ есть радости — нѣтъ позора, но должно быть есть охлажденіе сердца — любви. И ваша работа въ томъ чтобы увеличивать и кротость, мягкость настоящую, на справедливости стоящую, любовь. И помогай намъ Богъ рабо-

тать свое дѣло каждому и приближаться къ нему вѣчно, охотно. Цѣлую васъ.

Левъ Николаевичъ угадалъ, что у меня охлажденіе ко всему, что не относилось къ отцу и къ моей семьѣ. Моей цѣлью было освободить моего отца, извѣстнаго художника, отъ всякихъ матеріальныхъ заботъ, и дать ему возможность цѣликомъ отдаться своему искусству.

Внѣ дома единственной моей заботой являлась семья Толстыхъ. Я изрѣдка посѣщалъ ихъ. Ихъ жизнь была огравлена массой чуждыхъ людей, селившихся вблизи Ясной Поляны. Въ то время я не зналъ, что происходило въ душѣ родителей, но чувствовалъ, что ихъ ждетъ катастрофа. Лишь впоследствии мнѣ открылась глубина пропасти, въ которой они потерпѣли крушеніе. Между молодыми Толстыми и мною сохранялись дружественныя отношенія, особенно со старшими, Сергѣемъ, Ильей и Львомъ, — меншіе ихъ братья были еще малыми, когда я жилъ въ ихъ семьѣ. Съ старшими дочерьми, Татьяной и Маріей, я тоже былъ всегда въ самыхъ дружественныхъ отношеніяхъ.

Еще разъ довелось мнѣ сдѣлать съ Львомъ Николаевичемъ путь изъ Москвы въ Ясную пѣшкомъ. Но на этотъ разъ прогулка не удалась. Къ намъ пристали посторонніе, которые оставили насъ на полдорогѣ.

6 сентября 1893.

Я передъ вами безъ вины виноватъ дорогой другъ Кличка. Ваше предпоследнее коротенькое письмецо долго лежало у меня на виду и я все собирался отвѣтить на него; а потомъ заболѣлъ, приводилъ потомъ все въ порядокъ и почему то рѣшилъ, что писалъ вамъ. Я совершенно также какъ вы часто и очень всегда радостно думаю о васъ. Уединеніе ваше очень хорошо. Вы дѣлаете въ тишинѣ и закрытіи, хотѣлъ сказать большее но лучше скажу истинное дѣло: живете и живете всѣми сторонами жизни непосредственно по настоящему. Главное важно что съ дѣтьми. Мнѣ всегда жутко что вы недостаточно цѣните важность ихъ — дѣтей. Жизнь наша чтобы быть полной непремѣнно должна имѣть двѣ стороны: исполненіе самой жизни для себя и воздѣйствіе на людей для исполненія ихъ ложной жизни: проповѣдь. У васъ обѣ стороны. Я говорю и думаю и про меня думаютъ что я имѣю вліяніе на людей проповѣдью — на всѣхъ языкахъ печатаютъ, читаютъ. А у васъ дѣти, которые въ сердцахъ вынесутъ всю вашу душу, всѣ мысли

лучшаго свойства и на вѣки понесутъ ихъ въ мѣръ передавая ихъ. Моя дѣятельность трескучая и поэтому внѣшняя и сомнительная. А ваша на дѣтей тихая невидная, подземная, но неудержимая, вѣчная, несомнѣнная и безнаградная. Только бы релігіозно относиться къ нимъ, помнить что это живой Божій станокъ изъ кот. не вырubiшь топоромъ ничего изъ того что вложишь въ нихъ. Меня Богъ лишилъ этой дѣятельности. Я вижу какъ мои растутъ портясь жизнью приготовляемые къ тому чтобы стараться не понять меня и не только не передать, но передать превратно. Цѣните свое положеніе милый другъ, и я вижу что вы цѣните его. И помогай вамъ Богъ. Большинство людей, не только далекихъ, но казалось бы близкихъ по убѣжденіямъ не оцѣнятъ вашу жизнь даже осудятъ ее; но дѣти, выросшіе тутъ только бы они всегда ощущали любовную атмосферу поймутъ и въ нихъ все окупится. Только какъ можно больше свободы имъ и просвѣщенія, разумѣется не гимназическаго а христіанскаго. Какъ? все это дѣлать не знаю п. ч. не испыталъ, но вижу важность, значительность этого дѣла. Вижу что пустить на свѣтъ живого человѣка просвѣщеннаго важнѣе сотенъ книжекъ. Вашъ духовный сынъ Мих. Вас. вотъ долженъ радовать васъ. Онъ очень силенъ я всегда люблюсь его отношеніемъ къ требованіямъ власти и не ослабѣвавшему стремленію къ освобожденію себя отъ грѣховъ нашей роскоши. Вы мнѣ рассказываете какъ васъ сынъ четырехлѣтній научилъ, а у меня начатъ рассказъ очень меня занимающій о дѣтяхъ богатыхъ помѣщиковъ принявшихъ участіе въ помощи голодающимъ и увидавшихъ всю ложь въ лицемѣрїи жизни старшихъ и возмущившихся противъ нихъ. Постоянно приходится перекладывать то то, то другое указаніе евангелія вверхъ. Такъ теперь мнѣ особенно важно и дорого и вамъ должно быть указаніе о святости дѣтей и о страшномъ грѣхѣ нашемъ соблазна ихъ, когда не замѣчая того, дѣлаемъ уступки, кривимъ душой и не каемся, а еще оправдываемся.

Надѣюсь, что Г. поправилась теперь. Что у ней было. Нетифъ. Воображаю какъ потеря ея была бы тяжела для васъ и измѣнила бы всю вашу жизнь. Хотѣлъ бы я понять всю самую внутреннюю сторону вашихъ отношеній. Я какъ вы знаете кончилъ свою большую статью. Она переводится и вотъ вотъ должна выйти за границу. Не могу не ожидать переменъ въ жизни христіанскаго міра. Такъ много людей ждутъ этого, хотя бы предвидять. Были статьи Зола и Дюма о настроеніи умовъ теперь, я написалъ по этому поводу статью. Она напечатана въ Сѣверномъ Вѣстникѣ. Мнѣ вѣрно пришлютъ оттискъ и я

пришло вамъ. Теперь же я ничего не дѣлаю. Ждутъ письма, обрываю. Цѣлую васъ, всю вашу семью, старика милаго и Р. Что они.

Л. Т.

1894.

Милый другъ Количка, я было пересталъ употреблять условные эпитеты въ письмахъ, потомъ опять сталъ употреблять. Но вамъ пишу не условный эпитетъ, а то что чувствую къ вамъ. Сейчас ѣдетъ вашъ старикъ и я живо представилъ себѣ васъ и такъ захотѣлось быть съ вами. Вашъ старикъ рассказывалъ что вы стали подвижны, какъ будто устали отъ однообразія или вступаете въ новый фазисъ жизни, что мнѣ подтверждаетъ и то, что вы пишете что хотите заняться воспитаніемъ дѣтей. Не могу вамъ сказать до какой степени я сочувствую этому и какъ меня волнуетъ то какъ вы приметесь за это дѣло, не измѣняя своей жизни, цѣны которой вы живя ею, не знаете. И вотъ для того чтобы видѣть это и можетъ быть помочь вамъ совѣтами и дѣломъ и хотѣлось бы быть съ вами. Еще хотѣлось откликнуться на ваше письмо Машѣ, которое очень тронуло меня. Неприятно отношеніе къ живому какъ къ мертвому, хотя и съ самыми добрыми намѣреніями. Это кромѣ того, нарушаетъ простоту отношеній а простота эта очень драгоценна. Третьяго дня были у Булыгина. У него хорошо: Жена его по ближе къ нему не крестила послѣдняго ребенка хотя и колеблется теперь. Онъ же возится все съ судомъ: пишетъ имъ прекрасныя, поучительныя для нихъ бумаги и даже говорить рѣчи. Онъ защищалъ одного нечаяннаго убійцу и много сказалъ имъ для нихъ полезнаго.

Мнѣ его жизнь очень нравится тѣмъ болѣе что онъ самъ недоволенъ ею. Какъ бы хотѣлось послужить вамъ въ дѣлѣ воспитанія дѣтей, составленіемъ катехизиса изложеніемъ вѣры, кот. я пишу теперь? Хочется чтобы отвѣчать на тѣ вопросы кот. всегда одинаково возникаютъ во всѣхъ дѣтяхъ и простыхъ людяхъ и отвѣтить убѣдительно, доказательно и безспорно и безъ спора; и чтобы было коротко и понятно. Работаю надъ этимъ и очень буду радъ если удастся. — Изъ всего вижу, что ваши отношенія съ близкими людьми становятся все лучше и лучше. Какъ здоровѣ З.? Передайте имъ обоимъ мою любовь. Напи какъ всегда всѣ васъ очень очень любятъ. Я все подвигаюсь къ плотской смерти, и годами и силами, а главное сознаниемъ. Такъ иногда манитъ та новая жизнь, кот. ожидаетъ тамъ, что

еслибы здѣсь не было такъ много хорошаго радостнаго дѣла, то стремился бы туда, не смотря на трудность этого маленькаго переѣзда изъ этой жизни въ ту. — Мы не понимаемъ телеграмму. Если П. съ вами то поидуйте его за меня. Всѣмъ вашимъ скажите что есть такой старикъ, которому они близки и к. любить ихъ.

Л. Т.

3 июня 1894.

За вами письмо милый другъ Количка, а все-таки пишу вамъ, пишу п. ч. Евг. И. рассказалъ про васъ такое чему не хочется вѣрить. Сущность его рассказовъ то что вы говорите что все скверно и что ваши послѣдніе 8 лѣтъ ничего не дали вамъ и что христіанство есть, хотя и наилучшій выходъ, изъ той ловушки въ к. насъ здѣсь поймалъ кто-то, оно все-таки не удовлетворяетъ. Много хотѣлось бы сказать на все это, но не знаю до какой степени это вѣрно передано. Скажу только два замѣчанія кот. изъ меня просятъ. Первое то что всѣ мои большія и малыя ошибки — грѣхи въ жизни происходили — я увѣренъ что и у всѣхъ тоже — отъ того, что я не выдерживалъ. отъ того что вынималъ удочку въ то самое время когда на червяка нацѣплялась самая необыкновенная добыча. «Претерпѣвый до конца спасенъ будетъ». Но когда же конецъ? Никогда. Это одно, а второе связанное съ этимъ замѣчаніемъ то что вы говорите: христіанство наилучшій хотя и плохой выходъ. Но христіанство ли то что вы называете христіанствомъ, христіанство для меня въ самомъ сжатомъ выраженіи вѣдь то чтобы цѣль своей жизни перенести изъ себя въ Бога, въ служеніе ему. Если это такъ, то какимъ же образомъ ваша жизнь не была осуществленіемъ этой цѣли — служеніе Богу. По моему она была. Вы другого не могли сдѣлать. А то что вамъ не видно какъ эта ваша жизнь послужила Богу, то никогда никакой Моисей не вошелъ въ обѣтованную землю. Въ томъ и дѣло, въ томъ и христіанство чтобы вѣрить въ свое посланничество. Ну да это я говорю на обумъ. Боюсь что ни фонд всего этого у васъ есть личное горе. Если такъ, подѣлитесь. Люблю васъ всегда все больше и больше. Третьяго дня былъ съ Чертковымъ у Булыгина к. идетъ въ Крапивнѣ въ тюрьму — на 2 недѣли — за отказъ представить своихъ лошадей для воинской повинности. Онъ удивительно твердъ и радостенъ. Завтра хочу опять ѣхать къ нему. Слышали ли вы что Кудрявцева Николаевскаго поса-

дили тоже въ тюрьму. Только то знаю, что прѣхали жандармы описали его домъ и его увезли.

Привѣтъ отцу, женѣ Р. Какъ здоровіе З.? Что ваши ребята.
Л. Толстой.

Съ начала 1894 года я сталъ замѣчать, что здоровье моего отца пошатнулось. До того онъ никогда не бывалъ боленъ, а тутъ начали появляться разныя недомоганія. Систематическое запрещеніе выставлять картины его угнетало. Появились признаки ослабленія сердечной дѣятельности.

1-го іюня, вечеромъ, онъ вернулся на телѣгѣ, нанятой на желѣзнодорожной станціи Плиски. Меня поразило, что онъ мнѣ не телеграфировалъ заранѣе. Онъ съ трудомъ слѣзъ съ телѣги и еле передвигалъ ноги. Я помогъ ему войти въ домъ. Онъ подошелъ къ столу, гдѣ лежали письма, но не обратилъ на нихъ вниманія и сказалъ, что ему не хорошо. Съ моею помощію онъ легъ на кровать, которую по его желанію послѣ смерти матери перенесли въ столовую. Онъ повернулся на спину и вслѣдъ затѣмъ потерялъ сознаніе. Онъ вытнулся. Все было кончено.

Я остался одинокомъ съ женой и дѣтьми. Прежде всего я сталъ искать мѣсто, гдѣ бы я могъ воспитывать моихъ дѣтей, не измѣняя слога образа жизни. Получивъ письмо отъ неизвѣстнаго мнѣ человѣка, предлагавшаго мнѣ основать школу, я поѣхалъ познакомиться съ нимъ. Но увидѣлъ, что его планы были нереальны, и вернулся домой.

16 іюня 1894.

Получилъ ваше письмо милый Количка и не могу не могу лонять того, что вы говорите. Человѣкъ 10 лѣтъ пересталъ красть и вдругъ на 11-ый говоритъ что онъ ошибся. Да вѣдь въ нашей и вашей жизни только та и разница, что всякая чистая рубаха к. я надѣваю, всякій кусокъ к. я кладу въ ротъ — краденые и мнѣ больно и стыдно такъ жить а у васъ были не краденые и вамъ не было стыдно. Остальныя всѣ условія жизни и моей и вашей были равны и мы могли быть злы или добры и на краденномъ и на своемъ. Вѣдь главное то, что дѣлать больше нечего какъ то что вы дѣлали. Можетъ быть можно лучше дѣлать, но другого все-таки нечего. — Вѣдь дѣлаемъ мы то, что дѣлаемъ — я по крайней мѣрѣ — не п. ч. это мнѣ пріятно или поучительно а п. ч. ничего другого нельзя дѣлать. То что Ч. пишетъ вѣрно, но думаю что и то, что я пишу не противорѣчить этому. Когда будете спокойнѣе, и захоти-

те, напишите не торопясь. Смерть милаго друга очень была поучительна и значительно для меня. Я думаю и для васъ. Я никакъ не думалъ, что я такъ люблю его и какъ всегда удивляюсь какъ недостаточно цѣнили его. Любящий васъ.

Л. Толстой.

12 августа 1894.

Отвѣчаю немного помедливъ милый другъ Количка и потому пишу въ хуторъ. — Я и до вашего письма иначе не смотрѣлъ на мое отношеніе къ тому что оставилъ мой дорогой другъ какъ такъ что пока я живъ я обязанъ сдѣлать что могу для того чтобы его трудъ принесъ тѣ плоды к. онъ долженъ принести. Напишите П. и дайте мнѣ и Ч. *carte blanche* и мы будемъ дѣлать что сможемъ и съумѣемъ. До сихъ поръ я дѣлалъ только то что переписывался съ Третьяковымъ*). Онъ пишетъ въ послѣднемъ письмѣ, что онъ не можетъ приобрести Судъ и Распятіе п. ч. или запретять или враги испортятъ картину чего онъ опасается даже за Что есть истина? Я кажется внушилъ ему отчасти все значеніе того что оставилъ Ге и будучи въ Москвѣ буду стараться устроить черезъ него или Солдатенкова или кого еще музей Ге. Моя мысль та, что надо устроить помѣщеніе и собрать въ него всѣ работы Ге и хранить и показывать. Объ изданіи рисунковъ не могу сказать, не видѣвъ ихъ: если вы будете уѣзжать изъ хутора перешлите ихъ сюда въ Ясную. Мы рассмотримъ и пока будемъ хранить. Ч. хвораетъ лихорадкой и очень ослабѣлъ. Онъ разумѣется радъ служить этому дѣлу. Онъ вѣрно написалъ или напишетъ вамъ. Я теперь сижу часто въ мастерской Тани и смотрю на обѣ картины. И что больше смотрю то больше понимаю и люблю. Картины эти слагались въ сердцѣ и головѣ художника да еще какого — десятки лѣтъ, а мы хотимъ въ 5 минутъ понять и обсудить.

*) Въ послѣдніе годы отецъ очень желалъ, чтобы его картины были собраны въ музей, гдѣ бы онѣ представили жизнь Христа. Левъ Николаевичъ очень сочувствовалъ этому плану и постарался внушить П. М. Третьякову мысль создать въ его галлерей «музей Ге».

Послѣ смерти моего отца П. М. Третьяковъ писалъ мнѣ:

Москва, 27 марта 1897 г.

Многоуважаемый Николай Николаевичъ!

Поступившія отъ Васъ въ даръ Московской Городской Галлерей произведенія покойнаго Вашего батюшки Николая Николаевича Ге:

Теперь о васъ, милый другъ, вы переживаете критическій періодъ своей жизни, очень мучительный и трудный. Я всей душой сочувствую вамъ и желаю чтобы вы поступили по божьи — въ виду вѣчности, помня плотскую смерть кот. вводитъ насъ и всѣхъ людей въ общую всѣмъ намъ жизнь не протраченную не временную. Если есть такая жизнь, то надо жить и дѣйствовать въ виду ея, если же нѣтъ, то совершенно все равно, какъ ни дѣйствовать. Писали вы ночью, но письмо ваше дышетъ беспокойствіемъ и недобротой. Въ сомнѣніи воздерживайся, говорить, а я бы сказала еще: въ спокойномъ не любовномъ состояніи воздерживайся, замри, жди когда придетъ доброта, а пока не рѣшай. Цѣлую васъ. Наши, Лева по нездоровью въ Москвѣ, увы для доктора, Таня съ ними и Маша тамъ Ч. завтра ѣдетъ въ себѣ.

Л. Толстой.

7 сентября 1894.

Пожалуйста не прерывайте, дорогой Количка, нашихъ хорошихъ, исключительно дружескихъ и имѣющихъ такъ много самыхъ важныхъ основъ, отношеній, подъ основами этими и разумью и нашу непосредственную просто взаимную симпатію и нашу любовь къ умершему другу и главное единство нашей вѣры. Вѣршія перемѣны въ жизни не могутъ и не должны этого измѣнить. Очень вамъ трудно знаю, но хоть робко, но всетаки скажу вамъ совѣтъ: ничего не разрушайте, ничего не рвите силою, ни на кого не сердитесь, никого не обвиняйте кромѣ себя. Себя всегда можно обвинить и всегда справедливо п. ч. какъ бы ни клеветали на насъ, ни осуждали насъ ни

шесть картинъ, четырнадцать эскизовъ, два портрета, тридцать два этюда и шестьдесятъ два рисунка, имѣютъ быть выставлены въ галлерей (въ теченіе года отъ сего времени) навсегда для публичнаго обозрѣванія ихъ, тѣ изъ этихъ работъ, которыя почему-либо не будутъ выставлены, могутъ быть сохраняемы въ особомъ помѣщеніи при галлерей, или же взяты Вами обратно. Такъ же должно быть поступлено съ альбомами и другими работами Н. Н. Ге, которыя Вы могли бы еще прислать.

Преданный Вамъ, П. Третьяковъ.

20-го октября 1898 г. Третьяковъ пригласилъ меня пріѣхать и посмотреть, какъ расположены картины. Я поѣхалъ немедленно; но пріѣхавъ въ Москву, узналъ, что Третьяковъ умеръ. Такъ какъ условія имъ опредѣленные не были выполнены, я принялъ необходимыя мѣры для возврата мнѣ «Распятія» и неоконченнаго эскиза «Распятія». Позже я ихъ отправилъ въ Европу.

кто не знаетъ нашихъ гадостей и всего размѣра ихъ. Цѣлую васъ. Пишите.

Л. Т.

Письмо Татьяны Львовны Толстой.

8 сентября 1894.

Дорогой Николай Николаевичъ.

Папа вамъ не отвѣтилъ на ваше послѣднее письмоцо, п. ч. написалъ вамъ за нѣсколько дней до этого.

Планъ Петра Ник. о выставкѣ очень хорошъ, еслибы онъ узналъ навѣрное у Товарищества, возьмется ли оно за это дѣло и надѣется ли на то, что позволить выставку.

Планъ же папа о томъ чтобы устроить музей Ге скоро не можетъ осуществиться. Надо будетъ въ Москвѣ побывать въ Румянцевскомъ Музеѣ и повидать разныхъ богатыхъ купцовъ и поговорить объ этомъ. Я буду въ Москвѣ въ 20-хъ числахъ сентября, а папа должно быть не раньше конца октября.

Мнѣ хотѣлось сейчасъ поѣхать въ хуторъ но мнѣ нельзя этого сдѣлать во 1-ыхъ потому, что мама въ Москвѣ съ Левой и мальчиками и я тутъ одна съ дѣтьми, а во 2-хъ пот. что думаю, что везти картины не зная куда и зачѣмъ — незачѣмъ, — только подвергать ихъ лишнему риску. Когда что-нибудь определенное рѣшится, то мы или пришлемъ кого ниб. или я приѣду.

Приѣдете ли вы назадъ въ хуторъ, когда найдете себѣ землю? и когда? не оставляйте насъ безъ извѣстій о себѣ.

О кающемся Грѣшникѣ буду помнить — записала.

Въ какомъ видѣ останется хуторъ и на кого? До свиданія. Всего вамъ хорошаго.

Толстая.

22 окт. 1894.

Милый другъ Количка вы вычеркиваете изъ вашей жизни все прошедшее, все что было за эти 8, 10 лѣтъ. Это было не то, обманъ, что вы притворялись и т. п.: а другой можетъ сказать что ваша теперешняя жизнь есть обманъ, что вы притворяетесь, что то что вы теперь это не вы, а что-то ложное искусственно болѣзненное (болѣзненное п. ч. есть это неестественное отрицаніе цѣлаго періода своей жизни). Но я не согласенъ съ вами чтобъ вычеркнуть прошедшее и не согласился бы съ тѣмъ к. утверждалъ что теперешняя жизнь обманъ. Ни то ни другое. А и въ той жизни было, то что есть у всѣхъ

насъ людей, много участія въ нашей жизни, тщеславія заботы о мнѣнїи людей много слабостей; и въ теперешней жизни вашей много неяснаго, подавленнаго чуждаго вамъ. Вопросъ въ томъ какая была чише, лучше, правѣе, ближе къ Богу?

На вопросъ этотъ отвѣтить можете только вы сами. Я только хотѣлъ сказать; что отрицать свою жизнь свое прошедшее нельзя: оно, насъ родило такими каковы мы теперь. Да и судить о прошедшемъ незачѣмъ. Надо судить о настоящемъ и въ настоящемъ искать жизни, движенія жизни. Вчера я перечитывалъ мои старые дневники 1884 года. И много разъ тамъ поминую васъ. Помните мы ходили къ Урусову въ Тулу. Мнѣ почему то очень памятно и радостно понятна эта прогулка. Развѣ я могу повѣрить вамъ что вы не жили тогда. Судите какъ хотите о себѣ только по осторожнѣе получше а я какъ любилъ такъ и люблю васъ и вы меня нисколько не испугали. Что вы рѣшили? Какъ складывается ваша жизнь? Цѣлую васъ.

Л. Толстой.

8 июня 1896.

Получилъ ваше письмо, дорогой Николай Николаевичъ и не смотря на то, что не согласенъ съ его содержаніемъ, очень былъ радъ ему. Почему вы говорите что наши хорошія, добрыя отношенія уничтожились? Я не признаю этого. И какъ самъ ни на юту не измѣнился къ вамъ, такъ и не допускаю того, чтобы вы измѣнились ко мнѣ. И то, что вы считаете причиной этого мнимаго измѣненія отношеній тоже не признаю. Никогда не судилъ, т. е: не осуждалъ не обвинялъ васъ. Зналъ что вы стали въ очень тяжелое положеніе относительно своихъ семейныхъ и только жалѣлъ васъ и не помышлялъ осуждать. Если же вы усматриваете осужденіе въ моемъ высказанномъ мнѣнїи о вашихъ отношенїяхъ къ брату то я только сказала что письмо ваше къ нему было не доброе. Да что за осужденія и осужденія за осужденія? Къ чему это? Ни вамъ, ни мнѣ ни главное, тому строю мыслей и чувствъ которыми мы жили и не можемъ перестать жить съ вами, это не пристало. У меня со времени смерти моего дорогаго друга вашего отца, не переставая кругомъ меня умирають и такъ ясно, что близокъ и мой чередъ что ни о чемъ кромѣ какъ о томъ о чемъ можно думать умирая, именно о любви къ людямъ и людей къ себѣ, не могу думать. А изъ всѣхъ любимыхъ мною людей вы одинъ изъ самыхъ близкихъ какъ вы ни старались удалиться. Письмо ваше было мнѣ очень радостно п. ч. оно показало что вы скорѣе хотите

сблизиться чѣмъ удалиться. Мы третьяго дня только вернулись въ Ясн. Поляну, а то все были въ Москвѣ, гдѣ я былъ боленъ. Теперь я выздоровѣлъ. С. А. очень горюетъ о смерти Вани. Я радъ всетаки, что она рѣшилась никуда не ѣхать а вернуться въ Ясную.

Сережа женится на Рачинской. Дѣвочки съ нами по прежнему. Лева въ Финляндіи лѣчится. Пишите про себя. Что вы дѣлаете и намѣреваетесь дѣлать. Передайте мой привѣтъ З. Цѣлую васъ.

Л. Толстой.

У Булыгина еще не былъ, но кажется что у него все по старому и хорошо.

19 окт. 1896.

Очень вы меня порадовали своимъ письмомъ, дорогой другъ Количка. Наши отношенія съ вами дошли до той радостной степени духовнаго сближенія при кот. не можетъ быть ни разрыва ни охлажденія. Если бы жить 20 лѣтъ и не видѣться то и тогда мы бы встрѣтились какъ вчера видѣлись. Есть извѣстная глубина на к. сближеніе совершается неразрывное. Отъ того меня до слезъ умилило ваше письмо.

Я недавно слышалъ про васъ отъ Юшко и другого Щербакѣва (забыли) которые поселились на Кавказѣ на Лысой Горѣ и васъ ожидаютъ къ себѣ. Я порадовался за нихъ и за васъ п. ч. они очень мнѣ понравились. Я думаю, что съ ними можно жить. Община какъ община не осуществима, не даетъ чего общааетъ — да вы все знаете, мы не разъ говорили съ вами про это. Такъ это когда судимъ объ общинѣ. Но когда вопросъ ставится такъ: мнѣ надо какъ нибудь начать жить. Есть люди кот. зовутъ меня жить съ ними на условіяхъ самыхъ хорошихъ. Отчего же мнѣ не пойти къ нимъ. Если бы такъ для меня стоялъ вопросъ, — можетъ быть онъ такъ стоитъ для васъ — я бы пошелъ. Наша жизнь идетъ по старому. Мальчики подростили Андрюша и Миша и не радуютъ. Лева вернулся изъ за границы здоровымъ съ женой и живетъ въ Ясной и по правдѣ сказать чуждъ пока. Съ женой у меня очень хорошо. Она не измѣнилась, но мы какъ то любимъ другъ друга черезъ нравственную и умственную жизнь и любимъ хорошо и все больше и больше. Дѣвочки какъ и прежде близки. Всѣ мы плохи по жизни, слабы, но знаемъ что хорошо что дурно и не лжемъ. Я пишу изложеніе вѣры, стараюсь ясно, коротко, доступно. Уже два года работаю, хотѣлъ бы кончить до смерти. Всѣ васъ

любить по прежнему. Прощайте пока, цѣлую васъ. Напишите же о себѣ и семьѣ подробно. А П. любите. Въ этомъ ваша задача.

Л. Толстой.

6 апрѣля 1897.

Спасибо вамъ, милый Количка, что написали о себѣ и положеніи больной. Очень жаль васъ. Если помнить въ такія времена, какъ то к. вы теперь переживаете что это особенно важное время въ к. каждый поступокъ получаетъ особенное значеніе то и такое тяжелое время пережить бываетъ хорошо. Помоги вамъ въ этомъ Богъ въ васъ. А я всей душой этого желаю и живу мыслями съ вами. Любящій васъ

Л. Т.

Третьякова еще не видалъ.

Новаго у насъ то что у Дунаева б. обыскъ и забрали пуда 4 бумагъ и книгъ. Онъ и его жена прекрасно отнеслись къ этому и какъ всегда бываетъ сблизились и укрѣпились.

Прощайте. Всѣ васъ помнятъ и любятъ. Передайте З. мой привѣтъ.

19 янв. 99.

Очень порадовали вы меня дорогой другъ Количка вашимъ хорошимъ письмомъ. Помоги вамъ Богъ удержаться въ такомъ настроеніи и не считаться съ людьми — это самое ужасное — а считаться только съ Богомъ, съ нимъ счеты коротки и легки и всегда выгодные. Письмо вашего пріятеля или скорѣе рассказъ удивительное. Оно на меня произвело страшное впечатлѣніе и я если онъ позволить почти цѣликомъ помѣщу этотъ рассказъ отъ лица одного изъ моихъ персонажей. Какъ же послѣ этого не быть 1-му марта. Отъ Серези жду каждый день телеграммы.

Л. Т.

23 янв. 99 г.

Получилъ и другое ваше письмо, милый, дорогой другъ Количка. Я писалъ вамъ — получили ли вы? Я благодарилъ очень за рассказъ. Я хочу его весь помѣстить. Рѣдко что производитъ на меня такое страшное впечатлѣніе. Спасибо вамъ что пишете мнѣ о себѣ. Я съ любовью слѣжу за вашей жизнію и страдаю за васъ, за тяжесть тѣхъ условій въ кот. вы находитесь и кот. никакой мудрецъ въ жизни не развяжетъ и кот. сами раз-

вяжутся жизнью и такъ какъ мы не ожидаемъ и навѣрное развяжутся хорошо и даже такъ, что будутъ радостью для насъ если мы только не будемъ сами развязывать, рвать, а будемъ только соблюдать то простое правило чтобы прощать и все всѣмъ прощать и заботиться только о томъ чтобы быть въ любви со всѣми. Для себя, милый другъ, каждый день подтверждаю это правило *et je m'en trouve très bien* и потому не могу не говорить того же другимъ. Главное то чтобы всегда помнить что всѣ мірскія соображенія, какъ бы они не казались важны ничто въ сравненіи съ тѣмъ чтобы не нарушить любви. И я именно говорю: не нарушить не говорю любить. Этого нельзя нарочно, а не нарушить, не попрекнуть, промолчать, сказать простое не злое слово, показывающее, что ты не сѣрдншься это всегда можно. И это такъ легко и такъ ужасно важно, важнѣе всего въ мірѣ. Только теперь начинаю ясно постигать это. Я все занятъ Воскр. и стараюсь помнить, что это пустяки въ сравненіи съ тѣмъ. Здоровіе стало хуже — спина болитъ. Прощайте голубчикъ, цѣлую васъ; привѣтъ Г. и Параск. Да напишите, что я получилъ письмо, благодарю и прошу простить что не отвѣчаю.

Л. Толстой.

Прошло еще нѣсколько лѣтъ. Заболѣла моя жена. Я возилъ ее въ Москву, гдѣ ее оперировали. Вернулась она ослабѣвшая и прожила послѣ этого лишь нѣсколько мѣсяцевъ. Я былъ въ отлучкѣ изъ дома, когда получилъ телеграмму, извѣщавшую о ея смерти. Она умерла, проболѣвъ пять дней, отъ сыпного тифа.

Послѣ этого для меня все было кончено въ Россіи.

Ликвидировавъ всѣ мои дѣла, я еще разъ поѣхалъ къ Толстому, у котораго на этотъ разъ прожилъ три мѣсяца вмѣстѣ съ моими двумя мальчиками. Они были еще малы: старшему было всего восемь лѣтъ, меньшому шесть. Они оба спали на большомъ диванѣ и Левъ Николаевичъ называлъ ихъ: «дѣти Эдуарда».

Эти три мѣсяца жизни у Толстого помогли мнѣ оправиться отъ потрясеній, пережитыхъ въ связи со смертью отца и моей жены.

Я ничѣмъ другимъ не занимался, кромѣ переписки рукописи «Воскресенія». Я легко разбиралъ почеркъ Толстого и работа подвигалась быстро. Иногда я проводилъ ночи напролетъ и это напоминало мнѣ доброе старое время

Толстой согласился продать Марксу, издателю «Нивы», ру-

копись въ пользу духоборовъ, выселявшихся въ Канаду. Я готовлялъ двѣ копіи, изъ которыхъ одна посылалась Марксу, а другая въ Англію, гдѣ жилъ Ч. Въ часъ, когда надо было отсылать эти копіи, приходилъ иногда Левъ Николаевичъ, просматривалъ текстъ и поправлялъ его въ одной изъ копій, обыкновенно въ той, которая отсылалась Марксу въ Петербургъ. Ч. былъ этимъ недоволенъ и упрекалъ Толстого въ измѣненіяхъ. Такъ какъ Левъ Николаевичъ передавалъ мнѣ письма (онъ то же дѣлалъ съ своими дочерьми), я ему указывалъ на эти упреки. Онъ ничего не говорилъ. Получалось другое письмо, съ совѣтами. Толстой молчалъ. Наконецъ, приходилъ готовый текстъ, который Левъ Николаевичъ долженъ былъ предпочесть своему тексту. Тогда Толстой писалъ, чтобъ дѣлали, какъ хотятъ. Иногда послѣ подобныхъ приставаній онъ вообще бросалъ работу на нѣкоторое время.

Наконецъ, насталъ день отъѣзда и я покинулъ Россію съ своими двумя сыновьями.

14 окт. 1899.

Получилъ ваше письмецо изъ поѣзда и изъ Вѣны. Спасибо что пишете милый другъ. Да, я думаю, что мы не цѣнимъ нашъ русскій духъ и вы вѣрно говорите объ учтивости скрывающей не братскую отчужденность. Боюсь, что это письмо поздно дойдетъ до васъ для распоряжен. к. нужны. Только вы не сердитесь. Самое лучшее средство чтобъ не сердиться на нихъ, въ томъ чтобы представить себѣ какія онѣ могли бы еще быть.

Я все хвораю — изъ 6 дней едва одинъ хорошъ и все пишу. Ольга и Соня переписываютъ. 4 главы послалъ но вѣроятно нецензурны. А меня теперь это 3-ья часть очень занимаетъ. И можно бы сдѣлать хорошо. Еслибы были силы. Всѣ васъ помнятъ и любятъ. Привѣтъ Пошѣ и Пашѣ и дѣтокъ лошаинныхъ. Какъ то ихъ приняли и что съ ними сдѣлали. То что вы пишете о дѣтяхъ заграничій — правда и то что мы знаемъ о воспитаніи дѣтей въ Россіи тоже правда. Главное — persévères. А то безъ этого слишкомъ хлопотно и непроизводительно жить. Цѣлую васъ.

Л. Т.

3 окт. 1900.

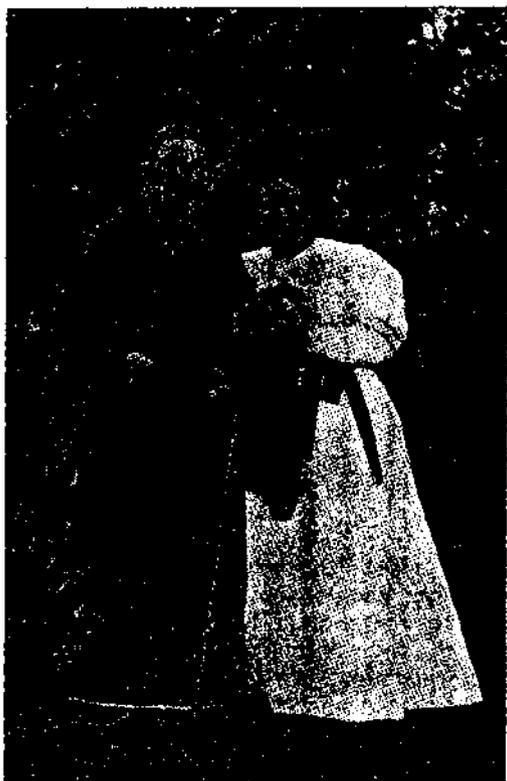
Спасибо, голубчикъ, что извѣщаете о себѣ. Я соскучился о васъ. Все что вы пишете о художн. очень справедливо. Смотрите

не затяните слишкомъ дѣло. Печатайте пока что есть. А остальное потомъ.

Посылаю вамъ письмо отъ Поши. Я понемножку работаю. Все хорошо. Вчера былъ Б. Былъ у П. видѣлъ вашихъ, говорить, что очень милы и что жизнь тамъ прекрасная. Прощайте. Цѣлую васъ.

Когда приѣдете.

Л. Толстой.



Л. Н. и С. А. Толстые въ Ясной Полянѣ (1900 г.).

Въ 1901 году я оставилъ своихъ дѣтей друзьямъ своимъ Б., жившимъ въ Женевѣ, и пернулъ въ Россію окончить печатаніе альбома, въ которомъ были воспроизведены художественныя произведенія отца. Еще до своего отъѣзда за границу я извѣздилъ много городовъ, разыскивая картины и портреты, проданные частнымъ лицамъ. Такъ, въ Харьковѣ у Филонова я разыскалъ «Пушкина въ Михайловскомъ». Въ альбомѣ на ста пяти листахъ помѣщалось двѣсти двадцать девять фототипій.

Пріѣхавши въ Кіевъ, я получилъ письмо отъ Маріи Толстой, въ которомъ она извѣщала, что вся семья уѣзжаетъ въ Крымъ и просила пріѣхать, чтобы вмѣстѣ ухаживать за больнымъ отцомъ. Онъ былъ на положеніи выздоравливающаго послѣ долгой болѣзни. Я поѣхалъ и нашелъ Толстого, въ Гаспрѣ, вблизи Ялты, гдѣ графиня Панина ему предложила свой дворецъ. Здѣсь Л. Н. опять заболѣлъ, на этотъ разъ брюшнымъ тифомъ и воспаленіемъ легкихъ.

Я прожилъ въ Гаспрѣ мѣсяцъ и просиживалъ ночи у постели больного. Ожидали его смерти. Онъ страдалъ бессонницей, и когда началъ поправляться, сказалъ какъ-то: «Коляска была подана, жаль, что я не уѣхалъ». Софія Андреевна, Марія съ мужемъ, Татьяна, Сергѣй и Александра окружали его. Выздоровленіе было медленное.

26 августа 1901.

Спасибо милый другъ Количка за письмецо. Маша уѣхала къ себѣ съ тѣмъ чтобы съѣхаться съ нами въ день отъѣзда 5-го такъ что и вы если будете писать не сейчасъ, то пишите Крымъ Кикининъ. Я здоровъ, какъ долженъ быть, работаю. То что при васъ писалъ кончилъ и теперь пишу о религіи объ ея отсутствіи и вѣхалъ въ работу. Нынче 26 и у насъ полонъ домъ: сестра съ дочерью и внучкой, Соня Ильюшина, Констан. Алекс., Лева, Сережа, Сулеръ, Михайловъ и еще кто-то есть и кто пріѣзжаетъ. Какъ хорошо, что вамъ хорошо, только смотрите, чтобы все также было. Все это такъ и должно быть среди тѣхъ людей съ которыми вы живете. Только помните, что если что вамъ покажется не такъ, то это вы ошибаетесь, а не перемена въ томъ, что такъ было и есть хорошо. Ч. пишетъ мнѣ что Поша б. у нихъ и что они б. по старому очень хорошо. Побывавъ какъ я въ снѣгахъ того свѣта такъ ясно что только одно на потребу, пребывающей въ любви пребываетъ въ Богѣ и Богъ въ немъ. — Получилъ письмо изъ Голандіи о новомъ отказѣ отъ военной службы и такое же отъ Юшко: Голандецъ прекрасно объясняетъ свой отказъ. Пришлю вамъ оба

письма. Попрошу Юлію Ивановну. Прощайте. Самъ не знаю кому пишу теперь вамъ или Пошъ. Оба вы мнѣ одинаково близки и дороги. Дѣтей цѣлую.

Л. Т.

20 марта 1903.

Спасибо вамъ милый другъ Количка что написали. Я все ждалъ этого. Я зналъ про васъ стороной, но хотѣлось прямо отъ васъ вѣсточку.

Все время радовался за васъ что вамъ хорошо и теперь еще больше, зная это отъ васъ самихъ. Особенно радостно семейное удовлетвореніе. Берегите это счастье, милый другъ, изъ всѣхъ силъ берегите; чтобы съ этимъ дожить до смерти. Альбомъ получилъ — спасибо. Я то умилялся проглядывая его, но боюсь что онъ не будетъ имѣть успѣха: очень мизерно изданіе въ сравненіи съ тѣмъ, что дѣлается теперь въ этомъ родѣ. Я поправляюсь теперь не такъ:

здоровье

болѣзнь

смерть.

Но мнѣ хорошо. Работаю и важное: ту философію кот. помните, я вамъ рассказывалъ идя по лѣвой сторонѣ Хамовническаго пер. и пустыки: Хаджи Мур. Вы скоро увидите моихъ съѣхавшихся въ Швейцаріи дочерей. Какъ вы всѣ будете рады увидать другъ друга.

Русская чепуха продолжается и даже усиливается, но вѣдь все это въ такъ называемой интеллигенціи; въ народѣ же тихо и неудержимо разрастаются корни и набираются соки. Прощайте. Привѣтъ З. дома, а въ Парижѣ Буайэ и С.

Л. Толстой.

27 ноября 1903.

Милый другъ Количка, начинаю писать вамъ и почеркъ мой становится похожъ на вашъ (это я хвастаюсь) но это значить, что я люблю васъ.

Разумѣется оставьте у себя письма. Таня очень живо написала свои воспоминанія. Какъ вы милый другъ живете. Вы хороши, но всегда боюсь за васъ, чтобы вамъ не попала возжа подъ хвостъ. Вы къ этому склонны и Парижъ къ этому располагаетъ: смотрите держитесь голубчикъ. Вы такъ хорошо устроили свою жизнь. Только не перемѣняйте ничего. Я здоровъ, бодръ, доволенъ жизнію приближающей меня къ смерти

и ничего не желаю, кромѣ того чтобы получше употребить остающіяся силы и время. Прощайте голубчикъ цѣлую васъ. Привѣтъ Д. В. С. и Буайѣ.

Л. Толстой.

11 іюля 1909.

Милый Количка,

Не могу исполнить ваше желаніе. Какъ писать о томъ, что не сочувствую рабству? Если писать объ этомъ, то надо писать основательно, сравнивъ прямое рабовладѣніе съ нашимъ посредственнымъ.

А это слишкомъ длинно, а главное слабъ и старъ и всѣ силы направляю на то, что хочется еще сказать въ тотъ короткий оставшійся срокъ. И потому прошу извинить меня, что не исполняю ихъ и вашего желанія.

Всегда съ любовью вспоминаю о васъ. Статью вашу пришлите. Увѣренъ что умно и дѣльно.

Левъ Толстой.

22 сент. 1909.

Получилъ ваше письмо, милый Количка и статью. Въ статью заглянулъ но не прочелъ. Тема статьи не интересуеъ меня. Я думаю только объ отдѣльномъ человѣкѣ, одномъ и томъ же во всѣхъ людяхъ и какъ ему какъ можно лучше не для себя телесно, а для души для согласія со всѣми прожить свою жизнь. А общіе вопросы о жизни народовъ никогда и прежде не интересовали, а теперь и совсѣмъ не интересуютъ меня. Радъ былъ вашему письму и тому что вы меня помните и любите какъ и я васъ.

Левъ Толстой.

5 окт. 1909.

Порадовали, милый Количка, вашимъ письмомъ. Помогай Вамъ Богъ.

Л. Толстой.

26 ноября 1909.

Очень, очень былъ радъ, милый Николай Николаевичъ, прочесть ваше письмо, излагающее сущность вашей статьи. Всею душой раздѣляю ваше мнѣніе. Ничего подобнаго въ Европѣ нѣтъ, главное потому что нигдѣ нѣтъ того, что у насъ есть у русскаго деревенскаго народа. Мы особенно рѣзко видимъ

ужась и мерзость интеллигенціи, потому что видимъ ее на фонѣ этого народа, котораго она же хочетъ поучать.

Ожидаю вашу статью.

Левъ Толстой.

19 декабря 1909 г.

Радуюсь и радуюсь, милый другъ Колечка, вашимъ письмамъ. Одно лучше другого. О томъ, что человекъ живетъ только тѣмъ духомъ общимъ, всемірнымъ, внѣпространственнымъ, который проходитъ черезъ него и который онъ имѣетъ счастье сознать. Je me suis tué à le dire. Но не я, а всѣ истинно религіозномыслившіе люди отъ Ведантистовъ, Конфуція, Лаоцзе, Будды, Христа до Марка Аврелія, Платона, Сократа, Канта и насъ съ вами-грѣшныхъ. Радуюсь тому что вы сами, не съ чужихъ словъ пришли къ этому. Только когда это такъ это радостно для себя и плодотворно.

Пишите задуманное. Только не увлекайтесь, не горячитесь. Въ нынѣшнемъ письмѣ есть по моему такое увлеченіе это то, что вы говорите о законѣ причинности. Это не ясно, да и не нужно.

Цѣлую васъ и радуюсь тому чувству которое испытываю къ вамъ.

Л. Т.

**
*

Я вновь увидѣлъ Толстого въ 1910 году. Но событія этого времени принадлежать другой эпохѣ.

Н. Ге.

Изъ пережитого *)

Среди напряженной, кипучей дѣятельности здоровье брата С. Н. внушало уже большія опасенія. Еще въ апрѣлѣ княг. Прасковья Вл. писала брату Евгению въ Кіевъ:

«Былъ у насъ докторъ Плетень, которому я предварительно сказала, какъ Фохтъ склоненъ опредѣлять Серезину болѣзнь... Добросовѣстнѣйшимъ образомъ выслушавъ Серезу, онъ повторилъ буквально слово въ слово все, что сказалъ Фохтъ. Страшнаго слова при Серезѣ сказано не было, но мнѣ онъ объяснилъ, что стѣсненія въ груди могутъ происходить отъ грудной жабы, если не происходятъ отъ расширенія сердца, что тоже склонно вызывать такого рода явленія. Условіемъ леченія поставилъ, чтобы онъ отказался отъ редакторства и уѣзжалъ въ деревню. То же сказалъ и Фохтъ, когда я его видѣла въ послѣдній разъ. Конечно, Сереза уже говоритъ, что не поѣдетъ ни за что и никуда...

Вчера онъ отсутствовалъ изъ дому, благодаря дѣламъ по редакціи, чѣму-то диспуту и обѣду съ новымъ докторомъ, — 13 часовъ сряду. Притомъ не особенно усталъ и сегодня имѣеть видъ хорошей. Только хуже спалъ, потому что попилъ вина».

Наряду съ сердечными явленіями все усиливившійся склерозъ проявлялся въ частыхъ приливахъ къ головѣ и мигреняхъ. Переутомленіе было какъ бы хроническимъ его состояніемъ, когда въ началѣ мая мнѣ пришлось уѣхать изъ Москвы въ Парижъ на свадьбу сестры.

Можно себя представить, какъ потрясло С. Н. извѣстіе о гибели нашего флота подъ Цусимой!.. Л. М. Лопатинъ, который былъ у брата, когда онъ получилъ по телефону первое извѣстіе о катастрофѣ, рассказываетъ, что онъ страшно поблѣднѣлъ и весь дрожалъ, голосъ его прерывался...

Статья его объ этомъ событіи въ «Московской Недѣлѣ» (№ 3), дышетъ горемъ и почти отчаяніемъ. Перечисляя всѣ пережитыя нами пораженія: уничтоженіе тихо-океанской эскад-

*) См. «Совр. Зап.» кн. 64-ая.

ры, Ляоянь... Портъ-Артуръ и Мукдентъ, подробности о которомъ продолжали еще поступать, С. Н. пишетъ:

Теперь совершилось послѣднее: у Россіи нѣтъ флота, онъ уничтоженъ, погибъ весь въ безумномъ предпріятіи, исходъ котораго былъ ясенъ всѣмъ.

Умеръ ли русскій патріотизмъ, умерла ли Россія? Гдѣ ея живыя силы, ея исполнскія силы, ея гнѣвъ и негодованіе? Или она разлагающійся трупъ, падалъ, раздираемая хищниками и червями. Чась пробилъ. И если Россія не воспрянетъ теперь, она никогда не подымется, потому что нельзя жить народу равнодушному къ ужасу и позору!. Полгода назадъ еще раздавались голоса, говорившіе, что пораженія на Дальнемъ Востоку — не наши пораженія, а пораженія нашей бюрократіи. Но можемъ ли мы, имѣемъ ли мы право успокаиваться на этомъ, особенно теперь, когда наша армія разбита, когда русскій флотъ уничтоженъ, когда сотни тысячъ людей погибли и гибнутъ? Мы-то русскіе или нѣтъ? Армія наша русская или нѣтъ? И наконецъ, миллиарды, которые тратятъ, принадлежатъ Россіи или бюрократіи? И наконецъ, самая бюрократія, самый строй нашъ, который во всемъ обвиняютъ, есть ли онъ нѣчто случайное и внѣшнее намъ, не зависящее отъ насъ приключеніе? Если причина въ немъ, то снимаетъ ли это съ насъ отвѣтственность?..

Такъ, какъ мы жили до сихъ поръ, мы больше не можемъ, не должны жить, не хотимъ жить. Теперь всякое промедленіе въ созывѣ народныхъ представителей было бы не ошибкой, а преступленіемъ.

Страшное возбужденіе охватило всѣ общественные круги. Организационное бюро земск. съѣздовъ признало необходимымъ созвать обще-земскій съѣздъ на 24-ое мая, въ Москвѣ, съ цѣлью выработать обращеніе къ верховной власти. Къ земцамъ рѣшили присоединится и городскіе дѣятели, такъ что съѣздъ 24-го мая былъ созванъ соединеннымъ бюро этихъ организаций.

Не будучи гласнымъ, братъ С. Н. не могъ вступить въ обще-земскую организацию и принималъ участіе въ майскомъ коалиціонномъ съѣздѣ лишь потому, что въ виду исключительныхъ обстоятельствъ на этотъ съѣздъ допускались общественные дѣятели по специальному приглашенію объединенныхъ бюро, а его присутствіе особенно было желательно всѣмъ.

Наканунѣ съѣзда стало извѣстно образованіе министерства полиціи и назначеніе Трепова... Дѣйствіе, произведенное этимъ актомъ на съѣхавшихся земскихъ и городскихъ дѣятелей, было

такowo, что многіе рѣшительно отказывались отъ какого-либо обращенія къ Государю, указывая на явную бесполезность этого, послѣ совершившагося. «Въ отвѣтъ на общенародное бѣдствіе, — учрежденіе полицейской диктатуры» — это была дѣйствительно какая-то безумная и опасная провокація...

Въ соединенное бюро было внесено нѣсколько проектовъ обращенія къ Государю, которые отвергались, и дѣло грозило распасться. И тѣмъ не менѣе патріотическая потребность объединиться въ эту минуту величайшей опасности взяла верхъ и призывъ къ единенію, исходившій отъ Д. Н. Шипова и И. И. Петрункевича, оказалъ свое дѣйствіе. Послѣдній въ горячей рѣчи напомнилъ присутствующимъ, что у всѣхъ, безъ различія партій, есть обязанность не только передъ Россіей, но и передъ Престоломъ, которому грозитъ опасность; что крушеніе Престола было бы гибелью для Россіи, и что онъ сознаетъ это тѣмъ сильнѣе, что самъ, какъ и большинство собравшихся, является рѣшительнымъ сторонникомъ конституціонныхъ реформъ.

Послѣ этой рѣчи обращеніе къ Государю было признано необходимымъ и брату С. Н. было поручено составить его текстъ, который, послѣ двухдневныхъ дебатовъ и поправокъ, былъ принятъ объединеннымъ собраніемъ, а затѣмъ была избрана и депутация для представленія его Государю *).

*) Текстъ петиціи былъ слѣдующій:

Ваше Императорское Величество! Въ минуту величайшаго народнаго бѣдствія и великой опасности для Россіи и самого Престола Вашего, мы рѣшаемся обратиться къ Вамъ, отложивъ всякую рознь и всѣ разногласія, насъ раздѣляющія, движимые одной пламенной любовью къ отечеству.

Государь! Преступнымъ небреженіемъ и злоупотребленіемъ Вашихъ совѣтниковъ, Россія ввергнута въ гибельную войну. Наша армія не могла одолѣть врага, нашъ флотъ уничтоженъ и грознѣе внѣшней разгорается внутренняя усобица.

Увидавъ вмѣстѣ со всѣмъ народомъ Вашимъ всѣ пороки ненавистнаго и пагубнаго приказнаго строя, Вы положили измѣнить его и предначертали рядъ мѣръ, направленныхъ къ его преобразованію. Но предначертанія эти были искажены, и ни въ одной области не получили надлежащаго исполненія. Угнетеніе личности и общества, угнетеніе слова и всякій произволъ множатся и растутъ. Вмѣсто предугаженной Вами отмѣны усиленной охраны и административнаго произвола, полицейская власть усиливается и получаетъ неограниченныя полномочія, а подданнымъ Вашимъ преграждается путь, открытый Вами, дабы голосъ правды могъ восходить до Васъ.

Изъ Записной книжки. — Москва. 9-го іюня 1905 г. Я была въ Парижѣ во время полученія извѣстія о Цусимѣ, и въ Бретани во время общеземскаго и городского сѣзда. Прочтя земскій адресъ въ «Matin», я сразу узнала Серезино перо и рѣшила ѣхать немедленно. Приѣхала я въ Москву 1-го іюня, и дома узнала, что братъ С. Н. съ женой только что выѣхалъ въ Меньшово. Я собиралась уже ѣхать слѣдомъ, какъ вдругъ С. Н. вернулся. На вокзалѣ его задержалъ Н. Н. Львовъ и сообщилъ только что полученную Головинимъ телеграмму: «Приѣзды Трубецкаго необходимъ, желаютъ принять». Погода стояла очень жаркая. Сереза былъ утомленъ и раздраженъ и все повторялъ: «Я такъ усталъ! Миѣ не даютъ отдохнуть!.. Зачѣмъ меня вытащили изъ вагона? Чтѣ я скажу Царю?.. Я не землецъ и ни къ какому городу не принадлежу, — въ качествѣ чего я буду представляться?..»

Онъ миѣ рассказывалъ, что и въ сѣздѣ не хотѣлъ принимать участіе. Сначала къ нему приѣхалъ Петрункевичъ и убѣждалъ ѣхать къ Новосильцевымъ (гдѣ происходилъ сѣздъ), — онъ наотрѣзъ отказался. Тогда Петрункевичъ вернулся и пригласилъ съ собой нѣсколько человекъ со сѣзда, которые и уломали его. Онъ говоритъ: — «Два дня былъ сушій адъ!.. Жара, крикъ, шумъ». — Подъ впечатлѣніемъ Цусимы всѣ бы-

Вы положили созвать народныхъ представителей для совмѣстнаго съ Вами строительства земли, и слово Ваше осталось безъ исполненія донинѣ, несмотря на все грозное наличие совершающихся событий, а общество волнуетъ слухи о проектахъ, въ которыхъ обѣщанное Вами народное представительство, долженствовавшее упразднить приказный строй, замѣняется сословнымъ совѣщаніемъ.

Государь! пока не поздно, для спасенія Россіи, утвержденія порядка и мира внутренняго, повелите безъ замедленія созвать народныхъ представителей, избранныхъ для сего равно и безъ различія всѣми подданными Вашими. Пусть рѣшаютъ они, въ согласіи съ Вами, жизненный вопросъ Государства, вопросъ о войнѣ и мирѣ, пусть опредѣлятъ они условія мира, или, отвергнувъ его, превратятъ эту войну въ войну народную. Пусть явятъ они всѣмъ народамъ Россію не раздѣленную болѣе, не изнемогающую во внутренней борьбѣ, а исцѣленную, могущественную въ своемъ возрожденіи и сплотившуюся вокругъ единого стяга народнаго. Пусть установятъ они, въ согласіи съ Вами, обновленный государственный строй.

Государь! Въ рукахъ Вашихъ честь и могущество Россіи, ея внутренній миръ, отъ котораго зависитъ и внѣшній миръ ея, въ рукахъ Вашихъ Держава Ваша, Вашъ Престоль, унаслѣдованный отъ предковъ. Не медлите, Государь! Въ страшный часъ испытанія народнаго велика отвѣтственность Ваша передъ Богомъ и Россіей!..

ли такъ радикально настроены, что первая редакція адреса, написанная Сережей, прошла лишь незначительнымъ большинствомъ. Сережа долго не хотѣлъ его передѣлывать, но желаніе, чтобы адресъ былъ принятъ единогласно — пересилило, онъ внесъ нѣкоторыя поправки, послѣ чего только двое или трое не подписали, въ томъ числѣ кн. Б. Б. Голицынъ (Экспед. бум.), который обидѣлся на выраженіе «приказный строй» и нападки на бюрократію, и Пржевальскій, желавшій болѣе радикальнаго адреса.

С. Н. изъ Москвы писалъ кн. Прасковѣ Владиміровнѣ въ Меньшово:

2 іюня: «Милая Паша! Съ вокзала мы поѣхали къ Головину, который только что получилъ депешу: «Вызовите Сергѣя Трубецкого, его желаютъ принять». Приѣмъ депутаціи послѣ адреса, написаннаго мною въ выраженіяхъ, послѣ которыхъ обыкновенно прежде наказывали или негодовали, да еще при этомъ въ такую минуту, есть актъ столь великой важности, что нельзя не ѣхать. Меня уговаривали отправиться немедленно, но я не хотѣлъ уѣзжать безъ вещей, хотя мнѣ брались доставить ихъ съ кондукторомъ.

Вчера пріѣхала сестра Ольга и рассказываетъ много интереснаго. Я легъ въ 12 час. и проспалъ какъ убитый до 9 съ пол. утра, безъ всякихъ капель. Сегодня въ 5 3/4 уѣду, если не получу депеши. Я никакъ не могу себѣ представить, чтобы Царь не передумалъ!..

Меня раздражаетъ расходъ на поѣздку: придется новый котелокъ купить и, пожалуй, новые штиблеты: въ утѣшеніе приходится сказать, что все равно это пришлось бы сдѣлать.

Идти еще разъ къ доктору, когда онъ осмотрѣлъ меня только вчера и нашелъ улучшение — излишне: болевья ощущенія, которыя у меня были въ тотъ моментъ, когда онъ меня смотрѣлъ и слушалъ, при совершенно правильномъ пульсѣ, онъ призналъ чисто нервными. Отдохнемъ по возвращеніи!.. Крѣпко цѣлую. Сережа.

P. S. — Въ самый день съѣзда въ Парижъ появился по телефону нашъ адресъ со словами: «au lieu du Manifeste impérial attendu, c'est un manifeste national qui a paru, car tel est le caractère de cet acte du congrès des représentants des Zemstvo et des Villes réunies».

Прокуроръ Палаты отказывается отъ возбужденія судебного преслѣдованія противъ «Московской Недѣли».

Изъ моей записной книжки (продолж.).

...Сережа не зналъ, что выбранъ въ кандидаты депутатовъ и что вслѣдствіе отказа Д. Н. Шипова его должны были называть.

Впрочемъ, его участія въ депутаціи желали съ обѣихъ сторонъ. Государь, изъ представленнаго ему списка депутатовъ, указалъ сначала на четырехъ: гр. Гейдена, Н. Львова, Головина и Трубечкого. Когда Сережа прибылъ въ Петербургъ, тамъ все еще шли переговоры о составѣ депутаціи: гр. Гейденъ настаивалъ, чтобы приняты были всѣ. Государь долго колебался, не рѣшался, но наконецъ уступилъ, говорятъ, по совѣту Трепова.

Сережа только 3-го пріѣхалъ въ Петербургъ. По вечерамъ собирались у Петрункевича, гдѣ обсуждали, какъ и что говорить Царю. Всѣ просили Сережу взять на себя роль лидера, говоря: «Лучше васъ никто не скажетъ!»

Братъ писалъ своей женѣ изъ Петербурга:

...«Страшно занятъ, но здоровъ совершенно отъ подъема... Въ понедѣльникъ примутъ, но не знаю, — отпустить ли, — въ среду необходимо быть въ Москвѣ.

Ты не можешь себѣ представить, какое колоссальное значеніе всему этому придается здѣсь и въ Европѣ... а какъ кончится? — не знаю. Пѣть придется мнѣ «соло», надѣюсь на хоръ, а можетъ быть и на другихъ солистовъ. Ты понимаешь, какъ трудно обо всемъ этомъ писать. Можешь также представить себѣ во всемъ этомъ А. Оболенскаго и его агитацію! Во всякомъ случаѣ, въ понедѣльникъ буду телеграфировать, хотя вечеромъ... Настроеніе общее — бодрое и хорошее».

...Сережа не записалъ заранѣе того, что скажетъ Царю, и сказалъ, по его словамъ, лучше и сильнѣе того, что записалъ потомъ по памяти съ помощью всѣхъ присутствовавшихъ.

5-го іюня, вечеромъ, делегатамъ было передано приглашеніе явиться въ Петергофъ, куда они выѣхали 6-го іюня въ 11 час. утра. На станціи ихъ ждали придворные экипажи. По прибытіи въ Александрійскій дворецъ ихъ встрѣтилъ кн. Путятинъ и гр. Гейденъ, которому они вручили свою петицію для передачи Государю. Затѣмъ къ нимъ вышелъ бар. Фредериксъ и провелъ ихъ въ «комнату Александра II», гдѣ и состоялся пріемъ.

Сережа рассказываетъ, что когда Царь вышелъ къ нимъ и онъ увидалъ его испуганное и взволнованное лицо и глаза («эти чудные, загадочные огромные глаза съ выраженіемъ жертвы обреченной»), и нервныя подергиванія, — ему стало страшно жаль его, жаль, какъ студента на экзаменѣ, и захотѣлось прежде всего ободрить, успокоить его. Онъ невольно заговорилъ съ нимъ ласковымъ, отеческимъ тономъ.



Депутация отъ създа зем. и гор. дѣятелей.

Стоять (слѣва направо): Н. Львовъ, Родичевъ, кн. Г. Львовъ, Головинъ, Н. Ковалевскій, кн. Пав. Долгоруковъ, кн. Трубецкой, Новосильцевъ, кн. Шаховской. Сидятъ (тоже слѣва): бар. Корфъ, гр. Гейденъ, Петрункевичъ, Федоровъ, Никитинъ.

Передъ выходомъ Царя, депутатовъ много разъ предупреждали, что Царь не любитъ «рѣчи» и чтобъ съ нимъ избѣгали впасть въ тонъ рѣчи и говорили бы просто, въ разговорной формѣ. Сережа такъ удачно попалъ въ «тонъ» и говорилъ съ такой горячностью и задумчивостью, что старикъ Корфъ плакалъ, а Новосильцевъ и Львовъ говорили, что съ трудомъ держались. Присутствовавшіе рассказываютъ, что когда Государь вошелъ и сталъ поодаль, всѣхъ охватило чувство бездны, лежавшей между ними, но по мѣрѣ того, какъ Сережа говорилъ, разстояніе сглаживалось, выраженіе Государя стало мѣняться, онъ улыбался и поддакивалъ, особенно въ томъ мѣстѣ, гдѣ Сережа говорилъ противъ сословнаго представи-

тельства *). Государь ходилъ по комнатѣ, Сережа также, сильно жестикулируя и вертясь, какъ онъ это дѣлаетъ всегда во время горячихъ споровъ, когда онъ убѣждаетъ... Привожу рѣчь Сережи, сказанную въ этотъ достопамятный день, дословно.

«Ваше Императорское Величество!

Позвольте выразить Вашему Величеству нашу глубокую, искреннюю благодарность за то, что Вы приняли насъ послѣ нашего къ Вамъ обращенія. Вы поняли тѣ чувства, которыя руководили нами, и не повѣрили тѣмъ, кто представлялъ насъ, общественныхъ и земскихъ дѣятелей, чуть ли не измѣнниками престола и врагами Россіи. Насъ привело сюда одно чувство — любовь къ Отечеству и сознаніе долга передъ Вами. Мы знаемъ, Государь, что въ эту минуту Вы страдаете больше всѣхъ насъ. Намъ было бы отраднo сказать Вамъ слово утѣшенія, и если мы обращаемся къ Вашему Величеству теперь, и въ такой необычной формѣ, то вѣрѣте, что къ этому побуждаетъ насъ чувство долга и сознание общей опасности, которая — велика, Государь!

Въ смутѣ, охватившей все государство, мы разумѣемъ не крамолу, которая сама по себѣ, при нормальныхъ условіяхъ, не была бы опасна, а общій разладъ и полную дезорганизацию, при которой власть осуждена на безсиліе.

Русскій народъ не утратилъ патриотизма, не утратилъ вѣры въ Царя и въ несокрушимое могущество Россіи, но именно поэтому онъ не можетъ уразумѣть наши неудачи, нашу внутреннюю неурядицу. Онъ чувствуетъ себя обманутымъ и въ немъ зарождается мысль, что обманываютъ Царя. И когда народъ видитъ, что Царь хочетъ добра, а дѣлается зло, что Царь указываетъ одно, а творится совсѣмъ другое, что предначертанія Вашего Величества урѣзываются и нерѣдко проносятся въ жизнь людьми завѣдомо враждебными преобразованиями, то такое убѣжденіе въ немъ все болѣе растетъ. Страшное слово «измѣна» произнесено и народъ ищетъ измѣнниковъ рѣшительно во всѣхъ: и въ генералахъ и въ совѣтчикахъ Вашихъ, и въ насъ, во всѣхъ господахъ вообще. Это чувство съ разныхъ сторонъ эксплуатируется. Одни направляютъ народъ на помѣщиковъ, другіе — на учителей, земскихъ врачей, на образованные классы. Одни части населенія возбуждаются противъ другихъ. Ненависть неизлечимая и жестокая, накопившаяся вѣками обидъ и утѣсеній, обостряемая нуждой и горемъ, безпримѣемъ и тяжкими экономиче-

*) Къ сожалѣнію, это не помѣшало Государю ровно двѣ недѣли спустя, 20 іюня, при представленіи депутаціи отъ курскаго дворянства, разговариваго за сословное представительство, благодарить за «столь твердо и сердечно выраженные мысли» и сказать: «Я вполне сознательно ползу, которую можете принести въ будущемъ законо-совѣщательномъ учрежденіи присутствіе двухъ основныхъ земельныхъ сословій, дворянства и крестьянства».

скими условиями, поднимается и растет, и она тѣмъ опаснѣе, что вначалѣ облекается въ патріотическія формы: тѣмъ болѣе она заразительна, тѣмъ легче она зажигаетъ массы. Вотъ грозная опасность, Государь, которую мы, люди, живущіе на мѣстахъ, измѣрили до глубины во всемъ ея значеніи и о которой мы сочли долгомъ довести до свѣдѣнія Вашего Императорскаго Величества.

Единственный выходъ изъ всѣхъ этихъ внутреннихъ бѣдствій — это путь, указанный Вами, Государь, — созывъ избранниковъ народа. Мы всѣ вѣримъ въ этотъ путь, но сознаемъ однако, что не всякое представительство можетъ служить тѣмъ благимъ цѣлямъ, которыя Вы ему ставите. Вѣдь оно должно служить водворенію внутренняго мира, созиданію, а не разрушенію, объединенію, а не раздѣленію частей населенія, и, наконецъ, оно должно служить «преобразованію государственному», какъ сказано было Вашимъ Величествомъ. Мы не считаемъ себя уполномоченными говорить здѣсь ни о тѣхъ окончательныхъ формахъ, въ которыя должно вылиться народное представительство, ни о порядкахъ избранія. Если позволите, Государь, мы можемъ сказать только, что объединяетъ насъ, большинство русскихъ людей, искренне желающихъ идти по указанному Вами пути.

Нужно, чтобы всѣ Ваши подданные равно и безъ различія чувствовали себя гражданами русскими, чтобы отдѣльныя части населенія и группы общественныя не исключались изъ представительства народного, не обращались бы тѣмъ самымъ во враговъ обновленнаго строя; нужно, чтобы не было **безправныхъ** и **обездоленныхъ**. Мы хотимъ, чтобы всѣ Ваши подданные, хотя бы чуждые намъ по вѣрѣ и крови, видѣли въ Россіи свое Отечество, въ Васъ — своего Государя, чтобы они чувствовали себя сынами Россіи и любили бы Россію, такъ же, какъ мы ее любимъ. Народное представительство должно служить дѣлу **объединенія** и мира внутренняго. Поэтому также нельзя желать, чтобы представительство было сословнымъ: какъ русскій Царь — не Царь дворянъ, не Царь крестьянъ или купцовъ, не Царь сословій, а Царь всея Руси, — такъ и выборные люди отъ всего населенія призываемые, чтобы дѣлать совместно съ Вами Ваше Государство дѣло, должны служить не сословнымъ, а общегосударственнымъ интересамъ. Сословное представительство неизбежно должно породить сословную рознь тамъ, гдѣ ея не существуетъ.

Далѣе, народное представительство должно служить дѣлу «преобразованія государственнаго». Бюрократія существуетъ вездѣ, во всякомъ государствѣ, но въ обновленномъ строѣ она должна занять подобающее ей мѣсто. Она не должна узурпировать Вашихъ державныхъ правъ, она должна стать отвѣтственной. Вотъ дѣло, которому должно послужить собраніе выборныхъ представителей. Оно не можетъ быть заплатой къ старой

системъ бюрократическихъ учреждений. А для этого оно должно быть поставлено самостоятельно, и между ними и Вами не можетъ быть воздвигнута новая стѣна въ лицѣ высшихъ бюрократическихъ учреждений имперіи. Вы сами убѣдитесь въ этомъ. Государь, когда призовете избранниковъ народа и встанете съ ними лицомъ къ лицу, какъ мы стоимъ передъ Вами.

Наконецъ, предначертанныя Вами преобразованія столь близко касаются русскаго народа и общества, нынѣ призываемаго къ участію въ государственной работѣ, что русскіе люди не только не могутъ, но не должны оставаться къ нимъ равнодушны. Посему необходимо открыть самую широкую возможность обсужденія государственнаго преобразованія не только на первомъ собраніи выборныхъ, но нынѣ же, въ печати и въ общественныхъ собраніяхъ. Было бы пагубнымъ противорѣчіемъ призывать общественныя силы къ государственной работѣ и вмѣстѣ съ тѣмъ не допускать свободнаго сужденія. Это подорвало бы довѣріе къ осуществленію реформъ, мѣшало бы успѣшному прозеденію ихъ въ жизнь».

Затѣмъ говорилъ кратко М. П. Федоровъ, всецѣло присоединившійся, отъ имени городовъ, «къ голосу земскихъ людей, мысль которыхъ передалъ здѣсь кн. Трубецкой».

Государь отвѣтилъ:

«Я радъ былъ выслушать Васъ. Не сомнѣваюся, что вами, господа, руководило чувство горячей любви къ родинѣ въ вашемъ непосредственномъ обращеніи ко мнѣ. Я вмѣстѣ съ вами и со всѣмъ народомъ моимъ всею душою скорбѣлъ о тѣхъ бѣдствіяхъ, которыя принесла Россіи война и которыя необходимо еще предвидѣть, и о всѣхъ нашихъ внутреннихъ неурядицахъ. Отбросьте ваши сомнѣнія: моя воля, воля царская, созвать выборныхъ отъ народа — непреклонна, привлеченіе ихъ къ работѣ государственной будетъ выполнено правильно. Я каждый день слѣжу и стою за этимъ дѣломъ. Вы можете объ этомъ передать всѣмъ вашимъ близкимъ, живущимъ какъ на землѣ, такъ и въ городахъ.

Я твердо вѣрю, что Россія выйдетъ обновленная изъ постигаго ее испытанія.

Пусть возстановятся, какъ было встарь, единеніе между Царемъ и всею Русью, общеніе между мною и земскими людьми, которое ляжетъ въ основу порядка, отвѣчающаго самобытнымъ русскимъ началамъ. Я надѣюсь, вы будете содѣйствовать мнѣ въ этой работѣ».

Изъ Записной книжки (продолж.).

..Когда всѣ рѣчи были сказаны, Государь подошелъ къ Се-режѣ и съ особеннымъ чувствомъ подалъ и трясъ ему руку.

Онъ заговорилъ объ Университетѣ, спросилъ, можно ли рассчитывать на возобновленіе занятій, и выразилъ удивленіе, что «сучка забастовщиковъ» терроризируетъ большинство желающихъ заниматься. Сережа возражалъ, что дѣло это не такъ освѣщено Государю, что причины беспорядковъ кроются въ общемъ недовольствѣ. А когда Государь спросилъ, какъ бы онъ думалъ помочь дѣлу, чтобы занятія возобновились, Сережа отвѣчалъ, что не можетъ этого сказать въ двухъ словахъ, но что многое можно и должно для этого сдѣлать. Тогда Государь просилъ Сережу составить докладную записку объ университетскомъ вопросѣ и представить ему ее непосредственно черезъ министра двора бар. Фредерикса.

Затѣмъ Государь обходилъ всѣхъ и каждому что-нибудь сказалъ. Новосильцеву, что тамбовцы особенно отличаются на войнѣ, — на что Новосильцевъ отвѣтилъ, что онъ надѣется, что и на другомъ поприщѣ они докажутъ свою доблесть. Приблизившись къ Петрункевичу, Государь былъ замѣтно смущенъ и спросилъ: «У васъ, кажется, есть дача въ Крыму?» Петрункевичъ отвѣчалъ крайне лаконично... разговоръ не вязался. Родичевъ напомнилъ, что онъ при покойномъ родителѣ Государя былъ отстраненъ отъ должности, а нынѣ, по милости Его Величества, имѣетъ честь представляться ему... Головина Государю огоршилъ неожиданнымъ замѣчаніемъ: «Губернское земство въ Москвѣ порядкомъ—таки утѣсняетъ уѣздное земство. Я нахожу это неправильнымъ...» — Головинъ не нашелся, что на это сказать...

Когда депутаты вышли отъ Государя и очутились одни въ комнатѣ, которую имъ отвели, всѣ сняли фраки и мундиры, — жара была страшная, — и въ большомъ подъемѣ духа передавали другъ другу свои впечатлѣнія. Сережа рассказываетъ, что очень забавный контрастъ съ ними представлялъ баронъ Фредериксъ, когда въ блестящемъ придворномъ мундирѣ пришелъ привѣтствовать ихъ и поздравить съ успѣхомъ. При прїездѣ депутатовъ въ Петергофъ придворные держали себя любезно, но сдержанно и имъ говорили: «Вы опасную игру играете!» После пріема, — полная перемена картинъ: объятія и привѣтствія... Сережа жалѣлъ, что не имѣлъ фотографическаго аппарата съ собой, чтобы снять ки. Пугатина, ходившаго по комнатѣ обнявшись съ Петрункевичемъ, и онъ же шловался съ Родичевымъ. Повидному Сережа былъ предметомъ особенныхъ оцѣнокъ, но неохотно объ этомъ рассказываетъ, но видно, какъ онъ всѣмъ сейчасъ милъ и дорогъ, какъ въ выросъ еще за эти дни въ общемъ мнѣніи.

Раньше чѣмъ депутаты успѣли ухъать изъ Петергофа, бар. Фредериксъ просилъ ихъ записать сказанныя рѣчи, чтобы не было затѣмъ недоразумѣній съ газетчиками. Сережа сидѣлъ цѣлый день, припоминая сказанное, и депутаты помогли ему. Когда онъ кончилъ, онъ вручилъ написанное бар. Фредериксу, прося прочесть и, если нѣкоторыя выраженія не такъ были сказаны, указать ему, и онъ исправить.

Только ужъ подѣзжая къ Москвѣ, онъ вдругъ вспомнилъ два мѣста въ своей рѣчи, о которыхъ онъ очень жалѣеть, что они выпали у него изъ памяти и не попали въ текстъ, а именно: вначалѣ онъ заявилъ Царю: «Вы видите передъ собой людей убѣжденныхъ въ необходимости коренного преобразования государства на конституціонныхъ началахъ». А затѣмъ, описывая грозную опасность положенія для Россіи и Престола, онъ съ силою сказалъ: «Мы не лжемъ, Государы!..» и помнитъ, какъ остановился на минуту передъ Царемъ и чувствовалъ самъ силу, съ какой сказаны были эти слова.

Уже много позднѣе, мнѣ удалось найти въ бумагахъ покойнаго брата слѣдующій черновой набросокъ:

«Ваше Величество! не судите насъ за наше обращеніе. Вѣрнѣе, что одна любовь къ отечеству и сознаніе долга нашего передъ Вами привели насъ сюда. Мы не дерзаемъ считать себя представителями страны, мы только ея сыны, и чувствуемъ то, что чувствуютъ теперь всѣ русскіе люди, — желаніе сплотиться, чтобы совокупными усиліями и совокупнымъ разумомъ спасти Россію. Мы говоримъ съ Вами, какъ съ Царемъ русскимъ; въ престолѣ Вашемъ мы видимъ залогъ нашего единства, нашего былого и грядущаго могущества. Государь! Тяжки наши пораженія, но въ настоящую минуту внутренняя опасность становится грознѣе внѣшняго врага и парализуетъ силы народныя. Вся темная ненависть, накопившаяся отъ вѣковыхъ неправдъ...»

На этомъ рукопись обрывается. Этотъ отрывокъ до такой степени передаетъ стиль разговорной рѣчи моего брата, что мнѣ кажется, я слышу его голосъ, чего я не могу въ той же мѣрѣ сказать о принятомъ текстѣ его рѣчи, которую онъ записывалъ при помощи очевидцевъ, незамѣтно для самихъ себя мѣнявшихъ его стиль. Онъ неоднократно при мнѣ повторялъ: «Я сказалъ гораздо лучше и сильнѣе, чѣмъ записалъ!.. но такая была жара и я такъ усталъ!..» Могло случиться, какъ тогда, въ вагонѣ, что сидя у себя въ кабинетѣ, ему вдругъ вспомнился отрывокъ его подлинной рѣчи и онъ тутъ же набросалъ.

Въ самый день 6-го іюня, С. Н. писалъ женѣ въ Меньшово.

«Милая, дорогая Паша, я очень усталъ отъ жары несосвѣт-ной и пишу только нѣсколько строкъ. Я говорилъ отъ лица де-путации и съ большимъ успѣхомъ, — довольны и депутация и Го-сударь, который послѣ моей рѣчи сказалъ намъ слова, уже вами прочитанныя по телеграммамъ въ газетахъ. Эти слова, послѣ ад-реса, о которомъ онъ прочиталъ въ «Le Matin»: «Ce n'est pas une adresse, c'est une sommation», политическое событіе пер-востепенной важности, особенно конецъ: «Я вѣрю, что съ сего-дняшняго дня и впредь, вы будете моими помощниками въ этомъ дѣлѣ» *).

Я остался, чтобы записать свою рѣчь и передать ее завтра бар. Фредериксу, а главное потому, что въ четвергъ мнѣ все равно надо быть въ Москвѣ по дѣламъ Терскаго Общества...

Я здоровѣе, чѣмъ былъ въ Москвѣ, напр., когда я говорилъ съ Царемъ, я рѣшительно ничего въ сердцѣ не чувствовалъ. Говорилъ я ему не рѣчь, а простыми разговорными словами, — такъ мнѣ посоветовали. Онъ вышелъ въ крайнемъ волненіи, но успокоившись все болѣе и болѣе.

Вышній успѣхъ очень большой. Послѣ официального раз-говора Государь обратился ко мнѣ, спросивъ, начнутся ли въ сентябрѣ занятія въ Университетѣ, которымъ мѣшаетъ «кучка смутьяновъ». Я отвѣтилъ, что университетскій вопросъ для меня лично одинъ изъ самыхъ большихъ, что многое можно и долж-но сдѣлать для успокоенія Университета, прежде нежели начнут-ся занятія; тогда Государь попросилъ меня составить ему объ этомъ записку. Ужасъ какъ по тебѣ и всѣмъ вамъ соскучился. Съ четверга засяду дома. Цѣлую. Сережа».

Изъ моей Записной книжки. — (9-го іюня, продолж.).

...Когда депутаты прочли переданный имъ текстъ рѣчи Го-сударя, они были поражены измѣненіями, которыя онъ въ ней сдѣлалъ. Онъ сказалъ имъ: «Моя воля, — воля царская, при-влечь народныхъ представителей къ работѣ государственной — непреклонна». И затѣмъ въ концѣ: «Отнынѣ я вижу въ васъ моихъ помощниковъ»... Въ записанной рѣчи стояло: вмѣсто на-родныхъ представителей — «выборныхъ людей», а послѣдняя фраза измѣнена такъ: «Вѣря вашему искреннему желанію со-дѣйствовать мнѣ въ моей работѣ»...

Ковалевскій, прочтя это, полетѣлъ къ бар. Фредериксу и просилъ задержать печатанье рѣчи Государя, пока она не бу-детъ восстановлена въ настоящемъ видѣ. Было послано запре-

*) Слова, какъ увидимъ, вычеркнутыя Государемъ на слѣд. день

шеніе печатать рѣчь впредь до распоряженія, и по представленію бар. Фредерикса Государь сдѣлалъ поправку, но сказалъ, что просить не настаивать на выраженіи «народные представители», такъ какъ оно не соотвѣтствовало бы выраженію, употребленному въ «рескриптѣ».

Когда Сережа прѣхалъ къ бар. Фредериксу, чтобы передать ему свою рѣчь, онъ встрѣтилъ тамъ Ковалевскаго, который продолжалъ скандалить. Сережа началъ его уговаривать. Ковалевскій накинулся на него: «Вы уходите съ завоеванной позиціи», крикнулъ онъ ему. Сережа доказывалъ, что между словами «выборные отъ народа» или «народные представители» нѣтъ существенной разницы.

Вѣроятно всѣ эти переговоры были переданы бар. Фредериксомъ Царю, ибо придворныя сплетни передають, что императрица сказала: «De toute cette députation il n'y a que Troubetzkou, qui est un homme distingué et comme il faut, il n'a pas attaqué la parole de l'Empereur».

А. Оболенскій вскорѣ послѣ представлялся Государю и онъ жаловался на послѣдній инцидентъ и на то, что его хотѣли «изловить на словѣ».

А. Оболенскій нашелся и сказалъ: «Это по неопытности, Ваше Величество. Въ сущности «выборные люди» гораздо болѣе значать, чѣмъ «представители». Представители — что? Мало ли представителей отъ разныхъ вѣдомствъ сидятъ во всевозможныхъ комиссіяхъ, — а выборы люди — это, — другая музыка!!..»

Государь будто смутился отъ такого возраженія... Онъ былъ тоже очень удивленъ, что братъ Сережа — племянникъ А. Оболенскаго. Онъ думалъ, что Сережа много его старше. А. Оболенскій говорилъ, что вообще Сережа произвелъ самое хорошее впечатлѣніе и убѣждалъ какъ можно скорѣе представить записку объ Университетѣ, пока впечатлѣніе не изгладилось.

Сережа былъ у Трепова и говорилъ съ нимъ объ Университетѣ. Треповъ предупредилъ его, что по всей вѣроятности его вызовутъ и даже нащупывалъ: не приметъ ли онъ министерство?... убѣждая его въ необходимости взять его, чтобы провести реформу... Но въ теперешніе кадры правительства Сережа не вступить, Булыгинскій же проектъ считаетъ неприемлемымъ.

Вообще, несмотря на огромный общественный успѣхъ, громкую всероссійскую славу, пріобрѣтенную имъ за рѣчь къ Государю, и безчисленныя привѣтствія, получавшіяся имъ со всѣхъ концовъ Россіи, С. Н. нисколько не былъ опьяненъ этимъ,

крайне трезво смотрѣлъ на дѣло и не дѣлалъ себѣ никакихъ иллюзій... Онъ считалъ, что исполнилъ свой долгъ передъ Царемъ и передъ Россіей и чувствовалъ нравственное удовлетвореніе отъ удачнаго выступленія, но и только. Настроеніе это нашло себѣ живое выраженіе въ письмѣ, написанномъ имъ вскорѣ послѣ возвращенія изъ Петербурга одному изъ сотрудниковъ «Моск. Недѣли», находившемуся въ то время за границей. Письмо это, по счастливой случайности, не было отослано и кн. П. В. хранила его въ качествѣ историческаго документа.

«Многоуважаемый Г. Б.! Не могъ Вамъ отвѣтить немедленно, потому что мы живемъ въ такой суетѣ и толчѣѣ, въ которой впечатлѣніи быстро смѣняются въ калейдоскопической игрѣ: разбирать въ нихъ, записывать ихъ, воспроизводить ихъ, становиться на точку зрѣнія читателей будущихъ временъ чрезвычайно трудно: *sub specie aeternitatis* — это калейдоскопъ, а съ точки зрѣнія времени, пожалуй, тоже калейдоскопъ: ничего особенно знаменательнаго, — не болѣе того, что даетъ каждый день, каждый съѣздъ, каждое собраніе.

Ни до, ни послѣ «знаменательнаго свиданія» я никакихъ иллюзій себѣ не дѣлалъ, никакихъ **непосредственныхъ** надеждъ не питалъ. Я выполнялъ естественную повинность и вначалѣ сильно сердился на то, что меня повезли и заставили исполнять «соло». Но при томъ и до и послѣ, если у меня не было «непосредственныхъ надеждъ», у меня была и есть **увѣренность** въ томъ, что правда на нашей сторонѣ и что нѣтъ другого нормальнаго выхода изъ положенія, какъ того, что бы обратиться къ намъ, — къ тѣмъ «земскимъ общественнымъ силамъ», которыя однѣ могутъ «строить» теперь... Это я тоже сказала въ своей рѣчи, хотя забыла второпяхъ включить это въ ея текстъ, который намъ просили восстановить на другой день: въ тотъ моментъ, когда я говорила, мнѣ удалось возбудить въ моемъ собесѣдникѣ минутное впечатлѣніе въ этомъ смыслѣ. Я полагаю, что оно было минутнымъ, во всякомъ случаѣ кратковременнымъ. Что подѣлаешь противъ «**абулинъ**», да еще при наличіи подавляющей массы ежеминутныхъ, повседневныхъ вліяній совершенно другого характера! — Но въ самый моментъ, въ самый день, произведенное впечатлѣніе было несомнѣнно сильное и замѣтное. Вместо заготовленнаго отвѣта намъ было сказано: «Отъ сегодняшняго дня и впредь, вы будете моими помощниками», а затѣмъ «народное представительство ляжетъ въ основу едиканія Царя съ народомъ», причѣмъ, однако, и то и другое выраженіе было вычеркнуто и замѣнено на слѣдующій день... Вотъ Вамъ суть анекдота! Другія анекдотическія подробности, доставившія мнѣ художественное наслажденіе, напр., бесѣда съ Иваномъ Ильичемъ (Петрукевичемъ) — непередаваемы! тутъ надо было бы произвести нѣсколько моментальныхъ снимковъ, чтобы передать мими-

ку. Иванъ Ильичъ застылъ въ видѣ совы, а его собесѣдникъ имѣлъ видъ оробѣвшаго ребенка, бесѣдующаго съ «нехорошимъ дядей». — «Я чувствовалъ, что и въ эту минуту онъ меня не любитъ...». — вотъ слова, которыя ему приписывали потомъ.

Въ теченіе нѣкотораго времени мои близкіе передавали мнѣ отголоски произведеннаго нами впечатлѣнія. Да и по отношенію къ намъ «сфера» видно было, что оно было произведено не сомнѣнно, и то, что оно должно было расплыться, хотя это, по существу, не мѣняетъ дѣла: другого выхода нѣтъ, и въ концѣ концовъ придется «пойти въ Канносу». Самый фактъ нашего приѣма объ этомъ свидѣлствуетъ и наканунѣ нашего приѣма нашъ собесѣдникъ прочелъ въ «Le Matin»: «il faudra, qu'il y passe!» — и принялъ насъ.

Но вотъ за что я не поручусь: не развратятся ли, не революционизируются ли окончательно самые земскіе и общественные «строители» до тѣхъ поръ?, — потому что до точки кипѣнія осталось лишь немного градусовъ, и всѣ послѣдніе сѣзды и собранія представляютъ несомнѣнно опасныя признаки... Вамъ издали это должно быть виднѣе. Волна, поднимающаяся снизу и глупыя дразніація мѣры сверху дѣлаютъ свое дѣло и заставляютъ людей терять не только государственный, но и здравый смыслъ. Это ужъ не анекдотъ, къ сожалѣнію, и если здѣсь приходится говорить о впечатлѣніяхъ, то это впечатлѣнія грѣбожнаго сна при высокой температурѣ, или впечатлѣніе метели, заматающей дорогу.

Но въ самую русскую революцію можно вѣрять еще менѣе, чѣмъ въ генерала Трепова, и въ этомъ приходится убѣждаться ежечасно... Во всякомъ случаѣ, — проживемъ — увидимъ, а писать исторію еще очень очень преждевременно. Пока все-таки мы еще прелюдируемъ и занавѣсъ не поднялся. Смѣшно видѣть, какъ гримируются нѣкоторые любители, собирающіеся выступать на сцену. Вы избрали благую часть — хорошо быть публикой (особенно на любительскомъ спектаклѣ).

Когда наступитъ такая конъюнктура, при которой можно будетъ издавать «Московскую Недѣлю»? — предсказать не берусь: внутренняя цензура можетъ оказаться еще болѣе серьезнымъ препятствіемъ, нежели внѣшняя, для автора настоящаго письма. Но здѣсь я все еще хочу льстить себя иллюзіями и надеждой.

Примите увѣреніе въ совершенномъ моемъ почтеніи и позвольте надѣяться, что въ случаѣ осуществленія моихъ литературныхъ иллюзій, Вы не откажете намъ въ Вашемъ содѣйствіи.

Кн. С. Трубецкой.

Къ сожалѣнію, С. Н. не удалось по возвращеніи изъ Петербурга отдохнуть въ Меньшовѣ, какъ ему хотѣлось. Ему пришлось еще задержаться въ Москвѣ и по личнымъ дѣламъ и по

дѣламъ редакціи «Моск. Недѣли», которую онъ рѣшилъ временно ликвидировать.

15 іюня онъ писалъ брату Евгению: «Я совершенно задержанъ. Всего второй день въ Меншовѣ. Собираешься ли въ Москву на съѣздъ и въ Меншово? — Мнѣ бы очень хотѣлось видѣть тебя, по случаю записки, которую я составляю».

Записка эта «О настоящемъ положеніи высш. учебныхъ заведеній и мѣрахъ къ возстановленію академическаго порядка», была уже закончена 21-го іюня и препровождена при письмѣ бар. Фредериксу, который въ отношеніи отъ 28 іюня извѣстилъ брата, что она доставлена «по Высокому назначенію».

Изъ моей Записной книжки. — Вскорѣ послѣ приѣма депутаціи 6-го іюня, въ Петербургѣ состоялся съѣздъ 25 губернскихъ предводителей дворянства, на которомъ была принята резолюція представить Государю настоятельную необходимость не откладывать созыва народныхъ представителей.

Въ запискѣ, составленной Ю. Н. Милютинимъ и подписанной губернскими предводителями, въ самыхъ яркихъ краскахъ описывалась смута въ странѣ и упадокъ довѣрія общества и народа не только къ правительству, но и къ самому Царю. — Рѣшили, по жребію, выбрать двухъ изъ своей среды, обязавъ ихъ подъ присягой лично прочесть записку Царю и кромѣ того, въ разговорѣ, по возможности высказать безъ утайки все то, въ чемъ заглазно всѣ осуждали Царя...

Припоминая подробности этой аудіенціи, братъ Петя (кн. Петръ Ник. Трубецкой), на котораго палъ между прочимъ жребій, хватался за голову въ изумленіи и ужасѣ отъ того, какія вещи онъ говорилъ Царю: — «Вотъ вы насъ сегодня милостиво принимаете и соглашаетесь съ нами, а завтра вамъ будетъ представляться Дорреръ (курскій предводитель) и вы и съ нимъ согласитесь!..»

Когда онъ сказалъ Царю, что довѣріе къ нему колеблется, Царь, блѣднѣя, произнесъ: — «Я уже это слышалъ!..»

Взволнованы они были такъ, что до выхода Царя ихъ трясла лихорадка. Государь, войдя въ комнату и увидавъ ихъ, измѣнился въ лицѣ, прошелъ къ окну и тамъ, въ амбразурѣ, посадивъ одного направо отъ себя, другого (Гудовича) налѣво, выслушалъ все до конца... Припоминая выраженіе его лица, братъ Петя не можетъ забыть глазъ, — «какихъ-то загадочныхъ» и съ такимъ выраженіемъ «жертвы обреченной» и «фаталиста мистика»... Такое же впечатлѣніе глаза эти произвели

на брата Серезу, и онъ характеризоваль почти въ тѣхъ же выраженіяхъ.

Вскорѣ послѣ этой аудіенціи, Петя уѣхаль лечиться въ Карлсбадъ, а въ «Русскомъ Листкѣ» появилось «Открытое письмо къ московск. губерн. предводителю», за подписью А. Г. Щербатова и Самариныхъ, съ протестомъ, какъ смѣль ихъ предводитель, неуполномоченный своими дворянами, «всецѣло присоединиться» (какъ было сказано въ правительственномъ сообщеніи) къ Земскому съѣзду... Вскорѣ затѣмъ въ «Новомъ Времени» появилось письмо Клавдія Пасхалова и 15 другихъ лицъ, заявившихъ свое присоединеніе къ протесту противъ кн: П. Н. Трубецкого.

Это вызвало сильную статью Ю. Милютина «Отповѣдь 20 дворянамъ», гдѣ онъ доказываль, что составители записки «ради собственнаго произвольнаго представленія объ отвлеченномъ самодержавіи, готовы пренебречь мыслью и волею дѣйствительнаго Самодержца».

По возвращеніи изъ-за границы, братъ Петръ Ник. отвѣтилъ выступившимъ противъ него дворянамъ, но не въ печати, а въ формѣ письма, которое разослалъ всѣмъ своимъ противникамъ.

Одновременно съ «Открытымъ письмомъ», направленнымъ противъ брата Петра Ник., Федоръ Дмитр. Самаринъ разсылалъ записку, направленную противъ положеній, высказанныхъ въ рѣчи брата Сергѣя Ник. на аудіенціи 6-го іюня, гдѣ по пунктамъ разбираль ихъ «несостоятельность» и несправедливость обвиненія въ медленномъ проведеніи возвѣщенныхъ въ рескриптѣ реформъ. Онъ утверждалъ, что если-бы Булыгинская комиссія была построена на иныхъ началахъ, и многочисленныя ходатайства земствъ и городовъ о допущеніи ихъ представителей въ эту комиссію были удовлетворены, работа затянулась бы на гораздо болѣе продолжительный срокъ.

Въ отвѣтъ на эти возраженія Сергѣй Ник. помѣстилъ въ «Русскихъ Вѣдомостяхъ» статью: «Передъ рѣшеніемъ», которая является послѣдней его статьей. Онъ указываль въ ней, что самое участіе въ работѣ Булыгинской комиссіи представителей земствъ и городовъ дало бы возможность не такъ спѣшить и внесло бы успокоеніе въ странѣ, ибо являлось бы гарантіей, что представительныя учрежденія и избирательный законъ будутъ дѣйствительно соответствовать нуждамъ страны.

Изъ Записной книжки. — 6-го іюля брату Серезѣ опять пришлось ѣхать изъ Меньшова въ Москву, на земскій съѣздъ,

куда его вызывали. Заранѣ газеты извѣщали, что съѣздъ запрещенъ и губернаторы предупреждали делегатовъ, чтобы они не утруждали себя напрасной поѣздкой.

Однако, съѣздъ все-таки состоялся въ домѣ кн. Долгорукихъ (на Колымажномъ дворѣ) и, несмотря на рабочую пору и сильную жару, былъ очень многолюдный. Съ перваго же дня явилась полиція и переписала всѣхъ присутствовавшихъ. Появленіе ее только всѣхъ раздражило и ораторы говорили рѣчи одну радикальнѣе другой.

Сережа говорить, что ничего нельзя себѣ представить утомительнѣе подобной болтовни съ претензіями на краснорѣчіе и повтореніемъ избитыхъ мѣстъ о произволѣ бюрократіи... Умѣренныя въ концѣ концовъ не могли помѣшать резолюціи обращенія къ народу, гдѣ разъяснялось значеніе земскихъ съѣздовъ и депутаціи 6 іюня. Сережа былъ очень прогивъ, утверждая, что кромѣ скандала никакого прока изъ этого не выйдетъ, но его не послушали.

Радикаловъ поддерживалъ Милюковъ, который не имѣлъ права участвовать въ съѣздѣ, но въ качествѣ знакомаго (и товарища по университету старшаго кн. П. Д. Долгорукова) получилъ приглашеніе на съѣздъ и агитировалъ во всю...

Рѣшено было, однако, не бойкотировать булыгинскую Думу, принять все, что бы ни дали, и стараться, чтобы въ Думу попало побольше своихъ.

Въ концѣ іюля, по поводу этого съѣзда, въ Москву былъ присланъ сенаторъ Песковскій, который официально вызывалъ Сережу и многихъ другихъ членовъ съѣзда и бюро для допроса. Онъ былъ весьма любезенъ и объяснилъ, что пріѣхалъ по порученію Государя, для дознанія: не имѣется ли противорѣчія между рѣчами земской депутаціи и задачами съѣздовъ?

Братъ Сережа, Кокоскинъ, Головинъ, Петрункевичъ и др. должны были составить записки. Сережа, между прочимъ, описалъ тамъ настроеніе общества и съѣзда послѣ Цусимы... На вопросъ, поставленный сен. Постковскимъ: «не было ли допущено полное и явное противорѣчіе между общимъ направленіемъ съѣзда 6-го іюля и чувствами депутаціи 6-го іюня, выразителемъ конхъ являлся С. Н., онъ отвѣчалъ: «Вопросъ этотъ помимо общаго своего значенія является для меня, да и, полагаю, для другихъ депутатовъ, вопросомъ личной чести, и я думаю, что самый фактъ нашего участія на съѣздѣ 6-го іюля служитъ доказательствомъ, что такого противорѣчія со стороны съѣзда допущено быть не могло». Изложивъ затѣмъ по пунктамъ тѣ «минимальныя условія» правильнаго народнаго пред-

ставительства, въ признаніи коихъ объединились всѣ группы майскаго съѣзда и всѣ общественные дѣятели и о которыхъ онъ доложилъ Государю въ своей рѣчи, онъ писалъ далѣе:

«Милостивый отвѣтъ Его Величества вызвалъ повсемѣстное ликованіе, размѣры котораго превзошли всѣ ожиданія. Я лично получалъ цѣлые вороха депешъ, адресовъ и привѣтствій отъ многочисленныхъ союзовъ, отъ городскихъ дѣятелей, рабочихъ и крестьянъ. Многие восторженно указывали въ событіи 6-го іюня начало новой эры непосредственнаго общенія Царя съ земскими силами, Царя съ народомъ. Самыя различныя общественныя группы изъявляли намъ свое сочувствіе, свою солидарность съ земскою депутаціей... Но администрація сдѣлала все отъ нея зависящее, чтобы возможно скорѣе изгладить это впечатлѣніе... Не только не произошло никакой осязательной перемѣны курса, несмотря на общія надежды, столь радостно и сильно возбужденныя, но все указывало на усиленіе прежняго теченія...

Внезапно пронесся слухъ, что булыгинская конституція прошла въ Совѣтъ министровъ и самый проектъ появился въ газетахъ. Если русское общество и ранѣе съ крайнимъ скептицизмомъ относилось къ бюрократической попыткѣ учредить народное представительство безъ и помимо народныхъ представителей, усиленными невѣдомыхъ «государствовѣдцовъ» булыгинской Комиссіи, то опубликованный проектъ, неудовлетворявшій вышеуказаннымъ «минимальнымъ условіямъ», очевидно не могъ рассчитывать на сочувствіе земскихъ круговъ. Къ тому же въ печати появился другой слухъ о томъ, что самый избирательный законъ предполагается пересмотрѣть, положивъ въ основу его сословное начало — вопреки мнѣнію земствъ и городовъ и даже вопреки мнѣнію г. г. губернскихъ предводителей.

При такихъ обстоятельствахъ состоялся созывъ іюльскаго земскаго съѣзда, который обѣщалъ быть тѣмъ болѣе возбужденнымъ, чѣмъ сильнѣе были обманутыя надежды. Въ довершеніе всего появились официальные предупрежденія, что съѣздъ не разрѣшенъ. Послѣ милостивыхъ словъ Государя... — это было уже прямою вызовъ обществу, земству и городамъ со стороны администраціи... Земскіе люди отстаивали свое право, дарованное имъ указомъ 18 февраля и подтвержденное самимъ приемомъ депутаціи майскаго съѣзда, который также былъ со званъ помимо какихъ-либо официальныхъ разрѣшеній...

Я получилъ приглашеніе на 6-ое число отъ бюро съѣзда и пріѣхалъ къ открытію его, причемъ мнѣ было поручено тутъ же сдѣлать сообщеніе о приемѣ 6-го іюня. Я не считалъ себя въ правѣ уклониться, хотя и не готовился къ этому докладу и вынужденъ былъ сдѣлать это въ наиболѣе неблагоприятный моментъ — сейчасъ послѣ появленія полиціи. Несмотря на ея появленіе, я имѣлъ на то прямое разрѣшеніе Государя, разрѣшивъ-

шаго депутатамъ майскаго сѣзда передать радостную вѣсть о его словахъ, «живущимъ на землѣ и въ городахъ», мало того, помимо разрѣшенія, я чувствовалъ на себѣ какъ бы ибкаторую прямую обязанность: въ многочисленныхъ заявленіяхъ, которыя я получалъ (и до сихъ поръ получаю), меня просили сообщить подлинный текстъ словъ Государя и моей рѣчи, такъ какъ официальнымъ сообщеніямъ привыкли не вѣрить...

Признаюсь, что мнѣ крайне не хотѣлось и трудно было говорить — до такой степени явно было противорѣчіе между тѣмъ, что было 6-го іюня и тѣмъ, что ровно черезъ мѣсяцъ только что произошло — революціонеры могли бы злорадствовать и торжествовать... Общий тонъ сѣзда несомнѣнно былъ иной, если бы онъ собрался непосредственно послѣ возвращенія изъ Петергофа... и тѣмъ не менѣе, несмотря на отдѣльныя рѣзкости и постановленія, вызванныя моментомъ, я не нахожу, чтобы двѣительность сѣзда уклонилась отъ первоначальнаго курса, чтобы земская организація себѣ измѣнила... Столь же рѣзко, какъ прежде, проводилась грань между «бюрократіей» и «Престоломъ», между «приказнымъ строемъ», ослабляющимъ Престоль, узурпирующимъ его права, нарушающимъ высочайшую волю, и монархическимъ началомъ, между «совѣтчиками» Государя и его особою. Не менѣе рѣшительно, чѣмъ прежде, проводилась основная тенденція — необходимость мирнаго, закономѣрнаго развитія, мирнаго разрѣшенія современнаго кризиса, къ которому должны быть направлены всѣ усилія земскихъ людей, всѣ здоровыя созидательныя силы страны...

Въ заключеніе своей записки С. Н. обращалъ вниманіе правительства на небывалый ростъ всевозможныхъ союзовъ, кружковъ для совмѣстнаго обсужденія волновавшихъ всѣхъ вопросы:

«Эти явленія показываютъ, какъ сильна общественная потребность, вызывающая ихъ. Съ нею бороться не только бесполезно, но и опасно. Въ настоящую минуту опаснѣе всего дезорганизація общества, а не организація общественныхъ силъ, которая необходима, нормальна и неизбежна. Русское общество не должно осуществлять свое право на борьбу съ правительствомъ и правительство не должно выступать въ роли врага законныхъ и нормальныхъ общественныхъ стремленій. Разнь между правительствомъ и обществомъ, являющаяся послѣдствіемъ «приказнаго строя» и обостренная долгодѣтельной реакціей, которую покойный Плеве довелъ до предѣловъ безумія и преступленія, — вотъ одно изъ главныхъ золь нашего времени. Репрессіями можно только увеличить, усилить, а не уничтожить эту разнь, которая дошла до того, что самыя преступленія, направленныя противъ представителей правительственной власти, не вызываютъ общаго негодованія. Лбстивыя обѣщанія, мнимыя «бумажныя» реформы столь

же мало успокаиваютъ общество и колеблютъ всякое довѣріе. Пора не на словахъ, а на дѣлѣ признать, что старый порядокъ, приведшій насъ къ краю гибели, дѣйствительно кончился и наступилъ новый порядокъ, при которомъ общественное мнѣніе, или даже мнѣнія отдѣльныхъ общественныхъ группъ, весьма отличныя отъ мнѣній правительства и отдѣльныхъ правительственныхъ лицъ, имѣютъ право на свое выраженіе и не могутъ быть подчинены полицейской опеке. При режимѣ народнаго представительства, хотя бы даже законосовѣщательнаго, оно не должно и не можетъ быть иначе... При режимѣ правового государства общественныя группы и союзы должны свободно организоваться и неизбежно будутъ организоваться. Правительство, которое будетъ противиться естественному и нормальному, въ корнѣ своемъ патріогическому движенію общества, повредитъ обществу, повредитъ еще болѣе себя самому, и всего болѣе Престолу и всей странѣ, которая все-таки пойдетъ не по его указкѣ.

Запрещеніе сѣзда послѣдовало по распоряженію Трепова, вопреки мнѣнію Булыгина и представленіямъ Московскаго ген.-губернатора Козловскаго, который заявилъ, что отказывается принимать административныя мѣры противъ членовъ сѣзда, и вскорѣ подалъ въ отставку. Послѣ убійства гр. Шувалова, онъ и безъ того не хотѣлъ болѣе оставаться генералъ-губернаторомъ, считая себя какъ бы виновникомъ его смерти, ибо онъ привлекалъ гр. Шувалова въ Москву. На долю бѣднаго старика выпала тяжелая обязанность сообщить графинѣ Шуваловой о смерти ея мужа и онъ такъ еще былъ подъ впечатліемъ пережитаго, и настолько этимъ потрясенъ, что не могъ справиться со своими нервами и все плакалъ.

Изъ Записной книжки. — 28 августа. Въ день обнародованія Манифеста о Государственной Думѣ, 6-го августа, меня не было въ Меньшовѣ. На пути въ Калугу, въ вагонѣ, я прочла этотъ Манифестъ и пожалѣла, что онъ безъ меня будетъ полученъ въ Меньшовѣ. Хотя уже заранѣе прошелъ слухъ, что вмѣстѣ съ объявленіемъ Думы, рескриптъ 18 февраля будетъ взятъ обратно, и этимъ самымъ будетъ положена крышка всякимъ сѣздамъ и собраніямъ, — всѣ надѣялись, что это только «слухъ» и что дана будетъ возможность такъ или иначе совѣриваться и совѣщаться по вопросамъ о Думѣ. Вмѣсто того новая московская администрація (Медемъ и Дурново) заявила, что будутъ приняты рѣшительныя мѣры противъ незаконныхъ собраній, такъ что назначенное на 11 августа совѣщаніе бюро земск. сѣзда пришлось изъ Москвы перенести въ Царицыно. 21 августа совѣщаніе бюро состоялось въ Москвѣ у Ба-

женова, на краю города, но полиция все-таки туда явилась и требовала, чтобы всё разошлись. Головинъ отказался исполнить это требованіе. Послѣ долгаго разговора съ Медемомъ по телефону, полицмейстеръ ввелъ полицію, которая сидѣла до окончанія совѣщанія, составивъ протоколъ, что оно не носило противно-правительственнаго характера...

Одновременно у Новосильцевыхъ былъ съѣздъ «чистыхъ конституціоналистовъ», гдѣ былъ и братъ Женя. Туда тоже явилась полиция и составивъ протоколъ, отобрала имѣвшіяся тамъ бумаги *).

Вернулись братья въ Меньшово внѣ себя отъ всѣхъ этихъ нелѣпыхъ дѣйствій администраціи и тутъ Сережа рѣшилъ написать письмо Трепову, умоляя его очнуться и не вводить полицію на профессорскій съѣздъ, который долженъ былъ собраться 25 августа. Въ проливной дождь и бурю онъ послалъ нарочнаго изъ Меньшова въ Москву съ тѣмъ, чтобы онъ объявилъ начальнику станціи Николаевского вокзала доставить нужное письмо Трепову въ Петербургъ. Это было 23 августа, а 25-го братъ Женя по пріѣздѣ въ Москву узналъ, что съѣздъ разрѣшенъ и на этомъ съѣздѣ торжественно привѣтствовали возвращеніе Максима Ковалевскаго. Проф. Вернадскій телефонировалъ княг. Прасковѣ Владиміровнѣ, которая была у своей сестры въ Узкомѣ, что подъемъ духа большой, такъ какъ изъ достовѣрнаго источника проникъ слухъ, что Университету будетъ дана автономія.

На другой день кн. П. В. вернулась въ Меньшово съ депешой отъ Трепова къ брату Сергѣю: «Потерпите нѣсколько дней, надѣюсь будете удовлетворены сдѣланнымъ».

Вчера, 27-го августа получили газеты съ правительственнымъ сообщеніемъ о дарованіи Университету автономіи!.. Эта первая реформа, полная, безъ полумѣръ: дано все, о чемъ просили и дано совершенно неожиданно! Еще на прошлой недѣлѣ печаталось о проектѣ Тихомирова, придававшего еще болѣе полицейскую окраску университетскому режиму. Въ самомъ министерствѣ были предположенія о полномъ разгромѣ университетовъ, увольненіи всѣхъ учащихся и профессоровъ... Чѣмъ вызванъ такой поворотъ?!

*) 20 августа въ Меньшово пріѣзжалъ сынъ В. О. Ключевскаго съ извѣстіемъ, что Милюковъ арестованъ, и съ просьбой къ Сережѣ похлопотать за него, а также выручить бумаги В. О. Ключевскаго, которая случайно находилась у Милюкова и забрана вмѣстѣ съ нимъ.

Сережа отправилъ свою Записку Государю еще въ концѣ юня, и съ тѣхъ поръ не имѣлъ ни малѣйшаго представленія о впечатлѣнн, которое она произвела. Копію съ этой записки онъ препроводилъ Трепову и Манухину. Теперь неожиданно все исполняется по его желанію и по мыслямъ, высказаннымъ въ этой Запискѣ...

На этомъ обрывается запись въ моей записной книжкѣ. Все послѣдующее изложено мною по личнымъ воспоминаніямъ, написаннымъ позднѣе, а также по письмамъ и другимъ источникамъ.

Немедленно вслѣдъ за появленіемъ правительственнаго сообщенія о введеніи въ Университетѣ временныхъ правилъ, всѣ заговорили о кандидатурѣ С. Н. на должность ректора Университета.

А. А. Япухинъ писалъ С. Н. 2-го сентября изъ Ревеля, гдѣ былъ въ то время губернаторомъ:

«Дорогой Сережа! Черезъ два дня по полученіи твоего письма, въ которомъ ты пишешь, что не знаешь, какъ сложится твоя жизнь, я прочелъ въ газетахъ извѣстіе о возможности выбора тебя на должность ректора. Очень жалеть бы этого для тебя: не столько съ точки зрѣнія устройства жизни, сколько необходимости для тебя пройти черезъ службу въ цѣляхъ административнаго опыта... Нельзя тебѣ, по теперешнимъ временамъ, отдаваться только кафедрамъ и партійной дѣятельности. Скоро нужна станетъ твоя служба болѣе широкая, чѣмъ ректорство, а она безъ предыдущаго опыта на меньшемъ поприщѣ очень трудна. Возможно ли тебѣ ректорство по состоянію твоего здоровья? Въ исполненіе того, что ты пишешь объ отношеніи Трепова и друг. властей къ вашей организации, мнѣ много рассказывалъ Львовъ (кн. Георгій Евг.), котораго я видѣлъ въ Петербургѣ 26 августа. Кое-что слышалъ и отъ бывшихъ сослуживцевъ... Между прочимъ отъ нихъ узналъ, что оставленіе васъ безъ судебного разслѣдованія за ваше «обращеніе къ населенію» отстоятъ Манухинъ, который поставилъ этотъ вопросъ, какъ вопросъ оставленія въ его рукахъ министерскаго портфеля. Съ точки зрѣнія принципа, конечно, такое разрѣшеніе дѣла о вашемъ «преступномъ сообщеніи» — хорошо, но для васъ, пожалуй, лучше было бы, если бы васъ попробовали привлечь... Въ результатъ заступничество за васъ, какъется, будетъ стоить Манухину портфеля, такъ какъ появились толки о его уходѣ и заступленіи его бар. Поднде. Впрочемъ, вопросъ объ отдѣльныхъ перемѣнахъ министровъ — вопросъ теперь праздный, такъ какъ вопросъ объ учрежденіи кабинета солидарнаго, составляемаго однимъ министромъ, рѣшенъ окончательно, и потому на всѣ вопросы, что будетъ правительство дѣлать и кто будетъ это правительство, всѣ люди освѣ-

домленные отвѣчаютъ: что все зависитъ отъ того, какое положеніе займетъ Витте послѣ возвращенія, такъ какъ всѣ увѣрены, что премьеромъ будетъ онъ...

Политическому въ Петербургѣ не сознаютъ, что Государственная Дума не можетъ не начать своей дѣятельности съ запроса объ исключительныхъ административныхъ полномочіяхъ и главное о порядкѣ ихъ примѣненія, т. е. съ запроса о Треповѣ. Никто ни его полномочій, ни его политики мѣнять не собирается и борьба не съ революционерами, а съ тѣми, на кого правительство должно было бы теперь опереться, будетъ не только продолжаться до самой Думы, но, думается мнѣ, будетъ всего сильнѣе въ періодъ выборовъ въ Думу.

Правительство безсознательно открыло двери людямъ для него самого наиболѣе опаснымъ, и закрыло ихъ передъ людьми порядка. Оно своимъ поведеніемъ во время выборовъ сдѣлаетъ изъ Думы революціонный комитетъ. Результаты булыгинскаго творчества у насъ сказываются: творчество это сопровождалось такимъ невѣжествомъ, что при составленіи положенія о выборахъ была забыта всесословность нашей волости и потому даже крестьяне у насъ не выберутъ крестьянина, а выберутъ одного изъ начавшихъ приписываться къ волости политическихъ хулигановъ; тѣ же результаты могутъ дать и другіе сѣзды. Если повсемѣстно такъ, то нельзя рассчитывать, чтобы Дума не была очень скоро распущена...

1-го сентября, къ вечеру, братъ Сергѣй Ник. выѣхалъ изъ Меньшова въ Москву и прямо съ поѣзда проѣхалъ къ Николаю Вас. Давыдову, у котораго въ это время собралось нѣсколько человѣкъ профессоровъ: В. И. Вернадскій, П. И. Новгородцевъ, А. А. Мануйловъ, Б. К. Млодзеевскій, И. К. Спичарный, А. Б. Фохтъ и Хвостовъ.

Н. В. Давыдовъ рассказываетъ *), что С. Н. долго не прѣзжалъ, такъ какъ поѣздъ почему то опоздалъ. «Раздался звонокъ у входной двери: было ясно, что это — Трубецкой; всѣ мы примолкли и въ великомъ волненіи ждали его появленія, а когда онъ вошелъ, то всѣ, не сговариваясь, по какому-то общему неудержимому побужденію, встрѣтили его аплодисментами».

На слѣдующій день состоялись выборы: въ результатѣ оказалось, что С. Н. получилъ 56 избирательныхъ и 20 неизбирательныхъ шаровъ. Въ отвѣтъ на шумные, долго несмолкавшіе аплодисменты и привѣтствія С. Н. сказалъ:

*) «Голосъ Минувшаго», 1916 г.

«Вы оказали, господа, мнѣ великую честь и возложили на меня великую обязанность, избравъ меня ректоромъ въ такой тяжелый и трудный моментъ. Я высоко цѣню эту честь и понимаю всю возлагаемую на меня отвѣтственность и сознаю всѣ трудности, выходящія на мою долю.. Положение въ высшей степени трудное, но оно не безнадежное. Мы должны вѣрить дѣлу, которому служимъ. Мы отстоимъ Университетъ, если мы сплотимся. Чего бояться намъ? Университетъ одержалъ великую, нравственную побѣду. Мы получили разомъ то, чего ждали: мы побѣдили силы реакціи. Неужели бояться намъ общества, нашей молодежи? Вѣдь не останутся же они слѣпыми къ торжествѣ свѣтлаго начала въ Университетѣ. Правда, все бушуетъ вѣкругъ... водны захлестываютъ: мы ждемъ, чтобы онѣ успокоились. Мы можемъ пожелать, чтобы разумныя требованія русскаго общества получили желательное удовлетвореніе. Будемъ вѣрить въ наше дѣло и нашу молодежь. Та преграда, которая намъ раньше мѣшала дать молодежи свободно организовать и войти съ ней въ правильныя сношенія, теперь пала. Тотъ порядокъ, который нельзя было раньше осуществить, получилъ возможность осуществленія. Мы должны осуществить его совокупными нашими усилиями. Намъ надо быть солидарными и вѣрить въ себя, въ молодежь, и въ святое дѣло, которому мы служимъ!

Я прошу, я требую отъ васъ дѣятельной мнѣ помощи. Совѣтъ нынѣ есть хозяинъ Университета»..

Громъ несмолкаемыхъ рукоплесканій, совершенно необычныхъ въ дѣловыхъ совѣтскихъ засѣданіяхъ, былъ ему отвѣтомъ. «Всѣ были потрясены до глубины души, — вспоминаетъ П. Новгородцевъ *); — и подходили къ нему, чтобы поблагодарить, пожать руку и сказать, что вѣрятъ, какъ и онъ, въ свѣтлые дни Университета, въ силу товарищеской солидарности и любви молодежи. Но то, что говорилъ онъ объ Университетѣ, не говорилъ ли онъ обо всей Россіи?.. И развѣ онъ не имѣлъ основанія такъ говорить?.. Ни для кого не тайна, что требованія университетовъ были удовлетворены только благодаря его нравственному влиянію... Какъ же могъ онъ не вѣрить въ силу свѣтлаго начала по отношенію ко всей Россіи? И, тутъ онъ вѣрилъ, что общее примиреніе возможно, и другіе вѣрили вслѣдъ за нимъ. Вѣрили въ то, что онъ найдетъ и скажетъ такія слова, которыя в сѣхъ убѣдятъ, передъ которыми смирится и всемогущая власть и бушующая народная стихія».

*) Вопросы Философіи и Психологіи. 1905 г. № 1.

О томъ, что Сережа выбранъ ректоромъ, я узнала въ Тулѣ, передъ отъѣздомъ въ Ялту, изъ газеты. Помню, я вскрикнула невольно, прочтя это извѣстіе, и сказала, что смотрю на это назначеніе, какъ на смертный приговоръ, что не по силамъ это Сережѣ, что онъ серьезно боленъ... и все-таки, конечно, я далека была отъ мысли, что конецъ такъ близокъ.

Все дѣло онъ страдалъ приливами къ головѣ и какой-то особенной тошнотой. Лицо у него постоянно было красное и глаза красные, съ особымъ, «склерознымъ» блескомъ.

Помимо напряженной работы по университетскимъ и общественнымъ дѣламъ, весь послѣдній годъ его сильно удручало положеніе его собственныхъ дѣлъ: онъ не зналъ, какъ свести концы съ концами. А главное онъ ясно сознавалъ, въ какую бездну мы летѣли...

Помню, какъ однажды, вернувшись изъ Москвы, утомленный и измученный, онъ въ какой-то тоскѣ метался по комнатѣ, кидаясь то на диванъ, то на кресло, съ какими-то стонами. На мой вопросъ: «Что съ тобой?» онъ, съ ужасной тоской во взглядѣ, отвѣчалъ: «Я не могу отдѣлаться отъ кроваваго кошмара, который на насъ надвигается».

Я съ испугомъ всматривалась въ его лицо, выражавшее ужасъ, отвращеніе и глубокое страданіе.

Кошмары преслѣдовали его по ночамъ. Помню одинъ сонъ, о которомъ онъ не разъ рассказывалъ при мнѣ и всегда съ одинаковымъ мистическимъ ужасомъ... Онъ видѣлъ себя ночью на вокзалѣ, съ чемоданомъ, у столба платформы, въ ожиданіи поѣзда. Горѣли фонари и ири свѣтъ ихъ онъ видѣлъ огромную голубую, которая спѣшила мимо него. Все знакомая, родная лина и все непрерывно двигались въ одномъ направленіи къ огромной, темной безднѣ, которая — онъ зналъ — тамъ, въ этой халѣ, куда все спѣшать и стремятся, а онъ не въ силахъ имъ этого сказать, ихъ остановить...

Изъ Ялты я выѣхала 15 сентября, 17-го вечеромъ вернулась въ Москву и остановилась на Поварской, въ квартирѣ Э. Д. Самарина, такъ какъ у насъ въ домѣ шелъ ремонтъ. Сережа звѣхалъ со мной повидаться и спросить о моей поѣздкѣ.

Боже мой! Какъ онъ былъ жалокъ, какъ утомленъ, утомленъ почти до простраціи!.. Лежа и прерываясь, онъ рассказывалъ мнѣ о всѣхъ событіяхъ, безъ меня бывшихъ, и все повторялъ: «До чего я усталъ, до чего я усталъ!..»

Около 12 час. ночи онъ всталъ, чтобъ ѣхать на Знаменку, гдѣ остановился у брата Пети, и мы распростились... Состояніе его произвело на меня удручающее впечатлѣніе, но могла

ли я предположить, что больше его не увижу въ живыхъ, что мы на вѣки простились?..

На другой день я уѣхала въ Меньшово.

Событія въ Университетѣ шли такимъ темпомъ, что было ясно, что дѣло клонится къ его закрытію. Дарованіе автономіи не отразилось на настроеніи студенчества въ смыслѣ успокоенія. Вопросы академическаго характера въ данное время совершенно уже не интересовали его. Революція бушевала на улицѣ, и Университетъ отражалъ въ себѣ настроеніе массъ.

По газетамъ, доходившимъ еще до Меньшова, ходъ событій въ Университетѣ представлялся въ слѣдующемъ видѣ:

19-го сентября съ 10 час. утра юридическая аудиторія стала наполняться студентами, среди которыхъ въ значительномъ числѣ находилась и посторонняя публика, преимущественно женщины. Черезъ часъ не только аудиторія, но и почти весь корридоръ были переполнены. Въ аудиторію часамъ къ 11-ти явился помощникъ ректора А. А. Мануиловъ, встрѣченный громкими рукоплесканіями. Когда возстановилась тишина, Мануиловъ обратился къ присутствовавшимъ съ рѣчью, въ которой указалъ на недопустимость устройства сходокъ въ аудиторіяхъ въ тѣ часы, когда въ нихъ должны происходить лекціи; участіе же въ сходкахъ постороннихъ лицъ превращаетъ ихъ въ митинги, разрѣшеніе которыхъ выходитъ изъ компетенціи университетскихъ властей. Считаая такія дѣйствія «насиліемъ надъ университетомъ и студенчествомъ», А. А. Мануиловъ протестуетъ противъ этого и апеллируетъ къ чувству порядочности студенчества и къ общественному мнѣнію страны.

Рѣчь эта вызвала шумныя рукоплесканія однихъ и рѣзкіе свистки другихъ.

21-го сентября, въ 8-мъ часу вечера, въ юридическую аудиторію снова начался наплывъ массы посторонней публики. Собралось около 3-хъ тысячъ человекъ, занявшихъ нѣсколько аудиторій и столпившихся тѣсной массой въ корридорахъ, на лѣстницѣ и въ швейцарской. Когда занятыхъ помѣщеній оказалось недостаточно, собравшіеся проникли въ нѣкоторыя запертыя аудиторіи... Тогда, въ виду опасности, съ которой были сопряжены такія собранія, какъ для Университета, такъ и для самихъ участниковъ, Совѣтъ Московскаго Университета, подъ предсѣдательствомъ С. Н., призналъ необходимымъ временно закрыть Университетъ.

На слѣдующій день на Моховой у университетскихъ воротъ стали собираться студенты, и когда С. Н. подъѣзжалъ къ Университету, ихъ собралось уже нѣсколько сотъ человекъ.

На просьбу студентовъ разрѣшить имъ собраться въ одной изъ аудиторій для обсужденія создавагоса положенія, С. Н. отвѣтилъ согласіемъ, но подл непрѣмѣннымъ условіемъ недопущенія въ Университетъ посторонней публики. Въ юридическую аудиторию собралось 700-800 чел. студентовъ, къ которымъ около 2-хъ час. дня вышли С. Н. и Мануиловъ. Появленіе ихъ было встрѣчено дружными рукоплесканіями. С. Н. вошелъ на кафедру и обратился къ студентамъ съ рѣчью.

Повторивъ сказанное раньше А. А. Мануиловымъ о недопустимости сходокъ въ аудиторіяхъ въ часы лекцій и съ участіемъ постороннихъ лицъ, С. Н. сообщилъ, что во время вчерашняго митинга въ аудиторіяхъ московскія власти вызвали въ манежъ войска, которая должны были прибѣгнуть къ дѣйствию оружіемъ, если бь участниками были нарушенъ внѣшній порядокъ.

При такихъ условіяхъ, исключающихъ возможность правильныхъ занятій и представляющихъ угрозу для безопасности самихъ участниковъ сходокъ, Совѣтъ призналъ необходимымъ временно закрыть Университетъ. Если же явленія, подобныя вчерашнему, будутъ продолжаться, это приведетъ къ разгрому Университета, къ разгрому русскаго просвѣщенія, и отвѣтственно за это будетъ студенчество... Заканчивая свою рѣчь, С. Н. сказалъ:

«Помните, что отнимѣ Совѣтъ автономенъ. Въ прежнее время отъ насъ требовалось иногда, чтобы мы читали вачь лекціи при всякихъ условіяхъ, и вы первые протестовали противъ такихъ требованій. Помните, что если вы нарушеніемъ совѣтскихъ постановленій можете привести къ закрытію университета, вы не можете заставить автономный совѣтъ открыть его и читать вачь лекціи при такихъ условіяхъ, которая онъ не считаетъ совмѣстимыми съ достоинствомъ университета и при которыхъ не существуетъ никакого обезпеченія внутренняго порядка и самой пѣншей безопасности университета.

Какъ общественный дѣятель я подвергался многимъ нареканіямъ, и притомъ съ противоположныхъ сторонъ, но одно вы знаете, что за безусловную свободу общественныхъ политическихъ собраній я стоялъ всегда и вездѣ: въ печати, въ постановленіяхъ той партіи, къ которой я имѣлъ честь принадлежать, и передъ лицомъ самого Государя, и тѣмъ не менѣе я скажу вамъ здѣсь, не только какъ ректоръ и профессоръ, но какъ общественный дѣятель, что университетъ не можетъ и не долженъ быть народной площадью, какъ народная площадь не можетъ быть университетомъ, и всякая попытка превратить университетъ въ такую площадь, или превратить его въ мѣсто на-

родныхъ митинговъ, неизбежно уничтожить университетъ какъ таковой. Помните, что онъ принадлежитъ русскому обществу и вы дадите отвѣтъ за него».

Рѣчь эта, сказанная съ необычайнымъ душевнымъ подъемомъ, вызвала громъ долго несмолкавшихъ рукоплесканій. Въмѣсто скандала, котораго многіе опасались, студѣнты устроили своему ректору овацію... То была большая моральная побѣда, которую Совѣтъ Московскаго Университета оцѣнилъ по достоинству и вечеромъ того же дня, въ свою очередь, сдѣлалъ С. Н. овацію...

Можно себѣ представить, каково было С. Н. идти на закрытіе Университета, но другого выхода не было. Беспорядки въ Москвѣ усиливались. С. Н. рѣшилъ ѣхать въ Петербургъ хлопотать о разрѣшеніи студентамъ собираться гдѣ-нибудь внѣ стѣнъ Университета: онъ надѣялся, что открывши отдушину въ другомъ мѣстѣ, онъ оттянетъ отъ Университета постороннюю публику.

Вдобавокъ къ своему болѣзненному состоянію и крайнему переутомленію С. Н. еще простудился. Въ такомъ состояніи ему приходилось посѣщать студенческія сходки и бывать въ Совѣтѣ Университета. Онъ уставалъ до изнеможенія и, возвращаясь домой, кидался на диванъ, хватая книжку А. Дюма *Joseph Balsamo*, которую взялъ у меня и зачитывался ею, говоря, что это лучший отдыхъ для головы, иначе мысли и души еще пуще одолѣваютъ.

Послѣднее время имъ овладѣло особенное нервное возбужденіе, и въ Университетѣ замѣчали, что онъ не могъ говорить спокойно, безъ глубокаго внутренняго волненія. Наконецъ, уступая просьбамъ Прасковьи Владиміровны, онъ, передъ отъѣздомъ въ Петербургъ, рѣшилъ объявить о своемъ нездоровьи.

Тотчасъ въ одной изъ московскихъ газетъ появилась язвительная замѣтка, что «ректоръ к с т а т и заболѣлъ»: С. Н. вознегодовалъ на этотъ несправедливый и столь недоброжелательный укоръ и такъ какъ въ газетахъ то и дѣло появлялись всякіе неprovѣренные и вредные для дѣла слухи, онъ рѣшилъ положить этому конецъ, помѣстивъ въ газетѣ «Слово» «письмо въ редакцію», которое является послѣднимъ его печатнымъ словомъ. Въ немъ онъ обращался къ органамъ печати съ просьбой «относиться съ особенной осторожностью къ сообщаемымъ слухамъ о томъ, что происходитъ въ стѣнахъ высшихъ учебныхъ заведеній, которыя переживаютъ столь трудное и тревожное время».

Сережа уѣхалъ въ Петербургъ 28, а Паша, проводивъ его, 29-го къ обѣду пріѣхала въ Меньшово.

Паша поражала своимъ бодримъ видомъ и оживленіемъ. Несмотря на безпокойство о здоровьи Сережи, она надѣялась, что послѣ Петербурга онъ отдохнетъ немного, а главное ее радовало общее участіе и любовь къ Сережѣ, которыя, казалось, росли съ каждымъ днемъ. Чувствовалось глубокое удовлетвореніе, что вотъ, наконецъ-то, оцѣнили человѣка!

Мы поздно засидѣлись съ ней, она мнѣ разсказывала о всемъ, что было послѣ моего отъѣзда и что творилось въ Москвѣ послѣдніе дни. Разошлись мы спать очень поздно. Паша это дѣло жила внизу, чтобы Сережѣ не ходить по лѣстницѣ, да и внизу было прохладнѣе въ жару и больше воздуха.

На дворѣ бушевала буря съ дождемъ и вѣтромъ. Я долго не могла заснуть отъ порывовъ вѣтра съ дождемъ, который хлесталъ въ окно и только стала задремывать, какъ услышала страшный стукъ въ дверь подъѣзда. Я съ испугомъ вскочила. Стучали такъ, что словно дверь ногой вышибали.

Анна Васильевна тоже вскочила и уже спускалась внизъ и я съ тревогой ждала ея возвращенія. Она вернулась съ извѣстіемъ, что пріѣхалъ урядникъ, а съ нимъ княгиня Александра Владиміровна *). Не успѣла она договорить, какъ я услышала громкій звукъ голосовъ у подъѣзда и страшный, душу леденящій крикъ..., отъ котораго разомъ проснулся весь домъ и всѣ высыпали въ корридоръ съ вопросомъ: «Что случилось?»

Я накинула платье и опрометью бросилась внизъ. Въ головѣ путалось... я думала: не арестовали ли Сережу... Почему урядникъ?

Романъ уже отворялъ дверь и въ переднюю вмѣстѣ съ бурей ворвалась Татя съ крикомъ: «Скорѣе! Скорѣе! Собирайте Пашу! Съ Сережей нехорошо. Ей нужно сейчасъ ѣхать! Мы сейчасъ же должны ѣхать, чтобы поспѣть къ поѣзду! Дороги невозможныя, мы не доѣдемъ до утра. Скорѣе, скорѣе!..»

Я бросилась къ Пашѣ. Она, бѣдная, металась, хватая всѣ нужные предметы и бросая ихъ въ мѣшокъ. Разбуженная стукомъ и звукомъ подъѣхавшаго къ крыльцу экипажа, она высунулась въ форточку, и Татя тутъ же ей сказала, что съ Сережей плохо... въ отвѣтъ на что и раздался тотъ ужасный вскрикъ!..

Невозможно описать и передать ужаса этихъ минутъ. Я побѣжала наверхъ, чтобы предупредить дѣтей и сказать, чтобы

*) Сестра ки. Прасковьи Владиміровны и жена брата Петра Ник.

они шли внизъ проститься съ Пашей. Не забуду бѣднаго Владимира, въ длинной бѣлой рубашкѣ, который стоялъ въ проходной комнатѣ съ огромными, исполненными смертельнаго ужаса глазами: зубы у него буквально стучали

Сборы Паши длились минутъ 10-ть, не больше... Мы сговорились, что на другой день я съ дѣтьми и фрейленъ выѣду въ Москву, а тамъ уже видно будетъ, ѣхать ли дальше. Людямъ поручили убрать домъ и переѣхать въ Москву какъ можно скорѣе.

Татя сообщила намъ, что имъ на Знаменку по телефону изъ Петербурга дали знать, что съ Сережей во время засѣданія у министра сдѣлалось дурно, что его вынесли на рукахъ въ сосѣднюю комнату и доктора признали, что съ нимъ — ударъ, и положеніе очень серьезное, но что его перевезли въ клинику Елены Павловны... Она немедленно собралась ѣхать за Пашей, но такъ какъ погода и въ Москвѣ бушевала, братъ Пети телефонировалъ въ Подольскъ исправнику съ просьбой, чтобъ онъ озаботился на счетъ лошадей и встрѣтилъ Татю на станціи. Ночь до того была темная, что исправникъ отрядилъ урядника провожать Татю.

Извѣстіе, что Сережу перевезли въ клинику очень меня встревожило. Да и съ первой минуты у меня какъ-то иллюзіи не было, и я не надѣялась. До отъѣзда Паши, мы избѣгали другъ на друга смотрѣть, но когда наступила минута прощанья, я никогда не забуду ея взгляда, онъ ясно мнѣ сказалъ: «Ты понимаешь, что все кончено...» Я чувствовала, что и въ моихъ глазахъ она прочла то же... Не знаю, какъ дожила я до утра.

Въ Москвѣ пришлось все-таки остановиться на Знаменкѣ у брата Пети, такъ какъ квартира наша все еще не была готова. Насъ встрѣтилъ В. П. Трубецкой въ ужасно подавленномъ, растерянномъ состояніи. На вопросы мои онъ отвѣчалъ уклончиво, что онъ все звонитъ по телефону и ни отъ кого ничего толкомъ узнать не можетъ, но что положеніе повидимому угрожающее. Я позвонила къ Кристи и отъ сестры Мани узнала...

Дѣти бѣдныя совершенно оцпенѣли... Меня захлестывало горе и за нихъ, и за себя, и за Пашу, и за всѣхъ отсутствовавшихъ близкихъ.

Желающихъ ѣхать въ Петербургъ оказалась такая масса, что мы съ трудомъ раздобыли себѣ билеты. Приѣхали утромъ и я, оставивъ дѣтей съ Пашей, отправилась въ церковь при клиникѣ, гдѣ лежалъ Сережа.

Невыносимо тяжело было то, что мы какъ бы потеряли свои

права на него... Все время битком набитая церковь. У гроба постоянное почетное дежурство отъ студентовъ Петербургскаго Университета: отношеніе молодежи, съ любовью и благоговѣніемъ окружавшей его гробъ, было трогательное, но мы съ трудомъ выговорили себѣ одинъ часъ, чтобы помолиться наединѣ у гроба.

О послѣднихъ часахъ жизни С. Н. намъ рассказали слѣдующее.

Приѣхавъ въ Петербургъ утромъ 29-го сентября, Сергѣй Ник. тотчасъ же отправился къ министру, быть имъ принять и больше часа рассказывалъ ему о послѣднихъ университетскихъ событіяхъ. Ему было поручено Совѣтомъ Московскаго Университета ходатайствовать о немедленномъ разрѣшеніи вопроса о правѣ собраній для всѣхъ гражданъ, чтобы вывести митинги изъ стѣнъ Университета, при наличіи коихъ занятія были немислимы.

Глазовъ очень внимательно его выслушалъ и просилъ принять участіе въ засѣданіи комиссіи о выработкѣ университетскаго устава. Вышелъ онъ отъ Глазова, по словамъ очевидцевъ, очень усталый и взволнованнымъ голосомъ сказалъ: «Много дѣла въ Москвѣ, очень усталъ, да и не удается все сдѣлать, какъ въ хотѣлось»... На этомъ его прервали и опять пригласили къ министру. Совѣщаніе комиссіи было посвящено разсмотрѣнію тѣхъ пунктовъ устава, гдѣ говорилось о студенческихъ организаціяхъ. С. Н. пришлось много говорить, давать подробныя разъясненія, оспаривать редакцію нѣкоторыхъ положеній.

Было уже около 7 час., когда Глазовъ, обративъ вниманіе на крайнее утомленіе С. Н. и на то, что онъ говоритъ уже упавшимъ голосомъ и не совсѣмъ внятно, предложилъ закончить засѣданіе... Тутъ онъ сдѣлалъ движеніе, чтобы вручить министру нѣсколько прошеній студентовъ Варшавскаго университета о переводѣ ихъ въ Московскій, причемъ сказалъ:

«Карманъ мой полонъ такими прошеніями... Да, они будутъ довольны, они успокоятся»...

На этомъ вдругъ съ нимъ сдѣлалось дурно, онъ моментально поблѣднѣлъ, откинулся на спинку стула и, казалось, потерялъ сознаніе...

Но рассказамъ всѣхъ присутствовавшихъ при этомъ, всѣ страшно растерялись и, не зная, что предпринять, почему-то вынесли С. Н. изъ кабинета и уложили на диванъ въ сосѣдней комнатѣ. Первую помощь ему оказалъ Лукьяновъ (товарищъ министра). Затѣмъ по телефону стали вызывать докторовъ, за-

требовали карету «скорой помощи». Первое время С. Н. словно пришелъ въ себя и понималъ и говорилъ. Но всѣ запомнили только одну его фразу, которую онъ сказалъ вполне ясно и отчетливо:

«Позовите княгиню... Я въ кабинетъ брата»...

По этимъ словамъ, однако, видно, что сознание у него было затемненное и онъ воображалъ себя въ Москвѣ, на Знаменкѣ, у брата. Послѣ этого онъ сталъ бредить и всѣ думали, что онъ безъ сознания. Однако, когда Г. Кристи приѣхалъ и нагнулся надъ нимъ, онъ узналъ его и морща шутливо брови, произнесъ: «Строгий администраторъ!..»

Въ 9 час. вечера его въ каретѣ «Скорой помощи» перевезли въ Еленинскую клинику, гдѣ собрался консилиумъ врачей, но всѣ усилія ихъ были тщетны: въ 11 час. ночи, онъ, не приходя въ сознание, скончался.

Смерть эта произвела на всѣхъ ошеломляющее и потрясающее впечатлѣніе и вызвала небывалое проявленіе всеобщаго, можно сказать, всенароднаго горя и скорби. Не только студенчество, земскіе люди и общественные дѣятели, но и торгово-промышленные круги, рабочіе, купечество, крестьянство — вся Россія дѣлила наше горе. Кромѣ телеграммъ со всѣхъ концовъ, печатавшихся цѣлыми столбцами въ газетахъ и полученныхъ университетомъ, сотни телеграммъ и писемъ сыпались отъ незнакомыхъ намъ лицъ по адресу семьи и вдовы покойнаго.

Какой-то необычный порывъ объединилъ въ тотъ мигъ людей самыхъ противоположныхъ убѣжденій, направленій и взглядовъ. Даже люди совершенно другого склада и далекіе по духу, отдавали ему должное. «Среди общей переоцѣнки цѣнностей, — писалъ П. Н. Милуковъ, — среди ломки именъ и репутаций онъ былъ и остался цѣльнымъ, неподкупнымъ, незапятнаннымъ и честнымъ. Этотъ ни передъ кѣмъ не искалъ и ни къ чему не приспособлялся. Тамъ, гдѣ свѣтило ему убѣжденіе, гдѣ онъ видѣлъ ясно свою цѣль и свой долгъ, онъ смѣло шелъ впередъ, шелъ на всякое положеніе, даже затруднительное, даже двусмысленное, ни минуты не думая о себѣ, а только о дѣлѣ. И онъ могъ быть увѣренъ, какъ и всѣ другіе вѣрили вокругъ него, что ни при какой житейской конъюнктурѣ, ни одна соринка клеветы не прикоснется къ его честному имени... Одаренный необыкновенно дели-

катной и хрупкой психической организацией, онъ становился твердымъ, прямымъ и смѣлымъ, когда дѣло шло объ исполненіи общественнаго долга. Отвлеченный мыслитель, почти мистикъ по умственному складу, онъ самоотверженно несъ на себя непривычные и тяжелые доспѣхи бойца. Чувствительный къ тончайшимъ оттѣнкамъ личныхъ отношеній, онъ всей грудью становился подъ удары общественной критики... Но чего стоила ему вся эта твердость и стоицизмъ, знаютъ всѣ, кто имѣлъ счастье въ послѣднее время ближе знать покойнаго... Яркой вспышкой, торжественнымъ заключительнымъ аккордомъ его смерти запечатлѣла особенности его личности и взятой на себя общественной роли» *).

А близкій другъ Сергѣя Николаевича, знавшій его съ юныхъ лѣтъ, Левъ Мих. Лопатинъ писалъ: «Это былъ человѣкъ необыкновенно простой, дѣтски ясный, чистый и жизнерадостный и въ то же время глубокой и чрезвычайно чуткой ко всему, что въ жизни есть самаго важнаго, строгаго и серьезнаго. Его философія воплотила въ себѣ эти высокія черты его характера. Онъ не могъ видѣть мечту въ томъ, что было для него самымъ главнымъ на свѣтѣ. Онъ не могъ жить, не вѣря въ глубокой смыслъ жизни, — отъ этого въ его глазахъ Богъ, нравственная правда и безсмертіе не были пустыми мечтами. Такое религиозно-философское обоснованіе міросозерцанія С. Н. сообщало твердость и устойчивость его общественно-политическимъ идеаламъ, а своей задушевной, увлекательной искренностью онъ умѣлъ заражать своихъ слушателей и зажигать ихъ своей вѣрой, просвѣщенной любовью къ родинѣ и всему высокому и прекрасному. И ему вѣрили какъ человѣку, и за нимъ шли какъ за вождемъ».

Провожать его гробъ до Николаевского вокзала стеклось такое несмѣтное множество народа, что ни до, ни послѣ, мнѣ никогда въ жизни не приходилось видѣть такой толпы: казалось, весь городъ высыпалъ на улицу.

Но и до похоронъ, какъ только вѣсть о кончинѣ его разнеслась по городу, вся улица передъ клиникой была запружена народомъ и въ церковь можно было проникнуть съ трудомъ и только по очереди: панихиды совершались непрерывно и пѣлъ огромный студенческой хоръ.

*) «Русскія Вѣдомости» 1905 г. № 260. «Памяти кн. С. Н. Трубецкого».

Выносъ тѣла на Николаевскій вокзалъ состоялся 2-го октября. Передъ самымъ выносомъ гр. Гейденъ (фл.-адъютантъ) возложилъ вѣнокъ отъ Государя изъ бѣлыхъ орхидей съ лаврами; это произвело на всѣхъ хорошее впечатлѣніе и какъ бы увѣнчало общенациональное выраженіе скорби и дани уваженія.

Вѣнковъ нельзя было сосчитать и были между ними съ трогательными надписями: «отъ простолюдиновъ», «отъ крестьянъ Рыбацкой слободы», «отъ неизвѣстныхъ», «незабвенному гражданину, борцу за высокіе идеалы» и т. д. Отъ Моск. Университета — дивный серебряный лавровый вѣнокъ съ надписью: «Своему излюбленному ректору и славному гражданину С. Н. Трубецкому — Московскій Университетъ». Вѣнокъ привезла депутація въ составѣ четырехъ профессоровъ: В. О. Ключевского, А. С. Алексѣева, Д. Н. Зернова и Н. А. Умова. Была депутація и отъ московскаго студенчества съ вѣнкомъ. Вообще депутацій было множество и впервые послѣ долгихъ лѣтъ вѣнки было разрѣшено нести на рукахъ. Впереди гроба и по бокамъ шли шпалерами студенты и курсистки, они же составляли цѣпь вокругъ гроба и депутацій слѣдовавшихъ зади. Все это представляло величественное зрѣлище.

Но похороны эти, которые у многихъ остались въ памяти какъ свѣтлое проявленіе единодушія, сплотившаго всѣхъ, безъ различія, въ одномъ порывѣ, — для насъ, близкихъ, были слишкомъ потрясающи. Толпа угнетала, не давала возможности молитвенно сосредоточиться. Къ тому же несомнѣнно, что къ искренно скорбѣвшимъ примѣшивались люди, которые желали использовать моментъ для манифестацій. Были страхи и за враждебныя демонстраціи со стороны черносотенцевъ*). Намъ предупреждали, чтобы мы не пугались и не поддавались паникѣ, а старались бы не отставать отъ гроба, что могутъ быть и выстрѣлы и попытки произвести замѣшательство и беспорядки.

Студенты просили полицію довѣрить имъ охрану порядка на похоронахъ, ручаясь, что все пройдетъ благополучно. Отвѣтственность они на себя взвалили колоссальную и надо признать, поразительно съ ней справились...

Настроеніе въ общемъ было страшно нервное и напряженное, на всѣхъ большихъ перекресткахъ, гдѣ особенно много было народа, жутко и страшно было, что цѣпи не сдержатъ

*) За послѣдній мѣсяцъ братъ С. Н. получалъ много анонимныхъ, угрожающихъ писемъ и предупрежденій.

массъ, желавшихъ примкнуть къ процесси. Кромѣ толпы, которая сплошной рѣкой текла по улицѣ, всѣ дома сверху до низу были полны зрителей, толпившихся у оконъ; даже крыши были унизаны народомъ и люди висѣли гроздьями на фонарныхъ столбахъ. Малѣйшая паника могла вызвать невѣроятную давку и катастрофу.

Пѣніе «Вѣчной памяти» и «Со святыми упокой» чередовалось иногда съ пѣніемъ похороннаго марша: «Вы жертвою пали въ борьбѣ роковой! Пѣніе этого мрачнаго марша какъ-то накаляло атмосферу... Подошли къ воротамъ товарнаго вокзала; къ намъ подбѣжалъ кто-то предупредить, чтобы мы подтягивались къ гробу, ибо какъ только пройдутъ родственники, ворота закроютъ.

Мы заторопились, но когда мы были въ трехъ-четыре-хъ шагахъ отъ воротъ, ихъ стали запираютъ. Толпа ринулась впередъ и раздался ужасный крикъ: «Раздавили! раздавили!» — очевидно кто-то упалъ. Меня страшно стиснули. Раздались крики: «Что дѣлаете, сумашедшіе... Народъ весь передавите!»

Ворота пріотворили: они были глубокія со сводами, и мы съ Мишей очутились внутри, но вуаль моей шляпы защемили и меня потащило назадъ. Толпа, врывавшаяся за нами, сбивая меня съ ногъ и я упала на спину подъ ноги толпы... Это было только мигъ, но ужасный; казалось, словно темныя волны надо мной замыкаются и я спускаюсь на дно, — было даже что-то притягательное въ этомъ чувствѣ, но вмѣстѣ съ тѣмъ, словно громкій голосъ властно сказалъ во мнѣ: «Не теряй сознания, а то ты погибла»...

Въ тотъ мигъ, какъ я падала, страшный, истерическій крикъ въ толпѣ: «Раздавили, раздавили!» — спасъ меня. Толпа невольно подалась назадъ и этимъ мгновеніемъ воспользовался мой племянникъ М. Осоргинъ и какой-то еврей, очутившійся рядомъ: они ловкимъ движеніемъ разомъ подхватили меня и выволокли изъ воротъ.

За воротами продолжались истерическіе крики, смятеніе и раздавался одинокій выстрѣлъ... Страхъ, что похороны Сережи подадутъ поводъ къ стрѣльбѣ и кровопролитію, все время меня преслѣдовала, — къ счастью, все ограничилось однимъ выстрѣломъ. Но все-таки чаша переполнилась. У меня сдѣлалась такая слабость и сердцебиеніе, что хотѣлось тутъ же лечь и никуда не двигаться. А вмѣстѣ съ тѣмъ толпа нарастала, найдя себѣ какой-то околный путь къ платформѣ, гдѣ стоялъ поѣздъ. Народъ началъ вскакивать на крыши вагоновъ: власти волновались и хотѣли скорѣе отвести вагоны въ поле.

Меня стали торопить: пришлось встать и идти. М. Осоргинъ побѣждалъ предупредить, чтобъ безъ меня не уѣзжали. Мой добрый еврей провелъ меня подъ руку сквозь плотную массу народа, повторяя одно: «Сестра покойнаго князя, — дайте дорогу», — и эти слова прорубили намъ корридоръ сквозь толпу — мы благополучно добрались. Когда меня втащили на площадку вагона и я обернулась, чтобы поблагодарить моего спасителя, — онъ уже исчезъ и я никогда не могла себя простить, что не узнала его имени.

Всѣ мы очень волновались, чтобы по отходѣ поѣзда, собравшаяся толпа не учинила бы беспорядковъ и Прасковья Владиміровна просила П. Глѣбова, который оставался въ Петербургѣ, извѣстить ее по телеграфу о томъ, какъ окончится день. Онъ прислалъ успокоительную телеграмму. Къ сожалѣнію, беспорядки, хотя и незначительные, все-таки были, но при такомъ стеченіи народа можно было только благодарить Бога, что все такъ благополучно обошлось. Въ Москвѣ насъ встрѣтили новыя толпы народа и новыя депутаціи съ вѣнками. На вокзалѣ были всѣ профессора Моск. Университета съ Мануиловымъ во главѣ, братъ Петя съ депутаціей отъ дворянства и много другихъ депутацій.

Въ церкви, благодаря принятымъ мѣрамъ, не было особой тѣсноты и все было убрано растениями. Гробъ стоялъ между огромными пальмами и служба была необычайно торжественная. Евангеліе дня было: «Пшеничное зерно не оживетъ, аще не умретъ»... Слова эти такъ знаменательно звучали и казались исполнены особаго смысла по отношенію къ этой смерти...

Отпѣваніе кончилось около 2-хъ час. дня... Гробъ вынесли изъ церкви братья и профессора Моск. Университета, а на улицѣ приняли студенты и несли его на рукахъ до самаго Донскаго монастыря. Когда двинулись въ путь, пѣніе «Вѣчной памяти» и «Со святыми упокой» огромнаго хора студентовъ поминутно прерывалось и путалось съ пѣніемъ похороннаго марша. Духовенство возмущалось, и священникъ заявилъ, что если такъ будетъ продолжаться, онъ не будетъ провожать гробъ, ибо не можетъ допустить, чтобы похороны превращались въ политическую манифестацію. Я вполне его понимала и, собравъ послѣднія силы, подошла къ цѣпи студентовъ и сказала: «Я сестра покойнаго князя Сергѣя Николаевича и убѣдительно прошу васъ всѣхъ отъ имени семьи, если вы дѣйствительно хотите почтить память покойнаго, не пойте больше «похороннаго марша», а пойте «Вѣчную память», и передайте эту просьбу нашу по цѣпи вашимъ товарищамъ». Къ чести студенче-

ства, просьба моя была уважена, но дойдя до первого переул-ка, я поняла, что дальше идти не могу и свернула въ него. М. Осоргинъ, который былъ опять со мной, проводилъ меня до дому.

А наши всѣ вернулись съ кладбища только въ 10-омъ часу вечера. Процессія подошла къ Донскому только къ 6 часамъ. Въ монастырѣ, еще до прибытія процессіи, скопилось масса народу, такъ что за гробомъ пустили только членовъ семьи и депутаціи. Когда подошли къ могиламъ, было такъ темно, что пришлось уже зажечь фонарь, при слабомъ свѣтѣ кото-раго начались надгробныя рѣчи...

.....

Кн. О. Трубецкая.

Поправка. Въ 64 кн. «Совр. Зап.», на 289 стр., 13 строка снизу, вкралась въ текстъ воспоминаній кн. О. Трубецкой важная опечат-ка: вмѣсто «отречется отъ престола» надо читать «отречется отъ произвола».



Руины Дура-Европось.

Дура Европось и начало христіанского искусства *)

I.

Прежде чѣмъ перейти къ главному предмету моей бесѣды, позвольте познакомить васъ съ тѣмъ городомъ, въ которомъ сдѣланы были находки — предметъ этой бесѣды. Это позволитъ вамъ составить себѣ живое представленіе о тѣхъ, кто создалъ росписи синагоги и христіанской крестильни, о ихъ прошломъ и объ условіяхъ, въ которыхъ они жили въ III в. по Р. Хр.

Позвольте перенести васъ на время моей бесѣды въ далекую сирийскую пустыню, суровую и каменистую, на правый берегъ быстрого и мутнаго Евфрата, въ ту мѣстность, которую древніе называли Прирѣчьемъ, тогда какъ области между Евфратомъ и Тигромъ звались Междурѣчьемъ — Месопотаміей.

*) Публичная лекція, прочитанная 17 июля 1937 г. въ Парижѣ, на одномъ изъ вечеровъ «Совр. Записокъ».

Зѣсь, на полдорогѣ между Багдадомъ и Алеппо или Багдадомъ и Бейрутомъ, на каменистомъ плато, омываемомъ Евфратомъ, высятся стѣны и башни и стоятъ руины древняго города, который мѣстные жители, семиты, называли Дура, что значитъ крѣпость, а македонцы и греки Европось, по имени города въ Македоніи, гдѣ родился македонскій основатель города — Селевкъ Побѣдитель (Никаторъ).

Руины эти были извѣстны давно. Но интересъ къ нимъ пробудился во время войны, когда командиръ англійскаго отряда, отступавшій передъ арабами и моимъ знакомцемъ шейхомъ Фарезомъ, остановился въ Дурѣ и, копая траншею, нашелъ остатки превосходно сохранившейся росписи древняго храма. Послѣ войны французская Академія Росписей поручила своему сочлену проф. Кюмонъ произвести систематическія раскопки въ этомъ городѣ, длившіяся два года. За недостаткомъ средствъ раскопки были прекращены послѣ двухъ лѣтъ работы. Радуюсь, что мнѣ удалось найти средства на продолженіе ихъ. Вотъ уже десять лѣтъ, какъ Yale University ведетъ здѣсь систематическія раскопки, давшія глубоко интересные результаты.

Два слова объ исторіи города, о его памятникахъ, жизни и искусствѣ. На мѣстѣ старой восточной крѣпости одинъ изъ преемниковъ Александра В. Селевкъ Побѣдитель поставилъ въ началѣ III в. до Р. Хр. крѣпкій городъ, оплотилъ его власти на среднемъ Евфратѣ, на старой военной и караванной дорогѣ, связывавшей восточныя и западныя части его огромнаго греко-восточнаго царства, ширившагося отъ Индіи до береговъ Средиземнаго моря, отъ пустынь Аравіи до Малой Азіи, Кавказа, Каспійскаго и Аральскаго морей. Крѣпостью его преемниковъ Селевкидовъ Европось остался до конца владычества Селевкидовъ въ Прирѣчьи и Междурѣчьи, крѣпостью и оплотомъ эллинизма въ этой семитической области, со старой многовѣковой восточной культурой.

Возрожденіе иранскаго, новый подъемъ иранскаго національнаго и политическаго самосознанія, созданіе ново-персидскаго царства изъ обломковъ великой персидской монархіи, покоренной Александромъ Великимъ, иранскимъ племенемъ паревянъ съ ихъ иранской династіей Арзакидовъ столкнули Селевкидовъ съ Арзакидами. Въ результатъ, въ срединѣ II в. до Р. Хр. Месопотамія и Паропотамія сдѣлались провинціями новаго иранскаго царства и Дура — его евфратскимъ оплотомъ.

Между тѣмъ, на западѣ, въ Сиріи, политическимъ и военнымъ центрѣ Селевкидовъ, власть Селевкидовъ смѣнилась въ срединѣ I в. до Р. Хр. властью новыхъ западныхъ преемниковъ

Александра В. — римлянь, властью революціонныхъ вождей Римской республики Помпея и Цезаря сначала, а затѣмъ, со времени Августа, властью римскихъ императоровъ.

Преемники Селевкидовъ, римскіе вѣстители Сиріи столкнулись съ пареянами и началась долгая вѣковая вражда и борьба за Ближній Востокъ между Римомъ и Пареіей. На время однако, на два вѣка, эта вражда затихла. Война смѣнилась дипломатіей, битвы — торговлей. Евфратъ сталъ границей между Римомъ и иранствомъ, между Азіей и Европой. Дура-Европось перестала быть крѣпостью и сдѣлалась все богатѣйшимъ и расцвѣтавшимъ караваннымъ, торговымъ городомъ, многонаціональнымъ городомъ купцовъ и караванщиковъ, тѣсно связаннымъ съ главнымъ центромъ торговаго обмѣна между Римской имперіей и дальнимъ Востокомъ — царицей сирійской пустыни Пальмирой, руины которой и посейчасъ еще стоятъ въ ихъ могучемъ величин и привлекаютъ все большее и большее количество туристовъ.

Но времена мѣнялись. Мирная политика Рима въ концѣ II в. по Р. Хр. смѣнилась политикой агрессивной, политикой завоеваній. Война началась вновь и съ тѣхъ поръ не прекращалась. Одинъ походъ Рима противъ Пареи слѣдовалъ за другимъ. Дура, ключъ Евфратской дороги, въ самомъ началѣ этой новой политики Рима ушла изъ-подъ власти Арзакидовъ и сдѣлалась римской крѣпостью. Часть города превращена была въ римскій военный лагерь, гдѣ расположились хозяева дня — римскіе солдаты съ ихъ офицерами и генералами.

Казалось, пришелъ конецъ Пареи и иранству на берегахъ двухъ великихъ восточныхъ рѣкъ. Но судьбы государствъ неисповѣдимы. Въ началѣ III в. гордый Римъ переживалъ тяжелое время. Политическая и социальная анархія царили въ предѣлахъ Римской имперіи. А на Востокъ, какъ разъ въ это время, иранство пережило новый періодъ политическаго и культурнаго расцвѣта. Пареянь смѣнили персы, Арзакидовъ новая сильная династія потомковъ Сасана — Сасанидовъ, какъ разъ тогда, когда въ Римѣ постъ Александра Севера началась вакханалія гражданскихъ войнъ и смѣны одного императора другимъ.

Политика Сасанидовъ стала агрессивной. Они не защищались, а нападали. Подъ водительствомъ Ардашира и Шапура, первыхъ Сасанидовъ, превосходная ихъ армія прорвалась черезъ Евфратскую границу и не разъ наводняла Сирію. Во время одного изъ этихъ походовъ, того, который кончился битвой при Элессѣ и плѣненіемъ римскаго императора Валеріана, Дура была осаждена Шапуромъ и пала подъ его ударами.

Это былъ конецъ ея недолгой жизни. Взятая, разграбленная и частью сожженная персами, она была брошена и ими, и римлянами и не возродилась никогда. Ея храмы и дома разрушились, ихъ руины занесъ песокъ пустыни и въ этихъ руинахъ поселились шакалы, гиены и львы. На львовъ охотился здѣсь императоръ Юлианъ во время своего печальнаго похода противъ Сасанидскаго царства.

За 600 лѣтъ своей жизни Дура такимъ образомъ была сначала греческимъ, затѣмъ парѣянскимъ, затѣмъ римскимъ городомъ. Мѣнялись въ ней не только хозяева. Мѣнялась и жизнь, и культура, и искусство, и религія. Греческій городъ вначалѣ, съ чисто греческимъ укладомъ жизни, Дура въ эпоху парѣянскаго владычества кореннымъ образомъ измѣнилась. Востокъ итанулъ въ себя горсть македонцевъ, гордыхъ своей греческой культурой, окуталъ ихъ очарованіемъ восточной жизни, передалъ имъ вѣру въ силу и могущество его боговъ, заставилъ ихъ почувствовать обаяніе своего многовѣкового искусства.

Богатая, блестящая Дура парѣянской эпохи, за три вѣка парѣянскаго владычества ориентализовалась, овосточилась не подъ давленіемъ сверху, а сама собою. Въ этомъ процесѣ женщины, несомнѣнно, сыграли руководящую роль. Но культура парѣянской Дуры, ея религія, ея искусство не были чисто восточными. Они были новой страницей въ исторіи восточной культуры, новымъ ея изданіемъ. Какъ на всемъ Востокѣ — и въ Индіи, и въ Иранскомъ мѣрѣ, и въ Аравіи, и въ Палестинѣ и даже въ Сиріи, М. Азійи и Египтѣ — такъ и въ Месопотаміи сила греческаго духа, долгіе годы греческаго владычества и сожителства съ греками оставили свои глубокіе слѣды. Новая восточная культуры — и одна изъ нихъ Прирѣчная и Междурѣчная культуры — не были чисто восточными. Синтезъ восточныхъ традицій — ихъ основа, вліяніе греческаго духа — звено, связывающее ихъ съ другими современными имъ восточными культурами и съ западнымъ міромъ. Поэтому то, когда послѣ гибели Дуры Востокъ возродился вновь и пережилъ новый пышный расцвѣтъ и сейчасъ еще не умершій — въ Индіи съ ея величественной культурой и искусствомъ, въ Иракѣ, въ мусульманскомъ мѣрѣ — мы въ этихъ культурахъ находимъ и продолженіе традицій перваго восточнаго синтеза, того, который намъ для одной части Востока раскрыла Дура, и новое возрожденіе греческаго духа и греческаго генія въ его новомъ восточномъ изданіи.

II.

Среди храмовъ Дурь, украшенныхъ живописью — а ихъ мы нашли немалое количество — самыми интересными и важными являются, безспорно, христiаская церковь и синагога.

Объ — церковь въ 1921/32, синагога въ 1932/33 — были открыты нами подъ пологимъ землянымъ валомъ, который былъ сооруженъ въ 256-мъ году нашей эры, передъ сасанидской осадой, въ цѣляхъ укрѣпленiя городской стѣны, обращенной къ пустынь. Объ построены были въ одно приблизительно время: церковь послѣ 232-го года, синагога — около 245-го, когда былъ законченъ ея потолокъ, какъ гласятъ объ этомъ, *expressis verbis*, надписи, выведенныя — частью на арамейскомъ, частью на греческомъ языкѣ — на росписныхъ кирпичахъ, составляющихъ потолокъ синагоги.

Я не спеціальистъ ни по богословiю, ни по исторiи христiанской и еврейской археологии и искусства, а именно въ этихъ областяхъ оба зданiя ставятъ массу важныхъ вопросовъ. Я не сумѣлъ бы даже формулировать этихъ проблемъ, не говоря уже о вѣроятномъ ихъ разрѣшенiи. Моя роль гораздо болѣе скромная. Я опишу и покажу вамъ оба зданiя съ ихъ живописнымъ убранствомъ, и постараюсь опредѣлить ихъ мѣсто въ эволюцiи ближне-восточнаго искусства. Что касается связи ихъ съ современными имъ и позднѣйшими памятниками христiанскаго и еврейскаго искусства, то этотъ вопросъ я оставляю ученымъ, болѣе меня въ немъ компетентнымъ.

Открытие въ Дурѣ развалинъ синагоги и христiанской церкви не представляетъ собою ничего удивительнаго. Хорошо извѣстно, что Вавилонiя, со времямъ изгнанiя, была не менѣе важнымъ центромъ юдаизма, чѣмъ Египетъ и Палестина. Извѣстно и то, что въ атмосферѣ вѣротерпимости и космополитизма Параянской имперiи юдаизмъ быстро распространился на сѣверъ — къ Месопотамiи. Положенiе осталось прежнимъ и послѣ взятiя Титомъ Иерусалима, когда Дуря вмѣстѣ со значительной частью Месопотамiи была аннексирована Римской Имперiей. Извѣстно, напримѣръ, какую важную роль играла въ 3-емъ вѣкѣ по Р. Хр., особенно въ эпоху великой царицы караванной имперiи Зенови, еврейская колонiя въ жизни Пальмиры.

Болѣе удивительна находка синагоги со стѣнами, покрытыми росписью, воспроизводящей эпизоды священной исторiи из-

раильскаго народа. Толкованіе 4-го стиха 20-ой главы Исхода привело, какъ извѣстно, къ полному запрещенію живописнаго или скульптурнаго изображенія человѣческихъ и животныхъ фигуръ при украшеніи Иерусалимскаго храма и синагогъ. Правило оставалось въ силѣ и въ эллинистическую эпоху, и въ эпоху ранней Римской имперіи. Но въ то же время мы знаемъ, что въ эпоху постройки Дурской синагоги въ юдаизмѣ существовало теченіе, толковавшее указанный текстъ болѣе либерально. Нѣкоторыми изъ еврейскихъ общинъ такое толкованіе было усвоено. Вслѣдствіе этого въ нѣкоторыхъ синагогахъ Палестины и Заиорданья 4-го, 5-го и 6-го вѣка по Р. Хр. (примѣръ — синагога въ Джерашѣ, раскопанная Ізльскимъ университетомъ) можно найти полы, покрытые мозаикой на сюжеты изъ исторіи израильскаго народа. Но ни разу не найдено было нигдѣ и слѣда синагогъ, сплошь декорированныхъ — на манеръ языческихъ храмовъ и, можно прибавить, христіанскихъ церквей — ветхозавѣтными сценами: никто и существованія такихъ синагогъ не подозрѣвалъ.

Тѣ же, приблизительно, замѣчанія приложимы и къ христіанской церкви. Мы знаемъ, что христіанская вѣра въ 1-мъ, 2-мъ и 3-мъ вѣкахъ нашей эры быстро распространялась на Ближнемъ Востокѣ. Месопотамія въ эту эпоху была важнымъ центромъ христіанской религіи. Достаточно упомянуть объ Эдессѣ и эдесской династіи Абгаровъ. По найденнымъ въ Дурѣ документамъ, въ частности по монетамъ, мы знаемъ, что Эдесса находилась съ Дурой въ постоянныхъ сношеніяхъ. Мѣста собраній христіанъ — первоначально, какъ извѣстно, частные дома и могильные склепы — уже въ довольно раннюю эпоху украшались живописью. Доказательствомъ могутъ служить христіанскія, римскія прежде всего, катакомбы, хотя о датахъ живописи катакомбъ идутъ еще споры. Но никогда, ни въ катакомбахъ, ни въ другихъ мѣстахъ, не было еще найдено христіанской церкви, расписанной на манеръ Дурскаго баптистерія.

Прибавимъ еще, что вышеупомянутыми, и столь удивительными, дурскими открытіями мы обязаны исключительному сочетанію случайностей, какого, заранѣе можно сказать, во второй разъ никогда уже больше не встрѣтится. Чистая случайность, что объ общины — христіанская и еврейская — приспособили для своихъ молитвенныхъ собраній дома, расположенные какъ разъ у обращенной къ пустынѣ стѣны. Если бы онѣ

поступили иначе, если бы дома эти оказались расположенными где-нибудь в центрѣ города или въ бѣдныхъ кварталахъ у цитадели, отъ нихъ дошли бы до насъ однѣ безформенныя развалины съ обрывками стѣнной живописи, которую мы никогда не признали бы за христіанскую и библейскую. Печальная для города случайность — невзгоды пережитыя имъ — обусловили то, что оба дома оказались подъ покровомъ сооруженной въ 256-мъ году по Р. Хр. покатою насыпью, благодаря чему живопись ихъ и могла дойти до насъ въ столь превосходной сохранности. Чистая случайность, наконецъ, что какъ разъ еврейская община Дуры оказалась въ числѣ принявшихъ либеральное толкованіе 4-го стиха 20-ой главы Исхода и рѣшилась, не безъ колебаній, какъ мы сейчасъ увидимъ, разукрасить свою перестроенную синагогу картинами на сюжеты изъ библейской исторіи.

Дурская расписанная синагога безъ сомнѣнія, дурская христіанская церковь по всей вѣроятности, являются и останутся памятниками единственными, не имѣющими параллелей. Настоятельно важно поэтому ихъ углубленное изученіе.

Позвольте сперва дать вамъ краткія свѣдѣнія о синагогѣ. Раскопана она была нашими сотрудниками Дю-Менилемъ (Du Mesnil) и Пирсономъ (Pearson) медленно и съ большими предосторожностями. Стѣнную роспись ея было невозможно оставить на мѣстѣ: и политическія, и социальныя, и религіозныя условія этого не позволяли. По рѣшенію сирійскаго правительства и Управленія древностями Сиріи живопись, по мѣрѣ очищенія ея, снималась со стѣнъ и перевозилась затѣмъ въ Дамаскъ. Тамъ, въ прекрасномъ, только что выстроенномъ, археологическомъ музеѣ, синагога и дворъ ея были реконструированы полностью, вплоть до богатаго ея потолка изъ расписныхъ кирпичей. Произвелъ эту работу, мастерски и съ полнымъ знаніемъ дѣла, архитекторъ нашей миссіи Х. Пирсонъ. Его заслуга, что каждый можетъ теперь любоваться реконструированной синагогой и спокойно изучать ея живопись. Мы видимъ теперь синагогу во всемъ блескѣ — въ томъ самомъ почти состояніи, въ какомъ она находилась въ Дурѣ въ 256-омъ году по Р. Хр. Имя Пирсона никогда не будетъ забыто наукой.

Теперь нѣсколько краткихъ словъ объ исторіи и археологій синагоги. Тщательное изслѣдованіе руинъ синагоги показало, что на мѣстѣ открытой нами синагоги половины 3-го вѣка по Р. Хр. уже около 200-го года по Р. Хр. одинъ скромный частный домъ, расположенный въ еврейскомъ, быть можетъ, кварталѣ Дуры и окруженный другими домами, былъ превращенъ въ си-

нагогу. Эта синагога, будучи меньшихъ размѣровъ, форму имѣла ту же, что и позднѣйшая. Подобно ей и она была богато украшена живописью, только живопись ея (на стѣнахъ и на потолкѣ) была чисто орнаментальная — геометрическая и цвѣточная: ни одной фигуры животнаго или человѣка.

Около 245-го года по Р. Хр. еврейская община Дуры рѣшила увеличить свою старую синагогу. Самуилъ, архисинагогъ и когенъ синагоги, сынъ строителя прежней синагоги, какъ это доказалъ г. Дю-Мениль, явился какъ душой и организаторомъ перестройки, такъ и однимъ изъ главныхъ на нее жертвователей. Подобно старой, новая синагога состояла изъ двора съ колоннами и изъ помѣщенія для молитвъ. Двѣ двери вели изъ двора въ эту собственно синагогу — центральная, служившая для мужчинъ и болѣе маленькая, сбоку, для женщинъ. По стѣнамъ вокругъ синагоги были устроены для мужчинъ и женщинъ сидѣнья. На нихъ могло помѣститься около 90 членовъ еврейской общины. Потолокъ состоялъ изъ продольныхъ и поперечныхъ деревянныхъ балокъ, квадратныя пространства между которыми заполнены были кэссонами. Кэссоны были сдѣланы изъ квадратныхъ глиняныхъ расписныхъ плитъ. Роспись кэссоновъ орнаментальная и языческая — цвѣты, фрукты, знаки зодиака, големы языческихъ божествъ. Въ центрѣ задней стѣны, въ маленькой часовенкѣ съ двумя колоннами, богато расписанной и осыпанной балдахиномъ, находилась ниша, являвшаяся, по всей вѣроятности, хранилищемъ Торы. Рядомъ съ нишей находилось трехступенчатое сидѣнье для когена. Сосѣдній домъ, черезъ который проникали въ синагогу, былъ какъ бы ея отдѣленіемъ.

Синагога, какъ было сказано выше, была найдена нами богато украшенной росписью. Въ исторіи этой росписи могутъ быть установлены два періода. Начали роспись съ ниши для торы и центрального надъ нею стѣнного панно. Ниша расписана геометрическимъ орнаментомъ — имитацией разноцвѣтной мраморной обшивки. Иначе была расписана только верхняя часть фасада ниши. Слева тамъ изображена была священная утварь Иерусалимскаго храма и символическіе предметы культа — семисвѣшникъ (menorah), священный Ковчегъ Завета (Aron-ha-Kodesch), цедрать (Ethrog) и пальма (Lulab), а справа — сцена жертвоприношенія Авраама. Но — отмѣтимъ эту важную подробность — всѣ фигуры сцены (Авраамъ, Исаакъ на алтарѣ, слуга въ палаткѣ) изображены спиной къ зрителю, а вмѣсто головъ помѣщены только черныя силуэты. Очевидно художникъ, или жертвователь, не могъ еще рѣшиться украсить си-

нагогу реалистическими человѣческими фигурами. То же впечатлѣніе производитъ единственная расписанная въ это время часть задней стѣны, центральное панно. Тутъ нѣтъ ни одной человѣческой фигуры: большое символическое дерево и у его корней два священныхъ предмета культа.

Скоро однако колебанія духовныхъ вождей кончились. Всѣ стѣны было рѣшено покрыть фигурными сценами — изображеніями ветхозавѣтныхъ событій. Съ этою цѣлью стѣны раздѣлили на четыре параллельные пояса — цоколь и три другъ надъ другомъ расположенныя ленты библейскихъ сценъ. Въ эту новую систему включили и центральное панно. Его тоже раздѣлили на два одинъ надъ другимъ расположенные пояса и заново расписали. Оно осталось центральной частью росписи синагоги. Къ нему только прибавили символическую рамку. Оно предстало тогда въ росписи синагоги въ видѣ триптиха — картины съ двумя росписными дверцами. Центральная перерасписанная часть триптиха сохранилась плохо. Верхній слой живописи облупился. Различимы три сцены: Давидъ (можетъ быть), окруженный придворными; Давидъ же, играющій на лирѣ, окруженный животными, и два раза Іаковъ — на ложѣ и окруженный своими дѣтьми. Четыре персонажа рамки, изображенные стоя, во весь ростъ, сохранились значительно лучше. Въ истолкованіи ихъ колеблются. Я принимаю истолкованіе моего коллеги, профессора Гудернофа (Goodegrough), который видитъ въ нихъ четырежды изображеннаго Моисея въ рѣшающіе моменты его жизни — передъ Неопалимой Купиной, получающимъ скрижали Завѣта на горѣ Синаѣ, объявляющимъ Законъ израильскому народу и прославленнымъ послѣ смерти. Если это истолкованіе точно передъ нами своеобразный, антиканоническій, культъ Моисея. Замѣчательнъ квадратный нимбъ вокругъ его головы: у живого Моисея онъ бѣлый, у скончавшагося, прославленнаго, — черный. Такимъ образомъ Моисей предстаетъ передъ нами въ нашей синагогѣ въ обличій беликаго законодателя народа Израиля. Какъ Будда той же самой эпохи, это — постепенно обожествляемый основатель новой религіи.

Прежде чѣмъ перечислять картины и говорить о ихъ стилѣ, два слова о ихъ расположеніи и интерпретаціи. На послѣдней не могу останавливаться долго. Для многихъ сценъ она спорна. Я излагаю ту, которая мнѣ лично кажется наиболѣе правдоподобной.

Живопись распределена по четыремъ, разной высоты, поясамъ. Узкія декоративныя полосы отдѣляютъ сцены одну отъ

другой Величина площади, отведенной подъ каждый изображаемый эпизодъ, различна. Никакой системы въ распредѣленіи сценъ незамѣтно. Во всякомъ случаѣ, какъ вы увидите, порядокъ ихъ не хронологическій. Онъ и не богословскій, не догматическій. Это рядъ нащупываній, хаосъ безъ всякой руководящей идеи. Описывать рисунки намъ можно будетъ, слѣдовательно, въ какомъ угодно порядкѣ. Я буду слѣдовать, въ общемъ, порядку моихъ фотографій, начиная съ верхняго пояса, написаннаго ранѣе всѣхъ (см. фотографіи на отдѣльномъ листѣ).

А. Задняя стѣна:

1. Сѣверная половина: а) Первый поясъ: Исходъ — Моисей, выходящій изъ Египта съ народомъ Израиля и переходящій черезъ Черное море, тогда какъ египтяне въ немъ погибаютъ. б) Второй поясъ: 1) Храмъ Дагона въ Ашдодѣ въ развалинахъ и Ковчегъ въ Экронѣ до его отправленія въ землю обѣтованную. 2) Храмъ (рисунокъ загадочный — можетъ быть храмъ Иерусалимскій?). в) Третій поясъ: 1) -Подкинутый младенецъ Моисей. 2) Самуиль, помазывающій Давида.

II. Южная половина: а) Первый поясъ: Соломонъ на тронѣ и царица Савская (или — судъ Соломона?). б) Второй поясъ. 1) Первосвященникъ Ааронъ. 2) Мириамскій фонтанъ (по Хаггеламъ). в) Третій поясъ: 1) Агасферъ, Эсфирь, Мардохей и Амонъ. 2) Картина изъ цикла Иліи — воскрешеніе сына вдовы Сарептской.

Б. Сѣверная боковая стѣна:

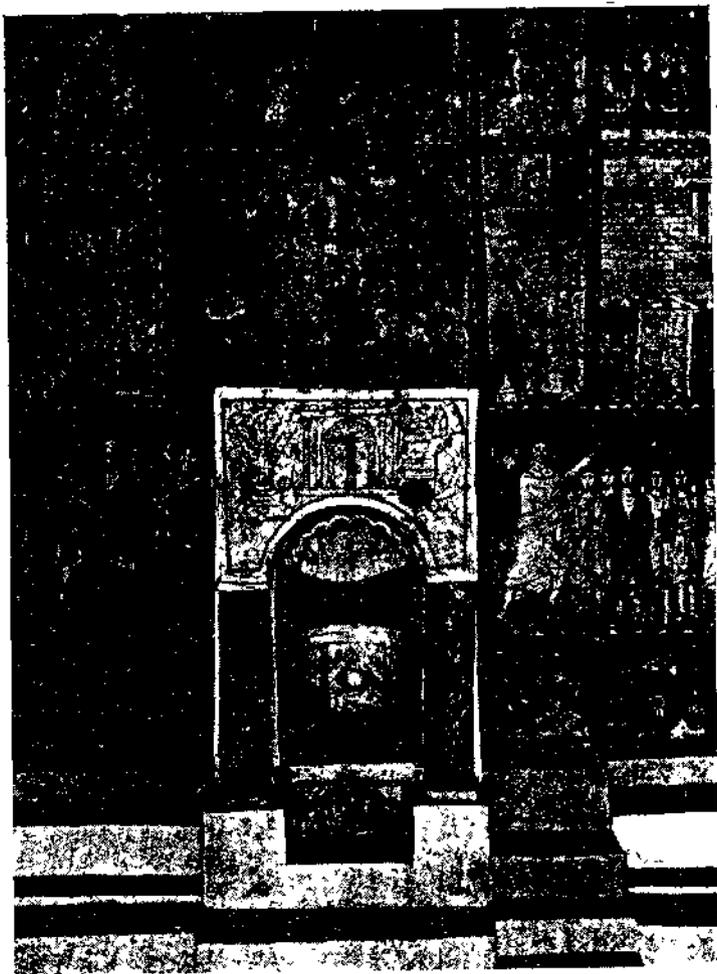
а) Первый поясъ: Сонъ Іакова (?). б) Второй поясъ: 1) Битва филистимлянъ съ израильтянами при Эбенезерѣ (замѣчательнъ, по чисто иранскому характеру, поединокъ вожей). 2) Исусъ подъ Іерихономъ. в) Третій поясъ: 1) Убіеніе Іоаба. 2) Езекиль и видѣніе усохшихъ костей.

В. Южная боковая стѣна:

а) Первый поясъ (не сохранился). б) Второй поясъ: Перенесеніе Ковчега Давидомъ въ Сіонъ (?). в) Третій поясъ: Цикль Иліи: 1) Илія и жрецы Ваала (замѣчательнъ царь Хіэль, спрятанный жрецами подъ алтаремъ и убиваемый змѣей въ тотъ моментъ, какъ онъ собирался возжечь огонь — деталь, извѣстная только по Хаггеламъ). 2) Илія и вдовица Сарептская.

Г. Входная стѣна:

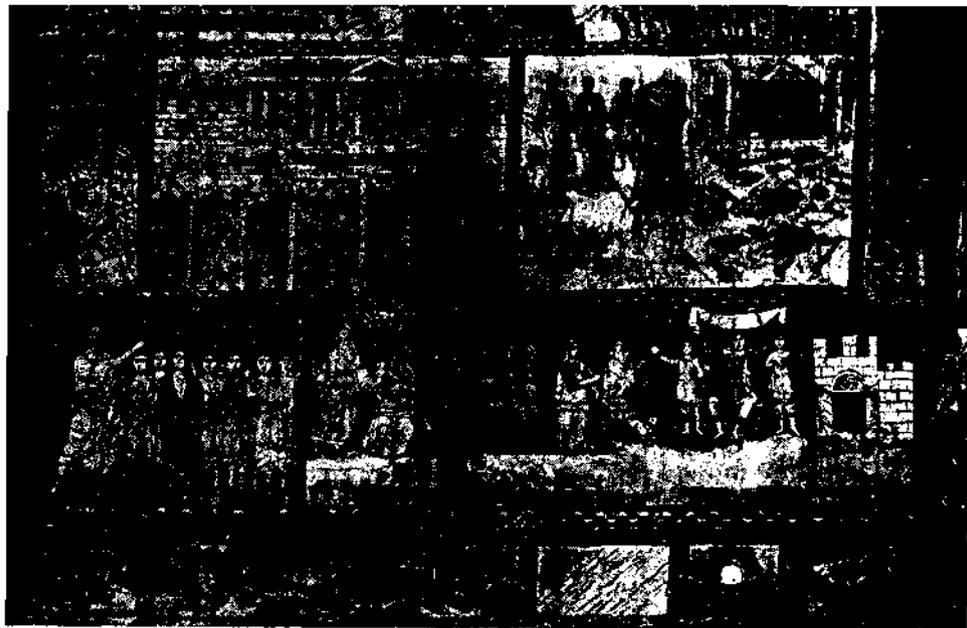
Третій поясъ: 1) Илія и вороны (?). 2) Давидъ и заснувшій Сауль (можетъ быть).



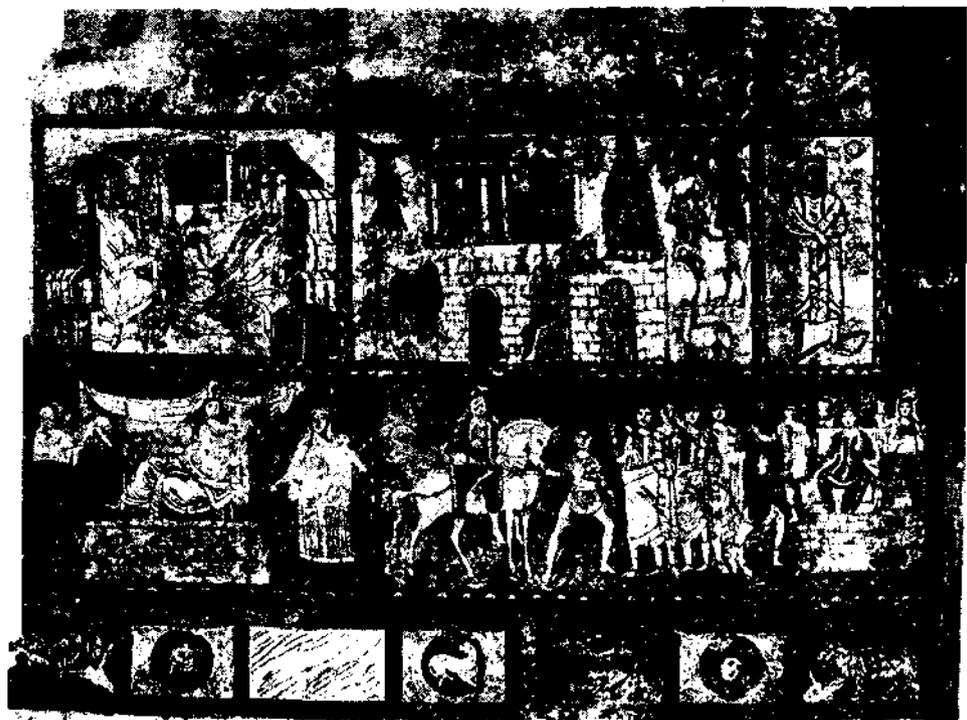
Внутренность синагоги. Центральная часть задней стѣны
святѣлище Торы, сидѣнье когена, центральное панно
и четыре Моисея.

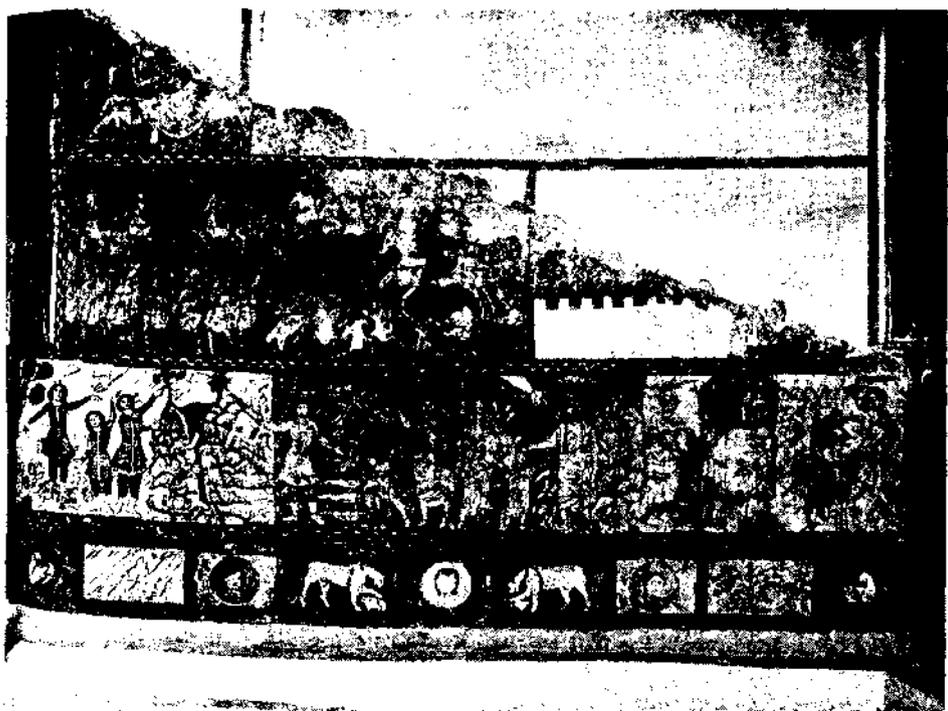
Общее впечатлѣніе, которое синагога производила на посѣтителя въ древности, и которое она производитъ, въ общемъ, на насъ и теперь, совершенно тождественно со впечатлѣніемъ, производимымъ языческимъ храмомъ Дуры. Мы встрѣчаемъ тамъ то же самое распредѣленіе картинъ — центральная и боковые, расположенныя по поясамъ. Разница только въ томъ, что изображеніе культа замѣнено здѣсь символической сценой или сценами, а остальная живопись представлена не культовыми, а мнѳографическими сюжетами. Такой характеръ росписи былъ продиктованъ характеромъ религіи народа Израиля. Боковая живопись явилась, безъ всякаго сомнѣнія, благочестивымъ даромъ членовъ общины: сцена Самуила съ Давидомъ была пожертвована, конечно, когеномъ Самуиломъ. Интересно, что надписи, сдѣланныя на ней, — семитическія. Жертвователемъ сценъ Исхода былъ, безъ сомнѣнія, мало эллинизированный еврей: онъ пожелалъ, чтобы пояснительныя надписи на нихъ были сдѣланы по арамейски. Напротивъ, жертвователи сценъ Соломона на тронѣ и Аарона нашли допустимыми надписи греческія. Плѳшадь, которая, по указаніямъ архисинагога, отводилась отдѣльнымъ жертвоваателямъ, была различной величины, въ зависимости, очевидно, отъ суммы, которую каждый изъ нихъ собирался внести. Сюжеты картинъ они выбирали сами. Сами, по своему вкусу, приглашали и художниковъ. А то, что въ выборѣ сценъ не встрѣчается повтореній, позволяетъ предположить, что за работой наблюдали, до известной степени, архисинагогъ. А можетъ быть руководство и контроль надъ ней поручались кому-нибудь изъ самихъ художниковъ. Роспись была выполнена въ очень короткій срокъ. Синагога была закончена въ 245-мъ году по Р. Хр. Затѣмъ послѣдовали роспись ниши и центральная сцена. Наконецъ рѣшено было расписать всю синагогу. Начали съ верхняго пояса. Въ 255-мъ году работа была кончена. Надписи посѣтителей на картинѣ Эсфиръ (на персидскомъ языкѣ) датированы какъ разъ этимъ годомъ и слѣдующимъ. Согласно нѣкоторымъ наблюденіямъ г. Нирсона, синагога въ этотъ моментъ находилась уже, быть можетъ, въ заборѣ или была даже вовсе оставлена.

Какъ я только что сказалъ, живопись синагоги не была сдѣлана вся однимъ и тѣмъ же художникомъ. Ихъ было, безъ сомнѣнія, нѣсколько. Но всѣ они принадлежали къ единой школѣ, всѣ дышали единымъ, месопотамскимъ, воздухомъ. Вглядитесь хорошенько въ одежду персонажей. Это смѣсь восточнаго, вѣрнѣе иранскаго или, еще точнѣе, парѳянскаго костюма съ греко-сирійскимъ. И не забудемъ, иранскую одежду носить не



Стр. 254. Внутренность синагоги. Задняя стена, северная половина.





Внутренность синагоги. Сѣверная боковая стѣна.

одни царя: ее же находимъ мы и на фигурахъ простыхъ служителей, даже служителей, или уборщиковъ, храма. Самъ Ааронъ, можетъ быть, подъ своей ритуальной одеждой носить иранскіе панталоны и куртку. Вооруженіе солдатъ, изображенныхъ въ синагогѣ, эллинистическое. Оно, вѣроятно, было удержано парянами, но въ римскихъ провинціяхъ Сиріи и Месопотаміи, конечно, исчезло. Архитектура храмовъ греко-сирійская. Но многіе храмы Парянской имперіи вообще не такъ уже отличались отъ храмовъ Сиріи: мы знаемъ это по паряанскому храму въ Таксилѣ и недавно открытымъ храмамъ въ Урукѣ и въ Селевкии на Тигрѣ. То же смѣшеніе элементовъ находимъ мы въ языческой живописи Дуры, съ той только разницей, что въ синагогѣ иранскій элементъ выраженъ болѣе сильно.

Важнѣе стиль и композиція живописи. Композиція передъ нами здѣсь та же, что и въ языческомъ искусствѣ Дуры: особенно поражаетъ одинаковая группировка массъ. Ту же видимъ мы здѣсь и фронтальность фигуръ — всѣ фигуры изображены впрямь, — то же отсутствіе движенія, ритуальность и оцѣпенность фигуръ, ту же ихъ одухотворенность. Имѣются и исключенія, но не слѣдуетъ забывать, что сюжеты картинъ въ обоихъ случаяхъ различны: языческія картины — культовые, картины синагоги — повѣствовательныя.

Я думаю, что всѣ работавшіе въ синагогѣ художники были дѣти Месопотаміи, ученики месопотамскихъ школъ живописи. Различны, пожалуй, нѣкоторыя варіаціи этого стиля: манера нѣсколько болѣе свободная и, главное, болѣе патетическая, отразившая, быть можетъ, въ нѣсколько болѣе сильной степени эллинистическое или иранское вліяніе, и другое, болѣе неподвижное и ритуальное, которое можно бы было назвать семитическимъ. Рѣшающихъ доводовъ въ пользу этихъ гипотезъ я привести бы однако не смогъ.

— Что затрудняетъ сравненіе живописи синагоги съ живописью языческихъ храмовъ Дуры, это то, что живописцамъ синагоги пришлось считаться съ проблемой, передъ живописцами языческихъ храмовъ не стоявшей — съ проблемой повѣствовательнаго стиля. Они были иллюстраторами; они должны были излагать исторію — близко знакомыя посѣтителямъ синагоги событія изъ священныхъ книгъ. Отъ нихъ ждали, чтобы картины ихъ воскресили въ мозгу у зрителя данную исторію во всей ея полнотѣ.

Проблема не была новой. Исторія ея въ греко-римскомъ мѣрѣ и на ближнемъ востокѣ сыграла огромную роль въ исторіи христіанскаго искусства, которое, въ значительной мѣрѣ,

было тоже повѣствовательнымъ. Проблема развитія повѣствовательнаго стиля въ основныхъ чертахъ была разработана, какъ извѣстно, Викхофомъ и дѣлымъ рядомъ выдающихся ученыхъ послѣ него. Именно Викхофъ первый отмѣтилъ существованіе въ греко-римскомъ искусствѣ двухъ системъ повѣствовательнаго стиля — стиль «изолирующій» и стиль «сплошной». Первый, утвердившійся (за кое-какими исключеніями) въ греческомъ искусствѣ, даетъ отдѣльные эпизоды, важнѣйшіе моменты того или иного мѣста или событія изолированными другъ отъ друга, изображенными каждый на особой картинѣ. Стиль сплошной даетъ всю цѣпь событій на одной и той же картинѣ. Нѣсколько разъ воспроизводя фигуру героя и фигуры второстепенныхъ персонажей, картина показываетъ данное событіе въ развитіи. Викхофъ пришелъ къ заключенію, что эта вторая манера была введена, начиная со 2-го вѣка по Р. Хр., римлянами, а черезъ нихъ использована христіанскимъ искусствомъ для фресокъ и мозаикъ и особенно для иллюстрированныхъ миниатюрами свитковъ и книгъ.

Дѣло оказывается, какъ мы видимъ теперь, гораздо болѣе сложнымъ. Съ проблемой повѣствовательнаго стиля столкнулись, въ эллинистическую и римскую эпоху, нѣсколько искусствъ, обслуживавшихъ религію. Мы знаемъ, какъ она рѣшена была въ Индіи, въ искусствѣ ступъ и буддійскихъ храмовъ, а по Дурѣ мы знаемъ также, что по своему разрѣшить ее старались и художники, украшавшіе синагоги. Разберемъ съ точки зрѣнія этой проблемы нѣкоторыя изъ картинъ нашей синагоги.

Изолирующая манера не была чужда художникамъ Дурь: убійство Іоаба, весьма иранская битва при Эбenezерѣ, Самуиль и Давидъ могутъ служить примѣрами. Но методъ сплошнаго изображенія здѣсь все-таки доминируетъ. Вглядимся въ сцену Дагонова храма, въ сцену — «подкинутый Моисей», въ сцену «видѣніе Іезекііля», въ сцену Исхода. Въ сценѣ Дагонова храма вы видите сгруппированными на одной картинѣ событія нѣсколькихъ дней: Ковчегъ уже не въ храмѣ Дагона, не въ Ашдодѣ; Ашдодскій храмъ въ развалинахъ; статуя бога валяется на землѣ — сперва съ головой, какъ она была найдена послѣ первой ночи, проведенной Ковчегомъ въ храмѣ, потомъ безголовая — какой оказалась послѣ второй ночи; Ковчегъ въ Экронѣ; событія, происшедшія здѣсь, подразумеваются — мы видимъ только ихъ слѣдствіе; Ковчегъ увозится въ неизвѣстномъ направленіи, по рѣшенію трехъ представителей филистимлянъ.

Ковчегъ является очевидной нитью, связующей эти послѣдовательные эпизоды.

На картинѣ «подкинутый Моисей» — мы видимъ младенца Моисея, когда мать и сестра подбрасываютъ его, когда его спасаетъ дочь фараона и, наконецъ, когда она усыновляетъ его (дочь фараона изображена простертой передъ отцемъ, чтобы вымолить его разрѣшеніе усыновить Моисея). Видѣніе Іезекииля истолковывать труднѣе, но и тутъ передъ нами несомнѣнно сплошной повѣствовательный стиль: соединительной нитью служатъ дважды повторенная фигура самого Іезекииля.

Наконецъ, въ большой сценѣ Исхода доминирующей въ изображеніи событія фигурой выступаетъ Моисей: вотъ онъ, только что вышедшій, во главѣ своего народа, изъ воротъ Египта, гдѣ бушуютъ «казни» (надпись, выведенная краской между ногами Моисея гласитъ: «Моисей, когда онъ вышелъ изъ Египта и раздѣлил море»), ведетъ народъ къ Черному морю. Онъ разсѣкъ море передъ своимъ народомъ. Двѣнадцать колѣнъ Израиля перешли черезъ море, а египтяне, преслѣдовавшіе израильтянъ, потонули. И еще два раза изображенъ Моисей — замыкающимъ море надъ египтянами и развѣрзающимъ передъ израильтянами, которые спокойно переходятъ его между двухъ водяныхъ стѣнъ.

Совершенно тѣ же исканія встрѣчаемъ мы, въ эллинистическую эпоху, въ индусскомъ искусствѣ. Они находятся во всѣхъ ступахъ эллинистической и римской эпохи. Тутъ легко узнать изолирующую систему, но замѣтно, что эта система не удовлетворяетъ индусскихъ художниковъ. Подобно художникамъ Дуры, они начинаютъ примѣнять систему сплошного повѣствованія, прибѣгая при этомъ къ тѣмъ же приемамъ — къ повторному изображенію главнаго дѣйствующаго въ разсказѣ лица въ окруженіи второстепенными, къ группированію второстепенныхъ фигуръ около главной. Очень поучительно детально изучить развитіе повѣствовательнаго стиля по хорошо известной исторіи добраго и милосерднаго князя Висвантары — повѣствовательныя версіи ея, какъ онѣ даны въ Бархутѣ, въ Санчи, въ Амаравати, въ Голи. Возникаетъ проблема: чѣмъ объяснить такое совпаденіе между Индией и Месопотаміей? Что тутъ: подражаніе ли месопотамскаго искусства индусскому? подчиненіе ли ихъ обоимъ въліянію иранскаго искусства? или, можетъ быть, вполне независимое другъ отъ друга развитіе обоихъ искусствъ?.. Подражало ли искусство Дуры римскому? Известно ли было ему триумфальное искусство римлянъ, въ которомъ сплошной стиль господствуетъ? Последнее мало вѣроят-

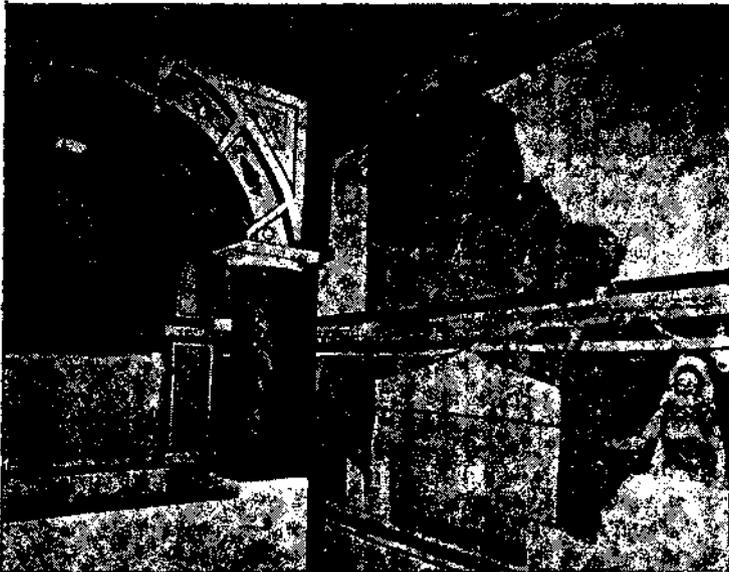
но, на мой взгляд — невозможно. Наконецъ, повѣствовательный стиль христіанскаго искусства — былъ ли онъ дѣйствительно созданиемъ римлянъ, не возникъ ли изъ стилиа, родившагося на ближнемъ Востоцѣ и примѣненнаго работавшими для христіанской и еврейской религіи художниками при иллюстрированіи Евангелія и Библии? Кому изъ нихъ принадлежалъ бы въ послѣднемъ случаѣ приоритетъ — сказать трудно, да это и не такъ важно. Связь между обоими ими, во всякомъ случаѣ, несомнѣнна. Окончательнаго рѣшенія проблемы я предложить не берусь. Ее слѣдуетъ основательно изучить. Одно только ясно: дурской находкой теза Викхофа въ значительной степени поколеблена.

Проблема повѣствовательнаго стилиа — только одна изъ проблемъ, выдвигаемыхъ изученіемъ живописи дурской синагоги. Я указалъ на нѣкоторые факты, которые говорятъ за то, что искусство дурской синагоги связано съ развитіемъ искусства на Ближнемъ Востоцѣ вообще и въ Месопотаміи въ частности. Къ этой проблемѣ примыкаетъ другая, не менѣе важная: есть ли связующія нити между искусствомъ синагоги и христіанскимъ искусствомъ? Намъ прекрасно извѣстно, какъ христіанское искусство включало въ декоративную отдѣлку своихъ церковей сюжеты изъ Ветхаго Завета (примѣръ — Св. Марія Маджоре въ Римѣ) и какъ оно старалось иллюстрировать рукописи Ветхаго Завета параллельнымъ тексту художественнымъ повѣствованіемъ въ сплошномъ стилѣ. Проблема происхожденія этихъ иллюстрирующихъ Ветхій Заветъ картинъ и мозаикъ относится къ числу интереснѣйшихъ въ исторіи искусства проблемъ. Востоцъ или Римъ? А если Востоцъ — Александрія или Антиохія?.. Никто — за однимъ исключеніемъ — не подумалъ о месопотамскомъ Востоцѣ. Одинъ Стржиговскій посмѣлъ заговорить о Месопотаміи. Но интуиція его успѣха не имѣла и послѣдователей не нашла. Новый факторъ внесенъ въ проблему открытіемъ синагоги въ Дурѣ. Дѣло специалистовъ отнести этому фактору по праву принадлежащее ему мѣсто. Сомнѣній однако нѣтъ: месопотамскому искусству суждено отнынѣ играть въ рѣшеніи проблемы чрезвычайно важную роль. Римъ или Востоцъ? Открытіемъ въ Дурѣ римская теза сильно ослаблена. Если Востоцъ — Александрія или Антиохія? Теперь приходится прибавить — «или Месопотамія»? И нужно признать, что Месопотамія является при этомъ первостепенной важности конкуренткой для прежнихъ двухъ соперницъ — Александріи и Антиохіи.

Всего нѣсколько словъ теперь о христіанской церкви. Она

была изучена и подробно описана въ нашемъ предварительномъ отчетѣ. Реконструированная нами, она находится, въ настоящее время, въ музеѣ Изельскаго университета.

Помѣщеніе христіанской церкви было прежде частнымъ жилищемъ. Послѣ 232-го года по Р. Хр. его приспособили для нуждъ маленькой общины христіанъ. Перестроенное и приспособленное для христіанскаго культа, зданіе состояло изъ двора, гдѣ христіане собирались до и послѣ богослуженія, изъ большой, продолговатой залы молитвенныхъ собраний съ каедрой и амвономъ для священника или епископа, изъ другой, почти квадратной, большой залы, служившей, вѣроятно, мѣстомъ устройства священныхъ трапезъ или, можетъ быть, школьной комнатой для дѣтей и для оглашенныхъ и, наконецъ, изъ маленькаго баптистерія съ комнатою надъ нимъ во второмъ этажѣ, куда поднимались по лѣсенкѣ. Въ томъ, что эта маленькая съ двумя дверями продолговатая комната служила баптистеріемъ, не можетъ быть никакого сомнѣнія: произведенныя въ прошломъ году на мѣстѣ кропотливыя изысканія установили это, какъ окончательный выводъ. Баптистерій одинъ былъ украшенъ живописью. Въ



Внутренность христіанскаго храма. Крестидилья.

другихъ комнатахъ ея совершенно не было. Эта живопись, исполненная въ серединѣ третьяго вѣка, представляетъ для историковъ христіанскаго искусства капитальнѣйшій интересъ. Сохранилась она лишь частично, но и того, что сохранилось, достаточно для реконструкціи декоративной системы баптистерія.

Баптистерій состоялъ изъ купели (бассейна), на которой возвышалась богато расписанная подъ разноцвѣтный мраморъ часовенка съ потолкомъ, изображающимъ небо, и изъ продолговатой комнаты для молящихся. Живопись баптистерія была исполнена по опредѣленному плану и, вѣроятно, однимъ художникомъ. Главнымъ заданіемъ ея было явить взору приступавшихъ къ крещенію картины, способныя укрѣпить ихъ въ великихъ основныхъ истинахъ христіанской вѣры — истинахъ, которыми имъ предстояло руководиться во всей ихъ дальнѣйшей жизни.

При входѣ въ баптистерій оглашенные видѣли длинную западную стѣну его съ двумя поясами картинъ и одновременно, по лѣвую руку, купель, часовенку и двѣ картины въ глубинѣ баптистерія. Обернувшись, они, кромѣ того, могли созерцать двѣ картины на входной стѣнѣ и одну на сѣверной.

Грѣхъ и искупленіе, начало и конецъ, альфу и омегу христіанской вѣры, — вотъ что видѣлъ крещаемый, приближаясь къ купели, на двухъ картинахъ. Адамъ и Ева, надъ той же картиной, въ миниатюрѣ, древо и змѣй, и большая, доминирующая фигура Добраго Пастыря. А раньше, еще входя въ баптистерій, онъ видѣлъ, въ чемъ заключается сущность его надеждъ и что онъ долженъ дѣлать, если хочетъ стать достойнымъ великаго чуда. Передъ взоромъ его медленно приближались ко гробу Господню — еще закрытому, не открывшемуся саркофагу изъ бѣлаго мрамора — святые жены мироносицы, три Маріи съ факелами и сосудами благовоній. Двѣ крупныя звѣзды по обѣ стороны гроба и факелы въ рукахъ женъ-мироносицъ показывали, что утро еще не настало, что мракъ еще окутываетъ землю — что Воскресеніе, значитъ, еще не было, но оно совсѣмъ уже близко. Картина символическая, не историческая — выраженіе великихъ христіанскихъ идей, а не передача евангельскаго разсказа. Созерцающая картину, оглашенный самого себя ощущалъ на зарѣ воскресенія — своего конечнаго упованія. А надъ этой волнующей сценой приступавшій къ крещенію видѣлъ сцены, поучавшія, какъ стать достойнымъ великой тайны Воскресенія. Вѣра, чуждая сомнѣній и колебаній, — вотъ главный мотивъ этихъ сценъ, воспроизводившихъ чудеса Господа. Сохранилось изъ нихъ только два: чудо исцѣленія разслабленнаго (полная движенія картина сплошнаго стиля) и чу-

до на озерѣ: апостоль Петръ усумнился и гибнуть, а Иисусъ протягиваетъ ему руку помощи. Эта драматическая сцена, въ поясѣ со сценами чудесъ, была несомнѣнно центральной.

Наконецъ, позади себя, обернувшись, крещаемый видѣлъ добрую самаритянку — образъ вѣры и милосердія — и сцену Давида и Голиаѳа — символъ непобѣдимости, несокрушимости новой вѣры передъ лицомъ двигавшихъ язычество грубыхъ стихійныхъ силъ.

Вы видите, что различаетъ синагогу и христіанскую церковь. Въ первой — хаосъ, исканія. Во второй — цѣлостная, найденная концепція. За живописью баптистерія видна сложившаяся традиція, готовая, оформившаяся идея, установившаяся символика, твердо укрѣпившіеся приемы выраженія черезъ художественныя творенія основныхъ христіанскихъ истинъ.

Я не специалистъ по исторіи христіанскаго искусства. Я не имѣю претензіи опредѣлить мѣсто живописи баптистерія въ эволюціи этого искусства. Здѣсь одна лишь проблема специально интересуетъ меня. Лишь по поводу нея я и считаю возможнымъ высказаться. Принадлежитъ ли живопись баптистерія, подобно живописи синагоги, къ месопотамскому искусству? Архитектура баптистерія и декоративная система внутри его сходны съ архитектурой и декоративной системой языческихъ храмовъ и синагогъ: центральная часовенка съ большой картиной и боковая живопись расположены здѣсь такъ же, какъ живопись языческихъ храмовъ и синагоги. Но на этомъ сходство и кончается. Стиль христіанской живописи Дуры лишь внѣшне схожъ со стилемъ остальной ея религіозной живописи (напримѣръ, фронтальность фигуръ). Но эллинистическій элементъ въ ней выраженъ гораздо сильнѣе. Въ сценахъ чудесъ есть подлинное движеніе, иллюзионизмъ, напоминающіе нѣкоторыя сцены въ Помпей и въ римскихъ катакомбахъ. Наконецъ, и композиція сценъ тутъ совершенно отлична отъ композиціи остальной дурской живописи. Это искусство, пришедшее въ Дуру извнѣ и въ моментъ своего перенесенія въ Дуру уже обладавшее и собственнымъ стилемъ, и собственными сюжетами. Перенесли его въ Дуру иностранцы, можетъ быть греко-сирійцы, несравненно болѣе эллинизированные, чѣмъ остальные обитатели Дуры, до евреевъ включительно.

М. Ростовцевъ.

Идеалы гуманизма *)

I.

Современный человек обладает волшебным понятіемъ «гуманность», «человѣчность»; этимъ словомъ онъ выражаетъ свои стремленія и надежды, точно такъ же, какъ средневѣковый человекъ ихъ выражалъ словомъ христіанство. Этотъ гуманитарный, человѣческій идеалъ является основой всѣхъ стремленій современности, особенно же національныхъ, по слову Я. Коллара: «Пусть каждый разъ, когда ты скажешь: слава-чинъ! какъ эхо отзовется: человекъ!»

Начиная съ эпохи возрожденія и реформациі, на ряду съ христіанскимъ идеаломъ возникаетъ новый этический и социальный идеалъ, скоро становящійся противохристіанскимъ и надхристіанскимъ: человекъ, гуманитарная идея. Этотъ идеалъ гуманизма **) вырабатывается постепенно. Благодаря реформациі частично освобождается разумъ, создается неаскетическая нравственность, возникаетъ новая хозяйственность; въ то же время, благодаря чтенію, увеличивается познаніе, а чтеніе Библии дѣлаетъ возможнымъ воспріятіе ветхозавѣтной энергіи. Возрожденіе и гуманизмъ помогаютъ усвоенію классическихкихъ жизненныхъ идеаловъ, римскихъ политическихъ добродѣтелей и эстетическаго взгляда на міръ и жизнь. Развивается новая наука и философія, освобождающая разумъ отъ авторитета церкви. Въ новѣйшій періодъ выростаеетъ мощь государства, вначалѣ абсолютистическаго характера; оно подчиня-

*) Печатаемые здѣсь очерки заимствованы изъ книги Т. Г. Масарика «Идеалы гуманизма». Основныя мысли этой работы, вышедшей въ свѣтъ еще задолго до войны, весьма характерны для того идеалистическаго міросозерцанія, которому Масарикъ оставался вѣренъ всю свою жизнь. Ред.

**) Мы оставляемъ въ переводѣ слово, введенное самимъ Т. Г. Масарикомъ. Въ чешскомъ языкѣ, какъ и въ русское, вмѣсто него обычно употребляется слово гуманизмъ. Т. Г. Масарикъ, однако видѣлъ особый отгѣнокъ въ созданномъ имъ терминѣ. (Прим. перев.).

еть себѣ церковь, и на ряду съ христіанскими добродѣтелями, а иногда и много выше ихъ ставить добродѣтели политическіе; римское право и его принципы становятся частью современнаго сознанія и основой организаціи общества. Постепенно новое государство дѣлается все болѣе демократическимъ и народнымъ, въ XVIII в. это народное государство провозглашаетъ права челоуѣка и гражданина (американская и французская революціи). Эти права челоуѣка какъ бы содержать въ себѣ зачатокъ дальнѣйшихъ правъ на свободу личности и языка, правъ социальныхъ и экономическихъ (право на трудъ, на прожиточный минимумъ и пр.), наконецъ, правъ женщины и ребенка (современное семейное право).

Такимъ образомъ возникаетъ и развивается въ новой общественной жизни идея гуманизма. Сущность этого новаго гуманитарнаго идеала считается явленіемъ порядка естественнаго. Люди ищутъ основъ естественной, врожденной религіи и богословія, естественнаго права и морали, естественнаго (исходнаго) состоянія общества, государства и, наконецъ, философія опирается на естественный разумъ («здоровый», «народный»), а искусство настойчиво зоветъ къ природѣ. Гуманитарный идеалъ является тоже идеаломъ естественнымъ, врожденнымъ и какъ таковой противопоставляется исторически данному, старому.

Въ XIX в. это стремленіе проявляется наиболѣе интенсивно въ попыткахъ создать гуманитарную религію. Новѣйшая литература всѣхъ народовъ, передовая политика вырабатываютъ и строятъ идеалъ чистой челоуѣчности. Этотъ идеалъ варьируетъ, конечно, въ зависимости отъ эпохъ и народовъ. Англичане разрабатывали его до сихъ поръ наиболѣе разносторонне — съ точки зрѣнія философской, этической, социальной и религіозной. Французы ставили во главу угла моментъ философскій и литературный. Среди славянскихъ народовъ мы находимъ у русскихъ гуманитарный идеалъ религіозно-социальнаго характера, у поляковъ національно-политическаго; что же касается насъ, чеховъ, то мы разрабатывали его культурно-просвѣщенческую сторону. Провозвѣстникомъ чистой челоуѣчности былъ у насъ Колларъ, за нимъ пришли Шафаржикъ, потомъ Палацкій, Гавличекъ и, наконецъ, Августинъ Сметана. Колларъ, исходя изъ старой нѣмецкой философіи, главнымъ образомъ отъ Гердера, формулируетъ гуманитарный идеалъ главнымъ образомъ съ точки зрѣнія просвѣщенческой, но уже А. Сметана придаетъ ему характеръ социальный и прямо проповѣдуетъ гуманитарную религію.

Нашъ чешскій гуманитаризмъ является естественнымъ продолженіемъ чешскаго Братства.

То, что вожди нашего возрожденія придавали такое значеніе гуманитарному элементу просвѣщенія, объясняется гнетомъ реакціоннаго государства. Просвѣщеніе, образованіе стали лозунгомъ народа, стремящагося вырваться изъ духовной и моральной темноты. Именно благодаря этому гуманитарныя стремленія, проявляющія себя въ XVIII в. въ нѣмецкой литературѣ (Лессингъ, Шиллеръ, Гете, Гердеръ и др.), такъ легко къ намъ проникаютъ и находятъ въ Колларѣ горячаго послѣдователя.

Искусство и въ особенности художественная литература имѣютъ въ общественной жизни каждаго народа огромное воспитательное значеніе: широкія народныя массы усваиваютъ отъ художниковъ, особенно отъ поэтовъ, этическіе и социальныя идеалы. Поэзія оказываетъ огромное вліяніе на социальную и политическую жизнь, — мы это видимъ особенно ясно на гѣняхъ русской и польской поэзіи, на значеніи Байрона и другихъ поэтовъ.

Гуманитарный идеалъ проявляетъ себя въ наше время какъ идеалъ національный. Гуманитарная идея не должна быть противопологаема народной, наоборотъ, народъ такъ же, какъ отдѣльный человѣкъ, можетъ быть и долженъ быть гуманнымъ и гуманитарнымъ. Человѣчность не является абстрактностью, витающей гдѣ-то въ мірѣ идей, надъ живыми людьми — народы, по выраженію Гердера, являются естественными частями человѣчества. Въ такомъ же смыслѣ Колларъ и Палацкій обосновываютъ народность на гуманитарной идеѣ. Колларъ, учившійся позднѣе у Фихте, придавалъ огромное значеніе воспитанію и образованію народа.

Въ наши дни мы воспринимаемъ гуманитарную національную идею въ аспектѣ народномъ и социальномъ. Простой народъ для насъ является не чѣмъ инымъ, какъ народомъ просто, простонародность становится нашимъ лозунгомъ и идеаломъ нашихъ стремленій. Соціализмъ, какъ и народность, является проявленіемъ той же гуманитарной идеи. Но о соціализмѣ мы будемъ говорить особо; здѣсь же мы коснемся еще одного элемента, входящаго въ понятіе гуманизма.

Я имѣю въ виду международность и космополитизмъ. Въ самой идеѣ гуманизма заключается понятіе объ одинаковомъ для каждаго народа правѣ утверждать себя равноцѣнной частью человѣчества; отсюда — идея міровой организаціи всего человѣчества. Практическая необходимость ведетъ шагъ за шагомъ къ такой организаціи. Въ международномъ масштабѣ въ

наше время организованы науки, искусства, а также капиталистическая экономика и отдельные классы.

Одновременно съ гуманитарной идеей развивалась не только народная идея, но и космополитизмъ. Но космополитизмъ бываетъ разнаго рода. Англичане, французы и нѣмцы подразумѣваютъ подъ космополитизмомъ, собственно говоря, господство Англии, Франціи или Германіи; народы средніе и малые находятся въ иномъ положеніи. Но и они не могутъ существовать внѣ мировой организаціи. У насъ одновременно съ народной идеей проповѣдывался славянскій космополитизмъ, какъ его правильно называлъ Гавличекъ. Исторія однако насъ учитъ, что централизмъ вреденъ не только для малыхъ народовъ, но и для среднихъ и самыхъ большихъ, и что его необходимо дополнять автономіей естественныхъ группировокъ — экономическихъ, культурныхъ, національныхъ. Прежній космополитизмъ, въ томъ видѣ, какъ его проповѣдывалъ раньше либерализмъ, уступаетъ теперь болѣе правильному стремленію къ международной непринудительной организаціи самостоятельныхъ культурныхъ народовъ. Государство отступаетъ такимъ образомъ на задній планъ передъ идеей народа.

II.

Размышляя о цѣляхъ социализма, мы видимъ, что онъ является лишь одной изъ многихъ разновидностей гуманитарныхъ движеній. Социализмъ предполагаетъ нѣкое объединеніе, интимное содружество людей. Въ концѣ XVIII в. были провозглашены права человѣка и гражданина. Во имя этихъ правъ были провозглашены требованія свободы, равенства и братства. Братство, какъ гуманитарное и социальное требованіе, является основой социализма. Однако, братство и человѣчность могутъ быть поняты весьма по разному. Люди могутъ быть удовлетворены и пустымъ лозунгомъ, абстрактной человѣчностью. Дѣло однако заключается въ томъ, чтобы быть самому человѣкомъ и признавать въ другомъ также человѣка со всѣми его правами. Во имя человѣчности всегда выставлялось требованіе равенства политическихъ правъ. Доводомъ въ пользу всеобщаго избирательнаго права въ конечномъ счетѣ является человѣчность, то-есть равенство человѣка передъ человѣкомъ. Однако люди добиваются не только политическихъ, но и экономическихъ правъ; въ этомъ какъ разъ заключается особое значеніе социальнаго движенія нашей эпохи. Основыва-

ясы на идеѣ братства и равенства, люди требуютъ не равенства вообще, а равенства экономическаго. Исходя изъ гуманитарной идеи, если она должна разрѣшать экономическія проблемы, а не оставаться абстракціей, приходится требовать экономическаго равенства, то-есть братства, иначе коммунизма. Такъ понимаютъ гуманизмъ социалисты различныхъ школь и направлений. Само собою разумѣется, что гуманитарная идея этого порядка, а слѣдовательно и коммунистическій гуманизмъ, съ теченіемъ времени мѣняются. Вѣдь и коммунизмъ можно понимать и осуществлять различными образомъ. То, что сегодня называется социализмомъ, не было имъ пятьдесятъ и болѣе лѣтъ тому назадъ. Преній социализмъ былъ, особенно во Франціи и Англии, по преимуществу моральнымъ и даже религіознымъ, — и до сихъ поръ продолжаетъ существовать социализмъ этого рода (христіанскій социализмъ или христіанская демократія, какъ ее формулировалъ въ 1901 г. папа Левъ XIII). Наряду съ этимъ социализмомъ, главнымъ образомъ позднѣе его, возникаютъ движенія по преимуществу экономическаго и политическаго характера; типичнымъ ихъ представителемъ является въ наше время во всѣхъ цивилизованныхъ странахъ марксизмъ, социал-демократія.

Основатели этого социализма, Марксъ и Энгельсъ, философскіе базировались на ученіи Гегеля, имѣвшемъ въ тридцатыхъ и сороковыхъ годахъ прошлаго вѣка огромное вліяніе на молодежь. Въ своемъ трудѣ «О святомъ семействѣ» оба они заявляютъ о своей близости къ «реальному» гуманизму, понимая подъ нимъ гуманизмъ не утопическій. Сущностью философіи Гегеля былъ пантеизмъ, по которому Богомъ, божествомъ, является индивидуумъ, въ нѣкоторыхъ случаяхъ народъ, въ иныхъ — все человѣчество и природа. Изъ этого метафизическаго пантеизма возникъ у Фейербаха и радикальныхъ гегельянцевъ гуманитарный пантеизмъ: идеаль, который христіане ищутъ въ Богѣ, они увидѣли въ человѣкѣ. Человѣкъ у нихъ становится богомъ; но и этотъ богъ не могъ удовлетворить практическихъ социалистовъ, какими были Марксъ и Энгельсъ. Человѣка они подмѣнили пролетаріемъ. Благодаря этой эволюціи мысли, идущей отъ пантеизма черезъ человѣка къ пролетарію, пролетаріатъ для марксистовъ сталъ тѣмъ, чѣмъ для вѣрующихъ христіанъ является Богъ.

Основнымъ ученіемъ Маркса является историческій материализмъ, или, какъ нѣкоторые называютъ его, экономическій материализмъ. Прежде всего, это — материализмъ въ философскомъ смыслѣ слова, то-есть атеизмъ, утверждающій что у че-

ловѣка нѣтъ души (безсмертной). Это тотъ матеріализмъ, который былъ распространенъ въ пятидесятыхъ годахъ въ Европѣ, скажу прямо — болѣе по причинамъ политическимъ, чѣмъ по философскимъ. Матеріализмъ является всегда реакціей противъ реакціи. Онъ началъ распространяться въ эпоху, когда потерпѣла пораженіе революція 1848 г., когда въ Германіи и въ Австріи заключались конкордаты и торжествовала реакція.

Второе слагаемое экономическаго матеріализма выражаютъ слова Фейербаха: «Человѣкъ это то, что онъ ѣсть». Духъ, душевная дѣятельность ничто иное, какъ результатъ жизнедѣятельности его тѣла; тѣло живетъ благодаря пищѣ, такимъ образомъ духъ является ничѣмъ инымъ, какъ результатомъ пищеваренія, а въ виду того, что пища добывается трудомъ, въ конечномъ счетѣ духъ является результатомъ труда и хозяйственнаго процесса вообще. Человѣкъ — это то, что онъ производитъ. Такъ отъ философскаго матеріализма Энгельса и Маркса былъ сдѣланъ переходъ къ матеріализму экономическому, утверждающему, что условія производства (способъ производства и т. д.) являются реальной основой всей жизни общества, особенно же всего того, что марксисты называютъ «идеологіей». Искусство, философія, религія и государство, словомъ все, что мы называемъ духовной жизнью въ самомъ широкомъ смыслѣ слова, является для нихъ идеологіей, чѣмъ-то нереальнымъ, лишь «рефлексомъ», отображеніемъ экономическихъ условій. Единственно реальной является лишь экономическая жизнь. Вся исторія, все развитіе человѣчества заключается въ томъ, какъ человѣкъ вырабатываетъ себѣ пищу и все ему нужное для удовлетворенія своихъ потребностей. Мораль для нихъ является тоже идеологіей и не имѣетъ реального значенія. Въ болѣе поздній періодъ Марксъ и Энгельсъ не придавали никакого значенія моральнымъ стремленіямъ и идеаламъ. Поэтому на собраніяхъ марксистовъ можно часто слышать рѣчи, направленные противъ морализированія; при этомъ ораторы указываютъ на то, что всѣ разговоры о нравственности являются лишь декорацией для прикрытія весьма безнравственныхъ экономическихъ условій.

На этой основѣ историческаго и экономическаго матеріализма строятся и дальнѣйшіе выводы. Прежде всего это означаетъ, что пролетаріатъ и есть подлинный «человѣкъ», причемъ имѣются въ виду не пролетарскіе индивидуумы, а цѣлыя пролетарскія массы, притомъ принадлежащія не къ одному народу, а ко всему человѣчеству. Отсюда происхожденіе международна-

го лозунга «пролетаріи всѣхъ странъ, соединяйтесь!» Индивидуумъ, личное «я» теряетъ передъ массою всякое значеніе, или, по выраженію Энгельса, «индивидуумъ ничего не стоитъ». Соціализмъ, строящій на подобныхъ основахъ, сознательно антииндивидуаленъ. Ясно, что сознание и даже совѣсть отдѣльныхъ личностей не играютъ никакой роли; въ счетъ идутъ лишь сознание и совѣсть коллективныхъ массъ, притомъ, конечно, лишь пролетарскихъ. Пролетаріевъ на свѣтѣ гораздо больше, чѣмъ капиталистовъ, а поэтому, по принципу большинства, какъ будто всѣми признаваемому, человѣкъ и человѣчность должны быть представлены пролетарской массою.

На первый взглядъ такое рѣзкое непріятіе индивидуализма можетъ удивить. Однако, соціализмъ въ данномъ случаѣ не открылъ ничего новаго. Кто принимаетъ народъ и народность какъ представителя человѣчества и гуманизма въ той формѣ, какъ это формулировали наши чешскіе гуманисты, тотъ тоже оказывается въ антииндивидуалистическомъ лагерѣ. А чѣмъ инымъ является для вѣрующаго церковь? Мы видимъ, что одна и та же мысль появляется передъ нами въ различныхъ аспектахъ. Націонализмъ и церковность, очевидно, тоже антииндивидуалистичны.

Но тутъ возникаетъ вопросъ: если отдѣльная личность, какъ это утверждаютъ коллективистическія теории, ничего не стоитъ, то откуда же приобретаетъ цѣну масса? Если индивидуумъ — ничто, если его сознание и совѣсть не имѣютъ значенія, то почему тысяча индивидуумовъ уже не только представляетъ нѣчто, но и является всѣмъ? Въ этомъ и скрывается преувеличеніе каждаго коллективизма. Мы должны помнить, что однимъ изъ жгучихъ вопросовъ нашей эпохи является осознаніе противорѣчія между личностью и коллективомъ, все равно, берется ли онъ въ національномъ, церковномъ, социалистическомъ или какомъ-либо иномъ выраженіи.

Далѣе, соціалисты-марксисты утверждаютъ, что объективной морали и нравственности, которыя могли бы быть пригодны для каждаго человѣка, народа или эпохи, не существуетъ, — мораль и нравственность существуетъ лишь классовая, ибо все общество базируется на классовой борьбѣ; у каждаго класса (экономическаго) имѣется своя мораль, свои нравственныя усредненія; капиталистъ, пролетарій, мелкій торговецъ, рабочий — каждый изъ нихъ обладаетъ своей особой моралью. Общечеловѣческой нравственности, способной примирить богата и бѣдняка, по ихъ мнѣнію, не существуетъ. Это, конечно, сильно преувеличено. Никто, разумѣется, не будетъ отрицать, что

существуют различные классы, никто также не будет уверять, что они друг друга обожают. Однако мы берем на себя смѣлость утверждать, что, несмотря на отдѣльные различія, нѣкоторые нравственные принципы признаются всѣми; не будь этого, классы не могли бы вообще между собой договариваться, хотя именно это имъ и нужно. Безспорно, человѣкъ состоятельный, богатый, человѣкъ средняго достатка и рабочий, словомъ, каждый живетъ по своему, у каждого имѣются свои привычки, которыя переходятъ по наслѣдству изъ поколѣнія въ поколѣнїе, благодаря чему классы между собой различаются. Несомнѣнно также то, что и народы отличаются другъ отъ друга обычаями и нравами. Но чтобы они отличались въ основныхъ взглядахъ на нравственность — если мы беремъ, напр., народы арийскаго племени — этого, конечно, утверждать нельзя. Какъ разъ исторія гуманитарныхъ идей намъ указываетъ, что всѣ народы сплочены воедино во имя общечеловѣческаго идеала. Каждый формулируетъ идеаль по своему, но достаточно ужъ и того, что у человѣчества имѣется такой общій идеаль. Это необходимо энергично выдвинуть противъ всѣхъ тѣхъ, кто полагаетъ, что человѣчество, уходя отъ старой морали, особенно христіанской и церковной, разсыпается въ прахъ на отдѣльные несвязанные между собою индивидуумы. Неправильно утверждение социалистовъ, что существуютъ лишь классовая, въ лучшемъ случаѣ національная мораль.

Благодаря такимъ крайностямъ, сами маркисты заходятъ въ тупикъ. Первѣйшей цѣлью маркистовъ является экономическое равенство. Это требованіе основано на нравственныхъ идеалахъ гуманизма. Если эти идеалы не будутъ признаны, то кто и какъ осуществить такое равенство? На это маркисты отвѣчаютъ: государство. Не полагаться на нравственность, и поручить осуществленіе государству. Но что такое государство? Съ точки зрѣнїя маркистовъ, это вѣдь тоже «идеология». Къ такому положенію приводитъ упрощенный экономическій матеріализмъ.

Особымъ вопросомъ является, нужно ли равенство осуществлять мирнымъ путемъ или же при помощи революціи? Марксъ здѣсь колеблется. Какъ всѣ социалисты, онъ проповѣдывалъ революцію; однако, въ болѣе позднюю эпоху, онъ и особенно Энгельсъ, отъ крайностей революціи отказываются и признаютъ возможность и мирнаго соглашенія. Но проблема революціи и реформы слишкомъ сложна, и я не хочу здѣсь на ней останавливаться.

Мы приходимъ къ послѣднему этапу марксистскаго движе-

нія. Марксисты отказываются отъ крайностей экономическаго матеріализма и принимаютъ роль «идеологіи» въ разумномъ объемѣ, въ которомъ ее признаютъ всѣ мыслящіе люди. Это и есть тотъ «кризисъ марксизма», который въ концѣ концовъ заключается въ томъ, что этика, нравственныя стремленія признаются столь же реальными, какъ и стремленія экономическія, и что въ концѣ концовъ экономическія требованія являются по существу моральными. Марксизмъ такимъ образомъ возвращается къ своей гуманитарной программѣ болѣе ранней эпохи. Я никогда не сомнѣвался, что это такъ и случится, что эволюція марксизма не могла пойти инымъ путемъ. Энгельсъ, точно такъ же, какъ и Марксъ, никогда не отказывался отъ гуманитарнаго, этическаго идеала. Энгельсъ всегда защищалъ нравственность «подлинно человѣческую», какъ онъ въ одномъ мѣстѣ выражается, а не только классовую. Бернштейнъ и многіе позднѣйшіе марксисты все больше и больше признавали необходимость и обоснованность автономной нравственности и гуманизма. Но и радикальные социалисты все чаще обращаются къ естественному праву. А что такое право? Право, въ концѣ концовъ, основано на нравственности и на признаніи моральнаго принципа.

Я никогда не скрывалъ, что былъ и остаюсь рѣшительнымъ противникомъ матеріализма. Но было бы несправедливо не признать, не хочу сказать правильность, — то, что неправильно, никогда не можетъ стать правильнымъ, — но естественность того факта, что, въ противовѣсъ нематериалистическимъ, особенно церковнымъ направленіямъ, могла съ другой стороны возникнуть именно такая односторонняя теорія. Далѣе, я также готовъ признать, что марксизмъ весьма благотворно дѣйствуетъ тѣмъ, что не только въ рабочей массѣ, но и въ болѣе широкихъ кругахъ онъ побуждаетъ людей заниматься помимо вопросовъ экономическихъ, также философскими и религіозными. Признаю также, что онъ побудилъ насъ, чеховъ, глубже разбираться въ нравственныхъ вопросахъ и идеалахъ, чѣмъ насъ учило это дѣлать то морализированіе, къ которому мы такъ охотно прибѣгаемъ. Но и социализмъ болѣе старой формации любилъ морализировать. Весьма популярная школа сенъсимонистовъ имѣла значительное вліяніе и въ Чехіи. Сенъсимонисты, чтобы тѣснѣе связать человѣка съ человѣкомъ и пріучить людей къ любви, рекомендовали, напр., пришивать пуговицы у сюртуковъ сзади, дабы братъ брату долженъ былъ всегда помогать при застегиваніи. Подобныхъ морализующихъ пустячковъ вокругъ насъ очень много, и мы всѣ съ удоволь-

ствіем пришиваемъ своимъ братьямъ пуговицы сзади, такъ, чтобы они никакъ не могли ихъ сами застегнуть. Съ такимъ утопизмомъ съ полнымъ правомъ боролся и борется марксизмъ. Изъ отвращенія къ подобной безцѣльной морали марксизмъ впадаетъ въ иную крайность и стремится къ полной аморальности, — такъ я бы назвалъ полнѣйшее нежеланіе считаться съ нравственностью.

У нашего (чешскаго) социализма тоже есть свое прошлое, социалистическое движеніе у насъ уже не такъ молодо. Уже въ тридцатыхъ и сороковыхъ годахъ мы замѣчаемъ броженіе среди рабочихъ массъ. Революція 1848 года несетъ въ себѣ безспорно социалистической зародышъ. Баррикады воспѣваются съ демократической точки зрѣнія, но никто не вспомнить, что онѣ были построены руками рабочихъ и что защищали ихъ главнымъ образомъ рабочіе. И социалистическія теоріи были у насъ извѣстны довольно давно. Августинъ Сметана *) былъ первымъ, кто у насъ поставилъ передъ философій и мышленіемъ задачу мыслить социалью. Любопытная аналогія, — Сметана такъ же, какъ Марксъ и Энгельсъ, вышелъ изъ Фейербаха. Далѣе, Клацель**), такъ несправедливо забытый, написалъ уже въ 1849 году письма о происхожденіи социализма и коммунизма; онъ популяризировалъ у насъ главнымъ образомъ французскій социализмъ. Сабина былъ скорѣе анархистомъ, особенно въ своемъ романѣ «Морана», написанномъ въ 1874 году. Въ пятидесятыхъ и шестидесятыхъ годахъ организуется по преимуществу христіанскій социализмъ, особенно въ такихъ центрахъ, какъ Брно и Прага; какъ всюду, такъ и у насъ социализмъ сначала носилъ религіозный характеръ и лишь позднѣе на этой

*) Ав. Сметана род. въ 1814 г., умеръ въ 1851 г. Докторъ философіи, профессоръ университета и монахъ ордена крестоносцевъ, онъ выступилъ изъ послѣдняго по религіознымъ убѣжденіямъ въ 1850 г. и порвалъ съ католической церковью, послѣ чего она предала его анафемѣ. Приверженецъ Шеллинга, онъ перешелъ впоследствии къ философіи Гегеля (Прим. перев.).

**) Ф. И. Клацель род. въ 1808 г., умеръ въ 1882 г. Монахъ ордена св. Августина, онъ оттуда нѣсколько разъ уходилъ. Въ 1869 г. Клацель эмигрировалъ въ Америку, гдѣ сдѣлался журналистомъ. Главныя его недоразумѣнія съ церковью и орденомъ происходили изъ-за его пантеизма и гегельянства. Въ 1878 и 79 г. Клацель принималъ живое участіе въ политической жизни Моравіи, гдѣ онъ мечталъ создать «Чешско-міровое братство» въ духъ всечеловѣческаго социальнаго объединенія. Вниманіе обращаетъ его трудъ «Письма моеи приятельницѣ о социализмѣ» (1849 г.) (Прим. перев.).

основѣ вырастаетъ социализмъ марксистскій. Лишь недостаточное вниманіе къ развитію нашей жизни было виной того, что значительная часть нашей интеллигенціи была вдругъ поражена ростомъ у насъ социализма. По существу социализмъ у насъ развивался точно такъ же, какъ и въ иныхъ странахъ; иначе это и не могло быть въ области, которая была наиболѣе промышленной частью Австріи. А если мы довольны подобнымъ развитіемъ промышленности, то мы должны считаться съ ея естественнымъ слѣдствіемъ — социализмомъ.

Мнѣ было бы очень неприятно, если бы подумали, что моя неприязнь и непринятіе нѣкоторыхъ теоретическихъ элементовъ марксизма распространяется на движеніе рабочихъ и на рабочія массы. Было бы несправедливымъ не признавать всѣхъ тѣхъ жертвъ, которыя приносятъ рабочіе; было бы также весьма одностороннимъ осуждать огуломъ все рабочее движеніе только изъ-за того, что мы не можемъ согласиться съ нѣкоторыми теоретическими взглядами или съ ошибками, хотя бы и политическаго характера. Мы до сихъ поръ не заботились о народныхъ массахъ, а теперь мы удивляемся, что они организуются сами и часто противъ насъ.

Да, вотъ еще: либерализмъ питалъ и питаетъ до сихъ поръ то же отвращеніе къ морали. Всѣ либеральные теоретики, въ особенности экономисты, которые категорически отвергаютъ мораль, были и остаются учителями марксизма.

Не хочу также утверждать, что у насъ въ не-социалистическихъ кругахъ болѣе развита нравственность. Мораль нельзя опредѣлять лишь по тому, кто проповѣдуетъ какія теоріи; еще менѣе она можетъ быть опредѣлена размѣромъ жалованья или податнымъ листомъ.

Въ послѣднее время у насъ растетъ безспорно интересъ къ экономическимъ вопросамъ; уже съ 1848 года со всѣхъ сторонъ слышенъ лозунгъ: богатѣть! Практической человѣкъ не будетъ противъ этого возражать; обогащеніе однако не можетъ быть наивысшей цѣлью нашей жизни, сущность заключается въ томъ, какъ умѣло богатствомъ пользоваться. Есть люди, которые хотятъ разбогатѣть и дѣйствительно богатѣютъ, такъ что становятся рабами денегъ. Какъ по слову Христа суббота — для человѣка, а не человѣкъ для субботы, такъ и народъ и каждый отдѣльный человѣкъ должны быть господами денегъ. Это означаетъ: не поддаваться матеріализму, если онъ даже разукрашенъ самыми привлекательными фразами о нравственности, религіи и т. п., но, наоборотъ, надо умѣть владѣть

деньгами, умѣть честно ихъ зарабатывать и благородно ими пользоваться.

Необходимо думать не только о томъ, какъ добыть богатство, но и о томъ, какъ использовать свободное время. Очень часто нужда и примѣръ толкають человѣка къ работѣ; въ общемъ можно сказать, что люди работаютъ прилежно; затрудненія возникаютъ однако для тѣхъ, кто добился успѣха, — изъ-за того, какъ они употребляютъ свое свободное время. Человѣкъ, который съ утра до вечера возится на фабрикѣ, гнетъ спину въ конторѣ или надъ книгой — это для человѣка не опасно! Опасность начинается, когда нѣтъ работы, но она начинается также и отъ сытости. Вотъ это социальная и моральная проблема безработицы; въ ней скрывается повидимому вершина экономического матеріализма; въ ней скрыта проблема также и для нашего народа.

III.

Конечно, неправы тѣ, кто осуждаетъ нашу эпоху, какъ безнравственную. Не хочу особенно расхваливать наше время, но въ этомъ отношеніи я бы не хотѣлъ несправедливо о ней судить. Я не хотѣлъ бы только критиковать. Нѣтъ, мнѣ бы хотѣлось договориться о вещахъ, которыя для всѣхъ насъ важны, которыя должны быть для насъ такими.

Прежде всего — о различіи между религіей и нравственностью. Разница между религіей и нравственностью заключается уже въ самой сущности предмета. Нравственность это не религія, а религія вовсе не нравственность. Человѣкъ можетъ быть весьма религіознымъ, преданнымъ своей церкви, ея догматамъ и постановленіямъ и въ то же время онъ можетъ быть ненравственнымъ, даже болѣе того, быть безнравственнымъ. При этомъ я вовсе не говорю лишь объ однихъ ханжахъ. На свѣтѣ существуетъ столько религій, онѣ принимаютъ такія формы, что было бы явной ошибкой полагать, что каждый, обладающій религіей, обладает и нравственностью. Нравственность это отношеніе человѣка къ человѣку. Нравственность намъ необходима при сношеніяхъ съ ближнимъ. Религія возникаетъ изъ отношенія человѣка къ цѣлому міру, въ особенности же къ Богу. Сфера воздѣйствія религіи шире, чѣмъ у морали; нравственность включена въ религію.

Религія должна быть основой нравственности. Я не могу себя представить окончательнаго разрѣшенія и моральной

проблемы безъ религій. Но меня не удовлетворяютъ позитивныя религій, то-есть религій существующихъ въ наше время церквей. Я хочу нравственности, стоящей на религіозныхъ основахъ, но на основахъ иной религій, чѣмъ та, которая намъ официально дана. Какая была бы это религія, — не будемъ здѣсь разбирать. Я хотѣлъ бы подчеркнуть лишь одно, а именно, что религію нельзя смѣшивать съ теоріями, съ ученіями церкви. Будемъ, такимъ образомъ, всегда отличать религіозную этику отъ теологій и церковности.

При разборѣ нравственности и этическихъ основъ весьма важенъ вопросъ, который на первый взглядъ кажется чисто формальнымъ: какъ мы познаемъ послѣднюю сущность нравственности? Что должно опредѣлять нравственность? Говоря болѣе конкретно, должно ли выводить принципы нравственности изъ разума или изъ чувства?

На разумѣ конструировали основы морали большинство прежнихъ философовъ. Все XVIII столѣтіе было подъ вліяніемъ рационалистической философіи. Въ наше время, какъ въ теоріи, такъ и на практикѣ, люди призываютъ охотнѣе чувство. Послѣ періода рационалистическаго настала эпоха преобладанія чувства.

Характернымъ для эпохи рационализма и для этики, основанной на разумѣ, является Кантъ. Разумъ даетъ человѣку категорическій императивъ, врожденное внутреннее сознаніе долгаго; по мнѣнію Канта, этотъ императивъ освященъ разумомъ.

Въ противовѣсъ этому, другіе философы (укажемъ хотя бы на Юма) считали, что мораль основана не на разумѣ, а на чувствѣ, а именно, на симпатіи, на гуманности, на любви. Любовь — вотъ весь кодексъ морали. Доказывать этотъ императивъ нѣтъ надобности, чувство даетъ его само каждому.

Долженъ признаться, что я стою на сторонѣ тѣхъ, кто въ вопросахъ нравственности опирается на чувство; однако я не думаю, что чувство должно быть обязательно въ противорѣчій съ разумомъ. Чувствъ на свѣтѣ много — хорошихъ, дурныхъ, благородныхъ, низкихъ, грубыхъ, злыхъ — все это чувства. Этика чувства не должна блуждать среди различныхъ чувствъ. Я полагаю, что только гармонія чувства и разума, даже съ извѣстнымъ перевѣсомъ чувства, должна быть для насъ основой нравственности.

Разобравъ формальный вопросъ о томъ, какимъ способомъ мы проникаемъ къ основамъ нравственности, перейдемъ къ уясненію выводовъ изъ данныхъ основъ. Выберемъ то, что намъ

кажется наилучшимъ. Однако, я боюсь, что вамъ будетъ казаться, что все это само собою разумѣется. Мнѣ всегда вспоминается Уленшпигель, который созвалъ портныхъ, заявивъ, что онъ долженъ имъ сказать нѣчто очень важное. Всѣ пришли, и Уленшпигель обратилъ ихъ вниманіе на то, что они не должны забывать дѣлать на ниткѣ узелъ. Въ подобномъ же положеніи оказывается каждый, кто, разобравшись въ методахъ философіи и этики, долженъ сдѣлать свои выводы.

Прежде всего, — ничего новаго; старое, признанное давно правило остается основой и новой философіи: «люби ближняго своего, какъ самого себя!»

Кто же этотъ ближній? Мы говорили о гуманитарномъ идеалѣ; принимаю этотъ идеалъ. Для насъ онъ имѣетъ два смысла: прежде всего, идеалъ человѣчности — быть подлиннымъ человѣкомъ. Во-вторыхъ: считаться съ человѣчествомъ въ цѣломъ, въ самомъ широкомъ смыслѣ слова.

Однако гуманизмъ какъ любовь къ отвлеченному человѣчеству очень легко становится абстракціей, любовью лишь въ фантазій, а не въ дѣйствительности. Любовь должна быть сосредоточенной. Любить всѣхъ одинаково нельзя. Мы выбираемъ. мы должны выбирать предметы своей любви. У насъ должна быть опредѣленная цѣль.

Поэтому ближній, если любовь къ нему должна быть практической, дѣйственной, долженъ быть самымъ близкимъ. Самый близкій человѣкъ для каждаго — это мать, братъ, сестра, жена, дѣти. Мы до сихъ поръ не отдаемъ себѣ отчета, сколько можно дѣлать въ этомъ узкомъ кругу, о которомъ мы думаемъ, что любимъ. Но прошу васъ, послѣдите за собой и за остальными людьми, посмотрите пристально, каково наше отношеніе къ самымъ близкимъ лицамъ, какъ по существу мы ихъ плохо знаемъ, мало любимъ. Нельзя утверждать, что мы любимъ то, что такъ плохо знаемъ. Наиболее близкими изъ всѣхъ близкихъ для насъ должны бы быть дѣти. Уже давно было сказано: «Чти отца своего и мать свою!» Я думаю, что къ этому нужно еще прибавить: уважай душу своего ребенка! Думай о будущихъ поколѣніяхъ! Наша любовь должна быть взаимной, но ограничиваться одной взаимностью нельзя.

Для мужа ближнимъ является жена, для жены — мужъ. Эти интимныя отношенія должны быть дѣйствительно освящены любовью. Жена абсолютно равноцѣнна мужу, однако, нужно имѣть въ виду физическую разницу: она, конечно, слабѣе.

Если гуманитарный идеалъ, обращенный ко всему человѣчеству, нѣсколько туманенъ, то не сдѣлается ли онъ болѣе

опредѣленнымъ, если его цѣлью станетъ народъ? Но не является ли народность все еще достаточно общей и неясной идеей? Конечно, менѣе, чѣмъ понятіе челоѣчества, но у большинства людей и національный идеалъ расплывается, такъ же, какъ у тѣхъ, что думаютъ о челоѣчествѣ. А какъ много и часто лгутъ во имя народа, — не менѣе, чѣмъ во имя челоѣчества!

Любовь и гуманизмъ должны быть положительными. Часто ненависть къ чужому народу уже считается любовью къ своему народу. Гораздо болѣе возвышенно не питать ненависти къ чужимъ, но зато положительно любить свое. Не буду спорить о томъ, можно ли чужое любить такъ, какъ свое. Напримѣръ, любить чужой народъ, какъ свой. Было бы неестественнымъ этого требовать. Однако, если мы приучимъ себя любить положительно, то-есть безъ ненависти на заднемъ планѣ, семью, партію или вообще кого бы то ни было, то передъ нами откроется совершенно новый моральный миръ.

Любовь должна быть дѣйственной. Мы должны для нашего ближняго что-то дѣлать, мы должны для него работать. Но работа это не вѣчное, безпокойное и нервное исканіе и разговоры; нѣтъ, трудъ долженъ быть спокойнымъ и цѣлеустремленнымъ. Въ наше время много и почти всюду рекомендуется трудъ. Есть однако трудъ и внѣ труда. Мнѣ вспоминаются слова Мильтона: «Тѣ, кто стоятъ и ждутъ, тоже служатъ». Необходимо слѣдить за тѣмъ, что дѣлается вокругъ. Трудъ не идеалъ, не послѣдняя цѣль всего. Это лишь средство. Каждый изъ насъ въ минуту откровенности признается, что хочетъ имѣть свободное время. Но тотчасъ встаетъ вопросъ, что дѣлать со свободнымъ временемъ. Трудъ — это мелкая, неприятная работа; это то, чего никому не хочется дѣлать. Но мы всѣ — романтики. Намъ хочется быть героями и гордиться огромными достижениями. Да, да, геройство, а не трудъ. Ну, а сколько на свѣтѣ генераловъ и героевъ, сколькимъ людямъ посчастливилось сдѣлать нѣчто огромное? Мы всѣ хотимъ быть вождями. Безспорно, вожди тоже должны быть, но вождь не долженъ быть господиномъ. Хорошимъ вождемъ будетъ тотъ, кто умѣетъ служить, кто чувствуетъ, что его тоже ведутъ, и кто хочетъ, чтобы его вели. Иногда нужны великія жертвы, но это бываетъ рѣдко. Безспорно, на свѣтѣ мало людей, которымъ бы представился случай пожертвовать жизнью, а тѣмъ не менѣе всѣ — по крайней мѣрѣ въ мечтахъ — представляютъ себѣ ситуацію, при которой они бы охотно дали жизнь за дѣло. Но

все это фразы, фантази. Человѣчество, народъ, семья, партія, товарищи нуждаются въ нашей работѣ.

Не слѣдуетъ обожать мученичество. Не слѣдуетъ любить смерть. Какъ это странно: люди хотятъ жить — и не могутъ оторваться отъ смерти. Въ случаѣ, если мы дѣйствительно стремимся къ жизни, мы не должны искать мученичества. Если до сихъ поръ былъ лозунгъ: долой мучителей! то мы скажемъ: долой мучениковъ! Пока на свѣтѣ будутъ мучители, будутъ и мученики, но пока будутъ мученики, будутъ и мучители. Вспомните романъ Тургенева «Новъ» и его симпатичную геронню Марианну, и какъ ей хочется пожертвовать жизнью за Россію. Она все ждетъ, когда представится случай, когда народъ скажетъ: теперь вотъ подставь голову. Однако, этотъ моментъ не приходитъ, хотя она честно его ждала. Зато пришелъ практической человѣкъ, директоръ фабрики Соломинъ и сказалъ ей, въ чемъ суть дѣла: Россія не ждетъ человѣческихъ жертвъ, ей нужно, чтобы мы вычесали грязному мальчишкѣ голову, вымыли грязную посуду и т. д., — вотъ что нужно.

Работать — это значитъ непрерывно сопротивляться злу. Всюду, всегда. Особенно же уничтожай зло въ зародышѣ. Это не значитъ, что нужно быть радикальнымъ; нѣтъ, нужно быть послѣдовательнымъ. Я бы сказалъ, что не нужно бояться. Отъ страха люди насильничаютъ, отъ страха лгутъ. Тиранъ и лжець — оба боятся; работъ бываетъ и тотъ, кто насилуетъ. Сенека сказалъ: тотъ, кто владѣетъ своей жизнью, можетъ быть господиномъ жизни иныхъ. Мы не имѣемъ, однако, права злоупотреблять своей силой; мы не имѣемъ права обманывать свѣтъ, предполагая, будто онъ хочетъ быть обманутымъ.

Любовь — это не сентиментальность. Мы слишкомъ сентиментальны, а сентиментализмъ это эгоизмъ. Мы охотно нѣжничаемъ съ дѣтьми и взрослыми, а притомъ не имѣемъ понятія о той сознательной любви, о которой говоритъ нашъ поэтъ Мерида.

Такая сознательная любовь утверждаетъ вещи, которыя въ первый моментъ поражаютъ: — люби себя! Однако, въ этомъ нѣтъ ничего удивительнаго. Христось тоже сказалъ: «Люби ближняго своего, какъ самого себя». Однако, люди не умѣютъ любить себя. Всякія хитрости и мелкіе расчеты еще не являются любовью къ себѣ самому. Люби себя и заботься о себѣ. Не стремись вѣчно всѣхъ улагодворять, но исполняй свой долгъ.

Огромное зло кроется въ томъ, что мы постоянно живемъ съ мыслью, что скажетъ о насъ сосѣдъ. Важно имѣть свое мнѣ-

не, свою личность. Необходимо рѣшиться быть самимъ собой! Перестанемъ жить на чужой счетъ, по чужой совѣсти.

Нравственность основана на чувствѣ. Не каждое чувство бываетъ подлиннымъ и хорошимъ, а потому, если нравственность основана на чувствѣ, это не значитъ, что она противорѣчитъ разуму. Необходимо искать просвѣщенія; именно потому, что чувство бываетъ слѣпымъ, нужно посвятить ему разумомъ. Просвѣщеніе и образованіе надо приобрѣтать практическое, а кромѣ него — всеобщее и философское. Въ наше время особенно нужны познанія историческія и политическія. Нравственность означаетъ въ наши дни въ значительной степени нравственность политическую. Нельзя дѣлать различія между нравственностью и политикой.

Если мы хотимъ пополнить свое образованіе, то мы должны быть внимательными, должны учиться мыслить, но при этомъ не быть любопытными. Важно стать мудрыми. Всезнаѣство насъ не спасетъ.

Поскольку это возможно, мы должны въ одинаковой степени поддерживать всѣ наши силы. Мы имѣемъ въ виду не только духъ, но и тѣло. Поскольку это возможно, воспитаніе и образованіе должны быть гармоническими.

Мы обязаны вѣрить въ прогрессъ, то-есть что жизнь отдельныхъ личностей и всего цѣлаго улучшается и постоянно будетъ улучшаться. Тотъ, кто вѣритъ въ прогрессъ, не будетъ нетерпѣливымъ. Прогрессировать это значитъ преодолевать плохое. Преодолѣвать плохое хорошимъ — это нетрудно. Трудно преодолавать хорошее превосходнымъ.

Подлинная любовь основана на надеждѣ: на надеждѣ въ жизнь вѣчную. Лишь такая любовь является подлинной любовью, потому что вѣчное не можетъ быть равнодушно къ вѣчному. Вѣчность... Вѣчность не наступаетъ послѣ смерти, вѣчность уже здѣсь, въ этой, въ каждой минутѣ. Поэтому не откладывайте ничего для какой-то будущей вѣчности.

Обращаясь взоромъ къ вѣчности, не презирай матерію, тѣло, ссылаясь на то, что духъ выше. Ни матерія, ни тѣло не могутъ быть безцѣнными. Не матерія, не тѣло являются источникомъ зла, а духъ! Нечистота не скрывается въ матеріи и въ тѣлѣ, она прорастаетъ изъ духа.

Не лѣнись и не волнуйся, ибо ты вѣченъ. Мѣръ все доброй мѣрой, ибо то, что не сдѣлаешь ты, додѣлаютъ другіе. Современный человѣкъ нетерпѣливъ и безпокоенъ. То, что ты не успѣешь сдѣлать сегодня, сдѣлаешь завтра, то, что не сдѣлаешь ты, сдѣлаешь другой, а если вообще ни ты, ни кто дру-

гой этого не сдѣлають, скажи себѣ, что Господь Богъ тоже заботится о томъ, что Онъ сотворилъ.

Надежда на вѣчную жизнь является такимъ образомъ нашей жизненной вѣрой. Повторяю «вѣрой», потому что на вѣрѣ основаны жизнь и трудъ. Скептицизмъ и сомнѣнія неспособны творить. Наша вѣра не можетъ быть однако слѣпой, она должна быть обоснованной; мы можемъ имѣть лишь ту вѣру, которая прошла черезъ огонь критики, то-есть убѣжденіе.

Вотъ въ общихъ чертахъ тотъ итогъ, который я подвожу изъ разсмотрѣнія всѣхъ этическихъ теорій. Если мы дѣйствительно хотимъ разрѣшить тайны и понять цѣли жизни, мы не должны ждать, Богъ знаетъ какихъ откровеній. Я вспоминаю о богатомъ юношѣ изъ Евангелія. Съ ранней молодости онъ исполнялъ всѣ десять заповѣдей и за это хотѣлъ вѣчной жизни. Христосъ ему посовѣтовалъ, если онъ хочетъ быть совершеннымъ, продать все, что онъ имѣетъ, и идти за Нимъ. «Услышавъ эти слова, юноша отступилъ печаленъ, ибо имѣлъ онъ много имущества». Я постоянно думалъ объ этомъ — отступилъ печаленъ лишь потому, что долженъ былъ продать то, что имѣлъ? По всѣмъ признакамъ, это былъ хороший молодой человекъ, образованный, живущій по правиламъ официальной морали и официальной религіи и чувствующій ихъ недостаточность. Онъ пришелъ къ учителю, чтобы услышать отъ него нѣчто совершенно новое, великое. А учитель не далъ ему иного совѣта, кромѣ: люби людей!

Не будемъ искать таинственныхъ, необычайно глубокихъ и новыхъ формулъ и послѣднихъ отвѣтовъ на всѣ вопросы жизни. Загадки стары, точно такъ же, какъ стары на нихъ и отвѣты. Многие изъ этихъ отвѣтовъ правильны и хороши. Для тебя они будутъ правильными и хорошими лишь тогда, когда ты ихъ поймешь самъ въ примѣненіи къ себѣ при твоихъ, для тебя реальныхъ условіяхъ. Тогда многое, что мы давно уже слышали, получаетъ для насъ новый смыслъ. Будемъ такъ продолжать, чтобы то, что мы уже знаемъ, представилось намъ въ новомъ освѣщеніи, а потомъ и въ старомъ найдется новая страница. Глубина мышленія и пониманія заключается въ томъ, чтобы мы умѣли нѣчто подмѣтить въ томъ, что уже давно знаемъ, что слышимъ каждый день, къ чему насъ вели, и о чемъ мы были убѣждены, что уже давно хорошо поняли.

Т. Г. Масарикъ.

(Пер. съ чешскаго Н. Мельникова-Папоушкова).

Масарикъ — философъ демократіи

(Рѣчь, произнесенная на собраніи, посвященномъ памяти
Т. Г. Масарика).

Ницше какъ-то сравнилъ свое отношеніе къ философіи съ отношеніемъ другихъ философовъ. Для тѣхъ ихъ мысли — не переживанія, а лишь отзвукъ переживаній другихъ людей: «какъ если бы они воспринимали дрожаніе ихъ комнаты при проѣздѣ мимо тяжелой телѣги; я же сижу въ этой телѣгѣ, и часто я самъ — эта телѣга».

Быть можетъ, гораздо больше, чѣмъ къ Ницше, эти слова примѣнимы къ Масарику. Его жизнь — воплощеніе его философіи. Его философія — прожитая имъ жизнь. Его лучшее философское произведеніе — онъ самъ; въ своемъ жизненномъ пути находитъ онъ оправданіе своихъ философскихъ взглядовъ.

Въ свой философскій аквизитъ включилъ онъ такія противоположности, какъ Платонъ и Аристотель; Паскаль, Кантъ и Локкъ, Юмъ и даже Контъ. Въ его мышленіи сочетаются высшій идеализмъ, религиозная устремленность и послѣдовательный до конца реализмъ: недаромъ, какъ политикъ, назвалъ онъ основанную имъ партію — партіей реалистовъ.

Что это — эклектизмъ, раздвоенность природы, или Масарикъ нашелъ высшій, для него убѣдительный, синтезъ?

Самъ онъ спорилъ съ тѣми, кто удивлялся его цѣльности, гармоничности. Полушутя, полусерьезно онъ утверждалъ, что въ немъ живутъ и «импульсивный словакъ», и «уравновѣшенный чехъ». И все-же, разумѣется, правъ былъ въ этомъ не онъ, а тѣ, кто видѣлъ въ немъ эту гармонию. Всѣ эти философскія антитезы находили примиреніе въ его личности. Онъ былъ дѣятелемъ-реалистомъ, но реальная дѣйствія и въ ихъ совокупности, и въ каждомъ конкретномъ случаѣ воспринимались и оцѣнивались имъ *sub specie aeterni*: «Вѣчность!.. Вѣчность не наступаетъ послѣ смерти, вѣчность уже здѣсь, въ этой, въ каждой минутѣ. Поэтому, не откладывайте ничего до какой-то будущей вѣчности».

Основой всего его міропониманія и міроощущенія было религиозное чувство — внутренний, субъективный религиозный опыт. Онъ былъ противникомъ всякой догмы — и особенно догмы религиозной, противникомъ церкви и церковной организации, какъ носительницы и защитницы этой догмы. Его вѣра — свободная отъ всякаго установленнаго канона вѣра въ Бога, духовное безсмертіе, промысль.

Эта вѣра у Масарика — не созерцательна. Подобно апостолу Іакову, онъ всѣмъ существомъ утверждаетъ, что «вѣра безъ дѣлъ — мертва». Пользуясь терминомъ Діонисія Ареопагита, онъ называетъ свое религиозно-дѣйственное отношеніе къ міру — синергизмомъ. Синергизмъ — соработа съ Богомъ въ осуществленіи добра. Человѣкъ — самостоятельный и участникъ въ божескомъ дѣлѣ устроенія міра.

Заданность этой работы, ея духовная неизбѣжность для человѣка опредѣлена его религиознымъ сознаниемъ. Но самый трудъ осуществленія божественнаго замысла о мірѣ лишенъ всякаго потусторонняго, мистическаго характера. Наоборотъ: онъ долженъ быть выполненъ доступными человѣку, вполне реальными средствами. Положительная наука, точное знаніе и моральное сознаніе должны дать человѣку компасъ для реальнаго созиданія человѣческихъ цѣнностей здѣсь, на землѣ.

Свѣтомъ религиозности проникнута и его философія исторіи. Онъ даетъ Масарику увѣренность въ осуществимости и осуществленіи конечныхъ цѣлей; онъ обращаетъ для него эволюцію въ прогрессъ.

Историческій процессъ представляется Масарику, какъ замѣтна мифа — наукой; вѣры въ чудо — утвержденіемъ принципа причинности; теологіи — философіей.

Сообразно этой смѣнѣ происходитъ и смѣна міровоззрѣній и общественнаго уклада. Теократія, аристократизмъ и деспотизмъ — формы осужденнаго на окончательное исчезновеніе прошлаго — смѣняются соответственно свободной индивидуальной вѣрой, этическимъ «гуманизизмомъ» и демократизмомъ.

И какъ прежняя триада по существу едина, ибо одно вытекаетъ изъ другого, одно неизбѣжно связано съ другимъ, такъ едина и триада, приходящая ей на смѣну. Этической гуманизмъ находитъ свое истинное основаніе въ свободной, индивидуальной вѣрѣ: «религія должна быть основой нравственности. Я не могу себѣ представить окончательнаго разрѣшенія и моральной проблемы безъ религіи». Истиннымъ же источникомъ демократіи, ея душой, является этической гуманизмъ.

Масарикъ говоритъ, что — въ противоположность Канту,

строющему свою этику на разумъ — онъ кладетъ въ ея основаніе чувство. Но по существу, развивая свою систему этики, онъ говоритъ почти словами Канта. И для него нравственнымъ идеаломъ является автономная человѣческая личность и моральная равноцѣнность людей: «всякая душа равна другой». И для него человѣкъ — и творецъ нравственного закона, который онъ самъ даетъ себѣ, и подданный этого закона, ибо дѣйствовать нравственно можетъ только слѣдуя ему: «Я всегда хотѣлъ, чтобы каждый былъ собственнымъ хозяиномъ, хозяиномъ своей воли: въ этомъ и свобода, и дисциплина». Этический гуманиззмъ Масарика приводитъ къ тому же мыслимому завершенію нравственного идеала — къ идеѣ свободной, нравственно-творческой связи автономныхъ личностей, которое Кантъ выражаетъ формулой — «царство цѣлей».

Но чтобы этической гуманиззмъ сталъ основой жизни, основнымъ принципомъ дѣятельности человѣка и человѣчества, нужна глубокая реформа — «реформа духа». Только самовоспитаніемъ придетъ къ этому человѣчество. Масарикъ продолжаетъ традицію, идущую отъ Гуса черезъ Штитнаго и Коменіуса. Духовное движеніе, связанное съ этими именами, было тоже морально-религіознымъ, но не теологическимъ. И оно требовало прежде всего «реформы нравовъ».

Поэтому, и демократія, истиннымъ принципомъ которой является этической гуманиззмъ, предполагающей глубокую реформу духа, — даже тамъ, гдѣ демократически-политическій строй существуетъ — не данность, а только заданность. Не достаточно одного освобожденія «отъ чего» — отъ политическаго гнета — и созданія для этого соответствующихъ установлений, недостаточна свобода отрицательная, — необходима и «свобода для чего», свобода положительная — воспитаніе истинной внутренней свободы, творчество въ свободѣ человѣка и человѣчества.

Въ своемъ первомъ посланіи Национальному Собранію 22 декабря 1918 г. Масарикъ говоритъ: «Демократія — не способъ правленія; это — дѣлательный трудъ, чтобы обезпечить царство справедливости. А справедливость — математика человѣчности и человѣчества. Мы всѣ — и отдѣльные люди, и народы — должны стать людьми».

Отличіе отъ стараго порядка, такимъ образомъ, не только въ формѣ: оно въ самомъ принципѣ, видоизмѣняющемъ всю жизнь. «Демократія это — государственная форма современнаго организованнаго общества, современнаго міросозерцанія, современнаго человѣка. Демократія вы-

растаетъ изъ цѣлостнаго взгляда на міръ и жизнь, изъ новой точки зрѣнія и новаго метода. Признаніе свободы, равенства, гуманитарный принципъ какъ внѣшняго, такъ и внутренняго братства — не только политическая, но и моральная политика».

Вотъ почему «еще нигдѣ нѣтъ послѣдовательно осуществленной демократіи: всѣ демократическія государства являются до сихъ поръ лишь опытомъ созданія демократіи».

Много говорятъ теперь о «кризисѣ демократіи», о ея «банкротствѣ» и необходимости замѣны ея совсѣмъ инымъ строемъ. Въ свѣтѣ пониманія демократіи Масарикомъ, которое представляется намъ единственно правильнымъ и глубокимъ, какъ можно говорить, что демократія «отжила свой вѣкъ», когда она еще нигдѣ не получила своего полнаго осуществленія, не раскрыла всѣхъ возможностей, заложенныхъ въ ней? Не о «кризисѣ демократіи» надо говорить, а о «кризисѣ роста ч е л о в ѣ с к о й л и ч н о с т и». Тяжелъ созидательный «длительный трудъ», о которомъ говоритъ Масарикъ, «реформа духа» далеко не закончена, и рецидивы, къ сожалѣнію, возможны: и возвратъ къ «мифу» — сколько классоваго, расоваго, государственнаго «мифотворчества» наблюдаемъ мы нынѣ! — и возвратъ къ «чуду» — хотя бы «соціализма въ одной странѣ» — и возвратъ къ деспотизму, и, если не къ теократіи, то къ монопольнымъ и догматическимъ идеократіямъ.

Человѣчество нетерпѣливо. Оно готово быстро разочароваться въ — исторически — только развивающемся строе, не давшемъ сразу всего, чего отъ него ждали, чтобы броситься служить новымъ богамъ, такъ похожимъ на когда-то бывшихъ и повергнутыхъ. Быстро изсякаетъ и мелѣетъ вѣра въ основныя духовныя цѣнности, выработанныя человѣчествомъ, ибо самой этой вѣрѣ чуждодыханіе вѣчности. Иная вѣра Масарика, и, несмотря на всѣ «кризисы» и повороты исторіи, она позволяетъ ему до конца сохранить свой оптимизмъ: «медленно работаютъ жернова твои, Господи, но работа ихъ вѣрна, ибо работаютъ они для вѣчности».

Демократія для Масарика призвана осуществить не только политическое равенство, но и «гуманитарный принципъ внѣшняго и внутренняго братства». Не формальная только свобода должна быть дорога ей, но и реальная. Масарикъ призываетъ къ созданію соціальной демократіи. И соціальный вопросъ, какъ и всѣ вопросы устроенія человѣческаго общества, для него не только вопросъ хозяйственный, экономическій, но прежде всего моральный и духовный.

Именно потому и социализмъ его основанъ на нравствен-

ныхъ постулатахъ: онъ — этико-гуманитаренъ. «Мой социализмъ — просто любовь къ ближнему. Человѣчность это — не старая филантропія. Человѣчность стремится реформировать самую организацію общества въ законѣ и социальномъ строѣ». Марксизмъ, какъ ученіе, не пріемлемъ для него: онъ признаетъ его иногда лишь, какъ форму современнаго рабочаго движенія (потому, онъ «изрѣдка съ марксизмомъ»). Признаніе борьбы классовъ, не какъ историческаго факта, а какъ теоріи и желаннаго и неизбѣжнаго двигателя прогресса — чуждо всему его мировоззрѣнію. Онъ хочетъ видѣть общее усиліе подняться на высшую ступень. Теперешнее положеніе рабочихъ — положеніе зависимыхъ, несвободныхъ людей — морально невыносимо не только самимъ рабочимъ: оно искажаетъ лицо всего человѣчества. Нравственно несвободенъ не только рабъ, но и рабовладѣлецъ; духовный міръ и того, и другого далекъ отъ той «человѣчности», о которой мечтаетъ Масарикъ. Вотъ почему и говоритъ онъ, что «освобожденіе рабочихъ — наше собственное освобожденіе».

Построеніе здѣсь, на землѣ, «града Божьяго», созданіе такого человѣческаго общенія, которое до конца было бы проникнуто дѣйственной любовью и основано на этическомъ гуманизмѣ — таковъ тотъ общественный идеалъ, который предносился Масарику и о которомъ онъ какъ-то повѣдалъ одному изъ своихъ друзей.

Стремленію осуществить его, приблизить его торжество онъ служилъ всю жизнь. Ему посвятилъ всѣ свои исключительныя силы. Его путь всегда направлялся по звѣздамъ религіозно-нравственныхъ заповѣдей, но ноги твердо ступали по реальной землѣ. Ничто не могло свести его съ разѣ взятаго направленія. Съ упорствомъ, несмотря на препятствія, онъ преслѣдовалъ свою ицѣль. Онъ самъ говорилъ: что бы ни случилось, что бы ни говорили, надо идти своимъ путемъ. Познавъ правду и служа ей, нельзя уступать ни людямъ, ни обстоятельствамъ.

Чудесна судьба этого человѣка: всегда вѣрный самому себѣ, прошелъ онъ отъ бѣднаго домика кучера, отъ малой деревенской кузницы до дворца президента Чехословакіи — перваго президента-освободителя своего народа. Съ полнымъ правомъ могъ бы онъ избрать девизомъ своей жизни гордые слова: «quo non ascendam» — «докуда не достигну!» Но онъ избралъ другой: вѣрой въ его правильность жилъ онъ всю жизнь; вѣрный ему, безъ колебанія шелъ впередъ — «правда побѣдитъ!»

Михайловскій указалъ какъ-то на удивительное русское слово — правда. Въ немъ заключены и понятіе правды-истины, прав-

ды теоретической, и правды-справедливости, правды нравственной. Невольно вспоминаются эти слова Михайловскаго, когда думаешь о Масарикѣ. Всего себя посвятилъ онъ этой двуединой правдѣ: ей онъ училъ — не только словомъ, а всей своей жизнью.

И, можетъ быть, ничто лучше не характеризуетъ Масарика, чѣмъ отвѣтъ, данный имъ одному другу, спросившему его, какое свое переживаніе онъ считаетъ самымъ счастливымъ. Другъ думалъ о томъ днѣ, когда Масарикъ, какъ президентъ, вѣзжалъ въ освобожденную Прагу: въ самомъ дѣлѣ, въ этотъ моментъ онъ могъ поистинѣ сказать — «нынѣ отпущаеши»... Онъ видѣлъ осуществленной мечту всей своей жизни. Рѣдко кому на долю выпадаетъ такое счастье. Но Масарикъ отвѣтилъ: «Мое личное удовлетвореніе, если можно такъ выразиться, глубже: оно заключается въ томъ, что и на посту главы государства я не долженъ былъ отказаться по существу ни отъ чего, во что я вѣрилъ и что любилъ, когда былъ бѣднымъ студентомъ, когда сталъ воспитателемъ молодежи, неудобнымъ критикомъ, политическимъ реформаторомъ. Вотъ въ чемъ это существо: ставъ у власти, я не открылъ никакого новаго отношенія къ моему ближнему, къ моей странѣ, къ міру, чѣмъ то, которымъ я руководился раньше. Я могу сказать: я видѣлъ утвержденіе и развитіе того, во что я всегда вѣрилъ. Мнѣ нечего мѣнять въ моей вѣрѣ въ человѣчество и демократію, въ моемъ исканіи истины, въ моемъ преклоненіи предъ высшей заповѣдью — религіозной и нравственной — любви къ ближнему».

Н. Авксентьевъ.

Путь шведского социализма

Последние двадцать лет развития Швеции происходят при исключительном росте влияния и престижа социаль-демократической партии. В 1914 г. на выборах в Парламент (вторую палату Рикстага) за социалистов голосовало 266.000 человек. В 1919 г. право вота было предоставлено и женщинам, чего нѣтъ ни во Франціи, ни Бельгіи, гдѣ даже социалистическія партіи рассматриваютъ этотъ вопросъ не принципиально, а съ точки зрѣнія «тактической» и «стратегической». Шведскіе социалисты — демократы до мозга костей — никогда не стояли на такой позиціи. За это они были быстро вознаграждены. На выборахъ въ 1921 г. прибавка женскихъ голосовъ увеличила до 630.000 число социалистическихъ избирателей. Въ 1924 г. за социалистовъ высказалось 725.000 человекъ. Въ 1928 г. — 873.000, въ 1932 г. — 1.040.000. А въ 1936 г., когда правые мобилизовали всѣ силы, чтобы устранить социалистовъ отъ власти, послѣдніе получили 1.336.000 голосовъ. За нихъ голосовало 46% всѣхъ избирателей. Для лучшей оцѣнки этой цифры стоитъ напомнить, что въ 1932 г. въ Германіи за социалистовъ и коммунистовъ вмѣстѣ голосовало 37% избирателей. А во Франціи, при огромномъ сдвигѣ влѣво, вынесшимъ Леона Блюма къ власти, всѣ рабочія партіи (социалисты, коммунисты, люмпены) получили все-таки меньше 36% поданныхъ (мужскихъ) голосовъ.

Шведскіе социалисты, дѣйствительно, сильны. Въ широкихъ кругахъ страны и больше всего, конечно, въ рабочихъ, они имѣютъ не временную, созданную «острыми» лозунгами и настроеніями момента, опору, а крѣпкую, постоянную. Опираются они не только на «политику», а и на культуру, въ частности, на это множество покрывающихъ страну кружковъ (вродѣ А. В. Ф. — ассоціаціи по интеллектуальной подготовкѣ рабочихъ), гдѣ солиднымъ изученіемъ социологіи, экономики, техники, исторіи, искусства, религіи, литературы, иностранныхъ языковъ — готовятъ полнокѣнные культурные люди, а не глотатели лозунговъ. Изъ нѣдръ рабочихъ массъ, приобща-

ющихся къ подлинной культурѣ, въ Швеціи выдвинуть нынѣшній премьеръ-министръ социалистъ Ганссонъ (простой торговый служащій въ прошломъ), поэтъ Данъ Андерсонъ (бывшій лѣсорубъ), профессоръ Генденвиндъ-Эриксонъ (бывшій сельскій рабочій), романистъ Гарри Мартинсонъ (бывшій шоферъ) и множество другихъ.

Въ лѣвомъ секторѣ на послѣднихъ выборахъ, кромѣ социалистовъ, правотѣрные коммунисты получили 96.000 голосовъ и партія Кильбомъ (коммунисты-диссиденты и шведскіе Пиверы и Жиромскіе) — 127.000. Въ шведскомъ парламентѣ 230 депутатовъ. Социалисты имѣютъ 112 мѣстъ, Кильбомъ — 6, коммунисты — 5. Всего 123. Впервые за вѣковую исторію рабочаго движенія, представители рабочихъ партій имѣютъ абсолютное большинство въ парламентѣ (въ первой палатѣ Рикстага, въ «Сенатѣ» его нѣтъ. Изъ 150 мѣстъ у социалистовъ тамъ 66). Несмотря на такую ситуацію, социалисты не поддались желанію составить правительство только изъ лѣвыхъ партій. Въсто коалиціи съ московскими учениками и шведскими «Пиверами», вождь социалистовъ Ганссонъ предпочелъ продолжить начатую въ 1932 г. коалицію съ крестьянской партіей, имѣющей въ Парламентѣ 36 депутатовъ. Этому рѣшенію Ганссонъ всегда даетъ слѣдующее объясненіе: «современное демократическое правительство должно быть сильнымъ и авторитетнымъ. Оно должно имѣть самую широкую и солидную опору. Голоса всего лѣваго сектора, составляя лишь немногимъ больше половины избирателей, такую опору еще не даютъ. Ее нужно расширить». Тезисъ Ганссона такъ важенъ, имѣетъ такое не локальное, а универсальное значеніе, что на немъ нужно остановиться подробнѣе, внося въ него необходимыя дополненія и объясненія.

Еще совсѣмъ недавно социалисты всѣхъ странъ раздѣляли (многіе, вступая въ противорѣчіе со своей политикой, продолжаютъ про себя раздѣлять и понынѣ) взглядъ ортодоксальнаго марксизма, что средніе классы съ ихъ главной опорой, крестьянствомъ, обречены на пролетаризацію и въ качествѣ самостоятельной силы значенія не имѣютъ и должны исчезнуть. Нѣтъ нужды приводить цитаты и доказательства этого взгляда. Онѣ у всѣхъ еще въ памяти. Онѣ повторялись тысячи разъ, пока исползовавшій ихъ фашизмъ не заставилъ эту часть доктрины быстро убрать со сцены. До сихъ поръ считалось, что мелкое сельское хозяйство обречено на гибель и, какъ въ индустріи, будетъ замѣнено крупнымъ капиталистическимъ хозяйствомъ («совхозомъ») съ наемнымъ трудомъ. Предполага-

дось, что въ итогѣ такого и подобныхъ ему процессовъ ускоренно развивающееся общество должно принять крайне простую формулу: подавляющее большинство населенія въ видѣ ничего не имѣющаго (и по Марксу нишающаго!) пролетаріата, ничтожная группка капиталистовъ, сосредоточившая въ своихъ рукахъ всё средства производства, а посрединѣ пустота. Отсюда операція «экспроприации экспроприаторовъ» представлялась не очень сложной. На самомъ дѣлѣ все оказалось гораздо сложнее. У меня здѣсь нѣтъ возможности детально развѣивать, въ чемъ и гдѣ сложность положенія. Укажу только вотъ на что.

В о-п е р в ы х ъ, ростъ наемнаго труда не означаетъ увеличенія лишь работниковъ физическаго труда, — «чистыхъ пролетаріевъ», ростъ которыхъ, къ тому же, за послѣднія десятилѣтія сильно замедляется и даже останавливается. Кромѣ того, въ рядахъ современныхъ рабочихъ очень много такихъ, что имѣютъ мало общаго съ пролетаріатомъ, которому «ничего терять, кромѣ своихъ цѣпей». Существуютъ цѣлыя группы квалифицированныхъ и высоко оплачиваемыхъ рабочихъ, которые не хотятъ какого-либо рѣзкаго измѣненія «структуры» общества. В о-в т о р ы х ъ, численный ростъ физическихъ работниковъ (въ процентномъ отношеніи) на много обгоняется ростомъ различныхъ категорій служащихъ, клѣрковъ, инженеровъ, техникровъ, специалистовъ, помѣщающихъ себя и чувствующихъ себя въ социальномъ отношеніи гораздо ближе къ «серединѣ общества», чѣмъ къ лѣвому крылу. Очень значительная часть этой группы въ Бельгіи не голосуетъ за социалистовъ, въ Англіи не голосуетъ за рабочую партію, такъ же, какъ не голосуетъ она за социалистовъ въ Голландіи, Франціи, Швеціи, Даніи, Норвегіи, Чехословакии. В ъ-т р е т ь и х ъ, если «средніе классы» въ видѣ ремесленниковъ численно сокращаются, — въ видѣ либеральныхъ профессій и мелкихъ торговцевъ они увеличиваются. Середина общества, наполняемая этими вышеуказанными и другими элементами, совсѣмъ не исчезаетъ, а крѣпнеть. В ъ-ч е т в е р т ы х ъ, нигдѣ крестьяннинъ не замѣняется наемнымъ пролетаріемъ. Наоборотъ, сельскохозяйственный пролетаріатъ (по тѣмъ или инымъ причинамъ) численно сокращается, какъ и крупное сельское хозяйство, за счетъ котораго растетъ мелкое, а главнымъ образомъ среднее хозяйство. Тридцать пять лѣтъ назадъ, когда шли споры объ «аграрномъ вопросѣ», выходили работы Каутскаго, Бернштейна, Гертта, Гатти, Давида, Вандервельда, Крживицкаго, процессы, происходящіе въ сельскомъ хозяйствѣ были далеко

неясны. Нынѣ ощутительныя побѣды мелкаго хозяйства можно прослѣдить во многихъ странахъ, начиная отъ Франціи и Германіи и кончая Голландіей и Норвегіей. Крупное сельское хозяйство стало не «по времени» Политически и экономически оно обламывается. Послѣ войны (вліяніе Россіи и боязнѣ большевизма имѣли на то огромное вліяніе) подавляющая часть Восточной Европы — Финляндія, Эстонія, Латвія, Литва, Румынія, Греція, Югославія, отчасти Чехословакія — уничтожила почти совсѣмъ или въ значительной части крупныя имѣнія. Они никогда здѣсь больше не возродятся.

Швеція, своей эволюціей аграрныхъ отношеній, подтверждаетъ только что сказанное. Въ противоположность ея индустріи, гдѣ трудъ сконцентрированъ въ крупныхъ предпріятіяхъ, въ ней растетъ значеніе мелкихъ и среднихъ крестьянскихъ хозяйствъ. На ихъ долю нынѣ приходится 79% обрабатываемой площади. Изъ нея 46% въ рукахъ среднихъ хозяйствъ. Однако, это не старое хозяйство, а новое. Теряя свой былой отсталый, изолированный, некультурный характеръ, оно въ Швеціи, какъ и въ другихъ странахъ Европы, ассоціируется, охватывается сѣтью его укрѣпляющихъ, поднимающихъ и трансформирующихъ коопераций и синдикатовъ. Отнюдь не переставая быть мелкими собственниками, крестьяне дѣлаются организованной экономической профессіей и, вопреки прежнимъ прогнозамъ, ихъ политическій вѣсъ и значеніе въ національной экономикѣ не уменьшаются, а чрезвычайно растутъ. Благодаря общей культурѣ земледѣльцевъ, агрокультурѣ, кооперации, живому и энергичному содѣйствию государства, мелкое шведское сельское хозяйство, находится на той высотѣ, что ему могутъ позавидовать самыя большія земледѣльческія страны, живущія въ лучшихъ климатическихъ условіяхъ и имѣющія богатую почву. Въ Совѣтской Россіи въ «гигантскихъ колхозахъ» въ лучшіе годы, какъ въ 1935 г., собирается, въ среднемъ, съ гектара 9 кинталовъ пшеницы. А въ Швеціи 21. Въ Совѣтской Россіи собирается съ гектара 150 кинталовъ сахарной свеклы. Въ Швеціи — 300. Въ Совѣтской Россіи одна молочная корова приходится болѣе чѣмъ на 8 человекъ общаго населенія, въ Германіи на 6, Америкѣ и Франціи на 5, а въ Швеціи на 3 съ третью.

Въ ходѣ социальнаго преобразованія, подъ знакомъ котораго мы сейчасъ живемъ, крестьянство Швеціи, какъ и другихъ странъ, оказывается совсѣмъ не баластомъ и пятымъ колесомъ въ телегѣ, какъ утверждалъ Эккаріусъ въ брошюрѣ, просмотрѣнной и одобренной самимъ Марксомъ, и не классомъ, надъ

головой котораго «уже произнесенъ смертный приговоръ», какъ увѣрялъ Либкнехтъ. Оно — не обломокъ прошлаго, а живая часть и настоящаго, и будущаго. Оно — условіе здороваго равновѣсія страны, правильнаго распредѣленія силъ между индустріей (это пролетаріатъ) и земледѣліемъ (это крестьянство, тяготящее къ среднему хозяйству). И если-бы эти мелкіе буржуа были дѣйствительно пролетаризированы и бѣжали-бы въ индустрію, Швеція — какъ и другія страны — захлебнулась-бы въ безвыходной безработицѣ.

Крестьянство нужно странѣ и новый строй не можетъ создаться безъ него, безъ среднихъ классовъ, а тѣмъ болѣе противъ нихъ. Соціалистическое правительство, ища для себя болѣе солидной опоры, неизбѣжно должно войти въ прочный контактъ съ крестьянствомъ. Какъ-бы и какими-бы аргументами то ни мотивировалъ Ганссонъ, въ своемъ существѣ таковы соображенія, по которымъ шведскіе социалисты осуществляютъ тѣсную коалицію съ крестьянской партіей, кстаги говоря, съ 1924 г. болѣе чѣмъ вдвое увеличившей число своихъ избирателей. Вождь крестьянской партіи Брамсторнъ занимаетъ въ соціалистическомъ правительствѣ Ганссона постъ министра земледѣлія. Соціалисты, откликаясь на нужды и требованія крестьянъ, ведутъ политику защиты и укрѣпленія мелкаго хозяйства. Въ этомъ отношеніи характерны мѣры, принятія для поднятія въ 1932-34 гг. цѣнъ на сахарную свеклу, пшеницу, молоко, масло, хотя это несомнѣнно отражалось на заработной платѣ рабочихъ. Все это, какъ и программа надѣленія сельскихъ рабочихъ земельными участками, очень далеко отъ принциповъ ортодоксальнаго марксизма и «чисто классової позиціи». Это не мѣшаетъ подобной политикѣ быть неопровержимо правильной.

Обобщая шведскій опытъ, нужно вообще сказать, что разъ средніе классы и крестьянство не исчезаютъ, соціалистическія партіи, приходя къ власти или входя въ правительство, всеї соціальной обстановкой вовлекаются въ политическую коалицію съ представителями среднихъ классовъ, какъ-бы послѣдніе ни назывались — крестьянской партіей въ Швеціи, радикаль-соціалистами во Франціи, радикалами въ Даніи, партіей Милана Годжа въ Чехословакіи. Кончиками губъ эту истину признаютъ очень многіе соціалисты, но въ то же время въ ихъ головѣ глубоко сидитъ мысль, что если «мы» будемъ имѣть не 36% голосовъ, а 46%, а тѣмъ болѣе уже «51%», тогда это будетъ уже не «эксерсизъ власти», а «завоеваніе власти», а разъ такъ, всякія коалиціи въ это время будутъ не нужны, и мы можемъ дѣлать, что хотимъ, «не связывая себя никаки-

ми (?!) планами, никакими (!) программами» *). Органической порокой подобнаго убѣжденія или психологій въ томъ, что опираясь только на арифметику (51% — значитъ большинство) или, какъ многіе, мечтая о насильственномъ актѣ, люди хотятъ, во что бы то ни стало, перепрыгнуть черезъ большое социальное препятствіе, ту самую средину общества, которая по старымъ теоріямъ должна была-бы исчезнуть, и тѣмъ не менѣе (вслѣдствіе социальнаго и технического прогресса) не исчезла, не исчезнетъ и съ которой, чтобы не разбить себя лба, нужно серьезно считаться, оставивъ фантазіи. Ганссонъ смотритъ на вещи куда шире, понимая, что даже при 60% поданныхъ за нихъ голосовъ, социалисты не могутъ дѣлать все, что имъ придется въ голову, а должны согласовать свои планы и дѣйствія съ силами внѣ рабочаго класса. Коалиція съ средними классами вырисовывается не какъ нѣчто временное до «слѣдующихъ выборовъ», вродѣ путешествія въ одномъ и томъ-же поѣздѣ, когда одинъ пассажиръ слѣзаетъ, а другой ѣдетъ дальше, а какъ явленіе постоянное, желательное, необходимое на всемъ долгомъ протяженіи переходнаго времени, когда въ процессѣ трансформации общества будутъ постепенно мѣняться и люди, и социальные отношенія, и рабочія массы, и средніе классы, чтобы, въ концѣ концовъ, создать строй отношеній, качественно очень отличающійся отъ нынѣшняго.

Создавшіяся соотношенія силъ на международной шахматной доскѣ, какъ и новыя условія внутренней жизни, дѣлаютъ невозможной иную политику. И социалистическія партіи одни болѣе послѣдовательно, другія менѣе послѣдовательно, все же всѣ идутъ къ такой конструктивной политикѣ. Конечно, въ моменты обостренія кризисовъ, сопорождающихъ рожденіе новаго общества, мысль о реформахъ часто отодвигается мыслью о революціи, однимъ жестокимъ и кровавымъ ударомъ, по совѣтскому образцу, кончающимся съ капиталистическимъ обществомъ. Такъ было и будетъ еще не разъ, но мы знаемъ теперь, чѣмъ это кончается (въ Германіи, Италіи, Венгріи, Испаніи, Португаліи и т. д.), хотя далеко не всѣ поняли, почему это такъ кончается.

Социализмъ нынѣ строится въ условіяхъ абсолютно отличныхъ отъ тѣхъ, что рисовали намъ старыя книжки и ортодоксальный марксизмъ. Марксъ, напр., указывая, что публичный и частный кредитъ есть важнѣйшій экономическій термометръ,

*) Резолюція 31-го Конгресса Социалистической партіи въ маѣ 1934 г. въ Тулузѣ.

утверждалъ, что «въ той мѣрѣ, въ какой падаетъ этотъ термометръ, растетъ пылъ и созидательная сила революціи». Венсенъ Ориоль, Блюмъ, Де Маннъ, Ганссонъ, Стаудингъ, всѣ министры социалисты, и социалистическая партія Англии, Бельгій, Голландіи, Чехословакіи, Норвегіи, Даніи, Швеціи, Финляндіи теперь пришли-бы въ ужасъ отъ такого «пыла» и такой «созидательной силы революціи». Этотъ фактъ ясно говоритъ, насколько измѣнилось само понятіе революціи, что, однако, не мѣшаетъ социалистическимъ партіямъ, той-же французской, безъ всякихъ измѣненій жить съ доктриной, ничѣмъ не отличающейся отъ коммунистической и состоящей въ своей значительной части изъ самыхъ устарѣлыхъ тезисовъ ортодоксальнаго марксизма. Между теоріей и практикой — ужасающее противорѣчіе. Не настало-ли время его устранить — создавая концепцію социализма, отвѣчающую измѣнившимся условіямъ? Для дѣйствительно плодотворной конструктивной политики не является-ли настоятельно необходимымъ, изгоняя старыя представленія о социализмѣ, дать себѣ ясный отчетъ, какой и въ чемъ можетъ быть сейчасъ социализмъ въ Европѣ. Это я и пытаюсь дѣлать, пользуясь какъ иллюстраціей шведскимъ социализмомъ, хотя тутъ-же оговариваюсь, что нѣтъ и не можетъ быть одного общаго для всѣхъ странъ клише социализма: онъ всегда имѣетъ національный обликъ и вдвинутъ въ рамки національнаго хозяйства.

**

Первая забота шведскихъ социалистовъ въ томъ, чтобы, легально и конституціонно овладѣвая государственной властью, генеральными совѣтами, муниципалитетами, коммунами, получить право распоряжаться бюджетомъ страны и немедленно же направить ресурсы національнаго дохода на обслуживаніе права на жизнь. Благодаря хорошей статистикѣ доходовъ и статистикѣ національной продукціи (чего нѣтъ во Франціи, откуда блужданіе иногда почти въ темнотѣ), социалистическое правительство Швеціи можетъ опредѣлить, какую прибавочную цѣнность и въ какихъ областяхъ создастъ народное хозяйство, какую часть ея, съ одобренія народныхъ представителей, оно можетъ изъять изъ распоряженія частнаго хозяйства и, вмѣстѣ съ другими средствами, чрезъ бюджетъ государства и органовъ самоуправленія, направить на обслуживаніе социальныхъ нуждъ. Старый способъ, налоговая политика, пріобрѣтаетъ въ Швеціи все болѣе новый смыслъ, именно потому, что у власти стоитъ социалистическое прави-

тельство на службѣ націи. Такъ, правительство Ганссона, придя въ 1936 г. къ власти, провело увеличеніе пенсій старымъ людямъ, живущимъ въ районахъ съ удорожившейся жизнью. Увеличило помощь во время родовъ нуждающимся женщинамъ. Повысило расходы на сиротъ и дѣтей вдовъ. Теперь оно занято проектомъ надѣла земельными участками сельскихъ рабочихъ и улучшеніемъ жилищныхъ условий въ городѣ и деревнѣ, шведскіе социалисты считаютъ, что «проблема жилья въ настоящее время есть самая важная проблема Швеціи», что первоочередная задача (особенно въ деревнѣ) заключается въ увеличеніи «кубатуры и качества жилищнаго стандарта», въ устраненіи условий, при которыхъ на комнату приходится «болѣе двухъ взрослыхъ людей».

Расходная часть государственнаго бюджета Швеціи, даже въ 1937 г., когда обостренная мировая обстановка навязала и этой странѣ дополнительные и тяжелые расходы на внѣшнюю оборону, обращаетъ на себя вниманіе своей структурой. Въ бюджетѣ на 1937/38 г. около 19% идутъ на народное образованіе во всѣхъ его видахъ. Если бы Франція тратила на эту цѣль столько же, какъ Швеція, ея расходы, принявъ во вниманіе разницу въ численности населенія, должны бы быть вмѣсто 3.695 милліоновъ — 9.000 милліоновъ фр. Въ шведскомъ бюджетѣ 28% идутъ на различные виды социальной помощи и социальную гигиену. Съ 1913 г. такія затраты увеличились почти въ 9 разъ. Расходы на хозяйственныя нужды (по министерствамъ торговли и земледѣлія) составляютъ почти 19% бюджета. Шведскій бюджетъ, хотя и отягченный тратами на оборону, все же какъ небо отъ земли далекъ отъ милитаризованныхъ бюджетовъ европейскихъ странъ и отъ несчастнаго французскаго бюджета, буквально раздавленнаго тратами на армію и вооруженіе и уплатой процентовъ по военному долгу. Бремя бывшей войны, вынужденная, при данной международной обстановкѣ, подготовка къ войнѣ будущей, затраты на вооруженіе — вотъ гдѣ главный врагъ социализма. Не столь «пожирание капиталистами» прибавочной стоимости, сколь трата ресурсовъ страны вмѣсто обслуживанія производительныхъ и общественныхъ нуждъ на подготовку человѣкоинструбленія — является однимъ изъ важнѣйшихъ препятствій для проведенія сейчасъ реформъ, несущихъ социализмъ.

Не однимъ только своимъ государственнымъ бюджетомъ интересна Швеція. Это страна, гдѣ, какъ по всей Скандинавіи, явственно исчезаютъ классовыя привилегіи. Что это значитъ? Кому неизвѣстна формула, что классы уничтожа-

ются лишь актомъ изыятія средствъ производства изъ частныхъ рукъ и перехода ихъ въ общественную собственность? Примѣръ Совѣтской Россіи, гдѣ существуетъ именно такая собственность и въ то же время процвѣтають безправіе и самая тяжкія формы политическаго, гражданскаго, экономическаго неравенства, долженъ подсказать, что слѣдовало бы оставить упрощенные взгляды на «уничтоженіе классовъ». Органъ самого Сталина свидѣтельствуетъ, что несмотря на то, что система общественной собственности «безраздѣльно господствуетъ въ народномъ хозяйствѣ» Совѣтской Россіи, въ ней классовая борьба «не только не затухаетъ, а, наоборотъ, обостряется» («Правда», 5 ноября 1937 г.). Нужно признать, особенно послѣ русскаго опыта, что не смѣна титуловъ собственности дѣлаетъ общество безклассовымъ, безъ привилегій, а нѣчто болѣе важное: наличие культурнаго общественнаго челоѣка, мощныхъ общественныхъ силъ, дѣйствительно способныхъ добиваться одинаковыхъ для всѣхъ политическихъ, гражданскихъ правъ и права на жизнь. Существованіе сильной, сознательной, культурной, свободной рабочей демократіи — вотъ главнѣйшій признакъ и условіе уничтоженія классовъ и классовыхъ привилегій. Въ Совѣтской Россіи такой демократіи нѣтъ, въ Швеціи она есть и, проникая всюду, она постепенно овладѣваетъ и государственной властью и хозяйствомъ страны. Поэтому, несмотря на режимъ общественной собственности, Россія отъ дѣйствительнаго безклассоваго общества стоитъ неизмѣримо дальше, чѣмъ Швеція.

Не подлежитъ спору, что политическое и гражданское равенство не означаютъ еще равенства въ пользованіи жизненными благами. Но нельзя не замѣтить, что именно въ Швеціи и благодаря росту политической демократіи, идетъ быстрая nivelировка доходовъ населенія не путемъ равенія на низшій уровень, а путемъ подтягиванія вверхъ низшихъ доходовъ и, особенно, заработной платы индустриальныхъ рабочихъ. Изъ статистики потребленія продуктовъ можно усмотрѣть, что разрывъ въ количествахъ потребленія рабочихъ семей и семей городскихъ среднихъ классовъ съ 1913 г. крайне уменьшился. Потребленіе, напр., сахара, мяса, кофе, сыра стало для нихъ одинаковымъ или почти одинаковымъ. При общемъ ростѣ реальной заработной платы, вмѣстѣ съ тѣмъ уменьшился разрывъ между оплатой разныхъ категорій наемнаго труда. Въ 1913 г. торговые служащіе получали, въ среднемъ, въ три раза меньше высшаго техническаго и административнаго персонала. Въ 1936 г. меньше въ 2,6 раза. Персональ бюро полу-

чалъ въ 1,9 раза больше рабочихъ. Въ 1936 г., вслѣдствіе болѣе ускореннаго роста платы рабочихъ, больше въ 1,37 раза. Высшій техническій персоналъ въ 1913 г. получалъ въ три раза больше индустриальныхъ рабочихъ, въ 1936 г. больше лишь въ два раза. Тенденція къ нивелировкѣ доходовъ, съ равеніемъ на высшія группы, идетъ параллельно экономическому развитію и, очевидно, когда еще болѣе повысится производительность общественнаго труда и «амбары» общества будутъ полны всякимъ добромъ, экономическое неравенство еще болѣе сотрется. Иллюзіи насчетъ очень скорого конца его все-таки не нужно себѣ создавать. Даже при широчайшемъ проведеніи въ жизнь системы мѣропріятій, обеспечивающихъ «право на жизнь», еще долгое время квалифицированный рабочий линотипистъ будетъ получать больше простого рабочаго, а инженеръ или администраторъ предпріятія больше кондуктора автобуса или швейцара. Лишь экономисты вроде Jacques Duboin (см. его книгу «Liberation») могутъ утверждать, что въ мірѣ царить такое перепроизводство благъ, что можно уже сейчасъ открыть двери амбаровъ и выдавать «каждому по его потребностямъ и желаніямъ». Если-бы этотъ экономистъ занялся изученіемъ народнаго дохода и продукціи разныхъ странъ при разсчетѣ на душу населенія, онъ бы понялъ, нужно надѣяться, какъ далеко современное человѣчество отъ «абондансъ» и, несмотря на внѣшніе признаки богатства, какъ оно еще бѣдно. Въ этомъ фактѣ и заключается одинъ изъ острѣйшихъ и часто трагическихъ моментовъ нашей переходной эпохи: разбухнувшія потребности на много опережаютъ возможности. Соціализмъ, какъ психологія, мораль, требованіе, стремленіе къ развернутому обслуживанію права на жизнь, появился раньше, чѣмъ для него созданы, болѣе или менѣе достаточныя, матеріальныя предпосылки (исключая Америку, гдѣ онъ есть).

Характерная черта Швеціи (я пользуюсь ею опять какъ примѣромъ) та, что въ ней происходитъ ускоренная организациа профессій. Концепція капитализма, либеральнаго экономизма, съ его принципомъ неограниченной конкуренціи и построеніемъ общества какъ нѣкаго множества самихъ по себѣ существующихъ, независимыхъ и свободно хозяйствующихъ индивидуумовъ, въ Швеціи (какъ и всюду) явно умираетъ. Принципу *cavalier seul* противопоставляется принципъ всеобщей, но свободной, непринудительной, не навязываемой извнѣ организации. Всѣ организуются: рабочіе, создающее множество синдикатовъ и федерацио синдикатовъ, предприниматели, образующіе параллельныя федерации, чиновники, учителя, служащіе,

земледельцы, наниматели квартир, потребители... Въ лабораторіи этой всеобщей организациі происходят процессы исключительно интересные, сложные и двойственного характера. Соціальные группы организуются какъ классы, и въ то же время какъ профессіи. Но классы умираютъ. Организованныя же экономическія профессіи, ихъ переживая, появляются на ихъ мѣстѣ. Физиономія соціальныхъ группъ съ ихъ классовыми чертами или привилегіями стирается. Значеніе организованныхъ профессій, наоборотъ, повышается; въ конокѣ классового общества, въ обстановкѣ культурнаго, демократическаго и нивелирующаго режима, слагается новый типъ общества — дѣйствительно безклассоваго Общества, основаннаго не на грубомъ подчиненіи однихъ другимъ, и не на такомъ же грубомъ желаніи только замѣнить одинъ господствующій классъ другимъ, какъ того хотятъ коммунисты и лѣвые социалисты, а на свободныхъ сговорахъ, договорахъ между основными профессіями, несущими тѣ или иныя общественныя, техническія или экономическія функціи. При такой структурѣ общественныхъ отношеній, распредѣленіе національнаго дохода перестаетъ имѣть беспорядочный, стихійный характеръ. Распредѣленіе благъ дѣлается все болѣе плановымъ и болѣе «справедливымъ», отвѣчающимъ принципамъ экономической демократіи. Проблема потребления (высота заработной платы, жалованіе чиновникамъ и служащимъ, оплата всѣхъ другихъ профессій, несущихъ полезную функцію въ соціальной жизни, цѣна продуктовъ земледѣльческаго труда) будетъ и уже начинается рѣшаться посредствомъ конвенцій между заинтересованными профессіями. Обязательный арбитражъ получить широчайшее развитіе и будутъ отыскиваться и создаваться институты, учрежденія, органы, способные быть непристрастными арбитрами и разсматривать соціальную тяжбу съ точки зрѣнія только общаго интереса, національнаго, государственнаго.

Вотъ какимъ представляется мнѣ свободное, безклассовое общество будущаго. Оно крайне далеко отъ «безклассоваго» совѣтскаго тоталитарнаго общества, гдѣ всѣ граждане превращены въ покорныхъ рабовъ всемогущей государственной власти, держащей въ своихъ рукахъ источники жизни: «средства и орудія производства». Въ противоположность красному совѣтскому фашизму и его сіамскому близнецу — фашизму коричневому, кончающихся съ капитализмомъ установленіемъ тоталитарнаго государства, съ націонализацией всего или безъ оной, — культурное и демократическое общество уходитъ отъ капитализма стремясь построить соціальную жизнь на трехъ

фундаментальныхъ принципахъ: свободѣ, правѣ на жизнь, принципѣ договора.

Поле примѣненія принципа договора все время расширяется. Въ области международной политики этотъ принципъ, самимъ учрежденіемъ Лиги Націй, увы, пока еще не укрѣпился. Подписанные договоры слишкомъ часто разсматриваются, какъ ни къ чему необязывающіе «клочки бумажки». Лучшую часть имѣютъ договоры въ области частныхъ вопросовъ международной экономики. Прошлогодня сахарная конференція въ Лондонѣ, а въ нынѣшнемъ году лѣсная конференція въ Стокгольмѣ, очень тщательно, съ учетомъ емкости рынка и интересовъ разныхъ странъ установившія для нихъ количества сахара и лѣса, разрешаемаго къ вывозу на мировой рынокъ — хорошіе образцы того, какъ можетъ въ будущемъ регулироваться мировой экспортъ. Наконецъ, есть область, гдѣ международные договоры, послѣ конвенціи 1919 г. о 8 час. рабочемъ днѣ, получили широчайшее развитіе — это социальное законодательство. Роль Международнаго Бюро Труда здѣсь очень значительна.

Договоръ, далѣе, находитъ себѣ примѣненіе и долженъ превратиться въ правило и во внутренней политикѣ; примѣръ — соглашеніе между рабочей партией и крестьянской въ Швеціи, подобный же соглашенія въ Чехословакии, правительственная коалиція социалистовъ и радикаловъ во Франціи, соглашеніе консерваторовъ, социалистовъ и либераловъ въ Бельгіи, въ Люксембургѣ и т. д. Базою всѣхъ договоровъ, откуда этотъ принципъ, подымаясь, подчинить, въ концѣ концовъ, международныя отношенія, становясь стилемъ универсальной жизни и будетъ, конечно, «внутренняя» экономика, гдѣ стремленіе создать новыя формы распредѣленія національнаго дохода приводятъ къ выработкѣ соглашеній, конвенцій между государствомъ и чиновниками, государствомъ и учителями, государствомъ и железнодорожнымъ персоналомъ, государствомъ и предпринимателями, производителями и потребителями, фабрикантами и торговцами, земледѣльцами и государствомъ, земледѣльцами и городскими потребителями. Наибольше типичны и многочисленны коллективные договоры, распространенные между федерациями рабочихъ и федерациями патроната. Швеція здѣсь далеко ушла впередъ отъ другихъ демократическихъ странъ. Уже въ 1911/15 гг. было зарегистрировано въ Швеціи 1.449 коллективныхъ договоровъ, въ 1916/20 гг. ихъ было 1.913, въ 1921/25 — 2.056, въ 1926/30 — 3.449, въ 1931/35 гг. — 5.947, въ 1935 г. — 6.720.

Такъ какъ Швеція не Россія, Германія или Италія, гдѣ жизнь придавлена сапогомъ диктатуры, а страна, гдѣ всѣ граждане свободны борются за свои интересы, то въ ней происходятъ и стачки, и тренія между рабочими и патронатомъ. Однако, аппаратъ коллективныхъ договоровъ и арбитража, охраняя справедливыя и экономически выполнимыя требованія, смягчаетъ эту борьбу. Недавно французскій министръ труда социалистъ Феврїзъ сказалъ, что «прошло время, когда рабочіе въ своихъ требованіяхъ могли не признавать нуждъ государства или требованія національной экономики». Въ задачахъ, которыя они себѣ ставятъ, они не должны упускать изъ виду «необходимаго компромисса между ихъ интересомъ и интересомъ общимъ, являющимся суммой всѣхъ частныхъ интересовъ». Это уже новыя идеи. До сихъ поръ рабочимъ внушалось, что они должны руководиться только ихъ классовымъ интересомъ. Шведскіе рабочіе давно стоятъ на точкѣ зрѣнія Феврїзъ и повышенныя знанія экономики даютъ имъ возможность судить, что въ данный моментъ возможно, а что неосуществимо (ср. Пиверовскій лозунгъ: «tout est possible»). Количество забастовокъ и число ихъ участниковъ уменьшается. Рѣзко падаетъ число потерянныхъ часовъ работы. Все большее количество конфликтовъ рѣшается путемъ мирныхъ соглашеній. Изъ отношеній съ рабочими патронатъ принужденъ исключить такое насильническое средство, какъ локаутъ. Въ 1903-1908 гг., въ среднемъ, бывало 112 случаевъ локаута въ годъ. Въ 1935 г. только 4.

Благодаря своей силѣ, превосходной организаціи и повышеннымъ знаніямъ національнаго хозяйства, индустриальный рабочій Швеціи беретъ отъ своей экономики почти максимумъ того, что она ему можетъ дать при ея современномъ уровнѣ и требованіяхъ международнаго рынка (значительная часть индустріи Швеціи работаетъ на экспортъ: лѣсная, целлюлозная, спичечная, желѣзорудная, стали-прокатная, электро-техническая, моторо-строительная, фабрикація шарикоподшипниковъ, телефонныхъ и телеграфныхъ аппаратовъ и т. д.). За періодъ 1913/35 гг. уровень жизни рабочихъ очень выросъ. Реальная плата индустриальныхъ рабочихъ, по моимъ подсчетамъ, увеличилась въ полтора раза и коллективные договоры играютъ тутъ огромную роль, замѣняя прежнее установленіе ея высоты («диктаторіальное» или конкуренціей) другимъ принципомъ. Коллективные договоры далеко еще не сказали своего послѣдняго слова. Имъ предстоитъ огромная будущность. Они будутъ совершенствоваться, расширять свое содержаніе, имѣя въ ви-

ду не только высоту заработной платы и не только внутренней распорядокъ, гигиену, безопасность труда на предприятияхъ. Этими и врученіемъ заработной платы уже не ограничиваются отношенія между предприятиемъ и его работниками. Тамъ, гдѣ патроны, подписавъ коллективный договоръ, честно его выполняютъ и перестали быть абсолютными монархами, рабочіи не смотрятъ на заводъ и фабрику, какъ на мѣсто каторжныхъ работъ. Связь между ними и предприятиемъ становится интимнѣе и крѣпче. Предпріятія обрастаютъ социальными и культурными учрежденіями, обслуживающими нужды ихъ персонала. Строятся дома и квартиры для рабочихъ и служащихъ. Для нихъ отводится земля для огородовъ и садовъ. Строятся столовыя, школы ученичества, ясли, диспансеры, библіотеки, спортивные площадки. При фабрикахъ организуются всевозможныя развлечения, музыкальные кружки. Предпріятія организуютъ транспортъ для доставки рабочихъ на фабрику, дѣтскія колоніи. Это имѣетъ мѣсто не въ одной Швеціи, а, въ той или иной степени, развивается или начинаетъ развиваться повсюду. Соціальныя учрежденія обувнаго треста Батя въ Чехословакии (въ Злыни) могутъ служить тому хорошей иллюстраціей.

Ничто не вынуждаетъ насъ идеализировать мотивы патроната, создающаго въ широкомъ масштабѣ подобныя учрежденія. Я беру лишь самый фактъ и говорю, что къ заработной платѣ, индивидуально вручаемой, присоединяется до б а в о к ъ, идущій всему рабочему коллективу — въ видѣ затратъ на социальныя нужды и социальныя учрежденія. Добавокъ растетъ за счетъ прибылей и дивидендовъ, поступающихъ въ распоряженіе патроната и акціонеровъ. У французскаго треста Кюльмана подобныя затраты достигаютъ 15 милліоновъ франковъ въ годъ. Пока эта область управлялась исключительно патронатомъ. Но подобно тому, какъ на нашихъ глазахъ частная благотворительность, напр., помощь безработнымъ, трансформировалась въ законномъ регулируемую обязательную помощь (соціальное страхованіе), такъ начинаетъ трансформироваться въ нѣчто регулируемое и въ нѣчто обязательное и всѣ формы частной социальной дѣятельности предпріятій (напр., выдачи пособій многосемейнымъ рабочимъ). Коллективные договоры начинаютъ проникать и въ эту область. И здѣсь администраціи заводовъ, патронату, какъ и всюду, приходится прислушиваться къ голосу рабочихъ делегатовъ и представителей профессиональных союзовъ. И чѣмъ практичнѣе, въ широкомъ смыслѣ слова, представители рабочихъ, чѣмъ меньше они похожи на болтуновъ, перестраивающихъ міръ въ «планетарномъ

масштабъ», но не умѣющихъ установить себѣстоимость и прибыльность издѣлій фабрики, гдѣ они работаютъ, чѣмъ правильно они учитываютъ, что можно взять, а что нельзя, иными словами, чѣмъ сильнее, культуриѣ, сознательнѣе, организованиѣ рабочій классъ въ цѣломъ, тѣмъ большее значеніе принимаютъ для него коллективные договоры.

Вмѣстѣ съ налоговой политикой социалистическаго правительства, направляющей ресурсы страны чрезъ государственный, городской и коммунальный бюджеты на обслуживаніе «права на жизнь», коллективные договоры становятся мощнымъ орудіемъ сознательнаго и планомернаго распредѣленія національнаго дохода. Система частнаго хозяйства остается вѣдше нетронутой, частная инициатива не удушается, авторитетъ командующей администраціи (безъ чего невозможно правильное веденіе хозяйства) не колеблется, но все большая часть прибыли, прибавочнаго продукта — а вѣдь изъ-за него то и идетъ классовая борьба — фактически изымается изъ распоряженія частныхъ лицъ, анонимныхъ обществъ и социализируется, т. е. поступаетъ въ распоряженіе и распредѣленіе демократически организованныхъ общественныхъ силъ.

Я только что сказалъ, что режимъ частной собственности остается нетронутымъ. Вѣрно-ли это? Да, вѣрно, поскольку не происходитъ формальной замѣны частной собственности общественной. Но въ то же время это невѣрно, потому что нетрудно замѣтить, что при самой мирной социальной эволюціи тутъ происходитъ радикальнѣйшая трансформация понятія и существа собственности. Подвергаясь воздѣйствию новаго общаго и социальнаго законодательства, налоговой политики, практики коллективныхъ договоровъ, арбитража, разныхъ законовъ объ управленіи акціонерныхъ обществъ и т. д., капиталистическая собственность претерпѣваетъ глубочайшія измѣненія. Они дѣлаются особенно замѣтными, поскольку частнымъ предпріятіямъ приходится жить въ новой обстановкѣ контролируемой экономики, выражающейся прежде всего въ контролъ надъ направлениемъ и дѣятельностью банковско-кредитной системы. Старому государству съ его девизомъ «laissez faire, laissez aller» нѣтъ больше мѣста. Его замѣнить, замѣняетъ и должно замѣнить государство координирующее, направляющее экономическую жизнь по плану и отвѣчающимъ новымъ нуждамъ страны и совершенно измѣнившимся условіямъ міроваго хозяйства. Безъ такихъ плановъ со-

временное государство существовать не может. А при этих планах и контролируемой экономикѣ во что превращаются капиталистическія предприятия? Говоря это, я имѣю въ виду не какое-либо отдаленное время, а ближайшія десятилѣтія. За исключеніемъ случаевъ, явно необходимыхъ, они не экспроприруются и не национализируются (что снимаетъ острый и тяжелый вопросъ о выкупѣ), но постепенно, въ ходѣ выполнения ставимыхъ имъ государствомъ плановъ и задачъ, превращаются въ то, что лучше всего опредѣлить французскимъ терминомъ — *services publics*. Оставаясь частными предприятиями, они въ то же время несутъ общественную службу. Патронатъ, теряя прежнее значеніе никакъ и никѣмъ неконтролируемаго хозяина и руководителя экономической жизни, превращается въ профессию администраторовъ предприятий, представляющихъ идею и функцию накопленія (безъ накопленія капитала общество немислимо), входящихъ какъ одна изъ профессій въ совокупность организованныхъ профессій, составляющихъ образующееся новое общество.

Такимъ образомъ, въ эволюционирующемъ современномъ демократическомъ обществѣ, наряду съ растущей социализаціей прибавочнаго продукта, растутъ условія и элементы общественнаго управленія предприятиями. Но подобно тому, какъ настоящее безклассовое общество имѣетъ мало общаго съ рабскимъ «безклассовымъ» тоталитарнымъ советскимъ обществомъ», такъ точно и рождающееся общественное управленіе предприятиями непохоже на деспотическую и бюрократическую национализацию «всѣхъ орудій производства и средствъ обмѣна», осуществленную въ Россіи. Оно не требуетъ въ качествѣ своей обязательной предпосылки — экспроприации, кровавыхъ революцій, потрясеній хозяйства и диктатуры — безразлично какой. Все сказанное естественно требуетъ болѣе пространныхъ объясненій, которымъ, однако, нѣтъ мѣста въ этой краткой статьѣ, стремившейся дать лишь общій абрисъ того, что слѣдовало бы назвать не ортодоксальной и не большевистской, а реалистической концепціей социализма.

Е. Юрьевскій.

Три Россіи

Двадцати лѣтъ было вполне достаточно современникамъ Петра, чтобы прошлое, еще непосредственно памятное имъ, обернулось въ ихъ же глазахъ чѣмъ-то отъ ихъ настоящаго невозвратно отдѣленнымъ; двадцати лѣтъ достаточно и намъ, чтобы Россію, созданную Петромъ, ту, гдѣ мы родились и жили, увидеть такой же законченной, уходящей вдаль, навѣкъ минувшей, какой стала для нихъ до-петровская Русь. Развѣ возвращеніе столицы въ Москву не есть символъ начала и конца, совершенно подобный тому, какимъ было нѣкогда основаніе Петербурга? Для насъ существуютъ отнынѣ двѣ завершенныхъ эпохи русской исторіи и третья, едва начавшаяся, о которой можно предсказать, что она будетъ во всякомъ случаѣ не больше похожа на двѣ другія, чѣмъ тѣ были сходны между собой и ужъ конечно меньше отвѣчать планамъ своихъ строителей, чѣмъ отвѣтила замыслу Петра петербургская Россія. — Было бы странно, если бы такое настоящее, какъ наше, не помогло намъ видѣть отчетливѣй наше прошлое. На рѣкахъ вавилонскихъ нѣтъ нужды учиться плачу, но можно учиться созерцанію.

1.

Россія не удалась, въ томъ смыслѣ, въ какомъ удалась, что бы ни случилось съ ними дальше, Италия, Англія или Франція. Национальной культуры, такой всесторонней, послѣдовательной, цѣльной и единой, какъ эти страны, она не создала. Ея исторія прерывиста и то лучшее, что она породила за девятьсотъ лѣтъ, хоть и не безсвязно, но связано лишь единствомъ рождающей земли, а не преемственностью наследуемой культуры. Ея творческія силы скудными никогда не были, но ихъ полное извѣтеніе стало возможно лишь за сто лѣтъ до такой катастрофы, какая еще никогда не постигала ни одну изъ европейскихъ національныхъ культуръ. Ей самой, къ тому же, прообразъ этой катастрофы пришлось и въ прошломъ пережить не разъ: въ гибели кievской земли, въ паденіи Новгорода и особенно въ

петровской реформѣ. Уже кочеваніе ея столицы не можетъ не поразить, если смотрѣть на него изъ Рима, Лондона или Парижа, а отъединенность ея послѣднихъ двухъ вѣковъ отъ семи предыдущихъ есть раба, которая наканунѣ ея революціоннаго разгрома еще только начинала заживать. Русская исторія не разъ обрывалась и начиналась вновь, такъ что приходилось и русское государство заново строить и русскую душу заново воспитывать, а дѣлать это было тѣмъ труднѣе, что русский народъ никогда цѣликомъ въ этомъ творчествѣ не участвовалъ и нерѣдко о немъ вообще ничего не зналъ. За итальянскимъ Возрожденіемъ, за образованіемъ англійскаго государства и британской имперіи, за Франціей шартрскаго собора, какъ и за Франціей послѣднихъ двухъ вѣковъ, стоитъ весь итальянскій, англійскій, французскій народъ; но въ русской исторіи весь народъ проявлялъ себя до сихъ поръ почти исключительно въ явленіяхъ стихійныхъ: въ крестьянской колонизаціи, казачьей вольницѣ, въ возстаніяхъ Разина и Пугачева, въ возвращеніи съ фронта въ 1917 году. Основная трудность, съ которой такъ и не справилась ни кievская, ни московская, ни петербургская Россія, какъ разъ и заключается въ этой разобщенности народа и культуры, народа и государства, лишашей культурную традицію настоящей прочности и препятствующей лѣчить однажды происшедшій въ ней разрывъ. Эта трудность уже на лицо, когда начинается Россія. Она исконна потому, что ее породила сама русская земля.

Объ этомъ говорили тысячу разъ и кажется не все еще сказали: первый фактъ русской исторіи, это русская равнина и ея безудержный разливъ. Широкими волнами растекающаяся вдаль безбрежная земля есть воплощеніе безпредѣльности гораздо болѣе полное, чѣмъ море, потому что у моря есть берегъ и есть другіе, дальніе берега, къ которымъ уже отплываетъ Синдбадь или Колумбъ, тогда какъ земля, и земля, и еще земля безъ конца ни къ какой цѣли человѣка не влечетъ, только и говорить о собственной своей безкрайности. Русскіе просторы зовутъ странствовать, бродить, раствориться въ нихъ, а не искать новыхъ странъ и новыхъ дѣлъ у невѣдомыхъ народовъ; отсюда неперевоодимость самого слова просторъ, окрашеннаго чувствомъ мало понятнымъ иностранцу и объясняющимъ, почему русскому человѣку можетъ показаться тѣснымъ расчлененный и перегороженный западно-европейскій міръ; отсюда и русское, столь отличное отъ западнаго, пониманіе свободы, не какъ права строить свое и утверждать себя, а какъ права уйти, ничего не утверждая и ничего не строя. По рус-

ской равнинѣ разлился крестьянскій народъ, завоевалъ ее, особенно въ лѣсной полосѣ, упорнымъ, нескончаемымъ трудомъ, но трудомъ однообразнымъ, размѣренно-повторнымъ, воспитывающимъ, если не пассивность—въ этомъ земледѣльца упрекнуть нельзя,—то привычку ко всегда одинаковому, уже не ощущаемому какъ волевой актъ, усилію. Этотъ разлитой въ необозримомъ пространствѣ народъ никакихъ массъ до послѣдняго времени не образовывалъ нигдѣ и потому культуру удушить не грозилъ, но, отказываясь и вообще сплачиваться въ болѣе тѣсныя, изнутри расчлененныя группы, онъ ее вѣчно расплывалъ, разсасывалъ, растворялъ, не давая ей отстояться въ твердой и выношенной формѣ, а то, что не поддавалось растворенію, несъ неохотно и при первомъ случаѣ готовъ былъ сбросить съ плечъ.

Конечно, народная жизнь и сама не безкультурна, а потому конфликтъ, о которомъ идетъ рѣчь, слѣдуетъ формулировать гочнѣй. Русскій фольклоръ, какъ извѣстно, весьма богатъ, и притомъ, если принять во вниманіе огромность его площади распространенія, очень однороденъ. Эта, какъ я предлагаю ее называть, горизонтальная культура не только несравненно лучше сохранилась еще и въ новой Россіи, чѣмъ въ большинствѣ другихъ европейскіхъ странъ, она повидимому уже и въ древней Руси была разработаннѣй, шла глубже, захватывала жизнь полнѣй, чѣмъ въ этихъ странахъ. Такой была она, однако, именно потому, что оставалась горизонтальной, что другая, вертикальная культура изъ нея не выростала и, если строилась, то нѣсколько поодаль, впитывая изъ нея лишь немного и обогащая ее лишь чѣною собственнаго упадка. Всякій фольклоръ съ теченіемъ времени бѣднѣетъ и составъ его мѣняется. При нормальномъ историческомъ развитіи лучшее, что въ немъ есть, уходитъ въ высокую культуру и замѣняется постепенно ея отработанными цѣнностями, «опускающимися», т. е. уходящими изъ народъ. Древнее народное искусство Запада дало ростки, изъ которыхъ, послѣ ихъ скрещиванья съ поздне-античной художественной традиціей, выросло великое средневѣковое искусство; зато въ настоящее время народная одежда французскихъ провинцій всего лишь хранитъ память о старыхъ городскихъ модахъ, а пѣсни, что поютъ въ нѣмецкихъ деревняхъ, происходятъ по большей части изъ альманаховъ XVIII вѣка. Напротивъ, русскій мужикъ такъ и не нарядился въ барскіе обноски и городской романсъ до самой революціи не вытѣснилъ изъ деревни старую народную пѣсню. Правда, изъ допетровской культуры народъ многое взялъ и сохранилъ въ се-

бѣ, но въ результатѣ этого усвоенія какъ разъ и разсыпалась сама эта культура, не сумѣвшая, въ отличіе отъ культуры западнаго средневѣковья, вобрать въ себя все народное творчество, и народъ остался со своей, народной, предоставивъ строитъ другую господамъ по чужеземному образцу.

Богатству русскаго фольклора нельзя не восхищаться, но горизонтальная культура вертикальной ни при какихъ условіяхъ не можетъ замѣнить. Самый лучший лубокъ не замѣнить рублевскую икону, «Царь Максиміанъ» — не «Макбетъ» и былина объ Ильѣ Муромцѣ не «Божественная Комедія» и даже не «Пѣсня о Роландѣ». Для литературы и искусства до-петровской Руси характерно обиліе произведеній приближающихся къ фольклорнымъ и достигающихъ, съ точки зрѣнія народнаго искусства, весьма высокаго художественнаго уровня, но такъ же характерны рѣдкость и отъединенность такихъ сознаний подлинно высокаго творческаго огня, какъ «Слово о полку Игоревѣ», проповѣди Кирилла Туровскаго, «Троица» Рублева, покровская церковь на рѣкѣ Нерли, или храмъ въ селѣ Островѣ подъ Москвой. Сложившіеся за эти долгіе вѣка церковный бытъ и религіозно-нравственное сознаніе русскаго народа составляютъ едва ли не самое глубокое и прекрасное проявленіе народнаго христіанства, какое вообще явила намъ исторія; это, однако, не должно заставить насъ закрыть глаза на чрезвычайную скудость древне-русской религіозной мысли сравнительно съ западной или византийской, на полное отсутствіе у насъ чего-либо подобнаго основанію великихъ монашескихъ орденовъ, подъему философскаго и мистическаго созерцанія, всему тому расцвѣту высокой религіозной культуры, какимъ отмѣченъ апогей западнаго средневѣковья. И точно также, разнообразнымъ, развитымъ, утонченнымъ формамъ народнаго общественнаго быта противостоятъ въ древней Руси слабость, расплывчатость или первобытная грубость государственнаго устройства и вообще высокихъ общественныхъ формъ. Повсюду возвращаешься къ той же картинѣ: русскій народъ растекается по безкрайнымъ своимъ степямъ и лѣсамъ, онъ живетъ совсѣмъ не дикарской, но осмысленно-трудоваго, благообразной и не лишеной творчества жизнью, однако этой жизнью, этой степенью творчества онъ какъ будто и готовъ удовлетвориться, отказавшись отъ тѣхъ его степеней, что требуютъ совсѣмъ другого дерзанія, напряженія, риска, а въ соціальной своей основѣ прежде всего неравенства.

Если культура остается горизонтальной, вмѣсто того, чтобы тянуться ввысь, то это всегда и всюду означаетъ невыдѣлен-

ность творящаго высокую культуру слоя, недостаточную іерархичность въ строеніи общества. Слабость іерархическаго принципа, инстинктивное отталкиванье отъ него, были всегда характерной чертой Россіи. Великимъ воспитателемъ западнаго міра — идеи службы, идеи чести, идеи оправданнаго неравенства — былъ феодализмъ, котораго Россія не знала, ибо отдѣльныя учрежденія, родственныя феодальнымъ и существовавшія у насъ, дѣлостнымъ его смысломъ не обладали, а главное были всего лишь утилитарными приѣмами государственной власти, тогда какъ феодализмъ на Западѣ былъ всѣми раздѣлявшимся образомъ мысли, способомъ представлять себѣ общественныя отношенія, изъ котораго выросли конкретныя формы государственнаго устройства. Въ томъ-то и заключалось особое положеніе уже и древней Руси, что въ ней государство и осуществлявшій государственную власть правящій слой оставались чѣмъ-то внѣположнымъ по отношенію къ народу, не соединенному съ ними тѣми многочисленными связями, какія рождаетъ іерархически построенное общество. Сами выраженія «правлящій слой», «культурный слой» подходят болѣе къ Россіи, нежели къ другимъ странамъ, гдѣ правящую или творчески наиболѣе активную часть народа не снимаешь съ его толщи, какъ «слой», какъ сливки съ молока, потому что, при большомъ количествѣ промежуточныхъ ступеней нельзя и разобрать, гдѣ начинаются сливки и гдѣ кончается молоко; одна Россія всегда была похожа на огромную ватрушку изъ отличнаго тѣста, которую скаредная хозяйка едва прикрыла тонкимъ слоемъ творога. Иностранцамъ всегда народъ и культурный слой казались у насъ чуть-ли не двумя разными народами. Дѣло тутъ не въ этнической чуждости, хоть и она сыграла роль, особенно въ кievской и петербургской Россіи (но не рѣшающую, какъ видно по сравненію съ совѣтъ иной судьбой завоеванной норманнами Англій); дѣло въ томъ безучастіи, съ какимъ смотрѣлъ на свою исторію и на культурное творчество верховъ народъ, тяготѣвшій не къ исторической, а скорѣй къ фольклорной жизни.

Разсказъ лѣтописи о призваніи варяговъ, какъ бы ни толковали историки его прямой смыслъ, имѣетъ еще и смыслъ символическій. Варягами, хоть и самаго русскаго корня, были московскіе бояре, варяговъ призывалъ изъ-за границы или воспринимавъ у себя дома Петръ, варяжскимъ дѣломъ была и росcійская имперія и русская революція, да и насъ самихъ, эмиграцію, можно возвести къ нѣкому изгнанію варяговъ. Варяги правили Россіей, какъ умѣли, встрѣчая иногда активное со-

противленіе Разинныхъ и Пугачевыхъ, а гораздо чаще пассивное — всего русскаго населенія. Руководствовались они обыкновенно правилами хищническаго хозяйства, т. е. стремились добыть немедленные результаты, не слишкомъ думая о будущемъ. Государству нужны были служилые люди и оно ихъ добыло самымъ простымъ способомъ: раздачей крестьянскихъ земель, а затѣмъ и прикрѣпленіемъ крестьянъ къ этимъ землямъ; служилый человекъ получилъ кровь и столь, а государство, передавъ ему заботу о крестьянахъ, само отъ этой заботы избавилось. Организовать населеніе болѣе совершеннымъ образомъ оно не умѣло, да населеніе и довольствовалось тѣми старыми, горизонтальными формами организациі, которыми издревле обладало, стремясь въ остальномъ не столько государство освоить, сколько отъ государства убѣжать. Городская и корпоративная жизнь у насъ не расцвѣла, кромѣ Новгорода и Пскова, которыхъ на всю Россію было мало и которые погибли отъ неумѣнія государственной власти понять свою задачу иначе, какъ уравнительно. Равнина располагаетъ къ равенству — въ свободѣ или рабствѣ. До-петровское государство равенства не уничтожило, но сверху всѣхъ равно придавило своимъ аппаратомъ, — потому что правящій классъ только этимъ аппаратомъ и былъ, не больше, — придавило, но не пронизало, ни къ государственной, ни къ культурно-творческой работѣ по настоящему не привлекло: «всѣ» остались народомъ, но не стали націей.

Национальное бытіе, которое важнѣй, чѣмъ національное сознаніе, и нормально должно предшествовать ему, предполагаетъ совмѣстное, хоть и іерархически расчлененное, участіе всего народа въ созданіи высшихъ духовныхъ цѣнностей. Конкретный создатель этихъ цѣнностей — личность, но личность, не оторванная отъ совокупности культурнаго слоя, въ свою очередь укорененнаго въ народѣ. Въ до-петровской Руси культурный слой былъ тонокъ и расщепленъ, едва выплывъ изъ народной гущи, онъ снова въ ней тонуть, и съ нимъ вмѣстѣ тонули и растворялись въ ней созданныя имъ цѣнности. Характерно, что русская письменность за семь вѣковъ не выработала общаго литературнаго языка, а русское искусство цѣлостнаго и послѣдовательно развивающагося художественнаго стиля. Стилистическое единство всегда начинается съ архитектуры, но въ древне-русской архитектурѣ оно начинало образовываться четыре раза — въ новгородскихъ, владимірскихъ, шатровыхъ и такъ называемыхъ нарышкинскихъ церквяхъ — каждый разъ обрываясь послѣ нѣсколькихъ замѣчательныхъ

созданій и не доведя развитія до конца. Русская икона — несмотря на отличие новгородской и псковской школы от владимиро-московской — обладает гораздо большим стилистическим единствомъ, но этимъ она обязана Византии, ибо она скорѣй продолжаетъ византийскій стиль, привнося въ него нѣкоторыя національныя черты, чѣмъ создаетъ свой собственный (какъ это сдѣлала, исходя изъ той же византийской живописи, Италия). Послѣдній вѣкъ до-петровской Руси является поразительную картину возвращенія культуры на уровень фольклора, всеобщаго распыленія и разсасыванія народомъ высокихъ культурныхъ формъ. Въ области религіозной жизни показателю тому расколъ — возстаніе народной религіозности противъ болѣе ученаго, дисциплинированнаго и сознательнаго православія; въ области литературы — торжество народной повѣсти и усилившаяся анархія языка; въ области искусства — путь отъ мастера Діонисія къ ярославскимъ росписямъ, отъ строгаго иконнаго стиля къ иллюстраціи и лубку, отъ сосредоточенной и выразительной архитектуры шатровыхъ храмовъ къ декоративному растворенію всякаго цѣлостнаго замысла. Все отчетливо-оформленное, носящее печать личности, все сотворенное до конца неудержимо растекается въ завиткахъ, переливахъ, узорахъ. Въмѣсто формъ — узорочье, мѣткое слово, тѣхъ лѣтъ, лучше котораго не найдешь для опредѣленія того, чѣмъ кончилась, куда излилась душа старой Россіи накануне цырюльниковъ, казармъ и всепьянѣйшаго надругательства надъ церковью. Послѣ того какъ все расшаталось, осыло, размякло, не такъ ужъ много осталось и разрушать.

2.

Петровская реформа невѣрно оцѣнивается славянофильской традиціей, какъ безпримѣрный въ исторіи извнѣ навязанный народу культурный переломъ, но и западническая традиція тоже неправа, когда видитъ въ ней всего лишь осуществленіе чего-то давно подготовлявшагося и вполнѣ необходимаго. Ее можно сравнить съ тѣмъ тоже очень блѣзненнымъ переломомъ, какой произошелъ въ Германіи за два вѣка передъ тѣмъ, когда ея старая, укорененная въ душахъ средневѣковая культура столкнулась съ неудержимой волной Возрожденія, шедшаго изъ Италіи. Пропасть, раздѣлявшая эти два міра, была ничуть не меньше той, что отдѣляла Россію царя Алексѣя отъ современнаго ей Западу, процессъ сращенія ихъ былъ столь же дли-

теленъ и труденъ, и къ тому же ничто въ самой Германіи не подготовляло ее къ воспріятію чуждыхъ ей культурныхъ формъ, въ то время какъ древняя Русь обладала чертами, удивившими ее отъ Византіи и приближавшими къ Западу. Двѣ особенности, однако, отличаютъ реформу Петра отъ переворота, пережитого Германіей: низкое качество того, что она хотѣла Россіи навязать, и само это навязыванье, т. е. революціонный ея характеръ. Германія столкнулась лицомъ къ лицу съ Флоренціей и Римомъ, съ Леонардо и Макіавелли, а Россіи приказано было замѣнить Царьградъ Саардамомъ, икону «парсуной», а вѣру и церковный бытъ шестипалымъ младенцемъ изъ царской кунсткамеры. Въ Германіи никто не заставлялъ Дюрера подражать итальянцамъ или позже Опитца писать стихи на французскій ладъ, а въ Россіи Петръ рѣзалъ бороды и рукава и перекраивалъ мозги, поскольку зналъ, какъ это дѣлать. То, что онъ совершилъ, было первой революціей, какая вообще произошла въ Европѣ, ибо англійская революціей въ собственномъ смыслѣ слова не была, а до французской никто и не думалъ, что можно въ нѣсколько лѣтъ создать нѣчто дотошъ неизвѣстное: канувшій въ прошлое міръ, старый режимъ. Если бы дѣло сводилось къ измѣненію русской жизни путемъ прививки ей западныхъ культурныхъ формъ, можно было бы говорить о реформѣ, и притомъ о реформѣ вполне назрѣвшей и своевременной, но путь шелъ къ снесенію стараго и къ постройкѣ на образовавшемся пустырѣ чего-то разумнаго, полезнаго и вытянутаго по линейкѣ, а такой замыселъ иначе, какъ революціоннымъ, назвать нельзя.

Петръ былъ первымъ технократомъ новыхъ вѣременъ, тѣмъ, что одинъ современный историкъ предложилъ назвать *Homo Occidentalis Mechanicus Neobarbarus*. Вольтеръ цѣнилъ въ немъ революціонера, Дефо — державнаго Робинзона, плотничающаго посреди русской пустыни, современный американецъ могъ бы цѣнить въ немъ своего предшественника, для котораго культура уже сводилась цѣликомъ къ технической цивилизаціи. Россію онъ передѣлывалъ во имя здраваго смысла и очередныхъ практическихъ нуждъ, не спрашивая ея мнѣнія, не считаясь съ ея чувствами, разрушая въ ея укладѣ не только то, что казалось вреднымъ, но и то, что казалось недостаточнопольезнымъ. Ограниченность его была велика, но все же не превышала его генія. На Западъ онъ не видѣлъ ничего, кромѣ еще неясныхъ очертаній будущей Америки, но, толкнувъ Россію къ Западу, онъ все же исполнилъ ея судьбу и сдѣлалъ то, что какъ разъ и требовалось сдѣлать. Онъ воспитывалъ масте-

ровыхъ, а воспиталь Державина и Пушкина; онъ думаль о вер-
фикахъ и арсеналахъ, но вернулъ Европѣ Россію, а за ней весь
православный міръ: основаніемъ Петербурга вновь соединилъ
то, что было разьединено основаніемъ Константинополя. Онъ
парализоваль на два вѣка дѣятельность русской церкви, онъ
окончательно отрѣзалъ отъ народнаго быта культурный бытъ,
онъ многое въ Россіи покарѣчилъ и многое окостенилъ, но въ
самомъ главномъ онъ успѣлъ, — какъ не слишкомъ заботливый
хирургъ, ничего не спасшій больному, кромѣ жизни. —
Дѣло Петра переросло его замыслы и передѣланная имъ Рос-
сія зажила жизнью гораздо болѣе сложной и богатой, чѣмъ та,
которую онъ такъ свирѣпо ей навязываль. Двоимъ обра-
зомъ, однако, вся ея дальнѣйшая судьба была отмѣчена пе-
чатю его генія: онъ хотѣлъ отъ нея творчества, хотя бы и
только техническаго и матеріальнаго, и она отвѣтила ему твор-
чествомъ въ самомъ широкомъ смыслѣ слова; онъ представ-
лялъ себѣ государство по старой русской привычкѣ, получив-
шей поддержку въ рационалистическомъ абсолютизмѣ совре-
меннаго ему Запада, какъ нѣчто внѣположное странѣ; почти
какъ смирительную рубашку на сумасшедшемъ, который ина-
че сталъ бы буйствовать, и страна отвѣтила ему еще обострив-
шимся противъ прежняго взаимнымъ отчужденіемъ государства
и народа. Въ конечномъ счетѣ мы обязаны Петру, и всѣмъ
тѣмъ великимъ, что было создано петербургскою Россіей, и
той катастрофой, что положила ей конецъ.

Царь-плотникъ, къ несчастію для насъ, былъ въ очень ма-
лой мѣрѣ царемъ-садовникомъ. Роци листовниці онъ любилъ
сажать, но Петербургъ на сваяхъ вбилъ въ болото; и все же
одно насажденіе его — русское дворянство — оказалось едва
ли не лучшимъ изъ всего, что онъ Россіи далъ. Новый правя-
шій слой отличался отъ стараго своей многочисленностью и
открытостью, полнымъ отсутствіемъ кастовой замкнутости (по
крайней мѣрѣ въ эпоху своего расцвѣта), а главное тѣмъ, что
онъ былъ одновременно и культурнымъ слоемъ, чего нельзя
сказать ни о служиломъ сословіи времени царя Алексѣя, ни о
чиновничествѣ и знати времени Александра III и Николая II, ни,
еще того менѣе, о полуграмотныхъ партійцахъ, нынѣ управля-
ющихъ Россіей. Дворянство и создало культуру петербургской
Россіи, причемъ важно не то, что Ломоносовъ не былъ дворя-
ниномъ, а то, что въ дворянской культурѣ находилось почет-
ное мѣсто для Ломоносовыхъ. Помѣщикъ, къ тому же, былъ
естественно ближе къ крестьянину, чѣмъ позднѣйшій город-
ской интеллигентъ: въ знаніи народа еще никакой разночинецъ

не превзошелъ Пушкина, Толстого или Бунина; трагедія тутъ заключалась не въ кровной и стихійной розни — въ этой области какъ разъ была общность, а не рознь — а въ непримиренности культурныхъ традицій, во все той же несогласованности культуры горизонтальной съ вертикальной, которую Петръ не исправилъ, а только углубилъ, въ неизмѣнной безучастности народа не къ тому, какъ живутъ верхи, а къ тому, что они творятъ. До тѣхъ поръ, однако, пока эта трагедія не обнаружилась тѣмъ безмолвіемъ народа въ день четырнадцатаго декабря, что было страшнѣй всѣхъ выстрѣловъ на сенатской площади, до тѣхъ поръ, да еще и много лѣтъ спустя, русская культура, созданная дворянствомъ, жила такой полной и счастливой жизнью, какой больше никогда, ни позже, ни раньше, никакая культура въ Россіи не жила. Культура эта была національной, хотя русскій народъ въ цѣломъ, еще не превратился въ націю. Ея величайшимъ созданиемъ былъ литературный языкъ, благодаря образованію котораго новая русская литература попала сразу въ совсѣмъ иное положеніе по сравненію съ литературой древней Руси. Другіе искусства, напротивъ, не достигли той степени стилистической цѣльности, которой они достигали по временамъ въ Россіи до-петровской, что объясняется отчасти общими измѣненіями, постигшими все европейское художественное творчество, а отчасти извѣстнымъ интеллектуализмомъ дворянской культуры, болѣе совмѣстимымъ съ музыкой и искусствомъ слова, чѣмъ со скульптурой или живописью. Однако и тутъ были у насъ обрусѣвшіе или русскіе стронтели Петербурга, былъ Шубинъ и Козловскій, Левинцкій и Сильвестръ Щедринъ, былъ живописецъ гениальный — Александръ Ивановъ. Отъ восемнадцатаго къ девятнадцатому вѣку все углублялась и росла наша духовная жизнь: современниками Пушкина были Сперанскій и Серафимъ Саровскій; все углублялась и росла — пока не случилась трещинка.

Къ срединѣ тридцатыхъ годовъ трещина обнаружилась вполне. Она сказалась въ чаадаевскихъ сомнѣніяхъ о смыслѣ русской исторіи, въ славянофильскомъ возстаніи Москвы противъ Петербурга, въ пониженной оцѣнкѣ Пушкина, а значитъ и того, на чемъ былъ построенъ пушкинскій міръ, во всеобщемъ потускнѣніи символовъ императорской Россіи. Какъ передаетъ Сергій Соловьевъ, Блокъ въ 1915 году «развивалъ мысль о пушкинско-грибоѣдовской культурѣ, которая, по его мнѣнію, была уничтожена Бѣлинскимъ, отцомъ современной интеллигенціи». До него Розановъ писалъ о приходѣ разночинца, разрушившаго «дворянскую культуру отъ Держави-

на до Пушкина». Конечно, сужденія эти упрощают дѣло, однако они вѣрны въ томъ смыслѣ, что кризисъ тридцатыхъ годовъ совпалъ съ рожденіемъ интеллигенціи, и не только совпалъ, но былъ съ нимъ глубоко связанъ, интеллигенція же предстояло въ себя включить значительное число «разночинцевъ», которые черезъ двадцать или тридцать лѣтъ уже стали вытѣснять изъ нея дворянъ. Пережѣна, произошедшая такимъ образомъ въ составѣ русскаго культурнаго слоя, имѣла огромное общегосударственное значеніе, не потому, конечно, что дворяне были хороши, а интеллигенты плохи, но потому, что дворянство было одновременно и культурнымъ и правящимъ слоемъ, а интеллигенція стала лишь частью культурнаго слоя и съ самаго начала противопоставила себя слою правящему. Отсюда и получилось то гибельное для Россіи расщепленіе культурныхъ силъ, съ точки зрѣнія котораго правъ оказывается выдающійся, хоть нынѣ и забытый наблюдатель русской жизни, Р. А. Фадѣевъ, писавшій въ семидесятыхъ годахъ: «Вопреки примѣрамъ, стоявшимъ передъ нашими глазами, мы сдѣлали опытъ, никому еще не удававшійся въ Европѣ и шедшій въ разрѣзъ всему содержанію нашей послѣпетровской исторіи: окунулись въ полную безсознательность, растворили въ массѣ свое, еще недостаточно связанное, еще не созрѣвшее культурное сословіе, требовавшее времени и самостоятельности для того, чтобы стать на ноги — и теперь вкушаемъ уже первые плоды начавшагося всеобщаго нравственнаго разброда, но только первые — далеко еще не послѣдніе плоды».

Ошибка Фадѣева только въ томъ, что онъ пользуется юридическимъ понятіемъ сословія, а не социологическимъ — слоя или класса. Съ середины вѣка единого культурнаго слоя въ Россіи дѣйствительно больше не было, а была бюрократія, была интеллигенція, и были не примыкавшіе ни къ той, ни къ другой образованные и творчески одаренные люди. Эти послѣдніе, чѣмъ дальше, тѣмъ больше, становились подлинными носителями русской культуры, но къ русскому государству не имѣли никакого отношенія, ни правительственнаго, какъ бюрократія, ни оппозиціоннаго, какъ интеллигенція. Бюрократія и интеллигенція жили исключительно политическими интересами (хотя «политика» значила для нихъ не то же самое) и потому хирѣли культурно; относительно аристократическаго и чиновничьяго міра это, кажется, ясно всѣмъ, но это столь же ясно и относительно враждебнаго ему лагеря: Герценъ и Бакунинъ были высоко культурными людьми, Чернышевскій и Добролюбовъ стояли уже на болѣе низкомъ культурномъ урванѣ,

какъ позже Михайловскій и Лавровъ, а послѣ нихъ классическій интеллигентъ начинаетъ вымирать, уступая мѣсто либо интеллигенту, кое-чему научившемуся отъ не причислявшихся къ интеллигенціи образованныхъ людей, либо прямому своему наслѣднику, полуинтеллигенту, о культурномъ уровнѣ котораго свидѣлствуетъ сама полученная имъ кличка. То, что именно полуинтеллигентъ былъ единственнымъ прямымъ наслѣдникомъ интеллигента, явствуетъ изъ унаслѣдованія имъ однимъ основной интеллигентской черты: исключительной одержимости политикою, убѣжденія, что горсть политическихъ идей важнѣй религіи, важнѣй культуры, важнѣй всего прочаго содержанія жизни и исторіи. Интеллигентъ одинаково не признавалъ своимъ человѣка, не раздѣлявшаго его политическихъ идей и человѣка, безразличнаго къ политическимъ идеямъ. У Врубеля, Анненскаго или Скрябина могли быть (какъ впрочемъ и у любого бюрократа) интеллигентскія черты, но классическій интеллигентъ не считалъ бы этихъ людей своими и окончательно отшатнулся бы отъ нихъ, если бы могъ имъ поставить на видъ малѣйшую политическую ересь, — подобно тому, какъ достаточно было профессору не высказать одобренія студенческой забастовки, чтобы его отчислили отъ интеллигенціи. Недаромъ существовало у насъ двѣ цензуры, дѣйствовавшія съ одинаковымъ усердіемъ и успѣхомъ, хотя одна имѣла въ своемъ распоряженіи государственный, а другая лишь общественный аппаратъ, одна запретъ, другая «общественное мнѣніе». Къ духовной свободѣ относилась у насъ враждебно какъ большая часть бюрократіи, такъ и не малая часть интеллигенціи. Оттого то подонки интеллигенціи въ союзѣ съ подонками бюрократіи и могли образовать правящій слой СССР.

Было, впрочемъ, время, то, что зовутъ «эпохой великихъ реформъ» — едва ли не самое трагическое въ русской исторіи — когда весь еще не распавшійся культурный слой, включавшій и подроставшую интеллигенцію, и правившее еще дворянство, и государство, и общество и всю ту Россію, что была націй, но не народомъ, обратился къ этому народу, чтобы дать ему то, въ чемъ, казалось, онъ нуждался, чтобы съ нимъ соединиться, чтобы сдѣлать націей и его. Но время потому и было трагическимъ, что попытка не удалась, и всѣ реформы, включая и само освобожденіе крестьянъ, были приняты народомъ, какъ барскія затѣи, которыя могутъ быть выгодны ему или нѣтъ, но всегда остаются ему чужды. Крестьяне хотѣли не столько избавленія отъ крѣпостного права, сколько избавленія отъ государства, будь оно представлено помѣщикомъ, исправ-

ником или воинскимъ начальникомъ; если бы они могли найти подходящіе слова, они сказали бы, что имъ не нужна исторія, а довольно и своего неизмѣннаго крестьянскаго быта, и что они просятъ оставить имъ этотъ бытъ. 22 апрѣля 1861 г. Юрій Самаринъ написалъ письмо (недавно опубликованное въ «Красномъ Архивѣ»), которое слѣдуетъ знать всѣмъ интересующимся судьбой Россіи. Оно говоритъ тамъ о явленіи, «которое теперь обнаружилось передъ всѣми съ сокрушительной ясностью. Это — полное, безусловное недовѣріе народа ко всему официальному, законному, т. е. ко всей той половинѣ русской земли, которая не народъ. Обыкновенно официальность и образованность относятся къ народу, какъ власть, т. е. передаютъ приказаніе и требуютъ послушанія. Въ настоящемъ случаѣ пришлось толковать, объяснять, убѣждать, разувѣрять. Мы встрѣтились съ народнымъ убѣжденіемъ и сами убѣдились, что оно не только не подвластно намъ, но что вообще слово не беретъ его, не дѣйствуетъ на него нисколько. Споръ возможенъ только при одномъ условіи, когда у спорящихъ есть хоть одна общая исходная точка, хоть одинъ фактъ, въ которомъ они не сомнѣваются. Этого-то и не оказалось на сей разъ. Манифестъ, мундиръ, чиновникъ, указъ, губернаторъ, священники съ крестомъ, высочайшее повелѣніе, — все это ложь, обманъ, подлогъ. Всему этому народъ покоряется, подобно тому, какъ онъ выноситъ стужу, метели и засуху, но ничему не вѣрять, ничего не признаетъ, ничему не уступаетъ своего убѣжденія. Правда, носится передъ нимъ образъ разлученнаго съ нимъ царя, но не того, который живетъ въ Петербургѣ, назначаетъ губернаторовъ, издаетъ высочайшія повелѣнія и передвигаетъ войска, а какого-то другого, самозданнаго, полумифическаго, который завтра же можетъ вырасти изъ земли въ образѣ пьянаго дьячка или безсрочно отпускнаго».

При встрѣчѣ съ народомъ, новая Россія разбилась о наследіе древней Руси, не преобразованное Петромъ и его преемниками на тронѣ или у трона; она разбилась о географію, о неизмѣнность народной жизни, ее побѣдилъ все тотъ же стихійный разливъ русской земли. Будучи побѣжденной, она пошла навстрѣчу своему распаду: съ шестидесятихъ годовъ начинается исторія русской революціи. Быстро стали образовываться два враждебныхъ механизма, бюрократическій и интеллигентскій, правительственный и революціонный, два механизма, мѣшавшіе видѣть, мѣшавшіе отличать реальныя нужды страны отъ теоретическихъ постулатовъ революціи или контръ-революціи, постоянно нарушавшіе естественное развитіе культурной жиз-

ни. Чеховскій разбитый параличѣмъ міръ обязанъ своимъ происхожденіемъ дѣйствию обоихъ механизмовъ, а не одного только, какъ обычно думаютъ. И точно такъ же, въ обоихъ лагеряхъ, а не только въ одномъ, крушеніе реформъ, не достучавшихся до народной души, вызвало особое тяготѣніе къ народу. Интеллигенты «ходили въ народъ», что бывало подвигомъ истинной любви, но съ народомъ пытались сблизиться и официальные верхи русскаго общества, въ чемъ подвига (благодаря методамъ сближенія) было меньше, но толку точно такъ же не было совсѣмъ. Опрощался баринъ Толстой, и въ этомъ было по крайней мѣрѣ столько же отъ барства, сколько отъ мотивовъ, прозрачныхъ для интеллигенціи; опрощались такіе толстовцы, въ которыхъ простоты было отъ природы болѣе, чѣмъ достаточно, но опрощались и русскіе цари и въ какомъ-нибудь будущемъ историческомъ музеѣ косоворотка и сапоги Распутина. Россія созданная Петромъ кончилась покаяніемъ, но не только за царевича Алексѣя и казенныхъ стрѣльцовъ, а за Грознаго, за Калиту, за призваніе варяговъ. Сами варяги и калялись — за то, что Россія стала нашею, но не включила въ націю народа.

3.

Самое поразительное въ исторіи русской революціи, это что оказался возможенъ тотъ серебряный вѣкъ русской культуры, который предшествовалъ ея революціонному крушенію: Правда, длился этотъ вѣкъ недолго, всего дѣтъ двадцать, и былъ исключительно и всецѣло созданъ тѣми образованными и творческими русскими людьми, которые не принадлежали ни къ интеллигенціи, въ точномъ смыслѣ слова, ни къ бюрократіи, такъ что не только народъ о немъ ничего не зналъ, но и бюрократія съ интеллигенціей частью его не замѣчали, частью же относились къ нему съ нескрываемой враждой. Правда и то, что сіяніе его — какъ и подобаетъ серебрянымъ вѣкамъ — было въ извѣстной мѣрѣ отраженнымъ: его мысль и его вкусъ обращались къ прошлому и дальнему; его архитектура была ретроспективной и на всемъ его искусствѣ лежалъ налетъ стилизации, любованія чужимъ; его поэзія (и вообще литература), несмотря на вѣшнюю новизну, жила наслѣдіемъ предыдущаго столѣтія; онъ не столько творилъ, сколько воскрешалъ и открывалъ. Но онъ воскресилъ Петербургъ, воскресилъ древ-

не-русскую икону, вернуть чувственность слову и мелодію стиху, вновь пережить все, чѣмъ нѣкогда жила Россія, и заново для нея открыть всю духовную и художественную жизнь Запада. Конечно, безъ собственнаго творчества все это обойтись не могло, и какъ бы мы строго ни судили то, что было создано за эти двадцать лѣтъ, намъ придется ихъ признать одной изъ вершинъ русской культуры. Эти годы видѣли должданное пробужденіе творческихъ силъ православной церкви, небывалый расцвѣтъ русскаго историческаго сознанія, дотолѣ неизвѣстное общее, почти лихорадочное оживленіе въ области философіи, науки, литературы, музыки, живописи, театра. — То, чѣмъ эти годы жили, что они дали, въ духовномъ мірѣ не умереть; только для Россіи, теперь, всего этого, какъ будто и не бывало. Это могло быть преддверіемъ расцвѣта и стало предвѣстіемъ конца.

Тѣ, чѣмъ дѣломъ были эти двадцать лѣтъ, прожили ихъ въ колеблющейся не разъ и все же до конца протянувшейся иллюзіи, что писаревщина кончилась, что шестидесятые годы на полвѣка отошли назадъ, что одна цензура всѣми признана столь же нелѣпой, какъ и другая, что Горькій балагурить, когда пытается запретить постановку Достоевскаго въ Художественномъ театрѣ, и даже, пожалуй, что Нечаевъ и Ткачевъ были всего лишь героями романа, и что это въ «Бѣсахъ» кто-то предложилъ, ради торжества идеала, уничтожить все населеніе Россіи возрастомъ свыше двадцати пяти лѣтъ. На самомъ же дѣлѣ оказалось, что съ шестидесятыми годами еще не покончено и Бюхнеръ съ Молешоттомъ еще не сланы въ архивъ; оказалось, что знаменательный переломъ, произошедшій на порогѣ новаго столѣтія въ мировоззрѣніи С. Н. Булгакова, Н. А. Бердяева, П. Б. Струве и столькихъ другихъ бывшихъ марксистовъ, бывшихъ нигилистовъ, бывшихъ интеллигентовъ, сыгралъ роль лишь въ предреволюціонномъ цвѣтеніи Россіи, а въ дальнѣйшей ея судьбѣ роли не сыгралъ. Съ какимъ презрѣніемъ относились люди серебрянаго вѣка къ передвижникамъ и знаньевцамъ, къ горьковскимъ буревѣстникамъ, рѣлинскимъ бурлакамъ и гражданской скорби изъ «Чтеца-декламатора», а вѣдь именно передвижники и знаньевцы вмѣстѣ съ «Чтецомъ-декламаторомъ» въ концѣ концовъ и побѣдили, и мы узнаемъ, если не ихъ скорбь, то ихъ стиль, въ планетарномъ провинциализмѣ нынѣшней Россіи. Побѣдили же они потому, что духовный багажъ классическаго интеллигента въ свое время не просто развѣялся по вѣтру, а сталъ, сильно отошавъ, достояніемъ полуинтеллигента, и отъ него, еще до революціи, просочился

кое-гдѣ въ народѣ. Начетчики изъ полуинтеллигентовъ стали идеологами революціи, — той революціи, которая удалась; по тому что готовилось много революцій, но удалась только одна: та, что хотѣла прежде всего до послѣдняго камня все разрушить, а не одновременно строить и разрушать, и не: о. Россій думала, а только о себѣ и объ условіяхъ своей удачи.

Откуда этотъ пафосъ разрушенія? Только въ очень малой долѣ отъ марксизма, и ту революцію, что въ Россіи удалась, сдѣлалъ не Марксъ и не Плехановъ: она идетъ отъ нигилистовъ. шестидесятыхъ годовъ; пафосъ разрушенія — отъ пафоса отрицанія. Недаромъ изъятіе Бога и отметаніе всѣхъ духовныхъ цѣнностей (т. е. такихъ, которыя не сводятся къ практической выгодѣ для особи или общества) есть основной догматъ русскаго коммунизма, въ гораздо большей мѣрѣ, чѣмъ всѣ специфически марксистскіе догматы: этимъ онъ измѣнялъ не разъ, тому всегда оставался вѣренъ. Для Ленина марксизмъ былъ только орудіемъ, которымъ онъ пользовался съ большимъ искусствомъ для своей настоящей цѣли — разрушенія. Ленинъ хотѣлъ революціи не ради какихъ-нибудь ея цѣлей, а прежде всего ради нея самой, и сдѣлалъ ее онъ, а не другіе, именно потому, что другіе хотѣли ее и еще чего-нибудь въ придачу, а онъ ее и ее одну. Конечно, онъ бы этого не призналъ, а можетъ быть и не сознавалъ, но его образъ дѣйствій и его успѣхъ объяснимы только этимъ. Пока революція дѣлалась, марксистскіе лозунги были выгоднѣй всѣхъ другихъ, кромѣ вытекающихъ изъ состоянія войны, вродѣ лозунга бросать фронтъ и уходить домой, лучшаго ленинскаго козыря; когда же революція была сдѣлана, пришлось волей неволей проводить ихъ въ жизнь, потому что ничего другого въ запасѣ у побѣдителей не оказалось. Эта марксистская политика, за неизмѣнимъ иной, проводимая въ крестьянской странѣ съ относительно ничтожнымъ рабочимъ населеніемъ, принесла, какъ извѣстно, немало затрудненій не только населенію, но и властямъ, и-принесла бы до сихъ поръ, если бы постепенно формулы ея не образовали нѣчто вродѣ сакраментальнаго языка, которымъ необходимо все время пользоваться, но который можетъ не обладать никакимъ смысломъ и которому даже опасно придавать сколько-нибудь точный смыслъ. Случилось это, впрочемъ, уже послѣ смерти Ленина, самъ же Ленинъ былъ едва ли не одареннѣйшимъ изъ всѣхъ революціонеровъ когда либо дѣлавшихъ революцію, но одаренъ онъ былъ именно для этого дѣла, а не для какого-нибудь другого (вѣдь не требуемъ же мы отъ виртуоза на балалайкѣ еще и умѣнія играть въ крокетъ).

Свой изумительный талант онъ показалъ въ эпоху Брестскаго мира, когда Троцкій сумѣлъ лишь пролетѣть о чемъ-то небываломъ, что одновременно не миръ и не война, а главное въсѣмъ своимъ руководствомъ революціей, лишь по видимости основанномъ на ученіи о классовой борьбѣ, на самомъ же дѣлѣ проистекающемъ изъ пониманія исконной, хотя и дремотной, вражды русскаго народа не столько къ кулаку и толстосуму, сколько къ барину, т. е. человѣку быть можетъ и небогатому, но носящему пиджакъ и воротничекъ, читающему книжки, живущему непоятной и ненужной народу жизнью. Лучшей гарантіей успѣха для революціи истребленіе правящаго и культурнаго слоя, и эту гарантію Ленинъ отъ народа получилъ.

Въ каждой революціи есть три момента: возстаніе, регламентация, компромиссъ. Возстаніе народа противъ мундира, чиновника, указа и всего того, что перечисляетъ Самаринъ въ своемъ письмѣ, было явленіемъ стихійнымъ и потому не лишнимъ трагическаго величія. Ленинъ на немъ сыгралъ, но Ленинъ его не выдумалъ; это оно побѣдило въ гражданской войнѣ и оно же вызвало тотъ глубокой переворотъ въ судьбѣ Россіи, котораго не отмѣнять никакія дальнѣйшія событія; по-эта и художника только оно и способно было вдохновить: памятникомъ ему останутся «Двѣнадцать» Блока. Сущность революціи, однако, сказывается не въ возстаніи, а въ регламентации (которой Блокъ не вынесъ), ибо она исходитъ изъ принциповъ и схемъ, желающихъ сдѣлаться реальностью. Убіиство Кокоскина и Шингарева относится къ возстанію, дѣятельность Дзержинскаго и постройка Бѣломорскаго канала къ регламентации. Аппаратъ слѣжки и разстрѣла былъ первымъ успѣшно дѣйствующимъ аппаратомъ русской революціи, какъ гильотина — революціи французской; въ остальномъ царило долгое время хаотическое бумагопроизводство и сплошная «комиссія наблюденія за комиссіей построения» — пока не пришлось считаться съ реальностью, хотя бы для того, чтобы не умереть голодной смертью. Отсюда начинается эра компромисса, продолжающаяся и сейчасъ, когда возстаніе давно кончилось (уже пятнадцать лѣтъ назадъ), а регламентация, въ смыслѣ осѣдланія дѣятельности революціонными схемами, не сегодня, завтра сойдетъ на нѣтъ. Отъ условий, на которыхъ заключенъ, отъ линий, по которой движется компромиссъ, зависитъ будущее.

Советская пропаганда утверждаетъ, что въ современной Россіи существуетъ безклассовое общество и что эксплуата-

ція трудящихся тамъ отмѣнена, тогда какъ всѣмъ давнымъ давно извѣстно, что тамъ образуется новый правящій классъ, а трудящіеся эксплуатируются государствомъ въ интересахъ этого класса, съ помощью потогонной системы, окрещенной именемъ Стаханова. Тѣмъ не менѣе пропаганда жметъ умнѣй, чѣмъ кажется, потому что трудящійся, эксплуатируемый государствомъ, если онъ вѣритъ, что это государство дѣйствительно принадлежитъ ему, такъ же, какъ и всякому другому, легче мирится со своей судьбой, а вѣритъ онъ этому готовъ, если правящій классъ мало чѣмъ отличается отъ остального народа въ бытовомъ, и особенно въ культурномъ отношеніи. Вопреки мнѣнію экономистовъ, культурныя различія переживаютъ болѣзненнѣйшіе имущественныхъ; отсюда относительная слабость классовой борьбы въ Америкѣ; отсюда преимущество имѣть правящій слой, который не являлся-бы культурнымъ слоемъ. По этой линіи и двигался компромиссъ. Испугавшись неурожая, Ленинъ разрѣшилъ торговлю, но запретилъ культуру. Сталинъ ничего не имѣетъ противъ накопленія матеріальныхъ цѣнностей, но никогда не допуститъ проявленія цѣнностей духовныхъ. Пока не будетъ свободы, не будетъ духа, а значитъ и культуры (кромѣ матеріальной) и слѣдовательно можетъ процвѣтать мнимо-безклассовое общество. Такова основа совѣтскаго строя; остальное — техника, и техника нерѣдко совершенно такая-же, какую примѣняли прежде, въ до-совѣтскомъ государствѣ. Подобіе вѣншторга существовало при Петрѣ; особія войска ГПУ напоминаютъ потѣшныхъ или опричнину; аракчеевскія военныя поселенія — образецъ колхозовъ; комсомольцы, стахановцы, выдвиженцы — будущее служилое сословіе; боязнь выпускать подданныхъ за границу была извѣстна московской Руси и Россіи Николая I-го. Россіей всегда было трудно управлять и управляли ею всегда механически и жестко; теперь ею управляютъ жестче и механичнѣе, чѣмъ когда-либо, но укорять въ этомъ некого, угнетателей не видно, все кругомъ по домашнему уютно и сѣро, и самъ отецъ народа снимается въ тужуркѣ и русскихъ сапогахъ.

Третья Россія будетъ сильнѣе и первой, и второй. Революція принесла ей три дара: сознаніе единства всей огромной страны, участіе всего населенія въ ея исторической жизни, правящій слой, близкій къ народу, ничѣмъ не отдѣленный отъ него; ни однимъ изъ этихъ даровъ Россія еще никогда не обладала. Нѣтъ никакого сомнѣнія, что именно теперь она на пути къ тому, чтобы впервые за почти тысячелѣтнюю свою исторію стать націей, включающей въ себя весь народъ. Тѣ, кому

этого довольно, тѣ, кого удовлетворяетъ внѣшняя сила и матеріальное преуспѣяніе, должны эту третью Россію считать своей; такъ они, конечно, и сдѣлаютъ, это вопросъ времени и устранения внѣшнихъ препятствій. Что же касается другихъ, то имъ слѣдуетъ знать, что хотя революція и принесла Россіи эти неоцѣнимые дары, она кое-что у нея и отняла: ея духовную жизнь, ея культуру. Двадцать лѣтъ искорененія творческой свободы даромъ пройти не могли и не прошли. Конечно, не все еще уничтожено, но этого неуничтоженнаго съ каждымъ годомъ становится все меньше. Религіозная жизнь еще не угашена, но съ вымираніемъ живущихъ ею и при государственной слѣжкѣ за воспитаніемъ молодежи, какъ можетъ она не угасать? Философія, свободное знаніе (кроме наукъ извѣстнаго направленія или въ которыхъ не можетъ быть никакого направленія) запрещены. Въ литературѣ жалкіе переплѣвы «гуманныхъ» мотивовъ девятнадцатаго вѣка тонуть въ стандартномъ хламѣ, вываренномъ по казенному образцу. Живопись возвращается къ Верещагину, скульптура къ Антокольскому, архитектура заново стилизуется подъ уже стилизованный «ампиръ» Шүко и Фомина. Вертикальная культура русского образованнаго общества уничтожена, но уничтожается и горизонтальная культура народа въ ея религіозной и бытовой основѣ. Всеобщая грамотность, какъ извѣстно, вполне совместима съ всеобщимъ варварствомъ и чтеніе Пушкина съ полнымъ непониманіемъ поэзіи. Когда культурная преемственность такъ порвана, какъ въ Россіи, такимъ повальнымъ истребленіемъ или изгнаніемъ ея носителей, ея восстановленіе будетъ во всякомъ случаѣ очень труднымъ. Оно станетъ невозможнымъ при дальнѣйшемъ яспитаніи молодежи въ духѣ американствующаго технического идолопоклонства. Одно изъ двухъ, или что-то такое случится съ Россіей, что ея воссоединеніе съ прошлымъ въ послѣднюю минуту все-таки произойдетъ, или, пусть и взойдетъ надъ ней «Америки новой звѣзда», она постепенно перестанетъ быть Россіей. У современной Греціи не много общаго съ Греціей Платона; у будущей Россіи можетъ оказаться еще меньше общаго съ Россіей Пушкина. Имя останется, быть можетъ и официально будетъ ей возвращено, но по праву оно принадлежитъ чему-то иному, не территоріи, не ста семидесяти милліонамъ, а всему тому, что ей было создано, всему, чѣмъ она жила. Что будетъ, намъ знать не дано, но мы знаемъ, что это было.

В. Вейдле.

По совѣтскимъ тюрьмамъ

Олафъ Фельтгеймъ, авторъ печатающихся ниже очерковъ, по происхожденію — финнъ. Гражданская война въ Финляндіи тяжело отразилась на его семьѣ. Младшій изъ его братьевъ, ставшій на сторону «бѣлыхъ», былъ убитъ «красными». Старшій же, коммунистъ, послѣ побѣды бѣлыхъ, былъ вынужденъ бѣжать въ Сов. Россію, гдѣ онъ работалъ въ Коминтернѣ. Самому О. Фельтгейму, вообще далекому отъ политики, пришлось, въ поискахъ работы, уѣхать въ 1924 г. въ Англію, гдѣ онъ устроился на службу въ совѣтскомъ учрежденіи Аркосѣ. Здѣсь же онъ женился, на англичанкѣ. Черезъ годъ, въ виду отказа англійскихъ властей въ продленіи визы, онъ рѣшилъ ѣхать съ семьей въ Россію, которая рисовалась ему страной свободной отъ эксплуатаціи. Въ Россію Фельтгеймъ провелъ около пяти лѣтъ (1924-1929) на службѣ въ разныхъ торговыхъ учрежденіяхъ на Черноморскомъ побережьи и на опытѣ убѣдился, насколько совѣтская дѣйствительность далека отъ его былыхъ радужныхъ представлений о ней. Это привело его къ рѣшенію покинуть Россію и возвратиться на родину. Но даже иностранца, если онъ слишкомъ хорошо узналъ совѣтскіе порядки, власти не такъ легко выпускаютъ за границу. Фельтгейму было предложено принять совѣтское подданство, — онъ отказался. Въ результатъ — арестъ по вымышленному обвиненію и — новые пять лѣтъ (1930-1935) сидѣнія по тюрьмамъ и концлагерямъ.

Последніе дни на волѣ и начало тюремныхъ скитаній и являются темой даваемыхъ здѣсь очерковъ, — главъ изъ подготовляемой О. Фельтгеймомъ къ печати книги.

Осложненія.

Мы прожили въ СССР четыре года, съ 1924 по 1929. Послѣ первыхъ неустройствъ, жизнь болѣе или менѣе вошла въ совѣтскую норму. Денегъ было мало, но ихъ у всѣхъ было мало. Одно изъ главныхъ преимуществъ совѣтскаго быта — что можно не стѣсняться нужды. Удобнаго жилья намъ такъ и не удалось добиться; но многие жили хуже. Жена приспособилась готовить на самодѣльныхъ печуркахъ, на примусѣ, или, въ лѣтніе вечера, на жаровнѣ, которая выносилась во дворъ. Трудно бывало съ водой; стирать приходилось на рѣкѣ, и эти прачешныя экспедиціи, въ которыя отправлялись скопомъ, чтобъ не такъ страшно было безпризорниковъ, и ташили, кромѣ бѣлья, ребятъ и пищу на весь день, — ее страшно утомляли. Иногда казалось — такъ больше жить нельзя, потомъ какъ-то обходилось. Всѣ такъ жили и всѣ надѣялись на лучшее.

Однако, къ веснѣ 1929 г. стало такъ трудно съ продуктами, что здоровье жены сдало. Надо было хоть на лѣто дать ей отдыхъ и подкормить сынишку. Разрѣшеніе на выѣздъ изъ СССР ей дали безъ всякихъ затрудненій и она уѣхала.

За лѣто продовольственный кризисъ только обострился. Въ сентябрѣ ввели карточки, нормированные продукты могли продаваться только изъ-подъ полы и цѣны на нихъ росли непостижимо. Просить жену вернуться — было-бы безуміемъ. Вѣхать самому въ Финляндію?.. Я написалъ матери, прося совѣта. Она отвѣтила, что я могу вернуться — работа найдется. Въ нетерпѣніи я тотчасъ отправилъ ей телеграмму: «Заявилъ отказъ работы прошу разрѣшенія выѣзда».

По договору съ Нефтесиндикатомъ, гдѣ я служилъ въ то время, я долженъ былъ предупреждать объ отказѣ за мѣсяць.

Я сдѣлалъ это въ тотъ-же день, подавъ письменное заявленіе завѣдывающему. Онъ тутъ-же предложилъ мнѣ 50% прибавки и даже пробурчалъ что-то насчетъ квартиры. Я поблагодарилъ и сказалъ, что рѣшилъ вернуться на родину. Мнѣ, дѣйствительно, такъ захотѣлось тогда домой, къ своимъ, что я не допускалъ никакой другой мысли.

Зав. почесалъ въ затылкѣ, посмотрѣлъ на меня со страннымъ, тяжелымъ выраженіемъ своихъ осоловѣлыхъ глазъ и сказалъ:

— Ладно. Но мой совѣтъ — объ этомъ поразмыслить. Вы увѣрены, что вамъ разрѣшатъ выѣхать?

— Я финскій подданный.

— Н-да-съ... — проронилъ онъ не то вопросительно, не то скучающе. Онъ вообще былъ не рѣчивъ, особенно съ подчиненными.

Мое заявленіе онъ сложилъ вчетверо и положилъ во внутренний карманъ.

Я вышелъ отъ него со смутно-непріятнымъ чувствомъ. Онъ былъ типичный чекистъ и кто его знаетъ — хотя, въ концѣ концовъ, я все-таки былъ иностранецъ...

Недѣлю спустя зав. вызвалъ меня къ себѣ въ кабинетъ. Тамъ-же, небрежно развалиясь въ креслѣ, сидѣлъ одинъ изъ мѣстныхъ гепеуствоѣ.

— Ну какъ, можетъ надумали остаться? Мы, знаете, на васъ смотрѣли какъ на своего, совѣтскаго, — сказалъ зав. и покосился на гепеуста. Тотъ кивнулъ.

— Я думаю, мы съ вами поладимъ. А? — спросилъ зав., откинувшись на спинку кресла.

Мнѣ, вообще, трудно бываетъ держаться своей позиціи, когда со мной говорятъ по дружески, но тутъ мнѣ было просто странно, какъ это люди не хотѣли понять безвыходности моего положенія.

— Къ сожалѣнію, никакъ не могу. Я общалъ женѣ и матери. Онѣ меня ждутъ. Я далъ телеграмму.

— Ну это, знаете-ли, пустяки. Дадите другую. Въ общемъ, лучше во-время одуматься, чѣмъ попасть въ затрудненіе.

— Я обдумалъ — мнѣ надо ѣхать.

Лицо зава стало жесткимъ. Гепеустъ, за все время не проронившій ни слова, и лишь разсматривавшій концы своихъ пальцевъ, будто они чесались, взглянулъ на зава и сказалъ:

— Вопросъ ясенъ.

Я всталъ, поклонился и вышелъ. На душѣ было мерзко.

Больше ни слова не было сказано до самаго послѣдняго дня моей службы. Зав. зашелъ въ отдѣлъ будто по другому дѣлу, но остановился у моего стола и сказалъ:

— Такъ вы сегодня кончаете работу, или какъ? Можетъ передумали? Можетъ, знаете, и не такъ скоро получите разрѣшеніе на выѣздъ?

— Надѣюсь получить, — отвѣтилъ я, стараясь не думать о томъ, что я уже разъ пять-шесть заходилъ въ Адмотдѣлъ и слышалъ только одно — «зайдите черезъ пару дней».

Со слѣдующаго дня, покончивъ со службой, я сталъ заходить въ Адмотдѣлъ регулярно черезъ день. Прошло еще около

мѣсяца. Мнѣ надоѣло смотрѣть все на ту-же дѣвицу, и я рѣшилъ добиваться зава Адмотдѣла.

Къ Рождеству дѣло было на той-же мертвой точкѣ, какъ въ сентябрѣ, а между тѣмъ жизнь моя становилась все неуютнѣй. Одинъ изъ прежнихъ моихъ сослуживцевъ откровенно попросилъ меня больше не бывать у него; другой, встрѣтивъ меня разъ вечеромъ на пустынной улицѣ, подошелъ и быстро сказавъ:

— Вы слышали, послѣ отъѣзда нѣмецкаго инженера изъ Новороссійскихъ холодильниковъ двоихъ его знакомыхъ арестовали. Обвиняютъ въ экономическомъ шпіонажѣ, — тотчасъ перешелъ на другую сторону; больше я его не видалъ.

Я рѣшилъ порвать со всѣми и жить въ такомъ одиноществѣ, что тогда казалось, что такъ можно разучиться говорить.

На Рождествѣ я получилъ записку отъ жены одного нѣмецкаго инженера, работавшаго на нѣмецкой концессіи. Она пріѣхала въ городъ на одинъ день и звала зайти. Я пошелъ. Мы чудно провели вечеръ, особенно я, наголодавшійся безъ дѣла и людей. На слѣдующій день она уѣхала, а затѣмъ я узналъ, что двоихъ ея гостей (кромѣ нихъ только и были, что она да я), арестовали. Когда-же, спустя недѣлю, я увидалъ на рынкѣ ту молоденькую дѣвушку, которая была арестована, и, обрадовавшись, что ее выпустили, направился къ ней, она чуть не бросилась отъ меня бѣжать, но остановилась, сообразивъ, что въ базарной толкотнѣ ея бѣгство обратить еще больше вниманія.

— Не спрашивайте, — пролепетала она, когда я подошелъ. — Я не могу ни о чемъ говорить. Ужасно было, ужасно...

Видъ у нея былъ измученный, какъ будто она болѣла мѣсяць.

Что мнѣ было дѣлать? Посовѣтоваться было не съ кѣмъ. Съ друзьями я видѣться не могъ. Въмѣсто нихъ ко мнѣ стали ходить какія-то незнакомыя личности. Однѣ называли себя страховыми агентами, предлагали застраховать жизнь. Когда я отвѣчалъ имъ, что скоро уѣзжаю, онѣ пускались разсуждать — стоить-ли это дѣлать? Другія спрашивали, не продаю-ли я свои вещи? Нѣтъ? Такъ на что-же я живу? У меня есть деньги? И много? Появлялась и очень красивая дѣвица, которая захотѣла брать у меня уроки англійскаго языка и при первомъ удобномъ случаѣ стащила у меня нѣсколько фотографій.

Это дѣйствовало такъ раздражающе, что я на цѣлые дни

уходилъ изъ дому, бродилъ за городомъ, возвращался только къ ночи, а потомъ безъ сна ворочался на постели.

Такъ какъ теперь и изъ Ростова ничего не приходило, я послалъ туда телеграмму съ оплаченнымъ отвѣтомъ, и получилъ обратно — «ваше заявленіе переслано Москву». Позже я узналъ, что телеграмма моя никуда не посылалась, а отвѣтъ былъ состряпанъ въ Новороссійскомъ Адмодѣлѣ.

Въ февралѣ я окончательно остался безъ денегъ. Надо было что-то продавать, а я совершенно не зналъ, какъ взяться за это дѣло.

Выбравъ вечеръ потемнѣй, я зашелъ къ свояченицѣ нѣмецкаго инженера, чтобы попросить ее помочь мнѣ. На мое удивленіе она даже обрадовалась мнѣ и сразу взялась помочь, но сказала, что сама она въ ужасномъ безпокойствѣ за сестру: съ Рождества отъ нея нѣтъ вѣстей; на письма и телеграммы она не отвѣчаетъ. Съѣздить туда, въ нѣмецкую концессию, она не рѣшается изъ-за службы, да и вообще ей чего-то страшно.

Я вызвался съѣздить и на другой-же день отправился въ «Друзакъ», къ директору, нѣмцу и другу этой семьи. Какъ только я сказалъ ему, кто я и почему пріѣхалъ, онъ увелъ меня къ себѣ въ домъ, усадилъ въ кабинетъ, заперъ двери.

— Они исчезли оба, — сказалъ онъ, предлагая мнѣ сигару и нервно раскуривая свою. — Гдѣ они — не знаю. У насъ на концессіи спокойно уже съ осени. ГПУ устраиваетъ налеты, ищутъ людей, бѣжавшихъ изъ колхозовъ; обыскиваютъ, подозреваютъ, что мужики у насъ скрываютъ скотъ и машины. Мы живемъ какъ въ осадѣ. Послѣ Рождества вашъ другъ вызвался поѣхать въ Москву по нашимъ дѣламъ: черезъ три дня его жена получила телеграмму: «Серьезно болеть пріѣзжай немедленно». Она успѣла взять съ собой только маленькій чемоданчикъ и едва попала на московскій поѣздъ. Мы такъ-бы и считали, что она въ Москвѣ, но въ томъ-же поѣздѣ ѣхалъ нашъ шофферъ. Онъ видѣлъ, что въ Ростовѣ на вокзалѣ ее вели два гепеуста. Гдѣ ей мужъ, мы не знаемъ. Я телеграфировалъ нѣмецкому консулу въ Москвѣ, но получилъ отвѣтъ, что онъ туда не являлся. Посылалъ служащаго въ Ростовское ГПУ за справками — сказали, что онъ за ними не числится. Повидимому его телеграмма была фальшивая: ловушка, чтобы заманить его жену въ Ростовъ.

Меня пробрала дрожь отъ его словъ. Онъ самъ сидѣлъ и вытиралъ лобъ платкомъ, хотя въ комнатѣ было не жарко.

Рѣшивъ, что мы кончили нашъ разговоръ, жена директора

вошла и позвала насъ ужинать. За ужиномъ говорилось только, чтобъ не сидѣть молча. Послѣ этого директоръ вызвалъ свой экипажъ и меня отвезли къ послѣднему поѣзду.

Въ Новороссійскъ я пріѣхалъ поздно, въ одиннадцатомъ часу. Никогда еще въ жизни я не чувствовалъ себя такимъ подавленнымъ и безпомощнымъ. Хотѣлось что-то сдѣлать, какъ-то помочь моимъ друзьямъ, а мучила мысль, что можетъ я еще имъ повредить. Надо было все-же зайти къ ихъ родственницѣ, сказать, предупредить.. Я взялъ извозчика, доѣхалъ до одной изъ улицъ неподалеку отъ ея комнаты, отпустилъ его, поблуждалъ пока онъ уѣдетъ, свернулъ въ переулочекъ, оглядѣлся. Улицы были совершенно пусты и за мною никто не слѣдилъ. Я быстро направился къ ея дому, толкнулъ входную дверь, она оказалась открыта, постучался къ ней въ комнату — отвѣта не было. Я, какъ было условлено, нащупалъ ключъ надъ двернымъ наличникомъ и вошелъ, чтобъ оставить записку. Въ комнатѣ я сначала закрылъ ставни, потомъ зажегъ свѣтъ. Меня поразило, что было такъ холодно, будто нѣсколько дней не топлено, хотя вчера еще было тепло и уютно. Тронулъ печку — холодная и въ трубѣ свиститъ вѣтеръ. Открылъ заслонку — въ золѣ остатки недогорѣвшихъ писемъ.

Я, торопясь, нацарапалъ нѣсколько словъ и стоялъ, осматриваясь, куда-бы положить записку, чтобы она сразу ее замѣтила, какъ услышалъ за окномъ шаги. Шли двое, быстро и, казалось, нервно. Я не успѣлъ сообразить, что мнѣ дѣлать, какъ дверь отворилась и я увидѣлъ блѣдное лицо моей знакомой; за ней стоялъ гепеустъ Лапинъ въ штатскомъ платьѣ.

Она остановилась отъ неожиданности. Глаза у нея были широко открыты; губы бѣлыя, сжатые. Она смотрѣла на меня словно не понимая, почему я могъ оказаться у нея въ комнатѣ. Лапинъ тоже былъ удивленъ, но тотчасъ принялъ самый индифферентный видъ.

— Добрый вечеръ, — сказала я, стараясь справиться съ собой.

— Добрый вечеръ, — беззвучно отвѣтила она.

Гепеустъ закрылъ дверь, взглянулъ на часы на рукѣ, прошелъ къ окну и сѣлъ на диванъ. Она открыла шкапъ и стала торопливо собирать бѣлье и платье. Я отошелъ къ письменному столу, сѣлъ и закурилъ, стараясь повернуться такъ, чтобъ Лапинъ не видѣлъ, что у меня дрожатъ руки.

— Вы здѣсь живете? — спросилъ онъ меня, хотя прекрасно зналъ мой адресъ.

— Нѣтъ. Я только зашелъ.

Гепеусть удержался отъ комментарий. Онъ, не спуская глазъ, слѣдилъ за тѣмъ, какъ его жертва собиралась въ путь.

— Скоро? — спросилъ онъ ее недовольнымъ тономъ. — Пора на поѣздъ.

— Сейчасъ, — едва слышно отозвалась она. — Можете дать мнѣ немного папирозъ? — обратилась она ко мнѣ.

Я протянулъ ей только-что начатую пачку.

— Можеть быть вамъ денегъ нужно? — спросилъ я.

— Нѣтъ, спасибо. Я только на нѣсколько дней, въ Ро-
стовъ.

— Прекратить разговоры, — оборвалъ насъ гепеусть.

Она положила папирозы въ карманъ пальто, подошла къ умывальнику, выпила стаканъ воды, потомъ взяла чемоданъ и сказала: — Пойдемте.

Гепеусть опять взглянулъ на часы, отодвинувъ рукавъ.

— Пойдемте, — отозвался онъ снисходительно, медленно поднимаясь съ дивана.

Я всталъ и поклонился ей. Она не отвѣтила, но когда они вышли, со двора донесся ея странный, сорвавшийся голосъ: — Не забудьте запереть дверь на ключъ.

Опять послышались шаги за окномъ, но быстро все стихло. Я остался одинъ въ холодной, жуткой, чужой комнатѣ и едва нашель въ себѣ силы, чтобъ потушить свѣтъ, выйти, запереть дверь.

Темная февральская ночь, пустыя улицы, закрытыя ставни домовъ безъ скважины свѣта, все казалось мнѣ безысходно зловѣщимъ.

Дома я, не раздѣваясь, легъ въ постель, накрылся пальто, но меня била внутренняя лихорадка, заснуть я не могъ, и мнѣ стало казаться, что я схожу съ ума въ прямомъ и реальномъ смыслѣ этого слова. Лежать было непереносимо. Я всталъ и вышелъ. На улицахъ была такая-же темь. Дулъ пронзительный сѣверо-восточный вѣтеръ. Подъ ногами стучала жесткая, сжатая морозомъ земля. Я машинально шагалъ привычной дорогой къ морю. Въ гавани стояло большое итальянское наливное судно. Такъ недавно я всходилъ на эти корабли, бесѣдовалъ съ капитанами, пилъ заграничный кофе съ коньякомъ. Одинъ изъ нихъ звалъ меня ѣхать съ нимъ, а не возиться съ канцелярскими крысами. Я могъ уѣхать. Могъ. Теперь-же меня и въ гавань не пустять. Я вѣрилъ въ свою невинность, вотъ въ чемъ дѣло. Былъ убѣжденъ, что зря никого не арестовываютъ, что это паническія росказни...

На утро я отправилъ въ финское консульство письмо, съ

просьбой о совѣтѣ и помощи, и получилъ извѣщеніе, что, судя по ихъ свѣдѣніямъ, дѣло мое находится въ Наркоминдѣлѣ и близко къ разрѣшенію. Оставалось, значить, ждать.

Арестъ.

Приближалась весна. На Кавказѣ мартъ уже теплый, чудный мѣсяць. Послѣ извѣщенія изъ финскаго консульства у меня отлегло отъ сердца и я сталъ готовиться къ отъѣзду: кое-что продалъ, кое-что уложилъ. Тутъ-же подошло предложеніе вернуться въ Туапсе и временно замѣстить преподавателя англійскаго языка въ Техникумѣ. Я переѣхалъ туда съ облегченнымъ чувствомъ: мнѣ казалось, что всѣ осточертѣвшіе мнѣ «наблюдатели» остаются въ Новороссійскѣ и что даже я, въ какой-то мѣрѣ, наклеилъ имъ носъ. На этотъ разъ, единственный въ СССР, у меня даже оказалась сносная квартира. Я отдыхалъ и наслаждался. Думалось даже, что въ СССР совѣтъ не такъ ужъ плохо и, можетъ быть, повидавъ своихъ въ Финляндіи, можно будетъ опять вернуться сюда.

Въ такомъ благодушномъ настроеніи я сидѣлъ разъ утромъ у себя дома, передъ открытымъ окномъ, ѣлъ первыя черешни, посматривалъ на повеселѣвшій городъ, на цвѣтушія деревья и думалъ, куда-бы отправиться на прогулку. День былъ выходной, я здорово выспался и чувствовалъ себя прекрасно.

Въ окно я видѣлъ, какъ къ воротамъ подѣхалъ автомобиль, оттуда вышли двое и направились къ моей квартирѣ. Они стучались; я открылъ, извиняясь, что несовѣтъ одѣтъ.

— Вы насчетъ уроковъ англійскаго языка вѣроятно?

Они улыбнулись и попросили, чтобъ я одѣлся и ѣхалъ съ ними.

— Куда?

— Въ ГПУ.

Пока я одѣвался, они быстро оглядывали мою комнату.

Я все еще не вѣрилъ, не понималъ, что это значить. Одѣвшись налегкѣ, я ничего не взялъ съ собой; они мнѣ ничего не сказали, только жестомъ пригласили идти впереди и посадили въ машину. Черезъ нѣсколько минутъ мы были въ ГПУ, гдѣ мнѣ объявили, что я арестованъ.

— Почему? На какомъ основаніи?

— По ордеру изъ Новороссійска, — небрежно отвѣтилъ мнѣ начальникъ ГПУ, въ то время какъ другіе два быстро шаривали мои карманы.

Въ слѣдующій моментъ я оказался въ комнатѣ съ рѣшетками на окнахъ и въ самой необыкновенной компаніи: инженеръ — предполагаемый вредитель, два молодыхъ черкеса, арестованныхъ за то, что ихъ отецъ сбѣжалъ изъ колхоза, два комсомольца, которые явились на митингъ въ пьяномъ видѣ и старикъ, начальникъ станціи, арестованный за то, что на его участкѣ случилось крушеніе.

На утро мнѣ объявили, что меня отправляютъ въ Новороссійскъ на пароходѣ. Никакихъ вещей изъ дому мнѣ взять не разрѣшили. Предупредили, что каждый мой шагъ въ сторону будетъ разсматриваться какъ попытка къ побѣгу и дали мнѣ конвоира, который велъ меня, уткнувъ дуло винтовки мнѣ въ спину.

Затѣмъ я оказался въ подвальной камерѣ новороссійской тюрьмы, опять съ какимъ-то инженеромъ, мужиками и священникомъ. Священникъ, молодой еще и, можетъ быть, даже красивый, былъ въ ужасномъ видѣ: лицо его было разбито въ кровь, подрясникъ залитъ краснымъ виномъ. Это слѣдователь доказывалъ ему, что самъ Христосъ велѣлъ пить и требовалъ, чтобы и онъ пилъ. Что было между ними еще, онъ не говорилъ. Вообще у него послѣ допроса словно языкъ отнялся, но ясно было, что онъ отказался пить вино и что слѣдователь пустилъ въ ходъ и стаканъ и бутылку.

Вечеромъ меня посадили на грузовикъ, приставили ко мнѣ трехъ солдатъ съ ружьями и отправили на станцію. Тамъ сдали двумъ конвоирамъ, у одного изъ нихъ было ружье, у другого наганъ, и втолкнули въ купе.

Все это произошло съ такой быстротой, что казалось кошмаромъ, отъ котораго еще можно было проснуться. Я ничего не соображалъ, ничего не понималъ и зналъ только одно — меня везутъ въ Москву.

Въ Москву.

Итакъ, меня везли въ Москву. Товарищи по новороссійской тюрьмѣ считали, что это хорошо. Москва — центръ. Въ конечномъ счетѣ все рѣшается тамъ. Кромѣ того, всѣ были убѣждены, что съ иностранцемъ и ГПУ будетъ обращаться такъ, какъ со своими гражданами.

Я-же, за пять лѣтъ работы въ СССР, зналъ, что иностранецъ иностранцу рознь: туристу бояться нечего, рабочему-же человѣку, особенно финну, эстонцу, поляку, чеху можетъ быть солоно, и даже очень.

Меня занималъ одинъ вопросъ: дѣйствительно-ли центральныя власти считали, что за пять лѣтъ работы въ СССР я узналъ слишкомъ много про ихъ дѣла и что меня потому опасно выпускать за границу, или это мѣстное ГПУ проявило свою активность и бдительность? Возможно также, что меня взяли, потому что кто-нибудь изъ совѣтскихъ коммунистовъ влилъ въ Финляндіи и нужно было арестовать какого-нибудь финна для обмена. Пока оставалось утѣшаться только тѣмъ, что меня везли подъ конвоемъ, а не гнали по этапу. Въ 1928 г., въ Туапсе, былъ арестованъ одинъ изъ служащихъ Экспортхлѣба, иностранецъ какъ и я. Его изъ Туапсе погнали въ Батумъ, оттуда въ Новороссійскъ, изъ Новороссійска въ Новочеркасскъ, въ Харьковъ, въ Москву, и, наконецъ, скинули въ Вологдѣ въ полумертвомъ состояніи. На это ушло больше четырехъ мѣсяцевъ.

Мои конвоиры были молодые парни. Отправляли ихъ, навѣрно, въ первый разъ, поэтому они были необычайно мрачны и суровы. Въ Новороссійскѣ меня не только обыскали, но, несмотря на всѣ мои протесты, сняли подтяжки, шиурки отъ сапогъ, запонки, воротничекъ и галстукъ. Сказали, что это дѣлается для моего-же блага, чтобъ я не лишилъ себя жизни. Заботливость тоже! Теперь у меня валились штаны, хлопали башмаки, свисали рукава рубашки. Видъ былъ растерзанный и унижительный.

Несмотря на все это, конвоиры не сводили съ меня нагана, когда выводили въ уборную, да еще заставляли снимать башмаки и идти въ однихъ носкахъ.

Отъ отвращенія и усталости я мечталъ объ одномъ — какъ-бы уснуть и не просыпаться до Москвы. Но въ головѣ кружились безпомощныя разсужденія о томъ, что я-же не виноватъ, что нѣтъ никакихъ причинъ для всей этой безсмыслицы. Хотѣлось что-то доказать и оправдаться. Но передо мной не было никого, кромѣ простецкаго парня: второй дрыхнулъ, завалившись на верхнюю полку и положивъ себѣ подъ голову буханку хлѣба — нашъ дорожный провіантъ. Мучила и одуряла духота въ наглухо закрытомъ купе. Вагонъ былъ старорежимный, съ толстымъ, цѣлымъ стекломъ въ окнѣ, крѣпкими мѣдными ручками, запорами, задвижками. Какъ всѣ эти сокровища уцѣлѣли до 1930 г. — непонятно. Даже электрической колпакъ для лампочки былъ цѣлъ, хотя лампочки не было. Вагоны освѣщались огарками, вставленными въ допотопные фонари.

Всѣ мои развлечения сводились къ трубкѣ и къ наблюдению за паникой, въ которую впадалъ на каждой остановкѣ мой

бдящій конвоиръ: онъ хватался за ружье, защищалъ грудью наглухо закрытое окно, подозрительно косился на меня, тревожно слѣдилъ за толчеей на перронѣ и успокаивался только, когда поѣздъ начиналъ дергаться и медленно отползать отъ станціи.

Интересно было-бы знать, какіе страхи мерещились въ его первобытномъ мозгу: я былъ въ полной его власти, а ему все же было боязно.

Наступилъ вечеръ. Ночь прошла подъ вагонный шумъ и стукъ. Стало свѣтать въ запотѣвшемъ окнѣ. Потянулись вспаханная, весенняя поля, дѣса. Выкатилось солнце — румяное и блистательное. Югъ былъ во всей красѣ: черная, влажная земля; яркая, молодая трава; цвѣты по канавамъ, по насыпи. Все это когда-то было и въ моей жизни: весенніе дни, запахъ земли, прохлада съ моего родного, финскаго моря — воля. Воля, которую никто не знаетъ, какъ надо цѣнить, пока ее не покажутъ ему черезъ окошко тюрьмы.

Мы подошли къ какой-то захолустной станціи. Парень съ верхней полки тяжело рухнулъ внизъ, размялся, скрутилъ цыгарку, пошелъ добывать кипятку. Кружечекъ оказалось одна на троихъ — больше не выдали. Чаю и сахару не было вовсе: въ Совѣтской Россіи дѣло привычное. Отъ хлѣбной буханки, на которой ночью покоилась голова стража, отрѣзали по куску, дали и мѣхъ. Открыли консервы съ неопредѣленнаго сорта костистой рыбой, подправленной томатной жижей; съѣли все сами, добросовѣстно обсосавъ кости и обтеревъ изнутри стѣнки жестянки — сначала мякишемъ, потомъ пальцемъ.

Теперь красноармеецъ, караулившій меня ночью, полѣзъ на верхнюю полку, а другой, провѣривъ ружье, съѣлъ меня караулить.

Онъ выспался, полѣзъ, настроеніе у него было хорошее, и захотѣлось поговорить послѣ того, какъ чуть не сутки не было сказано ни одного человѣческаго слова. Началось съ вопроса, почему я арестованъ.

— Что-то да есть, — возразилъ онъ на мои слова, что я не знаю, и что до сихъ поръ ни въ чемъ меня и не обвиняютъ. — Зря ГПУ тоже арестовывать не будетъ, — разсуждалъ онъ. — Должна быть причина. Какъ-такъ безъ причины. ГПУ (онъ говорилъ гелею) — оно не ошибается. Тамъ люди — во! головой работаютъ.

Когда ему надоѣло разсуждать, т. е. повторять одни и тѣ же слова, я спросилъ его, откуда онъ? Оказалось, крестьянскій сынъ, Кубанской области. Отецъ дрался противъ Корнилова;

братъ — въ пограничной стражѣ, на турецкой границѣ, остался сверхъ срока. Въ колхозъ — интересу нѣтъ итти. На службѣ лучше.

Спустя полчаса, онъ выложилъ мнѣ и всѣ свои сердечныя тайны, показалъ письма своей «любови», но когда поѣздъ остановился, онъ бросился грудью къ окну, испуганно-злобно смотря на станцію, гдѣ все шло своимъ чередомъ. Важно стояли желѣзнодорожные служащіе, суетливо металась куча людей съ чѣшками и сундуками, крича и ругаясь напирала на стѣнки вагоновъ, силясь втиснуться хоть на подножку. Онъ не сообразилъ, что никто меня тутъ не могъ знать, что никому до меня не было дѣла, что трудно было себѣ представить челоѣка въ болѣе изолированномъ и безнадежномъ положеніи чѣмъ я — иностранецъ, среди невѣдомыхъ мнѣ русскихъ дебрей.

Къ вечеру я полѣзъ на верхнюю полку спать, но дышать было нечѣмъ и вмѣсто сна получался сплошной кошмаръ. За день вагонъ накалился отъ солнца; накурено у насъ было такъ, что дымъ лежалъ тяжелыми пластами, а о другихъ солдатскихъ запахахъ я и не говорю. Я чувствовалъ себя въ конецъ разбитымъ; сморились и оба мои конвойные: они потѣли, пыхтѣли, соловѣли, но окна не открывали. Такъ мыкались мы еще цѣлый день и еще ночь.

На утро, передъ прибытіемъ въ Москву, въ наше купе постучалась уборщица.

— Духотища-то! Жарища-то! — ахнула она, отшатнувшись къ двери. — Да что-вы, граждане, окошка открыты не можете?

— Не полагается, — холодно замѣтилъ ей конвоиръ.

— Не полагается! Много ты понимаешь, — не полагается! Первые вы, что-ли, тутъ ѣдете? Сколько арестованныхъ возють, а такого порядка никогда не бываетъ. Окно полагается отпирать на день, понятно? — и безъ церемоніи, перешагнувъ черезъ ноги конвоира, вытянутыя поперекъ купе, она спустила раму окна.

Эта здоровенная дѣвка въ платьѣ хаки съ металлическими форменными пуговицами, въ юбкѣ, слишкомъ узкой и короткой для ея крѣпкихъ, голыхъ ногъ, въ носкахъ и разношенныхъ трипочныхъ туфляхъ-тапочкахъ, знала свое дѣло не хуже конвоировъ.

Она небрежно побрызгала изъ нашего чайника остатками воды, повозила по полу обшарпаннымъ вѣшникомъ, попросила покурить и ушла, строго наказавъ, чтобы окурковъ и спичекъ больше на полъ не бросать.

Какъ только она вышла, конвоиры сейчасъ-же закрыли окно и стали готовиться. Сначала почистили сапоги, поплевавъ на нихъ и растеревъ тряпочкой; потомъ покончили съ остатками хлѣба, хотя ѣсть, очевидно, не хотѣлось. Затѣмъ одинъ изъ нихъ принесъ въ чайникъ немного воды изъ уборной. Воду они набирали въ ротъ, пускали струей на руки, растирали по лицу. Воды было такъ мало, что полотенца не требовалось; да его и не было.

Въ Москвѣ, какъ только поѣздъ остановился, одинъ изъ нихъ пошелъ докладывать въ желѣзнодорожное отдѣленіе ГПУ, другой вынулъ наганъ, сѣлъ противъ меня, и усталился на меня такъ, будто я могу исчезнуть на его глазахъ. Минуть черезъ 15 онъ не выдержалъ и скомандовалъ мнѣ выходить. Я, въ моемъ растерзанномъ видѣ, шелъ впереди; онъ — приставивъ мнѣ наганъ въ спину — сзади. Всюду толкалась обычная вокзальная толпа: встрѣчались, цѣловались, хлопотали, а мы шагали съ нашимъ дикимъ видомъ, какъ будто вокругъ насъ была пустыня или лѣсъ. На полпути насъ встрѣтилъ второй конвоиръ и агентъ ГПУ. Тотъ выругался, приказалъ убрать наганъ. Мы зашагали быстрее, потому что люди отъ насъ не то что шарахались, но безмолвно, ловко сторонились.

Въ отдѣленіи ГПУ солдатамъ выдали расписку, что я принятъ. Они ушли, не взглянувъ на меня. Тѣ, кто меня принялъ, также не обращали на меня никакого вниманія. Я сидѣлъ на скамейкѣ, ждалъ. Гелеусты неторопливо входили, выходили. Прошло больше часа. Затѣмъ, такъ же равнодушно, какъ будто ничего здѣсь его не касалось, вошелъ высокій, молодой парень въ штатскомъ и жестомъ показалъ, что надо итти. У выхода стоялъ маленькій открытый автомобиль. Только мы успѣли сѣсть, онъ помчался внѣ всякой предѣльной скорости, ловко лавируя въ узкихъ, переполненныхъ пѣшеходами, улицахъ. У меня не было никакого чувства, кромѣ страха, что мы неминуемо кого-то раздавимъ, но мы дочкались, даже никого не задѣвъ.

Лубянка 2.

Опять канцелярія. Опять требованіе сдать то, что пропустили при прежнихъ обыскахъ: зубную щетку, пасту, ложку и неивого сахара. Въ отобранномъ выдали расписки и опять предложили заполнить длиннѣйшій анкетный листъ, содержащій около пятидесяти вопросовъ. Вопросы больше касались моей семьи, родныхъ и ихъ прошлаго, чѣмъ меня самого. Ко-

гда я передавалъ гепеусту заполненную анкету, онъ замѣтилъ на моей рукѣ обручальное кольцо, не говоря ни слова, снялъ его съ моего пальца, внимательно оглядѣлъ и сталъ выписывать новую квитанцію. Ни одну изъ этихъ вещей я больше никогда не видѣлъ, хотя квитанціи сохранилъ.

Изъ канцеляріи меня повели по длиннымъ корридорамъ въ подвальный этажъ, въ комнату, гдѣ меня приняли два субъекта въ бѣлыхъ халатахъ. Они принялись постепенно меня раздѣвать; каждую снятую вещь они трясли и тщательно прощупывали по швамъ. Когда я оказался совершенно голымъ, они такъ же методически обследовали мое тѣло. Такого, можно сказать, научнаго, по своей пытливости и неукоснительности, обыска я не могъ-бы себѣ вообразить. По части этой техники, въ центрѣ, въ Москвѣ, безспорно достигнуто большое совершенство.

Одѣться мнѣ разрѣшили самому, послѣ чего тотчасъ откуда-то появился стражъ и повелъ меня далѣе по лабиринту корридоровъ. Въ помѣщеніи съ двумя рядами рѣшетчатыхъ дверей по сторонамъ, стражъ передалъ меня другому, сидѣвшему за столомъ съ телефономъ. Тотъ всталъ, порылся въ большой связкѣ ключей, висѣвшихъ у него на поясѣ, и повелъ къ камерѣ № 4. б. Открывая желѣзную рѣшетку, онъ сказалъ, что хлѣба я сегодня не получу, но что онъ могъ-бы принести остатки супа. Я отказался.

— Какъ хочешь. Заходи, — сказалъ онъ такъ же безразлично, какъ предлагалъ мнѣ ѣду.

Дверь тотчасъ-же закрылась за мной, тяжелая защелка дважды прогремѣла отъ поворота ключа въ замкѣ; я былъ въ камерѣ.

Несмотря на день, она освѣщалась маленькой электрической лампочкой подъ потолкомъ. Въ наружной стѣнѣ, тоже подъ самымъ потолкомъ, было полукруглое окно, но оно, вѣроятно, приходилось на уровнѣ земли и было прикрыто щиткомъ. Свѣтъ черезъ него проходить не могъ. Стѣны мокры отъ сырости. Черезъ всю камеру, площадью футовъ 16 на 10, отъ стѣны, гдѣ была дверь, до противоположной, устроены сплошныя нары.

Въ камерѣ было шесть человѣкъ. Питеро сидѣло на нарахъ, поджавъ ноги, шестой лежалъ и спалъ.

Я еще стоялъ у двери, когда одинъ изъ нихъ, человекъ лѣтъ пятидесяти, обратился ко мнѣ.

— Здравствуйте. Не стѣсняйтесь и не смущайтесь. Располагайтесь тутъ на нарахъ. Мы люди не такіе ужъ страшные.

Вы что — новичекъ? Съ воли? Папиросы есть? — говорил онъ, освобождая мѣсто на нарахъ.

У меня оставались двѣ пачки папиросъ. Я отдалъ, и ихъ немедленно подѣлили.

— Ну-съ, теперь говорите, кто вы, а я потомъ расскажу вамъ, кто мы.

Я сказалъ.

— Такъ-съ! Радъ познакомиться, хоть и жалѣю, что пришлось встрѣтить васъ здѣсь. Шпіоновъ — всѣ иностранцы теперь считаются шпіонами — среди насъ еще нѣтъ. Мы, главнымъ образомъ, вредители. Я, напримѣръ, вредитель изъ ВСНХ, по профессіи инженеръ-механикъ. Всѣ инженеры теперь считаются вредителями, — засмѣялся онъ, теребя свою длинную бороду. — Тотъ вонъ мрачный господинъ былъ когда-то самымъ выдающимся адвокатомъ въ Москвѣ, но... слишкомъ интересовался политикой, да еще лѣвой. Этотъ симпатичный парень — въ свое время былъ организаторомъ чеки на Украинѣ, а потомъ главнымъ бухгалтеромъ харьковской кооперации. Обвиняется въ мошенничествѣ, въ предательствѣ интересовъ своей страны. Я, собственно говоря, противъ его разстрѣла не возражаю. Тѣ вонъ двое — «трактористы».

Я вообще не очень хорошо понималъ эту странную рѣчь и съ удивленіемъ посмотрѣлъ на этихъ двухъ пожилыхъ людей, блѣдныхъ, одутловато-полныхъ, съ мягкими, слабыми руками. Какіе они могли быть трактористы?

«Вредитель» изъ ВСНХ самодовольно разсмѣялся, увидѣвъ, что окончательно запуталъ меня.

— Не понимаете? Очень просто. ГПУ требуетъ съ этихъ гражданъ по 50.000 золотомъ на покупку тракторовъ въ Соед. Штатахъ; а эти эгоисты, эти мошенники не хотятъ пожертвовать такую мелочь для общаго блага, хотя во времена Нэп'а должны были нажить милліоны. За это имъ и кличка — трактористы! А тамъ вонъ — «дядя Саша». Онъ трое сутокъ пробылъ на конвеерѣ, теперь отсыпается.

Ничего не понимая, я смотрѣлъ на старика, лежавшаго въ углу, и словно окаменѣвшаго въ своей мертвенно-неподвижной позѣ.

— Не знаете, что такое конвееръ? Это, я вамъ скажу, техническая штука. Допросикъ такъ сутокъ на трое, четверо, пятеро. Слѣдователи мѣняются и перекидываютъ васъ одинъ другому. Никакого мучительства, только спать не даютъ. Если что за душой есть — сознается. А вотъ если съ васъ золото тре-

буютъ, а его нѣтъ — тогда аминь ваше дѣло, пропали. Бываетъ, впрочемъ, и съ мучительствомъ.

Въ этотъ моментъ дверь съ шумомъ отворилась и меня потребовали къ допросу.

Гелеустъ высокаго ранга, два ромба, принялъ меня чрезвычайно любезно, предложилъ папиросу, сталъ увѣрять, что чрезвычайно сожалѣетъ о моемъ арестѣ, и что не освобождаетъ меня немедленно только потому, что слишкомъ поздно и канцелярія уже не работаетъ. Но выглядѣлъ онъ что-то черзчуръ ужъ ласково, чтобъ ему можно было вѣрить.

— Вы не ужинали сегодня? — продолжалъ онъ, улыбаясь и не сводя съ меня странно-блестящихъ, возбужденныхъ глазъ.

Онъ позвонилъ. Подали на подносѣ чай и бутерброды.

Я ѣлъ и пилъ, но какъ-то ничего не понимая. Пережитое за день само по себѣ уже было своего рода конвееромъ.

— Видите, — говорилъ онъ страшно вѣжливо, — у насъ есть нѣсколько вопросовъ, касающихся вашего предполагаемаго отъѣзда за границу. Каковы, напримѣръ, ваши политическія убѣждения? Я знаю, вы пять лѣтъ работали въ СССР. Отзывы о васъ съ мѣста службы — отличные. Но все-же, каково ваше отношеніе къ намъ? Сочувствуете? Безразличны? Или, можетъ быть, враждебны? — закончилъ онъ, не мѣняя любезнаго тона.

Я сказалъ, что человекъ я служащій, дѣлалъ, что считалъ лучшимъ для предпріятія, въ которомъ я работалъ, совѣтской власти — сочувствую, а въ политическихъ вопросахъ вообще разбираюсь слабо.

— Отлично! — воскликнулъ онъ. — Такъ почему-бы вамъ не принять совѣтское подданство? Это не поздно и сейчасъ. Увѣряю васъ, это самый простой выходъ. Что вы скажете?

— Скажу, что я — финнъ, что семья моя въ Финляндіи и что я хочу вернуться на родину.

Онъ всталъ, будто не слыша моего отвѣта, уставился мнѣ въ глаза своими странными, полузакрытыми глазами съ расширенными зрачками, покачнулся, словно теряя равновѣсіе, и вышелъ.

Что это было? Считалъ-ли онъ, что со мной не стоитъ разговаривать или онъ самъ не въ состояніи былъ продолжать допросъ, потому что на него дѣйствовалъ кокаинъ или какой-нибудь другой наркотикъ, я понять не могъ.

Какъ только онъ вышелъ, меня повели обратно въ камеру.

Тамъ всѣ спали. Я вползъ между «вредителемъ» и «дядей Сашей» и тоже мгновенно уснулъ. Мнѣ снилось, что я въ вагонѣ, что поѣздъ мчится съ ужасающей быстротой, что меня бро-

саеть изъ стороны въ сторону, и потребовалось немовѣрное внутреннее усиліе, чтобы осознать, что толчки — это реальность, что «вредитель» трясеть меня за плечо, что я не въ вагонѣ, а въ камерѣ и конвойный, стоя съ надзирателемъ въ открытой двери, требуютъ меня — съ вещами!

Вещей у меня было — одно пальто, единственное, что уцѣлѣло послѣ всѣхъ обысковъ. Въ головѣ было абсолютно пусто: я не могъ-бы даже сообразить, долго-ли я спалъ — т. е. нѣсколько часовъ или нѣсколько минутъ.

Вели меня съ необыкновенной поспѣшностью, опять черезъ корридоры и переходы, во внутренний дворъ, въ закрытый тюремный автомобиль, въ полную темноту, гдѣ кто-то еще былъ. Машина дернулась, тутъ-же вскорѣ остановилась; на ея гудки открыли тяжелыя желѣзныя ворота и она въѣхала во дворъ.

— Лубянка 2, — сказалъ шепотомъ тотъ, кого я не видѣлъ.

— А были гдѣ?

— Лубянка 14. Здѣсь — центръ.

«Черный воронъ» пыхтѣлъ, пятился и остановился.

— Давай, выходи!

Я вылѣзъ, второму было приказано оставаться; я его такъ и не видѣлъ.

Опять корридоры, номерованныя двери, камера № 16.

— Заходи!

Это была не камера, а какая-то щель *), почти цѣликомъ занятая не то скамьей, не то деревянными нарами. Воздухъ тяжелый, невыносимо жарко и душно. Я чувствовалъ, что задыхаюсь, что я погибну прежде, чѣмъ кто-нибудь узнаетъ, гдѣ я, что это, можетъ быть, уже конецъ. Во всякомъ случаѣ, конецъ надеждамъ, твердости, рѣшимости спастись.

Я сорвалъ съ себя пальто, пиджакъ; повалился на скамью и опять уснулъ, какъ мертвый.

Но опять открылась дверь и стражъ вопилъ: — Давай, выходи!

Мучительная жажда сна, забытья и хольба по глухимъ корридорамъ и переходамъ, сплетались въ кошмаръ. Внутренній дворъ, гдѣ, какъ будто, я только что былъ, ворота, второй дворъ, направленное въ меня дуло нагана, открывающіяся и тотчасъ закрывающіяся двери, — я уже ничего не понималъ и не воспринималъ. Какая-то дверь открылась на лѣстницу и

*) Позже я узналъ, что эти камеры заключенные называютъ — «собачники».

конвойный погналъ меня на пятый этажъ съ такою быстротою, что, когда мнѣ приказано было остановиться, я не чувствовалъ ничего, кромѣ стука крови въ вискахъ.

Въ каморкѣ пятаго этажа меня опять до нага раздѣвали, обыскивали. Когда я еще былъ голый, вошелъ фельдшеръ, пощупалъ пульсъ, сдѣлалъ нѣсколько уколовъ въ руку — прививка — какая? зачѣмъ? — Опять окрикъ: — Давай, одѣвайся! — Въ такой-же спѣшкѣ внизъ по лѣстницѣ, во дворъ, въ другое зданіе, вверхъ по другой лѣстницѣ, и, наконецъ, остановка передъ массивной дверью съ маленькимъ оконцемъ. Конвойный позвонилъ, спалъ меня старшему надзирателю, который ввелъ меня во внутрь помѣщенія. Отъ необычайной тишины казалось, что вокругъ меня внезапно все остановилось. Полъ корридора былъ устланъ матомъ, надзиратели были въ валенкахъ, двигались безшумно, говорили едва слышнымъ шепотомъ.

— Курацій? — спросилъ старшій надзиратель, пока два другіе ждали распоряженій.

— Да.

Онъ отмѣтилъ что-то на бумагѣ, съ которой я постулилъ, и передалъ ее помощнику.

— Въ уборную надобность есть?

— Нѣтъ.

Онъ повелъ меня по корридору.

— Нельзя-ли воды? Пить очень хочу, — сказала я.

— Тише! — зашипѣлъ онъ. — Въ свое время получите, что полагается.

На поворотѣ въ корридорѣ висѣли часы. Было половина третьяго ночи. Двѣнадцать часовъ тому назадъ меня привезли въ Москву. Если-бъ это было двѣнадцать лѣтъ назадъ, я-бы не удивился. Тогда я былъ твердо увѣренъ въ своемъ правѣ на жизнь, вѣрилъ, что затрудненія и недоразумѣнія должны разрешиться, теперь — я зналъ, что меня захлестнула такая огромная машина, въ которой я уже не человѣкъ.

Въ камерѣ.

Камера была большая, но воздухъ былъ насыщенъ такимъ отвратительнымъ, специфически-кислымъ запахомъ, что въ первый моментъ у меня захватило дыханіе. Два большихъ окна съ двойными рамами наглухо закрыты, несмотря на лѣто и жару. Снаружи они защищены сплошными желѣзными щитами.

Полъ дубовый, паркетный. Очевидно камеры были устроены въ какомъ-то частномъ домѣ. Позже я узналъ, что это былъ домъ Reddeway Belting Co.

Пока не потушили свѣта, я могъ только замѣтить, что по-средины стоялъ столъ, по стѣнамъ — двѣнадцать коекъ, — для меня слѣшно внесли тринадцатую. Всѣ заключенные лежали лицомъ къ комнатѣ, всѣ спали, или дѣлали видъ, что спятъ; всѣ казались много старше меня, а двое были старики.

Отъ духоты, жары, усталости я то тяжело задремывалъ, то просыпался съ ощущеніемъ грязной липкой испарины и жгущихъ укусовъ напавшихъ на меня клоповъ.

— Теперь насъ чертова дюжина. Кого-то заберутъ... И куда?

Подъ эти слова я очнулся на утро.

Надъ «парашей» стоялъ высокій, сѣдой человѣкъ, чистилъ зубы и разсуждалъ самъ съ собой. Другіе одѣвались иправляли постели.

— Здравствуйте, молодой человѣкъ, вставайте, сейчасъ будетъ «оправка».

Это говорилъ мнѣ староста камеры, какъ я потомъ узналъ, Борисъ Борисовичъ Араповъ, бывший адвокатъ.

Тутъ-же пріоткрылась дверь камеры и надзиратель всунулъ мусорное ведро и двѣ щетки.

— Ваша очередь, Александръ Аркадьевичъ, выносить «парашу», — вѣжливо напомнилъ Борисъ Борисовичъ.

— Моя, — отозвался красивый человѣкъ лѣтъ сорока, съ крѣпкими, вьющимися черными волосами. — Но моя и горбушка, — съ добродушнымъ удовольствіемъ напомнилъ онъ.

— Александръ Аркадьевичъ Ростовскій, — отрекомендовался онъ, взглянувъ на меня. — Бывшій офицеръ. Былъ на турецкомъ фронтѣ; сражался противъ Колчака. Теперь подпалъ подъ кампанію по ликвидаціи бывшихъ офицеровъ.

Я не зналъ, что сказать.

Двое другихъ, еще незнакомыхъ мнѣ, быстро подметали полъ. Шелкнулъ глазокъ и надзиратель скомандовалъ: — Готовсь!

Всѣ выстроились попарно; всталъ и я. Во главѣ Александръ Аркадьевичъ, съ «парашей» въ рукѣ.

Главный надзиратель открылъ дверь и подозрительно оглядывая каждого, пропустилъ насъ въ корридоръ, гдѣ оба его помощника встали по сторонамъ и мы медленно двинулись къ уборной въ концѣ корридора.

Передъ входомъ въ «театръ», какъ здѣсь называли убор-

ную, старшій надзиратель каждому вручилъ по обрывку бумаги — не туалетной, конечно, и не газетной.

Затѣмъ насъ закрыли въ уборной ровно на 12 минутъ, въ теченіе которыхъ надо было успѣть воспользоваться клозетомъ, въ которомъ было только четыре очка, и вымыться у четырехъ крановъ.

Пока продолжалось наше «представленіе» въ «театрѣ», въ камерѣ надзиратели производили ежедневный очередной обыскъ, перерывая всѣ постели, вывертывая карманы оставшагося тамъ платья.

Въ уборной все совершалось организованно, по очереди. Такъ какъ я былъ младшимъ по возрасту и стажу, мнѣ все приходилось дѣлать послѣднему и въ крайней спѣшкѣ. Адвокатъ, сидѣвшій уже девять мѣсяцевъ, все дѣлалъ первымъ и такъ наловчился, что успѣлъ даже выстирать подъ краномъ носовой платокъ.

Ровно черезъ 12 минутъ дверь въ уборную открылась и, не спрашивая, готовы мы или нѣтъ, насъ выстроили и погнали назадъ въ камеру. Тутъ-же намъ дали ведро горячей воды — называется «чай» — и фунтовые куски хлѣба. Всѣ мы, тринадцать, сѣли вокругъ стола и принялись за завтракъ.

Странная была картина: лица одутловатыя; блѣдныя, небритыя, одежда мятая, бѣлье грязное, а манеры хорошія и глаза умные.

— Вы что смотрите? — обратился ко мнѣ Борисъ Борисовичъ. — Думали въ преступную компанію попали? Нѣтъ-съ, Лубянка 2 — это тюрьма привелигированная; можно сказать, аристократическая. Посмотрите, напримѣръ, полъ — паркетный; койки — желѣзныя, а не какія-нибудь тамъ деревянные щиты на козлахъ; полагается казенная простыня — одна, правда, но все-таки имѣется. Полотенце дадутъ вамъ, смѣну бѣлья на десять дней; кусочекъ мыла величиной въ кубической сантиметръ; ложку сахарнаго песку на день и папиросы. Приведется побывать въ другихъ тюрьмахъ, такъ эту вспомните, какъ гостиницу для интуристовъ. Но строгости тутъ тоже особая: передачъ — никакихъ, геворить — только шопотомъ, прогулокъ — нѣтъ и по камерѣ ходить можете только въ носкахъ, безъ обуви. Обѣдъ дадутъ въ 12-ть — супъ и каша; въ половинѣ пятого ужинъ — повтореніе пройденнаго. Безъ четверти десять — ложись! Въ десять потушать свѣтъ. Каждую пятницу будете имѣть счастье лицезрѣть коменданта тюрьмы, который васъ спроситъ, не имѣете-ли жалобъ? Если пожалуетесь на что-нибудь, скажетъ — тутъ вамъ не богадѣльня. — Разъ въ мѣ-

сяицъ, если будете примѣрно себя вести, сводятъ къ парикмахеру. Медицинская помощь подается по требованію немедленно — дѣкарствъ имѣется два: для обычныхъ случаевъ — щепотка соды, для тяжелыхъ — ложка касторки. Ну-съ, а что касается отношеній со свидѣтелями — это ваше личное дѣло. Одно могу посоветовать — держитесь крѣпче, не трусьте.

— Сколько-же тутъ заключенныхъ? — спросилъ я того-же Бориса Борисовича; другіе всѣ ѣли молча, выглядѣли мрачно и я не рѣшался еще съ ними заговорить.

— Въ нашемъ зданіи въ четырехъ этажахъ — камеры, въ пятomъ — канцеляріи. Въ каждомъ этажѣ по десять большихъ камеръ на 12 заключенныхъ и много мелкихъ, на два и на четыре человѣка. Считайте на этажъ по 150 заключенныхъ, значитъ въ общемъ — около шестисотъ. «Собачники»... вы тамъ были?

— Да.

— Тѣ въ подвальномъ этажѣ; ихъ я въ расчетъ не принималъ. Во всякомъ случаѣ Лубянка 2, это, вѣроятно, самая малочисленная изъ тюремъ ГПУ, но — самая важная.

Борисъ Борисовичъ говорилъ съ такимъ знаніемъ дѣла, что даже какъ-то пріятно было его слушать. Всѣ уже кончили ѣсть, отошли отъ стола или тутъ-же занялись своими дѣлами, а онъ продолжалъ просвѣщать меня.

— Черезъ эту тюрьму прошелъ цвѣтъ русской интеллигенціи, остатки аристократіи и крупнаго купечества, — говорилъ онъ съ отгѣнкомъ своеобразной гордости. — Не забывайте, здѣсь окончилъ свою бурную жизнь Борисъ Савинковъ — яркій былъ человѣкъ. Здѣсь сидѣли первые «вредители» — Шахтинскій процессъ, 1928 годъ. Затѣмъ, въ 1930 г. — «48» — наши лучшіе ученые и специалисты. Всѣ разстрѣляны. — Рамзинскій процессъ разыгрывался здѣсь-же. Потомъ — меньшевики, эсеры.

Тутъ-же онъ познакомилъ меня съ двумя профессорами, находившимися въ камерѣ:

— Рождественскій, Александръ... (отчества не помню), высшій авторитетъ въ СССР по гидро-сооруженіямъ — гавани, молы, каналы. Онъ вамъ расскажетъ и про Европу; и про Америку. Специально изучалъ Панамскій и Суэцкій каналы. Знаетъ всѣ гавани міра, а?

Профессоръ Рождественскій улыбнулся: — Бросьте, Борисъ Борисовичъ, что вы словно некрологъ мнѣ составляете!.

Я былъ пораженъ. Я никакъ не ожидалъ встрѣтить въ тюрьмѣ такихъ людей. И профессоръ вообще былъ такъ простъ и

естествененъ въ обращеніи, такъ прекрасно владѣлъ французскимъ и англійскимъ, такъ хорошо относился ко всѣмъ товарищамъ по камерѣ, и ко мнѣ тоже...

Со вторымъ профессоромъ, Новомберскимъ, кажется изъ Томскаго университета, я не успѣлъ какъ слѣдуетъ познакомиться — его перевели куда-то въ тотъ-же день. Его, кажется, обвиняли въ томъ, что онъ поддерживалъ Колчака, хотя съ тѣхъ поръ прошло уже десять лѣтъ, въ теченіе которыхъ онъ продолжалъ профессорствовать.

Третьей видной фигурой въ нашей камерѣ былъ инженеръ Бачмановъ изъ ВСНХ. До революціи онъ былъ владельцемъ металлургическихъ заводовъ, послѣ революціи — крупнымъ специалистомъ по тому-же дѣлу. Видъ у него былъ чрезвычайно импозантный: шесть футовъ восемь дюймовъ роста, вѣсу — свыше 350 фунтовъ, хотя, по его словамъ, онъ съ января, т. е. съ ареста, потерялъ 40 фунтовъ. Онъ былъ единственнымъ заключеннымъ, которому разрѣшалось получать бѣлье изъ дома, потому что тюремное бѣлье на него не годилось. Это было для него не привилегія, а мученье, потому что грязное бѣлье не разрѣшалось возвращать на волю и за пять мѣсяцевъ сидѣнья у него накопился огромный мѣшокъ. Его, кажется, обвиняли въ томъ, что онъ давалъ плохіе совѣты по изготовленію нержавеющей стали.

Затѣмъ шелъ инспекторъ Наркомфина. Не могу вспомнить его фамилію. Мнѣ сказали, что онъ былъ хорошо извѣстный въ Москвѣ экономистъ. Но въ тюрьмѣ онъ никогда не говорилъ объ этихъ вопросахъ. Его страстью была поэзія и театръ. Онъ все тихонько ходилъ по камерѣ, заложивъ за спину руки, и читалъ наизусть стихи Пушкина. Странный у него былъ видъ: близорукій, беспомощный, онъ постоянно терялъ свои очки, постоянно искалъ ихъ, и, найдя, опять сейчасъ-же откладывалъ въ сторону и, когда вспоминалъ про нихъ, то оказывалось, что онъ забылъ, куда ихъ положилъ, и все начиналось сначала. Въ какомъ «вредительствѣ» обвиняли его, я не помню.

Самымъ молодымъ изъ нашей камеры, если не считать меня, былъ маленькій человекъ, съ густой темной шевелюрой и заново выросшей крѣпкой бородой. Ему было лѣтъ 35. Звали его Стокманъ. Происходилъ онъ отъ нѣмецкихъ предковъ, но гордился, что по мыслямъ и чувствамъ онъ русскій. По профессіи онъ былъ инженеръ-механикъ, десять лѣтъ работалъ въ совѣтской авіаціи, былъ командиромъ авіо-эскадрона и капитаномъ двухъ орденовъ краснаго знамени. Онъ почти никогда не принималъ участія въ общихъ разговорахъ, а сидѣлъ

часами погруженный въ построение геометрическихъ фигуръ изъ спичекъ, пытаясь рѣшать задачи, которыя ему задалъ профессоръ Рождественскій. И только если что-нибудь его задѣвало, какъ, напр., анекдоты Бориса Борисовича, который, какъ адвокатъ, вообще любилъ поострить, онъ ввязывался въ споръ съ такой горячностью и страстностью, какъ будто что-нибудь отъ этого могло измѣниться въ нашей тюремной судьбѣ.

Полной противоположностью ему былъ Николай Макаровичъ Погожевъ — спокойный, высокій, худой человекъ лѣтъ 50-ти. У него была одна особенность, изъ-за которой его недолго любили и онъ самъ держался какъ-то въ сторонѣ. По правиламъ, установленнымъ въ камерѣ заключенными, запрещалось курить послѣ вечерней «оправки», во время которой камера провѣтривалась, пока насъ водили въ уборную. Всѣ строго соблюдали это, кромѣ Погожева. Онъ курилъ трубку и, если только у него былъ табакъ, закуривалъ ее, когда ему хотѣлось — хоть вечеромъ, хоть ночью. Больше всего страдалъ отъ этого проф. Рождественскій, потому что у него была астма, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, онъ прекрасно владелъ собой и никогда не начиналъ ссоры. Другіе-же, кто изъ принципа, кто оттого, что самимъ хотѣлось курить, начинали говорить Погожеву всякія колкости. Онъ все выслушивалъ съ легкой улыбкой и продолжалъ курить. Я думаю, онъ такъ долго сидѣлъ въ тюрьмѣ, что его уже не задѣвали никакія человѣческія слова, какъ-бы злы они не были. Единственно, что его трогало и о чемъ онъ говорилъ, да и то только со мной, былъ его сынъ: онъ учился въ высшей школѣ и отца очень беспокоило, что его заключеніе можетъ отозваться и на сынѣ.

Я думалъ, что перечислилъ уже всѣхъ знаменитостей нашей камеры, какъ вспомнилъ еще двухъ.

Инженеръ Швальбе, одинъ изъ директоровъ государственнаго резинового треста «Треугольникъ». Онъ работалъ на заводѣ съ 1906 г., продолжалъ работать тамъ-же и послѣ революціи, когда-же въ 1930 г. задания пятилѣтки оказались невыполнимыми, его арестовали, какъ и многихъ другихъ.

Оптикъ Д. Г. Жемчужниковъ, преподаватель Военной Академіи въ Ленинградѣ. Интересна причина его ареста: ему была предложена командировка въ Германію для закупки у Цейсса оптическихъ инструментовъ для балтійскаго военнаго флота. Зная, по опыту, что послѣ такой командировки ему не уцѣлѣть, онъ отказался ѣхать. Результатъ оказался тотъ-же: посадили на Лубянку 2. Но онъ не унывалъ. Впрочемъ, вообще я

въ жизнь мою не видѣлъ человѣка веселѣе и забавнѣе его. И лицо его, съ толстымъ носомъ, толстыми губами и искрящимися голубыми глазами было словно нарочно создано, чтобы владѣльцу его сыпать остротами и анекдотами, подкрѣпляя слова такой мимикой, что я и сейчас не могу удержаться отъ смѣха, какъ только его вспомню. И въ тюрьмѣ мы смѣялись — нельзя было не смѣяться.

Не специалистовъ въ камерѣ, опять-таки кромѣ меня, потому что какой-же я былъ специалистъ въ такой компаніи, былъ только одинъ. Я не могу вспомнить его имени, не помню, какъ слѣдуетъ, и его наружности: онъ былъ тяжело боленъ цынгой, лежалъ не вставая и никогда, ни съ кѣмъ не говорилъ, развѣ что игралъ въ шахматы, и тогда почти всегда всѣхъ обыгрывалъ. Его подозрѣвали въ какой-то долѣ участія въ разстрѣлѣ бакинскихъ комиссаровъ во время гражданской войны 1919-20 гг. и Борисъ Борисовичъ сказалъ мнѣ какъ-то, что надежды у него не можетъ быть никакой.

— А у другихъ какъ? — наивно спросилъ я.

— Надѣяться никому не возбраняется, — угрюмо отвѣтилъ онъ.

О. Фельтгеймъ.

Т. Г. Масарикъ и національный вопросъ

Національный вопросъ занимаетъ исключительное мѣсто во всѣхъ произведеніяхъ Т. Г. Масарика. Съ самаго начала своей научной дѣятельности онъ много, непрерывно и всесторонне надъ нимъ размышлялъ теоретически. Онъ началъ имъ заниматься какъ практической политикъ, депутатъ и глава политической партіи въ старой австрійской монархіи, потомъ какъ вождь нашей борьбы за освобожденіе, и наконецъ, какъ президентъ нашей республики. Необыкновенно глубокая историческая подготовка и огромный практической опытъ придають всѣмъ заявленіямъ Масарика по этому вопросу совершенно исключительное значеніе. Въ этой статьѣ мы можемъ дать, къ сожалѣнію, лишь самый общій и сравнительно краткій набросокъ всего того, что имъ было по этому поводу сказано; это лишь скромный вкладъ, который долженъ помочь освѣтить одну изъ составныхъ частей безсмертнаго духовнаго наслѣдія Масарика.

Однако, для того, чтобы правильно понять и оцѣнить взгляды Т. Г. Масарика на національный вопросъ, необходимо знать условія, при которыхъ они возникали и развивались. Здѣсь я хочу только напомнить, что въ періодъ нашего политическаго безправія, въ который протекала бѣольшая часть жизни Т. Г. Масарика, поскольку онъ, какъ и мы всѣ, жилъ въ государствѣ чуждомъ нашему сердцу, — нашимъ высшимъ идеаломъ былъ безспорно н а р о д ъ. Съ момента своего пораженія нашъ народъ терялъ чѣмъ дальше, тѣмъ больше сознаніе своей государственности, но зато у него съ необычайной силой расло сознаніе своего языковаго и духовнаго національнаго единства. Начиная со второй половины XVIII в. приходитъ къ намъ, главнымъ образомъ изъ Германіи, понятіе народа какъ единства людей, объединенныхъ прежде всего одинаковымъ языкомъ, общей традиціей, культурой, обычаями, единства, существованіе котораго не зависитъ отъ внѣшнихъ условій, такъ

что оно может существовать и при отсутствіи независимости и вообще политической свободы. Это понятіе, не противорѣчившее нашей собственной традиціи и вполне отвѣчавшее жизненнымъ потребностямъ народа, который существовалъ безъ политической свободы и былъ вынужденъ жить въ чужомъ государствѣ, стало поэтому лозунгомъ и руководящей идеей нашихъ «будителей»^{*)}. Такъ, наприимѣръ, мы можемъ прочесть въ памятномъ разсужденіи Юнгманна «О языкѣ чешскомъ» (1803 г.), что благодаря языку одинъ народъ отличается отъ другого, что единствомъ языка, несмотря на всѣ политическія границы, опредѣляется бытіе народа, такъ что «сколько языковъ, столько народовъ». Наши будители, стремившіеся прежде всего къ сохраненію и развитію чешскаго языка и культуры, правда, вспоминали охотно минувшую славу чешскаго государства, въ которой они видѣли блестящее выраженіе силы и воли народа, но при этомъ они ставили народъ всегда выше государства и поэтому не особенно беспокоились о былыхъ историческихъ правахъ чешскаго государства. Во время политической борьбы за переустройство Габсбургской монархіи, которая началась въ 1848 г., чехи, правда, присоединились къ программѣ, конечной цѣлью которой было возстановленіе прежняго чешскаго государства: послѣ введенія конституціи тѣ же чехи вмѣстѣ съ дворянствомъ вступили въ открытый бой за историческія права своего государства. Однако, послѣ неуспѣха этого движенія, чешская политика отклоняется все больше и больше отъ государственной программы и, отказываясь отъ бесполезной въ данный моментъ борьбы за государственную независимость, посвящаетъ себя непрерывной работѣ на полѣ всесторонняго внутренняго культурнаго развитія чешскаго народа. Народность, данная нашей принадлежностью къ единому національному цѣлому и выраженная общимъ языкомъ, историческими традиціями, моральными и политическими идеалами, представлялась намъ естественно подлиннымъ сокровищемъ, а ея развитіе наивысшимъ, а часто и абсолютнымъ мѣриломъ. Во всякомъ случаѣ разумный и самоотверженный патриотизмъ былъ въ нашихъ глазахъ одной изъ первѣйшихъ добродѣтелей и свѣтлѣйшихъ обязанностей каждаго сознательнаго члена наше-

^{*)} «Будителями» въ чешской литературѣ называются тѣ дѣтели конца 18-го и начала 19-го столѣтія (Добровскій, Коларъ, Палацкій и др.), которые какъ словомъ, такъ и своими трудами стремились пробудить къ жизни гложнувшее національное сознание чешскаго народа. — Ред.

го народа. Въ этомъ было, конечно, много прекраснаго и благороднаго, но одновременно во всемъ этомъ скрывалась опасность односторонняго, некритическаго и для подлинныхъ интересовъ народа опаснаго націонализма.

И на Масарикъ въ молодые годы можно наблюдать вліяніе подобныхъ идей и чувствъ. Въ одной изъ его первыхъ работъ, изданной въ 1876 г. — Масарику тогда было 26 лѣтъ и онъ подписывался др. Властимиль *), — Масарикъ даетъ подробный разборъ ученія Платона о государствѣ; эта работа озаглавлена «Платонъ-патріотъ» и эпиграфомъ служатъ излюбленные въ то время патріотическіе стихи. Въ ней Масарикъ защищаетъ Платона противъ обвиненій нѣмецкаго историка Нибура, утверждавшаго, будто Платонъ не былъ добрымъ гражданиномъ и высказываетъ убѣжденіе, что наоборотъ въ ученіи Платона, поскольку оно касается его «Политики», содержатся глубокая положительная идея: «благодаря ему, говоритъ Масарикъ, — могутъ глубже обосновать свои воззрѣнія на патріотизмъ тѣ, кто до сихъ поръ держатся обычныхъ взглядовъ партійныхъ теоретиковъ и практиковъ на столь важную проблему». Масарикъ не находитъ ни въ жизни, ни въ произведеніяхъ Платона ничего такого, что оправдало бы мнѣніе Нибура. Ошибку Нибура Масарикъ объясняетъ тѣмъ, что онъ «смѣшиваеъ патріотизмъ новѣйшей эпохи съ патріотизмомъ прошлаго», да и вообще «о патріотизмѣ не имѣетъ яснаго понятія», какъ, впрочемъ, «почти всѣ патріоты, государственные дѣятели и философы», и что «кажется уже пришло время выработать болѣе ясныя понятія о столь важномъ вопросѣ». Задуманную работу, которая выясняла бы основныя понятія «патріотизма», Масарикъ впоследствии не напечаталъ, но къ вопросамъ съ этимъ связаннымъ онъ непрерывно возвращался въ теченіе всѣхъ послѣдующихъ лѣтъ.

Прежде всего онъ затрагиваетъ эту проблему въ статьѣ «Эрнестъ Ренанъ о національности», напечатанной въ 1883 году въ историческомъ сборникѣ Резека. Здѣсь онъ дѣлаетъ обзоръ взглядовъ, высказанныхъ Ренаномъ въ трудѣ «*Qu'est-ce qu'une nation?*» и присоединяетъ къ нему часто очень критическій разборъ. Въ концѣ статьи онъ говоритъ: «Мы поймемъ національность лишь въ томъ случаѣ, если мы надлежащимъ образомъ постигли развитіе человѣчества. Разсужденіе о національности не можетъ быть лишь соціологической моногра-

*) «Власть» по чешски означаетъ родина; Властимиль значитъ въ переводѣ «любящій родину».

фией: съ точки зрѣнія самаго ученія и метода подобная работа можетъ быть построена лишь на широкомъ базисѣ политической философіи». Хотя «поучительный и интересный» трудъ Ренана не отвѣчаетъ этимъ требованіямъ, не давая радикальнаго разрѣшенія проблемы, тѣмъ не менѣе Масарикъ во многомъ признаетъ его правоту. Соглашается онъ особенно съ нимъ въ общихъ взглядахъ, что національность должна быть подчинена высшимъ и благороднымъ стремленіямъ просвѣщенія. «Послѣдними и подлинными движущими силами общественной жизни являются идеи и чувства: рѣчь, физиологическія особенности племени и т. д. еще не составляютъ человѣка въ цѣломъ; эпоха, которая въ подобныхъ вещахъ видитъ социальный абсолютъ, доказываетъ, что не имѣетъ ясныхъ и возвышенныхъ идей, у нея нѣтъ великой цѣли, она является если не эпохой упадка, то во всякомъ случаѣ эпохой перелома и перерожденія».

Взглядъ Масарика, выраженный въ этихъ словахъ, весьма мало отвѣчалъ образу мыслей и чувствъ большинства чешскаго общества той эпохи, которое, по указаннымъ выше причинамъ, съ трудомъ могло понять, что народность, не будучи социальнымъ абсолютомъ, должна быть сама подчинена нѣкимъ высшимъ и благороднѣйшимъ цѣностямъ. Безспорно, большинству взгляды Масарика должны были казаться прямо еретическими; помню, какъ я самъ былъ ими пораженъ и взволнованъ, когда читалъ разсужденіе Масарика болѣе чѣмъ черезъ десять лѣтъ послѣ его опубликованія. Своимъ исключительнымъ участіемъ въ борьбѣ противъ подложныхъ Зеленогорской и Кралеворской рукописей, которую большинство объясняло у Масарика недостаткомъ національнаго патріотическаго чувства, онъ самъ укрѣпилъ массы въ этомъ убѣжденіи. Этотъ научный споръ, какъ я уже говорилъ въ иномъ мѣстѣ (въ очеркѣ «Масарикъ и наша политическая программа»), превратился не безъ заслуги Масарика въ огромный политическій бой. Противники рукописей, съ Масарикомъ во главѣ, подготовили значительныя измѣненія въ политическомъ мышленіи и чувствованіи своего народа тѣмъ, что боролись съ ложнымъ сентиментальнымъ романтизмомъ во взглядахъ на далекое чешское прошлое и требовали неукоснительной критики въ научныхъ вопросахъ, критики, которая бы создавала непоколебимую позицію для научно обоснованной правды и была бы противъвоисомъ лжи, которую народъ до сихъ поръ считалъ своей святыней. Борьба съ поддѣльными памятниками старочешской письменности превратилась очень скоро въ бой съ фальшивы-

ми кумирами и вредными предразсудками въ чешской политической жизни. Мы можемъ къ этому еще прибавить, что эта борьба велась также главнымъ образомъ съ неправильнымъ пониманіемъ патриотизма и съ грубымъ материалистическимъ націонализмомъ.

Самъ Масарикъ въ это время уже неоднократно и блестяще доказывалъ, что его борьба съ націонализмомъ этого рода вовсе не означаетъ ни недостатка народнаго чувства, ни недостатка мужества въ борьбѣ за подлинныя интересы и права своего народа. Достаточно вспомнить его рѣчь, которую онъ произнесъ какъ депутатъ въ австрійскомъ парламентѣ въ концѣ 1892 года. Онъ рѣзко обвинялъ иѣмцевъ въ томъ, что они преисполнены предразсудковъ, стремятся къ господству и неуживчивы, что они притѣсняютъ славянскіе народы, что мы хотимъ добиться цѣлостной жизни для нашего народа, что, наконецъ, «мы хотимъ въ культурномъ и государственномъ отношеніи жить такъ же полно и интенсивно, какъ большіе народы, какъ иѣмцы въ Австріи». Онъ называлъ близорукими извѣстные круги, которые «не хотятъ понять, что нашъ народъ обладаетъ своей собственной культурой, что онъ много сдѣлалъ, и еще дѣлаетъ для челоѣчества, австрійскаго государства и всѣхъ народовъ, и что этотъ народъ хочетъ снова, вспоминая о своемъ прошломъ, жить полной жизнью, какъ народъ независимый, хочетъ творить великія, подлинно великія дѣла».

Провозглашая такъ право своего народа на «цѣлостную и полную національную жизнь», Масарикъ обосновывалъ теоретически свое понятіе народнаго права тѣмъ, что нашъ народъ свершилъ въ прошломъ и хочетъ еще сдѣлать для челоѣчества.

Желаніе указать своему народу, его врагамъ и цѣлому міру то, что въ прошломъ чешскаго народа было подлинно великаго и цѣннаго, было у Масарика безспорно основной движущей силой при работѣ надъ его книгой «Чешскій вопросъ», вышедшей какъ разъ въ 1894 году, какъ и надъ нѣкоторыми дополнительными трудами, въ которыхъ онъ изложилъ свою философію чешской исторіи. При помощи этой своей философіи Масарикъ безспорно хотѣлъ дать также определенное направленіе политическимъ устремленіямъ своего народа. Онъ стремился привлечь его къ гуманитарной идеѣ, привести его къ тому, чтобы въ борьбѣ за свои интересы онъ не забывалъ великихъ всечелоѣческихъ цѣнностей, стремился къ гармоніи челоѣческаго и народнаго, старался отвлечь его отъ грубаго націонализма и привести къ сознательной любви къ родинѣ,

основанной на подлинномъ знаніи и правильномъ пониманіи великихъ историческихъ событій, отвлечь отъ излишняго романтическаго историзма и привести къ упорному труду на пользу культурнаго развитія, отвлечь его отъ вѣры въ грубую силу и привести къ уваженію великой идейной и моральной силы.

Призывая свой народъ обратиться къ гуманитарному идеалу нашихъ «будителей», въ которомъ онъ видѣлъ «весь смыслъ нашей народной жизни», Масарикъ не хотѣлъ, чтобы этотъ идеалъ былъ воспринятъ, какъ нѣкое романтическое мечтаніе. Онъ училъ, что «гуманитаризмъ безъ послѣдовательныхъ усилий и труда мертвъ», что «гуманитаризмъ вовсе не означаетъ сентиментальности, но, наоборотъ,—трудъ, постоянный трудъ». Онъ училъ далѣе (въ книгѣ «Гавличекъ»), что гуманитарная программа, правда, не допускаетъ насилія, но зато не только допускаетъ, но прямо требуетъ самозащиты и защиты другихъ отъ насилія. «Гуманитарная идея, — писалъ Масарикъ, — вовсе не проповѣдуетъ, что въ тотъ моментъ, когда торжествуетъ насиліе, мы должны сидѣть сложа руки; наоборотъ, она требуетъ, чтобы мы сопротивлялись насилію всѣми возможными средствами. Защищаться вовсе не значитъ пользоваться новымъ насиліемъ противъ другого насилія; это означаетъ лишь то, что необходимо защищаться, въ крайнемъ случаѣ даже и съ оружіемъ въ рукахъ». Гуманитарное воспріятіе народа и національности заключалось для Масарика въ томъ, что «народъ» не ограничивался для него привилегированнымъ буржуазнымъ сословіемъ, но включалъ и простонародье, крестьянъ и пролетаріатъ; наше національное возрожденіе онъ воспринималъ, какъ «моральное, политическое и культурное возрожденіе и освобожденіе той части народа, которая до сихъ поръ была исключена изъ сферы національнаго, культурнаго и духовнаго творчества» («Чешскій вопросъ»).

При всемъ этомъ Масарикъ не переставалъ бороться съ націонализмомъ той эпохи, поскольку онъ не отвѣчалъ его гуманитарнымъ идеаламъ. «О народахъ такъ же, какъ и о собственномъ народѣ, можно судить вполне безпристрастно, — пишетъ Масарикъ въ «Чешскомъ вопросѣ», — ибо вовсе нѣтъ необходимости обожествлять народъ, къ которому принадлежишь. Я не понимаю, почему познаніе дѣйствительности можетъ вредить естественной любви къ своему народу и языку. Въ избранные, высшаго ранга народы я не вѣрю. Не чувствую потребности унижать другіе народы, дабы этимъ былъ возвышенъ мой народъ. Какъ по отношенію къ людямъ, такъ и къ народамъ, я обращаю главное вниманіе на душу и духъ.

Языкъ не считаю святыней, а лишь средствомъ, служащимъ духу въ добръ и злѣ. Родной языкъ является естественно самымъ надобнѣйшимъ, а слѣдовательно и самымъ цѣлесообразнымъ средствомъ выраженія. Въ національныхъ спорахъ для меня на первомъ мѣстѣ стоитъ духовная борьба — идеи и чувства, рѣшающее значеніе тутъ играютъ моральныя цѣли. Лишеніе народа права на свой языкъ я считаю варварствомъ бездушнаго матеріализма и политическаго механизма. Съ матеріей я буду бороться духомъ». В лекціи о Я. Гусѣ, прочитанной въ 1895 г., Масарикъ говоритъ: «Национализмъ для насъ опаснѣе, чѣмъ мы это полагаемъ. Мы смотримъ на нашу народную жизнь слишкомъ односторонне, — мы считаемъ своей исторической задачей вѣчный антагонизмъ по отношенію къ нѣмцамъ и никакъ не можемъ понять и оцѣнить соответствующимъ образомъ свою собственную творческую линію, мы не умѣемъ работать не оглядываясь на иностранцевъ... Мы должны, наконецъ, начать жить для себя, жить творчески, мы должны идти безъ страха и оглядки своимъ собственнымъ путемъ, путемъ чешскимъ. Лишь такъ мы сможемъ освободиться отъ вѣчнаго страха за нашу малость, которая какъ гложущій червь будетъ сидѣть въ самой глубинѣ чешской души до тѣхъ поръ, пока она не найдетъ во всей полнотѣ величія нашей мысли и чешской идеи». «Изъ матеріалистическаго націонализма, — разъясняетъ Масарикъ, — рождается также та вѣра въ политическое, государственное и національное величіе, передъ которымъ падали ницъ всѣ эти Ганки, а послѣ нихъ всѣ, кто живетъ больше тѣломъ, чѣмъ духомъ».

Бурные споры, возникшіе осенью 1896 года среди студентовъ, и во время которыхъ было брошено обвиненіе, что значительная часть студенчества, особенно приверженцевъ гуманитарной программы Масарика, лишена національнаго чувства и даже настроена анти-национально, принудили Масарика энергично выступить противъ обвиненія въ «предательствѣ», скрывавшемся будто бы въ его программѣ («Наша эпоха», 1897 г.). Приведя цитаты изъ Коллара, Шафаржика, Палацкаго, Гавличка и Неруды, онъ доказывалъ, что гуманитарная программа является въ то же время нашей подлинно національной программой. Отвергая утвержденіе, что «гуманитарная программа проповѣдуетъ національное безразличіе», онъ писалъ: «Тѣмъ, для кого моральное и культурное состояніе нашего народа безразлично, тѣмъ будетъ такъ же безразлично, вѣрять ли народъ въ то или другое; но именно потому, что гуманистамъ не было и не будетъ все это безразлично, они работали и работаютъ

на пользу народного просвѣщенія». Далѣе онъ излагаетъ, что гуманитаризмъ требуетъ по отношенію къ нѣмцамъ и инымъ народамъ гуманитарной политической тактики. Это правда. Но политическая гуманность не проистекаетъ изъ сентиментальности или безразличія, а изъ глубокаго убѣжденія, что мы сами можемъ удержаться лишь гуманитаризмомъ. Мы вѣдь требуемъ гуманитаризма не по отношенію лишь къ себѣ, но и къ нашимъ національнымъ противникамъ. Своимъ противникамъ, провозглашающимъ, что «прежде всего мы обязаны обезпечить существованіе своего народа... а уже потомъ философы и гуманисты могутъ разрѣшать свои «идеальные вопросы», Масарикъ отвѣчалъ, что «вѣтъ временной разницы между національной и гуманитарной программой». «Народъ не можетъ быть внѣ или рядомъ съ человѣчествомъ и поэтому все, что мы дѣлаемъ для народа (хорошее и злое), дѣлаемъ тѣмъ самымъ и для человѣчества; для самого человѣчества вообще мы ничего не можемъ сдѣлать, потому что оно не находится внѣ, противъ, или надъ народомъ. Народъ это часть человѣчества; мы всѣ — это человѣчество». И далѣе: «Гуманитаризмъ послѣдовательно требуетъ дѣйствительной любви не только къ чужимъ, но и къ своимъ. Онъ требуетъ ея прежде всего по отношенію къ своимъ, потому что идеаль челоѣчности можно практически и основательно осуществить прежде всего у себя дома. Лишь пустой фантазеръ и сумасшедшій могли бы желать, чтобы чехъ для этого стремился въ Германію или Францію; работа прежде всего дома — вотъ категорическій императивъ гуманитаризма».

К. Крофта.

Отъ Учредительнаго Собранія къ Верховному Совѣту

(5/18.I.1918 — 12.I.1938).

Въ предоктябрьскіе дни и многіе простачки, а не двулич-
ный «Викжель» только, считали искренне, что необходимы
встряска и животворящее выступленіе массъ, чтобы выправить
политику Временнаго Правительства по скорѣйшей ликвидаціи
міровой войны, по окончательной передачѣ земли народу, по
созыву Учредительнаго Собранія. И самый захватъ власти 25
октября 17 года произведенъ былъ подъ этими манящими до-
зунгами: — «Немедленный миръ!», «Немедленная передача зем-
ли трудящимся!», «Немедленный созывъ Учредительнаго Со-
бранія!»

Мы знаемъ, какъ катастрофически не удалась интернаціо-
нальная задача Октября. Міровая бойня не только не была не-
медленно ликвидирована, а, наоборотъ; изъ-за Октября она
затянулась на лишніе мѣсяцы. И въ предѣлахъ Россіи ликви-
дированная механически война на внѣшнемъ фронтѣ немед-
ленно превратилась въ гражданскую войну съ внутреннимъ
врагомъ, продолжающуюся и по сей день. Изъятіе хлѣба у хлѣ-
бопаша, а потомъ и земли у земледѣльца составило социаль-
ное содержаніе этой не замиравшей 20 лѣтъ войны совѣтской
власти съ подсовѣтскимъ крестьянствомъ.

Превращеніе внѣшней войны въ внутреннюю, въ войну про-
фессіональныхъ революціонеровъ съ основной толщей русска-
го народа, получило свое политическое оформленіе въ роспу-
скѣ Всероссійскаго Учредительнаго Собранія, какъ пережитка
прошлаго, и въ замѣнѣ его системой Совѣтовъ, — «единствен-
ной формой способной обезпечить наиболѣе безболѣзненный
переходъ къ социализму», какъ значилось въ историческихъ
«Тезисахъ» Ленина.

За двѣ съ половиной недѣли до переворота, покидая такъ
называемый Предпарламентъ, лидеръ большевистской фракціи

Троикій огласилъ декларацію, въ которой подчеркивалось, что «буржуазные классы, направляющіе политику Временнаго Правительства, поставили себѣ цѣлью сорвать Учредительное Собраніе. Это сейчасъ основная задача цензовыхъ элементовъ, которой подчинена вся ихъ политика, внутренняя и ви́шняя». И созвучно Троцкому Сталинъ, за 24 часа до переворота, 24 октября писалъ въ статьѣ: «Что намъ нужно?» —: «Созывъ Учредительнаго Собранія разъ уже былъ отложенъ и теперь явно готовятся враги къ его окончательному срыву. Почему? Потому что въ правительствѣ сидятъ враги народа, которымъ невыгоденъ своевременный созывъ Учредительнаго Собранія».

Избранное въ назначенные еще Временнымъ Правительствомъ дни, Учредительное Собраніе было созвано лишь черезъ 2½ мѣсяца послѣ переворота и немедленно же, на слѣдующій день послѣ открытія, распущено. Началась эра «наиболѣе безболѣзненнаго перехода къ социализму»...

Въ этихъ цѣляхъ отъ «пятихвостки», на которой покоились выборы въ Учредительное Собраніе, отсѣкли прежде всего четыре «хвоста»: всеобщее, равное, прямое и тайное голосованіе; а у пятого «хвоста» отняли существо — пропорціональное распредѣленіе депутатскихъ мѣстъ, — сохранивъ выборы «по спискамъ». Съ 1918-го по 1937-ой годъ дѣйствовала система Совѣтовъ, избиравшихся не-всеобщимъ, не-равнымъ, не-прямымъ и не-тайнымъ голосованіемъ по спискамъ, на началахъ представительства не отъ лицъ, избирателей и гражданъ, а отъ группъ и коллективовъ, осуществляющихъ общественно-полезныя функціи; вмѣстѣ съ тѣмъ въ многостепенной и пирамидальной постройкѣ Совѣтовъ за каждымъ вновь избраннымъ и іерархически высшимъ органомъ признано было право замѣщенія органа низшаго, его избравшаго.

Сталинская конституція и Положеніе о выборахъ въ Верховный Совѣтъ покончили со всѣмъ этимъ. Переходъ къ социализму признанъ былъ завершеннымъ — «Социализмъ у насъ не въ стадіи построенія, онъ уже осуществленъ», подтвердилъ Сталинъ въ своей послѣдней рѣчи къ избирателямъ, — и совѣтскій принципъ былъ отброшенъ. Собиравшійся 12 января Верховный Совѣтъ имѣетъ такое же основаніе именоваться специфическимъ, послѣ большевистскаго правотворчества, именовемъ «Совѣтъ», какое имѣется для этого у народно-представительныхъ органовъ Швейцаріи, у «Національнаго Совѣта» и «Совѣта кантоновъ», или имѣлось у стараго Государственнаго Совѣта въ Россіи.

Отбросивъ совѣтскій принципъ, сталинская кон-

ституція номинально вернулась къ принципу демократическому. Но практическое осуществленіе этого принципа оказалось сплошной пародіей, издѣвкой и глумленіемъ надъ демократическими выборами. Кривая, продѣланная большевистской властью отъ Учредительнаго Собранія чрезъ Совѣты, начисто отрипавшіе демократическій принципъ, къ нынѣшнему Совѣту, этотъ принципъ формально возстановившему, — свидѣтельствуетъ не только о перманентномъ отступничествѣ власти отъ ею же утверждаемаго и насильственно ввѣдряемаго. Она свидѣтельствуетъ о пониженіи и политической культуры, которое, по признанію самихъ большевиковъ, входило прямымъ образомъ въ ихъ преобразовательныя задачи по отношенію къ «неумытой, безграмотной, чеховской и бунинской Руси, позволившей себѣ роскошь имѣть Скрябина, Врубеля и Блока».

Какъ фактически не создались въ СССР свои Скрябины, Врубели и Блоки, такъ не могло создаться и свое честно избранное народное или учредительное собраніе. Выборы 12 декабря убѣдительно подтвердили, что о преимуществахъ той или другой политической формы или избирательной системы рѣчь можетъ идти лишь при наличности нѣкотораго минимума самодѣятельности, или свободной отъ власти организациі общественной мнѣнія. При отсутствіи же такого минимума террористическая диктатура можетъ одинаково для себя успѣшно использовать любую организацию народнаго голосованія.

Гора родила мышъ, — большую мышъ, но дохлую...

Чѣмъ ближе къ 12 декабря, это становилось все болѣе самоочевиднымъ даже для исполненныхъ всяческой вѣры, если не въ геній, то въ государственный разумъ и инстинктъ личнаго самосохраненія Сталина. Даже крайніе оптимисты по призванію и по ложному убѣжденію: политикъ долженъ быть оптимистомъ, и тѣ стали смотрѣть мрачно, — до очереднаго самообольщенія.

Какія только глубокомысленныя соображенія ни приводились въ доказательство того, что сталинская конституція и самыя выборы, съ Сталинымъ или противъ него, являются сами по себѣ и тогъ незамиравшихъ никогда, подслудныхъ процессовъ политическаго раскрыщенія Россіи, и въ то же время неминуемо явятся исходнымъ пунктомъ дальнѣйшаго раскрыщенія.

Возвращеніе Сталина къ «четырёхвосткѣ» воспринималось, какъ своего рода завершеніе или увѣнчаніе зданія тѣхъ бытовыхъ реформъ и уступокъ, на которыя пошла власть въ 33-34 годахъ, и къ которымъ населеніе оказалось тѣмъ болѣе чувствительно, что едва успѣло вырваться изъ тисковъ голода предыдущихъ лѣтъ.

Перспективы намѣчались самая радужныя. Отрадныя явленія искали и утѣшеніе находили во всемъ. Даже въ отрицательномъ сужденіи Троцкого о Сталинѣ и его конституціи, какъ — «юридической ликвидаціи диктатуры пролетаріата». «Троцкому не нравится» служило лишнимъ доводомъ въ пользу того, что сталинская конституція — объективное благо. Сталинская конституція совпала по времени съ затянувшимся экономическимъ кризисомъ, ударившимъ больно и по сознанию людей: и не-соціалисты усумнились въ благахъ и въ жизнестойчивости капитализма.

Страна строющагося социализма становилась опредѣленно фаворитомъ всего передового общественнаго мнѣнія въ Европѣ и Америкѣ. Не упраздняя «соціалистической» кредитно-денежной системы, торговли и собственности, конституція формально признавала, «наряду съ соціалистической системой хозяйства», «мелкое частное хозяйство индивидуальныхъ крестьянъ и кустарей», «право личной собственности гражданъ на ихъ трудовые доходы и сбереженія, на жилой домъ и подсобное домашнее хозяйство» и т. д. (ст. 9 и 10). Не свидѣтельствовало-ли это о полномъ разрывѣ реалиста Сталина съ утопизмомъ Ленина и самого Сталина прежнихъ лѣтъ!?

Съ другой стороны, утвержденіе съ 33-го года режима Гитлера въ Германіи, а съ 34-го года режима Дольфуса и Шушнинга въ Австріи укрѣпляло анти-реформистскія тенденціи въ международномъ социализмѣ и склоняло къ болѣе чѣмъ терпимому отношенію ко всемъ изъяснамъ и проваламъ въ строительствѣ социализма путемъ насилія и террора.

Отто Бауэръ усвоилъ, въ сущности, знакомый, броскій и утѣшительный, но невѣрный тезисъ: «голодь породилъ большевиковъ — сытость ихъ убьетъ». Чѣмъ сытнѣе, счастливѣе и веселѣе станетъ совѣтская жизнь, тѣмъ сильнѣе станетъ илать, тѣмъ больше самодѣятельности предоставитъ она и подвластнымъ, болѣе широкими станутъ ихъ права. Такъ медленно и постепенно, но неминуемо, произойдетъ эволюція деспотической власти отъ демократіи и социализма на словахъ къ демократіи и демократическому социализму на дѣлѣ.

И не только потерпѣвшій аварію на своемъ «австро-марк-

системскомъ» опытѣ Отто Бауэръ, но и Эмиль Вандервельде, прѣдлѣвая въ Бельгiи ванъ-зееландскiй опытѣ коалиціи съ либералами и католиками, укрылся за историческiй подходъ къ октябрьской революціи и совѣтской власти. Совѣтскiй терроръ и кровь, руссiйская нищета и гнетъ, — конечно, зло. Но темныя пятна существуютъ и на солнцѣ, и совѣтскую власть, какъ и побѣдоносный Октябрь, надлежитъ брать цѣликомъ, со всѣми ихъ отрицательными сторонами, не расчленяя искусственно добро и зло.

Даже непримиримѣйшія въ отношеніи къ террористической диктатурѣ Сталина русскія зарубежныя теченія, и тѣ сочли своимъ долгомъ прѣдостеречь населеніе отъ маловѣрія и соблазна уклониться отъ участія въ выборной комедіи. Не говоря уже объ ортодоксальномъ «Соціал. Вѣстникѣ», но и критическая «Новая Россія» нашла необходимымъ обратиться по этому поводу съ особымъ воззваніемъ «Къ Странѣ». Въ этомъ воззваніи говорилось: «Исторія свидѣтельствуетъ, что подобныя акты въ жизни народовъ всегда имѣли выдающееся значеніе и обозначали нѣкоторый поворотъ въ ихъ исторической судьбѣ. Мы хотѣли бы вѣрить, что принятіе новой конституціи будетъ поворотнымъ моментомъ также въ исторіи нашей родины». — Эта вѣра въ будущее скрѣплялась и обосновывалась утвержденіемъ: «Самое «пожалованіе» конституціи показываетъ, что правящая партія чувствуетъ необходимость ослабить и смягчить режимъ диктатуры. Но Сталинъ не хочетъ это сдѣлать послѣдовательно и откровенно, онъ только отходитъ на заранѣе подготовленныя позиціи». Тѣмъ не менѣе и невзирая на это, — «Нужно участвовать въ выборахъ и воспользоваться всѣми возможностями для проведенія въ жизнь своихъ требованій».

Заблужденіе состояло здѣсь въ томъ, что предполагались нѣкія «возможности», которыя непременно откроются съ выборами. Это была иллюзія: Сталинъ съ Ежовымъ не оправдали ожиданій и никакихъ возможностей не открыли. Предвидѣть это было уже не такъ трудно. Чтобы не являть собою прозорливца заднимъ числомъ — и умомъ, — сошлюсь на заключительныя слова въ 61-ой книгѣ «Совр. Записокъ», написанныя тотчасъ по опубликованіи проекта сталинской конституціи. Статья кончалась общимъ выводомъ: «Въ условіяхъ террористической диктатуры всѣ бытовыя, идеологическія и иныя льготы, какъ и технико-экономическія достиженія идутъ не столько на пользу народу, сколько террористической диктатурѣ, вынужденной искать передъ Европой и въ своихъ инте-

ресахъ признанія со стороны подвластныхъ не за одинъ толь-страхъ, но и чуть-чуть за совѣсть».

Въ опытѣ изжитыхъ полутора лѣтъ надо признать преувеличенной нашу ссылку на какую-то долю «совѣсти». Но основное положеніе осталось непоколебленнымъ: шумиха со сталинской конституціей и вокругъ нея пошла на пользу лишь террористической власти, а никакъ не русскому народу. Подъ прикрытіемъ невиданной въ мірѣ конституціи Сталинъ распоясался окончательно и уже безъ всякихъ стѣсненій сталъ распоряжаться съ ближними и съ дальними, съ старыми большевиками и съ молодыми, имъ же самимъ продвинутыми на командные посты, съ партійными и съ безпартійными, возглавлявшими совѣтское управленіе, хозяйство, армію, дипломатію, литературу, театръ.

Номинальное возвращеніе Сталина къ демократической «четырёхвосткѣ» совпало по времени съ всеобщимъ, равнымъ, прямымъ и явнымъ погромомъ всѣхъ совѣтскихъ учреждений. Сталинъ разгромилъ и скомпрометтировалъ все и всѣхъ. Онъ лишній разъ надругался, осквернилъ и обезчестилъ и ту идею, надъ которой руководители Совѣтовъ, сталинцы и троцкисты, бухаринцы и рыковцы, одинаково дружно издѣвались на протяжении всѣхъ двадцати лѣтъ, протекшихъ со дня роспуска Учредительнаго Собранія.

*
**

Сталинъ цинично профанировалъ идею демократіи, превративъ всеобщее голосованіе въ явную нелѣпость и открытую фикцію, въ кошмарно-призрачную борьбу агентовъ власти съ тѣнями и даже съ тѣнями тѣней.

Казовая сторона выборовъ была поставлена по лучшимъ и классическимъ образцамъ избирательной техники. Списки избирателей, выставленіе кандидатовъ, избирательныя собранія, бюллетени, конверты, урны, изоляторы и т. д., все — какъ въ наиболѣе совершенныхъ демократіяхъ міра, а изоляторы и того совершеннѣе и шикарнѣе. Отличіе было лишь въ одномъ — въ томъ, что самаго выбора сдѣлать было нельзя: не было между кѣмъ выбирать или кого кому предпочесть, ибо имѣлся всего одинъ и единственный кандидатъ въ члены Совѣта Союза и одинъ и единственный кандидатъ въ избираемый параллельно и одновременно Совѣтъ Национальностей (родъ верхней палаты).

Единая и единственная партія, руководимая единымъ и единственнымъ Сталинымъ, заранѣе избрала и предустановила, за

избирателей и в мѣсто нихъ, — кому отъ какого округа быть кандидатомъ и депутатомъ. Это основное отличіе совѣтскихъ выборовъ отъ выборовъ въ демократическихъ странахъ обнаруживается и ихъ природное сродство съ «выборами», производимыми въ нынѣшней Италіи и Германіи. Если возможно какое-либо сомнѣніе въ разноприродности режимовъ Сталина, Гитлера и Муссолини, — характеръ, такъ называемыхъ, выборовъ въ этихъ странахъ съ неопровержимостью физиологическаго анализа крови вскрываетъ общую ихъ принадлежность къ группѣ Т-оталитарныхъ государствъ.

При родовомъ сходствѣ съ фашистскими и гитлеровскими выборами, индивидуальное своеобразие сталинскихъ выборовъ заключалось только въ лишней ступени — или степени — фальшиваго оказательства народнаго избранія. Въ Италіи и Германіи партійные центры въ своихъ тайникахъ вырабатываютъ списки лицъ, подлежащихъ одобренію со стороны призваннаго голосовать населенія: **вы б и р а т ь** и здѣсь невозможно за отсутствіемъ другихъ, параллельныхъ и конкурирующихъ списковъ и кандидатовъ. Въ СССР пародію на выборы осложнили процедурой фальшиваго одобренія на «собраніяхъ трудящихся» назначенныхъ властью кандидатовъ. Здѣсь «избирателей» заставили сначала одобрить открытымъ голосованіемъ, путемъ поднятія рукъ, не имѣющихъ соперниковъ кандидатовъ, а потомъ вторично проголосовать за нихъ «тайно».

Сталинъ очень мало стѣснялся съ мнѣніемъ тѣхъ, кого официально именовали «избирателями». Вынужденные слѣдовать за все ускоряющимся темпомъ раскрытія государственныхъ измѣнниковъ, шпіоновъ, диверсантовъ и проч., по преимуществу среди своихъ же ставленниковъ, Сталинъ съ Ежовымъ въ секретномъ порядкѣ «разъяснили» (если употребить старинную терминологию Крыжановскихъ) за 10 дней, между 25 ноября и 5 декабря, — 36 кандидатовъ, намѣченныхъ «собраніями трудящихся». Алкснисъ, Вал. Межлаукъ и прочіе: командующіе округами, политическіе комиссары арміи, предсѣдатели національных совнаркомовъ и всякихъ Исполкомовъ, комиссары республикъ и иные совѣтскіе вельможи и сановники, вчера еще намѣченные властью и одобренные въ качествѣ кандидатовъ въ члены Верховнаго Совѣта, сегодня — уже безъ справки съ мнѣніемъ и волей «избирателей» — отправлены подъ замокъ и замѣнены другими въ порядкѣ прямого назначенства, по гитлеровскому и фашистскому образцу.

«Избиратель» былъ взятъ въ тиски съ двухъ сторонъ: ему не дали возможность ни намѣтить своего кандидата, ни голо-

совать за угодное ему лицо; ему не дали возможности голосовать даже против не имъ намѣченного и ему негоднаго кандидата. Въ то же время явка на «выборы» сдѣлана была обязательной въ силу регистраціи явившихся и, тѣмъ самымъ, неявившихся. Помимо общей атмосферы все сгущавшагося террора, дѣйствовавшаго тѣмъ болѣе устрашающе, чѣмъ менѣе становилась понятна въ отдѣльныхъ случаяхъ самая расправа, — власть не брезгала и мелочами для обезпеченія своего заданія. Такихъ выборовъ, вонстину, «не знала исторія человѣчества», — какъ справедливо отмѣтили «Извѣстія».

Власть предусмотрительно разъяснила, что поправки въ поданныхъ бюллетеняхъ будутъ разсматриваться, какъ техническое неумѣіе сочувствующаго кандидату избирателя проявить свое сочувствіе, и, потому, такіе бюллетени будутъ засчитываться въ пользу кандидата. Прокуроръ Вышинскій попробовалъ приписать одобрительный смыслъ даже вычеркиванію въ бюллетенѣ имени кандидата («Красная Газета» отъ 23-XI-37). Это не прошло. Зато Центр. Избир. Комиссія оповѣстила: «бюллетени подписывать не рекомендуется; однако, согласно Положенія о выборахъ (?), такіе бюллетени будутъ считаться дѣйствительными» («Правда» № 334). «Избиратели» заключили отсюда, что, для большей вѣрности, бесполезно не только расписаться, но и скрѣпить свою подпись личнымъ славословіемъ — «Эльбрусу человѣчества».

Тайна голосованія при этомъ не должна была считаться нарушенной, очевидно, потому, что отъ совѣтской власти, какъ отъ Господа Бога, вообще не должно оставаться ничего скрыго, и все тайное не можетъ не стать явнымъ при посредствѣ ежовскаго аппарата. Такъ наиболѣе серьезная гарантія демократическихъ выборовъ — тайное голосованіе — обратилось въ бессмыслицу, въ чепуху, въ свою противоположность, — въ средство для власти провѣрить благонадежность подвластныхъ. Прямое голосованіе обернулось прямымъ, болѣе короткимъ и ускореннымъ воздѣйствіемъ правящихъ на «избирателей», а всеобщіе и равные выборы — въ особый видъ публичнаго издѣвательства надъ безправными.

Правда, три съ лишнимъ милліона бюллетеней признаны не дѣйствительными или въ нихъ вычеркнута фамилія официальнаго кандидата. Однако, считать всѣ эти бюллетени проявленіемъ оппозиціонныхъ чувствъ значило бы предполагать наличность трехъ милліоновъ героевъ и, при томъ, героевъ, безцѣльно играющихъ своей судьбой и судьбою близкихъ. Если бы власть захотѣла имѣть непременно всѣ 100% голосовъ, она имѣла

бы и ихъ въ условіяхъ, созданныхъ для выборовъ. И когда ей пришла шальная мысль показать «больше 100%» голосовъ въ пользу Сталина, — за котораго, несмотря на регистрацію, ожидали подать свои голоса и «избиратели» не-сталинского избирательнаго округа, — она не остановилась и передъ этимъ. «Родной и любимый, сравненій не знающій Сталинъ» оказался превыше не однихъ только государственныхъ законовъ, но и законовъ арифметики и логики: ему подчинено и чувство смѣшного...

По сравненію съ отмѣченными недѣлостями и пороками, прочіе представляются уже второстепенными.

Въ странахъ, гдѣ имѣются даѣ палаты, порядокъ выборовъ въ каждую разнится: нѣтъ никакого смысла дублировать одно и то же. Выборы въ палаты происходятъ во всякомъ случаѣ разновременно. Въ разное время обновляется иногда личный составъ той же палаты: нижней палаты въ Соед. Штатахъ, сената во Франціи и т. п. При невиданныхъ въ мѣрѣ демократическихъ выборахъ выбрали одновременно всѣхъ 1.143 члена обѣихъ палатъ. «Избиратель» долженъ былъ одновременно вложить въ конвертъ два бюллетеня: бѣлый съ именемъ члена Совѣта Союза (всесовѣтская палата) и синій съ именемъ члена Совѣта Национальностей. При этомъ бѣлый бюллетень относительно всѣхъ больше синяго. Это слѣдуетъ изъ простаго расчета: СССР, какъ цѣлое, для выборовъ въ Совѣтъ Союза раскроенъ на 569 избирательныхъ единицъ; а для выборовъ въ Совѣтъ Национальностей, по «нормѣ», предусмотрѣнной ст. 35 конституціи — 25, 11,5 или 1 депутатъ, въ соотвѣтствіи съ «рангомъ» союзной и автономной республики, автономной области и національнаго округа, — СССР состоитъ изъ 574 единицъ. Небывалый въ исторіи случай: въ верхней палатѣ больше членовъ, нежели въ нижней!

Власть не только назначила и «избрала» тѣхъ, кого хотѣла, — она и на будущее время сохранила за собой возможность удаленія изъ Верховнаго Совѣта неугодныхъ ей лицъ. Какъ и при выборахъ, грядущей расправѣ съ вредителями-депутатами придана видимость наиболѣе демократическая. «Мой совѣтъ — пригрозилъ Сталинъ наканунѣ выборовъ — помнить о правѣ избирателей слѣдить за своими депутатами, контролировать ихъ и, ежели они вздумаютъ свернуть съ правильной дороги, смахнуть ихъ съ плечъ, потребовать назначенія новыхъ выборовъ. Правительство обязано назначить новые выборы». Ни періодъ избирательной кампаніи, ни процедура выборовъ ни въ какой мѣрѣ не смягчили и не ограничили террористическаго

произвола: середнякъ-«избиратель», какъ и почтенный «избраніемъ» депутатъ, какъ были, такъ и остались въ полной и никакимъ иммунитетомъ неограниченной зависимости отъ перваго доноса и каприза власти.

Что же измѣнилось? О какой побѣдѣ, одержанной «непобѣдимымъ сталинскимъ блокомъ» можетъ идти рѣчь? На выборахъ не было соперниковъ, не могло быть и побѣды. И во внѣ, надъ иноземными фашистами одержанная символически побѣда горше всякаго пораженія. Ибо въ террористическомъ оглушеніи, которое сопровождало «избирательную» кампанію, и въ предельномъ издѣвательствѣ надъ подлинно-демократической организацией народнаго волеизъявленія коммунистическая власть превзошла всѣ извѣстные исторіи достаточно мрачные образцы. Въ этомъ отношеніи не надо тѣшить себя иллюзіями.

А. Б. Петрищевъ въ «Послѣднихъ Новостяхъ» правильно отмѣтилъ, что предстоитъ «дальнѣйшая чистка и замѣна уже не кандидатовъ, а депутатовъ», — «Верховный Совѣтъ сталъ надежной кочергой партійнаго (большевистскаго) чорта». Но авторъ счелъ, видимо, невозможнымъ закончить статью на печальной нотѣ, — обязательно необходимъ мажоръ. И неожиданно оказалось, что итъ худа безъ добра, на ряду съ кочергой чорту, — «Есть, пожалуй, и маленькая свѣчка Богу: все-таки диктаторъ подписалъ обязательство признавать де юре верховныя права народа»...

До чего трудно бываетъ разстаться съ усвоеннымъ взглядомъ и оцѣнкой, показываетъ примѣръ и другого публициста въ тѣхъ же «Посл. Новостяхъ». Даже послѣ выборовъ 12 декабря онъ рискуетъ утверждать, что «данная избирательная кампанія несомнѣнно кое-чему научитъ русское населеніе. Оно теперь узнало, что должно выбрать опредѣленнаго человѣка своимъ представителемъ. Кандидаты ему «представляются», просить его голосовъ... Все это заставляетъ думать, что данное «гладкое» проведеніе выборовъ едва ли можетъ быть повторено. Сталину будетъ нелегко обратить извращеніе своей же конституціи въ постоянную систему».

Этотъ благодушный оптимизмъ былъ бы совершенно необъяснимъ, если бы авторъ самъ не вскрылъ лежащаго въ его основѣ недоразумѣнія. Авторъ преисполненъ почти мистической вѣры въ преимущества одноименнаго голосованія — одинъ депутатъ отъ одного округа — передъ выборами по спискамъ при пропорціональной системѣ, «нелѣпой», «несчастной, непонятной массѣ», «погубившей германскую демократію». Отталкиваніе отъ пропорціональныхъ выборовъ по спи-

скамъ побудило нашего автора увидѣть положительныя достиженія и въ проведенной пародіи на всякіе выборы.

Если извлекать уроки и изъ выборовъ 12 декабря, урокъ будетъ какъ разъ обратный тому, который въ данномъ случаѣ желателенъ. Любая система выборовъ позволяетъ террористической диктатурѣ добиться результатовъ, которыхъ она хочетъ. И никакая избирательная техника сама по себѣ не въ силахъ предотвратить и преодолѣть физическое и психологическое давленіе диктатуры. Какъ разъ послѣ совѣтскихъ выборовъ мѣнѣе всего допустимо объяснять поражение веймарской Германіи умѣлымъ использованием Гитлеромъ общаго разочарованія въ «недѣпой системѣ» (пропорціональныхъ выборовъ), — «недостатки которой Гитлеръ приписалъ демократіи вообще». Гдѣ вообще нѣтъ выборовъ, — «недѣпо» говорить о преимуществахъ той или иной системы. Въ ослѣпительномъ триумфѣ Сталина, Гитлера или Муссолини меркнутъ всѣ отдѣльныя частности и детали. И съ пропорціональной системой сталинскій аппаратъ могъ бы достигъ нынѣшнихъ результатовъ, какъ могъ бы ихъ достигъ при мажоритарной системѣ аппаратъ Гитлера. Вопросъ тутъ не въ системахъ, а въ ловкости рукъ, которыми тотъ или иной политическій пресиджакторъ извлекаетъ морскую свинку изъ собственного кармана или изъ шляпы сосѣда.

Для чего все-таки понадобилась вся эта комедія съ демократическими выборами? Чтобы стать приятнымъ демократической Европѣ? Проще и быстрѣе эффектъ былъ бы достигнутъ, конечно, ослабленіемъ террора: выигрышъ отъ разговоровъ на конституціонно-демократическія темы за время выборовъ испарился безъ остатка. Существуетъ, впрочемъ, и официальное объясненіе, — для чего выборы были нужны.

Докладчикомъ проекта конституціи на чрезвычайномъ сѣздѣ, въ декабрѣ 36 года, и Положенія о выборахъ на сессіи ЦИК'а, въ юль 37 г., былъ матерый харьковскій чекистъ, потомъ вершитель земельной политики въ СССР, затѣмъ секретарь 29-членной «Конституціонной комиссіи» Я. А. Яковлевъ*). Онъ съ полной отчетливостью вскрылъ задачу, которую ставила себѣ власть, организовывая небывалые въ мірѣ выборы. Задача состояла въ приобщеніи всего населенія къ дѣлу, со-

*) Совмѣстно съ М. Н. Покровскимъ, Я. А. Яковлевъ редактировалъ «1917 годъ въ документахъ и матеріалахъ». Подъ ихъ редакціей выпущена въ 1930 г. книга — «Всероссійское Учредительное Собраніе».

ставлявшему до того профессиональное занятіе и монополію власти и партіи. Яковлевъ открыто объяснилъ: «Поймать враговъ рабочаго класса и крестьянства нельзя, дѣйствуя только сверху, только одними глазами коммунистовъ, руководящихъ тѣми или иными органами, — враговъ надо ловить и снизу, и сверху, ибо коммунисты всего увидѣть не могутъ. Словить и раздавить враговъ Советовъ, враговъ рабочихъ и крестьянъ, можно, только развернувъ демократію во всю, какъ этого требуетъ товарищъ Сталинъ, какъ этого требуетъ сталинская конституція» («Извѣстія» отъ 8-VII-37).

Въ процессѣ «развертыванія демократіи во-всю», среди прочихъ враговъ, оказался вскорѣ «пойманнымъ» и «раздавленнымъ» и бывший сотрудникъ Дзержинскаго и Ягоды. Это не мѣняетъ внутренняго смысла, который вкладывала власть въ свои демократическіе выборы и на который она, устами Яковлева, публично указывала. Дальнѣйшее развертываніе «демократіи во-всю» должно будетъ, очевидно, способствовать созданію еще болѣе устойчиваго пьедестала для главы совѣтской власти, — безотносительно къ тому, согласится ли онъ возложить на себя бармы совѣтскаго Мономаха и сдѣлаться председателемъ Верховнаго Совѣта или же снова отвергнетъ почетное званіе, чтобы вѣрнѣе сохранить существо единодержавія.

«Пусть первымъ войдетъ отъ народовъ въ Верховный Совѣтъ Немеркнушимъ солнцемъ, дающимъ вселенскій свой свѣтъ. Сверхкающимъ гениемъ» и т. д., и т. д.

Не случайно «самодержавный коммунизмъ» (выраженіе Герцена) все чаще роднится съ царскимъ самодержавіемъ, «величайшій революціонеръ» — съ революціонеромъ на тронѣ. Толстовская версія «Петра I» потому и прошла такъ легко чрезъ совѣтскую цензуру, что царь-преобразователь, въ сущности, былъ тотъ же Сталинъ на порогѣ 18-го вѣка. Нарочитость толстовскихъ аналогій, прущая изъ всѣхъ поръ его романа и фильма, — шита красными нитками. Алексѣй Толстой при Сталинѣ тотъ же Алексанка Меншиковъ, «царевъ деньшикъ», при Петрѣ:

— Минь Херцы!.. Нѣтъ правды — добудемъ правду!..

— Широко было задумано — жалѣть было некогда!..

— Мруть? — Мруть!..

«Сѣверный парадизъ» все-таки не чета социалистическому

раю: ради социалистическаго парадиза жертвы еще болѣе оправданы! — «Я вамъ отъ Бога представленъ», — говорилъ Петръ про себя, дубя собственноручно головы стрѣльцамъ. Я вамъ представленъ отъ революціи, — какъ бы говоритъ Сталинъ, съ «безчеловѣчной жестокостью» (слова Ключевскаго о Петрѣ) расправляясь съ своими «стрѣльцами» и «раскольниками», идя «на проломъ во имя общаго блага, рискуя разбиться о неодолимыя препятствія и даже о собственное дѣло» (Ключевскій)...

Октябрь видѣлъ свое заданіе и честолюбіе въ томъ, чтобы ускорить прогрессъ и революционизировать прежде всего технику-экономическія предпосылки прогресса. Гуманность и гуманизмъ оказывались при этомъ устарѣвшими предрасудками еще не вымершей особи человѣческаго рода, самими Ленинымъ заклеянной въ качествѣ «интеллигентовъ-хлопиковъ». За новой техникой и экономикой долженъ былъ притти и новый человѣкъ съ болѣе совершеннымъ, революціоннымъ складомъ мышленія и съ болѣе высокой, социалистической моралью.

20-лѣтній юбилей Октября далъ лишній поводъ убѣдиться въ томъ, что, если о прошломъ еще возможенъ споръ: былъ ли Октябрь революціей и, тѣмъ самымъ, хоть и варварской, но все же формой прогресса, — то въ опытѣ послѣднихъ лѣтъ уже какъ будто нѣтъ вопроса, ни для правыхъ, ни для лѣвыхъ, вплоть до честныхъ коммунистовъ, если таковые уцѣлѣли, что Октябрь сталъ чистымъ 100-процентнымъ настоемъ варварства безъ всякой примѣси прогресса. Выборы въ Верховный Совѣтъ лишній разъ подтвердили фактъ варваризаціи русской политической культуры.

Въ 27-омъ году, къ десятилѣтнему юбилею Октября, «Извѣстія» опубликовали интересную бесѣду Радека съ Каменевымъ. — «Ведешь Дневникъ? — спрашивалъ еще въ 21-омъ году разстрѣляннаго 15 лѣтъ спустя Каменева купившій себѣ жизнь предательствомъ Радекъ. — Такъ запиши, что я тебѣ скажу! Мы идемъ къ возрожденію капитализма и Учредилкѣ! Такъ будетъ, потому что иначе и быть не могло. Я былъ правъ».

Оказывается, это было ясно даже Радеку уже черезъ 3 года послѣ роспуска Учредительнаго Собранія. Съ каждымъ лишнимъ годомъ, что затягивается октябрьскій періодъ русской исторіи, это должно становиться явнѣе всѣмъ. Возрожденіе Россіи можетъ начаться лишь тогда, когда страна вернется на путь, насильственно оборванный 6-го января 1918 года.

М. В. Вишнякъ.

КУЛЬТУРА И ЖИЗНЬ

Величіе и паденіе М. Н. Покровскаго

(Эпизодъ изъ исторіи науки въ СССР).

I.

Возможенъ ли социализмъ въ такой странѣ какъ Россія? Подъ «такой» страной разумѣлась при этомъ отсталая земледѣльская Россія, не прошедшая черезъ горнило «капитализма» и доступная, по степени своей социально-политической эволюціи, самое большее, для какой-нибудь «буржуазной революціи», съ соответственной «республикой» въ результатѣ. Этотъ вопросъ задавали себѣ дѣятели коммунистическаго переворота наканунѣ 25 октября. Нѣкоторые изъ нихъ, какъ Каменевъ и Зиновьевъ, отвѣчали на него отрицательно: нѣтъ, социализмъ въ Россіи невозможенъ. Люди, такъ думавшіе, теперь разстрѣляны; но вопросъ о томъ, введенъ ли въ Россіи социализмъ въ результатѣ революціи, остается и до сихъ поръ спорнымъ, несмотря на строгій приказъ Сталина, разъ навсегда рѣшившаго: социализмъ въ Россіи введенъ, и больше объ этомъ говорить не нужно. Это — въ порядкѣ практическомъ. А въ порядкѣ теоретическомъ, гдѣ все-таки приходилось нѣсколько церемониться съ логикой фактовъ, шекотливый вопросъ, тревожившій совѣсть Ка-

менева, давно былъ замѣненъ другимъ, менѣе откровеннымъ: возможно-ли ввести социализмъ въ Россіи, хотя бы послѣ того, какъ его введутъ у себя болѣе прогрессивныя страны, поощренныя къ этому русской революціей? Такъ ставилъ вопросъ давно уже Троцкій (1905 г.): на необходимости этой отсрочки была основана его теорія «перманентной революціи». Но послѣ того, какъ отсрочка, принятая и Ленинымъ — для введенія социализма въ другихъ странахъ — затянулась до безконечности, а русская революція была все-таки произведена, такъ сказать, въ кредитъ — возникъ снова вопросъ о томъ, каковъ же смыслъ этой революціи. У Маркса на этотъ разъ нельзя было искать отвѣта; приходилось рубить съ плеча. И Сталинъ, уже совсѣмъ не считаясь ни съ фактами, ни съ официальной доктриной, просто-на-просто декретировалъ: возможно, значитъ, и введеніе социализма въ одной странѣ (т. е. не дожидаясь другихъ). Формула стыдливо умалчивала, что этой «одной» страной была все-же отсталая Россія, т. е. вопросъ возвращался къ исходной точкѣ. Но то было время, когда разсуждать вслухъ

о подобныхъ вопросахъ было уже строго запрещено. Оставалось только замѣнить осторожное «возможно» истиническимъ «уже существуетъ», — и циклъ теоретическихъ разсужденій о смыслѣ русской революціи можно было объявить официально — законченнымъ.

Однако же оставалась инстанція, къ которой поневолѣ приходилось апеллировать: русская исторія. Нельзя-же было объявить русскую исторію небывшей и запретить всякое знакомство съ нею. Оставался одинъ выходъ: передѣлать исторію на свой ладъ въ угоду официальной доктринѣ. Доктрина учила, что въ царство социализма переходятъ черезъ вполнѣ развитый капитализмъ. Но развѣ въ Россіи не было капитализма? Было, правда, старое теченіе русскихъ народниковъ, которые въ наступленіе социализма вѣрили, а капитализмъ въ Россіи отрицали. По этому ученію социализмъ могъ — и даже долженъ былъ — водвориться въ Россіи и помимо капитализма. Но для новаго поколѣнія русскихъ марксистовъ этотъ исходъ былъ неприемлемъ. Имъ трудно было доказать — это и не отрицалось исторической наукой — что капитализмъ въ Россіи все-таки былъ. Невозможно было доказать, что онъ доросъ до той степени, какая требовалась по Марксу для безболѣзненного перехода въ социализмъ. Но вопросъ о степени капиталистическаго развитія все-же оставался спорнымъ. Русскимъ марксистамъ представлялась возможность доказывать, что прежняя («буржуазная») наука игнорировала существованіе капитализма въ рус-

скомъ прошломъ или, во всякомъ случаѣ, преуменьшала его значеніе. Они даже подучали, поддержку у историковъ «западниковъ»: тѣ вѣдь признавали, что Россія развивается тѣмъ-же путемъ, какъ и европейскій западъ; и слѣдовательно, она должна пройти черезъ стадію капитализма. Въ спорѣ о сходствѣ или несходствѣ русскаго историческаго процесса съ западнымъ историки-западники стояли на одной сторонѣ съ марксистами — противъ народниковъ и ихъ предшественниковъ — славянофиловъ, утверждавшихъ, что у Россіи «особенная статья». Конечно, историки-западники все же не хотѣли, подобно марксистамъ, выводить политической строй прямо изъ современнаго ему состоянія производительныхъ силъ; не хотѣли и признавать государственную власть всецѣло находящейся въ рукахъ господствующаго въ данное время класса. Но, какъ увидимъ, и среди самихъ марксистовъ въ этомъ отношеніи не все было благополучно. Какъ-бы то ни было, марксистамъ не хватало такого — совсемъ своего — специалиста-историка, который-бы подвел фактическую основу подъ официальную формулу «діалектическаго матеріализма». Надо было доказать, что социализмъ водворился въ Россіи при Сталинѣ не какимъ-то чудеснымъ, сверхъестественнымъ путемъ, а по всѣмъ правиламъ исторической законности, какой требовало ученіе Маркса. Задача была нелегкая — въ сущности даже невыполнимая. Тѣмъ болѣе заслуги было за человекомъ, который за нее взялся. Это былъ русскій историкъ М. Н. Покровскій: тотъ самый По-

кровскій, котораго его неблаго-
зарные сотоварищи теперь стара-
ются — къ счастью послѣ его
смерти, послѣдовавшей до ста-
линскихъ ссылокъ и разстрѣловъ
— такъ же спѣшно развѣчать,
какъ они спѣшили его канонизи-
ровать.

II.

М. Н. Покровскій — мой млад-
ший современникъ. Онъ девятью
годами моложе меня — по рож-
денію и по окончанію Московска-
го университета (1891). Онъ, вѣ-
роятно, слушалъ мои первыя лек-
ціи; но ближе мы съ нимъ встрѣ-
тились на семинаріи проф. Ви-
ноградова по всеобщей исторіи,
гдѣ участники работали серьезно
и научились строго-научному ме-
тоду работы. Покровскій, одинъ
изъ самыхъ младшихъ участни-
ковъ, обычно угрюмо молчалъ и
всегда имѣлъ какой-то видъ за-
ранѣе обиженнаго и не оцѣнен-
наго по заслугамъ. Я думаю,
здѣсь было заложено начало той
мстительной вражды къ товари-
щамъ-историкамъ, которую онъ
потомъ проявилъ, очутившись у
власти. У насъ онъ считался «по-
дающимъ надежды», но тогдаш-
нихъ работъ его я не знаю. Еще
въ 1900 г. онъ просилъ у меня
работы въ академическомъ сти-
лѣ и я не безъ удивленія прочелъ,
что какъ въ 1905 г. М. Н. оконча-
тельно опредѣлился, какъ теоретикъ-
марксистъ и практикъ-революціо-
неръ, и что, «вступивъ въ ря-
ды большевистской партіи, онъ
принялъ активное участіе въ ор-
ганизации вооруженнаго возстанія
въ качествѣ пропагандиста-агита-
тора и публициста». Очевидно, я
опоздалъ, считая его «кадетомъ».
Въ той же биографической справ-

кѣ говорится, что Покровскій
«послѣ Лондонскаго съѣзда 1907
года перешелъ на нелегальное по-
ложеніе и эмигрировалъ за-границу.
Къ этому времени относятся
его крупнѣйшія работы «Русская
исторія съ древнѣйшихъ временъ»
и первая часть «Очерковъ исторіи
русской культуры». Вернувшись
въ 1917 г. въ Россію, Покровскій
быстро движется по линіи партій-
ныхъ назначеній. Онъ — участникъ
всѣхъ партійныхъ съѣздовъ и
конференцій, членъ Совнаркома и
ВЦИК'а, организаторъ научныхъ
учрежденій и учебныхъ заведе-
ній, руководитель архивныхъ из-
давій, редакторъ научныхъ жур-
наловъ, — и вездѣ и всегда «не-
примиримый борецъ за марксист-
ско-ленинскую теорію, за боль-
шевистскую партійность въ науцѣ
противъ «справоз- и слѣво»-оппор-
тунистическихъ извращеній мар-
ксизма-ленинизма, противъ контр-
революціоннаго троцкизма и бур-
жуазныхъ теорій». Словомъ,
Покровскій становится большимъ са-
новникомъ по служебной карьерѣ
и строгимъ блюстителемъ
марксистскаго правосвѣрія въ сво-
ей науцѣ. Могъ ли онъ ожидать,
что по смерти самъ попадетъ въ
еретики?

Займемся немного правосвѣри-
емъ Покровскаго. Какъ таковой,
онъ долженъ былъ стоять на
стражѣ противъ всякихъ «буржу-
азныхъ» пережитковъ и увлече-
ній въ исторической науцѣ; отъ
него должны были ожидать, по
его положенію, и заполнения то-
го пробѣла въ науцѣ, который
мѣшало отвѣтить на коренной
вопросъ, поставленный выше: со-
зрѣла-ли Россія для социализма?
Тутъ онъ долженъ былъ про-
явить нѣкоторое творчество. Во-

камь подвиги собирателей» (I, 150, 154). На «реформахъ Грознаго», на «публицистикѣ» его времени и на личности самого царя Покровский останавливается сочувственно; но «изображать эти «реформы», какъ продуктъ государственной мудрости самого царя и тѣснаго кружка его совѣтниковъ, уже давно стало невозможнымъ» (I, 229). Дѣло тутъ, какъ полагается для «материалиста», въ экономикѣ: въ переходѣ къ «среднему землевладѣнію, успѣшно сживавшемуся съ условіями новаго мѣноваго хозяйства» и съ подъемомъ «изстари сильной въ Москвѣ буржуазіи». И даже «какъ типично-династической и личной самообороны царя (опричнина) ... диктовался объективно экономическими условіями» (I, 261): «Во всемъ переворотѣ, совершеномъ Грознымъ, рѣчь шла объ установленіи новаго классоваго режима, для котораго личная власть царя была лишь орудіемъ» (I, 272). Что и требуется доказать «марксисту». «Воскресеніе стараго политическаго режима» послѣ Смуты объясняется опять «возрожденіемъ старыхъ экономическихъ формъ, которыя вѣкомъ раньше казались отжившими». «Новый подъемъ начался не ранѣе конца XVII столѣтія» (II, 97, 109).

Наконецъ, Петръ Великій — и знаменитый вопросъ Милюкова, что сдѣлало необходимымъ появленіе Россіи въ кругу европейскихъ государствъ того времени? «Ученики Соловьева демонстрировали необходимость переворота, какъ необходимость военно-финансовую». Конечно, они ничего не понимали. «Шесть лѣтъ послѣ диссертациі Милюкова впервые было указано (Туганъ-Бара-

новскимъ) на торговый капиталъ, какъ экономическую основу петровской реформы» (II, 218-221). И глава о Петровской реформѣ сопровождается подзаголовкомъ: «Торговый капитализмъ XVII вѣка». Правда, это — капитализмъ европейскій, рассматривающій Россію, какъ «колонию» (II, 225). «Въ Россіи конца XVII вѣка были на лицо необходимыя условія для развитія крупнаго производства: были капиталы — хотя отчасти и иностранныя, — былъ внутренний рынокъ, были свободныя рабочія руки. Всего этого слишкомъ достаточно, чтобы не сравнивать петровскихъ фабрикъ съ искусственно-вытѣсненными телличными растеніями» (полемика противъ меня, П. М.). Но... «самодержавіе Петра и здѣсь... создать ничего не сумѣло. Исторія петровскихъ мануфактуръ въ этомъ отношеніи даетъ полную параллель къ картинѣ того административнаго разгрома, которую такъ хорошо изобразилъ въ своей книгѣ г. Милюковъ». Чтобы оправдать экономикѣ, авторъ готовъ на этотъ разъ сойтись со мной въ примѣненіи, хотя бы и отрицательномъ, индивидуальнаго метода». Обычно имъ высмѣиваемого. Виновать Петръ: онъ неумѣло «пытался учить капиталъ, загналъ его дубиной въ промышленность», хотя тотъ «копая просидѣлъ въ торговлю» (II, 266-270). Такъ и не вытанцовался промышленный капиталъ при Петрѣ; Россія осталась при торговомъ; да и то: — «завоеваніе Россіи торговымъ капиталомъ было временнымъ и непрочнымъ» (II, 302). Но, разумѣется, въ этой «отсталости» не было ничего своеобразнаго — никакой «національной особенности

русского народа». Просто, произошло запоздание общего повсюду процесса. По существу же, сходство того, что происходило в России начала XVIII вѣка, съ тѣмъ, что знакомо западно-европейской исторіи XVI в. — иногда фотографическое» (II, 304). Нѣсколько словесныхъ изворотовъ, — и теорія опять спасена — цѣной признанія запозданія Россіи на столѣтъ слишкомъ.

«Набѣтъ торговаго капитала», какъ бы то ни было, «не измѣнили дворянской природы московскаго государства» (II, 329). Глава о Елизаветѣ такъ и озаглавлена: «Новый феодализмъ». «Шляхетство наконецъ добилось своего». «Буржуазныя наслоенія первыхъ лѣтъ XVIII вѣка были смыты теперь основательно, — и старый социальный материкъ долженъ былъ выступить наружу» (III, 47, 53). «Государь-помѣщикъ» окончательно превратилъ свою вотчину въ «маленькое государство». «Новый феодализмъ» принялъ и «свой политическій аспектъ»: теорію сословной монархіи (III, 54-59). Это, конечно, должно быть переходомъ къ Екатеринѣ II. Покровский тутъ возражаетъ противъ тѣхъ изслѣдователей, которые, въ лику мнѣ, «перегнули палку въ противоположную сторону и стали рисовать екатерининскую Россію чуть не капиталистической страной» (III, 79-80). Дѣйствительно, это противорѣчило бы всему предыдущему изложенію Покровскаго. При Екатеринѣ социальное принужденіе не экономическое, а «внѣэкономическое»: это не такъ называемое освобожденіе крестьянъ, а полный расцѣпъ крѣпостного права. «Идею освобожденія крестьянъ въ XVIII

вѣкѣ убили (высокія). хлѣбныя цѣны» (III, 110). Итакъ, — запозданіе Россіи еще на столѣтъ, да еще съ «внѣ-экономическимъ» давленіемъ власти!

Не будемъ продолжать этихъ сопоставленій. Повторю, во всемъ этомъ много вѣрнаго: — таково, что въ большей или меньшей степени было общаго у всѣхъ насъ. Покровский только въ своей жаждѣ самовозвеличенія утрировалъ это общее, доведя мѣстами почти до карикатуры, но не имѣя еще смѣлости отойти отъ нашихъ общихъ достижений.

И все же — онъ отсталъ отъ событій. Перепечатаывая въ 1922 году свой «четыреугольникъ», онъ уже долженъ былъ извиниться, что курсъ его «мало удовлетворителенъ съ точки зрѣнія теперешняго марксиста». Но... «нѣтъ другого курса русской исторіи, болѣе марксистскаго, и для первоначальнаго ознакомленія съ тѣмъ, какъ понимаютъ русскую исторію историки - материалисты, приблизительно достаточно и существующаго текста». Покровский не предвидѣлъ, что въ дальнѣйшемъ отъ извиненій ему придется перейти къ покаяніямъ — и притомъ неоднократнымъ. Но онъ — за страхъ или за совѣсть — старался быть на высотѣ и не отставать отъ вѣка. Онъ избралъ для этого легчайшій способъ — изобличать другихъ въ недостаткѣ марксизма при сужденіяхъ о русской исторіи. Самъ онъ началъ еще болѣе упрощать свои прежніе взгляды въ томъ направленіи, которое считалъ ортодоксальнымъ. Сейчасъ увидимъ, какъ въ этомъ процессѣ упрощеній и приспособленій онъ заурчался, нарвавшись не на безглас-

льхъ своихъ послѣдователей и слушателей, а... на самого Троцкого.

III.

Пока все шло благополучно. Вернувшись въ Россію наканунѣ октябрьскаго переворота, Покровский показалъ себя, какъ мы видѣли, «непримиримымъ борцомъ за марксистско-ленинскую теорію и за большевистскую партійность въ науцѣ». Его четырехтомникъ былъ перепечатанъ Госиздатомъ въ 1922 г. и достигъ въ два года шестого и седьмого изданія, тогда какъ курсъ Ключевскаго застрялъ на второмъ и третьемъ. Начался головокружительный партійный взлетъ Покровскаго. Въ качествѣ посетителя ортодоксннхъ «наукъ», онъ сталъ монополистомъ и принялся усердно обличать «правоз- и лѣво-оппортунистическихъ извратителей «официальной доктрины». Въ 1923 г. такимъ уже проявилъ себя Троцкий въ борьбѣ противъ Сталина за власть. Это былъ достойный объектъ для нападенія. Но я позволю себѣ привести здѣсь длинную цитату изъ Покровскаго, которая покажетъ, какъ онъ въвязался въ эту роковую для него драку.

«Года три тому назадъ студенчество нашихъ коммунистическихъ университетовъ было въ большомъ волненіи. Оно привыкло читать въ марксистскихъ руководствахъ по русской исторіи, что социальное-политическое развитіе Россіи шло такимъ-же путемъ, какъ и развитіе странъ Западной Европы; что русское самодержавіе было такимъ-же исполнительнымъ комитетомъ крупныхъ земельныхъ собственниковъ

и крупнаго коммерческаго капитала, какъ и западно-европейскій абсолютизмъ XVI-XVII вв., что судьбы этого самодержавія опредѣлялись въ конечномъ счетѣ развитіемъ русскаго капитализма — и, стало быть, зависѣли отъ обществннаго развитія Россіи.

И вотъ — вышла книжка Троцкого «1905», гдѣ студенты увидѣли написаннымъ чернымъ по белому, что въ Россіи абсолютизмъ существовалъ «наперекоръ общественному развитію», что онъ превратился у насъ въ «самодовлѣющую организацію, стоящую надъ обществомъ»; что онъ возникъ вовсе не на основѣ ранняго капитализма эпохи «первоначальнаго накопленія», а «на примитивной экономической основѣ» (которая дальнѣе поясняется, какъ натуральное хозяйство «самодовлѣющаго» характера) и для созданія его русское государство «должно было обгонять развитіе своихъ собственныхъ экономическихъ отношеній». Словомъ, все было совсѣмъ наоборотъ тому, что рассказывали русскіе историки-марксисты. А на естественно возникшій у коммунистическихъ студентовъ вопросъ, на чемъ-же выросло самодержавіе, если оно не зависѣло отъ обществннаго развитія и обгоняло экономическія отношенія, на первой-же страницѣ можно было прочесть отвѣтъ: «при слабомъ сравнительно развитіи международной торговли рѣшающую роль играли международныя военныя отношенія. Соціальное вліяніе Европы въ первую очередь сказывалось черезъ посредство военной техники. Не капитализмъ толкалъ впередъ развитіе русскаго государства, а наоборотъ, русскій аб-

солютизмъ равностно насаждалъ капитализмъ для своихъ военно-политическихъ цѣлей. «Чтобы удержаться противъ лучше вооруженныхъ враговъ, русское государство было вынуждено заводить у себя промышленность и технику». Словомъ, первая и основная особенность историческаго развитія Россіи состояла въ томъ, что всюду въ мѣръ экономика командовала надъ политикой, а у насъ наоборотъ. Согласитесь, что коммунистическимъ студентамъ было чему удивиться. Естественно, что они не безъ гнѣва (авторитетъ Троцкаго въ 1922 г. былъ еще великъ) обратились къ своимъ профессорамъ исторіи. «Что же вы намъ рассказываете? Почитайте, что пишетъ Троцкий: дѣло совсѣмъ не такъ было!»

Положеніе стало еще серьезнѣе, когда Троцкий на первую же обличительную статью Покровскаго отвѣтилъ, что его взглядъ вовсе не случаенъ, а сложился у него въ тюрьмѣ въ 1905-1906 г. и напечатанъ въ «Нашей Революціи» въ Петербургѣ въ 1907 г., какъ способъ исторически обосновать и теоретически оправдать лозунгъ завоеванія власти пролетаріатомъ, противопоставленный какъ лозунгу буржуазно-демократической республики, такъ и лозунгу демократическаго правительства пролетаріата и крестьянства». Это и была теорія «сперманентной революціи» Троцкаго. Безъ этой теоріи «нельзя и сейчасъ понять октябрьскую революцію» (опередившую экономическую эволюцію капитализма. П. М.). И Троцкий развилъ свой взглядъ въ статьѣ «Объ особенностяхъ историческаго развитія Россіи». У насъ не

было европейскаго города, и нашъ торговый капитализмъ «объясняется именно чрезвычайной примитивностью и отсталостью русскаго хозяйства». Пришлось русской государственной власти «стать историческимъ орудіемъ въ дѣлѣ капитализированія экономическихъ отношеній Россіи» «съ помощью европейскаго техника и европейскаго капитала».

Не будемъ входить въ спеціальнѣйшій споръ Покровскаго съ Троцкимъ. Но дѣло въ томъ, что главнымъ противникомъ Покровскаго въ этомъ спорѣ оказался не Троцкий, а вся историческая наука предшественниковъ Покровскаго. Троцкий обошелъ его, такъ сказать, съ тыла. И спорить ему приходилось не столько съ Троцкимъ, сколько съ Ключевскимъ и ...Милюковымъ. «Что это такое, какъ не теорія внѣклассоваго государства, которую развивалъ Милюковъ?... Пусть Троцкий отмежевывается отъ Милюкова. Все же, стоя на своей позиціи, онъ не можетъ сказать о кадетскомъ историкѣ больше, чѣмъ что схема того есть «страшное преувеличеніе». Преувеличеніе чего? — допрашивалъ Покровскій. — Ошибки — или правильнаго въ основѣ пониманія русскаго историческаго процесса? Ясно, что послѣдняго... Но Милюковъ повторяетъ Ключевскаго, а Ключевскій Чичерина, и всѣ они стоятъ на почвѣ «преувеличенія» роли государства... Карамзинимъ. Вотъ гдѣ завязъ Троцкий...

Что касается меня, я уже во введеніи къ первому тому новаго изданія «Очерковъ» призналъ долю своего «преувеличенія» при попыткѣ синтеза двухъ противоположныхъ конструкцій русско-

исторіи: одной, которая строится на «своеобразіи», и другой, которая строится на «сходствѣ» русскаго историческаго процесса съ западнымъ. Я всегда признавала неправильнымъ доводить «своеобразіе» до «исключительности», а сходство до «тождества». Да и самъ Покровский, пока онъ стоялъ еще на почвѣ предыдущихъ научныхъ работъ въ своей «Исторіи», онъ долженъ былъ-бы возражать Троцкому. Мы только что видѣли, что «отсталость» русскаго историческаго процесса онъ признавалъ и причиной его тоже считалъ запоздалость экономическаго развитія. Слѣдую строгой доктринѣ экономическаго материализма, онъ долженъ былъ-бы отнести на счетъ слабости экономическаго фундамента и характеръ политической «надстройки», т. е. другой несомнѣнный фактъ русскаго прошлаго: политическое господство «государства» надъ «классами». Чтобы избѣгнуть этого вывода, Покровский отрицаетъ самый фактъ господства государства и, наоборотъ, старается доказать тезисъ господства «классовъ» надъ «государствомъ». Но тутъ начинаются его собственныя «преувеличенія», стояція въ очевидномъ противорѣчій съ его же утвержденіями относительно хотя бы отрицательнаго вліянія «государства» въ лицѣ его представителей на ходъ экономическаго развитія. Онъ наблюдаетъ, напр., въ развитіи экономики перерывы «реакцій», вызванные «реформами» такихъ личностей, какъ Иванъ Грозный или Петръ Великій. Онъ признаетъ и вліяніе войнъ и внѣшней политики на экономику. Личную исторію государей онъ раз-

сказываетъ съ большимъ вкусомъ, продолжая въ то же время отрицать ихъ историческую роль. Словомъ, Покровский подпадалъ обвиненію, которое и было противъ него позднѣе выставлено, что онъ самъ «складывался какъ историкъ не въ рядахъ большевистской партіи, а въ средѣ лѣвыхъ демократическихъ историковъ»; что онъ «былъ демократическимъ историкомъ, не имѣющимъ понятія о марксизмѣ, а затѣмъ примкнулъ къ легальному марксизму». Не могло быть ничего невыносимѣе этого обвиненія для Покровскаго и онъ принялся очищаться отъ обвиненія въ своей зависимости отъ «буржуазныхъ» историковъ, трудами которыхъ такъ широко воспользовался въ своей «Исторіи». Онъ перебрисывалъ, напротивъ, то же обвиненіе на Троцкаго и занялся розысками, откуда произошла та теорія о «внѣклассовомъ государствѣ» на «примитивной экономической основѣ», въ усвоеніи которой онъ обвинялъ Троцкаго. Рядъ его полемическихъ статей посвящается съ этого времени обличеніямъ русскихъ историковъ. Мало того, онъ организовалъ двухтомное разслѣдованіе о «Русской исторической литературѣ въ классовомъ освѣщеніи», въ которомъ его ученики представили рядъ подробныхъ критическихъ разборовъ учений тѣхъ историковъ, которыхъ Покровскій избралъ мишенью своихъ нападеній. Мы сейчасъ увидимъ, что онъ переселилъ въ этихъ обличеніяхъ, а Троцкій, опираясь на раскритикованныхъ имъ историковъ, оказался болѣе сильнымъ противникомъ, нежели онъ предполагалъ.

IV.

Общая цель русских историков до Покровского, по его мнению, ясна. Находясь на службе у буржуазии, они всячески стараются скрыть ту классовую борьбу, которая, на основѣ того или другого экономического строя, ведетъ къ созданію того или другого политическаго режима. Обличить этотъ «классовый» трюкъ и значить — найти ключъ къ «расшифровкѣ» и пониманію «буржуазныхъ» построений русской истории. Поднадзорные Покровскаго, повинные въ подобныхъ уловкахъ, строятся имъ въ слѣдующій хронологическій рядъ: Карамзинъ, Чичеринъ, Соловьевъ, Ключевскій, Милуковъ, а изъ «слѣвыхъ», подавшихъ ихъ тлетворному влиянію, Плехановъ и Рѣжковъ. Первые три внесли для маскировки классовой борьбы каждый свою фальшивую идею: Карамзинъ — голую идею «государства», Чичеринъ — всемогущую роль этого государства въ ходѣ социальнаго процесса: сперва въ «закрѣпленіи» созданныхъ государствомъ сословій, а потомъ въ ихъ «раскрѣпощеніи» — все время въ интересахъ правящаго класса. Соловьевъ прибавилъ къ этому указаніе на пружину, двигавшую усиленіемъ государства: «борьбу со степью» и необходимость вооружаться для этой цели европейскою техникой. Остальные такъ или иначе комбинировали эти основныя идеи, оставаясь, однако, подъ гипнозомъ якобы «внѣклассоваго государства».

О Карамзинѣ, конечно, нечего и говорить: его панегирикъ государству развѣнчать уже самими буржуазными историками. Чиче-

ринъ, тамбовскій помѣщикъ и геогелианецъ — другое дѣло. Это онъ строитъ схему закрѣпощенія и раскрѣпощенія, господствовавшую съ 1858 г. вплоть до Ключевского и Плеханова. Ключъ къ ней, конечно, дается представителемъ тогда освобожденіемъ крестьянъ согласно интересамъ помѣщиковъ, продиктованнымъ переходомъ (только тогда П. М.) къ товарному хозяйству отъ натурального. Соловьевъ — сынъ столичнаго протопопа: — и «самый образованный изъ русскихъ историковъ» — пустилъ въ ходъ идею борьбы съ хищниками степи явно въ связи съ восточными войнами Николая I-го и Александра II-го. Его «ключъ» — безсознательная работа на пользу расширенія внѣшняго рынка въ интересахъ «промышленнаго капитализма», пришедшаго (наконецъ П. М.) на смѣну «торговаго». Его слабая сторона — маскировка «борьбой со степью» завуалированной внѣшней политики самодержавія. Ключевского классифицировать по этому способу трудно. Онъ — электикъ, соединившій «прикрѣпленіе и раскрѣпощеніе сословій» Чичерина съ «борьбой со степью» Соловьева и прибавившій отъ себя національный моментъ: Великобританію. Соединеніе, однако, вышло не «химическое», а только «механическое», замаскированное «гениальною» стилистикой профессора и писателя. Сынъ дьячка, Ключевскій, конечно «не можетъ считаться выразителемъ какой-нибудь определенной классовой психологии»; но онъ «типичный представитель интеллигенціи, т. е. того междуклассоваго слоя, который съ одной стороны связанъ съ капиталомъ,

съ другой стороны эксплуатируется этимъ капиталомъ, поэтому онъ противъ буржуазинъ. Милюковъ — ну, что-же говорить о Милюковѣ. Поскольку онъ не слѣдуетъ Ключевскому, онъ, «начавъ съ попытки примирить абсолютно непримиримое — «государственную» схему русской истории со Шаловымъ, идеологомъ крестьянскаго класса въ 60-е годы, возвращается въ наши дни почти къ чистой «шаловщинѣ». Это «почти замкнутая кривая: — до-марксистскій историческій материализмъ».

Гораздо важнѣе, что «теорія внѣклассоваго государства, которую развивалъ Милюковъ безъ помощи марксистской терминологіи» и которую «почти слово въ слово повторилъ Троцкій», «держитъ въ плѣну» и такого представителя «технической интеллигенціи», какъ Плехановъ, и такого идеолога «до-технической интеллигенціи», какъ Рожковъ. Вопреки истинному марксизму, Плехановъ дѣлаетъ «несомнѣнную попытку сколь возможно эмансипировать политическій моментъ изъ-подъ вліянія производительныхъ силъ: отодвинуть его подалѣе отъ нихъ». Ставъ на этотъ путь, Плехановъ «со ступеньки на ступеньку» возстановляетъ и соловьевскаго «коченика» и чичеринское «закрѣпленіе»...

Въ своемъ прокурорскомъ усердіи Покровскій отгесса съ кондачка къ замѣчательному труду Плеханова. Мысль Плеханова гораздо глубже и сложнѣе «марксистскихъ» упрощеній Покровскаго. Полемизируетъ Плехановъ не со мной, а съ Ключевскимъ, ставя на очередь общую намъ задачу: найти синтезъ «сходства» и

«своеобразіи» русскаго историческаго процесса. Отрицая «полное» своеобразие, Плехановъ признаетъ «относительное» и усердно ищетъ его причины — между прочимъ въ условияхъ географической среды. Отрицая приоритетъ «политическаго момента» надъ экономическимъ, онъ, однако, намѣчаетъ пріемлемый компромиссъ. «Въ дѣйствительности», говоритъ онъ, «политическій моментъ» никогда и нигдѣ не идетъ впереди экономическаго; онъ всегда обуславливается этимъ послѣднимъ, что нисколько не мѣшаетъ ему, впрочемъ, оказывать на него обратное вліяніе». Отворачиваясь отъ этого пути синтеза и сворачивая все дальше на путь квази-марксистскаго праповѣрія, Покровскій сильно перегнулъ палку и испортилъ свое положеніе. Пока онъ разъяснялъ своихъ «буржуазныхъ» предшественниковъ, онъ оставался въ предѣлахъ своей монополіи, и дѣло шло благополучно. Но когда онъ набросился съ обличеніями на чуждый ему по идейному развитію лагерь марксистовъ, хотя бы и «еретиковъ», положеніе измѣнилось. Если въ началѣ двадцатыхъ годовъ студенты обратились къ нему съ недоумѣнными вопросами по поводу его полемики съ Троцкимъ, то въ семинарахъ 1930-1931 гг. они уже перешли въ наступленіе и сами начали обличать своего профессора въ «безграмотностяхъ». Мы имѣемъ признанія Покровскаго, что эти семинарія «чрезвычайно помогли ему въ исправленіи этихъ «безграмотностей». Но были между ними и такія, которыя исправить было трудно. Покровскій обличалъ русскихъ историковъ-

«государственниковъ» тогда, когда совѣтское государство достигло небывалыхъ предѣловъ «политическаго» вмѣшательства въ «экономическій» строй страны и когда оно напрягло экономическія силы сверхъ всякой мѣры—именно въ виду ихъ «отсталости». Оно поступило совершенно такъ, какъ поступали его предшественники въ московскомъ государствѣ XVII вѣка, — какъ выступалъ и Петръ Великій... Покровский доказывалъ быстроту экономическаго роста Россіи передъ октябрьскимъ переворотомъ, тогда какъ дѣятели этого переворота подчеркивали рѣзкій разрывъ съ прошлымъ. Это и вызывало въ идейныхъ противникахъ сомнѣніе въ подготовленности къ нему русскаго капитализма. Онъ, наконецъ, настаивалъ на «сходствѣ» русскаго и западно-европейскаго развитія, когда Сталинъ уже утвердилъ догматы о національномъ происхожденіи русской революціи и переходилъ къ реставраціи національнаго взгляда на «своеобразіе» русскаго прошлаго. Наконецъ Покровский отрицалъ роль личности — даже Петра Великаго — въ исторіи, когда сравненіе съ Петромъ уже становилось ходячимъ пріемомъ лести «великому, гениальному вождю народовъ». Словомъ, ослабленный важностью принятой на себя миссіи, Покровский задѣлывалъ самыя деликатныя темы и танцевалъ на чувствительныхъ мозоляхъ. Недовольство накоплялось; долженъ былъ послѣдовать и взрывъ.

V.

По счастью для Покровскаго, настоящая реакція противъ его «школы» послѣдовала уже послѣ

его смерти. Но прежде чѣмъ перейти къ ней, надо отмѣтить его прижизненные уступки и признанія. «Совершенно ясно», писалъ онъ въ 1931 г., за годъ до смерти, «что въ рядѣ отдѣльныхъ формъ мулировокъ, иногда очень важныхъ, старья изложенія моей концепціи звучали весьма не полезныя, а иногда были попросту теоретически малограмотны. Такъ, напримѣръ, безграмотнымъ является выраженіе «торговый капитализмъ»; капитализмъ есть система производства, а торговый капиталъ ничего не производитъ... И онъ цитируетъ Маркса: «самостоятельное развитіе купеческаго капитала стоитъ въ обратномъ отношеніи къ общему экономическому развитію общества... Денежное и товарное обращеніе можетъ обслуживать сферу производства самыхъ разнообразныхъ организацій, которыя по своей внутренней структурѣ все еще имѣютъ главной цѣлью производство потребительной стоимости». Куда-же послѣ этого дѣвается объясненіе происхожденія русскаго государства изъ «торговаго капитала» или ссылка, по Ключевскому, на хлѣбную торговлю Москвы и на обиліе тамошнихъ лавокъ товарами въ XVII столѣтіи въ доказательство сравнительной высоты ея экономическаго развитія? Торговый капиталъ «не при чемъ», продолжаетъ Покровский, и въ «усиленіи феодальной эксплуатаціи крестьянъ въ концѣ XVI вѣка» (т. е. въ происхожденіи крѣпостного права). «Наконецъ (и это главное. П. М.), не приходится скрывать, что въ первыхъ редакціяхъ моей схемы былъ недостаточно учтенъ и фактъ относительной независимости по-

литической надстройки отъ экономического базиса. Позабыты были слова Энгельса: «къ чему же мы тогда бьемся за политическую диктатуру пролетаріата, если политическая власть безсильна? Сила есть точно такъ же экономическое могущество». Ничего другого не говорилъ и Плехановъ. «Экономическій материализмъ (уже теперь въ смыслъ осужденія. П. М.) не былъ еще мною изжитъ на всѣ сто процентовъ, когда я писалъ и «Русскую исторію», и «Очеркъ исторіи культуры» и даже «Сжатый Очеркъ»! Покровский обѣщалъ теперь представить «окончательную схему», которая приметъ во вниманіе и Энгельса, и Ленина; но при этомъ онъ ограничивался: «свободна-ли эта окончательная схема отъ ошибокъ? Никакъ не могу этого обѣщать... Представить эту схему, послѣ приведеннаго покаянія, Покровскому помѣшала смерть. Но она же послужила сигналомъ къ окончательному разгрому его приемовъ и его «школы»; Покровский былъ даже обвиненъ въ томъ, что искусственно и злобно задерживалъ эту реакцію.

Въ первой половинѣ 1936 года противъ Покровскаго выступили такіе тузы какъ Радекъ и Бухаринъ. Къ этому времени воспоминаніе о его личныхъ «заслугахъ» и о его вліяніи на молодежь уже настолько успѣло изгладиться, что оба критика не церемонились съ покойникомъ. Радекъ прямо отчислилъ его отъ категоріи марксистскихъ историковъ и вернулъ на принадлежавшее ему исторически мѣсто. «М. И. Покровский складывался какъ историкъ не въ рядахъ большевиковъ, а въ средѣ лѣвыхъ де-

мократическихъ историковъ... Онъ былъ демократическимъ историкомъ, не имѣющимъ понятія о марксизмѣ, а затѣмъ прикинулъ къ «легальному марксизму»... Маркса они воспринимали черезъ схему Богданова, а не черезъ диалектику Ленина. Поэтому, мѣсто диалектическаго материализма у нихъ занялъ такъ наз. экономическій материализмъ. Это было вѣрно; но вѣрно было и то, что, поскольку Покровский опирался на своихъ предшественниковъ, на которыхъ опирались и Троцкий, и Плехановъ, — онъ стоялъ на твердой почвѣ. Все, въ чемъ его теперь стали обвинять подлинные марксисты, явилось результатомъ его усиливъ раскритиковать это свое прошлое и замѣнить его квазимарксистскимъ подходомъ съ соотвѣтствующими упрощеніями, которыя съ теченіемъ времени становились все болѣе и болѣе смѣлыми. Сюда, прежде всего, относился и его тезисъ о зависимости политической надстройки отъ производственной и экономической базы. Радекъ приходитъ въ полное негодованіе отъ этой измѣны Энгельсу. Позвольте: какъ же утверждать, что «политическій моментъ есть второстепенный», когда пролетаріатъ борется за диктатуру, а побѣдителемъ 25 октября разгоняютъ учредительное собраніе! «Вопросъ, въ чьихъ рукахъ власть, оказался отнюдь не второстепеннымъ. И, признавъ эту ошибку, Покровский впасть въ другую крайность». Онъ нашелъ, что, совершая переворотъ, большевики «прорвали» къ социализму сквозь всякіе законы, наперекоръ узко-экономическимъ законамъ. То-есть, значитъ, онъ присоединился къ тезису Каменева и

Зиновьева о несвоевременности переворота...

Нѣтъ, несмотря на «отказъ отъ ряда формулировокъ», «всѣ историческія работы Покровскаго пронизаны не марксистскими экономическими понятіями; его работы чужды ленинизму». Бухаринъ избралъ для критики Покровскаго другой, болѣе практической подходъ, на который указала отчасти самъ Ленинъ. Получивъ двѣ первыя части «Русской исторіи въ самомъ сжатомъ очеркѣ», очевидно предназначенныя служить учебникомъ, Ленинъ поздравилъ Покровскаго съ успѣхомъ, но осторожно замѣтилъ ему, что для того, «чтобы книга была учебникомъ, надо дополнить ее хронологическимъ указателемъ...», чтобы не было верхоглядства, чтобы знали факты». На самомъ дѣлѣ, изложенная на 180 страницахъ до Александра III включительно, книга была явно неудобоварима для преподаванія. Излагались не столько «факты», сколько «схемы», намъ уже извѣстныя и трудно усваиваемыя учащимися средней школы. Бухаринъ нашелъ для этого объясненіе — тоже въ прошломъ Покровскаго. «Въ прежней исторіографіи, которая имѣетъ свои корни еще въ придворныхъ хроникахъ, царей, эти послѣдніе разсматривались, какъ единственные божественные творцы историческаго процесса, чудотворные дѣлатели исторіи, дѣлившіе ее по своему произволу и усмотрѣнію. Этой исторіографіи Покровскій противопоставилъ попытку общественнаго разсмотрѣнія историческаго процесса, т. е. разсмотрѣнія общественно-историческихъ формаций. Но онъ оторвалъ об-

щество отъ его агенто́въ, абстрактное отъ конкретнаго, социологию отъ исторіи, «законы» отъ «факто́въ»... Какъ потомъ онъ не старался говорить о «конкретномъ», ничего конкретнаго не получалось, и многіе его воспитанники тонули въ схоластическихъ словопренияхъ и въ томъ «верхоглядствѣ», котораго такъ опасался Ленинъ. Вина опять—въ отсутствіи «діалектики». «Діалектика возвращаетъ схемамъ живыя краски и личные образы». Что особенно возмутило Бухарина у Покровскаго, это примѣненіе «кдасовой точки» зрѣнія къ исторіи пролетарской. Она тоже должна быть классовой а, слѣдовательно, объективной быть не можетъ, училъ Покровскій. Исторія есть «политика, опрокинутая въ прошлое». Бухаринъ утверждалъ, конечно, что пролетарская исторія составляетъ единственное исключеніе изъ этого правила и что, будучи правдивой, она непременно будетъ не засушенной въ «схемы», а красочной, какъ сама жизнь.

Итакъ, вопросъ сводился къ плоскости педагогической. Но тутъ онъ сразу прибрѣлъ иной политическій смыслъ и иную постановку. Для недоучившагося семинариста Сталина теоретическіе споры и высшія достижения русской исторіографіи были недоступны. Но политическое значеніе преподаванія русской исторіи онъ понималъ прекрасно. И задача вернуть жизнь схемамъ — совпала съ его собственной тенденціей—одѣть теоретическую и спорную «генеральную линію» въ живой національный костюмъ. Самъ онъ былъ не прочь занять въ этой бутафоріи роль «единственнаго

божественнаго творца и чудотворца», чье имя жило-бы въ вѣках... ну хоть по образцу Петра Великаго, съ которымъ Покровский не зналъ что дѣлать. Для этого нужно было вернуть школьную исторію ко временамъ гораздо болѣе отдаленному, чѣмъ времена непосредственныхъ предшественниковъ и современниковъ Покровскаго.

VI.

Совершить сразу этотъ переходъ оказалось, однако, нелегко. Слишкомъ вѣблась въ умы интеллигентская обработка исторіи. 16 мая 1934 г. Совнаркомъ и ЦИК партіи экзистировали, что преподавание исторіи въ школахъ СССР поставлено неудовлетворительно. Учебники и само преподавание носятъ отвѣщенный схематическій характеръ. Въмѣсто преподаванія гражданской (подчеркнуто) исторіи въ живой занимательной формѣ, съ изложеніемъ важнѣйшихъ событій и фактовъ въ ихъ хронологической послѣдовательности, съ характеристикой историческихъ дѣятелей, — учащимся преподносятъ абстрактныя опредѣленія общественно-экономическихъ формаций, подмѣняя такимъ образомъ связанное изложеніе гражданской исторіи отвѣченными социологическими схемами. Этими отрицательными указаніями возстановлялся традиціонный типъ учебника: «доступное наглядное и конкретное» изложеніе фактовъ въ хронологической послѣдовательности, «съ обязательнымъ закрѣпленіемъ въ памяти учащихся важныхъ историческихъ явленій, историческихъ дѣятелей, хронологическихъ датъ». Къ июню 1935 г. постановлено бы-

ло приготовить новые учебники, и для исторіи СССР назначена коммиссія въ составѣ профессоровъ Грекова, Панкратовой и Понтовскаго, подъ руководствомъ проф. Ванга. На первую очередь было поставлено составленіе элементарныхъ учебниковъ для начальной и неполной средней школы. Конспекты были представлены названной группой — и жестоко раскритикованы въ «Замѣчаніяхъ», подписанныхъ 8 августа того-же года Сталинымъ, Кировымъ и Ждановымъ. Дѣло въ томъ, что въ коммиссію попали все тѣ же «учебники Покровскаго», которые «не поняли заданія» и вмѣсто конспекта учебника представили «журнальную статью, гдѣ можно болтать обо всемъ». Въмѣсто «исторіи народовъ СССР» они предложили составить «русскую исторію», забывъ о лозунгахъ «царизмъ — тюрьма народовъ» и «царизмъ — международный жандармъ». Въмѣсто «марксистскихъ научно-обоснованныхъ опредѣленій» скопированы «затасканныя и совершенно ненаучныя опредѣленія всякаго рода буржуазныхъ историковъ», вроде: «Пугачевщина», «первые шаги царизма въ борьбѣ съ революціей» и т. д. Не учтена зависимость «полуколониальной» Россіи отъ европейскаго капитала и кризисъ европейской демократіи и парламентаризма, чѣмъ ослаблена роль октябрьской революціи и «немотивирована роль солѣтовъ, какъ носителей пролетарской демократіи». «Вообще, конспектъ не совсемъ грамотенъ съ точки зрѣнія марксизма... Томъ этой критики усилился, когда группа проф. Ванга представила самый текстъ учебника, другія группы Мица и Лозинскаго —

учебникъ для начальной школы. «Авторы продолжают настаивать на неоднократно вскрытыхъ партией установкахъ, имѣющихъ въ своей основѣ извѣстныя ошибки Покровскаго». Въ виду такой оцѣнки Совнаркомъ и ЦИК переходятъ въ наступленіе. Они подчеркиваютъ, что эти вредныя тенденціи и попытки ликвидаціи исторіи, какъ науки, связаны въ первую очередь съ распространіемъ среди нѣкоторыхъ нашихъ историковъ ошибочныхъ историческихъ взглядовъ». «Для дѣла нашего государства, нашей партіи и для обученія подрастающаго поколѣнія эти «вредные взгляды» должны быть преодолѣны. Такъ «ошибки» уже становились своего рода «государственнымъ преступленіемъ».

Бѣдный Покровский! Большая часть этихъ «ошибокъ» вѣдь была сдѣлана именно для того, чтобы подладиться подъ требованія «настоящаго марксизма». Сколько разъ онъ каялся, отказывался отъ своихъ прежнихъ взглядовъ, осуждалъ свой «экономическій материализмъ», отрясалъ прахъ отъ своихъ предшественниковъ, — даже отъ самой науки, доказывая, что не можетъ быть вообще «объективной» исторической науки, напрасно онъ отдалъ свою науку на служеніе коммунистической партіи, призналъ даже, что «настоящій марксизмъ допускаетъ очень сильное вмѣшательство политическаго момента во всѣхъ стадіяхъ развитія». Все это было поздно.

А его «школа»? Еще въ 1929 году А. Шестаковъ въ «Новомъ Мірѣ» восторгается предѣлительствомъ «воинствующаго историка» на многочисленномъ съѣз-

дѣ «всесоюзной конференціи историковъ-марксистовъ», въ противуположность съѣзду буржуазныхъ историковъ въ Осло. Здѣсь непрерывно углубляютъ грань между «нами» и «нами» и объявляютъ «борьбу съ чуждыми марксизму и классово-враждебными пролетариату идеологиями и ихъ пережитками, въ чемъ-бы они ни состояли и кто-бы ихъ распространялъ». А немедленно по смерти Покровскаго становятся жертвами этой широкой формулы сами участники марксистскаго съѣзда — «ученики Покровскаго», вѣсть со своимъ учителемъ. Нѣкій П. Дроздовъ въ «Правдѣ» (27-го марта 1937 г.) объявляютъ ихъ уже прямо «двурушниками взаимно покрывающими и поддерживающими другъ друга и проводившими подлую вредительскую работу, широко пользуясь слѣпотой, ротозѣйствомъ и идиотской болѣзью — безпечностью нѣкоторыхъ историковъ-коммунистовъ».

Забята и полемика Покровскаго съ Троцкимъ: его ученики, оказывается, «протаскиваютъ троцкистскую пропаганду!»

Отъ этихъ обличеній критика скоро переходитъ въ самую неприличную брань. Эти «участники троцкистско-бандитскихъ шаекъ, Фридляндъ, Зайдель, Ванагъ, Невскій, Понтковский, Далинъ и др.» — суть «подлые враги народа», «мерзавцы». Словомъ, на нихъ переносится весь горячій арсеналъ обвиненій, ведущихъ къ «высшей мѣрѣ» наказанія... («Правда», 20 марта).

26 января 1936 г. Совнаркомъ и ЦИК постановляютъ организовать комиссію для передѣлки представленныхъ учебниковъ и для объ-

явленія конкурса на составленіе новыхъ. Задача — нелегкая послѣ всего сказаннаго — оказывается на этотъ разъ приблизительно достигнутой. «Рядъ учебниковъ изъ числа представленныхъ 46-и», констатируетъ жюри, «отощелъ отъ прежняго типа». «Вмѣсто отвлеченныхъ социологическихъ схемъ въ этихъ учебникахъ, при всѣхъ ихъ недостаткахъ, соблюдается историко - хронологическая последовательность, дается описаніе важнѣйшихъ историческихъ явленій, перечень основныхъ хронологическихъ датъ и характеристика историческихъ дѣятелей». Къ числу недостатковъ относятся: «идеализация до-христіанскаго язычества», «игнорированіе прогрессивной роли монастырей»; авторы рассматриваютъ переходъ Украины и Грузіи подъ власть Россіи «какъ абсолютное зло», «преувеличиваютъ организованность и сознательность крестьянскихъ волненій до XX столѣтія («вѣи руководства рабочаго класса»), «идеализируютъ стрѣлецкій мятежъ, не осуждаютъ побѣды Александра Невскаго на Чудскомъ озерѣ» и т. д. Очевидно, «патріотическія» указанія Сталина все еще не приняты цѣликомъ во вниманіе. Поэтому, первой преміи не получаетъ никто. Вторая выдается учебнику подъ редакціей А. В. Шестакова (того самаго). 24 августа «Извѣстія» празднуютъ этотъ великій успѣхъ, какъ «событіе огромнаго государственнаго значенія». «Социалистическая культура обогатилась еще однимъ большимъ достиженіемъ». «Совѣтскихъ школьниковъ можно поздравить съ замѣчательнымъ подаркомъ Сталина»...

VII.

Передъ нами этотъ пресловутый учебникъ для начальной школы, возведенный на степень «огромнаго государственнаго событія». Какъ низко должна была пасть «совѣтская культура», чтобы придти въ восторгъ отъ подобнаго «достиженія», якобы освобожденнаго, наконецъ, отъ всѣхъ слѣдовъ вліянія «буржуазной науки». Подумать только: наконецъ появился на свѣтъ элементарный учебникъ съ самой настоящей хронологіей, «фактами» и «характеристиками дѣятелей!» До водворенія сталинскаго «соціализма» въ Россіи, очевидно, ничего подобнаго не было: ни датъ, ни фактовъ, ни дѣятелей. Присмотримся, въ какомъ видѣ все это, хорошо забытое, вводится вновь въ совѣтскую школу.

Конечно, никакихъ «завиральныхъ идей» — и вообще никакихъ идей — въ учебникѣ не имѣется. Опасныя слова «феодализмъ», «торговый капиталъ», «промышленный капиталъ» и всякія такія «формации» совершенно выведены изъ употребленія. Никакихъ «отвлеченныхъ схемъ». Всѣ распоряженія Сталина, разумѣется, приняты во вниманіе. Изъ 217 страницъ учебника половина посвящена революціонному періоду, начиная съ Николая II, и изъ этой половины большая часть (67 страницъ) излагаетъ «Великую октябрьскую социалистическую революцію». Этой части мы касаться не будемъ, а остановимся на первыхъ 117 страницахъ. Сталину, вѣроятно, было приятно узнать на первыхъ же страницахъ, что онъ родился на территоріи «древнѣйшаго» народа Урарту, кото-

рый (по свѣдѣніямъ автора) создалъ «государство родоначальниковъ нынѣшней Грузіи». Кстати, этимъ сразу осуществлялось требованіе — писать не «русскую исторію», а исторію «народовъ СССР». По существу темы и по характеру элементарнаго учебника это требованіе, конечно, оставалось номинальнымъ, и авторъ вспоминалъ о немъ лишь отъ времени до времени, — когда происходило завоеваніе этихъ народовъ. Въ основѣ это все-таки была русская исторія, и Сталинъ опять могъ испытывать удовольствіе, вспоминая свой семинарскій учебникъ. вмѣсто неудобопонятныхъ «формацій» здѣсь часто рассказывались милыя преданія начальной лѣтописи о Рюрикѣ и Олегѣ, о томъ, какъ древляне разорвали Игоря на части и какъ Ольга въ отместку послала на ихъ городъ голубей и воробьевъ съ пучками зажженной пакли на хвостахъ. Слѣдуетъ гдѣ-то подслушанный политическій разговоръ Святослава съ матерью: сынъ не вѣритъ, что «греческая вѣра» можетъ «укрѣпить власть князей», и отвергаетъ относительный пацифизмъ Ольги, «считая, что объединить славянъ и создать сильное государство можно только оружіемъ». Все же, онъ поступалъ по-рыцарски и, «будучи неустрашимымъ, предупредждалъ неприятеля о своемъ нападѣніи, посылая сказать: «иду на вы» (въ скобкахъ пояснено: иду на васъ). Но печенѣги оказались не такими рыцарями: устроили Святославу засаду и его убили. Это вышло очень кстати потому что онъ уже «задумалъ перенести на Дунай свою столицу изъ Кіева». Тогда не было бы ни его

сына Владимира на кievскомъ престолѣ, ни, быть можетъ, вообще русскаго государства. А при Владимирѣ оно, напротивъ, усилывалось и крѣпло. Владимиръ на конецъ повѣрилъ, что «принятіе греческой вѣры укрѣпитъ его власть». Онъ «загналъ кievлянъ въ воду, а привезенные изъ Царьграда попы читали надъ стоящимъ въ водѣ народомъ свои молитвы. Это называлось крещеніемъ». Народъ, правда, «не разбунтовалъ противъ новой вѣры», но «христіанство было въ то время шагомъ впередъ въ развитіи Россіи». Такъ «распространилась и греческая культура, и образованность, хотя не забывались и «разсказы объ удали славянскихъ богатырей».

Я боюсь, однако, что мой разсказъ заинтересуетъ читателя болѣе, нежели отрывочныя фразы учебника, изложенныя корявымъ языкомъ, точно по скучной обязанности, и лишенныя всякой теплоты и патріотическаго энтузіазма. Предписанное Сталинымъ «чувство національной гордости» тутъ, во всякомъ случаѣ, не достигается. Дальше идутъ «стихійныя возстанія, которыя князья подавляли безъ особыхъ усилій, такъ какъ возстанія эти были безсознательными». Авторъ еще не рѣшается здѣсь уже прибавить приказанный аргументъ: «потому что тогда еще не было рабочаго класса». Но затѣмъ онъ регулярно его повторяетъ, касается-ли дѣло Болотникова, Разина или Пугачева (45, 54, 72). Только относительно стрѣлечкаго мятежа противъ Петра дана обязательная директива: считать это возстаніе «реакціоннымъ» (64). Средневѣковое вѣче, такъ же, какъ и земскіе со-

боря царя Алексѣя, не измываютъ никакого сочувствія автора: все это вѣдь дѣлали «бояре, помѣщики и купцы». Однако, и московскихъ князей учебникъ не рѣшается назвать за нихъ «собираательство» Россіи. О «царѣ-самодержцѣ» Иванѣ IV, «уничтожавшемъ боярскія преимущества», говорится тоже очень спокойно. Личность Алексѣя Михайловича проходить у автора совсемъ незамѣтно. Съ «умнымъ и дѣятельнымъ» Петромъ Великимъ дѣло обстоитъ труднѣе. «Борьба съ отсталостью Россіи» уравнивается съ «укрѣпленіемъ власти дворянъ» и «разбогатѣніемъ купцовъ и заводчиковъ». «При Петрѣ Россія значительно продвинулась впередъ, но осталась страной, гдѣ все держалось на крѣпостномъ угнетеніи и царскомъ произволѣ». Такъ что и тутъ радоваться нечему; живого образа не выходитъ. Пожалуй, съ болѣею симпатіей авторъ говоритъ о Булавинѣ. Екатерина II ступаетъ передъ Пугачевымъ и Радичевымъ; о ея законодательствѣ не сказано ничего. Ни одной черты характеристики Александра I-го, кромѣ того, что онъ возглавилъ реакціонный союзъ, не находимъ. Декабристы? Конечно, они «мечтали о культурной жизни у себя на родинѣ»; но «ихъ было немного и они не были связаны съ народомъ». Полстранички о Николаѣ I и о его «арствѣ жандармовъ и чиновниковъ» (вся глава озаглавлена, какъ приказано: «Царская Россія — жандармъ Европы»), и авторъ переходитъ къ 48 году, къ «великимъ русскимъ писателямъ и къ Марксу и Энгельсу». Глава о «ростѣ капитализма въ Россіи» кончается пере-

листанную нами половиною учебника. Изъ реформъ Александра I-го тутъ говорится только о крестьянскомъ освобожденіи — со всѣми необходимыми оговорками. Зато подробнѣе разсказывается о Парижской коммуны и о рабочемъ движеніи; глава кончается появленіемъ Ленина на рабочихъ сходкахъ.

Пробѣлы въ изложеніи внутреннихъ событій обильно восполняются исторіей войнъ и приобрѣтенной Россіи. Мы уже замѣтили, что только въ связи съ покореніемъ народовъ перечисляются ихъ имена; при этомъ авторъ видимо колеблется: хвалить-ли народы за ихъ сопротивление или хвалить царское правительство за побѣды? Какъ и въ другихъ сомнительныхъ случаяхъ, учебникъ выходитъ изъ затрудненія, принимая нейтральную позу «объективнаго» историческаго изложенія.

VIII.

Отъ элементарнаго учебника исторіи, конечно, нельзя требовать отвѣта на спорныя построенія русскаго историческаго процесса. Высказанныя въ учебникѣ оцѣнки «царизма», купцовъ и дворянъ», въ общемъ, не выходятъ за предѣлы того, что считалось общими мѣстами въ либеральныхъ кругахъ конца прошлаго вѣка. Отдѣлы о революціонномъ періодѣ, конечно, ставятъ болѣе спеціальныя, чисто совѣтскія требованія. Большая часть четвертаго тома (стр. 140—331) «Исторія Покровскаго, написанная еще въ 1912 г., но тогда не прошедшая черезъ цензуру, явилась очень неполнымъ отвѣтомъ на эти требованія. Обширная часть

третья «Краткого Очерка» (стр. 233-527) его же останавливалась на 1906 г., т. е. далеко не доходила до переворота. Учебник Шестакова доводит рассказ до 1937 г., но онъ черезчуръ кратокъ. Разборъ всёхъ этихъ частей потребовалъ бы особаго подхода и не даль-бы достаточнаго материала для сужденія объ общей схемѣ, которой посвящена эта статья. «Событіемъ огромнаго государственнаго значенія» было-бы, дѣйствительно, если бы учебникъ для высшей школы поступилъ такъ же радикально съ приемами совѣтской историографіи, какъ — поступилъ учебникъ Шестакова, вернувшись къ педагогическимъ приемамъ временъ учебниковъ Иловайскаго. Но тутъ урвала Покровскаго поставила сочинителя этого будущаго учебника въ очень трудное положеніе. Осужденіе «ошибокъ» Покровскаго вѣдь было равносильно возвращенію къ Плеханову и Троцкому, а черезъ нихъ къ Ключевскому и Милюкову, не говоря уже

о дальнѣйшемъ возвращеніи къ Соловьеву и Чичерину. Пришлось бы, такимъ образомъ, строить на основѣ лучшихъ достиженій «буржуазной» исторической науки — и признать слабость идеологій октябрьскаго переворота какъ разѣ въ томъ, въ чемъ большевики принуждены видѣть его силу: въ его внезапности и несоотвѣтствіи дѣйствительному экономическому развитію Россіи. Если въ своей безпорядочной тактикѣ ликвидаціи собственнаго прошлаго Сталинъ дойдетъ и до этого признанія, то, конечно, это будетъ событіемъ огромнаго государственнаго значенія. Но надѣяться на такой исходъ въ настоящее время было-бы черезчуръ опрометчиво. Неизбѣжный выводъ изъ этого — тотъ, что учебникъ русской исторіи для высшей школы или вовсе не будетъ написанъ или будетъ написанъ... по Покровскому той поры, когда онъ еще стоялъ на плечахъ своихъ учителей.

П. Милюковъ.

Новые очерки по исторіи русской культуры

Болѣ сорока лѣтъ тому назадъ вышло въ печати первое изданіе «Очерковъ по исторіи русской культуры» П. Н. Милюкова, не замедлившее обратиться въ настольную книгу не только у широкаго круга образованныхъ русскихъ читателей, но и у специалистовъ историковъ. Въ значительной степени благодаря этимъ «Очеркамъ» П. Н. Милюковъ сдѣлался авторитѣнѣйшимъ наставникомъ и учителемъ всёхъ, кто интересовался русскимъ прошлымъ. Значительная часть сужденій «Очер-

ковъ» скоро успѣла войти въ общій оборотъ и была усвоена даже тѣми, кто свои историческія познанія приобреталъ не непосредственно изъ его книгъ, а изъ чьихъ-нибудь вторыхъ или третьихъ рукъ.

При всемъ своемъ выдающемся значеніи содержаніе «Очерковъ» за сорокъ лѣтъ въ нѣкоторой своей части не могло не устарѣть. Появившіяся за это время научныя изслѣдованія, вновь опубликованный историческій документальный матерьялъ, наконецъ,

дальнѣйшее развитіе общественной и политической мысли, все это пролило новый свѣтъ на многія стороны, какъ сравнительно недавняго, такъ и отдаленнѣйшаго русскаго прошлаго. Но, если отдѣльныя страницы «Очерковъ» за истекшій срокъ и успѣли устарѣть, то за тѣ же годы сдѣлалось особенно очевиднымъ, что сами «Очерки», взятые въ своемъ цѣломъ, представляютъ собой внушительный и монолитный памятникъ русской духовной культуры. Трудно найти во всей научной литературѣ другую книгу, которая съ подобной же отчетливостью характеризовала бы собой не только состояніе русскаго историческаго знанія къ началу XX вѣка, но и опредѣленный періодъ въ развитіи русской общественной радикальной мысли, нашедшей себѣ отраженіе и вмѣстѣ съ тѣмъ точку опоры въ опредѣленныхъ представленіяхъ о русскихъ историческихъ процессахъ. Новые выпуски «Очерковъ» благодаря ихъ свѣжому матеріалу могутъ лишить старое изданіе его былого научно - популярнаго значенія, но они никогда, конечно, не отнимутъ у своего предшественника его выдающейся цѣнности, какъ первоисточника, къ которому и впредь придется обращаться для ознакомленія съ общественно - историческимъ міросозерцаніемъ поколѣній русской демократической интеллигенціи.

(Послѣ того, какъ П. Н. Милюковъ, вслѣдъ за 2-мъ и 3-мъ томами, приступилъ къ переизданію 1-го тома своего «классическаго труда»), поистинѣ грандіозный

объемъ поставленной имъ себѣ задачи выяснился съ особой очевидностью. Переизданіе 2-го и 3-го томовъ, посвященныхъ вѣрѣ, творчеству, образованію и социальному самосознанію, по флювидамъ самого автора, «оказалось сравнительно легче, такъ какъ новыя научныя работы сравнительно мало коснулись затронутыхъ тамъ сторонъ культуры». Выпущенная въ свѣтъ новое изданіе своего второго тома, авторъ могъ поэтому ограничить свою главнѣйшую задачу тѣмъ, чтобы довести, по возможности, до нашего времени изученіе ранѣе имъ уже рассмотрѣнныхъ историческихъ процессовъ. Въ отдѣльныхъ случаяхъ желаемый результатъ достигался путемъ присоединенія новыхъ страницъ къ прежнимъ, оставленнымъ неизмѣненными. Между тѣмъ надъ вопросами «земли, населенія, экономики, сословій, государства», составляющими содержаніе 1-го тома «Очерковъ», русская научная и общественная мысль особенно много и плодотворно поработала. Неудивительно, что авторъ рѣшилъ, какъ онъ самъ объ этомъ говоритъ во введеніи къ 1-ой части 1-го тома, подвергнуть соотвѣтствующій научный матеріалъ серьезной научной переработкѣ.

«Изучая культуру любого западно - европейскаго государства, писалъ въ 1-омъ изданіи своихъ «Очерковъ» П. Н. Милюковъ, мы должны были бы отъ экономическаго строя перейти сперва къ социальной структурѣ, а затѣмъ уже къ государственной организаци; относительно Россіи удоб-

*) П. Милюковъ. Очерки по исторіи русской культуры. Т. I.

Часть первая. Изд. «Совр. Записокъ». Парижъ, 1937.

нѣе будетъ принять обратный порядокъ, т. е. съ развитіемъ государственности познакомиться раньше чѣмъ съ развитіемъ социального строя. При такомъ изложеніи русское прошлое, по сравненію съ исторіей европейскаго запада, по необходимости приобрѣтало черты ярко выраженнаго «своеобразія», и сближеніе двухъ историческихъ процессовъ — русскаго и западно - европейскаго — дѣлалось возможнымъ не раньше XVIII в. Однимъ изъ проявленій указаннаго «своеобразія» являлась, въ частности, пассивная роль значительнѣйшей части московскаго населенія въ дѣлѣ политическаго и общественнаго строительства. «Способъ (общественной) постройки, писалъ П. Н. Милюковъ, сохранилъ за верхомъ русскаго общества, за правительственной властью, руководящую роль въ процессѣ историческаго домостроительства». Само же общество оставалось обычно лишь малосознательнымъ и трудно подвижнымъ матерьяломъ въ рукахъ московской власти. Выдвигая и усиленно подчеркивая московское «своеобразіе», такой убѣжденный «западникъ», какъ П. Н. Милюковъ, находился въ то время, по его собственнымъ словамъ, подъ влияніемъ своего университетскаго учителя В. О. Ключевскаго. Самъ же В. О. Ключевскій изъ этого вопроса, какъ и во многихъ другихъ, испытывалъ на себѣ воздѣйствіе юридической школы русской историографіи и прежде всего С. М. Соловьева, этого перваго и, для своего времени, главнѣйшаго противника историковъ - славянофиловъ. Между тѣмъ въ новомъ изданіи «Очерковъ» П. Н. Милюкова историче-

ская конструкція московской старины общааетъ быть въ значительной степени иной, и общественная организація будетъ изображена въ немъ уже не какъ, производное отъ государства, а напротивъ какъ одно изъ условий, вызвавшихъ къ жизни опредѣленный государственный строй.

«Въ настоящемъ изданіи, пишетъ П. Н. Милюковъ, я предпочелъ вернуться къ обычному порядку, изложивъ исторію государственности послѣ исторіи хозяйственнаго и социального строя. Я руководился намѣреніемъ выдвинуть на этотъ разъ нѣсколько болѣе впередъ другую основную черту мѣстнаго процесса: однородность его закономѣрнаго развитія съ другими болѣе благоприятно поставленными. Правда, при этомъ П. Н. Милюковъ подчеркиваетъ, что однородность далеко еще не означаетъ тождества. Конечно, та или иная степень «своеобразія» должна быть свойственна русскому историческому процессу, какъ и каждому другому. Но на тождествѣ русскаго и западно - европейскаго историческихъ процессовъ никто изъ серьезныхъ историковъ за послѣднее время вообще не настаивалъ. Не говорилъ объ этомъ, въ частности, и Н. П. Павловъ-Сильванскій, доказывавшій наличие въ средневѣковой Россіи феодалнаго строя западно - европейскаго типа.

Итакъ, введеніе къ 1-ой части указываетъ, что въ части, касающейся конструкціи русской старины, прежній текстъ «Очерковъ» подвергнется серьезнымъ измѣненіямъ. Одной этой перспективы достаточно для того, чтобы ожидать появленія оче-

редныхъ новыхъ выпусковъ книгъ съ величайшимъ интересомъ.

Что касается самаго текста 1-ой части 1-го тома «Очерковъ», то онъ представляетъ собой даже не переработку соответствующихъ главъ стараго изданія, а новое оригинальное научное изслѣдованіе тѣхъ вопросовъ «пре-исторіи», которые въ прежнихъ изданіяхъ оставались почти совершенно незатронутыми. Научная цѣнность этой новой книги совершенно безспорна. Правда, широкій кругъ читателей будетъ навѣрное немало огорченъ тѣмъ обстоятельствомъ, что эта часть «Очерковъ» далеко не отличается общедоступностью. Взаимнъ того она содержитъ въ себѣ совершенно исключительный по своему богатству научный матеріалъ, собранный изъ различныхъ областей знанія, — антропологеографіи, антропологии, почвовѣдѣнія, археологіи, лингвистики, пре-исторіи и т. д.

Искусно сопоставленный, наложенный одинъ на другой, весь этотъ матеріалъ даетъ такую внушительную сводку разнообразнѣйшихъ фактовъ изъ области европейской пре-исторіи, даже приблизительно равной которой въ русской научной литературѣ до сихъ поръ еще не появлялось. Въ свѣтъ этой богатой насыщенности совершенно тонуть, конечно, тѣ небольшія фактические дефекты, которые вообще неизбежны, въ каждой большой книгѣ. Изъ этихъ дефектовъ, быть можетъ, заслуживаетъ вниманія только ошибочное обозначеніе почвенной карты Россіи на 54-й страницѣ книги. Текстъ присылаетъ составленіе этой карты извѣстному русскому почво-

вѣду В. К. Агатонову, между тѣмъ надъ ея составленіемъ въ теченіе приблизительно сорока лѣтъ поработало немало русскихъ ученыхъ.

Особую конструктивную цѣнность вновь вышедшей части «Очерковъ по исторіи русской культуры» придаетъ то обстоятельство, что всѣ отдѣльные вопросы, связанные съ началомъ культуры, происхожденіемъ национальностей, славянской прародиной, подчинены въ ней одной основной, стержневой, темѣ. Въ центрѣ своего новаго изслѣдованія П. Н. Милюковъ поставилъ идею «мѣсторазвитія». Эта центральная идея, а также сдѣланное изъ нея примѣненіе, и налагаютъ на всю книгу присущую ей печать научной оригинальности.

Понятіе «мѣсторазвитія» въ конструкціи П. Н. Милюкова позволяетъ ему подойти вплотную къ разрѣшенію многихъ исворическихъ загадокъ пре-исторіи. Въ частности оно даетъ возможность автору со свѣжимъ научнымъ матеріаломъ и новыми весьма существенными аргументами вернуться къ затянувшемуся спору объ историческихъ путяхъ восточнаго славянства. Вслѣдъ за нѣмецкими географами и русскими евразійцами П. Н. Милюковъ готовъ назвать «мѣсторазвитіе» русской культуры «Евразіей». Но для него Евразія не есть Азія, а Европа, осложненная Азіей. «При объективно - научномъ анализѣ условій мѣсторазвитія, пишетъ П. Н. Милюковъ, сами собой обнаружались въ немъ не только элементы азіатскаго своеобразія, но и еще болѣе несомнѣнные элементы сходства съ европейскою средой. Мы уже въ далекомъ

доисторическомъ прошломъ могли найти начало связей Россіи съ Европой». Идея мѣсторазвитія, понимаемая въ данномъ случаѣ авторомъ какъ единство географической среды и археологическаго быта, по его мнѣнію одна только и можетъ объяснить одновременно какъ черты своеобразія, такъ и черты сходства историческаго процесса, дать ихъ «разумный синтезъ».

О «мѣсторазвитіи», хотя и безъ соответствующаго термина, говорится и въ прежнихъ изданіяхъ «Очерковъ». Анализируя историческій процессъ, П. Н. Милюковъ указывалъ тогда на три группы «производящихъ его условий». Первое условіе «заключается во внутренней тенденціи, внутреннемъ законѣ развитія, присущемъ каждому обществу». Для осуществленія этого условія, — подъ перомъ П. Н. Милюкова, быть можетъ, носящаго нѣсколько неожиданно метафизическій характеръ и являющагося, по словамъ самого автора, не болѣе, какъ «отвлеченной возможностью», — необходима опредѣленная матерьяльная среда. Такимъ образомъ «второе условіе заключается въ особенностяхъ той матерьяльной среды, обстановки, среди которой обществу суждено развиваться». Наконецъ, «третье условіе состоитъ во влияніи отдѣльной личности на ходъ историческихъ процессовъ». Однако только въ новомъ изданіи «Очерковъ» «особенности матерьяльной среды» получаютъ наименованіе «мѣсторазвитіе», причемъ и самое это понятіе, полностью раскрытое, приводитъ автора къ его широчайшимъ и обладающимъ большой убѣждающей силой выводамъ.

Въ части методологической возможно все же пожеланіе, чтобы авторъ, съ еще болѣею опредѣленностью, чѣмъ онъ это дѣлаетъ, подчеркнул то обстоятельство, что связь опредѣленныхъ культурныхъ формъ съ «мѣсторазвитіемъ» чувствуется особенно сильно именно въ «пре-исторіи». Въ дальнѣйшемъ же, въ мѣру поступательнаго хода историческаго процесса и замѣны стихійныхъ силъ сознательными, влияніе мѣсторазвитія какъ «производящаго условія» должно постепенно все болѣе и болѣе ослабѣвать. Основныхъ причинъ «своеобразія» болѣе близкихъ къ намъ эпохъ слѣдуетъ искать уже не въ условіяхъ первичнаго, а вторичнаго характера.

Въ своей новой книгѣ П. Н. Милюковъ детально останавливается на характеристикѣ основныхъ европейскихъ «мѣсторазвитій», сѣвернаго, средне-европейскаго, лесовой полосы, и, наконецъ, южной, припонтійской. Именно въ средней Европѣ, въ благодатной области лесса, явившагося вообще райономъ первоначальнаго заселенія, и слѣдуетъ, по мнѣнію автора, искать «индо-европейскій» «языкъ» и «прародину». Эту прародину составляютъ южная предгорная и гористая часть Германіи, Чехія, южная Польша и верхне-дунайскій бассейнъ. Въ своихъ главныхъ чертахъ процессъ индо-европеизаціи долженъ былъ закончиться приблизительно къ 3000 лѣтъ до Р. Х. Съ 2500 лѣтъ до Р. Х. можно уже начать исторію индо-европейскихъ дѣлений и передвиженій. По мнѣнію П. Н. Милюкова, не позднѣ времени перехода къ ме-

таламъ въ той же географической средѣ средне - европейскаго лесса начался и процессъ выдѣленія славянства изъ общей индо - европейской семьи. Славяне, появившіеся въ исторіи впервые подъ именемъ венедовъ, «обитали какъ разъ на всей той территоріи, гдѣ древнѣйшіе источники знаютъ венедовъ вмѣстѣ съ иллирійцами, а археологія знаетъ уетицко - лужицкую культуру». Такимъ образомъ славянскую прародину въ Европѣ слѣдуетъ искать западнѣе позднѣйшихъ русскихъ предѣловъ, именно въ Силезіи и Лужицахъ. Славянский элементъ только потому долгое время оставался для археологовъ безымяннымъ, что славяне въ иллирійской культурѣ долгое время занимали мѣсто подчиненнаго низшаго слоя. Въ томъ же состояніи подчиненія венды-славяне перешли отъ иллирійцевъ къ «сарматамъ», «хуннамъ», «аварамъ» и, наконецъ, германцамъ. И только тогда, когда у славянъ появились свои собственныя укрѣпленныя мѣста, «городища», — что по общему правилу произошло уже въ значительно болѣе позднія времена, — началось у славянъ ихъ болѣе или менѣе самостоятельная и независимая жизнь.

Самъ П. Н. Милоковъ, настаивая въ заключеніи своей книги на правильности примененнаго имъ научнаго метода, вмѣстѣ съ тѣмъ говоритъ, что съ его стороны было бы «черезчуръ самонадвѣяно утверждать, что процессъ превращенія до - историческихъ «культурныхъ круговъ» въ современныя народности на субстратѣ древнихъ расъ и въ горнилѣ данныхъ мѣсторазвитій окончательно выясненъ въ пре-

дѣлахъ настоящей главы». Дѣйствительно, состояніе научныхъ источниковъ, въ особенности тѣхъ изъ нихъ, которые относятся непосредственно къ славянской исторіи, таково, что даже исчерпывающая аргументація П. Н. Милокова врядъ ли сможетъ покончить съ учеными разногласіями, до сихъ поръ не смолкшими вокругъ поднятыхъ имъ въ его книгѣ вопросовъ.

Послѣ выхода въ свѣтъ новой книги П. Н. Милокова все же остается вполнѣ допустимымъ предположеніе, что и самое названіе «венеды, венды и т. д.» въ разное время и у разныхъ писателей могло относиться, какъ это и признается нѣмецкими археологами, къ народностямъ даже не родственнымъ. Такое предположеніе дѣлается еще болѣе допустимымъ, если вслѣдъ за П. Н. Милоковымъ признавать, что подлинный смыслъ слова «венеды» означалъ исконныхъ мѣстныхъ жителей, туземцевъ. Въ такомъ случаѣ венеды Тацита и знеги Геродота могутъ не имѣть между собой ничего общаго, а у самого Геродота славянъ, быть можетъ, слѣдуетъ скорѣй видѣть не въ «знетахъ», а въ его пресловутыхъ «неврахъ». Будетъ вызывать споры и включеніе П. Н. Милоковымъ дунайскихъ областей въ сферу древнѣйшихъ славянскихъ поселеній. П. Н. Милоковъ пользуется въ этомъ случаѣ главнымъ образомъ аргументами, почерпнутыми имъ изъ данныхъ лингвистики. Но недаромъ такой авторитетный и осторожный ученый, какъ Нидерле, до послѣдняго времени считалъ, что «словды, которые сторонники дунайской теоріи заимствуютъ иногда изъ

области лингвистики, не имѣютъ за собой никакой рѣшающей цѣны». Другіе ученые, — напр. Ф. Браунъ, — высказывались въ томъ же направленіи еще болѣе рѣшительно. Наконецъ, возможно также предположеніе, что лужицкую культуру нужно отнести не специально къ славянамъ, а къ балто-славянамъ той эпохи, когда они составляли единую семью. Тогда и подлинную славянскую прародину придется искать восточнѣе той территории, гдѣ ее помѣщаетъ П. Н. Милюковъ, а именно на верховьяхъ Днѣстра, Западнаго Буга, Горыни, Стыри. Какъ извѣстно, многіе изслѣдователи, въ томъ числѣ и польскій ученый Чекановскій, съ которымъ П. Н. Милюковъ въ данномъ вопросѣ не согласенъ, именно въ этой мѣстности и склонны находить европейскую славянскую прародину. Если исходить изъ только что высказанныхъ предположеній, то появленіе славянъ на исторической аренѣ придется нѣсколько приблизить къ нашему времени, отнеся это появленіе приблизительно къ 700-500 г. до Р. Х. Интересно также отмѣтить, что

первая же относящаяся безспорно къ славянамъ извѣстія древнихъ писателей рисуютъ ихъ не пассивнымъ, а воинственнымъ народомъ, готовымъ защищать свою независимость.

Впрочемъ, нѣтъ ни одной сколько-нибудь серьезной исторической проблемы, вокругъ которой не велось бы научныхъ споровъ. Во всякомъ случаѣ, даже при наличии разногласій вокругъ тѣхъ или иныхъ сужденій П. Н. Милюкова, совершенно безспорнымъ остается тотъ фактъ, что его «преисторія» является въ полномъ смыслѣ слова монументальнымъ изслѣдованіемъ, проведеннымъ въ строго научномъ, глубоко продуманному и исключительно интересному методу.

Новая книга П. Н. Милюкова, детально освѣщая рядъ существеннѣйшихъ вопросовъ «преисторіи», и вмѣстѣ съ тѣмъ съ помощью широкаго синтеза включающая всѣ эти многочисленныя вопросы въ одно органическое цѣлое, является однимъ изъ образцовъ исторіи большого стиля.

Д. М. Одинецъ

О старой вѣрѣ

(А. Н. Потресовъ).

I.

11-го июля 1934 г. въ Парижѣ, въ изгнаніи, умеръ виднѣйшій членъ русскаго социаль-демократическаго движенія, Александръ Николаевичъ Потресовъ. Вдова его и друзья издали книгу, — «А. Н. Потресовъ. 1869-1934 г.», книгу, которую съ громаднымъ интересомъ прочтеть не только

каждый изслѣдователь проблемы русской революціи и развитія русскаго общественнаго сознания, но и каждый работникъ въ области общественнаго движенія. Есть фигуры, на которыхъ какъ будто бы падаетъ отблескъ цѣлой эпохи со всеми ея противорѣчiami, задачами и путями ихъ выполнения. Несмотря на то, что А. Н. былъ правовѣрнымъ чле-

номъ партіи, много для нея сдѣлавшимъ, но затѣмъ естественно выпавшимъ изъ ея официальныхъ органовъ, я назвала его не членомъ партіи, а членомъ русскаго социаль-демокр. движенія. Дѣликомъ въ рамки официальной партіи онъ никогда не укладывался и его можно было бы назвать скорѣе ревизионистомъ, если-бы онъ въ то-же время не былъ самымъ яростнымъ борцомъ противъ ревизіи «старой вѣры», — марксистской ортодоксіи. Онъ до конца своей жизни это свое марксистское **старовѣріе** сохранилъ, и это было рѣзкимъ противорѣчіемъ со всѣмъ его критическимъ подходомъ къ явленіямъ русской жизни.

Противорѣчіе? Да, противорѣчіе. Русскому члену с.-д. партіи полагалось говорить и думать определенными формулами, полагалось входить въ русло, пролагаемое ея строителями, авторитетъ которыхъ, часто непрерываемый, слагался въ узкихъ интеллигентскихъ кружкахъ гораздо раньше, чѣмъ они выходили на болѣе широкую общественную арену. Малѣйшее отступленіе отъ «линій», въ иѣдрахъ этихъ кружковъ утверждаемой, жестоко каралось. Ал. Ник. жаловался на эти кары еще въ 1905-6 гг. Изъ социаль-демокр. движенія къ этому времени уже ушли когда-то видные марксисты типа Струве, Туганъ-Барановскаго, ушли «умѣренные», ушли «революціонные демократы», ушли «презрѣнные» экономисты. «Казалось-бы, писалъ онъ тогда, партія была вполне «очищена» отъ этихъ прибрлудныхъ элементовъ. Но еще строже сталъ голосъ автора брошюры «Что дѣлать» (Ленина), еще стро-

же «исключительные законы», осадное положеніе, проскрипціонные списки...», словомъ, всѣ тѣ кары и пріемы воздѣйствія на инакомыслящихъ, которые затѣмъ, послѣ Октября, были въ грандіозномъ масштабѣ примѣнены уже не только къ партіи, но и ко всему населенію російскому.

Самъ Ал. Ник. этихъ каръ не боялся и продолжалъ «критику» официальныхъ линий со всей рѣзкостью и прямотой убѣжденнаго общественника. На что главнымъ образомъ направлялась эта критика? По странному совпаденію — какъ разъ на тѣ-же явленія, которыя создали движеніе такъ наз. «экономизма», сначала внутри «Группы Освобожденія Труда», а потомъ уже внѣ организаціи. Если послѣдовательно вчитываться въ критическую часть работы Ал. Ник., совершенно невозможно провести различіе между нимъ и экономистами: тѣ-же предпосылки, тѣ-же аргументы, иногда тѣ-же **тактические** выводы. И тѣмъ не менѣе онъ и экономисты были въ лучшемъ случаѣ «друго-врагами», а психологически — скорѣе идейными врагами. Попробуемъ вскрыть причину этихъ разныхъ выводовъ изъ однихъ и тѣхъ-же предпосылокъ.

Когда въ сердцахъ кружковой радикальной интеллигенціи, — а она была именно кружковой вплоть до революціи 1917 г., — стали тускнѣть народническіе и народопопльческіе идеи и идеалы, въ особенности когда первые народовольцы, такъ сказать, «истекли кровью» въ 1881 г. и почти распались, — сталъ брежить «новый свѣтъ» — пропаганда марксизма и классовой борьбы проле-

таріата за свое освобождение. Свѣтъ этотъ пришелъ изъ-за границы и совпалъ съ нарастающимъ расцвѣтомъ молодого русскаго капитализма. Въ это время на Западъ дѣйствовали уже вполне сложившіяся социаль-дем. рабочія партіи, чрезвычайно импонировавшія русскимъ послѣдователямъ Маркса «милліонами» своихъ членовъ. Въ превосходной статьѣ въ «Зарѣ» (№ 1, 1901 г.) А. Н. такъ характеризовалъ русскій марксизмъ и его отличие отъ западно-европейскаго: «Что знаменуетъ собою марксизмъ западно-европейскій, это скажетъ вамъ всякій: марксизмъ — идеологія сознательной части пролетаріата, отраженіе его эмансипационной борьбы. Ну, а нашъ, отечественный марксизмъ кого и что собою представляетъ?.. Русское рабочее движеніе дѣлаетъ лишь первые и самые трудные шаги, чтобы сбросить съ себя иго стихійности и встать на сознательный путь... Какъ много еще нужно работы, чтобы создалась сколько-нибудь замѣтная и вліятельная интеллигенція этого класса».

Эта характеристика Потресовымъ русскаго марксизма буквально совпадала съ воззрѣніями русскихъ ревизионистовъ («Бернштейнцевъ», «экономистовъ», — по разному ихъ называли тогда). Ревизионисты дѣлали изъ этого положенія выводъ: если у новаго класса еще нѣтъ своей, изъ нѣдръ его выросшей интеллигенціи, не можетъ у него быть и органическаго, изъ интересовъ и культуры этого класса вытекающаго, движенія. Надо, слѣдовательно, ни въ какомъ случаѣ не разобщать этотъ классъ отъ другихъ болѣе культурныхъ элементовъ обще-

ства и прежде всего поднимать его до осознанія своихъ и общегосударственныхъ интересовъ, втягивая его въ самые разнообразныя организаци: клубы, школы, профессиональные союзы, кооперативы и лишь по мѣрѣ роста его сознанія — въ политическое движеніе. Когда этотъ выводъ «экономистами» былъ сдѣланъ, поднялась страшная буря... Бунтъ противъ подобнаго рода формулировокъ поднялся съ двухъ концовъ: изъ заграницы, со стороны Плеханова и его «Группы Освобожденія Труда» и—внутри Россіи, отъ с.-д. съ Потресовымъ и Ленинымъ во главѣ... Тогда же ортодоксальные социаль-демократы постарались исказить воззрѣнія своихъ противниковъ, которые будто-бы протестовали противъ самостоятельной рабочей партіи въ Россіи. Центръ тяжести для русскихъ ревизионистовъ лежалъ вовсе не въ этой идеѣ, а въ цѣломъ рядѣ построеній, базой которыхъ была не голая теорія Маркса, а русская дѣйствительность*).

*) Вотъ какъ рассуждалъ одинъ изъ идеологовъ экономизма, брошюра котораго не была допущена для прочтенія на заграничномъ съѣздѣ членовъ «Группы Освобожденія Труда» въ 1898 г. — цензура мыслей началась уже тогда! — въ виду ея «вреднѣйшаго» направленія: «Будущій строй зависитъ не только отъ класса рабочихъ, но и отъ комбинаціи всѣхъ условій производства и въ активную программную дѣятельность рабочаго класса входитъ не можетъ: это величина неизвѣстная, вѣроятно, даже и самому Богу. Рабочимъ извѣстны только дѣ-

Задача русских «ревиизионистов» конца 90-х гг. была вообще совершенно иная, чѣмъ у нѣмца Бернштейна. И они тогда же протестовали противъ наименованій ихъ «бернштейнцами». Бернштейн имѣлъ за собой достаточно развитое рабочее движеніе и политическую свободу тогдашней Германіи. Его задача была до известной степени теоретическая: ревизія самой теоріи Маркса. Русскіе ревиизионисты ставили, наоборотъ, задачу тактическую («Кредо», письма ихъ къ Аксельроду и Плеханову, пропаганда внутри «Группы Осв. Труда» и т. д.). Они хотѣли повернуть вниманіе радикальной интеллигенціи въ сторону завоеванія политической свободы. Эта задача требовала союза всѣхъ демократическихъ, социалистическихъ и либеральныхъ

вещи: 1) ихъ собственный, ясно осознанный, конкретный интересъ, 2) ихъ положеніе, то или другое, среди другихъ классовъ. Отсюда — роль надстройки, интеллигентной социаль-демократіи, — понять интересъ данной минуты, т. е. ту активно — психическую базу, которая является двигателемъ массы, и, во-вторыхъ, понять возможно шире и правильнѣе положеніе этой массы въ ряду всѣхъ другихъ условій данной минуты. Абстрактная проповѣдь социализма и солидарности мало тутъ поможетъ; наоборотъ, **вѣрно указанный путь борьбы**, приведетъ-ли онъ къ успѣху или нѣтъ, сдѣлаетъ очень много: онъ учитъ рабочихъ бороться съ одной стороны и съ другой — опять-таки конкретно указываетъ на препятствія и, следовательно, порождаетъ новый интересъ.

силъ тогдашней Россіи.. Получивъ наименованіе «предателей рабочего движенія», они покинули ряды соц.-демократіи и до известной степени осуществили свои задачи въ «Освобожденіи», — этомъ союзѣ радикальныхъ, земскихъ и демократическихъ элементовъ.

Тотчасъ-же послѣ первой революціи и протестовавшей противъ идей «Кредо» и ревизиі тактики соц.-демократовъ А. Н. Потресовъ сталъ высказывать аналогичныя идеи: его ударила «кружковщина», не понимаяшая организческихъ и историческихъ задачъ русской революціи и форсировавшая отрывъ рабочего движенія отъ общедемократическаго русла. Онъ хорошо понималъ неподготовленность «интеллигента изъ подполья» къ аренѣ открытой общественной работы. Испуганный этимъ состояніемъ и искренній во всѣхъ своихъ реакціяхъ, А. Н. повторяетъ въ 1906 г. лозунги «легальность, экономистовъ», все время призывавшихъ именно къ этому тренированію рабочихъ и интеллигенціи. Прежде всего — противъ кружковщины, — этого огромнаго политическаго несчастья русскихъ общественныхъ движеній: «При удачномъ для нея стеченіи обстоятельствъ, кружковая среда выдвигаетъ героевъ и мучениковъ, пишетъ Потресовъ въ 1906 г., смѣлыхъ партизановъ революціонныхъ набѣговъ, но она не даетъ политиковъ, она не даетъ вождей массовому общественному движенію. Можно сказать: политикъ рождается тогда, когда умираетъ кружковой человекъ».

Самъ кружковой человекъ, А. Н. прекрасно въ то-же время понималъ всю ограниченность по-

литического кругозора и даже просто житейского опыта, даваемого кружковой деятельностью. Вожди кружков редко достигали до критических по отношению к подполью воззрений. И когда Потресов — подобно ревизионистам — стал взывать к необходимости «пробудить в самом рабочем классе массовое движение строительства, заразить его, так сказать, эпидемией организационного грюндерства, — профессиональных союзов, обществ самообразования, клубов, всех форм пролетарского движения, какія только можно измыслить, — его зачислили в «неблагополучные по ортодоксин элементы», и участь его впоследствии была та же самая: внѣ официальной партіи...

Нечего, конечно, и говорить о томъ, какъ трудно (въ сущности, невозможно) было провести и другую идею — объ отношеніяхъ класса пролетаріата къ рядомъ съ нимъ стоящимъ общественнымъ силамъ. Лишь пришедшаго въ 1917 г. въ революцію демоса поразилъ интеллигенцію своей дикостью, классовымъ эгоизмомъ, непониманіемъ не разрушительныхъ только, но творческихъ задачъ революціи. Керенскій съ ужасомъ призывалъ «гражданъ» не походить въ своемъ революционномъ экстазѣ на взбунтовавшихся рабовъ, А. Н. Потресовъ съ болью писалъ объ «Ивашкѣ-бунтарѣ»: «У гражданина тянутся нити отъ всѣхъ коллективныхъ ячеекъ, которыя онъ образуетъ, къ единому центру, связь съ которымъ онъ чувствуетъ и о судьбахъ котораго заботится. Этотъ центръ — государство... Но этихъ нитей нѣтъ у Ивашки.

Ивашка переходитъ непосредственно отъ ползанія на брюхѣ къ максимальному протесту — бунту. Ивашка хочетъ, — разумѣется, и справедливо хочетъ, жить лучше, чѣмъ онъ жилъ до сихъ поръ. Соотвѣтственно этому онъ имѣетъ и свою великую и даже величайшую хартію требований... Но онъ не имѣетъ своей хартіи государственности. Какъ можно было парализовать эту безгосударственность Ивашки? Только коалиціей съ болѣе культурными элементами русской общественности. И эту идею самымъ настойчивымъ образомъ сталъ проводить въ 1917 г., послѣ февральскаго переворота Ал. Ник.

Деспотія никогда не подготавливаетъ себя преемника, не воспитываетъ своихъ будущихъ наследниковъ въ духъ государственности. Деспотія сама по себѣ безгосударственна: она держится на корняхъ, не связанныхъ съ верхушкой и ее не питающихъ. Вотъ почему послѣ сверженія всякой деспотіи наступаетъ долгій періодъ анархической, если можно такъ выразиться, «государственности», — до тѣхъ поръ, пока новые пришельцы не обломываются опытомъ, катастрофами, междуусобицами, и пока они не создадутъ рамокъ, болѣе или мене приближающихся къ здоровой гражданственности. Разрѣшеніе роковыхъ противорѣчій революціи Потресовъ видѣлъ лишь на пути **общенациональнаго единенія**. Когда начались распри между Временнымъ Правительствомъ и Совѣтомъ рабочихъ и солдатскихъ депутатовъ, распри раздуваемая якобинско-мичаевской пропагандой Ленина о захватѣ власти пролетаріатомъ, По-

гресовъ писать: «Передъ буржуазіей и пролетариатомъ еще непочатый коробъ общей работы: вѣдь національная задача перестройки Россіи еще вся впереди. Вѣдь, опасность военнаго разгрома, голода, государственнаго банкротства еще виситъ надъ страной. Вѣдь элементарный порядокъ, нужный безъ различія для всѣхъ общественныхъ классовъ и группъ, еще не заведенъ. Надъ этой національной, внѣклассовой; общегосударственной задачей пролетариату надлежитъ въ исключительныхъ условияхъ революціи и войны трудиться изо дня въ день совместно съ другими слоями населенія»...

II.

Призывы Потресова и другихъ «государственниковъ» къ единенію не были услышаны. Старая вѣра въ «провиденціальную мощь пролетариата» была слишкомъ глубоко вколочена въ умы рабочихъ и ихъ вождей. Вѣдь знаменитая фраза Г. П. Плеханова — «Русская революція побѣдитъ какъ революція пролетариата или не побѣдитъ вовсе» — прочно засѣла въ мозгахъ всѣхъ дѣятелей социаль - демократіи. Не ставился при этомъ вопросъ: а что принесетъ Россіи подобная побѣда при потрясающей некультурности рабочаго класса, на 50-60% безграмотнаго, и при равнодушіи его кождой къ задачамъ государства, къ бытію всѣхъ другихъ его классовъ? *). Но вѣдь это была

старая вѣра социаль - демократіи, которую очень долгое время раздѣлялъ и одинъ изъ умѣйшихъ ея членовъ, Потресовъ... Онъ до конца жизни въ глубинѣ души остался «Старовѣромъ» и продолжалъ называть себя «революционнымъ соц. - демократомъ реалистомъ», даже въ изгнаніи, когда результаты «пролетарской» революціи уже вполнѣ сказались. Правда, здѣсь, во второй эмиграціи, онъ еще рѣзче ставилъ вопросъ о единствѣ государственныхъ задачъ у всей демократіи, — буржуазной и социалистической. Въ декларативной статьѣ своего органа «Записки Социаль-демократа» онъ писалъ о необходимости пересмотра «устарѣвшихъ идейныхъ установокъ» и утвержденія въ умахъ «необходимости всемирной борьбы съ диктатурой, какъ центральной всенародной задачи нашей эпохи...» Для выполнения этой задачи надо, чтобы социаль-демократія, когда наступитъ въ Россіи переломъ, не осталась изолированной, и чтобы отъ нея протягивались нити ко всѣмъ силамъ россійской демократіи, социалистическимъ и не-социалистическимъ, способнымъ дѣйствовать съ ней согласованно въ подготовкѣ и организаціи новаго строя, строя народовластія.

Призывы Потресова «пересмотрѣть устарѣлыя идеи» старой ортодоксіи не шли, однако, очень далеко. Если-бы его пересмотръ охватилъ весь циклъ ортодоксальныхъ построений, онъ прежде

*) Здѣсь кстати напомнить, что октябрьская революція 1917 года «побѣдила» не столько въ лицѣ пролетариата, сколько съ по-

мощью фронтоваго солдата. «Не будь разложившейся арміи, писалъ Троцкий, мы побѣды не одержали-бы».

всего должен был бы поставить основной вопрос: правильна ли старая вѣра ортодоксии о неизбежном революционном крушении капитализма и о его наследниках — пролетариатѣ? И другая идея — о вѣсѣ, размѣрахъ и сущности рабочего интернационала въ противоположность национальнымъ задачамъ пролетариата каждой страны. Эти двѣ основныя идеи порождаютъ много другихъ, тактических въ особенности, въ корнѣ изменяющихся основы стараго марксизма. Последняя идея — о сущности рабочего интернационала, была еще въ Россіи затронута А. Н. Потресовымъ въ блестящей статьѣ «Патриотизмъ и международность». Въ ней онъ останавливается на тѣхъ идейныхъ и тактическихъ измѣненіяхъ, которыя произошли въ недрахъ европейскихъ социалистическихъ партій во время и послѣ великой войны. Социалисты поняли, что государство — это организмъ; онъ «полонъ противорѣчій... но отъ этого не перестаетъ ощущаться какъ организмъ, какъ цѣлое... Это цѣлое является основой и рамками дѣятельности для любой изъ частей, для каждой группы и партіи, какъ бы принципиально враждебна она ни была данному строю этого цѣлага».

Отсюда — выводъ: ростъ патриотизма въ социалистическихъ партіяхъ Европы; социалисты часто — участники власти въ еще буржуазномъ государствѣ, они — защитники вооруженій и границъ своей страны. Ростъ патриотизма и — до известной степени — национализма социалистовъ, несомнѣнно, долженъ былъ умалить идею общепролетарскаго Интер-

национала и сдѣлать ее не столь притягательной, живой и дѣятельной, какой она была въ первые годы его возникновенія. Неясна сейчасъ и сущность этой «международной гражданственности». Совершенно правильно въводъ Потресова: «сейчасъ международность упирается въ индивидуальность каждой страны... на которую даже и въ выгодахъ международного развитія посягать нельзя и тѣмъ болѣе нельзя подвергать уничтоженію».

Смерть помѣшала этому болѣзному и въ корнѣ своемъ аналитическому уму «пересмотрѣть» и первую идею, или же выдѣлать необходимо революціонное сверженіе капитализма, какъ это утверждала старая марксистская ортодоксія, или же новый фактъ европейской жизни — глубокое проникновеніе социалистическихъ партій во всѣ поры управления страной и новый-же типъ планового строительства экономики даетъ иные пути разрѣшенія этого кардинальнаго вопроса? У насъ нѣтъ мѣста продемонстрировать по этому поводу воззрѣнія А. Н. Потресова: въ этихъ вопросахъ онъ скорѣе продолжалъ стоять на старыхъ точкахъ зрѣнія. Сама социаль-демократія этотъ вопросъ пересматриваетъ на практикѣ въ рядѣ странъ. Мы не знаемъ, какъ отнесся-бы покойный «Старовѣръ» - Потресовъ къ происходящей сейчасъ замѣнѣ основнаго пункта старой Эрфуртской программы о революціонномъ низверженіи капитализма. Думаемъ, однако, что — положительно. Не могъ его критическій умъ сдѣлать на стражѣ «старой вѣры», когда кругомъ происходятъ рево-

люционные сдвиги часто на путях реформизма...

III.

Вот этот блестящий публицист и человек, до глубины души проникнутой жадой культурно-политического возрождения России на основах демократии, должен был умереть за границей, в изгнании, вдали от того самого «пролетариата», которому была посвящена работа всей его жизни. Один этот факт показывает степень непримиримости его к современным «диктатурам», в частности, к «диктатуре пролетариата», 20 лет занимающейся коренным и радикальным «низвержением капитализма» в стране, еще не успевшей его воздвигнуть... Как относились сами большевики к таким заслуженным социал-демократам, смѣющим, однако, большевистскому «старовѣрию» противопоставлять свою — тоже старую вѣру, но давшую значительныя трещины в цѣлѣности своей под влиянием событий русской революции? Об отношении большевиков к основоположнику русской социаль-

демократии, Г. В. Плеханову, достаточно известно. Только послѣ его смерти созданъ музей его имени и издаются его сочинения, — какъ историческіе памятники «древней» эпохи. Отношеніе къ другимъ марксистскимъ группамъ выразилъ убитый своимъ соратникомъ Кировъ: «Все то, что чутается подъ ногами, что колеблется и сомнѣвается, должно быть оставлено въ исторической пропасти, а намъ съ вами дорога только впередъ и только къ побѣдамъ». Въ сущности — рецензентъ старый... Эти методы практикуются русской социаль-демократией со дня ея основанія: ни сомнѣній, ни колебаній... Нѣсколько формулъ манифеста 1848 г. и — путь впередъ готовъ! Всѣхъ же «путующихся подъ ногами» со своими сомнѣніями и размышленіями — въ историческую пропасть...

Да, такъ было всегда... Отборъ произошелъ — въ лицѣ побѣдившей партіи Ленина. Она не чутается подъ бременемъ сомнѣній въ непререкаемой безгрѣшности своихъ идей и смѣло сбрасываетъ лишній балластъ, — размышляющихъ людей, — въ пропасть.

Ек. Кускова.

За народную волю

1.

Иной современный читатель пожметъ на заглавіе плечами... Да, что говорить, значить старомодно, а тема все-таки злободневна — можетъ быть самая злободневная изъ современныхъ политическихъ темъ. За идеями и словами мы часто забываемъ про суть.

Различіе «миросозерцаній» и «политическихъ убѣждений» настолько порой гипнотизируетъ насъ, что мы перестаемъ понимать другъ друга и въ безспорномъ — въ томъ, въ чемъ не можемъ не быть союзниками. Всѣ мы, проклинающие современный коммунизмъ и фашизмъ, не подозревая этого, проклинаемъ одно и то

же, болѣемъ однимъ и тѣмъ же, у всѣхъ у насъ одинъ общій врагъ, и одна забота: покоренная слову или свободная воля народа? идеократія или демократія?—таковъ современный нашъ, гамлетовскій вопросъ.

О свободной волѣ народа здѣсь наша главная рѣчь. Два слова, попутно, о покоренной волѣ. Съ герминою идеократія у насъ связана очень опасная «акустическая» ошибка: Идеократія... идея... идеаль — мерещится что-то духовное. Въ дѣйствительности духовное только воплощаетъ себя въ идеяхъ — идеи только рамка, орудіе межчеловѣческаго общенія, сами же творческими могутъ быть лишь фигурально, какъ пальцы артиста могутъ быть «вдохновенными». Творческое, духовное въ насъ — только воля, въ обоихъ значеніяхъ слова — воля-свобода, воля-порывъ, т. е. личное, — «я». И народная воля тоже предполагаетъ «я»: обладающій волей народъ есть личность. Но какъ всякая личность, народъ можетъ утратить свою свободу, подчинить волю внѣшнему. Отсюда два типа общества: воля народа, подчиняющаяся собственному орудію, плѣненная («изреченной мыслью») — идеократія; воля живая, не покоренная — демократія...

2.

Воля народа... Съ этимъ словомъ связано немало недоразумѣній. Въ частности, въ нашу эпоху, о которой принято, съ легкой руки Лебона*), говорить какъ объ «эрѣ массъ», возникъ со-

блазнъ отождествленія воли народа съ движеніемъ толпы. Нынѣ не только побѣдители — вожди самодержавствующихъ массъ — съ гордостью именуютъ себя демократами («истинная демократія только у насъ, въ совѣтской Россіи, только у насъ, въ расистской Германіи»), но и побѣжденные — идеологи свободъ и права — то въ самовнушенномъ энтузіазмѣ, то съ искренней горечью, склоняются передъ фактами: «Да, и сталинскую Россію создалъ народъ» («пореволюціонеры»), «да, и фашизмъ — демократія» (Бердяевъ).

И въ самомъ дѣлѣ: если «коллективная душа» Лебона есть народная воля, если его «психологическая толпа» есть народъ, — ничего и не остается, какъ склонившись передъ фактами, либо просто отвернуться отъ демократіи, либо, по пословицѣ «полюби насъ черненькими», остаться «все-таки демократами». Но почитайте Лебона: онъ постарается самъ убѣдить васъ, что дѣло не обстоитъ такъ трагично, что «коллективная душа» и народная воля — двѣ совершенно разныя вещи. «Толпа не созидаетъ, а разрушаетъ, не ищетъ истины, а принимаетъ готовые мнѣнія... Слова дѣйствуютъ на толпу не смысломъ, а вызываемыми иллюзіями и образами... Внушить толпѣ иллюзію, значить стать ей богомъ... Въ нашу эпоху могущества массъ побѣда идеи неизбѣжно ведетъ къ тиранніи, къ прекращенію всякой возможности разсуждать» *).

Лебонъ знаетъ, чѣмъ власть народа отличается отъ власти тол-

*) *Gustave Le Bon. Psychologie des foules. 1895.*

*) Писано не въ 1935-мъ, а въ 1895-омъ году-

цы: не произнося слово демократія, онъ ее принимаетъ. Народъ фигурируетъ у него подъ именемъ расы, народная воля подъ именемъ расовой души. Правда, и въ расѣ живетъ, пробуждается временами толпа, но подъ вѣншей пестротой и неустойчивостью движеній здѣсь сохраненъ солидный субстратъ — расовая душа. Только жизнь этой души — увы! — эфемерна: идеалъ слабѣетъ; культурная стройка, созданная расой, распадается. «То, что было народомъ, превращается снова въ конгломератъ индивидовъ... Раздѣленные интересами и желаніями, люди обращаются до всѣхъ своихъ дѣйствій къ вѣншей олеѣ — къ государству, которое постепенно и поглощаетъ собою все: раса превратилась въ кучу палеянокъ, въ то, съ чего начала — въ толпу. Царствующій плебсъ знаменуетъ возращеніе варварства»...

Трудно противопоставить рельефнѣ народную волю движеніямъ человѣчьяго стада, свободу и демократію — насилію и господству плебса, тому, что наши евразійцы окрестили демотіей. Лебонъ не демократъ. Слишкомъ часто для демократа онъ напоминаетъ народу: «толпа еси, въ толпу и отыдеши!» Но тѣмъ замѣлительнѣй фактъ, что всѣ культурныя завоеванія человѣчества и для него связаны съ, — пускай эфемерными, но реальными все же, — эпохами пробужденія воли народа.

Эфемерными... А что если иллюзорными? Что, если народная воля — мнѣе, простая фикція, политическая ариеметика? Вѣдь допустите это — и тогда и демократія — фикція, группа чисто тех-

ническихъ проблемъ. Какія мѣры вѣдутъ, въ данное время, народъ къ относительному довольству и миру — вотъ, скажутъ, что единственно важно и интересно. Если демократіей называется четыреххвостка и такъ наз. свободы, и если эти свободы и четыреххвостка никому не обезпечиваютъ сейчасъ мира и никого не кормятъ — скажутъ — «грощъ цѣна и всей демократіи». Но такъ могутъ говорить только не вѣршіе въ реальность народной воли. Стоить однако допустить, что народная воля не мнѣе, и все радикально мѣняется: техническія проблемы остаются, правда, техническими, но рядомъ съ ними и надъ ними вырастаетъ проблема принципиальная — проблема самой демократіи, безъ остатка сводящаяся къ проблемѣ народной воли, условій ея торжества, воспитания, роста. За свободы и четыреххвостку могутъ стоять и враги демократіи (стоятъ же за плебисцитъ Бонапартъ, а за свободы самъ Сталинъ!). Даже «образъ правленія» для демократіи вѣншій вопросъ: лучше изъ современныхъ демократій, по общему признанію, является аристократическая по стилю («джентльменская») монархія, а совершеннѣйшимъ антиподомъ демократіи — одѣтая въ пролетарскую блузу «соціалистическая» республика. Конституція можетъ лучше или хуже служить народу; идеологія можетъ быть передовой или отсталой, но если воля въ данномъ народѣ не мнѣе, то и самая плохая, и самая хорошая конституція ему служить, а не его заставляють себѣ служить. На службѣ у живого народа ложная идея — кривая пила въ рукахъ мастера:

мастеръ какъ-нибудь обойдется и съ плохимъ инструментомъ; живой народъ и плохую идею используетъ для живого дѣла. Но если мастеръ ослабъ, тогда не поможетъ никакой инструментъ. Въ рукахъ народа, лишеннаго воли, совершеннѣйшая конституція можетъ оказаться кривой и ржавой пилой...

3.

Итакъ, проблема народной воли... Рискаю отпугнуть читателя, попробую обратиться съ нею въ «забытую даль времени», къ истокамъ современныхъ демократическихъ теорій—къ Жанъ Жаку Руссо. Руссо, какъ на нашей еще памяти Марксъ, царилъ надъ умами поколѣній; какъ Марксъ, онъ имѣлъ свою великую революцію и, какъ Марксъ же, былъ безъ остатка ею проглоченъ. Но, въ отличие отъ революціоннаго Маркса, Руссо прошелъ уже и черезъ послѣднюю стадію революціонной карьеры — стадію забвенія и опровергнутости. У революціоннаго Маркса по инерціи еще учатся. У революціоннаго Руссо не учить больше никто—развѣ въ самой глухой провинціи или въ демагогическихъ цѣляхъ, — выжившая демократическіе аргументы «гдѣ плохо лежитъ». Руссо, проглоченнаго революціей, и мы оставимъ въ покоѣ. Обратиться мы собираемся къ Руссо, не изуродованному робеспьеровской маской и не приговоренному въ снѣдъ якобинству...

Кто вообще что-либо слышалъ или читалъ про Руссо, знаетъ конечно: «человѣкъ рождается свободнымъ, и вездѣ человѣкъ въ цѣпяхъ». Знаетъ, вѣроятно, и то,

что цѣль «Общественнаго Договора» — разрѣшить именно этого кричащій контрастъ. Онъ не «ставить человѣка на четвереньки», какъ издѣвался Вольтеръ: вступающая въ «общее дѣло», человѣкъ, напротивъ, впервые дѣлается по настоящему «хозяиномъ самого себя»...

Но дальше воспоминанія путаются. Въ силу вступаетъ традиціонная aberrация, превращающая Руссо изъ учителя въ ученика Робеспьера. Въ лицѣ надѣленной общаго волей «коллективной личности», договоромъ создано грозное для человѣческой свободы существо — «суверень». «Суверень, по отношенію къ подданнымъ, не нуждается ни въ какихъ гарантіяхъ. ...Онъ можетъ силою приобщать ихъ къ свободѣ... Раздолье для Робеспьеровъ и Лениныхъ: они не вулгарные насильники, а демократы, по буквѣ демократическаго «писанія», заставляющіе своихъ подданныхъ быть свободными.

Но почитаемъ «писаніе»: свобода, — вытекаетъ изъ него, — не только право гражданъ — она долгъ, по отношенію къ нимъ, суверена. «Безъ обезпеченной для каждаго изъ гражданъ свободы, всѣ ихъ обязанности — насиліе и абсурдъ». Суверень не можетъ обмануть въ дѣлѣ свободы, какъ «дѣло не можетъ ни вредить, ни хотѣть вредить своимъ членамъ»... Ну а если захочетъ все-таки? если обманетъ? Вѣдь уже гѣмъ, что суверень — неограниченный повелитель, онъ, при всѣхъ добрыхъ намереніяхъ, огромная угроза свободѣ. Да, если власть суверена, по Руссо, безгранична, это, конечно, такъ.

Руссо, однако, цѣлую главу сво-

его трактата посвящаетъ «границѣ суверенной власти»: «какъ ни абсолютна, какъ ни священна она, а есть вещи, на которыя и она посягнуть не въ правѣ, — изъ границъ договорныхъ условій и она выходить не можетъ... Есть политическая личность (personne publique), но есть и частная личность. Жизнь и свобода послѣднихъ не зависятъ отъ суверена. Обязанности людей, какъ подданныхъ суверена и естественныя права, принадлежащая имъ какъ людямъ — двѣ совершенно разныя вещи»... Мысль Руссо ясна: общая воля ни при какихъ условіяхъ грозить свободѣ не можетъ.

Всѣ опредѣленія общей воли у Руссо, надо признать, отрицательны: она не воля правительства, не воля парламента, не воля всѣхъ (большинства), не воля государства даже, въ нашемъ значеніи слова. Положительнаго о ней можно сказать лишь одно: она принадлежитъ коллективной личности. Потому-то она и недѣлима; потому-то главнымъ врагомъ ея и являются «частичныя (групповыя и индивидуальныя) воли»: «когда къ ущербу большой ассоціаціи образуются частичныя ассоціаціи и комплоты, воля каждой изъ нихъ, общая по отношенію къ своимъ членамъ, становится частной по отношенію къ государству. Важно, чтобы въ государствѣ не было частичныхъ обязательствъ, чтобы каждый выбирать рѣшеніе за себя». Какимъ только выводомъ не дѣлали якобинцы изъ этихъ дѣйствительно неосторожныхъ, можетъ быть, словъ! Въ эпоху французской революціи на нихъ основано было запрещеніе рабочихъ союзовъ и стачекъ. Въ наше время къ нимъ

тянутся теоріи единой правящей партіи. Но нужно ли говорить, что общій вопросъ о свободѣ союзовъ для Руссо, да и для его вѣка, просто не существовалъ, что «малыя ассоціаціи» интересуютъ его исключительно съ точки зрѣнія возможной узурпаціи ими суверенныхъ правъ государства, что задолго до нашихъ дней онъ съ гениальной прозорливостью предугадалъ, съ какой стороны ей угрожаютъ опаснѣйшіе враги. Народъ, отгиснутый политиканами, интересы цѣлага, принесенные въ жертву партійнымъ интригамъ, монопольныя претензіи идейныхъ теченій, мелочный мѣстный сепаратизмъ, — рѣдкое все это не наша современная злоба дня?

Чтобы не поддасться искушенію частныхъ волей, общей волей нужно «просвѣщеніе». Просвѣтителемъ ея выступаетъ у Руссо загадочное (символическое?) существо — Законодатель. Это не простой человѣкъ. Да и человѣкъ ли? Скорѣе это «одинъ изъ боговъ». «Онъ постигъ до дна человѣческую природу... Онъ въ силахъ измѣнить ее: замкнутого въ себѣ индивида превратить въ часть великаго цѣлага, независимое физическое существованіе — въ частичное и моральное»...

Во всемъ этомъ, туманномъ и загадочномъ, образѣ ясно одно: демократія связана для Руссо съ идеей познанаго, «публичнымъ просвѣщеніемъ» созданнаго, человѣка — реальнаго носителя общей воли. Подлинный суверенъ Руссо есть живая общественность, въ каждомъ изъ своихъ членовъ устремленная къ общей цѣли. Она не возникаетъ въ одно прекрасное утро какъ готовый истори-

ческий фактъ. Она есть творимое чудо — сознательно и непрерывно заключаемый гражданами «договоръ» — обмѣнъ физической способности звѣрей на свободный моральный союзъ людей...

Какъ далека эта классическая концепція демократіи отъ создававшегося, въ періодъ идеократическаго разложенія Франціи, якобинскаго вѣроученія, «всерьезъ и надолго» отождествившаго себя съ демократизмомъ!

И какъ близка она, прибавимъ, новѣйшимъ исканіямъ демократической мысли!..

4.

Чтобы почувствовать это послѣднее, откроемъ наугадъ любую посвященную демократіи статью въ любомъ серьезномъ современномъ журналѣ.

Вотъ статья Шепарда въ «Запискахъ Американской Академіи Соціальныхъ Наукъ» (Іюль 1935-го года). По первому впечатлѣнію Шепардъ рѣшительный антидемократъ: «Съ доктриной правительства законовъ пора покончить... Ученіе о народномъ суверенитетѣ сбиваетъ съ пути... Но противъ чего же онъ протестуетъ? Противъ отождествленія народа съ политическими партіями и избирательнымъ корпусомъ, прежде всего. Избиратели для него это всего лишь одно изъ государственныхъ учреждений—такое же, какъ судъ, президентъ, губернаторъ. Никакой іерархіи (въ смыслѣ верховности) между учреждениями этими нѣтъ. У каждаго своя функція; каждое ее выполнять — и только: судъ судитъ, палата составляетъ законы, избиратели избираютъ. Орелъ, специально присущій всеобщему

избирательному праву, ничѣмъ не оправданъ, и само оно подлечь коренной перестройкѣ. Избирательная функція должна быть сведена къ немногимъ, важнымъ, но простымъ актамъ — избраніе доверенныхъ лицъ, утвержденіе переменъ въ основныхъ законахъ. Въ основу ея долженъ быть положенъ не теперешній, отжившій свой вѣкъ, географическій принципъ—реликвія мало дифференцированнаго земледѣльческаго общества — а реальный и жизненный признакъ компетентности и интереса. Фикцію «народнаго правленія» нужно отбросить; замѣнивъ ее реальной цѣнностью «аристократіи таланта и воли».

Эта «аристократія энергій и талантовъ» для Шепарда не отказъ отъ народной воли. Это отказъ отъ «наивнаго пониманія демократической догмы». Желая связать демократію съ изменившимися условиями дѣятельности, Шепардъ тѣмъ самымъ солидно и заново ее утверждаетъ: «Движеніе впередъ заключается нынѣ не въ томъ, чтобы возстановлять примитивное народоправство, а въ томъ, чтобы надлежачимъ переустройствомъ политическихъ учреждений дать въ нихъ мѣсто и одному, и избираемымъ и народу». Все это предполагаетъ отвѣтственность: «Диктатуры у себя мы не потерпимъ. Мы отличны видимъ на примѣрахъ Германіи и Италіи, къ чему приводятъ демагогія и насиліе. Въ нашемъ (американцевъ) излюбленномъ состояніи — традиціяхъ свободы — бѣдетъ подлинная душа Америки; и никогда еще, можетъ быть, въ теченіе всей нашей исторіи, мы не зывали къ нимъ, какъ сейчасъ»..

Въ новомъ общественномъ строѣ центральное мѣсто должно занять воспитаніе (вспомнимъ «публичное просвѣщеніе» Руссо) — разработка системы цѣнностей, углубленіе вѣры въ культуру, — воспитаніе не средство, а цѣль, воспитаніе въ широчайшемъ смыслѣ — какъ освобожденіе человѣческаго духа, вскрытіе заложенныхъ въ личности силъ. «Не хлѣбомъ единымъ живъ человѣкъ. Не можетъ безъ духовнаго хлѣба существовать и народъ. Передъ народомъ должна вставать какая-то цѣль: безъ видимой цѣли онъ погибаетъ... Къ оглушеннымъ, одураченнымъ, сбитымъ съ толку миллионамъ людей должно притти обѣщаніе лучшаго общества — не преходящее и обманчивое «экономическое процвѣтаніе», не живыя доктрины и упованія коммунизма или фашизма, а подлинно новыя цѣли жизни... Когда новый идеалъ воспитанія будетъ принятъ народомъ, онъ станетъ въ государствѣ главной движущей силой. Массы примутъ и поддержать аристократію ума и характера — правительство одного и лучшихъ, — и тогда пусть бушуютъ вѣтры любой пропаганды: государство будетъ стоять на прочной, непоколебимой базѣ»...

5.

Современная психологія считается съ двумя сферами психической жизни — индивидуально-сознательнымъ и коллективно-безсознательнымъ. Демократія предполагаетъ третью — коллективно-сознательное, ибо воля народа не есть коллективный инстинктъ, и властвующій народъ не есть коллективный звѣрь: онъ

есть коллективная личность — проявленіе въ индивидахъ воли и разума цѣлаго. Если бы общая воля сводилась къ коллективно-безсознательному, тогда всѣ человѣческія общезитія, начиная съ первобытной орды, пришлось бы признать демократіями. Въ дѣйствительности, демократію отъ орды отдѣляетъ цѣлая пропасть, — та самая, которая отдѣляетъ человека отъ звѣря: у орды и у звѣря нѣтъ разума, а, значитъ, и воли (развѣ зародыши ихъ), а народъ и человекъ ихъ непременно предполагаютъ. «Общій разумъ» столь же несомнѣнная (хотя и загадочная) реальность, какъ «общая воля». Русский языкъ объединялъ ихъ единымъ словомъ **соборность**: «соборъ» представляетъ и волю, и разумъ «церкви».

Соборность (сборная личность) — на первый взглядъ простой результатъ общенія людей — при болѣе глубокомъ пониманіи есть источникъ и база межчеловѣческаго общенія: она не столько создается имъ, сколько его создаетъ. Для вѣрующихъ христіанъ реальной базой ихъ общества является мистическая личность «Невѣсты Христовой». Для демократа, въ томъ же, приблизительно, смыслѣ, реальна личность коллективнаго хозяина — Демоса.

Слово хозяинъ выбрано тутъ не случайно. Имъ вскрывается интимная суть демократіи, и существенное отличие ея отъ психологически смежнаго феномена демотин (владычества плебса). Прослѣдить и утвердить до конца ихъ различіе — жизненная потребность момента: ихъ смѣшеніе въ политикѣ не разъ приближало уже демократію къ про-

пасти, а въ дальнѣйшемъ можетъ сдѣлаться роковымъ.

И въ демократіи и въ демотіи «демосъ». И въ демократіи, и въ демотіи онъ «хозяинъ». Но оба термина эти двузначны. Можно хозяйствовать — съ любовью, за совѣсть, у себя. Можно хозяйничать — съ ненавистью, за страхъ, у другихъ. Библиофилъ, разставляющій по полкамъ любимыя книги, крестьянинъ, въ потѣ лица трудящійся надъ родной полосой — одинъ типъ хозяина. Чекистъ, роющійся на тѣхъ же полкахъ, комиссаръ, организующій изъ тѣхъ же полосъ колхозъ — другой типъ, весьма отличный отъ перваго. Тождѣ и демосъ: сплоченное общей культурой и общей волей народное цѣлое есть демосъ. Отражающая «волю всѣхъ», совокупность «народныхъ» классовъ — демосъ тоже... Демократія — это хозяйствующая общая воля, демотія — хозяйничающая воля всѣхъ. При добромъ желаніи смѣненія избѣжать легко. А на дѣлѣ сколько зла и реальныхъ бѣдъ причинило и причиняетъ оно!. Можно ли, напр., сомнѣваться, что нашъ революціонный октябрьскій народъ былъ не живымъ демосомъ общей воли, а стихійнымъ голосомъ массы, что онъ не хозяйствовалъ у себя, а хозяйничалъ въ захваченномъ домѣ? И можно ли сомнѣваться, что идеологическая ошибка, проистекшая тутъ (смѣшеніе демоса съ плебсомъ), сыграла роковую роль въ трагическомъ ходѣ и исходѣ нашихъ революціонныхъ событій? Та же самая ошибка грозитъ сдѣлаться въ наши дни роковой и въ Европѣ: симптомами ея полна уже европейская жизнь... Весь современный кризисъ демократіи

есть, главнымъ образомъ, результатомъ этой идейной ошибки. Умы и сердца демократовъ, подъ покровомъ и именемъ демократіи, плѣнаетъ ея жесточайшій природный врагъ — убивающая и ложко губящая народную волю стихія демотіи.

6.

Революція... Вотъ еще грозное и опасное своей многозначностью слово! Къ какимъ только событіямъ не приводила связанные съ нимъ идейные мифы!

Необходимо вернуться къ первоначальному, этимологически точному пониманію слова. Латинское по корню (revolvo), оно почти дословно переводится греческимъ словомъ катастрофа (katastrefo). Революція есть катастрофа — низверженность, опрокинутость — опрокинутое общезитіе, разлѣжившійся бытъ, распавшаяся личность народа, тяжелая болѣзнь народной души. Тяжкая болѣзнь, пройдя незамѣтно черезъ инкубаціонный періодъ, застигаютъ обычно больного врасплохъ, длется и постепенно выливается въ кризисъ, несущій исцѣленіе или смерть...

Въ силу катастрофической природы слоев революціи приключаются съ народомъ нечасто — въ нѣсколько вѣковъ разъ. Страшно поэтому звучать современные разговоры о «возможности», «желательности», «неизбѣжности» революціи въ Совѣтской Россіи. Россія въ революціи еще «лежитъ». Революція вступаетъ въ Россію въ третій десятокъ лѣтъ, приближается къ роковому кризису. Весь вопросъ теперь — встанетъ ли съ одра или сгинетъ? Если сгинетъ — сгинуть и разговоры

революціяхъ. Если встанетъ — встанетъ прочно и надолго иммунизированной отъ революціоннаго яда. Сомнѣній, какъ будто, нѣтъ: дѣло идетъ на поправку. Въ организмѣ крѣпнуть здоровые соки, выталкивая изъ него смертоноснаго паразита. Политически вопросъ безповоротно рѣшенъ: паразитъ будетъ удаленъ. Но это не новая болѣзнь, а выздоровленіе отъ старой — послѣдняя рефлективная плазма исцѣленного организма. Ломка, перестройка, реформы — все это будетъ. Ужъ не это ли — новая революція? Но кто же сомнѣвается, что въ освобожденной Россіи эта творческая, радостная, благодатная «революція» возможна, желанна и неизбежна? Другая же революція, — настоящая, безъ кавычекъ — къ счастью, для Россіи исключена. Она, конечно, означала бы для нея гибель...

Въ полуазиатской странѣ, говорятъ, и революція азиатская. Неправда: «азиатчина» это сама революція, настоящее ея содержаніе. То же, что иногда принимается за ея содержаніе — писанныя программы, стилизованность подъ доктрину (подъ Маркса, подъ Руссо, подъ Бакунина) — есть случайная, — отъ случая къ случаю — ея форма. Для тѣхъ, кто форму революціи принимаетъ за ея содержаніе, реальнымъ является не только различіе «буржуазныхъ» и «пролетарскихъ», «политическихъ» и «соціальныхъ революцій» (въ дѣйствительности, всѣ онѣ демократичны — и только), но и различіе революцій кровавыхъ и мирныхъ (въ дѣйствительности, «мирная революція» это, — круглый квадратъ). Торжество христіанства въ Римской

Имперіи, паденіе въ Европѣ феодализма, вытѣсненіе ручного труда машиной — все это для нихъ революціи. Да вовсе же нѣтъ: торжество христіанства — не революція, не низверженіе, а, наоборотъ, великое утвержденіе, возрожденіе, побѣда народной воли. Эти «эпохи великихъ реформъ» могутъ вызывать революціи, вливаться въ нихъ, уурпироваться ими, но сами революціями никакъ не являются. Въ силу страннаго съ виду, но въ сущности объяснимаго «соціологическаго закона», революціи сваливаются на народъ какъ разъ въ такія творческія эпохи — обрывы натянувшейся слишкомъ туго струны. Свалившись, онѣ извращаются, замедляютъ, но не останавливаютъ начавшейся ходъ реформъ. За это весь ореолъ культурнаго сдвига достается имъ: шумъ и трескъ обвала притягиваетъ на себя всю «благодарность погومتва».

Революціи, по природѣ, свойствененъ идеократическій стиль. Воля революціоннаго народа поражена летаргіей. Это покоренная воля массъ, безвольно идушихъ за зовами въ безсознательное. Въ первый, собственно катастрофическій, періодъ революціи, идеократія ея носитъ сомнамбулическій характеръ — механическіе рефлексы усыпленного на зычный приказъ усыпителя. Въ слѣдующій, особенно страшный, періодъ политграмотнаго ибиданія въ «генеральную линію», передъ нами подлинная идеотираниа — народъ еле дышащій подъ мертвой тушей казенной доктрины. Идеократическій стиль, дающій себя знать въ современной Европѣ — очень грозный симптомъ надви-

гающейся на нее катастрофы, — обморока, подстерегающего народную волю...

Но как совмѣстить съ «идеократическимъ стилемъ» революцій несомнѣнные «достиженія» революціонныхъ эпохъ? Отрицать фактъ достиженій смѣшно, а не отрицать не значитъ ли признать за покорившими волю идеями творческія способности? Вопросъ однако не въ самихъ достиженіяхъ, а въ томъ, чьи они? Революціи? Нѣтъ.

Иностраннымъ туристамъ, въ качествѣ достиженія совѣтскаго Октября, показываютъ Румянцевскій музей. Смѣшное вранье? Несомнѣно: въ извѣстномъ смыслѣ Румянцевскій музей есть подлинное достиженіе Октября. Онъ могъ разрушить его, какъ разрушилъ Сухареву Башню, разбазарить его богатства, какъ разбазарилъ Эрмитажъ. Не разрушилъ, не разбазарилъ — реальное достиженіе! Эта «шутка» приложена въ вариацияхъ ко всѣмъ собственно - революціоннымъ достиженіямъ. Основная тема — «могла разрушить, а не разрушила»: сюда, съ Румянцевскимъ музеемъ, всѣ достиженія нѣпа. Первая вариация темы — «могла додумать, а не додумала»: сюда быгоныя сталинскія реформы — елочки, любовь къ отечеству, радость жизни. Вторая вариация (главная) — «могла не додѣлывать, а додѣлала»: каналы, метро, народная грамотность, «земля крестьянамъ» — все вообще козырное. Врасплохъ, въ моментъ начавшагося напряженія творчества застигнутая, народная воля не глохнетъ и подъ свалившимся на нее тяжкимъ грузомъ, живыми побѣгами пробивается сквозъ каждую щель

дочку въ завинченной надъ ней крышкѣ гроба. Творчество продолжаетъ. Началось до войны — настоящее «возрожденіе» — ...оборвалось во время нея... ...рухнуло внизъ... продолжалось въ подземномъ порывѣ... и вновь вырывается вверхъ... Собственнымъ теченіемъ водный потокъ обрушилъ въ себя скалу. Вода бурлитъ, вздымаетъ пѣну, разбивается въ тысячи брызгъ, струйками расходится въ стороны, ищетъ русла... За скалой вода вновь собралась въ потокъ: онъ течетъ ослабленный, болѣе широкій и болѣе мелкій. Пройдутъ годы, прежде чѣмъ новое русло достаточно углубится. Если бы кто сказалъ теперь про потокъ: «онъ орошаетъ поля, поитъ людей и скотъ», ворочаетъ колеса мельницы — все это благодаря вонъ тѣмъ пузырямъ и пѣнѣ вокругъ скалы, онъ вполне уподобился бы, по уровню сужденій, нынѣ изъ нашихъ «прореволюціонеровъ», для которыхъ, не случись на Руси легендарныхъ, Юсифовъ, Климовъ и Идьичей, геніальныхъ Крыленокъ и Дыбенковъ, нѣжныхъ сердецъ Феликсовъ и Ягодъ, не было бы у насъ и грамотныхъ мужиковъ съ граммофонами и электрическимъ освѣщеніемъ, мраморной отделки московскаго метро, гремящей ганками арміи, станціи «Сѣверный Полюсъ», удивительныхъ футболистовъ и скрипачей. Въ «совѣтскихъ достиженіяхъ», конечно, есть подлинное и драгоцѣнное. Но для каждаго, не за бывшего безнадежно русскую исторію, не можетъ быть никакого сомнѣнія: въ подлинномъ и цѣнномъ революція не причемъ. Вѣрнѣе — при одномъ: не дорѣза-

ла, не додумала, съ грѣхомъ по-
паламъ додѣлала... И додѣлала-
то не сама, не субъективный ея
персональ—профессиональные ре-
волюционеры, — а недорѣзанные
объекты и жертвы ея — спецы
старой интеллигентской формации
и ими же на обрывкахъ старой
культуры воспитанныя поколѣнія
молодежи.

Революціи неизбежны? Воз-
можно: при такой-то физической
обстановкѣ скала не могла не
упасть, струна должна была обо-
рваться... Но это ли апология ка-
тастрофы? Неизбѣжна и старость;
неизбѣжна смерть. Старость чтутъ;
передъ смертью снимаютъ шля-
пу, но побѣды въ жизни одер-
живаютъ противъ старости и про-
тивъ смерти. У старости урыва-
ютъ то, что она готовилась уне-
сти; отъ смерти спасаютъ то, надѣ-
чьмъ она занесла свою руку. И
у революціи мы урываемъ, и отъ
революціи мы спасаемъ.

Неизбѣжна она — неизбеженъ
и наносимый ею уронъ. Скала не
упала, — потокъ не пѣнится, но
и не теряетъ воды: спокойный и
подводный онъ течетъ по глу-
бокому руслу.

7.

«Революціонное государство» —
наиболѣе законченный типъ совре-
менной идеократіи. Другимъ ея
гипомъ является «фашистское го-
сударство». При всѣхъ культурно-
идеологическихъ расхожденіяхъ
(классовость и народность, уто-
пизмъ и консерватизмъ, раз-
давленность воли и ея усыплен-
ность) оба типа — родные братья,
родные утробно (ихъ общая мать
— потрясенная и морально осла-
бленная войной Европа) и род-
ные духовно (общая одержимость

«психической плотью» — идеа-
ми). Разная кровь («рабоче-сол-
датская» и «разночинская»), вре-
мя рожденія (до и послѣ «Вер-
саяля»), противоположный про-
граммный стиль («Низвергай!» и
«Сласай!») сдѣлали однако ду-
ховныхъ и утробныхъ братьевъ
врагами: младшій провозглашаетъ
гибель старшаго цѣлью самаго
своего бытія; старшій всѣ невзго-
ды и вины, свои и чужія, валитъ
на младшаго. Злые языки увѣря-
ютъ, что передъ вышней опас-
ностью, передъ общимъ врагомъ
(демократіей) братья готовы въ
любой моментъ выступить вмѣ-
стѣ. Такъ ли это, судить не бе-
русъ, но что всѣ тоталитарныя го-
сударства съ одной стороны, всѣ
демократіи, съ другой, духовно
представляютъ собою два враж-
дебные лагеря — въ этомъ со-
мнѣнія быть не можетъ. Идеоло-
гически демократизмъ имѣетъ об-
щее и съ фашизмомъ («народная
власть», «общественное служе-
ніе»), и съ коммунизмомъ («со-
ціальное равенство», «свобожден-
ный отъ эксплуатаціи трудъ»).
Этимъ объясняются постоянныя
литературныя сближенія его то
съ тѣмъ, то съ другимъ. Но ду-
ховно ихъ раздѣляетъ пропасть.
Въ демократіи ни одна идея (до
коренныхъ и принципиальныхъ
включительно) не преступаетъ
своей функціи — быть орудіемъ;
ни одно воззрѣніе (самое жиз-
ненное и плодотворное) не отли-
вается въ форму самодовлѣющей
и обязательной истины. Въ демо-
кратіи народная воля — свобод-
ный хозяинъ всѣхъ своихъ идей-
ныхъ богатствъ. Въ этомъ духов-
ная аристократичность, ея по-
длинно благородная, хозяйская
стать.

Но въ конкретной современной действительности, гдѣ она, эта благородная статья? Въ официальныхъ демократіяхъ — въ Америкѣ, Франціи, Англии? Къ сожалѣнію, и тамъ — не вполне, не во всемъ. Но, если даже не тамъ, не значитъ ли это — нигдѣ?

Да, не подлежитъ сомнѣнію: идеократическій общественный типъ — ясно зримая, осязаемая, измѣряемая реальность, — выходящая при томъ и за предѣлы собственно фашистскихъ, тоталитарныхъ имперій, демократическій же — неуловимъ, неустойчивъ даже въ передовыхъ демократіяхъ. Могъ же Шепардъ въ цитированной выше статьѣ утверждать, что «Америка, за всю свою исторію, ни разу не была по настоящему демократіей». Считается же въ наши дни нормальнымъ явленіемъ общій фронтъ демократовъ съ враждебными свободѣ и демократіи, революционно-классовыми, коммунистическими течениями. И это фактъ не нашего только времени: онъ заложенъ въ природѣ демократіи, лишній разъ (до конца) утверждая собой ея полярность тоталитарной ответственности: идеократія — тяга къ «плотскому», инертному, — вводитъ въ міръ измѣряемаго, «фактического». Непокоренная воля изъ этого міра уведеть: демократія вся — незавершенность, недостижимость, устремленность, вся — въ незамѣтныхъ, непрерывныхъ побѣдахъ надъ инертнымъ, извѣстный — условный и колеблющійся — уровень которыхъ только и даетъ обществу право именовать себя демократіей. Въ силу этого признака, а не въ силу параграфовъ конституціи, современныя Франція, Америка, Ан-

глія — демократіи, а Россія, Германия, Италия — нѣтъ. Полная побѣда народной воли никогда не будетъ историческимъ фактомъ, но какъ благодатная вѣра, дающая смыслъ и оправданіе социальной активности демократіи, она сейчасъ уже реальный факторъ исторіи.

Единоборство тяги къ инертному и рвенію къ волѣ родилось въ человеческомъ обществѣ вмѣстѣ съ нимъ. Сейчасъ оно уточнилось и подучаетъ имя. Новое слово идеократія — показательный для нашего времени фактъ.

Корни европейской демократіи, французской въ частности, уходятъ въ средневѣковое прошлое — въ городскія коммуны, гильдіи, союзы ремесленниковъ, монашеское и рыцарское служеніе. Эти полные будущаго, но робкіе и мѣстные прорывы, не нарушали общаго средневѣковаго стиля, далекаго отъ свободы. Они заглушались еще триумфами «тятиги». Позднее — средневѣковая теократія, восторжествовавшая въ инвизитионной обстановкѣ религиозныхъ войнъ, осталась классическимъ примѣромъ идеократіи, прообразомъ будущихъ тоталитарныхъ имперій. Французская Революція, въ своихъ официальныхъ лозунгахъ отразившая реальныя побѣды свободы и просвѣщенія, по идеократической природѣ своей тоже выжилась пораженіемъ духа своими собственными созданіями. Ея идеократическимъ ядомъ до сихъ поръ проникнуты поры 3-ей республики и ея демократическихъ партій. Современные якобинцы, бабувисты, бланкисты носятъ досель ея печать.

И все-таки Франція — демократія. Мы, живущіе здѣсь, всѣмъ

фибрами души ощущаемъ это на каждомъ шагѣ... Англія, англо-саксонскій міръ, еще болѣе несомнѣнная опора народной воли. Вотъ гдѣ партія вѣрнѣе держитъ идеи въ рукахъ, управляютъ ими какъ налаженнымъ инструментомъ. Вотъ гдѣ частичныя воли (индивидовъ, классовъ и группъ) соприкасаются въ интимной глубинѣ съ неумирающей «общей волей»...

8.

А наша родина? Въ чемъ залогъ ея возрожденія волей народа?.. Въ нашихъ судьбахъ есть общее съ судьбами Франціи. Первое: мы пережили, какъ она, революцію и переживаемъ другую — двѣ тѣ же самыя революціи, только расположенныя иначе. Мы пережили сперва иноземную (французскую) революцію, а чинѣ переживаемъ свою. Франція начала своей, а кончаетъ иноземной для себя, нашей. Всѣми почти культурными достижениями грѣхъ послѣднихъ полустолѣтій мы въ какой-то мѣрѣ обязаны Франціи — вліянію ея духовныхъ побѣдъ, начиная съ декларацій правъ, — но и темныя стороны нашего общественнаго движенія плодъ французскаго же вліянія, наследіе французской демократической катастрофы, работа ея привитаго намъ идеократическаго микроба. Не нужно смѣшивать этихъ двухъ, противоположнаго знака, французскихъ вкладовъ въ нашу культуру.

Духовный, въ интеллигентскомъ своемъ содержаніи, потомокъ французской революціи, наша народная катастрофа превзошла своего предка «талантами» и размахомъ. Мы сторицею выплачива-

емъ теперь Франціи историческій «долгъ»: Франція переживаетъ нашу революцію, какъ нѣкогда насъ заставила пережить свою. Тутъ-то и выступаетъ разница: идеократическій ядъ французской революціи прививался у насъ на дѣвственной почвѣ, грозилъ намъ смертельными рисками. Нашъ падежъ на почву, подготовленную къ защитѣ, можетъ косвенно содѣйствовать исцѣленію и отъ стараго яда. Французская демократія несравненно лучше, чѣмъ наша въ 19-омъ вѣкѣ, приготовлена ко встрѣчѣ съ врагомъ. Въ этомъ и наше великое счастье: передъ общимъ врагомъ сила союзника — наша сила.

Второе общее наше съ Франціей — почвенность демократіи: и во Франціи, и у насъ именно она является опорой надеждъ... Знаменательный, символическій фактъ: самобытныя проявленія демократіи, побѣги народной воли, связаны у насъ испоконъ вѣковъ со словомъ земля. «Русская земля» уже въ 12-омъ вѣкѣ выражала осознанное единство націи. Живая народность «Земщины» отразила, въ 16-мъ вѣкѣ, силу опричинины. Полувѣкомъ позже хозяйская воля «земскаго ополченія» покончила съ насильями своихъ и иноземныхъ «воровъ», а разумъ «земскихъ соборовъ» поборолъ рутину приказовъ. «Земскія собранія» были у насъ школой общественности, «Земскіе съѣзды» — школой политики. Сама мечта о народной волѣ символически сыялась у насъ, въ популярномъ лозунгѣ, съ мечтой о землѣ...

Изъ двухъ источниковъ, питающихъ въ Россіи демократическую борьбу — европейская теорія и національная практика — до кон-

ца надежнымъ, не отравленнымъ является только послѣдній. Классическій споръ славянофиловъ и западниковъ (лоздывѣ — народниковъ и марксистовъ) сланъ, въ своемъ цѣломъ, въ архивъ. Кое въ чемъ, существенномъ, побѣда досталась въ немъ западникамъ. По крайней мѣрѣ въ одномъ побѣдили «славянофилы»: демократія въ Россіи будетъ своя выраженіемъ «земщины», — или демократіи въ Россіи не будетъ.

Чьей побѣдой завершится современная распря, никому не дано пока знать. Но мы теперь уже почти физически ощущаемъ, чѣмъ обернулось бы для европейскаго

человѣчества поражение въ ней народной воли. Исповѣдная и дѣйствительная вѣра въ ея побѣду — единственно достойная поэтому свободнаго человѣка политическая идеологія и программа. Великое достиженіе демократіи, «всеобщее избирательное право» — можетъ все же обмануть (и обманывало). «Всеобщее волевое рѣшеніе», народная воля — реальность порядка духовнаго, обмануть не можетъ. Она одна — надежная база культуры, свободы и достоинства человѣка. Она же — единственная реальная форма существования и осуществления демократіи...

Ив. Херасковъ.

Некрасовъ

У каждаго писателя двѣ судьбы: одна — обыкновенная, такая, какъ у всѣхъ людей, другая — «посмертная». Едва ли правильно основывать истолкованіе творчества на биографическихъ данныхъ и опредѣлять духъ его, вглядываясь въ далекую эпоху: тотъ духъ исчезъ, разсѣялся, его нельзя возстановить, а новый, возникшій на смѣну ему, не связанъ съ забытыми дрязгами, тревогами или радостями. Конечно, полезно перелистать книгу, вродѣ известныя книги Шахова «Гете и его время», «Вольтеръ и его время»... Но странное дѣло! Авторъ изо всѣхъ силъ старается, чтобы мы поняли Гете, — и при этомъ изо всѣхъ силъ отдаляетъ его отъ насъ, прикрѣпляетъ его къ эпохѣ, будто боится, что онъ вырвется изъ объятий современниковъ и вмѣсто Эккермана примется бесѣдовать

непосредственно съ нами. Методъ гарантирующий отъ рѣзкихъ срывовъ, но и не допускающий настоящихъ удачъ. Гундольфъ поступилъ смѣлѣе — и достигъ гораздо большаго.

Со дня смерти Некрасова прошло шестьдесятъ лѣтъ. «Tel qu'en lui-même enfin l'éternité le change...» Немного осталось общаго между Некрасовымъ «подлиннымъ», «историческимъ» — и тѣмъ, который живетъ сейчасъ въ русской литературѣ въ дополненіе, а отчасти и вопреки ему.

Въ биографіи Некрасова замѣчательно то, что чуть ли не всѣ современные ему знатоки и цѣнители поэзіи отрицали его поэтическое призваніе. Отъ знаменитаго тургеневскаго «не ночевала» до владимира — соловьевскаго «расчетливаго обмана» — единодушіе полное. То ли дѣло, скажемъ, Фетъ! У Фета чистая,

граціозныя чувства и порывы, у Фета пѣвныя весна, Шопенгауэръ, звенящія струны, чарующія головки, а тутъ — базарь, балаганъ! У Фета «шопогъ, робкое дыханье», а тутъ — «взды на Волгу». Но не будемъ иронизировать: если Соловьевъ подь сомнѣнемъ, то Тургеневъ былъ безспорно человѣкомъ исключительнаго ума и чутья. Приходится, значитъ, во-первыхъ, признать, что окажись дучше, самые проникательные изъ насъ современниками Некрасова, мы тоже на него пофыркивали бы, во-вторыхъ, что для пренебреженія были какія-то основанія. Какія? Кромѣ тѣхъ, которыя связаны были съ личностью и характеромъ Некрасова, сыграло, вѣроятно, важнѣйшую роль смѣшеніе «поэзіи» съ «поэтичностью», — до извѣстной степени оправданное особенностями русскаго литературнаго развитія, мальчишеской запальчивостью шестидесятниковъ, нетерпимостью воспитанной на Писаревѣ молодежи, стремленіемъ отстоять двѣты и тайны отъ научнаго прогресса и борьбы съ произволомъ. Поэзія оказалась неожиданно загнана на задворки культуры, — и оттуда отпрыгала. Некрасовъ былъ въ лагерѣ обидчиковъ, и слѣдовательно расцѣвлялся какъ врагъ, какъ «предатель», будто лишь радъ влчашаго издѣательства надъ поэзіей сочинявшій свои вирши... Такое отношеніе къ нему раздѣлялось даже его «идейными» соизвнниками. Едва только заходила рѣчь объ искусствѣ и о прекрасномъ, они большей частью съ грустью признавались, что нѣтъ, Некрасовъ «не поэтъ». Нѣтъ, какой же это языкъ боговъ! Не та-

кіе же мы варвары, помилуйте, чтобы этого не понимать! Поэзія возвышаетъ душу, уноситъ въ свѣтлое царство грезъ; въ дивный чертогъ мечты. Лапти намъ самимъ надобѣли. Именно такъ былъ настроенъ еще Горькій. Поистинѣ, «своя своихъ не познаша».

У Пушкина — какъ онъ ни далеко отъ Некрасова — есть строки, будто «предвосхищающія» его. «И выстрадаанный стихъ, пронзительно унылый...» — общая характеристика. Есть идущее глубже: «И съ отвращеніемъ читая жизнь мою...», «Когтистый звѣрь, грызущій сердце — совѣсть...»

«Когтистый звѣрь» грызъ Некрасова всю жизнь, — и можетъ быть, въ борьбѣ съ нимъ Некрасовъ и сталъ великимъ поэтомъ.

О томъ, что никому въ русской литературѣ не было дано такъ «рыдать», какъ ему, говорилось часто, — и еще недавно Чуковский остроумно продемонстрировалъ, какія чудеса безотчетно извлекалъ Некрасовъ изъ одной только буквы «у»:

Умеръ, Касьяновна, умеръ, родимая,

Умеръ—и въ землю зарытъ...

Боюсь цитать, потому что хотѣлъ бы обойтись безъ восклицательныхъ знаковъ. Но какъ въ самомъ дѣлѣ удержаться отъ восторга, вспоминая такія строки! Спился ли онъ Фету, да и кому либо другому? Обыкновенно критики утверждаютъ, что поэтическое мастерство выражается въ блескѣ и новизнѣ рифмъ, въ своеобразіи метафоръ, или эпитетовъ... Нѣтъ, истинная сущность

всякаго словеснаго мастерства— въ ощущеніи вѣса произнесеннаго слова, въ координаціи тяжестей, въ такомъ построеніи фразы, гдѣ звукъ самъ собой становится логиченъ, а ритмъ вторитъ смыслу. Некрасовъ не былъ ни тонкимъ стилистомъ, ни коллекционеромъ изысканныхъ оттѣнковъ. Кто-то сказалъ, что въ рукахъ у него «была не кисть, а помело» — и что же, пожалуй, это вѣрно! Но вотъ повторить три раза «умеръ» такъ, чтобы нечего было добавитъ, оны умѣлъ, — и послѣ этого никакіе оттѣнки не были нужны.

Но вернемся къ «вѣрью». Не только въ «Рыцарѣ на чьѣхъ» или въ размышленіяхъ «У параднаго подъѣзда» ощутима его близость.. Промолчу вообще о некрасовскихъ «рыданияхъ» — не потому, чтобы о нихъ говорить не стоило бы, а потому, что тутъ все всеѣмъ извѣстно. «Проголосилъ надъ Россіей», «уловилъ панихидное плѣніе мятелей, тоскующихъ на русскихъ просторахъ» — и такъ далѣе, и такъ далѣе, въ зависимости отъ литературныхъ навыковъ и вкусовъ.

О другомъ говорится рѣже.

Каждый поэтъ стоитъ передъ жизнью, какъ передъ стѣной, матерьяломъ, темой, препятствіемъ, какъ передъ врагомъ, помощникомъ, неизвѣстностью... Нельзя навязывать отношенія къ ней извнѣ. Одинъ извлекаетъ «райскіе звуки», уклоняясь отъ встрѣчи, — уединяясь, обособляясь, и по своему праву. Другой выбираетъ: то-то возьму, а это отброшу. Некрасовъ первый въ нашей литературѣ взвалилъ на себя все, что увидѣть — и попытался все превратитъ въ поэзію:

именно въ этомъ творческая совѣстливость его особенно очевидна. Некрасовъ отказывался быть поэтомъ; если что-нибудь да землѣ оставалось внѣ поэзіи, — боясь глубочайшаго упрека, которому Леонидъ Андреевъ придасть, къ сожалѣнію, чуть-чуть комическую форму: «какъ ты смѣешь быть хорошимъ, когда я плохой?» Величье Некрасова въ томъ, что онъ согласился быть «плохимъ», — во всякомъ случаѣ «хуже» нарицательнаго Фета съ его прелестными головками, — ради того, чтобы свѣта никто не былъ лишень. Праздный, недоказуемый домyselъ? Нѣтъ, весь тонъ некрасовской поэзіи, какъ бы всегда «сходящей во адъ», всегда опускающейся до всего, что найдеть низкаго, всегда жертвенной, сочувствующей, ограждающей, искупающей, убѣждаетъ въ этомъ, — даже если бы не были внятенъ текстъ.

Параллель между живымъ, подлиннымъ Некрасовымъ, Николаемъ Алексѣевичемъ, охотникомъ, картежникомъ, дѣльцомъ, чело-вѣкомъ «прогрессивныхъ взглядовъ» и, какъ замѣтилъ тотъ же Соловьевъ, «сдѣлавшимъ на любовь къ народу весьма услѣдную карьеру», параллель между нимъ и парижскимъ дэнди, ко всякой «общественности» равнодушнымъ, Бодлеромъ — на первый взглядъ искусственна и парадоксальна. Но нѣтъ параллели болѣе оправданной — и даже болѣе плодотворной для пониманія обоихъ. Некрасовъ, конечно, Бодлера не читалъ, вѣроятно даже не слышалъ о немъ. Но едва ли оказался бы онъ болѣе преданнымъ ему ученикомъ, если бы прочелъ «Les fleurs du mal».

У него не было, да и не могло быть, конечно, ни бодлеровскаго «культурнаго возраста», ни бодлеровскаго кругозора. Но то, что сдѣлалъ Бодлеръ, попытался сдѣлать и онъ: отвергъ поэзію-недотрогу, не захотѣлъ взлетѣть безъ всего, что въ силу на себя человѣкъ нагрузить. Полетъ можетъ быть не такъ высокъ, какъ было бы многимъ желательно. Но и цѣна ему не та, чѣмъ порханію иныхъ литературныхъ мотыльковъ... Кстати, у Некрасова есть стихи, настолько совпадающіе въ рисунокъ съ однимъ изъ гениальнѣйшихъ созданій Бодлера, что возникаетъ вопросъ, обусловлено ли общностью въ отношеніи къ жизни, общностью въ тонѣ, прямое совпаденіе отдѣльных темъ: имѣю въ виду бодлеровскій «Разсвѣтъ» и некрасовское «Утро» («выстрѣлъ — кто-то локончилъ съ собой»). Конечно, о сравненіи съ художественной точки зрѣнія — не можетъ быть и рѣчи. Но то, что нашъ Николай Алексѣевичъ, даже говорившій по свидѣтельству Кони все больше на «о», все-таки додумался до того, на что натолкнулся и что открылъ Бодлеръ, достаточно удивительно.

Онъ не пропѣлъ въ сущности, а «промычалъ» свои стихи, — не въ снахъ схлатьи сознаниемъ истиннаго содержания своей поэзіи, постоянно размыкаясь на рифмованные анекдоты и нраво-учительные рассказы, будто какой-то Рембрандтъ, восплащенный передвижниками. Если Некрасова читать не вслушиваясь въ голосъ его — досадна чуть-ли не каждая страница. Если вслушаться — это черновики величайшаго русскаго поэта, величайшаго «въ воз-

можностяхъ», единственнаго по силѣ и глубинѣ дыханія. Конечно, — только черновики, и притомъ такіе, которые нельзя было бы очистить. Не на бумагѣ ошибка, а въ натурѣ: чернозавымъ осталось самое вдохновеніе, — непонятое, искаженное разумомъ! Цѣлыя поколения плакали надъ его книгами, и думали, что плачутъ надъ несчастьемъ княгини Волконской или надъ участію Демушки: да, вѣрно, и надъ этимъ, — но больше надъ самими собой, «надъ всѣмъ, чему нельзя помочь», по слову Блока, надъ неуловимой великой некрасовской темой, надъ тѣмъ, чему онъ не нашелъ имени и названія. Сейчасъ для насъ это ясное, чѣмъ прежде, потому что непосредственный вещественный міръ некрасовскихъ образовъ подернуть пеленой, и уже не ощущается нами, какъ реальность. Сейчасъ онъ выигрываетъ въ современности, теряя въ злободневности, — и «l'éternité le change», вскрывая то, что было въ немъ наиболѣе значительно. Онъ «преображенъ». Но и сейчасъ еще охлываетъ иногда недоумѣніе... Начнешь читать «Балетъ», напрямѣръ. Боже, что за чепуха сначала, что за несносно - игривое остроумничаніе съ Боками и биноклями! Но вдругъ — чепуха обрывается, Некрасовъ наскочилъ на «свое», — и какъ будто видишь сквозь страницы книги его внезапно серьезное, поблѣднѣвшее отъ полненія лицо. Онъ уже не въ театрѣ. Онъ въ полѣ, зимой. Тихо, холодно, пусто, темно, — и только скрипятъ полозья. Тихо плачутъ бабы, провожая въ наборъ сыновей. Бабы? Нѣтъ, плачетъ сама земля, Некрасовъ уже не въ полѣ съ рекрутами,

онъ дальше, съ каждымъ изъ людей, онъ нашептываетъ имъ что-то страшно - знакомое, грустное, вѣчное, самъ не знаетъ что. Не знаемъ и мы — но не зная, не можемъ забыть.

Два слова еще — по поводу родства съ Бодлеромъ. «Noire Baudelaire», говорятъ благочестивые католики о поэтѣ, осужденномъ за порнографію въ печати. Едва ли говорятъ безъ всякихъ колебаній. Конечно, Бодлеръ — единственный со временъ Паскаля писатель-французъ, стоящій, какъ духовное явленіе, на уровнѣ католицизма, не въ примѣръ нѣкоторымъ новѣйшимъ романистамъ, неизмѣнно приводящимъ своихъ послушныхъ героевъ на послѣднихъ десяти страницахъ книги къ духовному просвѣтленію. Но Бодлеръ остановился, ничего не рѣшивъ. Изъ его поэзіи трудно сдѣлать иной выводъ, кромѣ христіанскаго — но онъ самъ, при всемъ своемъ яснovidіи, вывода не сдѣлалъ: значить не захотѣлъ сдѣлать. Съ Некрасовымъ положеніе и сложнее, и проще. Онъ не былъ терзаемъ сомнѣніями. Онъ былъ трезвымъ, умнымъ позитивистомъ.

Ему нечего дѣлать въ церкви — и не надо его туда тащить. Но если существовалъ въ Россіи поэтъ христіанскій, то все-таки только онъ, этотъ трезвый, умный позитивистъ! Если кому-нибудь въ русской поэзіи доступно было ощущеніе «страданія, какъ источника жизни», — то лишь Некрасову. Онъ могъ сколько угодно отречься отъ того, чему безотчетно служилъ, — изъ глубины его уязвленной души всегда вздымались вопли и мольбы, правда, безъ адреса. «De profundis clamavi». Но адресъ должны надписать тѣ, кто Некрасова теперь читаетъ.

Признаніе этого ничѣмъ не продитовано. Его долженъ сдѣлать и человекъ, настроенный скептически. Оно и не для апологій Некрасова. Просто, существуютъ факты, которыхъ невозможно больше не видѣть и не понимать, — хотя они и не сразу сдѣлались ясны... Неясность возникла потому, что поэзія Некрасова не совѣмъ «о томъ». Но самой плотью своей, самой сущностью своей она «то».

Георгій Адамовичъ.

Совѣтскій театръ

Къ январю 1936 г. въ Совѣтской Россіи, по официальнымъ даннымъ, насчитывалось 651 театръ, изъ которыхъ 137 деревенскихъ, и было 94 дѣтскихъ, 35 рабочихъ, 28 опереточныхъ и 25 оперныхъ сценъ. Общая цифра театральныхъ залъ доходитъ до 45-ти тысячъ, среднее количество зрителей, за годъ бывающихъ въ театрахъ, исчисляется въ 50 мил-

ліоновъ, и около 659 тысячъ любителей участвуетъ въ деревенскихъ спектакляхъ. Для любителей статистики все это обозначаетъ небывалый расцвѣтъ театрального искусства въ Россіи.

Совѣтская власть прилагаетъ все усилія, дабы создать такое впечатленіе. Роль театра, какъ показателя общественной жизни, отлично понята въ Россіи, и при-

ѣжкимъ иностранцамъ, въ доказательство процвѣтанія русскаго народа, неизмѣнно предлагаются пышныя театральныя зрѣлища.

Театръ былъ взятъ подъ защиту съ первыхъ дней революціи. Вначалѣ актеры вмѣстѣ со всѣми терпѣли матеріальныя лишения, и В. Н. Давыдовъ долженъ былъ для уведиченія пайка играть на клубныхъ сценахъ. Но очень скоро были приняты мѣры для обезпеченія артистовъ. Теперь актерамъ предоставлены различныя привиллегіи, обезпечены отпуски и пенсіи, даны хорошія жалованья даже на небольшихъ провинціальныхъ сценахъ. Они поставлены въ положеніе государственныхъ чиновниковъ и, получая льготы, не могутъ отказываться отъ утомительныхъ дальнихъ поѣздокъ, отъ переобремененія работой. Зато передъ плакатомъ «входъ на сцену воспрещенъ» останавливаются даже агенты ГПУ. Въ списокъ казенныхъ, сосланныхъ, замученныхъ, обнижающемъ всѣ профессии, актеровъ нѣтъ. Погибъ Блокъ, разстрѣляны Гумилевъ, Есенинъ и Маяковский, не выдержавъ моральной пытки, покончили съ собой, Платоновъ умеръ въ ссылкѣ, огромное число ученыхъ и дѣятелей искусства казнено, сослано, умучено различными способами, — но актеры не опасались вторженія въ театр чеккистовъ и могли спокойно продолжать свою профессиональную работу. Отъ времени до времени имъ, конечно, приходилось подписывать восторженные призывы къ «примѣрной казни» какой-либо очередной группы гражданъ, но это давно вошло въ обиходъ и, считаясь лишь пустой фор-

мальностью, перестало вызывать чувство моральной ответственности.

Совѣтская власть поняла, что актеръ является для нея самымъ необходимымъ работникомъ. Постарались сохранить даже старыя традиціи, и не разрушали ни театральныя школы, ни прежняго репертуара. Въ балетъ въ первые годы были попытки доказывать, что «выворотность — есть пережитокъ феодализма» и что будто бы въ классическомъ танцѣ позиція ногъ носками врозь была введена для отличія привилегированнаго класса отъ простаго народа. Но балетные специалисты могли иронически относиться къ невѣжественнымъ нападкамъ, и во главѣ балетной школы осталась одна изъ немногихъ прежнихъ танцовщицъ — Ваганова, пріобрѣтшая теперь такое значеніе и такой ореолъ, о какомъ въ былое время, при нормальныхъ условіяхъ, и при наличіи другихъ первоклассныхъ танцовщицъ, она не могла бы конечно мечтать. Вся современная балетная школа основана на старой традиціи, нерушимой хранилищемъ которой поставлена Ваганова, и никакія новшества, существующія на Западѣ, въ русскій балетъ не допускаются.

Въ началѣ революціи были попытки создать «свой» театръ; появилось много новыхъ капризныхъ формъ, связанныхъ съ тогдашнимъ неустойчивымъ бытомъ. Были театры передвижныя, театры на площадкѣ, грандіозныя пантомимы, историческія инсценировки на площадяхъ, вродѣ постановки Евреинновымъ для большевиковъ «Взятія Зимняго дворца». Еще до войны бар. Н. Н. Врангель мечталъ о созданіи «театра

на площади, а Мейерхольдъ разрабатывалъ программы народныхъ уличныхъ увеселеній; эта предреволюціонная театральная работа сказала въ первые дни уличныхъ совѣтскихъ зрѣлищъ. Но для площаднаго театра необходима известная доля импровизаціи, за которую трудно услѣдить даже наиболее ретивой полицейской власти. Для живого развитія народнаго театра нужна атмосфера свободы, вольной шутки, искренняго чувства и право критики, право личнаго сужденія. Примѣръ французскаго предреволюціоннаго народнаго театра, оказавшагося необычайно живучимъ, примѣръ стараго англійскаго театра служатъ тому наиболее яркимъ доказательствомъ. Отъ совѣтскаго уличнаго театра, въ первые сравнительно вольныя времена пытавшагося создать нѣчто новое, нынѣ сохранились лишь официально признанныя формы: парады и похороны. Все остальное исчезло безъ слѣда и не имѣло ни малѣйшаго вліянія на современный театръ.

Театральная сторона совѣтскихъ торжественныхъ дней разрабатывается съ большою тщательностью. Мизансцены заранее обдуманы, роли распределены, вычитаны улыбки и мановенія рукъ, и когда зрѣлище готово, оно снимается на экранѣ. Значеніе официально уличнаго театра было учтено съ первыхъ дней. Даже въ военное время большіе явки, входя въ городъ, тотчасъ устраивали торжественное перенесеніе жертвъ, водруженіе надъ ними флаговъ, манифестаціи у могилъ. Похоронныя процессіи дѣйствительно были поставлены большевиками съ большимъ искус-

ствомъ, и вся эта серія мелкихъ провинціальныхъ релетивій послужила какъ бы подготовительной школой для главнаго спектакля: похоронъ Ленина и для позднѣйшихъ мизансценъ у его мавзолея.

Первые уличные спектакли — торжественныя шествія, похороны, носеніе плакатовъ и флаговъ вошли въ основу телефешныхъ празднествъ октябрьскихъ дней, разыгрываемыхъ все съ большимъ количествомъ деталей, но сохранившихъ первую форму: выступленіе массъ служить общимъ фономъ, на которомъ появляется солистъ; напр., Ворошиловъ на бѣломъ конѣ во время парада. Такая уличная пантомима оказалась наиболее подходящей и живучей въ совѣтскомъ «площадномъ» театрѣ, къ которому на роли фигурантовъ призываются теперь всѣ совѣтскіе граждане, начиная съ самаго младшаго возраста: каждому дана своя роль, свой костюмъ, свои аксессуары, и каждому вмѣняется въ обязанность проявить нѣкоторое актерское увлеченіе, дабы создать театральныи ансамбль революціонной «массовой сцены». При изученіи официальной совѣтской жизни прежде всего бросается въ глаза «театрализованіе» всѣхъ событій, которымъ придается наиболее яркая и сценичная вышность. Любое крупное общественное событіе, проводы, встрѣчи, парады, похороны, при снятіи на экранѣ оказываются отлично прорежиссированными, и этимъ объясняется успѣхъ большинства совѣтскихъ «документальныхъ» фильмовъ: ихъ постановка не случайна, какъ при снятіи происшествій на Западѣ, а подготовлена

долгим сценическим опытом за двадцать лет революции.

Понятно, что театр и актер пользуются при этом усиленной заботой власти. Съ помощью актера можно отвлечь внимание, театр помогает направить чувства и мысли в нужную сторону. Эта роль театра и актера не является новостью наших дней, она существовала во все времена. Въ древнем Римѣ значеніе театра настолько ощущалось властью, что актеры были изъяты изъ обще - юридическаго права и могли быть судимы лишь самимъ императоромъ, который сохранялъ такимъ образомъ за собою возможность единолично направлять сценическое искусство. Но даже императоръ не рѣшался выслать любимаго толпоу актера, опасаясь бунта черни. Чѣмъ грознѣе и свирѣпѣе становился режимъ, тѣмъ больше заботы удѣлялось актеру и театру, дабы этимъ путемъ сохранять возможность воздействия на городскую толпу. Пышность пантомимы императорскаго Рима во многомъ напоминаетъ парадъ совѣтской Россіи. Неронъ, не опасавшійся публично нарушать элементарные нравственные законы, все же боялся казнить раздражившаго его актера: онъ выпустилъ на арену фигурантовъ, которые какъ бы по ходу дѣйствія увели декламировавшаго актера между шитами и «нечаянно» такъ сдвинули его, что онъ испустилъ духъ: но публика этого не видала.

Дабы гоненія на христіанъ могли пользоваться популярностью, имъ приданъ былъ театралный характеръ. Христіанъ не казнили, ихъ заставляли играть на аренѣ

трагедію, которая волновала и плѣняла зрителей, подобно произведенію сценическаго искусства; только лившаяся кровь была подлинной, а не искусственной. Зрители смотрѣли со сладостнымъ замираніемъ сердца, какъ быкъ подкидывалъ на рогахъ стачутую сѣткой дѣвушку или какъ звѣрь, рыча, подходилъ къ повѣшенному внизъ головой мученику: эффектность и разнообразіе зрѣлища, неожиданность поведенія жертвы, красота и невинность женщины, все это могло восхищать и волновать зрителя, какъ трагедія Антигоны. Неронъ былъ чрезвычайно чувствителенъ къ театральнымъ впечатлѣніямъ: въ юности онъ могъ, забывая объ ѣдѣ и питьѣ, днями и ночами слушать музыку, а будучи императоромъ, стоически терпѣлъ тишенія, связанныя съ ремесломъ актера; передъ смертью онъ декламировалъ стихи: «я слышу гонять приближающихся коней», готовясь умереть по всемъ правиламъ эстетики, которая считалась обязательной для гладиатора на аренѣ. Чувство театральности несомнѣнно затмевало у него ощущеніе реальности, и пожаръ Рима искренно воспринимался имъ, какъ великолѣпный сценическій эффектъ.

Это Нерово ощущеніе пышности, искусство въ претвореніи театра «подавать» зрителю нужное для поддержанія власти, присутствуетъ въ народныхъ постановкахъ совѣтской общественной жизни. Монастыри разрушались съ тѣми же театральными эффектами, съ какими нѣкогда сожигался Римъ. Театральная сторона каждаго процесса, каждаго выступления, каждой принимаемой мѣ-

ры никогда не забывается. Сталинъ не выступаетъ декламаторомъ подобно Нерону, не възбуждаетъ триумфаторомъ въ проломленную стѣну цирка и не оспариваетъ лавровыхъ вѣнковъ у актеровъ, но во всѣхъ фильмахъ ему удѣлена роль главной «ведеттъ»; его мимика, его жестъ, его мизансцены при приемѣ совѣтскаго героя или ударной работницы выполнены съ чисто актерскимъ искусствомъ.

Публичная совѣтская жизнь, построенная на ощущеніи театральности, подготавливаетъ совѣтскаго гражданина къ сценическимъ впечатлѣніямъ. Обиліе театровъ, удѣляемое имъ правительствомъ вниманіе не можетъ не отразиться на вкусахъ публики. Въ началѣ революціи народъ издо было пріучено къ посѣщенію театровъ; даровые билеты разсылались по фабрикамъ и заводамъ, устраивались посѣщенія группами. Теперь привычка пріобрѣтена, и народный зритель по собственной охотѣ покупаетъ билеты, заполняя безчисленные театральныя залы. Но это внѣшнее процвѣтаніе, этотъ количественный успѣхъ не можетъ служить показателемъ настоящаго сценическаго расцвѣта.

Стараясь использовать театр, власть не переставала опасаться актерскаго своеволия. Счастливецъ и Несчастливецъ представляли опасность: ихъ буйный идеализмъ, ихъ нежеланіе подчиняться никакому приказу, ихъ неистребимая анархичность, неспособность къ чиновничьей рутинѣ, наконецъ ихъ капризные смѣны настроеній извѣстны. Будущіе артисты, подобно Давыдову и Далматову, бѣжали изъ обез-

печеной обывательской среды навстрѣчу невѣдомымъ формамъ жизни и самый бытъ актера сохранять бродяжнически - вдохновенный характеръ: актеры вѣчно путешествовали, иногда по шаламамъ, актеры не знали своего завтрашняго дня и это заставляло ихъ пламенно отдаваться данному мгновению. Совѣтская власть прежде всего устранила эту опасную вольность быта: актеры, по единодушному свидѣтельству хвалителей режима, превращены въ казенныхъ чиновниковъ, будущее ихъ обезпечено, но они лишены права вольно распоряжаться своей судьбою. Такъ нѣкогда крѣпостные актеры, сытые, обутые, сравнительно обласканные, были счастливыми среди остальныхъ крѣпостныхъ. Такъ нынѣ актеры, обласканные и обезпеченные нѣкоторой личной безопасностью, могутъ почитаться счастливыми среди остальныхъ совѣтскихъ гражданъ. Но оградить себя отъ неожиданностей актерскаго вдохновенія такимъ путемъ было недостаточно. «Неуживчивость» актера, отъ древнихъ мимовъ, съ арены обличавшихъ императоровъ, отъ Мольера, не боявшагося говорить правду на придворныхъ спектакляхъ, и до актеровъ нашихъ дней, извѣстна — и бытъ можетъ именно это заставляло общество постоянно держать актера «внѣ» социальныхъ загоронокъ. Актеръ, по самой природѣ своего творчества, остается вѣренъ дерзостному вдохновенію. Дабы покорить вольную актерскую стихію, необходимо было ввести усмирительное начало въ самую сущность театральнаго творчества. Такой властью являлся режиссеръ, послушный интел-

лектуальному велѣнію, заранѣе все предвидящій, все вводящій въ твердое, определенное русло. Режиссеръ, игравшій большую роль въ Россіи еще до революціи, въ Совѣтской Россіи былъ возведенъ въ положеніе единственнаго вершителя театра. Эта роль режиссера станетъ очевидной, если сопоставить даже наиболѣе выдающихся западно-европейскихъ постановщиковъ какъ Бати, Жуве, или Коло, съ Мейерхольдомъ или Таировымъ.

Совѣтскій театръ прежде всего театръ режиссера, который является ответственнымъ лицомъ передъ властью. Въ то время, какъ актеру обезпечено сравнительное спокойствіе профессиональной работы, режиссеръ поставленъ въ такое же положеніе, какъ писатель или ученый; онъ долженъ отчитываться передъ партійными ячейками, оправдываться передъ любымъ бездарнымъ журналистомъ, опасаться доносовъ или корыстныхъ нападокъ. Еще недавно травлѣ подвергался Таировъ, теперь преслѣдуется Мейерхольдъ, а въ театрѣ Станиславскаго управленіе передано «за его болѣзнь» всецѣло одному Нермовичу-Данченко.

Но режиссеровъ мало и это ставить ихъ въ лучшее положеніе сравнительно съ многочисленными писателями. Успѣхъ совѣтскаго спектакля зависитъ отъ режиссуры; въ современныхъ условіяхъ создать новыхъ режиссеровъ не удастся, и послѣ двадцати лѣтъ большевизма допржежнему существуютъ лишь режиссеры дореволюціонной эпохи; ни одного новаго имени къ нимъ не прибавилось. При каждой новой травлѣ, поднимаемой вольными

сыщиками, власть поставлена передъ необходимостью либо отказать отъ удачныхъ спектаклей, либо встать на защиту режиссера. И вотъ по мановенію казеннаго перста, гончія останавливаются, лай стихаетъ, режиссеру снова разрѣшаютъ продолжать прерванную работу, дабы престижъ совѣтскаго театра не оказался подорваннымъ неожиданною опалой.

Приблизіе иностранцы любятъ Эрмитажемъ, какъ свидѣтельствомъ мощи и художественной энергіи Совѣтовъ, восхищаются тѣмъ, что русскій рабочий наконецъ научился выдѣлывать фарфоровыя тарелки, рукоплещутъ русской оперѣ, русскому балету, постановкамъ Станиславскаго, Мейерхольда или Таирова, наконецъ считая ихъ создателями революціонныхъ лѣтъ. Почти въ каждомъ отчетѣ о путешествіи въ Совѣтскую Россію мы находимъ упоминаніе о необычайной новой постановкѣ, на самомъ дѣлѣ сохранившейся со старыхъ временъ, или о «совѣтскомъ актерѣ», вся дѣятельность котораго прошла въ дѣйствительности при старомъ режимѣ.

Недавно выпущенный отчетъ о совѣтскомъ театрѣ, «Le Théâtre Soviétique» (Поля Гезля*), посланнаго въ Россію министромъ народнаго просвѣщенія Зеємъ, приводитъ цѣлый списокъ такихъ актеровъ, якобы созданныхъ совѣтской властью: это Кооненъ, четверть пѣка тому назадъ перешедшая изъ художественнаго театра, это Рыжова, Блюменталь-

*) *Paul Gsell. Le théâtre soviétique. Editions Sociales Internationales. Paris, 1937.*

Тамарина, Пашенная, Юрьевъ, Садовскій въ театрахъ государственныхъ, — все актеры, уже перешедшіе зрѣлую пору въ моментъ переворота. Но откуда могъ это знать забѣзій «исслѣдователь» невѣдомаго ему сценическаго искусства? Для него вѣдь даже «Князь Игорь» и половецкіе танцы оказываются совѣтской постановкой. Въ приведенномъ имъ списокѣ лучшихъ совѣтскихъ актеровъ почти нѣтъ новыхъ именъ, и это отсутствіе за двадцать лѣтъ свѣжихъ театралныхъ ростковъ наводитъ на размышленія. Почему, при несомнѣнныхъ льготахъ, при всемъ стараніи власти, при всей безспорной сценической одаренности русскаго народа, не оказалось новыхъ талантливыхъ актеровъ? Отвѣтъ въ извѣстной мѣрѣ невольно данъ въ той же книгѣ Гзеля. Театръ долженъ служить развитію «соціальной вѣры» и каждая театральная постановка служить все той же цѣли пропаганды. Режиссеръ, отвѣчающій за актеровъ, не допускаетъ свободнаго творчества и на репетиціяхъ слѣпитъ какъ статуи исполнителей, превращенныхъ такимъ образомъ въ полу-фигурантовъ. Каждый режиссеръ имѣетъ свой методъ работы, и неукоиснительно примѣняетъ его къ актерамъ. Въ условіяхъ такого полнаго творческаго послушанія, подневольной работы, обязательнаго выполнения чужаго замысла, при однообразіи репертуара, на всѣ лады повторяющаго ту же условную мораль, развитіе актера неизбежно должно остановиться. Поль Гзель упоминаетъ, какъ о необыкновенномъ «новшествѣ», теперешнее стремленіе допускать нѣкоторую свободу творчества актера и не тре-

бовать отъ него чисто автоматическаго воспроизведенія интонацій и жестовъ, придуманныхъ для него режиссеромъ.

Посланный съ официальной миссіей «изученія совѣтскаго театра», Поль Гзель даже среди зрѣлаго невѣжественныхъ путешественниковъ выдѣляется своимъ исключительнымъ непониманіемъ элементарныхъ основъ театра, и его свидѣтельство явдается лишь повтореніемъ того, что подсказали ему російскіе театралные заправилы. То, что книга носитъ полу-официальный характеръ, заставляетъ отнести къ ней со вниманіемъ, несмотря на всю ея вздорность. Описанія Поля Гзеля невольно напоминаютъ намъ давній правдивый случай съ деревенской женщиной, которую впервые послали въ Народный Домъ: вернувшись, она восторженно описывала «картину» — занавѣсъ. Когда «картину» убрали, она уходила гулять въ садъ, поджидая, пока со сцены уйдутъ «какіе-то люди», невѣдомо о чемъ толкующіе, и когда «картину» поставить на мѣсто: такъ, кромѣ занавѣса, она ничего въ театрѣ и не видала. Поль Гзель тоже можетъ рассказать лишь о «занавѣсѣ»; о содержаніи пьесъ, о вышнихъ манерахъ режиссеровъ на репетиціи или о щедрости театралныхъ ассигновокъ. У Станиславскаго онъ замѣчаетъ лишь то, что «актеры вѣдятъ и пьютъ по-настоящему» и что статистовъ учатъ, какъ въ роли лакея надо держать блюдо: «такова манера Станиславскаго», завершаетъ онъ свой «отчетъ». У Мейерхольда онъ замѣчаетъ обиліе лѣстницъ, по которымъ режиссеръ «толкаетъ актера вверхъ»;

для выражения презрѣнія, актеру приходится взбираться къ колосникамъ, чтобы оттуда «бросать свои проклятія». Гзель наивно ѣдритъ, что нужно имѣть наготовѣ складную лѣстницу, чтобы передать на сценѣ пренебреженіе и что «съвысока» можно говорить только съ крыши. У Таирова онъ замѣчаетъ постройку сцены въ нѣсколько этажей и обученіе актеровъ «въ калысонахъ» гимнастикѣ и акробатизму; при этомъ Таировъ неожиданно оказывается «слѣпкомъ» Станиславскаго и Мейерхольда. У покойнаго Вахтангова, котораго, для пополненія числа режиссеровъ, онъ вводитъ въ число современныхъ дѣятелей, Гзель видитъ лишь, что актеры одѣваются на сценѣ. Все остальное для него прѣходитъ незамѣченнымъ вслѣдствіе поразительной театральной невосприимчивости. Пересказы пьесъ, которыми онъ восполняетъ неумѣнье описать игру к постановку, напоминаютъ горбуновскіе рассказы: «Маскарадъ — это исторія современнаго Отелло. Мужъ вызываетъ на дуэль молодого офицера, котораго считаетъ любовникомъ жены, потомъ отраиваетъ ее, а когда она въ агоніи, онъ узнаетъ, что она невинна». По его мнѣнію такую драму можно смотрѣть только благодаря измышленной Мейерхольдомъ смѣнѣ завѣсѣй, открывающихъ одну картину за другой. Очень давняя постановка Мейерхольдомъ «Маскарада», все еще выдвигаемая въ Совѣтской Россіи за повинку, конечно, характерна не «частыми перемѣнами» посредствомъ системы завѣсѣй. Система эта выдумана не Мейерхольдомъ, она была въ началѣ вѣка въ большой

модѣ не только въ столицахъ, но и въ провинціи при постановкахъ пьесъ со многими короткими картинками, какъ, напр., «Пробужденіе несны» Ведеквида. Болѣе всего Гзель восхищенъ искусствомъ совѣтскихъ режиссеровъ покрывать любую пьесу однообразнымъ казеннымъ лакомъ. «Русскіе режиссеры придаютъ революціонный смыслъ даже старымъ пьесамъ, въ которыхъ нѣтъ ясно выраженной общественной идеи». Такъ въ совѣтской передѣлкѣ «Воскресенія» Катюша Маслова и ея спутникъ «клянутся посвятить все свои мысли и всю свою жизнь тому, чтобы подготовить революцію», и это создаетъ «прекраснѣйшую пьесу», гораздо болѣе эффектную, нежели толстовская «примиренность». «Донъ Карлосъ» Шиллера путемъ легкой подчистки текста служитъ анти-религіозной пропагандѣ: священники загримированы палачами, въ глубинѣ поставленъ бѣлый крестъ, въ драмѣ подчеркнута влияніе католицизма, и «Донъ Карлосъ» въ такой передѣлкѣ становится «соціалистическимъ протестомъ противъ мистическаго гнета». «Касается ли дѣло «Ревизора», «Мертвыхъ Душъ», или пьеса Островскаго, «Грозы», «Лѣса», «Бѣшеныхъ Денегъ», «Последней жертвы», пріемъ остается тѣмъ же: въ старомъ текстѣ рѣзко подчеркиваются всѣ детали, которые облачаютъ разложеніе буржуазіи при царизмѣ и доказываютъ, насколько была необходимъ революція». Намъ памятенъ этотъ методъ при постановкѣ «Лѣса» Мейерхольдомъ. Кромѣ указанной Гзелемъ подчистки и измѣненія авторскихъ текстовъ, тутъ помогаютъ и не замѣченные имъ вводные панто-

мимические эпизоды, и главным образом искажение характеров героев: мы помним, как у Мейерхольда сын Восмибрата пересчитывает полученные от Несчастливцева деньги; публикѣ тотчас становится ясно, что онъ достойный купеческій сынокъ, съ которымъ Аксюша будетъ несчастной; смыслъ пьесы и благополучіе финала уничтожается однимъ мимическимъ движеніемъ.

Получается такимъ образомъ своего рода дѣтская литература съ обязательной моралью: чисти ногти, не клади локтей на столъ, слушайся мамы. Театръ, вынужденный во всёхъ пьесахъ напоминать зрителю, что онъ долженъ слушаться Сталина и не класть локтей на столъ, не можетъ развиваться; онъ замеръ на томъ, что было достигнуто четверть вѣка тому назадъ, во времена свободной сценической работы. Исчезнувшее вдохновеніе замѣнено навыкомъ, режиссерской изобрѣтательностью, технической старательностью исполнителей, готовыми восторгами неопытной и жаждущей развлечения публики. Неумѣлая похвала Поля Гзеля такимъ образомъ рисуютъ картину, на самомъ дѣлѣ очень безотрадную и чрезвычайно отличную отъ того, что дѣлалось въ совѣтскомъ театрѣ въ первые послѣреволюціонные годы.

При посѣщеніи балетной школы, Гзель узнаетъ, что существуютъ три разряда танцовщицъ: у однихъ плечи шире боковъ, у другихъ бока шире плечъ, а третій сортъ открыть лишь Совѣтами: у нихъ бока и плечи одинаково широки и это придаетъ имъ мужелодобный, пролетарскій

видъ. Повидимому кто-то на этотъ разъ рѣшилъ посмѣяться надъ авторомъ. Этотъ балаганъ, официальная анкета характеренъ для тѣхъ приемовъ, какіе вводятся при ознакомленіи западно-европейской публики съ совѣтскими «достиженіями».

При всей своей безграмотности, и отчасти именно благодаря ей, книга Поля Гзеля все же проткрываетъ намъ жуткую картину положенія театра въ Россіи, ибо безтолковый «ислѣдователь» восхиляется именно то, о чемъ въ интересахъ пропаганды слѣдовало бы умолчать: о муштрѣ режиссера, о необходимости пропаганды во всёхъ, даже классическихъ пьесахъ, о передѣлкахъ Шекспира, Шиллера, Тодьстога въ большевистскомъ официальномъ духѣ, о механической работѣ актера, о вторженіи контроля безграмотныхъ ячѣекъ во внутреннюю театральную работу. Все это даетъ намъ загадку того, что видѣли мы на спектакляхъ совѣтскихъ труппъ. Почти всегда мы наблюдали большую даровитость режиссеровъ, несомнѣнную одаренность актеровъ, блестящую вышнюю изобрѣтательность и какое-то внутреннее омертвеніе, будто въ эа-стыломъ царствѣ людей, внезапно оцѣпенѣвшихъ, еще сохранившихъ выразительныя позы жизни, но уже потерявшихъ способность ихъ мѣнять и разнообразить. Каждое появленіе совѣтскаго театра вызывало двойственное впечатлѣніе: великолѣпнѣ возможности, мертвенность осуществленія. Только «живая картина» «Ревизора», поставленная Мейерхольдомъ, дала намъ яркое отраженіе Совѣтскаго театра: оцѣпенѣ-

ние, ужасъ, неподвижность. Театръ, какъ бы ни слѣдила за нимъ власть, всегда готовить подобные сюрпризы: нечаянно, иногда помимо воли, онъ способенъ отразить окружающее съ незабываемой жуткой силой. Финалъ мейерхольдовскаго «Ревизора» великолѣпно передалъ то, что переживается Россіей, и все въ постановкѣ освѣтилось иначе, чѣмъ могъ предвидѣть режиссеръ.

Отъ вахтанговской «Турандотъ» остались въ парижскихъ гастроляхъ театра лишь цвѣтныя тряпки, искусственное веселье актеровъ, глухіе, плохо поставленные голоса, надломанность подновленной, неестественной молодости: куда дѣвалось вдохновеніе Вахтангова, живой блескъ движеній и звуковъ, яркость безпечнаго сна? Все заволокло туманомъ, надуманностью; за показнымъ весельемъ ощущалась надтреснутая нотка вызова, настойчивости, упорства, въ которой театръ играетъ лишь роль полевой ступени: актеры и тутъ совершенно стирались въ воспоминаніи.

Балетные спектакли совѣтскихъ артистовъ — выступления Мессерера, недавній прїѣздъ Семеновъ — дали удивительное доказательство того, что въ Россіи твердо поддерживается старая техника, что преемственность не утеряна. Но при изумительной техникѣ невѣроятныхъ прыжковъ, при граничащей съ фокусничествомъ элексионъ Мессерера, при декоративной его изобрѣтательности (прыжки черезъ развѣивающийся флагъ, складываніе ногъ въ воздухъ и паденіе на опредѣленную точку), танецъ оставался чисто внѣшнимъ и не служилъ никакому внутреннему выраженію:

это былъ великолѣпный спортивный прихѣтъ того, на что можетъ быть способно прекрасно тренированное человѣческое тѣло, но чисто зрительное наслажденіе не вело къ серьезному художественному удовлетворенію. У Семеновъ то же впечатлѣніе первоклассной техники, не озаренной художественной цѣлью, было смягчено самой ролью Жизели и отдѣльными, взятыми изъ исполнительской традиціи прекрасными моментами.

Эти разорванныя тревожныя ощущенія, вызывавшіяся прїѣздами совѣтскихъ театровъ, опредѣлились во время парижскихъ спектаклей Московскаго Художественнаго театра. Театръ показалъ безъ измѣненія тѣ же приемы, которыми онъ плѣнялъ болѣе четверти вѣка тому назадъ въ пьесахъ совсѣмъ иного репертуара. Великолѣпный диванъ карельской березы у Стивы Облонскаго возвращалъ насъ къ дивану Добужинскаго изъ «Мѣсяца въ деревнѣ», увлеченіе мелкими бытовыми бездѣлушками возобновляло впечатлѣнія постановки «Горе отъ ума» болѣе чѣмъ двадцатилѣтней давности. Актеры дѣйствительно «лили и ѣли по-настоящему», но мы не Гезли и насъ увлечь это не могло. Тамъ, гдѣ нужно было увлеченіе, гдѣ актеръ долженъ былъ повѣрить въ свою роль, ощущалась пустота, тщетная попытка преодолѣть внутреннюю усталость, фальшивая приподнятость плохихъ провинциальныхъ сценъ, которой когда-то такъ опасался Станиславскій. Ни одной черты для насъ новой, ни одного новаго дарованія, достойнаго занять мѣсто наряду съ Качаловымъ и Книпперъ, ни од-

ного мгновения, когда мы могли бы забыться. Казалось, будто театр отделен от зрительной залы толстым стеклом, что все это не живое, а лишь вытасенное из глубины времени окаменевшее прошлое. Казалось непонятным, что за блеском нарядных костюмов и пышной обстановки, нет ничего и трудно было вбросить собственному впечатлению.

Театр Станиславского, в котором нет больше Станиславского, театр, каждой постановкой когда-то поражавший новизной, нынче, после стольких событий, может лишь повторять пройденное, склеивая вместе и кое-как приспособляя старые приемы, обрывки старых мизансцен к новым пьесам — какое жуткое отсутствие вдохновения, какая печаль и мертвенная

пустота во всем этом кажущемся блеске!

И если бы нужно было еще какое-либо доказательство того, что при наибольшем материальном благополучии, при наибольшей затрате усилий, театр все же не может жить без воздуха свободы, что театр не может только служить, что он должен жить собственной жизнью, что только в условиях независимого творчества он может быть действительно полезным народу и создавать подлинная ценности, если все эти основные истины, подтвержденные всей историей театра, еще нуждаются в доказательстве, то примырьте, вятского театра и теперешние спектакли Московского Художественного театра могли бы тому явиться наилучшим подтверждением.

Ю. Сазонова.

Памяти В. А. Мякотина

Друзья покойного Венедикта Александровича Мякотина предполагают выпустить в наступающем 1938-ом году сборник, посвященный его памяти. В этом сборнике, впрочем, примут участие члены редакции «Современных Записок». Буду участвовать и я. Поэтому здесь ограничусь несколькими словами.

Это был один из самых прекрасных людей, встречавшихся мне в жизни. Венедикт Александрович был человеком разносторонне одаренный: превосходный оратор, выдающийся историк, крупный публицист. Но люди, хорошо его знавшие, выдвигают, думаю, в памяти, вспоминая о нем, прежде всего

его редкое, исключительное душевное благородство. Тут, впрочем, с друзьями согласятся теперь и враги. Часто говорят в некрологах: «у него врагов не было», и почти всегда это бывает неверно. Были враги и у В. А. Мякотина, и не могло их не быть при его требовательном, непреклонном и непримиримом характере. Венедикт Александрович в свое время порвал отношения с наиболее близким ему в жизни человеком, с которым он был тесно связан всей своей литературной, политической, общественной деятельностью, — сама их имена обычно произносились вместе. Для него тут и

сомнѣній не было: ушелъ во пражскій лагерь, — какія же могутъ быть дальнѣйшія отношенія?

Благородство мысли, чувствъ и тона съ большой силой сказывалось и въ его главномъ дарѣ: въ краснорѣчій. Ораторъ онъ былъ истиннѣ замѣчательный и очень своеобразный. Для митинговъ В. А. Мякотинъ не годился. Но въ небольшихъ собраніяхъ, передъ тѣмъ, что въ газетахъ называется «квалифицированной аудиторіей», онъ имѣлъ по краснорѣчію мало соперниковъ. Помню такія собранія въ Петербургѣ въ 1917 году, въ Кіевѣ — въ 1918-мъ, въ Одессѣ — въ 1919-омъ, позднѣе въ Берлинѣ, въ Парижѣ. Порою и въ обществѣ людей, болѣе или менѣе близкихъ ему по взглядамъ, чье-либо выступленіе его задѣвало. У него тотчасъ мѣнялось, блѣднѣло лицо, начинали дрожать руки; онъ выступалъ съ возраженіями, и его отвѣтныя рѣчи, очевидно произносившіяся безъ всякой подготовки, силой слова, ясностью мысли, стройностью и искусствомъ діалектики производили впечатлѣніе незабываемое. Бывалъ онъ и рѣзокъ, — не по формѣ, а по существу дѣла: ничего не стараясь ни заглядить, ни примирить; напротивъ, часто заострялъ споръ и разногласіе. Это было его политическимъ недостаткомъ.

Вѣроятно, его всѣмъ извѣстной непреклонностью и неуступчивостью въ вопросахъ сколько-ни-

будь принципиальныхъ объясняетъ ся то, что онъ въ 1917 году (и слѣдовательно никогда вообще) никакихъ государственныхъ должностей не занималъ. Нѣсколько членовъ трудовой народно-соціалистической партіи входили во Временное Правительство, А. В. Пѣшехову, А. С. Зарудному были предоставлены особенно важныя посты, но глава партіи, предсѣдатель ея центрального комитета, оставался частнымъ человекомъ. Министромъ онъ, впрочемъ, былъ бы, вѣроятно, плохимъ: Венедиктъ Александровичъ вопросами практическими занимался мало; въ своей личной жизни, поскольку она касалась дѣлъ матеріальныхъ, онъ былъ трогательно безпомощенъ.

Работа его въ «Русскомъ Богатствѣ», отдѣлъ «Хроника внутренней жизни», книга «Издъ исторіи русскаго общества», труды по исторіи Малороссіи, все это найдеть оцѣнку въ сборникѣ его имени. «Русское Богатство», конечно, для него характерно. Молодое поколѣніе, быть можетъ, относится иронически къ этому типу политическаго передвижничества. Но мы достаточно оцѣнили и міръ политическаго искусства, пршшедшій ему на смѣну. Съ истинной скорбью говоримъ, что едва ли повторима въ будущемъ та порода людей, въ которой В. А. Мякотинъ занималъ съ такимъ достоинствомъ одно изъ самыхъ высокихъ и почетныхъ мѣстъ.

М. Алдановъ.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФІЯ

Ант. Ладинскій. Стихи о Европѣ. Парижъ, 1937.

Третья книга стиховъ Ладинскаго немного новыхъ чертъ внесеть въ образъ поэта. Кажется, что послѣднее время главная его литературная работа шла въ другихъ областяхъ: онъ напечаталъ историческій романъ и показалъ себя вдумчивымъ наблюдателемъ въ своихъ путевыхъ очеркахъ. Правда, и въ нихъ Ладинскій сумѣлъ остаться поэтомъ. Но странно, поэтъ, дѣлающій болѣе цѣннымъ и обогащеннымъ его журнализмъ, не совсѣмъ тотъ поэтъ, который писалъ стихи «Чернаго и Голубого» и «Сѣвернаго Сердца». У одного острый глазъ, чувство реальности, гамма простыхъ земныхъ чувствъ. Этотъ же — не земной, а «небесный», онъ — искусствененъ; безплотенъ, абстрактенъ. Всѣ эти свойства не лишаютъ поэзію Ант. Ладинскаго ея прелести. Поэзія Ладинскаго не хочетъ имѣть ничего общаго съ прямыми непосредственными человѣческими чувствами, съ реальностью природы или исторіи. Для него поэзія это словесное построеніе, можно бы сказать «конструкція», если бы это слово не говорило о тяжести, о стали, въ то время какъ Ладинскій хочетъ дать впечатлѣніе легкости, такъ что скорѣе слѣдовало бы говорить о «рукодѣліи, о «кружевѣ» словъ.

Можетъ быть потому, что въ этомъ сборникѣ меньше творческаго усилія, чѣмъ въ предыдущихъ, и Ант. Ладинскій иногда лишь повторяетъ найденную имъ раньше поэтическую «формулу», здѣсь легче видишь его методъ и приемы. Ладинскій не боится брать изъ бутафоріи старой романтической и сентиментальной поэзіи особо поэтическія слова и образы, всѣ эти лилеи и лавры, лиры и туфельки, туфельки въ самыхъ разнообразныхъ видахъ — и балетныя и Сандрильоны. Но онъ оживляетъ стершіяся слова ироніей, аллегоріей, неожиданными эпитетами.

Голубое платье, какъ лира
Шумѣвшее на балу,
И вещи много міра —
Пара туфелекъ на полу.

Это неточно и произвольно, но хорошо и выразительно. А вотъ пейзажъ —

Восходитъ солнце въ стужѣ электрона,
Сияетъ въ Африкѣ морозный день,
И, какъ въ стихахъ у старика Скарона,
Тѣнь лошади везетъ телѣги тѣнь.

Пожалуй, тоже самое и у самого Ладинскаго: слова — только тѣни, аллегоріи чувствъ и вещей.

Каждый сюжетъ, будь это стихи о Европѣ, гдѣ мифъ о похищеніи Европы своеобразно сплелся съ мифомъ о «сибели Запада», будь это «Исторія солдата» — пародія или эпиграммальная картинка или историческое воспоминаніе («Анна Болейнъ») или чистая лирика — все у него кажется только поводомъ для своеобразной словесно-поэтической «игры», для «узора» словъ, гдѣ всѣ слова, ихъ сочетанія, эпитеты принадлежать къ поэтическому словарю Ладинскаго такъ, что его стихи не требуютъ подписи и легко могутъ быть узнаны среди другихъ. И всѣмъ этимъ поэтъ хочетъ внушить читателю видѣніе міра «высокаго» (одинъ изъ его любимыхъ эпитетовъ), немного театрално-буффорскаго, легкаго, преходящаго, ирреальнаго. Въ лучшихъ его вещахъ это ему удается.

Мих. Цетлинь.

Галина Кузнецова. Оливковый Садъ. Изд. «Совр. Записки». Парижъ. 1937.

Галина Кузнецова удачно назвала свой первый сборникъ стиховъ. Матово серебристые листья оливковыхъ деревьевъ хорошо передаютъ основной тонъ книги, слабое сіяніе, излучающееся отъ этихъ стиховъ.

Прежде всего хочется отмѣтить ихъ неподражаемость. Совсѣмъ итъ въ нихъ — почти неизбѣжнаго въ женской поэзіи — вліянія Ахматовой. Тѣ поэты, у которыхъ она училась, научили ее естественно и правдиво передавать ея собственныя переживанія, ея душу.

Душа эта склонна къ печали. Привкусъ грусти лежитъ почти на всемъ, что она пишетъ.

...Волшебная и страшная земля
Мнѣ чудится огромнымъ, страннымъ садомъ,
Гдѣ безутѣшно жизнью грежу я.

Она всегда чувствуетъ преходящесть жизни, и часто «блужденно» думаетъ о смерти.

Мы съ тобой состаримся и смолкнемъ,
Объ нашей жизни обвѣщаютъ, —
Здѣсь кустарникъ тотъ же будетъ колкій, —
Отъ горы все та же тѣнь большая..

Печалью овѣяна и ея любовь, какъ въ прелестномъ стихотвореніи:

Въ большой, тяжелой книгѣ бытія,
 Что для тебя, всезнающаго, я?
 Простой и слабый бѣлый мотылекъ,
 Наивно развернувшійся цвѣтокъ,
 Дитя, которому твоя рука
 Отодвигаетъ локоны съ виска...

«Диапазонъ» ея голоса не великъ и далеко не все въ жизни и природѣ находить въ ней поэтический откликъ. Природу она чувствуетъ и видитъ по своему. Большинство ея пейзажей — это пейзажи Прованса и юга Франціи. Но и яркая эта природа у нея хрупка и грустна, какъ бываетъ въ раннія утра, въ весенніе вечера. Если изрѣдка находишь отзвукъ исторіи или живописи — то это «Флорей-тійская Мадонна», которая «глядитъ покорными глазами куда-то внизъ». Если она посѣщаетъ старый замокъ, то ей чудится, что

Здѣсь тебѣ когда-то, темной ночью,
 Умирая, родила я сына.

Стихамъ Галины Кузнецовой, которымъ такъ подходятъ ихъ нѣсколько заглушенные, не звонкія рифмы, порой не хватаетъ подъема, «широкаго дыханія», но зато нѣтъ и ошибокъ вкуса, отсутствія чувства мѣры. И если совершенствомъ можно назвать внутреннюю гармоничность, соответствіе средствъ выраженія и содержания — то въ этомъ смыслѣ стихи Галины Кузнецовой часто къ нему приближаются.

Мих. Цеглицъ.

«Кругъ». Альманахъ. Книга 2-ая. Парижъ, 1937.

Со времени эпиграфа къ «Ревизору» и до предисловія къ «Мелкому Бѣсу» русскіе писатели утверждали, что пишутъ о своихъ читателяхъ. «Кривую рожу» Гоголь, конечно, въ самомъ себѣ бы не призналъ. «Это о васъ, мои милые», писалъ Сологубъ, съ грубой откровенностью.

За сто лѣтъ было нѣсколько признаній писателей о томъ, что не о читателяхъ, но о себѣ самихъ писать имъ наиболѣе интересно. Откровеннѣе всѣхъ это сдѣлалъ Достоевскій. «О чемъ можетъ говорить порядочный человѣкъ съ наибольшимъ удовольствіемъ? О себѣ: о себѣ. Ну такъ я буду говорить о себѣ».

Слову Достоевскаго и закону Пруста слѣдуетъ сейчасъ все талантливое въ Россіи и въ Европѣ. Писатели пишутъ о себѣ. Но есть критика, которая не всегда угадываетъ это (изошренное мастерство маскировки!) и потому рождается безплодный споръ, который могъ бы разрешиться къ общему удовольствію, если бы сторона, отрицающая необходимость въ писателѣ всякаго творческаго воображенія, а въ произведеніи — поискъ совершенства, оглянулась бы на дѣйствительную жизнь нашей литературы: живо только то, что воображаетъ и ищетъ, а не то, что доносить о случившемся.

На эту тему хочется подумать послѣ прочтенія книги второй «Круга», альманаха у насъ не только нужнаго, но прямо необходимаго, несмотря на большіе его недостатки. Ну какъ, право, быть безъ такого альманаха, гдѣ напечатаны вещи, которыя иначе никогда бы не увидѣли свѣта? Можно только пожалѣть, что онъ выходитъ очень рѣдко, и было бы грустно, если бъ онъ прекратилъ свое существованіе.

Въ кругъ этотъ вписанъ треугольникъ. На этомъ треугольникѣ, какъ на щитѣ, покоится вся книга. Треугольникъ этотъ — статья Вейде «Человѣкъ противъ писателя», статья Фельзена «Умираніе искусства» и черновикъ неоконченнаго романа Поплавскаго. Если прочесть эти три произведенія и внимательно прислушаться къ нимъ, то станетъ ясно, какой глубокой разговоръ тутъ поднятъ. «Это — упадокъ», — говоритъ Вейде. «Это — путь», — говоритъ Фельзенъ. И Поплавскій присутствуетъ при этомъ какъ живое тѣло, готовое для viviseкціи.

Черновики его трогаютъ и западаютъ въ душу надолго (можетъ быть, навсегда). Цыганскій романсъ и Гегель, «высокое происхожденіе» «купецской дочки», «рукава безрукавки» и — поэтическія строки о сумеркахъ въ парижскомъ отелѣ, когда герою вспоминаются сумерки Сокольниковъ. Эта смѣсь грусти и легкомыслія лучше, что написалъ Поплавскій. Какъ жаль, что отъ него, кромѣ этихъ отрывковъ, уже нечего больше ждать.

Рассказъ Н. Татищева хорошо и вѣрно написанъ. Однако, почему начинающіе писатели такъ любятъ гражданскую войну? Громкая тема, трактованная «честно», обезличиваетъ ихъ. Подождемъ же другихъ произведеній Татищева, чтобы судить о немъ.

В. Яновскій — писатель опредѣлившійся — совѣмъ иначе подошелъ къ той же «громкой» темѣ. Если далеко не все хорошо въ его рассказѣ «Ее звали Россіей» (никогда не надо спорить съ авторомъ о заглавіи его произведенія!), если намъ тяжело отъ излишней его густоты и жесткости (отчасти заимствованной у совѣтскихъ писателей), то все же онъ изобличаетъ въ Яновскомъ талантъ на каждой страницѣ. Какія высокія у насъ здѣсь, въ эмиграціи, требованія: вѣдь явился Яновскій въ Совѣтской Россіи, мы бы радовались ему и совѣтской литературѣ.

Есть въ «Кругѣ» писанія, о которыхъ хочется на евангельскомъ языкѣ сказать, что они «ракаѣ». Но воздержимся отъ этого и скажемъ два слова о стихахъ, среди которыхъ есть много хорошихъ: Б. Заковичъ, Ю. Софіевъ, Г. Раевскій и, въ особенности, Ю. Терапіано и А. Ладикскій (общимъ мѣстомъ стало выраженіе о томъ, что стихи его о Лермонтовѣ — лучшіе его стихи). Д. Червинская въ строчкахъ о флаконахъ и камняхъ отошла куда-то въ до-ахматовскія времена.

Очень хороши статьи Ю. Мавдельштама о Паскалѣ и Ю. Фельзена о Жидѣ. Обѣ — чрезвычайно ко времени.

Лидія Арсеньева (Чассингъ). Концертъ. Парижъ, 1937.

Книга рассказовъ — явление на нашемъ книжномъ рынкѣ редкое. Прибавимъ — книга молодыхъ рассказовъ. Не спроста книжка начинается рассказомъ, еще овъяннымъ воздухомъ героическихъ, гдѣтъ эмиграціи, когда такія дѣвушки, какъ Катя, согнанныя со школьной скамьи или только что оставившія чопорныя стѣны институтовъ, попадали въ бѣженскій круговоротъ жизни, когда нагруженные до отказа пароходы уходили въ «неизвѣстномъ направленіи», а возникалъ послѣ Тулы или Пензы почти легендарный Константинополь.

Первый рассказъ «Катя» — не лучшая вещь въ сборникѣ, но въ немъ отчетливѣе виденъ «міръ» самого автора. Что это за міръ? Этотъ міръ дѣлникомъ перенесенъ за граничную почву изъ Россіи. Въ лицѣ молодой дѣвушки, сопровождавшей раненаго брата въ изгнаніе; борющейся за жизнь въ страшныхъ условіяхъ константинопольской жизни, томившейся первой любовью, вышедшей почти изъ «жалости» за иностранца, Арсеньева вывезла изъ Россіи самое свое дорогое, ту чистоту, которую она унаслѣдовала отъ разговоровъ Китти съ Левымъ, тѣ воспоминанія о тургеневскихъ дѣвушкахъ, которыя сдѣлались въ эмигрантской литературѣ воплощеніемъ навѣки ушедшихъ идеаловъ. Въ рассказѣ еще нѣтъ столкновения съ «трагическими вопросами». Все просто въ мірѣ Кати, все благостно и тихо, несмотря на житейскія бѣды. Столкновение съ вопросомъ о жизни и смерти, съ самымъ главнымъ, сомнѣніи и попытки найти какое-то рѣшеніе начинаются въ рассказахъ «Концертъ», по заглавію котораго и названа книга, и въ рассказѣ «Операция», лучшемъ въ сборникѣ. Въ первомъ — переживанія старѣющей актрисы, заканчивающіяся добровольнымъ уходомъ изъ жизни, во второмъ — проблема страданій, физическихъ и духовныхъ и ихъ важности въ жизни человѣка. Проблема не новая, еще разъ заставляющая припомнить «Смерть Ивана Ильича», витающую надъ этими рассказами. Хорошо, что у автора хватило смѣлости сдѣлать эту попытку, но жаль, что къ ней привѣшенъ грузъ эмигрантской сентиментальности: всѣ эти воспоминанія въ предсмертный часъ о полковыхъ товарищахъ и о подвигахъ, о картежной игрѣ въ походѣ или о бояхъ гражданской войны, кажутся неубѣдительными. Гораздо серьезнѣе и болѣе зорко подмѣчена въ рассказѣ «Операция» перемена въ отношеніи больного къ близкому человѣку, котораго не замѣчали въ здоровой обыденной жизни, но котораго оцѣнили на порогѣ смерти, когда вниманіе не разсѣивается на пустяки.

«Концертъ» — первая книга Лидіи Арсеньевой. Этимъ, вѣроятно, объясняется, что книга такая «молодая», неровная, слишкомъ еще связанная съ самой жизнью. Писательница какъ бы едва-едва оттолкнулась отъ жизни, а литература и жизнь — двѣ области, которыя сплосъ и рядомъ вліяютъ другъ на друга, но никогда не совпадаютъ.

Ант. Ладинскій.

Le Dit de la campagne d'Igor. Traduction de N. Koulmann et M.-L. Behaghel. Paris, 1937.

Этот перевод Слова о Полку Игореве надо признать образцовым во всех отношениях — и по точности и по мастерству использования стилистических особенностей французского эпоса, благодаря чему переводчикам удалось передать дух подлинника. В основу перевода положены две редакции, являющиеся для нас первоначальными: издание 1800 г. и так наз. екатерининский список. Известно, как много в этих редакциях сомнительных мест и сколь много эмendaций и толкований предлагалось и предлагается исследователями. Целью переводчиков было очевидно облегчить иностранному читателю задачу разобраться самим в трудностях понимания Слова и следовательно — дать им точную передачу памятника в том же виде, в каком он дошел до нас. Мне кажется, что было бы все-же нелишним оговорить наличие уже в списке XVI в., воспроизведенном первоначальными редакциями, явных вставок, сделанных позднейшими переписчиками, или скорее, согласно удачной догадке проф. Е. Ляцкого, перестановок известных пассажей; наконец, просто искажений. Но даже и там, где первоначальный текст поэмы сохранен, по видимому, в чистоте, на каждом шагу встречаются места, поддающиеся различным толкованиям. Кто, напр., такой «вѣщій Боянь»? Русский поэт или «Боянь-кудесникъ» болгарских сказаний? Если принять вторую догадку, то надо перевести «вѣщій» так, как этот эпитет и переведен проф. Кульманом — *enchanteur*. Но автор дает первое толкование. В таком случае «вѣщій» скорее имѣетъ здѣсь то значение, в каком это слово и по сей час употребляется в болг. и сербск. яз.: — знающій свое дѣло, опытный, искусный (*habile, savant*). Слова в знаменитом пассажѣ, гдѣ дана характеристика творчества Бояна — растекаешься мыслию по древу, переданы, согласно новейшей догадкѣ, *s'élançait comme un écureuil dans un arbre* («мысль» = «мышь», т. е. бѣлка). Догадка эта очень остроумна: пассаж приобретает художественное единство: «мысли» в этом значении соотнобществуют другія метафоры — сѣрый волкъ, сизый орелъ. Дальше однако у автора Слова Боянь скачетъ «по мыслену древу»; в другомъ мѣстѣ Боянь названъ «смысленнымъ». Не заставляетъ ли это предпочесть общепринятое понимание: носился мыслью, т. е. в своемъ воображеніи (мысль значить у поэта именно воображеніе — ср. слова «русскихъ жень»: уже намъ своихъ милыхъ ладъ ни мыслию смыслити, ни думою сдумати), по древу? Требования поэтической логики при этомъ не нарушены: отсутствующее сравненіе, параллельное «волку» и «орлу», на самомъ дѣлѣ на лицо: Боянь здѣсь представляетъ соловьемъ, — какъ онъ и названъ нѣсколькими стихами ниже. Я только ставлю вопросы. Утверждаетъ что-либо здѣсь, какъ и в нѣкоторыхъ другихъ подобныхъ случаяхъ, нельзя. Я хотѣлъ только сказать, что по моему слѣдовало-бы указать въ примѣчаніяхъ, что предложенныя въ соответствующихъ мѣстахъ толкованія тек-

ста не являются единственными возможными. В предисловии проф. Кульманн касается старинного, ныне снова выдвинутого в науку вопроса о подлинности «Слова». Доводы его в ее пользу вполне убедительны. Мне все-таки кажется, что достаточно было бы одного: предложить скептикам доказать, что во времена Екатерины II, или раньше, существовал некий феномен, ученый, предвосхитивший Шахматова, Кондакова, Истрина, Айналова и др., владевший всеми результатами, добытыми современными нам лингвистикой, палеографией, археологией, этнографией, и вместе с тем — великий поэт. Только такой чудо-человек и был бы в состоянии совершить эту подделку.

П. Бицилли.

Dmitri S. von Mohrenshildt. Russia in the intellectual Life of Eighteenth-Century France. N.-York, Columbia University Press, 1936.

Книга Д. ф. Мореншильда заключает в себя подробный и, если не ошибаюсь, исчерпывающий перечень всех французов, так или иначе знакомившихся в XVIII в. с Россией, всего, что они писали о ней, также — всего, что они могли прочесть о ней у своих предшественников, наконец, множество данных о «России во французской художественной литературе» того времени. В общем, материалы, собранные автором, как и другими исследователями, труды которых он использовал, свидетельствуют о том, что писавшие о России, безразлично хвалители или худители, побывавшие в ней или нет, — ничего — или почти ничего — о ней не знали и, обычно — автор доказал это — отдѣльвались общими фразами, нередко повторяя вычитанное у Олария и других еще более ранних авторов, являясь предшественниками нынешних интуристов и философов «русской души». Нужды нет, что — как это неоднократно подчеркивает автор — тенденция к тому, чтобы всячески ругать русский народ, характерная для начала века, в конце его вытесняется противоположной — из соображений вышней политики, а также оттого, что тогда уже было немало русских, которых можно было причислить к «хорошему обществу». Люди, знакомые с русским бытом, с русским языком, составляли редкое исключение среди тех, которые позволяли себе авторитетно писать о русских делах. О том, какое место занимала Россия в тогдашней «изящной литературе» Франции, достаточно говорить уже имена персонажей драм и повестей «из русской жизни»: Аметиса, Озе,фина, Клодоскиря, Амилка (впрочем — Емелька). И сюда можно было бы подыскать параллели из нынешних фильмов и романов с «клювкой». Один пример у автора к делу не идет и приведен по недоразумению. Это пример пьесы *Boissy*, «La vie est un songe». Автор видит в ней «несообразности Тысячи и одной Ночи, хотя действие происходит в Польше». Странно, что автор

не замѣтилъ, что эта пьеса — просто переработка извѣстнѣйшей драмы Кальдерона подъ тѣмъ-же заглавіемъ. Дѣйствіе и у Кальдерона происходитъ въ Польшѣ; одинъ изъ персонажей — тотъ-же «герцогъ Московскій» и проч. Примѣръ этой пьесы все-же характеренъ, — но только въ другомъ отношеніи: онъ можетъ служить подкрѣпленіемъ вывода, который самъ собою напрашивается изъ всего матеріала, изслѣдованнаго авторомъ, но котораго самъ авторъ не сдѣлалъ. Для большинства писавшихъ о Россіи, Россія сама по себѣ просто не существовала (благодаря чему они и не переходили, въ отличіе отъ современныхъ намъ судей Россіи, извѣстныхъ границъ пошлости, не углябляя, напр., въ «славянскую мистику» и проч.): «Россія» была для нихъ условнымъ терминомъ, обозначающимъ «варварскій» народъ, насильственно приобщенный къ «цивилизаци». Ея исторія интересовала какъ нѣкій экспериментъ, произведенный надъ «добрымъ» — или «злымъ» — «дикаремъ», и служившій аргументомъ — за или противъ — «философовъ» или Руссо, исповѣдниковъ вѣры въ «общечеловѣческую прогрессъ» или ихъ антагонистовъ. Руссо ничего не зналъ о Россіи. Онъ рассуждалъ чисто апріорно, говоря въ «Общественномъ Договорѣ» (авторъ ссылается на это мѣсто отсюда), что Петръ хотѣлъ сдѣлать изъ своихъ подданныхъ англичанъ или нѣмцевъ, вмѣсто того чтобы сдѣлать ихъ русскими. Это характерно для персонализма и обусловленнаго имъ анти-космополитизма Руссо, а не для тогдашняго пониманія Россіи — нужды нѣтъ, что, говоря это, Руссо превосходилъ славянофиловъ и Леонтьева.

Въ послѣдней главѣ авторъ касается вопроса о знакомствѣ Франціи XVIII в. съ русской литературой и отмѣчаетъ, что французскихъ переводовъ этой литературы было очень немного. Это понятно, такъ какъ тогда русская литература «была еще въ младенчествѣ»; «даже выдающіеся писатели, Сумароковъ, Ломаносовъ, Державинъ, Фонвизинъ и Карамзинъ, были подражателями западныхъ авторовъ, въ особенности французскихъ». Надо-ли говорить о томъ, что какъ разъ Ломаносовъ и Державинъ — котораго въ другомъ мѣстѣ авторъ называетъ «значительнымъ поэтомъ и сатирикомъ (?)» — были подъ вліяніемъ не французской, а нѣмецкой поэзіи, и что вообще отзывъ автора о русской литературѣ XVIII в. показываетъ, что онъ остался на уже давно омертвевшей и несостоятельной точкѣ зрѣнія? Что Державинъ-то ужъ во всякомъ случаѣ былъ безспорно однимъ изъ величайшихъ русскихъ художниковъ слова? Что и лирика Сумарокова вовсе не была «подражательной»? Въ другомъ мѣстѣ авторъ говоритъ о Кантемирѣ: «онъ... писалъ сатиры, оды и посланія, подражая Горацию и Ювеналу. Его произведенія, лишенные оригинальности, интересны сейчасъ преимущественно съ исторической точки зрѣнія». Во-первыхъ, странно, что говоря объ источникахъ Кантемира, авторъ — специалистъ по исторіи русско-французскихъ отношеній XVIII в., — пропустилъ Буало. Во-вторыхъ: самъ Буало тоже «подражалъ» Горацию, Гораций «подражалъ» грекамъ. Кто кому не подражалъ, если подъ подражаніемъ разумѣть заимствование темъ, сю-

жетовъ, приемовъ? Сатиры Кантемира чудесны по чистотѣ, выразительности, богатству. Можно-ли, съ этой точки зрѣнія — единственной правильной при оцѣнкѣ произведеній художественнаго слова — называть произведенія Кантемира «лишенными оригинальности»?

П. Бицилли.

Проф. Г. Я. Трошинъ. Пушкинъ и психологiя творчества. Прага, 1937.

Трудъ проф. Трошина основанъ на тщательномъ изученiи научной литературы о жизни и творчествѣ Пушкина, а также и на собственныхъ наблюденияхъ автора надъ различными особенностями пушкинскихъ произведенiй. По своему содержанию онъ распадается на двѣ главныхъ части: въ 1-ой Пушкинъ изучается какъ представитель извѣстнаго психологическаго творческаго типа. Во 2-ой авторъ пытается индивидуализировать поэзiю Пушкина независимо отъ того, насколько она проливаетъ свѣтъ на психологию творчества вообще. Въ 1-ой авторъ естественно сопоставляетъ Пушкина съ другими художниками слова. Во 2-ой было-бы необходимо сопоставить его съ современными ему русскими поэтами. Авторъ, однако, не сдѣлалъ этого. А между тѣмъ онъ много говоритъ о пушкинскомъ синтаксисѣ, пушкинскомъ словарѣ, пушкинскихъ мотивахъ, пушкинскихъ эпитетахъ и т. д. Что здѣсь собственно пушкинское и что принадлежитъ просто его времени? На это у автора нѣтъ и не можетъ быть отвѣта. Авторъ, напр., самъ заявляетъ, что ему «не вполне ясно, почему Пушкинъ любилъ славянизмы?» (181). Правда, затѣмъ слѣдуютъ правильныя соображенiя о функции «славянизмовъ» въ тогдашнемъ языкѣ. Но если-бы пойти путемъ сравнительно-историческихъ наблюдений, можно было-бы подготовить почву для болѣе точнаго отвѣта на вопросъ о функции «славянизмовъ» именно у Пушкина — отбросивъ тѣ изъ нихъ, какiе были всеобщими поэтическими clichés (младость и т. п.), и тѣ, которые какъ славянизмы не ощущались и не ощущаются, войдя издревле въ общiй языкъ. Другими словами, прежде всего надлежало выяснитъ, что такое «славянизмы»? Равнымъ образомъ, прежде чѣмъ говорить о «неправильностяхъ» пушкинской рѣчи, надо было бы выяснитъ, что тогда въ языкѣ считалось «правильнымъ»; и что «неправильнымъ». Если-бы авторъ эту работу продѣлалъ, онъ, вѣроятно отказался-бы отъ всѣхъ указанныхъ имъ примѣровъ (191), «неправильностей» у Пушкина. Очень тонки и, насколько я знаю, оригинальны лѣкторыя замѣчания автора о характерахъ персонажей Маленькихъ трагедiй. Спорно лишь его заключенiе о неубѣдительности пушкинскаго толкованiя характера Сальери (209). Мы вѣдь не чувствуемъ въ этой трагедiи никакой фальши. Позволю себѣ отнѣсуть нѣкоторыя мѣста у автора, вызывающiя недоумѣнiе, а также нѣсколько прямыхъ недосмотровъ. Почему при разборѣ стилистики Пушкина авторъ сознательно исключаетъ (183) «эпиграммы, шутки, альбомныя стихотворенiя»? Какимъ критерiемъ руководствуется онъ, давая свою классификацiю эпитетовъ у Пушкина? Онъ ихъ дѣлитъ (188-9) на мнeологическiе, галлицизмы, народные, бытовые, эмоцiо-

нальные, автобиографические, исторические, критико-литературные и философские. «Автобиографические» — те, которые Пушкин применяет к себе; «критико-литературные» — применяемые к чужим произведениям. Но «автобиографический» эпитет ведь может быть, с точки зрения лексикона «славянским», «бытовым» и т. д. Здесь явно обижена Логика. Почему казнь Донъ-Жуана названа «средневековой, даже иезуитской» (210)? «Иезуитское» как-будто для автора самое яркое выражение «средневекового»? На стр. 251 такое замечание о методѣ анализа пушкинского стиха у Томашевского, Благо «я имъ подобныхъ»: это — «ничто иное какъ сальеризмъ, т. е. почтенное, но безкрылое трудолюбіе». Сальери съ анализа началъ творчество. Бѣлый и «ему подобные» применяютъ анализъ къ уже созданнымъ произведеніямъ. Что такое вся работа самого проф. Трошина какъ не опытъ анализа Пушкина? И какъ возможно выяснитъ ритмическій строй какого-нибудь стихотворенія какъ-будто путемъ «элементарныхъ подсчетовъ» отклоненій отъ метра, — въ чемъ и состоитъ осуждаемый авторомъ методъ? Въ главѣ о Философіи творчества (265) авторъ различаетъ «мистическую» школу (напр., Шеллингъ) и «катавистическую», и цитируетъ мѣсто изъ Гейне, гдѣ явно идетъ рѣчь объ *anaptesis* въ платоновскомъ смыслѣ, хотя Гейне и ссылается на пифагорову теорію переселенія душъ — однако лишь какъ на дающій представленіе о природѣ «вспоминанія» о не бывшемъ въ жизни мнѣѣ. На стр. 308 Пушкину приписана эпиграмма Лермонтова (Три граиц...).

П. Бицилли.

Сто лѣтъ смерти Пушкина. Парижскіе отклики въ 1837 году. Собралъ Лоллій Львовъ. Парижъ, 1937.

Небольшая, изящно изданная книга Л. Львова — результатъ большой, кропотливой и внимательной работы. Въ ней заключается, съ одной стороны, уже извѣстный, но разбросанный, не систематизированный до сихъ поръ матеріалъ, съ другой — и неизвѣстный, впервые указанный авторомъ. Л. И. Львовъ пересмотрѣлъ всѣ французскіе газеты и журналы 1837 года, и картина въ его изобращеніи получилась полная и интересная. Русскіе парижане откликнулись на смерть Пушкина, естественно, первыми, въ личной перепискѣ и беседахъ. Въ нихъ наряду съ горемъ высказывалась и оцѣнка событія: Пушкинъ палъ жертвой петербургскаго высшаго придворнаго общества. Наоборотъ, отношеніе государя къ Пушкину представлялось благороднымъ. Нельзя не отмѣнить, что и Мицкевичъ въ большой статьѣ о Пушкинѣ въ «Globe» подчеркнул, какое значеніе для литературной дѣятельности Пушкина имѣло вниманіе къ нему Николая I. Мицкевичъ считалъ, что Пушкинъ, освобожденный царемъ отъ общей цензуры, «создалъ прецедентъ на пользу свободы печати». Тогда ни Мицкевичъ, ни другіе не понимали, что самодержецъ, самъ того не замѣчая, оказался безсильнымъ передъ Бенкердорфомъ и своимъ окруженіемъ.

Въ парижскихъ газетахъ отклики на смерть Пушкина нашли мѣсто въ рубрикахъ: «разныя извѣстiя», «событiя», «пронсшествiя». Кромѣ «Globe» со статьей Мицкевича, только двѣ газеты, «Journal des Débats» и «Temps», помѣстили обширные фельетоны. Авторомъ въ первой былъ Лева-Веймаръ, написавшій статью «справедливую и очень порядочную», по отзывамъ современниковъ-русскихъ. Анонимный авторъ второй пытался морально унизить Пушкина. Много въ книгѣ и другихъ отзывовъ французской печати 1837 г. и извлеченiя изъ частныхъ писемъ того времени.

Свою тщательную работу Л. И. Львевъ оказалъ большую услугу всѣмъ, занимающимся Пушкинымъ. Книга его прочтется съ живымъ интересомъ не только специалистомъ, но и рядовымъ читателемъ.
Н. Кульманъ.

Россия и Пушкинъ. Сборникъ статей. 1837-1937. Харбинъ, 1937.

«Дальневосточная эмиграция приноситъ этимъ сборникомъ свою скромную дань памяти великаго національнаго поэта», заявляютъ составители сборника. Новаго въ немъ мало, но всѣ статьи написаны съ большой любовью и знанiемъ. Проф. Г. К. Гинсъ даетъ общую характеристику творчества Пушкина, сравниваетъ идеалы его съ нашей действительностью, вилега въ свои разсужденiя ненужные, можетъ быть, въ торжественные пушкинскiе дни выпадъ противъ «кремлевскихъ тирановъ» и сѣтованiя о томъ, что въ нашъ вѣкъ «такъ мало осталось отъ законности, свободы и уваженiя къ личности». Проф. К. I. Зайцевъ въ своей статьѣ, самой интересной въ сборникѣ, пытается разрѣшить «религиозную проблему Пушкина». Этотъ вопросъ уже не разъ ставили, но почти всегда подходили къ нему съ заранѣе обдуманымъ намѣренiемъ и искажали въ ту или другую сторону подлинный обликъ Пушкина. Выводъ проф. Зайцева по существу правиленъ: «Передъ нами жизнь, полная увлеченiй, грѣховъ и паденiй, предъ нами преодоленiе ихъ и въ подвигѣ жизни и въ подвигѣ смерти, пробителенномъ простой и теплой вѣрой». Другая статья проф. Зайцева «Пушкинъ и музыка» затрагиваетъ три вопроса: Пушкинъ о музыкѣ, музыка Пушкина и Пушкинъ въ музыкѣ. К. Мизутани въ статьѣ «Пушкинъ въ Ниппонъ» даетъ любопытную справку объ изученiи Пушкина въ Японiи. И. А. Пуцято въ статьѣ «Пушкинъ и Гете» повторяетъ, съ одной стороны, сомнительную легенду Анненкова о перѣ Гете, будто бы присланномъ имъ въ подарокъ Пушкину, съ другой — уже совершенно неосновательно утверждаетъ, что «Сцена изъ Фауста» Пушкина явилась отвѣтомъ на призывъ Веневитинова (въ стихотворномъ посланiи къ Пушкину) воспѣть Гете.

«Пушкинъ о толпѣ» проф. Н. И. Никифорова, «Историческiй обликъ Пушкина» И. В. Голубцовой, «Пушкинъ и русскiе классики въ Сов. Россiи» проф. В. В. Энгельфельда, «Народный духъ въ поэзи Пушкина» Д. Е. Еварестова и «Пушкинъ и русскiй языкъ», проф. С. В. Кузнецова даютъ представление о разнообразiи темъ сборника.

Въ приложенiяхъ напечатана рѣчь Достоевскаго о Пушкинѣ и

рѣчь Ключевского «Евгеній Онѣгинъ и его предки». Въ книгѣ много иллюстрацій русскихъ художниковъ къ произведеніямъ Пушкина.

Н. Кульманъ.

Пушкинскіе дни въ Шанхаѣ. Изд. Пушкинскаго Комитета въ Шанхаѣ. 1937.

Въ Китаѣ «пушкинскіе дни» съ большею или меньшею торжественностью были отмѣчены въ Тяньцзинѣ, Ханькоу, Мукденѣ, Дайренѣ и другихъ городахъ русскаго разсѣянія. Въ Шанхаѣ, въ частности, былъ открытъ памятникъ поэту, дано нѣсколько пушкинскихъ спектаклей, устроены торжественныя собранія, прочитаны доклады. Обо всемъ этомъ даетъ представленіе книга «Пушкинскіе дни въ Шанхаѣ», состоящая, кромѣ русскаго, изъ трехъ отдѣловъ: французскаго, англійскаго и китайскаго. На этихъ языкахъ даны статьи и переводы нѣкоторыхъ произведеній Пушкина. Н. Кульманъ.

И. Д. Фридрихъ. Фольклоръ русскихъ крестьянъ Яунлатгальскаго уѣзда. Книга первая. 1936 г. Jaunlatgale, Latvija.

И. Д. Фридрихъ продѣлалъ въ Латвіи, въ приграничной полосѣ, очень важную работу — произвелъ запись фольклора русскихъ крестьянъ Яунлатгальскаго уѣзда, живущихъ на территоріи, присоединенной къ Латвіи по мирному договору съ Р.С.Ф.С.Р. въ 1920 году. При матеріальной поддержкѣ Государственнаго Культурнаго Фонда и Рижскаго Просвѣтительнаго Общества онъ издалъ подъ редакціей проф. Латвійскаго университета П. Шмита первый томъ собраннаго въ уѣздѣ за 1921-1932 гг. матеріала, 643 стр. текста, небольшой словарь областныхъ словъ, фонографическія записи мелодій. Въ этотъ томъ вошли пѣсни — дѣтскія, хороводныя, плясовыя, бесѣдныя, шуточные, сатирическія, пародіи, ямничскія, солдатскія, казачьи, пѣсни о преступленіяхъ, тюремныя, разбойничьи, колядки святочные игровыя, свадебныя, причитанія, заговоры и духовныя стихи. Фридрихъ обозначилъ пѣсни по старымъ раздѣламъ, не выдѣливъ мѣшанскаго ромansa, пѣсенъ люмпенъ-пролетаріевъ, но очень хорошо, что новый фольклоръ онъ внимательно записалъ и включилъ въ сборникъ. Онъ произвелъ цѣнную полевою работу, вѣрнѣе положилъ начало серьезной работы, доказавъ, что въ зарубежныхъ условіяхъ она вполне возможна. Яунлатгальскій уѣздъ — часть бывшаго Островскаго уѣзда Псковской губерніи, находится въ сѣверо-восточномъ углу Латвіи и граничитъ на востокѣ съ СССР. Такъ же, какъ и Печорскій уѣздъ въ Эстоніи, онъ является крайнимъ западнымъ пунктомъ заселенія кривичей, занимавшихъ бассейнъ рѣки Великой и ея западные притоки, древней границей Псковскаго княжества, а потомъ и Московскаго царства. Эта область интересна для этнографа, историка, антрополога и лингвиста, а между тѣмъ для сихъ поръ научная работа въ этихъ мѣстахъ не велась.

Конечно, въ настоящее время простое собраніе фольклора не является единственнымъ заданіемъ этнографа и фольклориста. Собираетелъ долженъ быть одновременно и научнымъ изслѣдователемъ

на мѣстѣ сбора. Для полевой работы необходимъ учетъ историческихъ и археологическихъ данныхъ, знаніе этнографическихъ матеріаловъ сосѣднихъ областей. Въ сохранившихся обрадахъ, суевѣріяхъ, вышивкахъ, какъ и въ фольклорныхъ матеріалахъ, дошедшихъ до насъ, мы вскрываемъ древніе пласты, которые являются въ настоящее время затемненными позднѣйшими наслоеніями.

Совѣтскіе этнографы признаютъ, что фольклорныя произведенія, существовавшія въ Россіи до революціи, явно и безспорно умираютъ, и то, что не могли уничтожить столѣтія, быстро исчезаетъ въ періодъ революціи и «соціального строительства». Такова судьба заговоровъ, обрядовыхъ пѣсенъ, хороводныхъ, свадебныхъ въ СССР. Приблизительно такова же судьба фольклора въ Янунатгалскомъ уездѣ. Пѣсни, характерныя для патриархальнаго земледѣлія, исчезли во время войны. Поколѣніе хранителей пѣсни вымираетъ. Молодежь въ своемъ обиходѣ пользуется частушкой. Въ говорѣ деревни наблюдается смѣшеніе литературнаго языка съ мѣстнымъ діалектомъ. Стирается граница между фольклоромъ и полуграмотнымъ деревенскимъ творчествомъ. Деревни вырабатываетъ новый языкъ. Уже давно шло усвоеніе литературнаго матеріала — скрещивался фольклоръ и дѣтская литература, возникли произведенія болѣе или менѣе близкія къ литературнымъ по типу. По сборнику Фридриха можно прослѣдить, какъ деревни въ настоящее время осваиваетъ знакомые тексты и перерабатываетъ матеріалъ, замѣняетъ образы, измѣняетъ формы.

Правда, діапазонъ пѣсенъ, еще бытующихъ въ крестьянской средѣ, очень широкъ. Въ первомъ томѣ есть колядки, возникшія на основѣ мѣологическихъ воззрѣній, прекрасный свадебный обрядъ съ отголосками мѣновныхъ отношеній, пѣсня про Грознаго, пѣсни времени Петровскихъ походовъ, солдатскій плачъ по Екатеринѣ Александровнѣ, пѣсни о многочисленныхъ войнахъ, о походѣ 1812 г. и др. Интересенъ новый фольклоръ, пришедшій изъ Петербурга, — искаженныя романсы, которые условно называютъ мѣщанскими или жестокими, полюбавныя пѣсни.

Вывущенный Фридрихомъ сборникъ даетъ богатый матеріалъ для характеристики настроеній русской деревни, въ которой произошли и происходятъ громадныя измѣненія.

Л. Зуровъ.

Д. Мережковскій. «Павель и Августинъ». Изд. Петрополисъ. 1937.

«Знаетъ Августинъ — знаемъ и мы сейчасъ, что значить родиться, если не въ концѣ міра, то въ концѣ одного изъ міровъ, — въ шестой Исторіи, между двумя вѣками-эонами, двумя жерновами мядѣщими, — между тѣмъ, что еще не умерло, и тѣмъ, что еще не родилось — двумя кругами той восходящей или нисходящей лѣстницы, которую мы называемъ «міровымъ развитіемъ», «эволюціей»; что значить родиться передъ «Нашествіемъ варваровъ». Этимъ то Августинъ и близокъ намъ, ближе, можетъ быть, всѣхъ святыхъ, послѣ

Павла, жившаго и умершаго въ еще болѣе тѣсной щели между вѣкамн-эонами, передъ еще болѣе грознымъ концомъ», — говоритъ Мережковскій.

Въ этой «тѣсной щели» среди нашихъ современныхъ писателей больше всѣхъ находится самъ Мережковскій, острѣе всѣхъ ощущаетъ метафизическій воздухъ эпохи. Оттого, можетъ быть, въ будущее время, среди того, что писалось и думалось въ наши дни, мука Мережковского, тревога его, порой — даже какое-то озлобленіе на «глухихъ», и его любовь, большая любовь къ человѣку, несмотря на кажущуюся холодность его увѣреній — станутъ признакомъ его писательскаго первородства.

Тема Мережковского и методъ ея трактовки и все необычное нагроможденіе историческихъ данныхъ, интуитивнаго проникновенія въ метафизическую суть явленій, и самая необычность сюжетовъ, съ которыми Мережковскій оперируетъ — все вмѣстѣ создало между нимъ и современниками не то что стѣну, но какъ бы нѣкое безвоздушное пространство вокругъ него — замѣчательный писатель не услышанъ въ современности такъ, какъ онъ этого заслуживаетъ. Не только въ русской, но и въ мировой современной литературѣ почти никто сейчасъ не касается такъ остро и на такой глубинѣ проблемы судьбы человѣка; метафизика Мережковского, его «дуализмъ» и видѣнія исторіи — все это объ одномъ — о судьбѣ человѣка.

И лишь только то, что, выходя за границы узкаго представленія о человѣкѣ, Мережковскій всю жизнь мучительно бьется надъ таинствомъ Сына Человѣческаго, и въ Немъ, и черезъ Него, какъ изъ высшей, центральной точки, хочетъ понять соотношеніе плановъ эмпирическаго и высшей реальности, — все это для насъ столь непривычно, столь обнаженно-срашно, столь утомительно для нашего равнодушія — что немногіе дають себѣ трудъ по настоящему слѣдовать за Мережковскимъ, т. е. стать соучастниками его тревоги и радости.

Центръ вопроса о человѣкѣ для Мережковского — во внутреннемъ переворотѣ, въ «изъ себя выхожденіи», въ превращеніи человѣка въ «новую тварь». Павелъ и Августинъ, два величайшихъ дѣятеля христіанства, два столпа Церкви, утвердившіе ее въ Исторіи — для насъ важнѣе всего, какъ два «пыла святыхъ», два свидѣтельства любви, вѣры и разума.

Приблизившіеся, какъ никто, къ странной тайнѣ Евангелія — «Богъ есть Любовь», и — срывающіеся въ чемъ то неуловимо-важнымъ, безконечно человѣчные, близкіе намъ, трогательные именно въ своемъ «высшемъ» человѣческомъ безсиліи» передъ страшной и возмутительной для насъ тайной Божественнаго Предопредѣленія — оба они — въѣ времени, и въ то же время — сейчасъ — для насъ, — съ нами.

Павелъ, Августинъ, Лютеръ, Паскаль — соединяетъ Мережковскій какъ бы преемственную цѣпь опыта въ человѣчествѣ. Все, — то-есть Богъ, — а съ другой стороны, — человѣкъ, неминуемо дро-

бящийся на отдѣльности, не могушій до конца, до послѣдняго озаренія — быть можетъ — смерти, понять это Все, и потому оправдываемый Богомъ безо всякой заслуги, благодатью, человѣкъ, спрашивающій въ послѣдній моментъ какъ Августинъ о злѣ «что же это такое?» — вотъ, дѣйствительно, самое подлинное, что знаетъ человѣческое сердце. Столкновение закона со свободой — Петровой и Павловой линій, изображено Мерзжковскимъ съ замѣчательной силой. Весь конфликтъ временнаго и вѣчнаго, «Градъ Земной» и «Небесный» для души человѣческой разрѣшается въ томъ послѣднемъ моментѣ, высшій прообразъ котораго былъ данъ въ Гефсиманскомъ саду волевымъ Словомъ: «Да будетъ воля Твоя», моментѣ, въ которомъ открывается человѣку послѣднее: «Тайна человѣческой свободы есть тайна Божественной Необходимости — Предопредѣленіе, Prothesis: будетъ Богъ все во всёхъ, — всё спасутся».

Ю. Терапиано.

А. Долинъ. Миръ и Идеаль. Философское основаніе науки о нравственности. Парижъ, 1936.

Человѣческой мысли свойственно избирать два пути: одинъ строго-научный, критическій, до конца провѣренный разсудкомъ; другой — интуитивный, идущій отъ озаренію, иногда почти ошущую, наугадъ, путь философской жажды, путь вопрошаній, отчаяній и надеждъ. Эти два пути различаются повсюду, однако въ Россіи они наиболее глубоко раздѣлены, наиболее рѣзко одинъ другому противопоставлены. Одни русскіе мыслители достигали вершинъ философскаго ясновидѣнія, но логическая сѣть ихъ мышленія оставалась недостаточно плотной, недостаточно прочной; другіе не измѣняли никогда строжайшей логикѣ, но выходило такъ, что сама точность ихъ мышленія какъ бы мѣшала его проникновенности и глубинѣ. Интересно, что у Владиміра Соловьева, самаго систематическаго и завершеннаго, если не самаго гениальнаго изъ русскихъ мыслителей, эти черты встрѣчаются бокъ-о-бокъ. Въ однихъ своихъ писаніяхъ онъ слишкомъ подчиняетъ свой интуитивный даръ такъ сказать технической сторонѣ философствованія, въ другихъ — онъ отдается философскому воображенію (и эти страницы, конечно, лучшее, что онъ написалъ), но забываетъ о необходимости постоянного подтвержденія, оправданія, упорядочиванія своей мысли.

Авторъ недавно вышедшей въ Парижѣ книги «Миръ и идеаль» А. Долинъ принадлежитъ безъ всякаго сомнѣнія къ «строгой» традиціи въ русской философій. Его работа напоминаетъ стилемъ своего мышленія покойнаго проф. А. И. Введенскаго, замѣчательнаго университетскаго педагога, которому обязаны очень многими студентами, его слушавшіе, но который какъ бы самъ урѣзалъ крылья своей мысли, подчинивъ ее слишкомъ узкому и элементарно понятому методу. Не думаю, чтобы упрощенное кантіанство Введенскаго оказало прямое влияніе на г. Долина; его книга представляеть собою независимую попытку новаго обоснованія идеалистической философій,

стремящихся прежде всего къ построению этики. Въ предисловіи къ книгѣ авторъ указываетъ на необходимость строгой, научно-оправданной этической системы какъ разъ для нашего времени, слишкомъ озабоченнаго матеріальной стороной жизни и слишкомъ легко забывающаго о благахъ духовныхъ.

Трудъ г. Долина, посвященный выполнению столь отвѣтственной задачи, распадается на двѣ части, изъ которыхъ вынѣ вышла первая, носящая подзаголовкъ «Философское основаніе науки о нравственности». За ней должна послѣдовать вторая: «Основаніе этики». Первая часть задается цѣлью дать строго-научное, философски неопровержимое доказательство идеализма, ибо авторъ не представляетъ себѣ никакого другого общеобязательнаго оправданія этической системы, кромѣ такого, которое покоилось бы на основаніи идеалистической философіи. Идеализмъ онъ понимаетъ, конечно, въ философскомъ, то-есть въ кантовскомъ смыслѣ, но система его доказательствъ не совпадаетъ съ кантовской и являетъ цѣлый рядъ оригинальныхъ и цѣнныхъ ходовъ мысли. Книга его несомнѣнно заслуживаетъ вниманія и всѣми интересующимися философій будетъ прочитана съ интересомъ. Однако, самостоятельность авторскаго мышленія превосходитъ, если можно такъ выразиться, самостоятельность его мысли. Онъ не увидѣлъ ничего новаго, онъ только по новой тропинкѣ подошелъ къ тому, что было ярче и глубже увидѣно другими. Это не лишаетъ, однако, его книгу цѣнности, несомнѣнно ей присущей; и немного слишкомъ самоувѣренный и недопускающей возраженій тонъ г. Долина не долженъ вводить насъ въ заблужденіе: за книгу свою онъ отвѣчаетъ. Онъ во всякомъ случаѣ сдѣлалъ все отъ него зависящее, чтобы вопросы въ ней поставленные продумать до конца.

В. Вейдле.

Николай Бердяевъ. Духъ и Реальность. Основы Богочеловѣческой Духовности. YMCA-Press. Paris. 1937.

Есть авторы, которые въ каждой изъ своихъ книгъ выражаютъ себя цѣликомъ. Въмѣсто отдѣльныхъ темъ, объектовъ, отрѣзковъ дѣйствительности, они даютъ свое цѣлостное видѣніе міра. Таковъ Н. А. Бердяевъ. Выражаясь его же языкомъ, всѣ его книги не объективны, а экзистенціальны. Каждая изъ нихъ есть этапъ, сегодняшній день (или годъ) его духовнаго пути. Отличаются онѣ не столько темами, сколько поворотомъ угла, подъ которымъ созерцаетъ міръ живая, все время движущаяся, хотя въ основномъ всегда себѣ вѣрная, творческая мысль автора.

Настоящій день Бердяева стоитъ подъ знакомъ экзистенціальной философіи. Въ терминахъ новѣйшей нѣмецкой философіи онъ нашелъ оружіе для своей извѣстной борьбы за свободу духа, которая достигла теперь предѣльнаго радикализма въ отрицаніи всякаго объективнаго міра, всякой онтологіи, статичности, даже бытія, какъ отвер-

дѣвшихъ и омертвѣвшихъ состояній единственной подлинной реальности — духа.

Собственно темой книги поставлено выясненіе и анализъ различныхъ пониманій духа въ религиозныхъ и философскихъ теченіяхъ Востока и Запада. Въ критикѣ ихъ устанавливается положительная, подлинно-христіанская философія духа. Мы всё испытываемъ трудности, говоря о духѣ, — настолько многообразенъ смыслъ этого важѣйшаго религиознаго понятія. Для уясненія этого многообразія книга Н. А. Бердяева даетъ много разбросанныхъ повсюду блестящихъ характеристикъ, отдѣльныхъ замѣчаній. Не ищите, однако, въ ней систематики, или «пневматологическаго» ключа къ исторіи религиозной мысли. Сила книги въ отрицаніи. Едва намѣтивъ очертенія извѣстной объективной сферы духа, Н. А. Бердяевъ наноситъ ей сокрушительные удары. Его критика остра, убѣдительно, неопровержима. Онъ беспощадно прослѣживаетъ и разоблачаетъ оствѣженіе и затвердѣніе духовности въ сферѣ объективной культуры, социальной, научной и всякой иной, въ сферѣ символическаго оцерковленія жизни и въ классической аскезѣ. Положительная оцѣнка дается лишь нѣкоторымъ теченіямъ мистики, преимущественно германской, и, конечно, пророчеству (профетизму). Въ послѣдней главѣ изъ жаркаго боя выходитъ побѣдительшею хотя и отрицательно лишь намѣченная истинная философія духа. Своеобразие ея въ томъ, что она не противопоставляетъ духа міру или жизни, какъ особую сферу бытія, но принимаетъ его лишь какъ особое, творчески-напряженное переживаніе міра. Отсюда духъ Бердяева не враждебенъ ни тѣлу, ни социальному началу, ни даже Technikъ. Онъ готовъ принять, активно, творчески преобразуя его, все содержаніе современности. Онъ не боится секуляризма и предпочитаетъ его символической церковности. Принятіе имъ всего противорѣчиваго заданія современной культуры, дѣлается, на ряду съ критикой, самой цѣнной, въ нашихъ глазахъ, стороной книги.

Однако, читатель, передъ глазами котораго прошла столь трагическая исторія пораженій духа, съ трудомъ вѣрять въ его будущія побѣды. По крайней мѣрѣ, въ культурныя, социальныя и церковныя побѣды. Перспектива автора, несомнѣнно, эсхатологическая. Исторія же, сохраняя своей смыслъ какъ сфера дѣйствія духа, совершенно лишена цѣнности реализаций. Въ рядѣ мѣстъ авторъ оговаривается, что борясь съ объективацией, онъ не имѣетъ въ виду воплощенія, къ которому праведно стремится всякая творческая духовность. Если бы, хоть въ намекахъ, читатель узналъ: въ чемъ принципиальное различіе между объективацией и воплощеніемъ? Изъ опыта исторіи какъ будто бы вытекаетъ, что всякая попытка воплощенія срывается въ объективацию. Если это неизбежно, то каковъ смыслъ въ культурѣ, какъ творествѣ цѣнностей? Оторванное отъ созданий, отъ воплощеній (или объективаций), творчество предстанетъ намъ даже не какъ творческій актъ, всегда направленный на объектъ, а лишь какъ творческій порывъ, безцѣльный и безпредметный. Въ немъ твор-

ческая энергія разсѣивается въ пространствѣ, не допуская никакого воплощенія. Слѣдуя за авторомъ по кладбищу культурныхъ мумій, хочется спросить его: ну а какъ быть съ художественными удачами въ отрицаемомъ авторомъ «классическомъ искусствѣ»? Живутъ ли, исходятъ ли еще духовныя энергіи созданія Эсхила, Пушкина, Бетховена? Но если признать эту цѣнность за ними, то нельзя не идти и дальше въ реабилитациі «окостенѣвшихъ» цѣнностей: не каждая ли изъ нихъ способна, при творческомъ къ ней отношеніи, воскреснуть и освободить заключенныя въ ней силы?

Закрывая книгу Н. А. Бердяева, думаешь, какъ во многомъ измѣнилась бы ея перспектива, если бы, наряду съ категоріей духа, была бы поставлена въ центрѣ вниманія категория воплощенія (въ христіанствѣ центральная). Исторія міра, исторія воплощенія, конечно, сохранила бы трагическій характеръ. Но онъ потерялъ бы свою бессмысленность. Или, лучше сказать, она лишь тогда стала бы настоящей трагедіей: т. е. антиноміей безъ выбора, лишь жизненно, мучительно преодоливаемой: духъ и воплощеніе, свобода и жертва, творчество и кенозисъ.

Г. Федотовъ.

«Путь», органъ русской религіозной мысли. Изд. Религіозно-философской Академіи въ Парижѣ.

№ 58, послѣдній вышедшій номеръ «Пути», ни въ какомъ смыслѣ не является юбилейнымъ. Десятилѣтіе свое журналъ отмѣтилъ въ 1935 году. Нѣтъ никакихъ, какъ будто бы, внѣшнихъ основаній для чествованій. Однако, «Современныя Записки» такъ рѣдко имѣли случай касаться дѣятельности своего почтеннаго собрата, а его заслуги передъ русской культурой такъ велики, что лучше поздно, чѣмъ никогда. Платимъ въ этихъ строкахъ нашъ старый и общій долгъ.

«Путь» читаютъ очень многіе, но пишутъ о немъ очень мало. Религіозныя темы у насъ все еще считаются слишкомъ «спеціальными», хотя огромное большинство эмиграціи устройствомъ новыхъ храмовъ и приходовъ поддерживаетъ свою связанность съ Церковью. Тѣ популярныя церковныя листки, которые откликаются на «Путь», не могутъ обсуждать поднимаемыя имъ проблемы на должной высотѣ. Говорить о нихъ по существу можно только въ самомъ «Пути». И онъ остается въ одиночествѣ, для него скорѣе печальномъ, чѣмъ блестящемъ.

А между тѣмъ думается, что, когда настанетъ время подводить итоги тому, что было продумано и создано въ эмиграціи, что она принесла въ даръ Россіи, журналу «Путь» (и тѣсно связанному съ нимъ издательству YMCA-Press) будетъ отведено въ этихъ итогахъ одно изъ самыхъ почетныхъ мѣстъ. «Путь» обслуживаетъ тотъ участокъ культурнаго фронта, который начисто обнаженъ въ СССР. Если религія тамъ не умерла, то религіозная мысль лишена всякихъ средствъ своего выраженія. Какъ часть національной культуры, она просто не существуетъ.

Эта единственность «Пути», какъ русскаго религіозно-философскаго журнала, обязываетъ редактора къ большимъ жертвамъ. Н. А. Бердяевъ не можетъ вести его какъ органъ одного, своего, направленія. Онъ морально обязанъ давать на его страницахъ пріютъ всемъ религіознымъ изгнанникамъ, какъ бы далека и чужда для него ни была ихъ позиція. Отсюда неизбежная эклектичность «Пути» — та широта, которая отчасти придаетъ ему характеръ «Архива» (въ нѣмецкомъ литературномъ смыслѣ: «Архивъ русской религіозной мысли»). Отсюда и упреки нѣкоторыхъ любителей литературной остроты въ томъ, что «Путь» скученъ. Въ прямомъ смыслѣ этотъ упрекъ не вѣренъ. Въ каждомъ №-ѣ «Пути» найдется достаточно острыхъ — иногда слишкомъ острыхъ — статей и отзывовъ. Но всегда имѣется и прѣсноватый, солидный «матеріалъ», — который имѣетъ свою научную цѣнность, который долженъ быть напечатанъ, и которому негдѣ найти мѣста, кромѣ «Пути».

О широтѣ «Пути» свидѣтельствуетъ хотя бы тотъ фактъ, что онъ не объявляетъ себя ни православнымъ ни даже христіанскимъ журналомъ. Въ немъ пишутъ и инославные, католики и протестанты, пишутъ иногда и евреи и антропософы или внѣ-конфессиональные мыслители (Л. Шестовъ). Однако, подавляющее число статей принадлежитъ православнымъ. Остальные авторы являются скорее гостями «Пути». Если таковъ безспорный фактъ, то объясненій ему слѣдуетъ искать не въ пристрастїи, хотя бы и вполне законномъ, редактора, но въ объективномъ состояніи русской культуры. Русская религіозная мысль, въ большинствѣ своемъ внѣконфессиональная въ началѣ вѣка, уже ко времени міровой войны вливалась въ церковное православное русло, хотя и сохраняла различную окраску, въ зависимости отъ своихъ истоковъ. «Путь» отражаетъ все эти теченія, въ достаточной широтѣ: отъ о. Булгакова до Бердяева, постоянныхъ участниковъ журнала. Хотя эти два имени исторической судьбой постоянно связываются въ общественномъ мнѣніи, но они выражаютъ полюсы религіозной мысли, не одной русской. Въ послѣ-военномъ «Пути» религіозно-философскія, въ разномъ смыслѣ радикальные теченія, связанная съ прошлымъ интеллигенціи, соединились съ болѣе консервативными и чисто богословскими работами, которыя раньше находили себѣ мѣсто на страницахъ нынѣ не существующихъ академическихъ богословскихъ журналовъ. Къ сожалѣнію, специальная научно-богословскія работы, по весьма понятнымъ причинамъ, не могутъ расчитывать на гостепрїимство «Пути», и этотъ пробѣлъ въ нашей зарубежной литературѣ остается незаполненнымъ.

Можетъ казаться, что «Путь» недостаточно внимателенъ къ консервативнымъ направленіямъ русскаго богословія. Самъ Н. А. Бердяевъ, въ юбилейномъ (къ десятилѣтію) № 49 «Пути», говоря о широтѣ своего журнала, сдѣлалъ оговорку: «Исключены были представители явно обскурантскихъ, враждебныхъ мысли и творчеству направленій, которыя имѣютъ за собой сочувствующую часть эмигрантской массы». Въ дѣйствительности, ограниченіе это едва ли

имѣть реальное значеніе. Какъ бы ни были распространены обскурантскія настроенія, они почти неспособны у насъ принимать форму мысли и, слѣдовательно, претендовать на мѣсто въ культурѣ. Они скорѣе отрицаютъ культуру, философію, богословіе — и потому не имѣютъ никакого общаго языка съ «Путемъ».

До сихъ поръ мы говорили о «Путѣ» архивъ. Но есть и другой «Путь» — боевой органъ редактора. Ихъ соединеніе подъ одной обложкой — дѣло печальной необходимости. Оно разрушаетъ литературный стиль журнала, но съ этимъ приходится мириться. Какъ органъ Н. А. Бердяева, «Путь» не столько служитъ пропагандѣ его личной философіи, сколько страстной борьбѣ за свободу мысли. Онъ защищаетъ то, что въ наши дни наиболѣе угрожаемо и беззащитно: во всѣхъ странахъ, и даже въ мнимо-свободной эмиграціи. Когда гдѣ-нибудь (въ предѣлахъ русскаго духовнаго міра, конечно) совершается покушеніе, теоретическое или практическое, на свободу мысли, Н. А. Бердяевъ разитъ безпощадно, давая полную волю своему темпераменту борца. Тутъ забываются всѣ самоограниченія, налагаемая на себя редакторомъ. Философъ, не богословъ, въ такія минуты Н. А. Бердяевъ способенъ наговорить вещей, которыя, въ глазахъ иныхъ, ставятъ его внѣ Церкви. Но и здѣсь онъ выполняетъ необходимую церковную работу. Таковы его памятные выступленія по поводу осужденія о. Сергія Булгакова московскимъ митрополитомъ. Соединяя бойца и объективнаго редактора въ одномъ лицѣ, Н. А. Бердяевъ вынужденъ предоставлять страницы «Пути» для полемики противъ него самого, приводя въ отчаяніе всякаго любителя классификацій, который еще не потерялъ надежды дать его журналу формальное опредѣленіе. Но эта внутренняя полемика на страницахъ «Пути», показатель повышенной температуры въ церковной средѣ эмиграціи, сообщаетъ журналу настоящую актуальность. Въ немъ явственно бьется пульсъ жизни. «Путь» не только архивъ, но и поле битвы идей.

Г. Федотовъ.

B. Nikolajevsky, M. A. Bakunin in der «Dresdner-Zeitung». International Review for Social History. Leiden, 1936.

Б. И. Николаевскій занялъ одно изъ первыхъ мѣстъ среди историковъ революціонно-соціалистическаго движенія какъ въ Россіи, такъ и въ другихъ странахъ. На такое мѣсто онъ имѣетъ всѣ права благодаря счастливому сочетанію таланта съ огромной эрудиціей и научной добросовѣстностью. Его книга объ Азефѣ — настоящій шедевръ, даже въ чисто-литературномъ отношеніи*). Общее несчастье эмигрантскихъ историковъ, оторванность отъ главныхъ источниковъ, затрудняетъ для Николаевского занятія по русской исторіи. Но, по-

*) Пользуюсь случаемъ, чтобы отмѣтить появленіе его новаго большого труда: *B. Nikolajevsky et O. Manchen-Helfen, Karl-Marx* N. R. F. 1937.

видимому, опасаться конкуренции ему пока не приходится: историческая наука в СССР, по многим причинам, расцвѣта отнюдь не переживаетъ и очень отстала отъ истории литературной, по которой появились и появляются весьма цѣнные труды; пишутся они людьми, чуждыми политикѣ; политическіе же дѣятели и политическіе историки въ мѣру силъ (а мѣра силъ у нихъ большая) мѣшаютъ и научно-литературной работѣ.

Вѣроятно, оторванностью отъ источниковъ объясняется и то, что Б. И. Николаевскій остановился теперь на Бакунина, принадлежащемъ одновременно и русской, и нѣмецкой, и французской, и итальянской, и польской революціонной исторіи. Незданные матеріалы о немъ есть въ разныхъ странахъ Зап. Европы. Разобрать по существу настоящую работу Николаевского я никакъ не могу, да и едва ли это можетъ сдѣлать вообще кто бы то ни было. Она ставитъ себѣ узкую задачу и основана на тщательнѣйшемъ, кропотливѣйшемъ изученіи неизвѣстныхъ источниковъ (въ большинствѣ старыхъ газетныхъ статей). Авторъ изслѣдованія продѣлалъ огромную работу: въ саксонскихъ, прусскихъ, польскихъ бібліотекахъ и архивахъ. Ему надо было установить, что газета «Дрезднер Цайтунгъ» въ 1849 году находилась подъ сильнымъ влияніемъ Бакунина, что онъ самъ помѣщалъ тамъ статьи или, по крайней мѣрѣ, непосредственно воздействовалъ на редакцію газеты. Это и доказано авторомъ посредствомъ сопоставленія разныхъ печатныхъ и архивныхъ источниковъ, посредствомъ политическаго и даже филологическаго анализа помѣщенныхъ въ газетѣ статей. Въ смыслѣ тщательности изслѣдованія эта работа, какъ, впрочемъ, и всѣ другія работы Николаевского, должна быть признана образцовой. Несомнѣнно результатъ ея можетъ имѣть извѣстное значеніе для біографовъ Бакунина. Однако несоизмѣримость затраченнаго усилія и полученнаго результата представляется намъ почти столь же несомнѣнной. Мы не сказали бы этого, если-бъ рѣчь шла о рядовомъ изслѣдователѣ, пишущемъ диссертацию и увлеченномъ суевѣріемъ «незданныхъ матеріаловъ». Но столь талантливый и ученый историкъ, по нашему мнѣнію, имѣетъ другой долгъ передъ небогатой русской исторической наукой. Его работа можетъ быть оправдана развѣ лишь въ томъ случаѣ, если она окажется главой изъ большой біографіи Бакунина. Надо думать, что это такъ и будетъ.

Въ послѣдніе двадцать лѣтъ Бакунину русскіе историки удѣляли много вниманія. Пишутъ о знаменитомъ анархистѣ преимущественно марксисты. Сложная, путаная жизнь Бакунина теперь изучена лучше, чѣмъ жизнь громаднаго большинства другихъ дѣятелей русскаго революціоннаго движенія. Это не значитъ, что она изучена вполне и окончательно. Думаю, что тутъ еще возможны всяческіе сюрпризы. Да и сейчасъ уже тотъ образъ Бакунина, который намѣтился въ трудахъ новѣйшихъ историковъ, весьма далека отъ стараго герценевскаго портрета.

Имѣлъ ли Бакунина право на столь большое вниманіе истори-

ковъ? Какъ мыслитель, какъ писатель, онъ, конечно, не идетъ ни въ какое сравненіе съ Герценомъ; какъ человѣкъ, онъ много меньше замѣчательнъ, чѣмъ Пестель, Лукинъ, Муравьевы, чѣмъ нѣкоторые другіе революціонные дѣятели, которыми историки и биографы занимались гораздо меньше, чѣмъ имъ. Но фигура его и жизнь были чрезвычайно красочны, — недаромъ соблазнились ими и драматурги. Имѣло, вѣроятно, значеніе и другое обстоятельство: его необыкновенная современность. Въ своей работѣ Б. И. Николаевскій приводитъ (приложеніе 5-ое) статью Бакунина: «Русско-германская война», въ которой тогъ, доводами довольно близкими къ доводамъ Ленина и Троцкаго, защищаетъ массовый терроръ и даже указываетъ на необходимость повторенія сентябрьскихъ убійствъ. Немало такихъ же мыслей есть и въ другихъ произведеніяхъ Бакунина, — интересъ къ нему разныхъ Стекловыхъ былъ не вполне случаенъ. Очень интересно будетъ узнать, какое освѣщеніе дастъ этой фигурѣ русскій марксистъ-небольшевикъ. Во всякомъ случаѣ, оставаться только историкомъ въ книгѣ о Бакунинѣ современному писателю будетъ весьма нелегко.

Написана работа Б. И. Николаевского прекрасно. Попутно имъ, съ громадной затратой труда, возстановленъ привлекательный образъ малоизвѣстнаго или, вѣрнѣе, почти вовсе неизвѣстнаго, нѣмецкаго революціонера Виттига. Это былъ человѣкъ, сорвавшійся со страницъ Шпильгагена. Читать о немъ въ пору Гитлера и странно, и смѣшно, и весело.

Не совсемъ понятно, почему собственно Международный институтъ соціальной исторіи въ Амстердамѣ выпустилъ работу русскаго ученаго по-нѣмецки. Въ Германию это изданіе допущено не будетъ, едва ли будетъ допущено и въ Австрію, а нѣмецкихъ читателей-эмигрантовъ много меньше, чѣмъ русскихъ. Правда, въ концѣ книги дается краткое изложеніе ея содержанія на другихъ языкахъ. Французскій переводъ сдѣланъ очень плохо, и это особенно досадно въ подобной работѣ, свободной отъ какихъ бы то ни было погрѣшностей.

М. А.

Сборникъ статей: М. М. Винаверъ. Русская общественность начала XX-го вѣка. Парижъ, 1937.

Заглавіе точно передаетъ содержаніе книги. Друзья и товарищи М. М. Винавера — юристы, политики, литературные критики — выпустили сборникъ, посвященный памяти покойнаго. Каждый изъ участниковъ сборника рисуетъ образъ и жизненную судьбу М. М. Винавера, но, говоря о немъ какъ о партійно-политическомъ дѣятелѣ, еврейскомъ общественникѣ, историкѣ и теоретикѣ права, адвокатѣ или редакторѣ, каждый касается и болѣе общихъ темъ. Если перефразировать извѣстный афоризмъ, можно сказать, что каждый изъ авторовъ — чрезъ образъ и судьбу Винавера выходитъ далеко за

его предѣлы... Это придаетъ книгѣ болѣе широкій интересъ и общее значеніе.

Изъ этого сборника впервые становятся извѣстны стороны характера М. М. Винавера, о которыхъ знали лишь узкіе круги посвященныхъ.

Въ очень интересныхъ очеркахъ Н. Н. Самойлова и М. Л. Каганера разсказывается о вкладѣхъ Винавера въ русское право и юриспруденцію: въ судовоустройство и изслѣдованіе методовъ толкованія законовъ и источниковъ русскаго права. М. М. Винаверъ былъ не только борцомъ за право, но и его творцомъ; не только политикомъ права, но и его историкомъ и теоретикомъ.

Традиционное представленіе о формальной или холодной логикѣ Винавера, о его замѣчательномъ, но почти механически дѣйствовавшемъ мозговомъ аппаратѣ, — невѣрно, потому что односторонне. М. М. Винаверъ придавалъ громадное значеніе интуитивному познанію права, эстетическому воспріятію міра и съ нимъ вмѣстѣ и «свѣтлымъ», психологическимъ и своеобразно-эстетическимъ основаніямъ института, въ сферѣ коего правоотношеніе создавалось и развивалось.

М. М. Винаверъ создалъ и редактировалъ «Вѣстникъ гражданского права», за которымъ внимательно слѣдили не одни только цивилисты. Къ концу своей жизни, уже въ эмиграціи, Винаверъ близокъ подошелъ къ редактированію литературно-критическаго журнала въ Парижѣ. Сотрудники «Звена» З. Н. Гиппиусъ и Г. В. Адамовичъ передаютъ сейчасъ гласности нѣкоторые эпизоды и штрихи изъ этой закулисной дѣятельности Винавера-редактора.

Большая часть статей и сборника посвящена, естественно, политической дѣятельности Винавера. П. Н. Милюковъ, В. А. Маклаковъ, В. А. Оболенскій, С. В. Познеръ, П. П. Юреневъ говорятъ о Винаверѣ какъ участникѣ освободительнаго движенія, — кадетѣ, первоумице, борцѣ за еврейское «полноправіе», членѣ крымскаго правительства и т. д.

Здѣсь много очень интереснаго. Историкъ русскаго освободительнаго движенія, первой Думы или партіи к. д. обнаружитъ, наряду съ общеизвѣстнымъ, находки цѣннѣйшія. Достаточно сказать, что П. Н. Милюковъ, упорно отказывающійся писать мемуары, вспоминая о Винаверѣ, какъ блюститель кадетскаго «правовѣрія», и «стратегъ» партіи, попутно вспоминаетъ и о себѣ, разсказываетъ о собственной роли партійнаго «тактика»: «Дополняя другъ друга, мы обыкновенно успѣвали выработать компромиссное рѣшеніе въ предѣлахъ «генеральной линіи» партіи и примирить въ немъ очень разнообразныя партійныя элементы».

Въ подписанномъ П. Милюковымъ предисловіи подчеркнута, что «составители сборника не хотѣли, чтобы онъ превратился въ рядъ славословій болѣе или менѣе обычныхъ въ воспоминаніяхъ о покойныхъ». Поэтому составители обратились къ лицамъ различныхъ отѣнковъ политическихъ взглядовъ, предавая, что авторы дадутъ оцѣн-

ку съ разныхъ, можетъ быть, даже противоположныхъ, точекъ зрѣнія».

Это справедливо лишь съ двумя оговорками. «Различные оттѣнки политическихъ взглядовъ» не вышли за предѣлы к. д.-ской или бывшей к. д.-ской партіи. Оцѣнка политической дѣятельности Винавера не идетъ дальше внутрипартійной оцѣнки, — что нанесло ущербъ даже фактическому описанію дѣятельности М. М. Винавера (такъ, о многотрудной роли его на посту предсѣдателя Комиссія по національнымъ и областнымъ дѣламъ, образованной Совѣщаніемъ по работѣ закона о выборахъ во Всероссийское Учредительное Собраніе, даже не упоминается!). Это, однако, не оградило отъ уничтожающаго развѣчванія на страницахъ сборника, посвященнаго памяти Винавера, того, въ чемъ самъ онъ не переставалъ видѣть главный смыслъ своей жизнедѣятельности: «Въ первой Думѣ была вся наша жизнь», писалъ М. М. Винаверъ въ 1910 году и этому мнѣнію онъ оставался вѣренъ до конца своихъ дней.

Въ похвальномъ отталкиваніи отъ чрезмѣрныхъ «славословій», «обычныхъ въ воспоминаніяхъ о покойныхъ», составители сборника не избѣгли другой крайности, совершенно необычной въ воспоминаніяхъ о покойныхъ — допустили отрицаніе главнаго жизненнаго дѣла помнимаго. Мы имѣемъ въ виду статью В. А. Маклакова, помѣщенную въ сборникѣ.

Въ ней имѣются, конечно, и «славословія» по адресу усопшаго. Но всѣ они направлены въ адресъ Винавера-человѣка, адвоката, юриста. Въ отношеніи же къ его политической дѣятельности статья, можно сказать, безопадна. Въ своемъ поминальномъ словѣ В. А. Маклаковъ не только не умалчиваетъ о томъ, что ему представляется неосмысленнымъ, вреднымъ и даже преступнымъ въ к. д.-скомъ руководствѣ освободительнымъ движеніемъ и, особенно, — первой Думой. Наоборотъ, въ этомъ какъ разъ главный упоръ и нервъ статьи, главное, что вдохновляетъ автора и по отношенію къ чему все прочее является лишь свѣтлымъ фономъ и антитезой. Надѣленный громадными дарованіями человѣкъ и юристъ и — бездарно прожитая политическая жизнь: творецъ и жертва бездарной русской общественной начала XX вѣка.

Безопасность къ покойному Винаверу-политику смягчается лишь аналогичной безопасностью автора и ко всѣмъ другимъ, заключаемымъ почему-то въ кавычки, «лидерамъ» к. д.-ской партіи. Близкій другъ и товарищъ Винавера по 1-ой Думѣ и 17-му году, Кокоринъ для вышшняго Маклакова не только «тонкій юристъ, искренній поклонникъ правового порядка, но и — «фанатикъ»; Милюковъ и Пеструковичъ — «доктринеры». Но остріе сарказма Маклакова направлено противъ «восторженнаго культа» первой Думы, сохранившагося у Винавера до смерти; противъ его высокой оцѣнки Муромцева; противъ «высокопарности» самаго литературнаго стиля, въ которомъ Винаверъ «пѣлъ» Думу, — ту самую, которую Маклаковъ считаетъ «неврастенической», «зависѣвшей отъ улицы» и, ху-

же того, создававшей лишь «соблазнъ, развращающій правовое сознаніе общества»!.

В. А. Маклакову сейчасъ кажется, что «не насиліемъ, а волей народа держалось русское самодержавіе» (даже въ XX вѣкъ и даже послѣ пятого года!); что «вѣра въ зрѣлость русскаго народа была простымъ суевѣріемъ»; что то, что Маклаковъ называетъ русской конституціей, завоевано было не народнымъ движеніемъ, а явилось даромъ народу, для народа и въ цѣляхъ его перевоспитанія; что «никого лучшаго (чѣмъ основные законы 1906 г.) тогда придумать было нельзя»; что первая Дума была совершенно не работоспособна и являла собой «безответственный митингъ»; что все отношенія партій большинства этой Думы были «мало честными» и т. д. Онь утверждаетъ сейчасъ то самое, что въ свое время, ближе къ событіямъ, утверждали даже далеко не все мирнообновленцы и октябристы, и что совпадало скорѣе съ взглядами, такъ называемыхъ, «націоналистовъ». Ничего другого не утверждали вѣдь и Витте со Столыпиннымъ.

Очень сочувственно отозвавшійся на книгу В. А. Маклакова: «Власть и общественность на закатѣ старой Россіи», М. А. Алдаидъ замѣтилъ («Сегодня» № 133), что не вполне увѣренъ, чтобы В. А. Маклаковъ, находящій «четырехвостку» преждевременной въ Россіи 1905 г., находить ее умѣстной для Россіи теперь. «Я не увѣренъ даже и въ томъ, — прибавляетъ болѣе чѣмъ благожелательно настроенный рецензентъ, — что В. А. Маклаковъ считаетъ всеобщее избирательное право своевременнымъ для какихъ бы то ни было другихъ странъ».

По ознакомленіи со статьей, посвященной В. А. Маклаковымъ въ сборникъ памяти М. М. Винавера, всякая «неувѣренность» отпадаетъ и превращается въ полную увѣренность: Маклаковъ окончательно избѣрился въ значеніи выборовъ, предпочитая имъ представительство по назначенію. Онь сочувственно напоминаетъ порядокъ формировація даже «Государственного Совѣщанія» и «Предпарламента» 17 года на основѣ «представительства бытовыхъ группировокъ по назначенію», — забывая лишь, что «назначеніе» сводилось къ официальному утвержденію избранныхъ внутри каждой изъ «бытовыхъ группировокъ» представителей, и что ни Государственное Совѣщаніе, ни Предпарламентъ не были по самому своему заданію ни длительными, ни законодательными учреждениями.

Обозрѣвая и осмысливая русское освободительное движеніе изъ 30-лѣтняго далека, В. А. Маклаковъ возлагаетъ главную вину за его крушеніе на бездарное руководство освободительнымъ движеніемъ. Однако, если подойти къ тѣмъ же событіямъ не въ свѣтъ нынѣшнихъ настроеній, — «въ сердцахъ восторженныхъ когда-то есть роковая пустота», — а въ непосредственномъ ихъ воспріятіи современниками, то окажется, что нѣкоторыя изъ нынѣшнихъ сужденій и оцѣнокъ Маклакова не совпадаютъ съ тогдашними сужденіями и оцѣнками даже очень умѣренныхъ круговъ.

Графъ Гейденъ, какъ извѣстно, сидѣлъ на крайнемъ правомъ

флангъ первой Думы. Витте пробовалъ и его пригласить въ свой кабинетъ. У Гейдена явно отсутствовали тѣ «доктринерскія» прелестія, за которыя Маклаковъ не перестаетъ корить Милюкова. Однако, и Гейденъ, какъ и Шиповъ, отклонили сдѣланное имъ предложеніе, истолковавъ его, какъ «приглашеніе на роль наемныхъ дѣтей при дамахъ легкаго поведенія».

И не подъ непосредственнымъ только впечатлѣніемъ, а въ историческомъ аспектѣ, такіе люди, какъ глава октябристовъ, А. И. Гучковъ или личный врагъ первой Думы и убѣжденный ненавистникъ освободительнаго движенія, какъ В. І. Гурко (см. его замѣчательный этюдъ «Царь и Царица») согласно признавали, что нравственное состояніе правившаго въ старой Россіи слоя достигло такихъ формъ и степеней разложенія, что и не будь Распутина, крушеніе русской государственности было бы неминуемо.

Сужденія и оцѣнки, которыя В. А. Маклаковъ развиваетъ и защищаетъ вотъ уже 9 лѣтъ, совершенно не считаются съ конкретной обстановкой, въ которой оцѣниваемые событія исторически протекали. Сужденія и оцѣнки эти статичны, не учитываютъ динамики событий и, потому, они внѣжизненны или безжизненны. Сужденія и оцѣнки эти производятся съ точки зрѣнія отвлеченной абсолютизаціи права — очень узкаго, формальнаго, писаннаго русскаго закона. При этомъ В. А. Маклаковъ полагаетъ, что строжайшее соблюденіе оффиціального русскаго права являлось абсолютной нормой не только для тѣхъ, кто его создавалъ, но и для тѣхъ, противъ кого оно иногда прямымъ образомъ бывало направлено. Съ этимъ недоразумѣніемъ связаны юридическій легитимизмъ политической исторіософіи Маклакова, о которомъ я подробно говорилъ въ 38-ой книгѣ «Совр. Записокъ».

В. А. Маклаковъ напоминаетъ наполеоновскія слова: «политика есть искусство достигать намѣченныхъ цѣлей наличными средствами». Но «аналичествовала» ли въ 90-омъ году законность? Могла ли она быть въ періодъ революціи? И не обращается ли въ такомъ случаѣ вся критика Маклакова доктринерства «далекихъ отъ конституціоннаго пониманія», «не настоящихъ политиковъ», на самого критика — не политика вовсе, а формальнаго законника, легиста, вмѣстѣ съ реальной жизнью обличившаго самого себя?

Трудно придумать болѣе яркій образецъ вѣвременнаго — или анти-историческаго подхода къ политическимъ событіямъ, нежели доводъ Маклакова въ пользу «конституціи» шестого года отъ того факта, что «о такой конституціи въ 80-ыхъ годахъ не мечтали»!.

Конечно, законы шестого года при Александрѣ II или даже III-емъ были бы громаднымъ шагомъ впередъ. Но послѣ того, какъ народное море пришло въ движеніе и страна вступила на путь самоосвобожденія снизу, — мечтамъ, какъ годамъ, уже «нѣтъ возврата».

В. А. Маклаковъ сейчасъ рѣшительно беретъ сторону правительства, Горемыкина и Столыпина, противъ первой Думы. Онъ полагаетъ, что правительство «принуждено было рѣзко отвѣтить» Ду-

ми: на аграрные «эксцессы» послѣдней: кадеты «сами провоцировали этотъ рѣзкій отвѣтъ»; Дума «хотѣла идти большевистскими (!) темпами»; думскія пренія объ отпѣнѣ смертной казни «не внушаютъ къ себѣ уваженія» Маклакова; и т. д.

Авторъ предвидитъ, что его слова «и теперь покажутся многимъ ересью». Ересью? Врядъ ли. Мнѣніе это извѣстно. Оригинально лишь то, что ихъ высказывать сталъ бывший товарищъ по партіи и, думалось, политическій единомышленникъ М. М. Винавера, и что эти взгляды бывлой соратникъ Винавера счелъ нужнымъ развить на страницахъ сборника, посвященнаго памяти покойнаго перводумца.

Всякій въ правѣ, конечно, предпочесть «законопослушную», столыпинскую Думу первой, «высокомѣрной», или «тусклые и сѣдые», столыпинскіе годы — «блестящимъ» и бурнымъ 1905-1906 гг. Это дѣло индивидуальнаго вкуса, темперамента, если угодно, — возраста. Но врядъ ли В. А. Маклаковъ исторически правъ, когда въ заслугу 4-ой Думѣ онъ ставитъ то, что она, не въ примѣръ первой, «стала поспѣшно импровизировать соглашеніе съ властью».

Каковы бы ни были намѣренія четвертой Думы, въ дѣйствительности и ей не удалось «сэмпровизировать» соглашеніе съ властью. Это могло бы служить лишнимъ доводомъ къ тому, что соглашеніе объективно было неосуществимо. Во всякомъ случаѣ «послѣдствія», чтобы не говорить о достиженияхъ, которыя имѣла 4-ая Дума, уже ни въ коемъ случаѣ не могутъ почитаться, съ точки зрѣнія Маклакова, болѣе благоприятными, нежели послѣдствія первой Думы. Гдѣ же основанія къ тому, чтобы восхвалять четвертую Думу и поносить первую?

Въ смыслѣ реальныхъ политическихъ послѣдствій дѣятельность В. А. Маклакова въ четвертой Думѣ не многимъ отличалась въ своемъ существѣ отъ дѣятельности, въ другой обстановкѣ и иной психологической атмосферѣ, Винавера, Кокошкина и Петрункевича. Фактически всѣ они одинаково подрывали старый порядокъ и самодержавную власть. Это можно оцѣнивать по разному, положительно или отрицательно, но, какъ фактъ историческій, это неотмѣнно никакимъ послѣдующимъ историчесофствованиемъ.

М. Вишнякъ.

Б. Никитинъ. Рокровые годы. Новыя показанія участника. Парижъ. 1937.

Никитинъ — бывший начальникъ петроградской контрѣ-развѣдки въ эпоху Врем. Правительства, занимавшій этотъ постъ съ марта мѣсяца по июль 1917 г. Показанія очевидца, наблюдавшаго событія съ такого удобнаго пункта, какъ штабъ петроградскаго военнаго округа, могли бы представить значительный интересъ, — если бы авторъ сдержалъ данное имъ въ предисловіи обѣщаніе писать лишь о фактахъ, которые всѣ могутъ быть доказаны историкомъ. Это однако не такъ, Никитинъ въ своей книгѣ наряду съ лично имъ ви-

дѣльнымъ о многомъ передастъ съ чужихъ словъ, часто недостаточно провѣренныхъ.

Тенденціозность повѣствованія Никитина, какъ и у большинства мемуаристовъ опредѣленнаго лагеря, вытекаетъ изъ его остро-враждебнаго отношенія къ февральской революціи. Авторъ до сихъ поръ по власти привычныхъ шаблоновъ: «революція пришла въ армию съ тыла», Россію погубила «слабость» Врем. Правительства, и т. п. Долою истинны, заключающуюся въ упрощенныхъ формулахъ, принимаетъ онъ за всю правду о причинахъ исторической катастрофы. Для Никитина словно не существуетъ огромнаго количества опубликованныхъ за истекшія десятилѣтія документовъ и матеріаловъ, исключających возможность слишкомъ простыхъ объясненій произошедшаго въ 1917 г. обвала Россіи. Онъ точно не подозреваетъ о дѣйствіи болѣе глубокихъ историческихъ причинъ и стихійныхъ силъ, явившихъ на исходѣ русской революціи, да и во всемъ мірѣ приведшихъ къ ослабленію демократіи.

Но и въ спорныхъ политическихъ разсужденіяхъ и оцѣнокъ автора, разсказы Никитина о непосредственно имъ пережитомъ не лишены интереса, хотя дѣйствительно «новыми» въ его показаніяхъ являются лишь детали событій, неоднократно уже описанныхъ.

Руководимой Никитинимъ контръ-развѣдкѣ пришлось сыграть крупную роль въ раскрытіи подозрительныхъ сношеній большевиковъ съ центрами германскаго шпіонажа за границей. Сообщаемыя авторомъ подробности этого дѣла оставляютъ впечатлѣніе полной достовѣрности и подкрѣпляютъ тезисъ о предательствѣ большевиковъ. Разсказываетъ Никитинъ и объ извѣстномъ дѣлѣ «публициста К.», — почему то считая нужнымъ сохранять анониматъ этого вполнѣ изобличеннаго германскаго агента, сотрудника газеты «Гражданинъ» Кольшко. Его имя давно огашено въ печати, въ частности и въ книгѣ сослуживца Никитина по Петрограду, ген. Половцева («Дни Затмѣн»). И тутъ же, называя на этотъ разъ имя полностью, Никитинъ не задумывается повторять голословныя и не подтвердившіяся обвиненія, пущенныя когда то по адресу другого лица: вещь, съ точки зрѣнія добрыхъ литературныхъ нравовъ, явно недопустимая.

Красочны у Никитина описанія нѣкоторыхъ событій той эпохи, участникомъ или свидѣтелемъ которыхъ ему довелось быть, — такъихъ, какъ «штурмъ» дачи Дурново, июльское выступленіе большевиковъ.

Сколь далеки разсказы современниковъ отъ тѣхъ стилизацій, которыя впоследствии создаются историками, какъ охотно они находятъ глубокой смыслъ и разумную логику въ томъ, что на дѣлѣ бывало слѣдствіемъ слѣбнаго случая или вліянія факторовъ второстепенныхъ. Въ петроградскихъ «историческихъ» событіяхъ, не исключая, вѣроятно, и «потрясшаго весь міръ октябрьскаго переворота», не всегда легко разглядѣть активную, сознательную борьбу двухъ силъ, сторонниковъ и противниковъ опредѣленнаго политическаго принципа: чаще это похоже на нелѣпое, вялое топтаніе на мѣстѣ двухъ

безсильнй, въ ожиданіи, что непредвидѣнная случайность рѣшитъ исходъ «борьбы» въ ту или другую сторону; трудно иногда у борющихся различить не то, что воодушевленіе, но даже простое мужество. И такъ съ обѣихъ сторонъ, — одинаково у защитниковъ существовавшаго порядка и у приверженцевъ большевиковъ. Вотъ описываемая Никитинымъ сцена ночной осады дачи Дурново. Для штурма дачи, окупированной всего нѣсколькими десятками хулиганья, мобилизовано отборное войско всѣхъ родовъ оружія: нѣсколько надежныхъ ротъ пѣхоты, казачій полкъ, броневики. Тѣмъ не менѣ собранная на мѣстѣ армія остается въ нерѣшительности. Лично руководившій операцией ген. Половцевъ, проникнувъ съ тремя офицерами внутрь дачи, идетъ къ окну и командуетъ: «впередъ!». «Но войска стоятъ какъ вкопанныя. Половцевъ пускается на хитрость: «преображенцы, что же вы стоите? Семеновцы уже вошли», говоритъ онъ у одного окна преображенцамъ. Быстро переходить на другой фасъ и приглашаетъ уже семеновцевъ послѣшить, «чтобы догнать преображенцевъ». Потомъ возвращается къ преображенцамъ», и т. д. Наконецъ, понемногу отдѣльные солдаты втягиваются въ домъ. Но стоило осажденнымъ бросить нѣсколько ручныхъ гранатъ (не взорвавшихся!), какъ солдаты «опрометью бросаются назадъ, бѣгутъ черезъ дворъ на набережную, а за ними убѣгаетъ и все наше войско»... Ну какъ могло быть «сильнымъ» Врем. Правительство, имѣя въ своемъ распоряженіи столь доблестную воинскую силу? Въ июльскіе дни, во время выступленія большевиковъ, вѣрный правительству конный отрядъ съ двумя орудіями, попавъ у Литейнаго моста подъ случайный обстрѣлъ, немедленно «дернулъ вразсыпную». Спасъ здѣсь если не положеніе, то честь одинъ офицеръ, шт.-капитанъ Цагурия: онъ не только остался на мѣстѣ, но съ помощью двухъ другихъ нерастрѣявшихся открылъ по большевикамъ огонь изъ брошеннаго отрядомъ орудія*). Не болѣе героическимъ, впрочемъ, было поведеніе вооруженной силы — огромной! — и у большевиковъ въ эти дни**).

Паняка и въ этомъ лагерѣ возникаетъ по всякому поводу. Безчисленная толпа, осаждавшая Таврической дворецъ, въ ужасѣ разбѣжалась, когда среди нея же самой раздались случайныя выстрѣлы.

*) Увы, много воды утекло съ тѣхъ поръ. Когда то горячій русскій патриотъ, нынѣ, въ эмиграціи, Цагурия — крайній грузинскій сепаратистъ, призывающей своихъ соплеменниковъ сражаться въ союзѣ съ Гитлеромъ и Муссолини противъ Москвы, дабы выполнить «благородную миссію» «расчлененія Россіи на окрошку мелкихъ государствъ» (D. de Souzamy. Tiflis contre Moscou. Bruxelles. 1937).

**) Одинъ изъ «возставшихъ» большевицкихъ полковъ въ полномъ вооруженіи двигался по Невскому. Раздались какіе-то выстрѣлы. Командиръ колонны, вѣхавшій на автомобилѣ, обернулся и — «увидѣлъ только пятки разбѣгавшихся во всѣ концы солдатъ. Черезъ нѣсколько секундъ автомобиль остался одинъ среди Невскаго» (Н. Сухановъ. Записки о революціи. Т. IV).

«Возстаніе» было окончательно потушено разразившимся ливнемъ. Опубликованіе документовъ объ измѣнѣ большевиковъ, которому приписывается быть можетъ слишкомъ рѣшающее значеніе Никитинъ, лишь довершило начавшійся распадъ. Но не малая растерянность, по свидѣтельству Никитина, владѣла и сидѣвшимъ въ Таврическомъ дворцѣ Совѣтомъ.

Разсказъ Никитина о времени, послѣдовавшемъ за іюльскими днями, повидимому, наиболѣе тенденціозенъ. Раздраженный мало рѣшительными дѣйствіями Врем. Правительства, связаннаго Совѣтомъ и партіями, авторъ готовъ вѣрять всякому вздорному компрометирующему его слуху. Одинъ только примѣръ. Никитинъ разсказываетъ, будто бы чины контръ-развѣдки, посланные имъ для ареста Троцкаго, застали у него на квартирѣ... министра Чернова, воспрепятствовавшаго, именемъ Врем. Правительства, аресту. Но автору слѣдовало бы согласовать свой разсказъ съ версіей о томъ же его ближайшаго начальника, ген. Половцева (этого удивительнаго «Главнокомандующаго войсками Петроградскаго округа», который, обвиняя въ слабости Врем. Правительство, самъ разсказываетъ, какъ онъ, главнокомандующій, однажды маршировалъ по улицамъ Петрограда въ большевникой демонстраціи подъ плакатами съ надписью «Долой министровъ-капиталистовъ»...). По утверженію Половцева, на квартирѣ Троцкаго чины контръ-развѣдки были встрѣчены даже не Черновымъ, а — самимъ Керенскимъ! — Что нибудь ужъ одно...

«Будущій историкъ» не пройдетъ, конечно, мимо показаній Никитина, Половцева и имъ подобныхъ, но онъ используетъ ихъ лишь какъ очень сырой и требующій серьезной критической провѣрки матеріалъ.

В. Рудневъ.

Сергій Третьяковъ. Страна перекрестокъ (Пять недѣль въ Чехословакии). Изд. «Советскій писатель». Москва, 1937.

Русскихъ книгъ о Чехословакии, даже переводныхъ съ чешскаго, какъ въ Советскомъ Союзѣ, такъ и за рубежомъ, немного. Если еще изъ этого небольшого списка вычеркнуть все то, что посвящено политикѣ и участію чехословаковъ въ революціи, то онъ окажется совсемъ ничтожнымъ. Причинъ тому, повидимому, двѣ. Прежде всего даже та часть чешской литературы, которая относится къ Советскому Союзу безъ всякой вражды (а таково сейчасъ почти всеобщее настроеніе), настолько пропитана демократическимъ духомъ, что она, такъ сказать, непригодна въ качествѣ духовной пищи для советскихъ читателей. Другая коренится глубже и связана съ прошлымъ: въ до-революціонной Россіи литература о Чехіи или переводы съ чешскаго и словацкаго языка были болѣе чѣмъ скудны. Нѣсколько научныхъ работъ о временахъ давно минувшихъ, работъ весьма серьезныхъ и нужныхъ, но спеціальныхъ, вотъ все, что можно было найти до и во время войны въ Россіи, — въ то время какъ на чешскомъ яз-

къ желавшій можеть прочесть всю прежнюю и новѣйшую русскую литературу, будь это Буквинъ, Эренбургъ или Л. Леоновъ.

Поэтому особый интересъ вызываетъ каждая русская книга, которая трактуеть о Чехословакии, ея культурѣ и искусствѣ. За послѣднѣе нѣсколько лѣтъ, когда въ СССР постеленно ослабѣвало непримиримое отношеніе къ «буржуазнымъ» государствамъ, когда настала эра новыхъ договоровъ и пактовъ, Чехословакия, вслѣдъ за Франціей, возбуждала большой интересъ въ совѣтской печати и у гражданъ СССР. Поѣздка президента Бенеша (тогда еще министра иностранныхъ дѣлъ) въ Россію показала это въ достаточной мѣрѣ. Участились поѣздки совѣтскихъ культурныхъ работниковъ уже не только въ Германію и Францію, но и въ Чехословакию. Одну изъ самыхъ значительныхъ экскурсій этого рода представляла группа журналистовъ и писателей, прѣзжавшая осенью 1935 года отъѣздъ визитъ своимъ чехословацкимъ коллегамъ. Въ эту группу входилъ и С. Третьяковъ, редакторъ «Литературной Газеты» и авторъ ряда эсэистическихъ работъ о Китаѣ.

С. Третьяковъ безспорно не только талантливый писатель, но и культурный человекъ, интересующійся всѣми сторонами жизни. Въ немъ еще много отъ довоеннаго интеллигента крайнихъ эстетическихъ направленій. До сихъ поръ онъ очень многое равняетъ, напримѣръ, исключительно по поэзії Маяковского. Несмотря на то, что онъ былъ профессоромъ въ какомъ-то китайскомъ университетѣ, ни въ его произведеніяхъ, ни въ немъ самомъ нѣтъ сухости и педантизма, наоборотъ, его можно скорѣе обвинить въ большой легковѣрности, присущей лишь мотылькамъ и журналистамъ.

Эти свойства автора объясняютъ какъ положительныя, такъ и отрицательныя свойства книги С. Третьякова «Страна перекрестокъ». Небольшая книжка написана живо, занимательно. Однако читатель, если ему удастся достать болѣе безпристрастныя книги объ этой странѣ или самому въ ней побывать, будетъ пораженъ, какъ все — жизнь, люди, настроенія — не похоже на описанія С. Третьякова. Къ слову сказать, С. Третьякову въ моментъ, когда онъ писалъ свою книгу, было трудно найти правильный тонъ. Съ одной стороны, буржуазное правительство, строй жизни и искусство полагалось въ СССР поносить. Съ другой стороны, къ самой Чехословакии, какъ къ дружественной державѣ, необходимо относиться положительно. Изъ этого противорѣчія проистекаетъ, что авторъ расписываетъ кризисъ, безработицу, буржуазныя несправедливости, якобы царящія въ Чехословакии, и въ то же время восторгается крѣпостью и правяльной устремленностью народа, забывая, что въ демократическихъ государствахъ такія неувязки не встрѣчаются.

Но оставимъ въ сторонѣ общій предвзятый тонъ, съ которымъ совѣтскіе писатели пишутъ о Европѣ и обратимся къ частностямъ. Уже въ предисловіи мы наталкиваемся на рядъ туманностей. Такъ, напримѣръ, на стр. 12-ой читаемъ: «Чешскій король Юрій Подебрадскій, какъ говорятъ, былъ пропагандистомъ идей нѣкоего союза

народовъ». Что должно означать выраженіе «какъ говорятъ», трудно опредѣлить, когда статуя Юрія Подебрадскаго давно изученъ и оупбликованъ и никакихъ сомнѣній въ немъ не можетъ быть. Но оставимъ далекое прошлое и перейдемъ къ XIX столѣтію. «Начало XIX-го столѣтія выдвинуло такія фигуры европейскаго масштаба, какъ первый историкъ Чехій Палацкій, создатель чешской грамматики Добровскій, поэтъ Махъ». Но поэтъ Махъ живеть и здаетствуетъ въ наше время, въ то время какъ въ началѣ прошлаго столѣтія жилъ писатель-романтикъ Маха, столѣтіе со смерти котораго недавно праздновала вся Чехословакія. Изъ области литературы мы тутъ же узнаемъ, что К. Гавличекъ-Боровскій «продолжаетъ сатирическую линію Гейне». Если ужъ говорить о хронологіи, то «продолжать» могъ бы, наоборотъ, только Гейне. Такъ же свободно историческій Владиславскій залъ названъ Вацлавскимъ и о немъ говорится, что тамъ бывали турниры (правильнѣе — карусели), но ни словомъ не упоминается ни о короляхъ, которые тамъ принимали, ни о президентѣ, который тамъ избирается. Нельзя кстати не отмѣтить страннаго факта, что о Т. Г. Масарикѣ въ книгѣ нѣтъ почти уломинаній ни въ числѣ великихъ людей и создателей Чехословакіи, ни въ ряду ученыхъ.

Если мы перейдемъ въ область искусства, то туманности еще увеличатся. Такъ, барокко называется почему то «мускулистымъ», хотя мало въ челоуѣческой исторіи стилей болѣе мягкихъ; статуя Карла IV-го, поставленная въ серединѣ XIX-го вѣка, причислена къ готическимъ фигурамъ Карлова моста (вообще большинство ихъ чистый барокко) и т. д. Уже совершенная путаница царить въ главѣ о народномъ искусствѣ, куда, напримѣръ, причислены восковые «пучки», т. е. малые портреты мѣшанскаго характера. Есть и просто явные ошибки, такъ, названіе книги Незвала «Стекланная крылатка» переведено, какъ «Стекланный кубокъ». Современной литературѣ посвящено довольно много страницъ, но это не вся литература чехословацкая въ цѣломъ, а лишь произведенія коммунизирующей группы, которая въ данный моментъ, послѣ процесса, сплошь «троцкистская» до такой степени, что даже отваживается писать противъ совѣтскихъ событий.

Въ заключеніе должно отмѣтить, что книжка С. Третьякова все же является шагомъ впередъ къ болѣе или менѣе объективному изображенію Чехословакіи. Въ ней нѣтъ и слѣда той озлобленности и насмѣлки, которую мы находимъ въ подобномъ же болѣе раннемъ произведеніи И. Эренбурга, нѣтъ въ ней и той коммунистической предвзятости, которая характерна для другихъ совѣтскихъ брошюръ о Чехословакіи.

Ч. Д.

Б. Солоневичъ. Молодежь и ГПУ. Изд. «Голосъ Россіи». Софія, 1937.

«Эта книга — не романъ и не выдумка... Здѣсь только сумма встрѣчъ и наблюденій за 14 лѣтъ совѣтской жизни, и на этихъ страницахъ нѣтъ выдуманныхъ лицъ и фантастическихъ сюжетовъ... (Это) боевой рапортъ зарубежной Россіи о томъ, что мы видѣли,

пережили и перечувствовали. И, можетъ быть, отчасти даже хорошо, что все это выглядит литературно не очень «обработаннымъ». Такъ, въ главѣ «Вместо пролога», Б. Солоневичъ говоритъ о своей книгѣ.

Дѣйствительно, нѣтъ никакихъ оснований предполагать, что въ этой повѣсти персонажи выдуманы. Нѣтъ ничего невѣроятнаго въ существованіи Оли, Володи, Кости, Миши, Димы и другихъ, такъ же, какъ и самого «дяди Боба» — Егориса Солоневича.

Больше того: нѣтъ причинъ сомнѣваться и въ рассказанныхъ фактахъ. Все могло быть именно такъ. Оля — случайно опоздала на пароходъ, увозившій ея отца въ эмиграцію, и оказалась трагично одинока. Володя — сознательно остался, хотя его участие въ «бѣломъ» движеніи ставило его подъ разстрѣль. Самъ «дядя Бобъ» нѣмѣнно вернулся изъ командировки въ Константинополь, потому что въ 1920 г. онъ не могъ предвидѣть, въ сколькихъ тюрьмахъ и лагеряхъ ему предстоитъ побывать, такъ какъ и вообще никто не зналъ тогда, къ чему придетъ совѣтская власть. Григъ — отъ страха передъ ЧК сталъ сексотомъ, а Мишку ГПУ заставило стать «палачемъ», пока онъ не спился и не сгинулъ — тоже бываетъ. Другіе юноши и дѣвушки, кто прошелъ черезъ ужасъ постройки Кемско-Ухтинскаго тракта, кто Бѣломорско-Балтійскаго канала, кто Соловковъ, кто сибирскихъ лагерей. Совѣтская власть и 14-лѣтнихъ считаетъ отвѣстными вплоть до «высшей мѣры», такъ какъ-же имъ не быть въ тюрьмахъ и лагеряхъ.

Каждому эмигранту полезно вспоминать такіе факты, чтобы не терять реальнаго пониманія «отечества».

Бѣда этой книги заключается въ томъ, что она такъ заидеализирована, что въ ней почти не осталось слѣда совѣтской атмосферы.

Дима — это «юный рыцарь безъ страха и упрека»; Сережа — «сломанный бурей молодой дубъ». Григъ, ставшій сексотомъ, выражается такъ: «Дома у меня мама-старушка и сестреночка... Всѣ всегда полуголодная. Я иду одинъ — кормилецъ». Володя говоритъ, что онъ остался, потому что «смерть въ краю родномъ мнѣй чѣмъ слава на чужбинѣ».

Конечно, есть немало любителей такихъ словечекъ, но когда книга написана при помощи такихъ сентиментально-напыщенныхъ образовъ, нельзя считать, что она является «боевымъ рапортомъ» или даже «фотографіей дѣйствительности».

Слѣднія о совѣтской молодежи, которая, по законамъ человеческого существованія, все-же переживетъ Сталина и его режимъ, нужнѣй сейчасъ и интереснѣй, чѣмъ что бы то ни было. Къ сожалѣнію, при всей своей несомнѣнной любви къ молодежи, Б. Солоневичъ не смогъ дать ей реальнаго облика.

Совѣтское юношество, — и то, которое ведетъ борьбу со сталинской властью, и то, которое доводится жить, выросло въ страшнѣй дѣйствительности и, пройдя сквозь голодъ и терроръ, выковалось въ такое, что чувствительными словами не опишешь.

«Становись въ очередь, папиросы получать!» командуетъ без-

призорникъ, которому поручаютъ построить ребяты въ шеренгу. Другой отвѣчаетъ герль-скаутъ на ея предложеніе побѣгать: «Ишь ты... Умная какая выискалась! На пустое-то брюхо... Сама бѣгай».

Въ такихъ штрихахъ есть жизнь, но въ общемъ — она скользнула мимо книги.

Т. Ч.

Duranti. «I write as I please». *A. L. Strong.* «I change worlds».

О Совѣтской Россіи пишетъ множество людей: въ большинствѣ случаевъ профессиональные журналисты, для которыхъ это оказалось доходной статьёй, социалистически настроенные экономисты, не выдающіе ничего, кромѣ цифръ и статистическихъ таблицъ, свѣтскія дамы, кокетничающія съ коммунизмомъ, незадачливые рабочіе, поплатившіеся за свою довѣрчивость. Каждый неизмѣнно считаетъ, что только онъ понимаетъ, что дѣлается въ Россіи, и нѣтъ книги, написанной иностранцемъ, которую русскій могъ-бы читать безъ муки, потому что въ каждой скребетъ по сердцу отъ высокомѣрной фальши.

Изъ моихъ встрѣчъ въ Америкѣ, мытарствъ по лекціоннымъ турамъ, упорнаго стремленія заставить людей услышать человеческое слово о Россіи, я, не скрываю, вынесла особую ненависть къ двоимъ, чьи имена и книги рекламируются тамъ не только на страницахъ газетъ и журналовъ, но и на саженныхъ плакатахъ, разставленныхъ по большимъ дорогамъ наряду съ императивными требованіями пить только такое-то слабительное или чистить кастрюльки только такимъ-то снадобьемъ.

«Читайте книгу Дюранти: «Я пишу, какъ мнѣ хочется!» «Читайте книгу Анны-Луизы Стронгъ: «Я мѣняю старый міръ на новый!»

Вотъ она, эта книга Дюранти — «Я пишу, какъ мнѣ хочется». Начинается она съ главы «Крещеніе кровью», съ невиннаго дѣтскаго воспоминанія. «Я впервые узналъ о Россіи, когда мнѣ было четыре года. И можетъ символичнымъ было то, что первое, что я узналъ или, вѣрнѣе, увидѣлъ, было страшнымъ, кровавымъ и живымъ». Это было ярмарочное представленіе, называвшееся «Поездка по Россіи». Въ занесенной снѣгомъ степи ѣдутъ въ саняхъ отецъ, мать и пятеро дѣтей. Ихъ преслѣдуютъ голодные волки. Отецъ бросаетъ имъ на съѣденіе сначала одного ребенка, потомъ второго, третьяго, четвертаго... Зрители съ замирающимъ сердцемъ ждутъ, что сейчасъ будетъ принесенъ въ жертву послѣдній, но... о счастье! они доскакали до избы.

Мораль: русскіе, по природной-ли дикости или по нуждѣ, не колеблясь жертвуютъ жизнью другихъ, хотя-бы дорогихъ имъ сердцу, чтобы спасти свою.

Дюранти, конечно, предупредилъ, что исторія эта не только кро-

вава, но и лжива, но онъ и не такъ наивенъ, чтобы не знать, какъ важны тѣ мазки, которые кладутся въ начало и основу книги.

Слѣдующее знакомство Дюранти съ Россіей происходитъ въ 1919 г., когда онъ посланъ въ Ригу корреспондентомъ «New-York Times».

По его собственнымъ словамъ, о Россіи онъ ничего не зналъ, но считалъ себя «подкованнымъ» лучше другихъ, такъ какъ его предшествовавшая работа на французскомъ фронтѣ обучила его равнодушію къ крови и жестокости, къ страху и жалости. Смертная опасность (для другихъ, не для себя) стала для него банальностью и прелюдией къ познанію Россіи.

Вспомнивъ отступление на Марнѣ и какъ паки трупы въ жару, преподнесъ пару разсказиковъ о тифѣ, вшахъ, грязи и гнили, Дюранти рѣшилъ успокоить слабонервнаго буржуазнаго читателя доказательствомъ того, что русскіе ничего не имѣютъ противъ смерти. Миѣние это онъ подтвердилъ слѣдующими двумя эпизодами.

1. Когда разъ нѣмцы взяли въ плѣнъ четырехъ красныхъ латышей, они вывели ихъ въ поле, дали имъ нѣсколько секундъ фору, пустили бѣжать къ лѣсу и разстрѣливали бѣгущихъ. Трехъ убили, четвертый спасся.

2. Когда разъ бѣлые латыши взяли въ плѣнъ трехъ красныхъ русскихъ и повели ихъ разстрѣливать, русскіе апатично брели навстрѣчу своей судьбѣ и только попросили, чтобы имъ дали выкурить папироску — одну на трехъ. Первый затянулся, передалъ второму. Сержантъ-латышъ пристрѣлилъ его и ждалъ, пока второй не предастъ папиросу третьему; потомъ кончилъ и того, в- другого.

Дюранти стоялъ поодаль и наблюдалъ въ бинокль.

Поведеніе этихъ плѣнныхъ окончательно убѣдило его, что все русскіе совершенно равнодушны къ смерти и что это надо твердо усвоить, прежде чѣмъ пытаться понять Совѣтскую Россію.

Книгу нельзя, однако, строить на однихъ черныхъ тонахъ. Они, правда, захватываютъ читателя и, кромѣ того, служатъ доказательствомъ «объективности» писателя, но они не могутъ обезпечить успѣха при отсутствіи красныхъ тоновъ. Поэтому вторымъ, основнымъ положеніемъ является слѣдующее.

Побѣдитель всегда правъ и побѣда важнѣе жизни, которая она стоитъ. Долгъ побѣдителя быть беспощаднымъ и безжалостнымъ; въ этомъ честь, красота и величіе побѣды.

Красный терроръ, проносящійся ураганомъ и поражающій враговъ революціи, долженъ быть неумолимымъ и всеокрушающимъ. Его желѣзная логика не должна знать ничего личнаго: человекъ можетъ быть неповиненъ, но если онъ требуется въ жертву государству какъ символъ, онъ уже не человекъ, а «враждебный элементъ», и не долженъ итти въ счетъ.

Дюранти считаетъ, что въ 1934 г., во время мести за убійство Кирова, система эта была такъ же неизбежна и дѣйствительна, какъ въ

1918 г. Она имѣетъ полное основаніе считать, что она осталась неизмѣнной и сейчасъ, въ 1937 г.

Такимъ образомъ, въ ряду «знатковыхъ Россій», Дюранти взялъ на себя опредѣленную роль апологета террора и, въ этомъ отношеніи, является неоспоримымъ свидѣтелемъ, что эта основная часть совѣтской системы организована на широкихъ началахъ, стоитъ твердо и, при умѣломъ толкованіи, можетъ быть принята и мировымъ общественнымъ мнѣніемъ.

Анна-Луиза Стронгъ, авторъ «I change worlds», фигура не менѣе «крупная». Слово — крупная — не надо ставить въ кавычки, говоря о ея внѣшности: это большая, тяжелая, сильно ожирѣвшая женщина, весьма на силонѣ лѣтъ. «Эта на совѣтскомъ пайкѣ не сидѣла!» слышала я разъ замѣчаніе въ публикѣ, когда она въ Америкѣ читала о Россіи. Кромѣ того, по ея собственнымъ словамъ, совѣтское правительство вознаграждаетъ ея труды гораздо лучше, чѣмъ американинскій король желтой прессы Хёрстъ.

Теперь А.-Л. Стронгъ является однимъ изъ основныхъ сотрудниковъ «Moscow News» и ежегодно ѣздитъ въ Америку въ лекціонное турнѣ, пользуясь, по ея словамъ, отпускнымъ временемъ, которое для нея, какъ для американской гражданки, оплачивается въ валютѣ. Таково ея официальное положеніе. Основной-же линіей ея писаній является борьба на голодномъ фронтѣ.

Командированная въ СССР Хёрстомъ въ періодъ голода на Волгѣ, она послала въ американскую прессу сенсационныя статьи съ описаніемъ дѣтей, худыхъ, какъ скелеты, которыя не въ силахъ даже просить о коркѣ хлѣба, о женщинахъ, почернѣвшихъ отъ голода, о валящихся съ ногъ мужикахъ. И, пользуясь тѣмъ, что это сотрудничество въ капиталистической прессѣ широко обезличивало ее, она, уже безвозмездно, писала для рабочей прессы, и поставила объясненіе событій, описанныхъ для буржуевъ.

Что такое голодъ, вши, тифъ, дезинтерія? — Это муки, въ которыхъ съ радостью рождается новый міръ. Всю свою жизнь до революціи мужики ковыряли землю деревянной сохой, ходили съ крестнымъ ходомъ, молились о дождѣ и, въ зависимости отъ милости природы, одинъ годъ ѣли, другой голодали. Совѣтская-же власть, допуская голодъ, приноситъ тѣмъ самымъ великую жертву во имя прогресса и организаціи социалистическаго земледѣлія. Передъ лицомъ этого бѣдствія, повторившагося въ еще болѣе масштабъ во времена коллективизаціи, не дрогнули ряды партійныхъ борцовъ, такъ какъ въ этомъ была великая цѣль и героическая мудрость, передъ которой должны склониться всѣ низменные страхи за мелкое человѣческое житьишко.

Въ періоды затихшій на «голодномъ фронтѣ», А.-Л. Стронгъ пишетъ объ индустриализаціи. О томъ, какъ вольные рабочіе создаютъ прибавочную стоимость во много разъ превосходящую капиталистическую; какъ освобожденные женщины отдають свои молодыя силы угольнымъ шахтамъ, доменнымъ печамъ, машинно-тракторнымъ стан-

ціямъ; какъ кустари — охотники и рыбаки — предоставляютъ возможность Вишторгу получать 200-300% на ихъ сырьѣ. Ихъ трудъ тяжелъ, жизнь полна лишеній, но государству нуженъ богатый фондъ и золотой запасъ на созданіе сильнѣйшей въ мірѣ арміи и величайшаго воздушнаго флота.

Съ такимъ логичнымъ объясненіемъ не страшно описаніе никакихъ прорывовъ и жестокостей, про которые А.-Л. Стронгъ говоритъ, что «ни одна бѣлобандитская газетка въ Европѣ въ годъ не придумаетъ такихъ ужасовъ, которыми можетъ похвастаться иной коммунистъ совершенными за недѣлю».

И, любопытное явленіе: оправданіе террора и оправданіе голода, проповѣдуемое не только Дюранти и А.-Л. Стронгъ, но и цѣлой плеядой журналистовъ, и поддержанное самими жуткими описаніями, создаетъ въ публикѣ своеобразный энтузіазмъ. Какъ ужасно и какъ прекрасно! Какая глубина страданій и какая высота идеаловъ! Какъ далеко отъ тягостныхъ капиталистическихъ будней и какъ полно прекрасныхъ, высшихъ надеждъ на будущее!

Т. Чернавина.

Н. А. Базили. Россія подъ совѣтской властью. Парижъ, 1937.

Вотъ книга, появленіе которой, не случайно совпавшее съ двадцатилѣтнимъ «юбилеемъ» совѣтскаго режима, какъ нельзя болѣе отвѣчаетъ давно назрѣвшей потребности подвести итоги пережитому за эти десятилѣтія Россіей и тѣмъ, косвенно, проверить правильность основныхъ установокъ эмигрантскаго нашего сознанія. Настоятельная необходимость этого столь очевидна, что инициативу Н. А. Базили, которому мы обязаны появленіемъ цѣнной работы «Россія подъ совѣтской властью», остается только приветствовать.

Большой томъ, около 400 страницъ крупнаго формата и убористой печати, по содержанію распадается на отдѣлы, изъ которыхъ каждый могъ бы послужить темой для особой книги. Первые двѣ главы посвящены предварительному историческому очерку, — состоянія Россіи передъ революціей 1917 года и во время нея; слѣдующая, 3-ья глава излагаетъ теоретическія и психологическія основы большевизма какъ міросозерцанія; дальнѣйшія, центральныя по замыслу книги, 4-7 главы даютъ обстоятельный анализъ государственнаго и хозяйственнаго устройства СССР и современнаго состоянія народнаго хозяйства Россіи; наконецъ, особая глава 8-ая рисуетъ духовную жизнь въ СССР, и краткое заключеніе пытается намѣтить дальнѣйшія перспективы совѣтскаго режима. Огромный фактический матеріалъ, использованный въ книгѣ, заимствованъ по преимуществу изъ совѣтскихъ источниковъ и обзоръ явленій совѣтской жизни доведенъ до самаго послѣдняго времени — осени текущаго года.

Столь широко задуманный трудъ, требующій спеціальной компетенціи одновременно въ разныхъ областяхъ, нелегко было бы осуществить одному человеку. Онъ и является на самомъ дѣлѣ въ какой-то мѣрѣ коллективнымъ, на что указываетъ Базили, перечисляя въ предисловіи

рядъ свѣдущихъ лицъ, содѣйствіемъ которыхъ онъ пользовался. Въ результатѣ передъ нами изданіе, выгодно отличающееся исключительнымъ богатствомъ хорошо систематизированнаго и безъ предвзятости освѣщеннаго матеріала, изложеннаго въ ясной, доступной и для мало подготовленныхъ читателей формѣ. При этомъ книга соединяетъ въ себѣ качества, не часто встрѣчающіяся вмѣстѣ: обладая достоинствами отличнаго справочника для интересующихся тѣми или иными сторонами совѣтской жизни, она въ то же время даетъ и общую, проникнутую извѣстнымъ единствомъ картину цѣлаго.

Въ предѣлахъ краткой рецензіи мы должны ограничиться лишь бѣглыми замѣчаніями по поводу отдѣльных главъ книги.

Въ вводной исторической части, анализируя причины паденія монархіи, Базили развиваетъ взгляды, близкіе къ защищаемымъ П. Н. Милоковымъ въ его историческихъ трудахъ. Самодержавная власть сдѣлалась тормазомъ въ развитіи Россіи потому, что оказалась неспособной свѣремененно учесть историческую неизбежность демократизаціи политическаго строя. Ускорила революцію и сдѣлала ее неограничимой дополнительные факторы: неудачная война съ одной стороны, несчастный характеръ послѣдняго самодержца, исключавшій возможность компромисса между властью и обществомъ, съ другой. Нѣсколько неожиданно сочувственное отношеніе Базили къ столичинской земельной реформѣ: она, конечно, не только не способствовала, какъ думаетъ Базили, упроченію правового сознанія у крестьянства, а, наоборотъ, своей несправедливостью и насильническимъ характеромъ окончательно подрывала его.

Исторія февральской революціи и октябрьскаго переворота изложена въ книгѣ слишкомъ конспективно, — въ такомъ видѣ эта глава врядъ ли удовлетворитъ русскаго читателя. Базили справедливо подчеркиваетъ множественность историческихъ причинъ, приведшихъ къ крушенію демократическаго режима. Октябрьскій переворотъ для него — не продолженіе февральской революціи, а катастрофическій срывъ русскаго освободительнаго движенія и вмѣстѣ съ тѣмъ широкихъ возможностей мирнаго развитія, открывавшихся передъ раскрѣпощенной въ 1917 г. Россіей.

Слѣдующая глава излагаетъ исторію большевистской партіи, прослѣживая идейную родословную ее по двумъ линіямъ: одной — западно-европейской, идущей отъ Коммунистическаго Манифеста Маркса, и другой, менѣе до сихъ поръ изученной — русской, Нечаевской. Составленіе писаній Нечаева-Ткачева и дѣянія Ленина обнаруживаетъ общія имъ черты: владѣвшій ими духъ разрушенія и моральный пигализмъ въ выборѣ средствъ. Цѣль оправдываетъ средства, и для достиженія этой цѣли, разрушенія стараго режима, все дозволено. Последовательный ученикъ Нечаева, Ленинъ не гнушался во имя социальной революціи сотрудничать съ провокаторомъ Малиновскимъ или брать деньги у врага Россіи. Нечаевъ только мечталъ о томъ, какъ для «страшнаго, полнаго, повсемѣстнаго и беспощаднаго разрушенія» революціоннаго организація объединится съ «дикимъ разбой-

нымъ міромъ». Ленинъ осуществилъ эту программу въ жизни, во все-россійскомъ масштабѣ. Въ дѣлѣ «грабежа награбленнаго» и въ поножевшій «краснаго» терроръ партія Ленина цѣликомъ и до конца саялась съ «дикимъ разбойнымъ міромъ», захлебнулась въ поднятой ею со дна народной души темной стихии. Характерно, — даже у со-вѣтскихъ историковъ можно найти признанія, — что взгляды Нечаева дѣйствительно «нашли для себя полное воплощеніе въ методахъ и тактикѣ коммунистической партіи».

Неубѣдительно у Базили часто встрѣчающееся въ книгѣ проти-вопоставленіе узкаго и свирѣпаго фанатика Сталина болѣе умѣренному, широкому, чуть ли не «государственнику» Ленину. Въ фанатизмъ и безчувственность къ людскимъ страданіямъ Ленинъ нико-му не уступить первенства. Тактическія его отступленія во время Нэпа вовсе не доказываютъ, что Ленинъ, будь онъ живъ сейчасъ, не проводилъ бы, и съ той же свирѣпостью, «соціализмъ въ одной странѣ». Оба они — въ равной мѣрѣ изуверы. Но Ленинъ — духо-вный родоначальникъ безчеловѣчной системы, Сталинъ — только его выученикъ. Сталинъ — страшный, бездушный роботъ, но вытравилъ у него душу и пустилъ его шагать мертвой поступью по Россіи. — Ленинъ.

Слѣдующія главы — 4-ая «Государственный и хозяйственный строй СССР», 6-ая «На путяхъ къ социализму» и 7-ая «Результаты большевицкаго опыта» — являются по темѣ и по богатству отлично обработаннаго матеріала главной и наиболее цѣнной частью книги. Въ оцѣнкѣ состоянія народнаго хозяйства СССР и въ критикѣ совѣтскихъ методовъ у Базили много общаго съ точкой зрѣнія, проводимой въ извѣстныхъ Бюллетеняхъ проф. Прокоповича (уже 14-ый годъ, отмѣтимъ кстати, дѣлающихъ свое прекрасное дѣло пристальнаго изученія хозяйственныхъ процессовъ въ Россіи). Нескрываемое отрицательное отношеніе къ принципамъ совѣтскаго хозяйствованія (подавленію хозяйственной свободы населенія, принудительной организаціи труда, непосильнымъ темпамъ индустриализаціи и пр.) не мѣшаетъ Базили съ достаточной объективностью констатировать и положительныя достиженія — тамъ, гдѣ они имѣются на самомъ дѣлѣ, а не на бумагѣ только. Мы не можемъ однако входить здѣсь въ подробности. Заключение, къ которому приходитъ Базили, подтверждаетъ установившееся въ общемъ въ эмиграціи представленіе: въ дѣлѣ развитія тяжелой индустріи сов. власть достигла за двѣ пятилѣтки весьма осязательныхъ результатовъ, — по крайней мѣрѣ количественныхъ, при низкомъ уровнѣ качественномъ. Напротивъ того, въ области производства продуктовъ широкаго потребленія СССР регрессировалъ невѣроятно по сравнению съ до-революціонной Рос-сіей. Другой вопросъ — какой цѣной куплены реальныя достиженія въ индустріи, и всѣ ли они цѣлесообразны въ общемъ народно-хо-зяйственномъ планѣ. Обезземеленіе, обнищаніе крестьянства, закрѣ-пощеніе его на казенную барщину, рядъ страшныхъ гололовожь, унесшихъ миллионы жизней, — такова цѣна-достиженій. Матеріаль-

ное положеніе даже пролетаріата, именемъ котораго править Россіей диктатура, значительно хуже, чѣмъ было въ царской Россіи. О степени всеобщаго безправія въ странѣ террора и говорить нечего.

Если часть книги, посвященная социальнo - экономическимъ проблемамъ Сов. Россіи, насыщена интереснымъ матеріаломъ, то нельзя того же сказать про чрезвычайно важную по темѣ главу «Духовная жизнь въ СССР». Положенію церкви, науки, школы, литературы, театра, музыки и пр. отведено всего около трехъ десятковъ страницъ. Правда, въ странѣ, гдѣ уничтожена свобода, духовная жизнь не можетъ быть ключемъ. Но если не о новыхъ достиженияхъ, то по крайней мѣрѣ о фактической судьбѣ отдѣльныхъ вѣтвей когда-то блистательной русской культуры хотѣлось бы узнать больше и подробнѣе. Больше полно освѣщено только положеніе школьнаго дѣла. Въ этой области у совѣтской власти несомнѣнны большія достижения, — количественныя по преимуществу. Но вотъ характерный примѣръ такихъ достижений: всеобщее начальное обученіе, начало которому положено было еще до революціи, въ 1908 г., а завершеніе по плану Гос. Думы предположено къ 1923 г., — совѣтской властью было осуществлено, да и то кое-какъ, лишь къ 1935 году.

На протяженіи всей книги Базиди добросовѣстно отмѣчаетъ всѣ тѣ «сдвиги» въ разныхъ областяхъ, которые какъ будто свидѣтельствуютъ о начавшейся за послѣдніе годы здоровой «эволюціи» ес-вѣтскаго режима. Какъ ни остороженъ въ своихъ прогнозахъ Базиди, намъ думается, что онъ все же слишкомъ еще оптимистиченъ. Диктатуры тоталитарнаго типа добровольно не самоупраздняются. Есть три вещи, — и вещи основныя для судьбы Россіи — отъ которыхъ большевики никогда не откажутся (объ этомъ когда-то писалъ Чемберлинъ, одинъ изъ лучшихъ среди иностранцевъ наблюдателей Сов. Россіи): это — «коллективизація» крестьянскаго труда, дающая власти неограниченныя средства для любыхъ ей, самыхъ безумныхъ плановъ, терроръ, которымъ власть пока держитъ въ тискахъ безправное и озлобленное населеніе, и борьба съ религіей, единственной силой, могущей противостоять духовному обезличенію новыхъ поколѣній, сознательно проводимому строителями СССР.

Нажелаемъ книгѣ Базиди заслуженнаго ею самаго широкаго пространства.

В. Рудневъ.

ИСПРАВЛЕНИЯ.

Въ статьѣ Вяч. Иванова «О Пушкинѣ» въ предыдущей, 64-ой, книжкѣ «Солн. Зап.» надо исправить двѣ ошибки:

1. На 182 стр., 22-ая строка сверху вмѣсто: «которая не только несетъ смертный грѣхъ» — слѣдуетъ читать: «которая не только не есть смертный грѣхъ».

2. На стр. 195 послѣ 11 строки сверху слѣдуетъ вставить выпавшую изъ набора строку: «безвѣріе было чистымъ везномомъ. Напрасно было бы искать»...

СПИСОКЪ НОВЫХЪ КНИГЪ, ПОСТУПИВШИХЪ ДЛЯ ОТЗЫВА ВЪ РЕД. «СОВРЕМ. ЗАПИСОКЪ»

- Русскія Записки. № 2. Шанхай-Парижъ. 1937.
Кругъ. Альманахъ. Книга вторая. Изд. Парабола. Берлинъ. 1937.
Новая Россія. № № 25-37. Парижъ. 1937.
Соціалистическій Вѣстникъ. № № 17-24. Парижъ. 1937.
Законъ и Судъ. № № 8-12. Рига. 1937.
Бюлл. Эконом. Кабинета проф. Прокоповича. № № 137-138. Прага. 1937.
Католическій Вѣстникъ. № № 10-12. Харбинъ. 1937.
Бюлл. Религ.-Педагог. работы. № 2. Парижъ. 1937.
Путь. № 54. Парижъ. 1937.
Петръ Гладышевъ. Въ разлукѣ. Стихи. Изд. Парабола. Берлинъ. 1935.
Валерій Перелыгинъ. Въ пути. Стихи. Харбинъ.
Нина Балабанъ. Пльнь земли. Нью-Йоркъ. 1936.
Вячеславъ Шене. Послѣдніе. Романъ. Изд. Добро. Варшава. 1937.
Людя Арсеньева. Концертъ. Разказы. Парижъ. 1937.
Георгій Ивановъ. Распадъ атома. Парижъ. 1937.
Александръ Гефтеръ. Мойна. Разказы. Рига. 1937.
Софья Зайцева. Дѣтскими глазами на мѣръ. Повѣсть. Харбинъ. 1937.
Валентинъ Булгаковъ. На крестѣ величія (Смерть Л. Толстого).
Тьентзинъ. 1937.
А. С. Пушкинъ. Евгений Онѣгинъ. Юбил. изданіе С. Лифаря. Парижъ.
С. Лифаръ. Третій праздникъ Пушкина. Парижъ. 1937.
Бѣлградскій Пушкинскій сборникъ. Бѣлградъ. 1937.
Сергій, митр. Японскій. Двоенадесятница св. Апостоловъ. YMCA-Press,
Paris. 1937.
А. Ф. Карповъ. Платонъ. (О разумныхъ началахъ космоса и государ-
ства). Парижъ. 1937.
А. И. Браудо. Очерки и воспоминанія. Изд. Кружка русско-евр. интел-
лигенціи. Парижъ. 1937.
Романъ Гуль. Ораніенбургъ. Парижъ. 1937.
А. Л. Погодинъ. Отдѣльные оттиски статей: «Внѣшняя Россія» Кон-
стантина Баряиороднаго. — Славяне и готы въ III в. послѣ Р. X.
— «Иванъ Выжигинъ», романъ Фаддѣя Булгарина. — Искажен-
ный Пушкинъ (романы изъ жизни Пушкина). — Имп. Александръ
II-ой и его время въ оцѣнкѣ сербскаго общ. мнѣнія.
L'Europe Centrale. N° N° 40-50. Prague. 1937.
Le Monde Slave. Août-Novembre 1937. Paris.
Europe Orientale. N° 3-4. Bruxelles. 1937.
Trenkan. T. XIII. Amay-sur-Meuse. Belgique. 1937.
Le Courrier graphique. N° N° 6-9. Paris. 1937.
L'Age Nouveau. N° 1. Paris. 1938.

- CILLAC**. N° N° 13-24. Bruxelles. 1937.
- B. Zaitzew**. Anna. Allen and Unwinn Ed. London. 1937.
- B. Zaitzew**. Anna. Henry Holt Ed. New-York. 1937.
- Le Dit de la Campagne d'Igor**. Trad. de N. Koulman et M.-J. Behaghel. Paris. 1937.
- E. Gagarin**. Die Gewesenen. Russische Schicksale. München. 1937.
- Centenaire de Pouchkine**. Exposition Pouchkine. Ed. par S. Lifar. Paris. 1937.
- Serge Lifar**. Le Manifeste du Chorégraphe. Paris. 1937.
- Michael Aschenbrenner**. Iwan Schmeljow. Ost-Europa Verl. Berlin. 1937.
- D. von Mohrenschildt**. Russia in the intellectual Life of XVIII Cent. France. Columbia Univ. Press. 1937.
- A. Iswolsky**. Au service de la Russie. Correspondance diplomatique. 1906-1911. Les Ed. Intern. Paris. 1937.
- Th. Adamczyk**. Fürst G. A. Potemkin. Dissertation. Emsdetten. 1937.
- N. Kagan**. Pestalozzis religiöse Haltung. Dissertation. Danzig. 1937.
- L. Baratz**. Sur les origines étrangères des lois civiles russes. Paris. 1937.
- La Situation Economique des Juifs dans le Monde**. Vol. I. Paris. 1938.
- M. Vichniac**. Léon Blum. Ed. Flammarion. Paris. 1937.
- D. Gavronsky**. Friedrich Nietzsche und der Dritte Reich. Bern. 1937.
- B. Nikolaevsky et O. Manchen-Helfen**. Karl Marx. Ed. Gallimard. Paris. 1937.
- Hélène Iswolsky**. Femmes soviétiques. Ed. Desclée de Brouwer. Paris. 1937.
- Fanny Lowtzky**. Soeren Kierkegaard. Etude psychanalytique. Ed. Denoel et Steele. Paris. 1937.
- A. Pogodin**. Sonderabdrücke: Was ist Merja? -- Ein Beitrag zur Geschichte der russischen Kolonisation des finnischen Nordens.
- Juri Semjonow**. Die Eroberung Sibiriens. Verl. Ulstein. Berlin. 1937.
- I. Tchernoff**. Dans le Creusot des Civilisations. Ed. Rieder. Paris.
- K. Krofta**. Les allemands dans l'état tchécoslovaque. E. Monde Slave. Paris. 1937.
- K. Krofta**. La Cehécoslovaquie en face de la tension internationale. Prague. 1937.
- S. Ossusky**. Le problème des matières premières. Paris. 1937.
- J. Chmelar**. Les minorités nationales en Europe. Prague. 1937.
- Em. Berl**. Le fameux Rouleau Compresseur. Ed. Gallimard. Paris. 1937.
- Bilan du communisme**. Cahiers économiques et sociales. Paris. 1937.
- F. Lot**. Les invasions barbares. Ed. Payot. Paris. 1937.
- A. Smith**. J'ai été ouvrier en URSS. Trad. de l'anglais. Ed. Plon. Paris. 1937.
- H. Guilbeaux**. La fin des Soviets. Soc. Franç. d'Ed. Litt. Paris. 1937.
- P. Gsell**. Le Théâtre soviétique. Ed. Soc. Int. Paris. 1937.

Из-во „Современныя Записки“

ВЫШЛИ ВЪ СВѢТЪ:

- И. А. Бунинъ: Жизнь Арсеньева (Романъ).
И. А. Бунинъ: Избранныя стихотворенія.
И. А. Бунинъ: Божье древо.
И. А. Бунинъ: Тѣнь птицы.
Б. К. Зайцевъ: Анна (Романъ).
М. А. Алдановъ: Ключъ (Романъ).
М. А. Алдановъ: Десятая симфонія (Романъ).
М. А. Осоргинъ: Повѣсть о сестрѣ.
М. А. Осоргинъ: Чудо на озерѣ.
Ф. А. Степунъ: Николай Переслѣгинъ.
Георгій Песковъ: Памяти твоей (Разказы).
Гал. Кузнецова: Утро (Разказы).
Гал. Кузнецова: Прологъ.
А. Ладинскій: Черное и голубое (Стихи).
Т. И. Полнеръ: Толстой и его жена.
В. Ф. Ходасевичъ: Державинъ (Худож. біографія).
В. А. Маклаковъ: Левъ Толстой.
Левъ Шестовъ: На вѣсахъ Іова.
В. М. Зензиновъ: Безпризорныя дѣти.
П. Н. Милюковъ: Очерки по исторіи русск. культуры т. I ч. 1.
П. Н. Милюковъ: Очерки по ист. русск. культуры т. II ч. 1.
П. Н. Милюковъ: Очерки по ист. русск. культуры т. II ч. 2.
П. Н. Милюковъ: Очерки по ист. русск. культуры т. III.
М. И. Ростовцевъ: О Ближнемъ Востокѣ.
Б. Э. Нольде: Далекое и близкое.
М. В. Вишнякъ: Два пути (Февраль и Октябрь).
Ст. Ивановичъ: Красная армія.
Сборникъ, посвящ. 175-лѣтію Московск. Университета.
Н. Лосскій: Типы міровоззрѣній.
Н. А. Бердяевъ: О назначеніи человѣка.
Ф. И. Шаляпинъ: Воспоминанія.
М. В. Вишнякъ: Всероссійское Учредительное Собраніе.
М. О. Цетлинъ: Декабристы.
В. В. Сиринъ: Полвигъ (Романъ).
Л. Ф. Зуровъ: Древній путь.
Д. М. Олинецъ: Возникновеніе госуд. строя у восточн. славянъ.
Софія Прегель. Солнечный произволь (Стихи).
Галина Кузнецова. Оливковый Садъ (Стихи).

Заказы принимаются въ конторѣ издательства.

основанный Н. Д. Авксентьевымъ, И. И. Бунаковымъ, М. В. Вишнякомъ,
А. И. Гуковскимъ (†), В. В. Рудиевымъ.

Въ вышедшихъ по настоящее время книжкахъ «Современныхъ Записокъ» напечатаны беллетристическія произведенія: М. Адамова, Л. Андреева, К. Бальмонта, Н. Берберовой, И. Бунина, А. Бѣлаго, Б. Вышеславцева, Г. Газданова, Г. Гребенщикова, Юр. Данилова, Г. Евангулова, Е. Замятина, Л. Зурова, Б. Зайцева, Г. Иванова, А. Куприна, Д. Мережковского, С. Минцлова, П. Муратова, М. Осоргина, Г. Пескова, А. Ремизова, Н. Рошина, В. Сирнина, Д. Скобцова, И. Соколова-Микитова, Ф. Степуна, И. Сургучева, Б. Темирязева, Гр. А. Толстого, С. Федорченко, Ю. Фельзена, Е. Чирикова, И. Шмелева, С. Юшкевича, В. Яновскаго и др. — Стихотворенія: Г. Адамовича, Амари, К. Бальмонта, Н. Берберовой, И. Бунина, М. Волошина, А. Герцыкъ, И. Голенищева-Кутузова, А. Головиной, Вяч. Иванова, Георгія Иванова, Д. Кнута, Г. Кузнецовой, А. Ладинскаго, С. Маковского, Ю. Мандельштама, Н. Онуфа, Б. Поплавскаго, Г. Раевского, В. Сирнина, В. Смоленскаго, П. Соловьевой (Allegro), Ф. Соллогуба, Ю. Софьева, Ю. Терапиано, Тэффи, В. Ходасевича, М. Цвѣтаевой, Л. Чеовинской и др. — Дневники и воспоминанія: И. Билибина, Е. Брешковской, О. Грузенберга, Е. Джанумовой, кн. П. Долгорукова, К. Ельцовой, В. Зензинова, А. Керенскаго, В. Маклакова, кн. В. Оболенскаго, Т. Полнера, И. Рѣпина, Ал. Толстой, Льва Толстого, В. Ходасевича, М. Цвѣтаевой, Ф. Шаляпина, Н. Шкляевой и др. — Статьи по вопросамъ литературы, искусства, философіи, политики, экономическимъ и социальнымъ: С. Абрамова, Н. Авксентьева, Г. Адамовича, М. Адамова, П. Апостола, А. Аргунова, А. Байкалова, А. Бема, Н. Бердяева, П. Биццли, М. Брайкевича, Б. Брукуса, В. Булгакова, И. Бунакова, В. Вейдле, П. Виноградова, М. Вишняка, В. Воловцова, кн. С. Волконскаго, В. Войтинскаго, М. Гершензона, С. Гессена, В. Гефдингга, М. Гофмана, М. Гошиллера, К. Грюнвальда, А. Гуковского (А. Сѣверова), К. Гулькевича, Г. Гурвича, Ю. Данилова, Ю. Делевскаго, И. Демидова, Дюнео, В. Ельяшевича, С. Загорскаго, С. Завадскаго, К. Зайцева, В. Зѣльковскаго, Ст. Иванскаго (В. Талина), С. Иванова, Л. Карсавина, А. Карташева, С. Кариевскаго, К. Качаровскаго, А. Керенскаго, А. Кизветтера, С. Кобякова, А. Койранскаго, В. Короленко, С. Корфа, А. Крайняго, М. Кроля, К. Крофты, Н. Кульмана, Е. Кусковой, А. Левитскаго, Ф. Ленскаго, А. Леонтьева, Г. Ловикаго, Н. Лосскаго, С. Лурье, А. Мандельштама, С. Маслова, С. Мельгунова, Н. Мельниковой-Палоушекъ, С. Метальникова, П. Милюкова, Н. Мицскаго, Б. Миркина-Гешевича, А. Михельсона, К. Мочульскаго, П. Муратова, В. Мякотина, С. Николаева, бар. Б. Польде, А. Орлова, Д. Одница, М. Осоргина, Я. Палоушекъ, А. Петришева, П. Пильскаго, С. Полякова-Литовцева, А. Пѣхехонова, Ф. Родичевъ, В. Рябушинскаго, М. Росточева, В. Руднева, С. Сазонова, Ю. Сазоновой, Л. Святополкъ-Мирскаго, М. Слонима, Б. Соколова, П. Сорокина, Ф. Степуна, Н. Тимашева, Н. Ульянова, Г. Федотова, Г. Флоровскаго, Д. Чижевскаго, А. Чупрова, И. Хераскова, М. Цвѣтаевой, М. Цеглина, Т. Чернявиной, Б. Шацкаго, С. Шермана, Л. Шестова, Б. Шлецера, Е. Юрьевскаго и др.

Цѣна отдѣльнаго номера 30 франковъ.

Адресъ Редакціи и Конторы:

6. Rue Daviel, Paris (XIII^e).

Téléphone: Gobelins 48-87

Imp. Union, Paris, 13, rue Méchain.

Le gérant: Chailit.